ИФЛ СО РАН

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

Проселочные дороги

роман без интриги

К 200-летию писателя

2023

УДК 821.161.1 + 821.0
ББК 83.3(2 Рос=Рус)1
ПД 2023

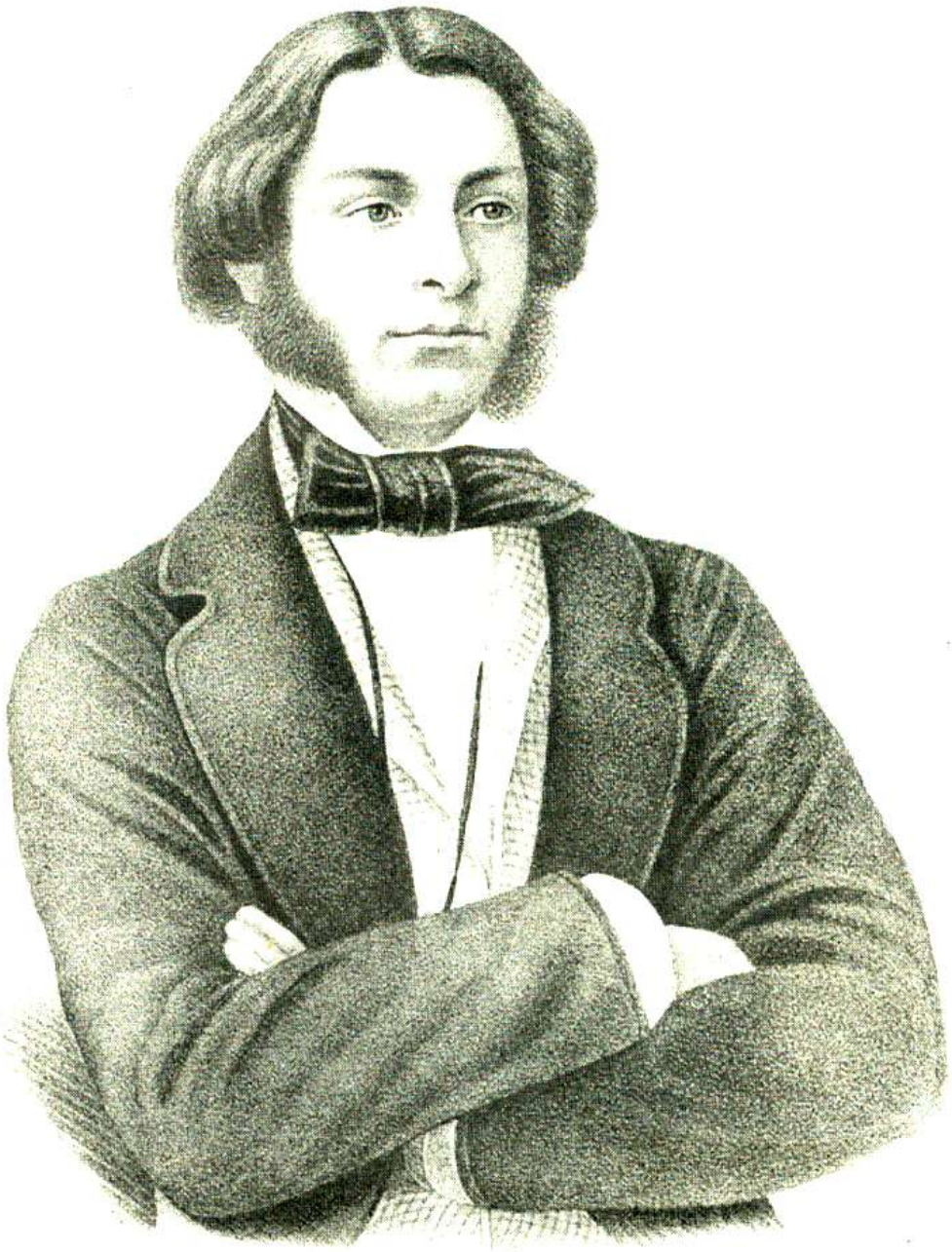
ПД 2023 Проселочные дороги: роман без интриги [Текст] / подгот. текста и комментарий А.Е. Козлова. ИФЛ СО РАН. — Новосибирск, 2023. — 438 с.
[На правах рукописи]

Дебютный роман Д.В. Григоровича «Проселочные дороги» впервые был опубликован в журнале «Отечественные записки» в 1852-м году. Ориентируясь на сюжетные и стилевые модели русской и западноевропейской литературы, тридцатилетний писатель создал оригинальную вариацию на тему «утраченных иллюзий» и «базара житейской суеты».
В рамках реализации гранта РНФ 21-78-00011 текст романа приведен в соответствие с современными нормами орфографии и пунктуации; по каждой главе подготовлен комментарий.
Книга адресована филологам и всем, кто интересуется русской культурой.

УДК 821.161.1 + 821.0
ББК 83.3(2 Рос=Рус)1

ISBN

© ИФЛ СО РАН,
А.Е. Козлов 2023



ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГРИГОРОВИЧ
(1822-1900)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Литературная судьба Д.В. Григоровича (1822-1900) по-своему необычна. Признанный первопроходцем крестьянского мира в литературе, ставший олицетворением – и патетическим, и пародическим, – нового «сентиментального натурализма», Григорович во многом реализовал теоретическую программу В.Г. Белинского: не гений, а «обыкновенный талант», чье творчество вызывало как одобрение, так и недоумение критики. После произведений, закрепивших его имя в современном литературном процессе («Петербургские шарманщики», «Деревня» и «Антон Горемыка»), появление романов из «простонародного быта» («Рыбаки» и «Переселенцы») было встречено критикой сдержанно. Другая линия творчества писателя, связанная со светской повестью и фельетоном («Похождения Накатова», «Скучные люди», «Свистулькин»), ставила его наряду с автором «Львов в провинции» и «Литературной тли» И.И. Панаевым[1], и также не способствовала росту популярности его произведений. В середине 1860-х годов на страницах журнала братьев М.М. и Ф.М. Достоевских «Эпоха» Григорович был назван А.А. Григорьевым «отживающим в литературе явлением», и в самом деле оставил писательское поприще, не закончив романа «Два генерала», объясняя такое решение своей хозяйственной и административной деятельностью. Произошедшее в 1880-е годы триумфальное возвращение писателя с повестью «Гуттаперчевый мальчик» носило локальный и временный характер: ни один последующий текст не получил такого отклика ни со стороны критики, ни со стороны читателей[2]. Особым драматизмом отличаются письма Григоровича к А. С. Суворину, где он прямо пишет о том, что оказался «выброшенным за борт, оставленным за штатом в русской литературе».

Тем не менее, в шуточной «Литературной табели о рангах» Григорович произведен А.П. Чеховым в «действительные статские советники» наравне с М.Е. Салтыковым-Щедриным. Занятие такой позиции во многом объясняется тем, что после смерти Ф.М. Достоевского и И.С. Тургенева Григорович разыгрывал роль ментора среди писателей т.н. «чеховского круга»[3,4] и одновременно свидетеля, очевидца и участника «замечательного

---

[1] К.И. Чуковский называет Григоровича «двойником» Панаева (*Чуковский К.И.* Люди и книги шестидесятых годов: статьи, материалы. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. С. 114). Такая оценка носит в большей степени не методологический, а публицистический характер: несмотря на тождество части произведений в их фельетонной реализации, социальная проблематика произведений Григоровича во многом предвосхищала открытия его современников: И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого, что нельзя сказать о прозе Панаева. Репутация Панаева также воплощает «нисходящий» тип; его смерть в начале 1860-х годов на фоне инициированной им «литературы скандалов» контрастирует со смертью Григоровича как свидетеля, очевидца и «летописца» замечательного десятилетия.

[2] См. об этом: *Мещеряков В.П.* Творческий путь Д.В. Григоровича: Автореф…. канд. филол. наук. М., 1964; *Мещеряков В.П.* Григорович: писатель и искусствовед. М., 1985.

[3] Отметим, что многим современникам история открытия нового таланта Григоровичем казалась неправдоподобной: «Григорович в истории нашей литературы является чуть не Колумбом, открывшим Чехова. Это не совсем справедливо. Первый, кто не раз говорил об этой Америке Суворину, был именно Бежецкий (А. Н. Маслов), сам талантливый беллетрист и драматург, чуткий и не раз обращавший внимание на прекрасные миниатюры “Антоши Чехонте”» (*Немирович-Данченко Вас. Ив.* На кладбищах. Воспоминания и впечатления. М, 2001. С. 127).

[4] Согласно воспоминаниям И. Н. Потапенко, Чехов активно сопротивлялся притязаниям Григоровича на роль «старика Державина»:

«Ведь это же понятно. Я был открыт Григоровичем и, следовательно, должен сказать речь. Не просто говорить что-нибудь, а именно речь. И при этом непременно о том, как он меня открыл. Иначе же будет нелюбезно. Голос мой должен дрожать и глаза наполниться слезами. Я, положим, этой речи не скажу, меня долго будут толкать в бок, я все-таки не скажу, потому что не умею. Но встанет Лавров — и расскажет, как Григорович меня открыл. Тогда подымется сам Григорович, подойдет ко мне, протянет руки и заключит меня в объятия и будет плакать от умиления. Старые писатели любят поплакать. Ну, это его дело, но самое главное, что и я должен буду плакать, а я этого не умею». Словом, я не оправдаю ничьих надежд (Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 304.). В то же время, судя по воспоминаниям В.Г. Короленко, Чехов извлек из знакомства с Григоровичем другой, не менее значимый в эмоциональном отношении урок:

десятилетия». Не исключено, что этой позицией, в частности, объясняется элегическая тональность его «Литературных воспоминаний». Учитывая предшествующие мемуары И.И. Панаева, П.В. Анненкова, И.С. Тургенева, А.Я. Панаевой, Григорович представил своего рода итоговый текст, отзывающийся на высказывания предшественников, но и адаптирующий эти сюжеты к требованиям канона. На страницах своих мемуаров Григорович через позиции «наблюдателя», «очевидца» и «летописца» проводит единую и очищенную от налета «сплетен», «слухов» и «анекдотов» историю своего времени.

В своих мемуарах Григорович противопоставляет два типа письма: «вертикальный» предполагает напряженную отделку рукописи, работу над словом в черновиках и корректурных листах (к этому типу он относит Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Мериме, Бальзака и Флобера), в то время как горизонтальный (под которым понимается письмо И. И. Панаева, П. В. Анненкова, А. В. Дружинина, Дюма-отца и его многочисленных эпигонов) отличается скоростью написания и носит поверхностный характер. По всей видимости, писатель стремился именно к первому типу, однако литературный быт эпохи нередко вынуждал его идти на компромисс с собственным эстетическим вкусом. Вероятно, это одна из причин, по которой, несмотря на литературную славу, сопровождавшую его до конца дней, Григорович так и остался писателем второго литературного ряда – «действительным статским советником».

Текст «Литературных воспоминаний» становится заключительным аккордом в причудливой и своеобразной беллетристической деятельности Григоровича, а после его смерти осмысляется как своеобразное завещание fin de siècle. Совпадение времени смерти – 1900-й год и начало нового календарного века – усиливало эти элегические коннотации. Тем не менее, большинство его младших современников рассматривало его как явление, пусть и значительное для русской литературы, но при этом исчерпанное социальными и эстетическими поисками XIX века[5]. Точнее всех феномен Григоровича был охарактеризован В. Розановым:

Покойный не был гениальным умом, ни гениальным характером; но, до известной степени, он сыграл гениальную (незабываемую, неизмеримо важную) роль в развитии общества и литературы, попав в исторически важный момент в центральную точку духовных и материальных интересов своей страны. Он не был «народником» в установившемся впоследствии смысле; он был русский барин по воспитанию, по положению, по всей манере литературного письма, по всей совокупности духовных своих

«Григорович писал о тоске, которую он испытывает в своем курорте, о болезни, о предчувствии близкой смерти. Чехов, <показывая> мне это письмо, прибавил: « - Да, вот вам и известность, и карьера, и большие гонорары...» (Там же. С. 35); «Из него Вы увидите, — что литературная известность и хороший гонорар нисколько не спасают от такой мещанской прозы, как болезни, холод и одиночество: старик кончает жизнь» (Там же).

[5] Обращаясь к «благоухающим сединам» прошлого З. Гиппиус, ставя в один ряд А. Н. Плещеева, Я. П. Полонского, П. И. Вейнберга и Д. В. Григоровича, писала о своем удивлении констатировала: «Признаться, меня в первое время удивляло, что и эти “еще живы”. Удивляло не разумно, конечно, а в ощущении: если в хрестоматии учишь стихи Пушкина, Полонского и Плещеева, если с одиннадцати до шестнадцати лет одинаково читаешь Гоголя, Толстого, Григоровича и Достоевского, начинает казаться, что всех их, без изъятия, давно нет как людей – есть их книги. Это, впрочем, странное чувство, его трудно передать, а юности оно свойственно» (*Гиппиус З.* Живые лица. Прага, 1925. С. 190). Совсем иной модус представлен в эмигрантских записках Амфитеатрова: «Поколение, казалось бы, было здоровое, сытое, выкормленное дворянским привольем и хлебами еще даже не дрогнувшего крепостного рабства, – и жили они как будто подолгу, – а в общем исчезли с лица земли поразительно скоро. Началось вымирание уже в семидесятых годах (Авдеев, Алексей Толстой, Некрасов). Знаменитый пушкинский праздник 1880 года словно устроил им роковой предсмертный смотр, а там и пошли валиться великие дубы: Достоевский, Писемский, Тургенев, Мельников-Печерский, Катков, Островский, Юрьев, Салтыков, Хвощинская были ликвидированы на протяжении одного десятилетия. Девяностые годы добили остальных: Григоровича, Плещеева, Майкова, Полонского, Фета, Лаврова. В двадцатый век перебрались лишь трое: Жемчужников, Стасюлевич и – великий, как бы внеисторический особник русской литературы – Лев Николаевич Толстой. Да и то они скорее уже "пятидесятники"» (*Амфитеатров А.В.* Литературные портреты и впечатления. М., 2003. С. 128).

интересов (художественных) и даже по особенностям рождения (мать - француженка): но он есть родоначальник всего «народнического» движения в литературе и в жизни, а так как это движение без малого обнимает всю русскую жизнь за последние полвека, то его вполне можно назвать дедом русского общества за эти полвека. Таким он стал, потому что еще ранее Тургенева обратился к изучению деревенского, крестьянского быта и написал в 1847 году повесть «Антон Горемыка», облетевшую всю Россию и сообщившую, конечно, на подготовленной почве, новое направление мыслям этой России: направление интереса к крестьянину, любви к крестьянину, сожаления о печальном его положения (крепостное право) и желания его освобождения. <…>

Последующие его труды, из которых необходимо назвать «Рыбаки» и «Проселочные дороги», «Переселенцы» – были хороши, были, пожалуй, прекрасны, но ничего очень выдающегося не представляли. Гениальная роль его была сыграна, даже без поправок и дополнений и даже без усилий и страсти, той старой и исторически необходимой картины, которую он создал, которую он почти нашел[6].

Знаменательно, что после смерти писателя при многократной републикации его главных произведений дебютный роман «Проселочные дороги» не был переиздан. В связи с этим особое значение приобретает изучение истории его публикации и восприятия современниками.

В начале 1850-х годов, завершив повесть «Неудачи» о жизни художников и быте рисовальных классов[7], тридцатилетний Д. В. Григорович начал работу над первым в своей литературной карьере крупным произведением. О его замысле знали М. М. Достоевский и А. А. Краевский, которому Григорович предложил опубликовать тогда только начатый роман. Изначально названный «Между проселочными дорогами», снабженный подзаголовком «роман без интриги», текст привлекал автора новизной идеи и самой возможностью отойти от очерков и рассказов из простонародного быта.

В «Литературных воспоминаниях» Григорович так описывает свое намерение:

Мне давно хотелось попробовать свои силы в работе большего размера. Я набросал план пространного романа из провинциального быта, сообщил об этом письменно Краевскому и вскоре получил ответ с просьбой поместить роман в «Отечественных записках», на что я охотно согласился.

Писать вторую часть романа в то время, как печатается первая часть, было для меня невозможно; одна мысль об этом парализировала мои способности, лишала меня той энергии, которая необходима, когда дело идет о большой, продолжительной работе.

---

[6] *Розанов В.В.* Памяти Д.В. Григоровича // Торгово-Промышленная Газета. 1899. 24 дек. No 283. Такая точка зрения высказывалась многими современниками писателя, например, Л.Н. Толстым: «Помню умиление и восторг, произведенные на меня, тогда 16-тилетнего мальчика, не смевшего верить себе, — Антоном-Горемыкой, бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика — нашего кормильца и — хочется сказать: нашего учителя, — можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом» (*Толстой Л.Н.* Письма. 220. Д. В. Григоровичу. 1893 г. Октября 27. Ясная Поляна. // Толстой Л.Н. Собрание сочинений в 22 тт. М.: Художественная литература, 1984. Т. 19. С. 269—270.

[7] В письме к Краевскому Григорович так описывал свой замысел: «Главная мысль, заключавшаяся в том, что часто на поприще искусства молодые люди с замечательным талантом пропадают от недостатка средств и поощрения, сохранилась теперь в полусвете. Оговорка в конце о благодетельном обществе поощрения художников и отдаленное время, в которое происходит действие, т. е. первый год появления Брюллова в Петербурге, – скажут все. Если цензор запнется, укажите ему, пожалуйста, на эти два пункта. Любовная интрига (т. е. нравственное направление) разбавлена водою, точно также как постоянный стыд героя за подлое и гнусное семейство, – чувство, которое было проведено прежде во всей повести» (РНБ. Ф. 391. №. 300. Л. 579).

Я решил написать весь роман и печатать его не прежде, чем окончу последнюю главу. Я писал его более года, в течение зимы и лета не выезжая из деревни[8].

Обращение к провинциальной жизни, несмотря на ряд сильных предшествующих текстов: «Ревизор» и «Мертвые души» Н. В. Гоголя, «Записки одного молодого человека» и «Кто виноват?» А. И. Герцена, «Обыкновенная история» И. А. Гончарова, «Тарантас» В. А. Соллогуба и мн. др.,[9] – казалось Григоровичу занимательным и новым. По-видимому, новизна заключалась не в фабуле (истории заносчивого провинциального помещика, который, проиграв губернские выборы, отказывается от своих амбиций и становится скромным семьянином), а в форме и композиции. Неслучайно одним из ориентиров для писателя выступают «Посмертные записки Пиквикского клуба» (*The Posthumous Papers of the Pickwick Club*, 1836–1837). Как известно, Ч. Диккенсу удалось создать произведение, близкое к его «Очеркам Боза» (*Sketches by Boz*, 1833–1836), однако выходящее далеко за пределы журнального фельетона. Викторианцы узнали в героях книги себя, и в скором времени «Записки» стали книгой, в которой специфические черты национального менталитета воспринимались в контексте общечеловеческой проблематики. Подзаголовок «роман без интриги», очевидно, связан с другой, не менее актуальной для читателя сороковых годов книгой – романом У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» (*Vanity Fair: A Novel without a Hero*, 1847–1848)[10]. Влиянием Теккерея, по всей видимости, объясняется дефект эмпатии, о котором рассуждали журнальные обозреватели: Григорович использует исключительно внешние описания, не вдаваясь в детали внутреннего мира своих героев, часто обращается к карикатуре.

Первоначально печатание романа не предвещало особых трудностей. Краевский безоговорочно принял все условия своего сотрудника (включая и те, что выходили за пределы обязанностей издателя: согласился выплачивать сверх писательского гонорара 120 рублей серебром ежемесячно – в течение срока, составляющего время пребывания Григоровича в Петербурге; снабжал деньгами А. М. Стефанову, приходившую от имени своего покровителя). Отвечая на письма Григоровича, издатель «Отечественных записок» высоко оценил первую часть произведения, поздравив его с тем, что он наконец-то вышел за пределы того узкого круга, который определяли рассказы из простонародного быта.

Что роман будет хорош, в этом я не сомневаюсь, потому более, что вы сами отрицаете мнение об исключительной якобы способности вашей писать повести из крестьянского быта. Не люблю я этих повестей – грешный человек, хоть и знаю, что вы были бы способны написать хорошую повесть в этом роде. При настоящем положении дел эти повести должны быть идеализированы в пошлом значении слова, т. е. нарумянены, переслащены, благоуханны, – а вы сами знаете, много ли сладкого, а тем более благоуханного в жизни русского мужика! Следовательно, вам приходится лгать, творить против собственного убеждения, писать картинки и портреты, каковым вы сами не верите. А нет ничего досаднее и оскорбительнее лжи в художественном произведении. Скорее можно согласиться, чтоб оно написано было грубо, самым варварским языком, но чтоб было искренно, нелживо. Вот почему – бог с ними, с вашими Прохожими и Воскресениями! Не нравятся они мне – хоть сердитесь, хоть нет! Мне давно казалось, что таланту вашему следовало выбрать себе другую дорогу. Удалась «Деревня» – и довольно; больше тут нечего делать, на этом поле. Если вы хорошо узнали русского человека в зипуне, то наверное уже хорошо знаете его и в сибирке, и в

---

[8] *Григорович Д. В.* Литературные воспоминания / Под ред. Г. Г. Елизаветиной. М.: Художественная литература, 1987. С. 67.

[9] См.: *Милюгина Е.Г., Строганов М.В.* Текст пространства: материалы к словарю. Тверь: СФК-офис, 2014; *Lounsbery A.* Life Is Elsewhere. Symbolic Geography in the Russian Provinces, 1800–1917. Northern Illinois University Press, 2019.

[10] Оба романа печатались в журнале А.А. Краевского в 1850-м году.

вицмундире, и в собольей шубе: пора приняться за эти костюмы, сколько возможность позволяет, а зипун и курную избу можно оставить до удобнейшего времени… Тогда, без всякого сомнения, ваши повести из крестьянского быта – да из настоящего крестьянского, со всеми его красками, со всем его духом – будут иметь великое значение, а теперь… зачем лгать?

Всю эту речь клоню я к тому, чтоб вы не смотрели на мнение тех господ, которые говорят вам обратное. У них, может быть, свои цели, свои побуждения, которые, может быть, окажутся очень гадкими, если пораскопать их. Повторяю: душевно рад, что вы не держитесь их мнения о самом себе[11].

Понадеявшийся на свои силы и возможности, Григорович отказался от долгой и напряженной работы, связанной с переписыванием произведения по многу раз. Однако в августе 1851-го года, когда первая часть романа уже была готова для набора, случилась неприятность: «Проселочные дороги» оказались «заподозренными», и печатание произведения пришлось приостановить. Григорович, пропустив несколько писем Краевского, узнал об этом обстоятельстве слишком поздно. Как он вспоминает в своих мемуарах,

С печатанием романа «Проселочные дороги» вышла почти такая же история, как с повестью «Антон Горемыка», – цензура остановила его после первой части; предлог на этот раз был тот, что дворянство выставлялось здесь в слишком карикатурном виде и этого допустить было невозможно. После долгих и неуспешных переговоров Краевского с цензором меня надоумили обратиться лично к Мусину-Пушкину, тогдашнему попечителю и управляющему цензурой. Мусин-Пушкин, человек мрачного и желчно-раздраженного вида, принял меня, однако ж, довольно милостиво. Убедившись, вероятно, из моих объяснений, насколько я был далек от намерения осмеивать русское дворянство, он согласился дозволить печатание романа, но с тем условием, чтобы я вставил страницу, в которой было бы сказано, что все лица романа принадлежат исключительно к поэтическому вымыслу, не больше, как преувеличенная карикатура против существующей действительности. Страница была написана, приложена к тексту, и роман продолжал печататься

Эта история подтверждается свидетельством А.Ф. Кони, утверждавшего, что «для пропуска <…> “Проселочных дорог” – большого бытового романа с оригинальным отсутствием любовной интриги – ему (Д.В. Григоровичу. – *А.К.*) было предъявлено требование вставить целую страницу с указанием на совершенно вымышленные им, а не почерпнутые из действительной жизни типы и обстоятельства»[12].

Неудача с цензором Петербургского цензурного комитета А. И. Фрейгангом, несмотря на протекцию председателя комитета М. Н. Мусина-Пушкина, отразилась на дальнейшем восприятии романа, появившегося в печати в 1852 году.[13] Теперь Краевский избегал каких-либо оценок (сохранились не все письма, но, судя по ответам Григоровича, были и жалобы), а, завершая работу над четвертой частью, Григорович и сам был готов принести извинения. Он признавал, что роман не удался, но возлагал надежды на будущие свои произведения. Кроме того, недовольство со стороны Григоровича вызвало то обстоятельство, что печатание «Проселочных дорог» растянулось на большее, чем он ожидал, время. Вероятно, этому есть двоякое объяснение: в течение всей работы, жалуясь то на прогрессирующую болезнь, едва не приведшую его к слепоте, то на разлив Оки, Григорович постоянно задерживал высылку рукописей и гранок, тем самым ставя

[11] Вокруг романа «Проселочные дороги»: переписка Д.В. Григоровича и А.А. Краевского 1850-1852 годов // Русская литература. 2022. № 2. С. 146–160. DOI: 10.31860/0131-6095-2022-2-152-166

[12] *Кони А. Ф.* Памяти Д. В. Григоровича // Воспоминания о писателях. М.: Правда, 1989. С. 105.

[13] «Проселочные дороги» публиковались с января по июль 1852 года.

издателя в безвыходное положение. Несмотря на взаимное недовольство автора и издателя, оно не привело к разрыву или прекращению отношений[14].

Во многом негативное отношение к «Проселочным дорогам» определялось отзывами критики. Отмечая неудовлетворительное качество этого произведения и сравнивая их с его же циклом «Похождения Накатова» (1849), обозреватель «Современника» писал:

Что это такое? Все действующие лица этого странного романа: Кокуркины, Сараманаевы, Дрянковы, Прокисаи, Леокадии, Тирсисы, Тонички-Антониночки, книгопродавцы, приказчики, барыни и барышни не есть воспроизведение живых людей существующих в дѣйствительности; это карикатуры недостойные серьёзного искусства и приводимые в движение автором посредством ниточки, которую он даже не взял на себя труда скрыть от зрителей карикатуры, ничем не оправдываемые, у которых белки глаз, как страусовые яйца, которые не просто смотрят, а возводят на предметы исполинские глаза свои и вертят исполинскими зрачками, которые не просто говорят, а выгружают свое горе и радости в ухо слушателя и которых любопытство доходить до зубной боли. <…>

Тот, кто ценит талант автора Антона Горемыки, кто симпатизирует с этим прекрасным талантом пробежит с тяжелым и неприятным чувством утомительные «Проселочные дороги», не отдохнув ни на одной верной сцене, ни на одной живой и поэтической картине. В недоумении расстанется он с этими дорогами и спросить самого себя, неужели все это юмор, неужели все это остроумие? И на кого направлено оно? Неужели в самом деле «Проселочные дороги» писаны тем же пером, из-под которого вышли произведения с таким участием обращавшие на себя в последнее время внимание публики и составившие г. Григоровичу имя и известность в русской литературе[15].

Такой отзыв был мотивирован несколькими обстоятельствами. Во-первых, «Проселочные дороги» были опубликованы на страницах «Отечественных записок» и тем самым составляли конкуренцию «Львам в провинции» – другому фельетонному роману, написанному И.И. Панаевым для «Современника». Общность приемов в реализации событий и мизансцен, карикатурность характеров и сходный памфлетный характер сюжета произведения неоднократно обсуждались современниками. Во-вторых, несмотря на более чем очевидный выпад в сторону Аполлона Григорьева (один из героев – писатель-неудачник Аполлон Егорович Дрянков), роман был тепло встречен обозревателем «Москвитянина» Е. Эдельсоном, увидевшим в новом произведении Григоровича обилие «свежих и новых типов». Появление «Проселочных дорог» было интерпретировано редакцией журнала как свидетельство ослабления позиций натуральной школы, что не могло не вызвать ответной реплики «Современника»[16]. Наконец, «Проселочные дороги», завершенные Григоровичем в 1851-м году, из-за цензурных перипетий увидели свет только в 1852-м году, начало которого было ознаменовано смертью Н.В. Гоголя. Роман, сосредоточенный на похождениях провинциальных авантюристов, небезосновательно обвиняли в подражательности, а его сюжет – в мелочности содержания. Так, в той же статье «Современника» упоминался параграф из «Истории испанской литературы» Дж. Тикнора, посвященный второму тому «Дон Кихота». Тикнор писал об эпигоне Сервантеса Фернандесе де Авелланеда, позаимствовавшем героя и общую сюжетную канву оригинального произведения для

[14] После «Проселочных дорог» сотрудничество Краевского и Григоровича продолжится. В 1855 году он опубликует в «Отечественных записках» своих «Переселенцев».

[15] Современные заметки // Современник. 1852. № 3. С. 31.

[16] См. об этом: «Современник» против «Москвитянина». Литературно-критическая полемика первой половины 1850-х годов / Изд. подгот. А.В. Вдовин, К.Ю. Зубков, А.С. Федотов. СПб.: Нестор-История, 2015.

своего переложения. В этом контексте Григорович становился в один ряд с Л. Ширмом, К. Масальским, А.Е. Ващенко-Захарченко и многими другими подражателями своего признанного гением современника. При этом сам Григорович об этой параллели не упоминал, объясняя свой источник вдохновения чтением Диккенса: «Я взял форму, сходную с формою Пиквикского клуба, – форма, как вам известно, самая невинная, но вместе с тем и самая выгодная для этого рода повестей»[17].

Обозреватель «Отечественных записок» в начале 1853 года пытался указать на сильные стороны романа, сочувственно описывая неудачу писателя:

Он хотел подражать «Пиквикскому клубу» Диккенса, и представил нам ряд сцен из нашего быта, как Диккенс представил много сторон английского общества, воспользовавшись путешествием своего знаменитого археолога, но более привлекательного добряка – Пиквика. Может быть, оттого, что Григорович слишком понадеялся на юмор своей наблюдательности, может быть и оттого, что, читая роман г. Григоровича, часто вспоминаешь оригинал – Диккенса; может быть, и вследствие отсутствия завязки роман его не произвел того впечатления, которое должен был произвести по множеству верно подмеченных сторон нашей жизни и по многим характерам, верно задуманным и отчетливо исполненным. <...> Вся тяжесть и требовательность внимания читателя легли на умение автора создавать характеры, и при отсутствии быстрого действия и интриги, требования эти сделались гораздо строже; не довольствуясь тем, что во всех сценах много меткой наблюдательности, что сцены эти верны действительности, многие требовали постоянной художественной выработки характеров, чего не представил нам еще ни один русский роман, задуманный в таких больших размерах[18].

Завершив работу над произведением, писатель не стремился его переделать и исправить: из «Отечественных записок» роман перешел в отдельное издание 1852-го года и в неизменном виде продолжал печататься вплоть до смерти Григоровича в 1899-м году. Тем более симптоматичным кажется обращение писателя к одному из магистральных образов своего произведения на страницах его идиллического рассказа «Пахарь» (1856):

Надо вам сказать: я с детства чувствую особенное влечение к нашим русским проселкам. Если судьба приведет вам когда-нибудь случай ехать по России, если при этом вам спешить некуда, вы не слишком взыскательны в отношении к материальным условиям жизни, а главное, если вам страшно наскучит город, советую чаще сворачивать с больших дорог: большие дороги ведь почти те же города! Это бесконечно длинные, пыльные и пустынные улицы, которыми города соединяются между собою; местами та же суета, но уже всегда и везде убийственная скука и однообразие. <...>

То ли дело проселки! Вы скажете: поэзия! Что ж такое, если и так? И наконец, если хотите знать, поэзия целой страны на этих проселках! Поэзия в этом случае получает высокое значение. Правда, вам не предложат здесь баранков, вы часто исходите целую деревню и не найдете самовара; не увидите вы здесь ни пестрых столбов, ни ветел, ни станций; не вытягиваются проселки по шнуру; не трудился над ними инженер – все это совершенная правда: их попросту протоптал мужичок своими лаптишками; но что ж до этого! Посмотрите-ка, посмотрите, какою частою, мелкою сетью обхватили они из конца в конец всю русскую землю: где конец им и где начало?... Они врезались в самое сердце русской земли, и станьте только на них, станьте – они приведут вас в самые затаенные, самые сокровенные закоулки этого далеко еще не изведанного сердца.

---

[17] Вокруг романа «Проселочные дороги»: переписка Д.В. Григоровича и А.А. Краевского 1850-1852 годов. С. 155.

[18] Русская литература в 1852-м году // Отечественные записки. 1853. № 1. С 19.

На этих проселках и жизнь проще и душа спокойнее в своем задумчивом усыплении. Тут узнаете вы жизнь народа; тут только увидите настоящее русское поле, с тем необъятно-манящим простором, о котором так много уже слышали и так много, быть может, мечтали. Тут услышите вы впервые народную речь и настоящую русскую песню, и, головой вам ручаюсь, сладко забьется ваше сердце, если только вы любите эту песню, этот народ и эту землю!...[19]

Этот фрагмент, тяготеющий по своей выразительности к лирическим местам «Мертвых душ» и близкий по форме к стихотворению в прозе, свидетельствует о концепции романа, который *хотел*, но не смог написать Григорович.

Для истории русской литературы «Проселочные дороги» важны как некоторая веха в эволюции крупного эпического жанра. Продолжая вектор, заданный романами И.А. Гончарова и А.И. Герцена, Григорович предпринял попытку расширить сюжетное пространство ordinary, simple story, предпочтя интенсивной работе над стилем и архитектоникой, экстенсивное развитие фабулы.Поэтому признанные подражательными при жизни Григоровича и замеченные в дальнейшем немногими читателями (З. Гиппиус и В. Розановым) «Проселочные дороги» позволяют составить представление о пути развития крупного эпического жанра, с одной стороны, с другой же – составить представление о развитии русской литературы в начале 1850-х годов. В этом свете особое значение приобретает современное издание этого произведения и его переосмыление.

В 2022-м году в рамках инициативного проекта, поддержанного РНФ, мы подготовили текст романа в современной орфографии. Этот текст доступен на официальном сайте ИФЛ СО РАН, в стенах которого и выполнялся настоящий проект.

А.Е. Козлов

[19] *Григорович Д.В.* Пахарь // Григорович Д.В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1988. С. 10-11.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I.
Ханские Пруды

В одно прекрасное майское утро... (Мне, признаться сказать, очень не нравится такое начало; но так как принято уже некоторым образом начинать с этой фразы большую часть романов и повестей, я не хотел отступать от общего правила)... Итак, в одно прекрасное майское утро ехал тарантас, запряженный тремя клячами. Нельзя наверное определить, в какой полосе совершалось это достопримечательное событие; проселок терялся с обоих концов Бог весть куда; легко могло статься, что он начинался у Оренбурга и, цепляясь, как водится, с другими проселками, пропадал у прусской границы. Но не в этом дело: дело в том, что в тарантасе сидели три особы женского пола, которых, по тучности тела и особенно зрелым летам, можно было принять за трех матерей семейств. Ничего, однако ж, не могло бы быть опрометчивее такого предположения: все три путешественницы были девицы, девицы Кокуркины, или, вернее, барышни Кокуркины, потому что так преимущественно называли их в уезде.

Они сидели в следующем порядке: старшая и младшая расположились на дне тарантаса; средняя, но, тем не менее самая толстая, похожая как две капли воды на откормленного дрозда, увеличенного в полторы тысячи раз, занимала целиком переднюю сидейку; упершись спиною в спину кучера, коленями в колени сестер, она придерживалась могучими руками то за один край кузова, то за другой, смотря но тому, шла ли дорога гладкая или шероховатая. Такая предосторожность не всегда, впрочем, помогала: часто кочка или камешек, подвернувшийся под колесо, сообщали такое жесткое движение передней сидейке, что Вера Андреевна (так звали среднюю Кокуркину) летела стремглав на дно кузова, причиняя этим каждый раз сильное расстройство чепцу старшей сестры - сморщенной пятидесятилетней девы, покрытой почтенною сединою.

Тарантас со своим опущенным кожаным верхом походил в эти минуты как нельзя больше на сморщенную пасть старого кита, который употреблял всевозможные, но тщетные усилия, чтоб проглотить трех барышень; огромная медная скобка, сверкавшая в многочисленных складках порыжевшего и ветхого кузова, изображала чрезвычайно верно глаз рассвирепевшего чудовища; дряхлый кучер, как бы испугавшись страшного события, постигшего барышень, принимался тогда хлестать без милосердия кляч, озирался со страхом назад и хотел, казалось, оторваться с передними колесами от тарантаса, чтоб умчаться за тридевять земель.

Несмотря на частые толчки, несмотря на жар, тесноту и неудобство помещения, лица трех барышень сияли совершеннейшим удовольствием. Они ехали в гости, и ехали - нужно сказать - на праздник, в один из самых веселых домов уезда. Разговор их, оживленный предстоящим торжеством и удовольствиями, тянулся без умолку в продолжение всей дороги. Барышни говорили все вместе, и часто речь их дребезжала так звонко, что пристяжные невольно приостанавливались и болтали ушами, как бы отбиваясь от мух и оводов.

- Что ж ты, Кузьма? пошел, пошел! - восклицали тогда барышни, выглядывая из-под кузова и нетерпеливо устремляя глаза на пропадавшую впереди дорогу. - А что? не видать еще рощи?..

- Нет: за бугром будет видно, - отвечал обыкновенно кучер, мрачный, костлявый драбант, заключенный в сером армяке своем, как сухая горошина в сухом стручке.

Он дергал вожжами, лениво помахивал кнутом: кони натягивали веревочные постромки, и тарантас снова катился, покрякивая и подпрыгивая по проселку.

Таким образом взъехал он на бугор, с которого можно было различить вдалеке рощу.

Тут барышни приказали Кузьме остановиться и начали поочередно вылезать из тарантаса. Следовало, как водится, осмотреть заблаговременно туалет и оправиться.

- Постой, Вера, я обтяну тебе платье, - сказала старшая сестра, суетясь вокруг средней. - Ух! сколько пыли... э... э!.. ведь я же говорила, надо было закутать платком голову. Повернись ко мне... еще, еще... так. Ох, Боже мой, Боже мой! пелеринка-то как измялась! - присовокупила она, заботливо качая головой и поправляя исполинский розовый бант на мощной груди Верочки, которая пыхтела и отдувалась как индейский петух.

- Ну, Надежечка, теперь твоя очередь, ангел мой! - нежно воскликнули обе сестры, обращаясь к младшей, которой только что минуло тридцать три года, а именно в Фомин понедельник. Одна начала разглаживать ей тщедушные бандо рыжеватых волос, прилепленные помадою к вискам и искусно скрывавшие места, где начинали показываться сухие морщинки; другая усердно сдувала ей пыль с ресниц и шеи, украшенной черной бархатной ленточкой.

- Ну, теперь хорошо! - сказали обе сестры, отходя немного в сторону, чтоб удобнее полюбоваться на свою любимицу, которая стояла, сжав губы и скромно опустив глаза, - прекрасно! садись, душечка, ангел наш; смотри только, не оступись и не зашиби ножку! - заключили они, подсаживая Надеженьку, которая, ступив на подножку, чуть было не опрокинула тарантаса на сестер.

- Настоящая невеста! - заметила старшая, нежно взглянув на Наденьку.

- Невеста! невеста! - восторженно повторила Вера Андреевна.

- Что это вы сестлицы... я еще не хоцу замузь... - произнесла Наденька, пришепетывая и стыдливо опуская глаза.

- Ну, хорошо, хорошо! - возразили сестры, лукаво подмигивая друг другу.

Они сели в тарантас, крикнули: «пошел, Кузьма!» и поехали далее. Вскоре тарантас очутился на перекрестке. Несмотря на страшную путаницу дорог, сбившихся в этом месте, как паутина, тарантас смело выбрался из лабиринта и свернул направо. Не мешает заметить, что трем барышням, их кучеру и даже трем клячам так хорошо была известна дорога, что все они достигли бы цели своей поездки с завязанными глазами. Благодаря, впрочем, тонкой предусмотрительности владельца дороги, один безграмотный, да и то разве в том случае, если б он принадлежал к другому уезду, мог сбиться с пути. На перекрестке воздвигался белый столб с прибитою наверху вычурною доскою; изображенная на доске рука выразительно указывала на надпись: «Дорога в Ханские Пруды». Немного погодя показался другой столб, но уже каменный, с тою же надписью; вся разница заключалась в том, что надпись казалась вылетавшею из клюва фантастической птицы, намалеванной на белом циферблате.

На этом месте проселок начинал опускаться в широкую безграничную лощину, устланную лугами и пашнями. Коричневые клинья только что запаханного пара, перерезанные ярко-зелеными полосами ярового хлеба, сбегали со всех сторон на дорогу. Теплый пар из земли застилал легким фиолетовым туманом глубину лощины и, сглаживая резкости постепенно приближавшихся планов, придавал какую-то особенную сквозноту и свежесть картине. Грохот и бряканье тарантаса подымали поминутно целые тучи весенних птиц; песнь жаворонка, овсянки, пеночки, треск кузнечика и этот ничем не определенный шелест, подымающийся в поле около полудня, наполняли воздух. Все вокруг улыбалось и глядело как-то весело...

Но веселый вид майского утра ровно ничего не значил в сравнении с ликовавшими лицами трех барышень, ехавших в тарантасе. Тут нет, впрочем, ничего удивительного: ведь часто же случается встречать посреди глухой осени светлые и улыбающиеся дни, которые, право, лучше иных весенних.

- Пошел же, Кузьма! Что ж ты стоишь? погоняй!.. - кричали сестры попеременно, а иногда все вместе; причем шеи их вытянулись из-под кузова, а глаза жадно устремлялись в глубину живописной лощины.

Минула верста, и новый столб в виде каменного обелиска возвестил красноречиво, что до Ханских Прудов оставалась всего одна верста.

Действительно, можно уже было различать сад, часть деревни, лепившейся по косогору, и, наконец, мало-помалу между головастыми ветлами, плотно обсаженными вокруг зеленого берега, сверкнули самые пруды. Ханские Пруды, по мере приближения к ним, принимали какую-то фантастическую физиономию, вовсе несвойственную обыкновенным поместьям. Можно было подумать, что подъезжаешь к волшебному замку или, по крайней мере, к губернскому городу. Так, например, высокий деревянный забор, окружавший сад, казался издали рядом великолепных зданий; выбеленный мелом и исполосованный узорами, забор этот был увенчан на всем своем протяжении остроконечными и круглыми выступами в виде кровель; бесчисленное множество окон, дверей, ворот, сводов всех возможных архитектур и вкусов, которые были намалеваны на заборе, довершали обман. Но всего более был бы озадачен путешественник, если б привелось ему очутиться между двумя пирамидами, которые украшены были арабесками пестрого, но неопределенного содержания, и обозначали въезд в поместье.

Перед ним раскрывалась широкая луговина; слева окаймляли ее пруды, перерезанные великолепною плотиной, обсаженной ветлами; справа тянулся ряд зданий, которые как бы служили продолжением известному уже забору; здания эти были облеплены снаружи пестрыми вывесками наподобие зверинца. Конюшни украшались лошадьми и козлами; на фронтоне скотного двора виднелась полосатая корова, которую доила румяная баба; на кровле флигеля, где помещались дворовые, красовался искусно намалеванный кучер, в красной рубашке, с балалайкой в руке, и т. д. Дорога к барскому дому шла через плотину; подле самого спуска воздвигалась новая пирамида; четкие надписи, смотря по тому, куда смотрели они – на восток, на юг, север или запад, возвещали, что от Ханских Прудов до Кавказа 1,800 верст, до Италии 2,100, до Петербурга 1,200, до Парижа 2,843. Когда барышни въехали на плотину, на прудах показалось стадо лебедей; но барышни не обнаружили никакого удивления; как частые гостьи Аристарха Федоровича Балахнова (так звали владетеля Ханских Прудов), и притом почти домашние люди, невольно посвященные в некоторые тайны, они знали в совершенстве, что стадо лебедей, живописно плавающее в отдалении, состояло из деревянных чучел, пущенных так только, для вящего эффекта.

Миновав плотину, тарантас поднялся в кручу и покатил по деревне. Огромный колодезь, с зеленою крышкой и какою-то сложною шестернею для подъема воды, возвышался на самом видном месте: красивая баба, выпиленная довольно искусно из досок, стояла у колодца и, улыбаясь проезжим, черпала воду. Избушки не отличались, впрочем, ничем особенно замечательным, кроме, разве, того, что крыши выкрашены были красною краской.

Сам помещик, Аристарх Федорович Балахнов, жил безвыездно в своем поместье. И если деревянные заборы, выкрашенные под яшму и мрамор, готические окна, минареты, дощатые пирамиды и обелиски отзывались легким обманом, так, стало быть, сам владелец находил удовольствие обманывать самого себя.

Пора, однако ж, обратиться к тарантасу, который въезжает между тем в березовую аллею, ведущую к барскому дому.

- Тише, Кузьма! держи лошадей! тише! - воскликнула старшая барышня, поправляя чепец. - Кто это?.. - посмотрите, сестрицы... чей это экипаж едет впереди?

- Постойте... кто же это?.. - проговорили остальные сестры, вытягивая шеи и жмуря глаза.

- А! это Кошкины!..

- Что вы, сестрица?.. Ах, да, и в самом деле...

Тут они принялись суетливо обдергивать платья, поправлять косынки и дуть друг другу на ресницы; секунду спустя барышни сидели чинно, не обнаруживая никакой суетливости. Тарантас въезжал уже на широкий двор барского дома.

В наружности дома не было ничего достойного особенного внимания; это было обширное деревянное здание в два этажа, с мезонином наверху и двумя крыльцами по концам, между которыми из-за решетки выглядывало несколько растений. Стены выкрашены были темно-желтою краской, кровля и купол мезонина – ярко-зеленой.

Тарантас Кокуркиных не мог тотчас же подъехать к дому и должен был выждать, пока экипаж, опередивший его, высадит своих владельцев.

Прежде всего выпрыгнул из него маленький, сухопарый господин в коричневом пальто и золотых очках.

- Дома Аристарх Федорыч? - спросил он, повертываясь к лакеям, стремглав вылетевшим на крыльцо.

- Дома-с, - почтительно ответили лакеи, бросаясь кто в дом для доклада, кто к экипажу.

- Выходи, душенька: дома! - сказал господин в золотых очках, протягивая руку щегольски одетой барыне.

Барыня порхнула на подъезд и, сделав вид, как будто не замечает сидевших в тарантасе, поспешила в дом, сопровождаемая мужем и лакеями.

- Видели, сестрицы? Даже не повернулась в нашу сторону, гордянка этакая! Дормидон! Авдей! Петр! - крикнули Кокуркины вслед лакеям.

Но так как никто не откликнулся, то они поневоле должны были сами, без посторонней помощи, вылезть из тарантаса.

Вступив в переднюю, барышни столкнулись с Кошкиными, которые не успели еще раздеться.

- А, барышни! это вы? - воскликнул господин в очках, обнаруживая на кисловато-желтом лице своем приятное удивление.

- Мы никак не думали, что вы едете за нами, - сказала его супруга, приветливо улыбаясь.

- А мы так давно вас заметили, Анна Васильевна. Здоровы ли вы? Как здоровье ваших милых деток? - произнесли наперерыв сестры, обступая даму.

- Благодарю вас...

- Ну, mesdames, пойдемте, пойдемте слушать новости, - перебил Кошкин, ударяя на последнее слово и бросая значительный взгляд жене.

Лакей отворил двери прихожей, и вся компания, свернув вправо из темного коридора, разделявшего дом на две половины, вступила в большую залу, оклеенную обоями и обставленную соломенными стульями. Гости были уже посредине залы, когда навстречу им вышел сам хозяин.

- Вот, легки на помине! А мы только что о вас говорили... Madame, j'ai l'honneur... Здравствуй, душа моя! Семен Семеныч! - воскликнул Аристарх Федорович, ускоряя шаг и раскрывая объятия. - Благодарю, друг, что не забыл завтрашнего дня, благодарю! (Тут Балахнов радостно обнял и облобызал Кошкина). Барышни, привет мой вам и поклон! - заключил он, закидывая назад голову и посылая рукою приветливый знак трем барышням.

- Аристарх Федорыч, - заговорили восторженно две старшие сестры, отвечая подобострастным поклоном, - поздравляем вас с наступающим днем вашего рождения; желаем вам всего, всего... желаем от всего сердца счастия и благ земных... - присовокупили они, подталкивая вперед Надеженьку.

Надеженька робко выступила вперед, хотела что-то пролепетать, но замялась, зарделась, опустила глаза и сделала книксен.

- Благодарю, благодарю! - самодовольно произнес Аристарх Федорович, посылая им вторично приветливый знак рукою.

- Позволь же и нам поздравить тебя, любезный друг, - сказал Кошкин, - к несчастью, барышни сказали тебе все, и нам ничего не оставили...

Балахнов взял протянутую к нему руку, пожал ее крепко-крепко и улыбнулся с выражением человека глубоко тронутого.

- А, кстати: сколько минет тебе лет завтра? - спросил Кошкин, поправляя очки на своем крошечном сморщенном носике.

- Сорок, братец, - отвечал развязно Балахнов, - сорок лет! Эпоха возмужалого возраста, эпоха седых волос и горестного разочарования на пути жизни! - прибавил он с любезностью, не лишенною, однако ж, некоторой торжественности.

Но Балахнов ошибался, говоря, что ему было сорок лет. Он доживал уже сорок девятый год, если не пятьдесят первый. Несмотря на эпоху седых волос и горестного разочарования на пути жизни, как красноречиво он выразился, физиономия его находилась еще в довольно цветущем состоянии. Видно было, однако ж, что горькие опыты и происшествия жизни посещали когда-то Аристарха Федоровича; каждое событие, казалось, нашло особенное удовольствие положить на лице его память о себе. Разрушенные мечты и надежды ясно отпечатлевались в его серых, несколько холодных и задумчивых взорах; неудачи и внутренняя борьба на выборах (в которых принимал он постоянно самое живое участие) обозначались выразительною, продольною морщиной на высоком лбу, которому позавидовал бы любой дипломат. Балахнов был высок ростом, статен, не носил усов и бакенбард и чуждался, по-видимому, украшений, служащих только к обременению тела; он был без галстука, с длинными откидными воротничками рубашки à l'enfant, обнажавшими шею, не уступавшую в белизне и гладкости столь прославленной шее лорда Байрона. Архалук из термаламы, открытый сверху на белоснежной манишке и ловко обхватывавший талию, легкие летние панталоны составляли его одежду. Редкие белокурые волосы Аристарха Федоровича были всегда тщательно завиты; выбрит он был отлично. Наружность его вообще отличалась какою-то представительностью, чем-то таким, что невольно возбуждало к нему уважение самых мелких соседей. Мы забыли сказать, что, когда Аристарх Федорович улыбался, из-под тоненьких губ его сверкал ослепительный ряд белых зубов отличной работы. В бытность свою в Москве, он заплатил за них очень дорого; сам Вагенгейм ручался за их доброкачественность... Можно бы еще представить несколько замечаний в этом роде, касающихся его личности, но уж мы пропустим их без дальнейшего обзора до другого, более удобного случая.

- Mesdames, гостиная раскрывает перед вами свои объятия! - произнес Аристарх Федорович, раскланиваясь любезно дамам.

Он отступил шаг назад, обхватил рукою спину Кошкина и последовал за дамами, которые гуськом потянулись в гостиную.

В гостиной сидели... Но прежде не мешает сказать два слова о самой гостиной: большая комната, перегороженная решетчатыми ширмами, обтянутыми позади дерева розовою тафтой; против ширм два широкие окна, обвитые плющом, и стеклянная дверь на террасу, с которой, по произволу, можно спуститься в сад или любоваться видом дорожек и прудом с плавающими на них крашеными лебедями. Мебель, обтянутая шелковой красной материей, напоминает гостинодворского Гамбса в Москве. Направо от ширм висит в золотой раме картина, изображающая роскошную нимфу, которая как бы служит продолжением известной руки, намалеванной на известном столбе, украшающем известную уж дорогу; хозяин, а за ним, разумеется, все уездные знатоки утверждают, однако ж, что это Тициан лучшего времени. Мудреного ничего нет, потому что нимфа досталась Аристарху Федоровичу по прямой линии от деда и бабки, а дед и бабка были люди недюжинные, что и явствует из двух портретов, изображающих господина и госпожу с немного косыми, но улыбающимися физиономиями, которые украшались напудренными париками.

Но портреты висят в кабинете Аристарха Федоровича, и нам покуда нет до них никакого дела.

На кушетке, прислоненной к ширмам, «полулежала» хозяйка дома Лизавета Семеновна... Я никогда но имел счастия посещать аристократические салоны, и потому смело пускаю в ход выражение, употребляемое благополучными моими собратами по

литературе, которые описывают большой свет и, следовательно, должны знать лучше меня все его свычаи и обычаи - им и книги в руки... Итак, хозяйка полулежала на кушетке; в одной руке ее был батистовый платок, другою обнимала она двух детей; был еще третий ребенок, но он сидел у ног Лизаветы Семеновны, обутых в торжковские туфли. В наружности Лизаветы Семеновны было действительно что-то привлекательное. Она была худощава, задумчива и бледна, как восковая фигура. Плавность и медленность движений, утомление в чертах и во взорах - словом, все подходило, как нельзя лучше, под стать героиням, которых так любят изображать вышеупомянутые мои собраты-писатели.

Она говорила несколько в нос и протяжно; обстоятельство это довершило бы окончательно сходство, если б все сказанное нами не касалось исключительно одного внешнего впечатления, производимого наружностью Лизаветы Семеновны. Стоило прожить день в доме Балахнова, чтобы убедиться, что она нимало не обнаруживала в себе аристократических качеств, какими снабжают обыкновенно героинь известных повестей и романов: оказывалось на поверку, что это была женщина самая простая, скромная, добродушная, отличавшаяся полнейшим отсутствием так называемых светских прелестей и очарований. Балахнова принадлежала к числу тех тихих и сердечных женщин, для которых вся жизнь, все счастье - подле родного очага, в тесном кругу родных и детей; каждому мало-мальски наблюдательному человеку сделалось бы очевидным, что наружные признаки барыни были ей невыносимо тягостны и появлялись как неизбежная дань требованиям Аристарха Федоровича, полагавшего, что полулежачее состояние на кушетке, батистовый платок в правой руке и т. д. составляют главную несомненную принадлежность каждой светской дамы. Усилия бедной женщины казаться любезною с многочисленными гостями, наполнявшими безвыездно дом мужа, напряженное внимание и участие, сквозь которые невольно проглядывала тоска и усталость, показывали, что не было малейшего сродства между нею и обществом, которым любил окружать себя Аристарх Федорович. Мирная, семейная жизнь была её назначением; но что же прикажете делать? Аристарх Федорович любил жить открыто, любил принимать гостей и требовал, чтобы жена не только блистала между помещицами своего уезда, но даже затмевала их своим аристократизмом. Надо было уступать ему и, как говорят, французы, faire bonne mine à mauvais jeu.

Подле нее, поджав ножки, сидела компаньонка, тридцатилетняя девица Розалия Владимировна Сараманаева. Все в ней было как-то коротко, кругло и крупно: лицо, нос, голова, талия, руки и даже глаза - водянистые, но страстно-томные, поминутно закатывавшиеся к потолку. Гостиная, в которой тишина прерывалась отдаленным щелканьем бильярдных шаров, раздававшихся где-то в другой комнате, наполнилась восклицаниями, как только гости переступили порог залы.

- Mesdames, как я рада... - сказала Лизавета Семеновна, протягивая руки г-же Кошкиной и стараясь придать своему лицу самое веселое выражение. - Что это, как давно вас не видать!.. - продолжала она, обращаясь приветливо к трем Кокуркиным, которые целовались с девицей Сараманаевой. - Здравствуйте, Семен Семеныч, - заключила Балахнова, принужденно касаясь губами к желтой, сухощавой щеке Кошкина, который целовал усердно ей руки.

Встретив взгляд мужа, следивший во все это время за всеми ее движениями, Лизавета Семеновна поспешила усадить подле себя жену Кошкина и еще приветливее улыбнулась трем барышням, которые принялись хором восхищаться детьми, как будто видят их в первый раз.

- А где же Володя? - спросил Аристарх Федорович, когда общество успокоилось и уселось.

- Он, кажется, в детской, книжку читает, - сказала девица Сараманаева, вращая своими глазами, круглыми, как глаза совы.

- Удивительный мальчик! - воскликнул Аристарх Федорович, дергая за колокольчик, - день-деньской сидит за книгами, оторвать трудно! Позвать сюда Владимира

Аристарховича! - прибавил он, обращаясь к вошедшему лакею. - Да вот как, я вам скажу, продолжал Балахнов: - раз была у нас елка, этому три года; детей было множество; предоставлялось каждому выбирать игрушки: кто за барабан, кто за лошадей, кто за солдатиков; ухватился мой Володя за азбуку с картинками, не разлучался с ней весь вечер и даже лег с нею спать...

- Ах, Боже мой, в такие лета!., что это за прелестный и умный ребенок! - проговорили в один голос Кокуркины.

- Конечно; но в его лета такая страсть может быть пагубою, - заметил г. Кошкин, поправляя локоны черненького прилизанного парика и обращаясь с приторною улыбкой к хозяйке дома, - раннее развитие истощает силы ребенка; ему надо хорошенько набегаться, нарезвиться...

- Я сам того же мнения, братец, и не раз говорил жене; но что прикажешь делать с этими дамами! - сказал Аристарх Федорович, перегибая через кушетку женину руку и целуя ее несколько раз сряду.

- О-ох, все маменьки таковы! - заметил Семен Семенович, посылая нежный взгляд жене, которая ответила ему кислою улыбкой.

Вместо возражения Лизавета Семеновна отвернулась от г. Кошкина и начала разговаривать с соседкой.

В эту минуту в гостиной появился мальчик лет восьми. Худощавое лицо его, бледное и гладкое, как слоновая кость, отличалось необыкновенною правильностью и было схоже как две капли воды с лицом его матери: та же чистота и нежность линий, та же доброта в очертании губ, и только глаза ребенка, черные и глубоко-заключенные в своих впадинах, отражали энергию и смелость, каких не видно было в тусклом и тихом взоре его матери. Мальчик был жидок и прям, как тростинка; черная суконная курточка и белые как снег воротнички рубашки, обозначая еще резче матовую белизну его длинной шеи, придавали всей физиономии ребенка что-то невыразимо милое и привлекательное.

- А! рекомендую вам, mesdames, восьмилетнего ученого и будущего владетеля Ханских Прудов! - произнес Аристарх Федорович, самодовольно указывая на сына.

- А! - воскликнул Кошкин и вслед за ним Кокуркины и госпожа Кошкина.

Услышав такое приветствие, мальчик поклонился гостям, но не тронулся с места и обнаружил легкое смущение.

- Здравствуй, Володя; подойди, душенька, ко мне; разве ты не узнал меня? - сказал Кошкин, улыбаясь.

Мальчик не тронулся с места, взглянул на мать, которая кивнула ему головою, и поклонился во второй раз.

- Нет, он просто не узнаёт меня. Вот как скоро забывают друзей! - произнес Кошкин с наивным сожалением и шутливо покачал при этом головою. Володя, без дальних объяснений, сделал шаг вперед, чтобы приблизиться к матери, но взгляд отца приковал его на месте. Лицо ребенка покрылось румянцем; он робко опустил глаза и молча принялся целоваться с гостями. Когда очередь дошла до Кошкина, нужен был второй взгляд отца, чтоб заставить Володю подставить свою щеку к синеватым губам Семена Семеныча. Исполнив это с очевидным неудовольствием, мальчик тотчас же направился к кушетке и, обвив руки матери, скрылся за ее спиною.

- Ну, что? как? откуда? отчего? что нового?.. - послышалось вдруг батальным огнем.

Вопросы эти, приправляемые кой-какими взглядами и улыбками, обращались преимущественно к Кокуркиным.

- В село Голодаевку приехал наконец новый помещик, - начала Варвара Андреевна, старшая Кокуркина, вынимая из ридикюля вязанье.

- Ба! Когда ж он приехал? - спросили в одно время Кошкин и Балахнов. Взгляды последнего сделались по-прежнему чрезвычайно мягки и любезны.

- Во вторник, на прошлой неделе, - подхватила Надеженька, подталкиваемая сестрами, которые, очевидно, употребляли все средства, чтоб выставлять ее вперед.

- Утром, в двенадцать часов, - перебила средняя сестра, которая успела уж усесться за особым столом с младшими детьми Балахновой и делала им петушков из «Губернских ведомостей».

- Что это вы, сестрица, слова не дадите сказать? что это у вас за привычка? - произнесла старшая, Варвара Андреевна, поворачиваясь к столу, где делались петушки.

- Ну-с, Варвара Андреевна, что ж это за человек? Что говорят, по крайней мере? Во-первых, скажите нам, кто он такой? - спросил Балахнов, сдерживая улыбку.

- Фамилия его Бобохов... у него десять миллионов! - подхватила средняя сестра.

- Что это вы, в самом деле, сестрица? - заметила опять с укором Варвара Андреевна.

- Виновата, сестрица, виновата.

- Во-первых, - начала Варвара Андреевна, - нужно вам сказать, что он богач страшный, зовут его Иван Дормидоныч; служил он, говорят, где-то в полку, но служил недолго и вышел в отставку...

- Корнетом, - подхватила Вера Андреевна, подымая голову.

Варвара Андреевна строго взглянула на сестру.

- Ба! так, стало быть, он еще молодой человек? - спросил Аристарх Федорович.

- Молодой человек и, говорят, красавец.

- И не женат?

Девица Сараманаева притаила дыхание.

- Какой женат! Ему всего, сказывали мне, двадцать пять лет, а уж как богат -восемь миллионов!

- Десять, сестрица!

- Нет, восемь!

- Поверьте мне, десять! Мне говорил это приказчик Фанагории Петровны, который очень хорошо знает дела Бобохова...

- Ну, это почти все равно, десять ли миллионов, восемь ли... состояние прекраснейшее... Кто-ж был его отец? Бобохов... Бобохов... я что-то не помню этой фамилии, - пробормотал Аристарх Федорович, значительно подымая брови.

- И не припомните, Аристарх Федорович; отец его был просто купец.

- Совсем не купец, сестрица... Как бишь их... Ах, Боже мой!.. Ну, вот, что серебро и золото добывают?..

- Сами не знаете, а перебиваете! - заметила Варвара Андреевна, поворачиваясь спиною к сестре. - Просто купец, купец, который торговал железною и медною рудою... Первый, говорят, был богач во всей Сибири.

- Все это прекрасно, - возразил недоверчиво Кошкин. - Но, согласитесь сами - восемь миллионов... тут нет ли чего-нибудь такого...

- Помилуйте, Семен Семеныч, - продолжала старшая Кокуркина, - могу вас уверить, что это истинная правда: управитель Фанагории Петровны знает очень хорошо его семейство; одних процентов, говорят, старуха-мать Бобохова получает из Опекунского Совета триста тысяч.

- А! так вот что! Тут, стало быть, и мать есть... Ну, в таком случае восемь миллионов принадлежат, может быть, покуда еще ей, а не сыну.

- Точно, Аристарх Федорович, отец все завещал ей; но из всех детей (у нее было девять человек) наш новый сосед - ее любимец; она, говорят, ни в чем ему не отказывает. Уж как, говорят, живет: помните дом в Голодаевке - узнать нельзя; мы проезжали мимо: везде подмостки, везде стройка. На уборку одного дома пошло, говорят, пятьдесят тысяч! Сказывали, театр построил; привез с собою целый оркестр музыкантов.

- Уж эти parvenus! - сказала Анна Васильевна Кошкина, презрительно отворачивая голову. - Сын какого-нибудь купчишки, а тоже хочет разыгрывать роль grand seigneur!

Позвольте поставить здесь скобки и сделать крошечное отступление. Не странным ли противоречиям подвержена душа человеческая? Нам достоверно известно, например, что пять лет тому назад, когда Анна Васильевна Кошкина не была еще замужем, ей и в

голову не пришло бы обнаруживать столько презрения к новоприезжему „parvenu”! Могу ручаться всем, чем вам угодно, что девственное сердце ее забило бы сильнейшую тревогу при одной мысли протанцевать французскую кадриль с Бобоховым. Препятствия со стороны отца и матери (я предполагаю препятствия возможными в том случае, разумеется, если б papa и maman “не наверно” известно было о существовании восьми миллионов), препятствия ровно ничего бы не сделали: дочка влюбилась бы по уши в молодого помещика; мгновенная страсть ее подавила бы в ее сердце все предубеждения, и она восторженно протянула бы свои хорошенькие ручки Бобохову. Все это так справедливо, что даже теперь, когда нельзя было вернуть прошлого и предстояло довольствоваться незначительным состоянием г. Кошкина, весть о прекрасном молодом человеке с восемью миллионами ущипнула за сердце Анну Васильевну. Да вот как: будь она дома, господину в золотых очках не избегнуть бы сцены, уснащенной упреками. И в самом деле, кто велел ему свататься пятью годами раньше? Никто не просил. Его сто пятьдесят душ не диковинка какая-нибудь!

- Что с вами? Не больны ли вы? - спросила Анна Васильевна Кошкина, неожиданно наклоняясь к Лизавете Семеновне, которая прищурила глаза и опустилась на спинку кушетки.

- Нет, ничего; меня беспокоит немножко этот бильярд...

- Позвольте, я тотчас же... кто там играет?.. - произнес Кошкин, вставая с места.

- Не беспокойся, братец; я сейчас позвоню, сказал Аристарх Федорович, дергая за шитый гарусный бандо, висевший подле нимфы, - это потешаются Дрянков и Копков. Ты бы давно сказала, душенька; охота церемониться! - прибавил он, - нежно прикладываясь к жениной руке. - Эй! скажи там, чтоб они перестали играть на бильярде! Ну, а что, Варвара Андреевна, что говорят, каков этот Бобохов, то есть, собственно какой у него характер? Миллионы его, разумеется, недурны; но вы знаете мое мнение: драгоценнее человек без богатства, чем богатство без человека! - заключил Балахнов, торжественно опускаясь в кресло.

- Покуда ничего еще не знаю; впрочем, вы сами его скоро узнаете: он, слышала я, хочет сделать вам первый визит.

- Очень рад, милости просим, - проговорил рассеянно Аристарх Федорович, - что скажешь, Захарыч?!..

С такими словами обратился он к вошедшему толстенькому господину на коротеньких ножках, с стерляжьей физиономией и плоскими, как щепки, волосами, круто зачесанными на висках. Цветной галстук, такой же жилет и поистертый сюртучок травяно-зеленого цвета составляли его одежду. Это был Прокисай Захарыч Копков, бедный однодворец, проживавший из милости в доме благотворительного Аристарха Федоровича. Балахнов, Кошкин и жена его переглянулись и устремили глаза на младшую Кокуркину, которая скромно опустила глаза и зарделась, как только показался проживальщик. Шаркнув правым сапогом и раскланявшись, как подобает всякому учтивому кавалеру, Прокисай Захарыч сделал шаг вперед и замялся.

- Что скажешь, милейший? - повторил Балахнов.

- А что, просто жить нельзя! - воскликнул с комическим отчаянием проживальщик, обнаруживая на старческом лице своем крайнее неудовольствие.

Присутствующие, кроме трех барышень, разразились громким смехом.

- Что ж так? Верно, опять поссорился с Дрянковым? - сказал Балахнов. - Вот, Семен Семеныч, не могут они, братец, жить у меня в ладу; поселились в одной комнате, спят почти вместе, а день-деньской идет перепалка; только и делаем, я да жена, что мирим их... Ну, ну, что у вас там еще?

- Помилуй, Аристарх Федорыч, жить нельзя! - продолжал Копков, делая отчаянные жесты. - Этот проклятый Дрянков проигрывает мне две недели, проиграл мне и сегодня, а платить не хочет... У него, говорит, какая-то шкатулка с секретом; ключ, говорит, потерял, а отпереть ее можно только в Петербурге. Сделайте милость... этак жить нельзя!..

Раздался новый взрыв хохота, в котором по-прежнему не приняли участие Кокуркины.

- Ну, хорошо, хорошо, я поговорю с ним, - сказал Аристарх Федорович тоном человека, который очень доволен тем, что ему и гостям его доставили случай посмеяться. - А насчет Бобохова, - прибавил он, обращаясь к Варваре Андреевне, - скажите, если приведется случай, что я всегда рад принять его; дом мой, как вы знаете, открыт для каждого благомыслящего человека.

- А знаешь ли новость? - перебил Кошкин. - Вера Андреевна сообщает, будто новый наш сосед, несмотря на свою молодость и богатство, скряга отъявленный!

- Э!..

- Так все говорят, - подтвердила средняя Кокуркина.

- Fi, quelle vilenie! - произнесла Кошкина, поворачиваясь к хозяйке дома.

- Что ж тут такого? Я, признаться, ожидал этого, - сказал Кошкин. - О, происхождение и первоначальное воспитание много значат, что там ни говори!

- К несчастью, в наш серебролюбивый век все уступает место туго набитому карману, любезный друг, - возразил с достоинством Аристарх Федорович. - Нынче, посмотришь, богатый фабрикант или мебельщик живет блистательно! О-о-хо-хо. Да, друг, кошелек заменил все... - присовокупил он, бросая грустный взгляд на Тицианову нимфу, напоминавшую ему достославного его деда; а дед Аристарха Федоровича, нужно заметить, был сам чем-то вроде разбогатевшего однодворца. Он подавил новый вздох, обвел значительным взглядом общество, приподнялся со своего места, обнял Семена Семеновича и потрепал его по плечу рукою; затем он подошел к кушетке, нежно поцеловал жену в голову и повлек своего друга из гостиной.

II.
Аристарх Федорович выставляется в настоящем свете. Читатель знакомится с замечательными личностями.

В темном коридоре, разделявшем дом на две половины, находилось множество дверей, которые вели в разные комнаты. В числе этих комнат первое место занимал, по всей справедливости, кабинет Балахнова. Аристарх Федорович хорошо даже делал, что гордился этой комнатой, потому что в ней помещались редкости, в самом деле достойные внимания. Так, например, на тумбе красного дерева, выложенной медными полосками в виде желобков, величественно возносился сапог Карла XII. Читателю, верно, не раз случалось видеть тот же сапог в разных собраниях редкостей, но Балахнов имел основательные причины питать в душе своей твердую уверенность, что сапог, у него находившийся, был подлинник: другие сапоги Карла XII, рассеянные по собраниям редкостей, называл Аристарх Федорович жалкими подделками, возбужденными презрительною и вместе с тем гнусной спекуляцией. Две этрурские вазы, вышедшие из искусных рук братьев Корниловых, страусовое яйцо, окруженное чучелами колибри, зуб мамонта - достославный образчик допотопного животного, найденный случайно крестьянином Иваном Костылевым, пахавшим ниву, прилежащую к землям Ханских Прудов, и множество еще других редкостей, приводивших в справедливое изумление соседей и соседок, окружали стены кабинета. Но человек, которому хотелось бы скорее ознакомиться с самим хозяином, должен был прежде всего обратиться к письменному столу. Посреди стола возвышался в бархатной оправе портрет Балахнова, писанный акварелью. Аристарх Федорович, искусно драпированный в архалук, упирался одною рукою в кипу книг с надписью на корешке «Законы», другая рука его держала сверток пергамента. Откидные воротнички рубашки, обнажавшие шею, открытая грудь и горделивая, полная достоинства осанка придавали всей фигуре что-то такое, что невольно напоминало статуи Летнего сада, изображающие доблестных мифологических героев. Внизу портрета бросалась в глаза надпись: «Стою за правду!!». Стол был завален грудами

бумаг, прижатых множеством пресс-папье, между которыми особенно бросалась в глаза бронзовая Фемида. Кабинет, обставленный пестрою мебелью, отличался простором и выходил своими тремя окнами на известный уже двор.

- Нет, любезный друг, не может быть иначе! - воскликнул с горячностью Аристарх Федорович, продолжая разговор, начатый еще в зале. - Стоял, стою и, пока душа держится в теле, буду стоять за правду. Чувство гнусного, черного лицемерия и шипящей злобы чуждо меня!... Не думаешь ли ты, что я поступаю таким образом из ненависти к этому... нет! Всякому благородному человеку подобает срывать личину и обнажать истину: такова задача всей моей жизни...

- Что ж пишет тебе этот старый чудак? - спросил Кошкин, обнаруживая страстное участие.

- Ха, ха, ха! - разразился Аристарх Федорович тем истерическим смехом, какой зрители Александринского театра слышат каждый раз в третьем действии «Гамлета». - Ха, ха, ха! представь: предлагает мне снова примириться с человеком... с человеком, - повторил Балахнов, переводя одышку, - с человеком, который на днях еще оклеветал меня наигнуснейшим образом...

Кошкин закинул руки за спину, сжал губы и с озабоченным видом принялся расхаживать по кабинету.

- О, люди, люди! Страшно мне за них, любезный друг, Аристарх Федорович! - произнес он, наконец, останавливаясь неожиданно перед Балахновым, - страшно! И в самом деле, как подумаешь, что этот самый Солонеев, что эти самые люди, которые наперерыв теснились в твоем доме, ели твой хлеб, пили твои прекрасные вина, спали на твоих тюфяках - теперь увиваются всячески подле врага твоего, льстят ему и поклоняются!... - прибавил господин в золотых очках, бросаясь отчаянно в кресла.

Он, видимо, был возмущен и вместе с тем тронут черным, неблагодарным поступком общества против Аристарха Федоровича. Кисло-горькое выражение появилось на желтом, болезненном лице Кошкина: он судорожно поправил очки и устремил на друга долгий, полный умиления взгляд. Горькая улыбка тоже бродила на тонких губах Балахнова, но то была улыбка человека, глубоко сознающего свое высокое достоинство, глубоко проникнутого своим превосходством и чувствующего вместе с тем, что свет и люди не оценили его.

- Друг! - воскликнул Аристарх Федорович, заметив слезу сквозь очки Кошкина, - друг, ты мыслишь благородно!...

Он простер вперед руки, Коншин рванулся с кресел, и оба заключили друг друга в объятия.

- Нет! Человек с возвышенной душой должен считать себя выше оскорблений слабого и прощать их! - сказал мужественно Балахнов. - А впрочем, прибавил он, судорожно закусывая губы, - дело еще не решено. Я не унываю: ты, Окатов, наконец... этот Бобохов... может быть, нашего полку еще прибыло, и мы увидим!...

Так как разговор начался в зале и притом сущность его уже некоторым образом известна Кошкину, читатель простит небольшое отступление, необходимое, впрочем, для дальнейшего хода предлагаемой повести.

Дело вот в чем: лет восемь назад, когда еще Ханские Пруды именовались Косыми Журавлями, Аристарх Федорович действительно играл некоторую роль между помещиками своего уезда. Дом его был сборным местом всех соседей и преимущественно тех, которые были побогаче. В числе последних являлся, по какому-то особенному случаю чаще других, некто господин Солонеев, человек истинно порядочный и достойный. Дружба не была, однако ж, продолжительна. Приятели не сошлись в каком-то незначащем пункте, повздорили и расстались. Сказывали, впрочем, будто Солонеев перестал ездить в Ханские Пруды единственно потому, что раскусил, наконец, Аристарха Федоровича; но дело вовсе не в посторонних толках и доводах. Ссора эта не имела бы, по всем вероятиям, никаких последствий, если б она произошла, например, хоть в Петербурге: там

поссорившихся приятелей предоставили бы на волю судьбы, и это самое могло бы легко способствовать к их примирению; но в провинции, благодаря живому и вполне радушному участию, какое обнаруживается к чужим делам, все пошло иначе. Мало-помалу задушевные тайны, сообщаемые когда-то приятелями друг другу, переходя из уст в уста, распространились с быстротою зажженного пороха по всему уезду. Загорелась война, и война страшная. От личных объяснений, преисполненных желчи, перешли к письменным объяснениям, не лишенным задирающего красноречия. Но этого только и добивался Балахнов. Делу стоило принять письменный оборот, чтоб доставить ему полное торжество над врагом своим. Никто не владел пером лучше Аристарха Федоровича, не говорю в уезде, но даже в целой губернии. Юмор, тонкие, двусмысленные намеки, заключающие в себе часто три и даже четыре смысла разом, природный дар элоквеции, глубокое изучение официальной формы, как скоро касалось деловой бумаги, – все соединялось в этом необыкновенном человеке. Владея такими средствами, Балахнов мог, разумеется, сокрушить самого лютого борзописца. Так и случилось: Солонеев замолк. К полному торжеству Балахнова присоединилось еще и то, что многие соседи, не любившие Солонеева за гордость, очутились на стороне первого.

Около этого времени предстояли выборы. Солонеев, нужно заметить, был единственным гладиатором, который мог состязаться с Балахновым на арене честолюбия, именуемой выборами. Сокрушив соперника, Балахнов, как тонкий дипломат, позаботился прежде всего поддержать к нему неприязненные чувства остальных соседей и стал твердой ногою посреди выгодного своего положения. В душе его зароились тогда самые жгучие и честолюбивые надежды. Имея на стороне своей большую часть соседей, он мог смело надеяться быть выбранным предводителем дворянства.

Чтоб вернее достичь своей цели, Аристарх Федорович позаботился изменить обыкновенный свой образ жизни; следовало теперь зажить так, чтоб ослепить, закружить, завертеть и закормить весь уезд. На этом основании из четырехсот душ он поспешил заложить двести (другие двести принадлежали его жене). Месяц после того по Прудам (уже переименованным в Ханские) заплавали лебеди; из топких болот поднялись фантастические беседки; на проселках возникли пирамиды и обелиски; комнаты оклеились новыми обоями, – все преобразовалось; тонкие вина полились рекою, и весь уезд, упитанный изысканными яствами, заплясал в большой зале под звуки нарочно выписанного оркестра.

Аристарх Федорович решительно торжествовал, как вдруг принеслось известие, что дядя Солонеева вернулся из путешествия и поселился в богатых своих поместьях подле племянника. Три тысячи душ и титул князя, украшавший этого дядю, несколько озадачили Балахнова. Мрачное предчувствие чего-то недоброго стеснило его душу. Вскоре после приезда князь задал бал, в котором приняли участие все мало-мальски замечательные личности уезда. Глубокое знание человеческого сердца не обмануло Аристарха Федоровича. За балом последовал маскарад, в котором снова участвовали прежние его друзья. Блистательный князь объехал с визитом всех почти соседей (конечно, кроме Балахнова) и этим способом окончательно высказал свое мнение об Аристархе Федоровиче.

Прошел месяц, и дом Балахнова сделался исключительным пристанищем незначащих помещиков и помещиц, не удостоившихся чести быть приглашенными князем или не получивших от него визита.

Поставленный таким образом во враждебное отношение с половиною уезда, Аристарх Федорович не упал, однако ж, духом. Обеды и вечера продолжались по-прежнему в Ханских Прудах. Как бы там ни было, но общество незначительных помещиков все-таки, в общей сложности, должно было превышать числом голосов враждебное общество. С такими-то надеждами Балахнов поехал на выборы. Но кто опишет его ужас? Чье перо возьмется передать удар, нанесенный его честолюбию, когда его забаллотировали, и на почетное место, так приветливо ему улыбавшееся, избран был

Солонеев... Рука Аристарха Федоровича, готовая уже протянуться врагу в случае удачи, вооружилась пером, упитанным ядом. Письма Балахнова, наполненные сарказмами и эпиграммами в стихах и в прозе, заходили в числе многих экземпляров по уезду. Кой-какие лица и особенно один старенький помещик по имени Фукол Иванович, движимые благородными порывами души, покусились помирить врагов: все было напрасно. Желчь кипела ключом в оскорбленном сердце Балахнова, и не суждено ей было остывать десятки лет. Щелчок, полученный Аристархом Федоровичем, казалось, придал ему еще более энергии. Он решился прежде всего изменить план своих действий, и из открытой войны повел он войну тайную, огражденную траншеями и подкопами. Первым его делом было укрепить за собою окончательно своих приверженцев. Достигнуть этого было весьма не трудно: стоило только продолжать давать обеды, вечера и празднества; следовало, во всяком случае, обнаруживать ко всем, в равной степени, радушие и гостеприимство. Завербовав в свой отряд все, что не принадлежало обществу Солонеева, Балахнов направил свои мысли на другой пункт. Для достижения тайной цели ему необходимо было придать себе более веса в уезде, собственно как владельцу. Для этого оказались нужными наличные деньги; не раздумывая долго, Аристарх Федорович заложил женины двести душ и принялся покупать прилежащие к Ханским Прудам земли, леса, рощи и даже избенки; расчет был такого рода: «пускай себе все будет с изъянцем, плоховато и шатковато, но зато всего будет много; мечется в глаза только то, что видишь, изъянца никто не заметит!». Следуя такому хитрому предначертанию, Аристарх Федорович уверен был, что восторжествует со временем над враждебными соседями. Он был твердо убежден, что, упираясь одной рукою на толпу приверженцев, другою на двух преданных друзей, он легко возвратит проигранное сражение.

Мы забыли сказать, что в числе помещиков, не получивших княжеского визита, был некто Николай Степанович Окатов. Окатов не жаловал князя за то, может быть, что князь обнаруживал к его особе так же мало уважения, как к особе Аристарха Федоровича. На него-то особенно, как на богатого и сильного человека, сравнительно с настоящими друзьями, рассчитывал Балахнов. Что же касается до второго друга, я думаю, и говорить нечего: читатель верно догадался. Семен Семенович Кошкин, кроме глубокого уважения и даже некоторого благоговения к личным достоинствам Аристарха Федоровича (так, по крайней мере, уверял всегда Кошкин), был, сверх того, сильно одолжен помещиком: вскоре после несчастной забаллотировки, владелец Ханских Прудов дал Кошкину взаймы три тысячи, с тем, что Кошкин мог отдать их, когда захочет. Это обстоятельство естественным образом еще сильнее скрепило узы дружбы между Балахновым и Кошкиным, к совершенному отчаянию жены последнего, которой страх хотелось блеснуть на балах князя. Аристарх Федорович и тут не ошибся в расчете: он далеко видел! Он знал, что за три тысячи ему нигде не найти лучшего и более преданного друга. Друг нужен был ему – это поймет каждый. Действовать за себя в настоящих обстоятельствах было бы крайне неловко и близоруко. Не безопаснее ли и вернее вести атаку, имея в виду бруствер, за которым, в случае надобности, можно укрыться? Из этого следует, что тонкие расчеты хитросплетенного свойства занимают такое же точно место между проселочными дорогами, как и между торцовыми мостовыми и гранитными тротуарами.

В таком-то положении застаем мы Аристарха Федоровича в начале повести.

- Что же отвечал ты Фуколу Иванычу? - заботливо спросил Кошкин.

- Да, и отвечал, что старания его напрасны. Ведь охота же, право, этим людям лезть в чужие дела! Сам на ладан дышит, а туда же! Отвечал, что не в обычае моем изменять раз принятому правилу; что детям своим завещаю стоять за правду и не щадить порока. Впрочем, копия этого письма у меня... я прочту тебе. В ожидании не мешает тебе закурить сигару, - добавил Балахнов, подводя друга к бюро и принимаясь отворять ящики, наполненные табаком и сигарами. - Здесь, здесь, бери отсюда, продолжал он, указывая на пачку сигар с надписью: „nec plus utra“ – я знаю, ты их любишь, и потому-то ящик этот всегда полон.

Заключив это искренним пожатием руки, Аристарх Федорович подошел к двери, повернул два раза ключ в замке и стал перебирать бумаги, притиснутые Фемидой.

Произведения Балахнова, отличавшиеся новизною и животрепещущим интересом, находились всегда под бронзовой Фемидой, чтобы при случае прямо накладывать на них руку.

Семен Семенович успел, однако ж, пустить к потолку несколько пуфов благовонного дыма *nec plus utra*, пока приятель его не уселся окончательно в кресла с бумагой.

Аристарх Федорович кашлянул и взглянул на Семена Семеновича.

Семен Семенович вынул изо рта сигару и обнаружил все признаки крайнего нетерпения, как будто дело шло о выслушивании духовного завещания только что умершей бабушки. Но чтению не суждено было начаться в эту минуту. Лишь только Аристарх Федорович направил глаза на бумагу, в аллее, тянувшейся к дому, нежданно послышались звуки бубенчиков, сопровождаемые яростным топотом коней, и во двор влетела тележка, запряженная тройкой. Тощий белокурый лакей и рыжий ямщик сидели на козлах. В тележке стоял, вытянувшись молодецки во весь рост, дюжий плечистый господин; он распевал какую-то удалую песню и размахивал в воздухе клетчатым платком с прорехою посередине.

- Экой сумасшедший! - произнес Балахнов, провожая глазами тележку, которая подкатывала к крыльцу.

- Очень некстати! - заметил Кошкин, прищуривая глаза. - Только помешает нам... Ручаюсь, что он заехал по дороге к какому-нибудь приятелю и прибыл к тебе после закуски...

- А жаль, братец, очень жаль! возразил Балахнов, - добрый малый, честный малый! Не будь у него слабости запускать за галстук, из него вышел бы... Я велю, однако ж, сказать, что мы ушли в сад, и пока он будет искать, мы успеем прочесть. Я с ним, знаешь, братец, без церемоний...

Страшный удар в кабинетную дверь прервал Аристарха Федоровича.

- Отворяй! - крикнул хриплый голос.

- Кто там? - произнес в свою очередь Балахнов.

- Я!..

- Кто ты?

- Я, Карачаев!

- Нельзя, - отвечал Балахнов полушутливо, полусерьезно.

- Отворяй, говорят! - повторил голос, сопровождая слова новым ударом.

- Нельзя, говорят; здесь заняты делом.

- Ну, так я выломаю дверь, - коротко и решительно сказал гость, принимаясь дергать изо всей мочи за ручку двери.

Не сомневаясь нимало, что Карачаев исполнит угрозу, Аристарх Федорович отворил дверь кабинета.

- Ломают двери в конюшнях, а не у порядочных людей, любезнейший, - сказал он, повертываясь спиною к вошедшему.

- Че-е-во? - произнес Карачаев, останавливаясь в дверях и запальчиво повертывая зрачками, тонувшими в красных воспаленных белках.

Карачаеву лет сорок. Лицо его правильно и могло бы быть красиво, если б не безобразили его красные, налитые кровью белки и багровые жилки, рассыпанные, как червячки, по всей коже. Он был высок ростом, статен, лыс, но это был, однако ж, не жир, а скорей опухлость, свойственная людям, употребляющим давно и крайне неумеренно сердцекрепительные напитки. На нем был серый нанковый сюртук, застегнутый под ребрами ремнем с металлическими бляхами. Широкие нанковые шаровары довершали его одежду. Во всей наружности Карачаева, в его походке, движениях проглядывала какая-то безалаберная, беспутная удаль, смешанная, однако ж, с прямотою и добродушием.

Карачаев был действительно благороднейший и честнейший малый; дурное воспитание и вслед за тем дурное общество придали ему ту грязную и непривлекательную форму, в которой представляется он теперь читателю. Бесцеремонное обращение Карачаева с Балахновым объяснялось тем, что последний, согласно задуманному плану придать Ханским Прудам по возможности величественный вид, купил у Карачаева землю; земля была единственным достоянием Карачаева, и Аристарх Федорович, благодаря, вероятно, бесцеремонному обращению, был ему о сю пору должен. Карачаев довольствовался пятьюстами рублями, выдаваемыми ему в год Балахновым. Впрочем, и без этих обстоятельств, заставлявших Аристарха Федоровича поневоле смотреть сквозь пальцы на выходки Карачаева, величавый помещик не избег бы фамильярности соседа. Карачаеву было совершенно все равно, где бы он ни находился; введите его в первую гостиную, поставьте лицом к лицу с кем угодно, он нигде не запнется и останется верен самому себе. Я готов биться об заклад, что если б вы ввели его на сцену перед тремя тысячами зрителей, он не обнаружил бы ни малейшего смущения, приложил бы руку к щеке и затянул бы первую попавшуюся ему на память песню.

- Ну, какие у тебя тут дела? - воскликнул он, подступая решительно к столу.

Внезапно Карачаев остановился, всплеснул руками и залился тоненьким, дребезжащим смехом:

- Кого я вижу! Кошкин! Вот, брат, не чаял, не гадал! Сколько лет не встречались... Сейчас заезжал к тебе. А что, Анна Васильевна здесь?.. Ну, друзья! - заключил он, бросаясь обнимать приятелей, - поздравьте меня: я нынче именинник!

- Это по всему видно, - смеясь, сказал Аристарх Федорович.

- Че-е-во? - произнес Карачаев, мгновенно изменяя интонацию.

- Ну, хорошо, хорошо! - перебил Балахнов. - Если хочешь оставаться в этой комнате, садись и слушай.

- Изволь; что дело, то дело; давно бы так! - произнес с готовностью Карачаев. - Ну, давай, начинай!.. Но прежде, ecoute... вели-ка, брат, дать водки...

- Нет, водки я тебе не дам; водку станешь пить перед обедом, если хочешь...

- Ну, - возразил Карачаев, махнув рукою, - давай хоть трубку или сигару.

- Вот это другое дело; кури сколько угодно; только, пожалуйста, братец, сиди смирно! - сказал хозяин, бросая ему сигару, которую тот подхватил на лету.

- Главное, но перебивай нас, - заметил Кошкин.

- Че-е-во?.. Послушай, Аристарх Федорыч, что это за сигара?

- Трабухос...

- Гм! не из тех ли, брат, что продаются в Петровском парке по пятаку серебром?..

- Чудак!.. Стоит давать тебе после этого хорошие сигары...

- Нет; ecoute; уж как ты хочешь, Aristarque, давай другую!..

- Хороша и эта для тебя!

- Ну, так к черту же вас с вашими трабухосами! - запальчиво воскликнул Карачаев, бросая на пол сигару и кидаясь сломя голову к двери. - Иван! - гаркнул он неистово. - Иван, трубку!

В кабинет явился сухощавый лакей с вьющимися волосами пепельного цвета и веселым, беззаботным лицом, тот самый, что приехал с Карачаевым.

- Ступай распрячь лошадей! - сказал Карачаев, взяв из рук его дорожный чубучок, - да вели засыпать овса...

Он закурил трубку, распустил ременный пояс и бросился на диван с самым недовольным видом.

- Скажи на милость, братец, с чего ты беснуешься? Пошел бы, право, лучше в гостиную, если тебе здесь не нравится...

- Стыдись, братец; тебе ведь без малого сорок лет! - прибавил вполголоса Кошкин.

- Ну, ну... нельзя ли этак, мораль, сильвупле, в сторону? - прохрипел Карачаев, хмурясь и обнаруживая все признаки раздраженного состояния. - Читайте себе, читайте, я вам не помеха; мне теперь нет ни до чего дела... Я и слушать-то не хочу!..

- Давно бы так! - сказал Балахнов, усаживаясь против Кошкина и расправляя складки письма.

- Стой! - крикнул сердито Карачаев. - Мне кажется, если ты намерен читать, не мешало бы знать прежде сущность, то есть о чем именно идет речь - вот штука-то в чем. Кажется, этого требует даже учтивость...

- Ведь ты сказал, что не станешь слушать...

- Ну, что, братец, - подмигивая, шепнул Кошкин, - скажи ему... он без этого не уймется; ты видишь, в каком он положении!

Балахнов, видя невозможность унять Карачаева, объяснил ему в коротких словах, кому назначается письмо и по какому поводу.

- А! Ну, вот это другое дело, душа моя! Теперь я могу судить, по крайней мере. Читай! - заключил Карачаев, опускаясь на локоть и насупливая брови с видом делового человека.

Аристарх Федорович кашлянул и начал:

«Милостивый государь, Фукол Иванович.

Получил я письмо ваше от такого-то сего месяца. Но прежде, нежели приступлю к ответу, да позволено будет мне...»

- Нет уж, брат, сделай милость, аттанде-с! Без этих финтифлюшек, пожалуйста. Что за деликатес - жантильйом! Разве ты просишь милости какой у этого старого хрыча миротворца? Зачеркни это! - крикнул Карачаев.

- Замолчишь ли ты? - нетерпеливо вымолвил Балахнов.

Карачаев махнул рукой, нахмурил брови, и Аристарх Федорович продолжал: «Да позволено будет мне сделать кой-какие умозаключения, отнюдь не чуждые, впрочем, настоящего нашего дела. Всякий смертный, согласно дарованного ему щедротами природы свойства, живет по своему разумению; лучшее (по-моему), что можно сделать в сей юдоли земной - предоставить каждому жить как ему угодно...».

- Прекрасно! Прекрасная мысль! - проговорил с нежностью Кошкин.

- Хорошо; что ж дальше? - отрывисто сказал Карачаев, крякнул и перевалился на другой бок.

«Как ему угодно, - продолжал с улыбкой Балахнов, - Теперь взываю к вам, милостивый государь. Не понимаю, какие причины вынуждают вас споспешествовать к примирению моему с помещиком Солонеевым, именуемым якобы «врагом» моим... Там, где не было (и не могло быть) взаимных дружеских отношений, не может, следовательно, быть и распри. Так, по крайней мере, указует здравая логика. Если б даже можно предполагать о существовании подобных дружеских отношений, если б даже и были они в действительности, то и тогда чувство долга и благородной справедливости (достоинства, долженствующие украшать каждого из нас), чувство долга и справедливости - говорю я - заставили бы меня быть беспристрастным и обнаруживать истину. Не считая себя в числе зоилов нашего уезда, я не могу и не должен равнодушно взирать на избрание г. Солонеева вместо достойнейшего во всех отношениях отставного поручика Кошкина, заслужившего честь и уважение, в домашнем быту заслужившего справедливую признательность за соблюдение всех обязанностей светских и общественных, всего благочиния и приличия...».

- Пре-восходно! Пре-е-красно! - воскликнул Карачаев, подпрыгивая на диване.

Аристарх Федорович остановился и взглянул на Кошкина.

Кошкин сидел в каком-то раздумье и был, казалось, глубоко тронут. Уловив взгляд друга, он быстро протянул ему руку и прослезился.

- Читай! читай! - крикнул Карачаев.

- Молчи и слушай. - «Тем более восстаю против этого (продолжал читать торжественно Балахнов), что, благодаря Всевышнее Провидение, сохраняющее меня всегда от противных совести действий, не принимал участия в избрании его, Солонеева. Недостойное человека чувство лицемерия чуждо мне. Шум, богатство, блеск не оглушают меня. Мыслю всегда громко, не щажу порока, защищаю слабых и угнетенных...».

- Прекрасно! пре-вос-ходно! Так, так, катай их, катай! - кричал Карачаев, восторженно размахивая чубуком.

Кошкин ограничился новым выразительным пожатием руки, и Аристарх Федорович продолжал:

«Защищаю... да, слабых и угнетенных, и пишу во всеуслышание мира. Нет, не пустые людские отношения или несогласия вооружили меня против г. Солонеева; нет – чувство справедливости, глубоко оскорбленной избранием его, вместо достойнейшего г. Кошкина. Громко вопиет справедливость против такого недостойного дела! Пока вышеупомянутый г. Солонеев будет служить преградою достойнейшим лицам, напрасны будут все старания утолить мои на него претензии...».

Стук, раздавшийся в дверях, прервал Балахнова.

- Кто там? - неистово закричал Карачаев.

- Кушать пожалуйте...

- Вели немножко подождать, - произнес Балахнов. - Ну-с, итак, прошу дослушать: «От души желаю, милостивый государь, чтоб воспоминание об истине осветило мысли и чувства наших соседей - чувства, увы! затменные лицеприятием и земною тщеславною суетой. Есть солнце опыта, озаряющее росу надежд, которую я назову мечтою! Но мечта не всегда остается мечтою! Возлагая надежды на будущее и твердо уповая в неисповедимую волю судеб, которая рано или поздно раскрывает истину, оставляю перо...

Примите, милостивый государь, и так далее…

- Браво! брависсимо! отлично! Пре-е-е-красно! вот штука-то в чем! - закричал Карачаев, бросаясь обнимать Балахнова, - поздравляю, брат. Вот это по-нашему - отбрил лучше всякой бритвы! Ха-ха-ха! Ей-Богу!

- Позволь и мне сказать, - произнес в свою очередь расчувствованный Семен Семенович, - это... это, душа моя, бесспорно, лучшее твое произведение; лучше этого... ты ничего еще не писал...

- А послание на другой день после избрание Солонеева? - возразил Аристарх Федорович, краснея от удовольствия.

- Да, согласен; но то, братец, в другом роде...

- Я думаю, впрочем, как то, так и это пришлось им не по нутру! - заметил Балахнов с великолепным восхищением.

- Нет, постой, брат, постой! - сказал Карачаев, удерживая руку Балахнова, готовую спрятать письмо, - еще не все... нет, ты этим от меня не отделаешься... Тут мне не все нравится, вот в чем штука-то. Я, брат, сужу беспристрастно... Во-первых...

- Во-первых, пойдем обедать.

- Че-е-во?

- Обедать пойдем, - заключил Аристарх Федорович, проталкивая Карачаева в двери.

Он обнял Кошкина и вышел в залу с сияющим лицом.

Выражение это, следует заметить, было некоторым образом официальным на лице Аристарха Федоровича. Какие бы страсти ни волновали его душу, он всегда являлся перед лицом света полный достоинства и спокойствия. Никто не мог дознаться, что происходило внутри его. Такое редкое уменье владеть собою принадлежит, бесспорно, людям, проникнутым насквозь сознанием своего превосходства перед всем, что их окружает. И в самом деле, достойно ли было обнаруживать возвышенные порывы перед какими-нибудь Кокуркиными, Карачаевыми и Сараманаевыми? Другое дело прочесть им письмо или бумагу, направленную с целью против какой-нибудь уездной личности: Аристарх Федорович снисходил до этого, имея в виду распространить сочинение и

придать ему некоторую популярность; Кокуркины и другие заменяли в этом случае лучший, патентованный типографский станок. Кроме таких случаев (довольно, впрочем, частых), Аристарх Федорович замыкался, так сказать, внутрь самого себя и, смело можно утверждать, жил настоящею жизнью только в своем кабинете; кабинет и остальные комнаты, куда без различия пускались все гости, были для него тем же, что сцена и кулисы для актера. Переступив заветный порог, Балахнов являлся радушным, приветливым, веселым хозяином; войдя в кабинет, то есть за кулисы, актер бросал маску и обращался весь к благородным помыслам и честолюбивым мечтам своим.

И часто (Боже, как часто!) в то время, когда десятка полтора помещиков и помещиц беспечно кружились в зале под звуки фортепьяно, Аристарх Федорович, следя тоскливым взором по генеральной карте уезда, проклинал суетность и пустоту жителей этого уезда.

«Солонеев! Солонеев! Где ж после этого правда и совесть?.. Достоинство... гм! где ж достоинство...

О, Боже мой, кого себе избрали?

Когда подумаю: кого вы предпочли!..»

- думал помещик, большой знаток и поклонник классической нашей литературы, и горькая улыбка судорожно пробегала по губам его, желчь кипела в груди – и как еще кипела!..

Но Карачаев и следовавшие за ним Кошкин и Балахнов были уже в гостиной. Карачаев, перетянутый своим ременным поясом, приосанился, ускоренным шагом подошел к хозяйке дома и поцеловал ее руку; потом пристукнул каблуком, поцеловал руку Кошкиной и поклонился с особенною любезностью девице Сараманаевой, которая ответила ему томным взглядом и показала белки свои. Когда Карачаев повернулся к трем барышням, Прокисай Захарыч, стоявший с тоскливым выражением лица подле Надеженьки, поспешил подать ему руку. Три сестрицы окружили Карачаева и засыпали его со всех сторон вопросами.

- Что это вас, в самом деле, так давно не видать, Павел Петрович?.. Где вы пропадали? - спросила хозяйка дома.

- Я-с? - воскликнул Карачаев, ловко повертываясь на каблуке, - я гостил за шестьдесят верст, у Барабанчикова, метались всю весну с борзыми...

- Экая удалая головушка! - сказал, смеясь, Кошкин, потрепав его по плечу.

Дамы засмеялись.

В это время принесли закуску.

- Угощайтесь! угощайтесь! - проговорил шутливо Балахнов, давая место лакею и подносу. - Семен Семеныч, советую, братец, попробуй этой ветчины... я нарочно выписал ее из Петербурга; спасибо скажешь!

Гости окружили поднос.

Карачаев выпил залпом две рюмки «дорожной отрады» – водки, также выписанной, по словам Аристарха Федоровича, прямо из Петербурга, крякнул, раскрыл глаза так, что белки чуть было не выкатились из своих впадин, повернулся молодцом к хозяйке дома и предложил ей руку. Но Кошкин, искусно нырнув между ним и кушеткой, предупредил Павла Петровича; тогда Карачаев бросился к Кошкиной, но и тут перебил его Балахнов. Карачаев предложил свои услуги девице Сараманаевой, и пары потянулись в столовую, сопровождаемые Кокуркиными, которые принуждены были идти стадом, потому что Прокисай Захарович, по робости своей, не смел предложить Надеженьке руку.

- Что это вы сегодня, Розалия Владимировиа, не в своей тарелке... этак, знаете, chagrin votre coeur?... - сказал Карачаев, наклоняясь с любезностью к своей даме.

Пухлое лицо девицы Сараманаевой покрылось красными пятнами; она опустилась всею тяжестью на руку кавалера и, показав ему снова белки свои, произнесла трепещущим голосом:

- Ужасный человек!... жестокий человек!..

- Что вы?.. Я... ей-Богу, ничего... - отвечал Карачаев, распяливая глаза. - Mesdames, вот ваш place... à votre place... заключил он, усаживая подле себя даму. - Аристарх Федорович... э! нет, брат, этого уж я не позволю. Ecoutez! Не так у нас делается: дама подле кавалера и кавалер подле дамы - вот в чем штука-то... так!.. А, литератор! Где ты был до сих пор?..

Неожиданное это восклицание вырвалось у Карачаева, когда он уселся на свое место и глаза его встретились с глазами господина, сидевшего vis-a- vis.

Vis-a-vis был Аполлон Егорович Дрянков, второй проживальщик Балахнова, тот самый, что играл на бильярде с Копковым. Ему суждена не последняя роль в предлагаемой повести, и потому не мешает сказать о нем несколько слов. Это был приземистый, коренастый мужчина упрямого вида, с вывернутыми ноздрями и вздернутым коротким носом. Черный, сухой и щетинистый волос покрывал угловатую его голову; два пучка щетины торчали на верхней губе его; несколько морщин, проведенных грубым, шероховатым резцом посредине лба и вдоль висков, придавали что-то резкое и неприятное этой физиономии. Аполлон Егорович, по всему заметно, судил, однако ж, иначе. Черный шелковый галстук, в складках которого искусно были запрятаны прорехи, украшался воротничками рубашки из домотканного холста; летний парусинный сюртучок, застегнутый на три верхние пуговицы, позволял каждому любоваться пестрым жилетом с медными пуговками. Принимая в соображение свои тридцать восемь лет, Дрянков решительно не намерен был пренебрегать своею наружностью. Он не терял надежды пленить какую-нибудь богатую вдову-помещицу и пристроиться самым комфортабельным образом. Надо, однако ж, сознаться, что с этой стороны самолюбие Аполлона Егоровича уступало другому роду самолюбия: он был литератор. Дрянков воспитывался в одном заведении (хотя, признаться, трудно тому поверить) вместе с несколькими молодыми людьми, сделавшимися потом писателями. Дух поэзии, поселявшийся в то блаженное время почти в каждом смертном, не обошел Аполлона Егоровича без того, чтобы не прикоснуться воздушным крылом своим к угловатой голове его. Какой плод принесло это прикосновение и что далее было – неизвестно; сам Дрянков, когда расспрашивали его о прошлом, часто путался и сбивался. Впрочем, прорванные сапоги Аполлона Егоровича, когда он в первый раз явился в дом Балахнова, ясно свидетельствовали, что литературный путь его скорее усеян был тернием, чем цветами. Явился он в Ханские Пруды следующим образом: в один ненастный день подкатила к подъезду тележка; из нее вылез ободранный тридцатишестилетний господин и отрекомендовался хозяйке, хозяину, которые по случаю дождя оставили его ночевать. На другое утро узнали из достоверных источников, что у приезжего не было рубашки. Лизавета Семеновна, тронутая таким положением, снабдила его бельем и уговорила провести еще день в ее доме. Приезжий заночевал как-то случайно еще одну ночь, потом другую, там третью и, наконец, незаметным образом остался в доме. Обутый, согретый, обласканный радушными хозяевами, он сделался вскоре домашним человеком, наравне с Прокисаем Захаровичем, девицею Сараманаевой и другими проживальщиками. Его одевали, кормили, поили и хотели даже пристроить к выгодному месту в какую-то контору, но Дрянков отказался напрямик, не без основания рассчитывая, что ему и тут хорошо. И в самом деле, крайне было бы глупо променять сытные обеды, мягкие пуховики, сладкий far-niente или ничего неделанье, как говорится по-русски, эту ни с чем не сравнимую беззаботность о материальных нуждах на беспокойную должность конторщика или управителя. Нет, лучше уж положительное, лучше синица в руке, чем журавль в небе. К тому же литературный дух восприял новой силой в согретой душе Аполлона Егоровича. «Непризнанная Индейка», повесть в десяти главах, вышедшая из-под пера его ровно за год до начала описываемых нами событий, служила тому ясным доказательством. Но, к несчастью, – кто бы мог этому поверить? – «Непризнанная Индейка» принесла своему родителю больше горя, чем радостей. Представьте себе положение сочинителя, брошенного судьбою в круг людей, совершенно чуждых

эстетического развития! Вместо восторженных рукоплесканий, «Непризнанная Индейка» встретила насмешки и, что еще хуже, равнодушие. Аполлон Егорович, подобно Аристарху Федоровичу, замкнулся тогда в самом себе и, окружив свое сердце толстою оболочкою желчи, изливал ее по надобности на жалких и ничтожных смертных, его окружавших, начиная с Прокисая Захаровича и кончая даже самим Балахновым и его женою. А между тем не проходило дня, когда б Дрянков не лелеял своего первенца, своей «Непризнанной Индейки». Вчитываясь постепенно в свое произведение и открывая в нем каждый раз более и более красот, Аполлон Егорович естественно должен был возненавидеть свет, не умевший оценить его; он страдал как человек, ибо в последнее время, ко всем неприятностям и нравственным пыткам, приходилось нередко выпивать еще чашу горечи, подносимую ему хозяином дома. Балахнов проведал, что Аполлон Егорович выразился о нем не совсем прилично, сказав, что слог его напоминает Памву-Берынду. Этого было довольно, чтобы жизнь Аполлона Егоровича сделалась не совсем приятною в Ханских Прудах. Преследуемый со всех сторон, окруженный кознями завистников, непризнанный поэт проклинал день своего рождения, проклинал всех и все, и даже греков, которые изображали муз грациозными и привлекательными, тогда как на деле для него, по крайней мере, оказались они настоящими гарпиями.

Услышав приветствие Карачаева, Дрянков кивнул небрежно головою и произнес отрывисто:

- Здравствуй, братец.

Такая фамильярность нисколько не удивительна со стороны проживальщика: Карачаев, как сказано выше, не любил церемонии и, наконец, сам он был что-то вроде проживальщика, ибо земля, проданная Балахнову, лишала его приюта, и жил он, как киргиз, слоняясь из конца в конец по губернии.

- А, кстати, господин литератор! - сказал с язвительною улыбкой Аристарх Федорович, - ко мне поминутно приходят на вас жалобы.

- Какие же это? - спросил невозмутимо-спокойно автор «Непризнанной Индейки».

- Да вот, не далее час тому назад, Копков уверял, будто вы отказываетесь платить проигранные ему деньги... У вас, говорят, завелась там еще какая-то шкатулочка, которую можно только отворить в Петербурге... Ха-ха-ха!..

Аполлон Егорович пробормотал что-то несвязное, прикусил зубами кусочки щетины на верхней губе и, приняв рассеянный вид человека, который не намерен слушать пустяков, погрузился весь в созерцание жилетных пуговиц.

- Как? Что это такое?... - воскликнул Карачаев, проглатывая десятую рюмку «дорожной отрады» и страшно вращая воспаленными своими белками, - ты денег не платишь Копкову! Ах ты, литератор - litterateur!.. - прибавил он, заливаясь тоненьким, носовым смехом, - ты думаешь, написал какую-нибудь... как бишь ее...

- «Непризнанная Индейка!», - подсказал Балахнов.

- Да, «Непризнанную Индейку», так уж ты и литератор...

- Странно, что люди, которые не понимают слова «литература», туда же пускаются рассуждать о литературе! - проговорил Дрянков, небрежно поворачиваясь к старшей Кокуркиной.

- Че-е-во? - воскликнул Карачаев, выпивая, как бы в рассеянности, еще рюмку «дорожной отрады», которую нарочно ставили против него, чтоб он только не прикасался к другим, более драгоценным напиткам. - Я тебе дам литературу! Ты у меня будешь знать, как играть на бильярде и не платить денег... вот штука-то в чем! Какая у тебя там еще шкатулка?

- Полно, братец; ведь это совсем не остроумно и даже не смешно... - сказал Дрянков, стараясь улыбнуться.

- Неостроумно! ха-ха-ха!.. А вот мы посмотрим, что ты заговоришь после обеда. Ах ты!, mesdames, pardonnez (Карачаев привстал и раскланялся на все стороны): я погляжу, как ты не станешь платить денег Копкову!..

- Я держу сторону Копкова! - смеясь крикнул Балахнов.

- Оставь его в покое, Аристарх Федорыч! - шепнула Лизавета Семеновна, наклоняясь к мужу.

- О, ты еще не знаешь, какой неблагодарный этот Дрянков! - отвечал Аристарх Федорыч шепотом, но так, однако ж, чтоб могли слышать соседи. - Семен Семеныч, вот уж это не по-дружески, душа моя, - продолжал Балахнов, наливая ему стакан вина, - а я еще нарочно велел раскупорить для тебя эту бутылку: знаешь ли ты, что это за вино... ну, как ты думаешь?

Кошкин поднял с озабоченным видом стакан к губам, пощелкал языком и сказал, что не знает.

- А это, братец, - произнес с расстановкою Аристарх Федорович, - это шато-роз-пульяк! Я выписал всего пол-ящика... Впрочем, Леве пишет, что больше не было на бирже в Петербурге: восемь рублей бутылка!.. Чувствуешь ли, какая мягкость, какой букет... а?..

- Прекрасно, настоящий бархат! - отвечал Кошкин, щелкая языком.

- Ecoutez, передай-ка, брат, мне этого пульяку-то! - крикнул Карачаев.

- Нет, любезный, не про вас писано! - шутливо возразил хозяин, - вот тебе фронтиньяк, пей сколько душеньке угодно, перед тобой целая бутылка. Mesdames, chateau-rose-polliac! - присовокупил Аристарх Федорович, нагибаясь к Кошкиной и посылая улыбку другим, менее значительным дамам.

Мало-помалу общество оживилось. Голоса трех сестриц Кокуркиных, дребезжавшие без умолку в продолжение всего обеда, заглушились другими голосами, и все слилось на время в одно общее бурчанье, прерываемое звяканьем посуды и стаканов. Аристарх Федорович, нечего сказать, был хлебосол и умел угощать на славу. Обед прошел как нельзя веселее, и хотя на этот раз не было в нем ничего замечательного, кроме разве шато-роз-пульяка, однако ж гости встали из-за стола очень довольные.

Что делается в деревенском быту тотчас же после обеда? На это отвечать трудно. Разное бывает: садятся играть в карты, пьют кофе или желтый чай на террасе, если есть терраса, ведут приятную и вместе с тем назидательную беседу о современных событиях, совершающихся в кругу отсутствующих соседей, и проч., и проч., и проч. Но смело можно утверждать, что легкий, крепительный двухчасовой сон предпочитается всем вышеупомянутым эфемерным удовольствиям. Такова обаятельная сила этого послеобеденного сна, что в иных домах даже молодые дамы, несмотря на тонкое превосходство их натуры, порывающейся, как известно, более к идеальным наслаждениям, невольно отдаются его влиянию.

Так, по крайней мере, случилось после вышеописанного обеда. Прошел час какой-нибудь – и дом погрузился в мертвое молчание, прерывавшееся лишь храпом Карачаева, который долго еще не мог угомониться.

III.
Фиона Ивановна и Прокисай Захарович

Итак, все спало сладким сном в доме Аристарха Федоровича.

В повестях и романах, когда желают выразить тишину, издавна принято говорить: тишина была такая, что можно было расслышать полет мухи; к этому присовокупляют обыкновенно, что тишина прерывалась тем или другим звуком. Все это основано, конечно, на тончайшей наблюдательности и оправдывается как нельзя более в настоящем случае. Действительно, посреди мертвого молчания, воцарившегося в доме Балахнова, не только можно было расслышать, но и в самом деле слышалось жужжанье мух, которые, благодаря лукулловским обедам Балахнова, носились несметными роями по столовой. Жужжание, изредка прерывавшееся докучливым щелканьем карт двух лакеев, игравших в дурачки на коннике передней, сливалось время от времени в стройную тихую музыку, напоминавшую мелодические аккорды эоловой арфы...

Но увы! Как ни грустно, я должен, однако ж, распроститься заблаговременно с поэзией! Увлеченный музыкальностью собственной фразы, я мог бы незаметно, почти бессознательно пуститься в описание того, как легкий ветерок, врываясь украдкою в растворенные окна, играл шаловливо с листками плюща и розана, как листья, застигнутые врасплох, пролепетали свою тихую жалобу и проч., и проч.; к несчастью, другие картины, другие образы выпали мне на долю, и, скрепя сердце, обращаюсь я к событиям этого рассказа, столько же правдивого, сколько и прозаического.

Кроме двух лакеев, игравших в дурачки, находилось еще одно существо, которое не предавалось крепительному послеобеденному отдыху. Существо это, известное под именем Фионы Ивановны, принадлежало, как каждый легко догадается, к прекрасной половине человеческого рода. Это была экономка и доверенная женщина по всем отраслям хозяйства в доме Балахнова. Лишившись матери, а вслед за тем и отца, служившего когда-то уездным почтамтским писцом, Фиона Ивановна была предоставлена с юного возраста на произвол судьбы, которая обошлась с ней, однако ж, довольно милостиво. Без красы и даже без гроша денег, Фиона Ивановна, согласно настоящему порядку дел, должна бы промаячить весь свой век в девках и пройти все степени испытаний, выпадающие часто на долю бедным сиротам без защиты и крова. Суждено было иначе. Фиона ли Ивановна пленила протоколиста из земского суда, протоколист ли пленил Фиону Ивановну, неизвестно, но только они сочетались законным браком, и Фиона Ивановна из девицы Захлесткиной сделалась вдруг госпожою Чивадзи (предки протоколиста были какие-то греки, торговавшие в Одессе мылом). Десять лет самой счастливой семейной жизни не принесли, однако ж, никакого плода; протоколист Чивадзи сошел в могилу, оплакивая бездетность жены и посылая горькие укоры судьбе, не даровавшей ему потомков. Связи Балахнова с покойным, который переписывал его бумаги, составлял протоколы, подавал, в случае нужды, разные остерегательные и уведомляющие сигналы, заставили признательного помещика подать руку помощи вдове. Фиона Ивановна (ей было уже около тридцати восьми лет) переехала в Ханские Пруды. Доверие, которым пользовался когда-то муж, перешло мало-помалу к его вдове. Сначала она разливала чай и кофе; потом перешел в ее заведывание буфет; затем отдали ей на руки белье, и таким образом вся хозяйственная часть дома поступила под ее надзор.

Что может быть счастливее жизни экономки, – разумеется, такой экономки, которой предоставляется бесконтрольное заведывание чаем и сахаром и колониальными и неколониальными припасами, истощаемыми в изобилии в каждом барском доме? Во многих барских домах, как известно, хозяйка не существует. Утонченное воспитание хозяек дома, воспрещающее им с юных лет обращать внимание на приходо-расходные книги, прикасаться к чему бы то ни было, кроме батистового платка, клавиш рояля и руки кавалера во французской кадрили, сильно облегчает и расширяет круг действия экоеомки. Можно смело утверждать, что ни одно место - говоря, конечно, относительно - не дает столько выгод. Где найдете вы сочетание двух драгоценнейших качеств: выгоды и душевного спокойствия? Я, по крайней мере, не знаю таких мест и смело скажу, что одни экономки пользуются на земле истинным благополучием. Спокойствие их ничем не возмущается, и если иной раз взор хозяйки проникнет в тайник существования экономки, или грозная рука низвергнет ее с высоты земного счастья, то все же рука эта не меч Дамоклеса, и раны, наносимые ею, далеко не смертельны. Фиону Ивановну можно было назвать благополучнейшею экономкою в целом свете. Аристарх Федорович, поглощенный весь дипломатическими занятиями, не имел времени заниматься хозяйством; жене своей не позволял он ни в каком случае входить в домашние распоряжения, полагая это неприличным. Кроме того, действуя сообразно своим правилам и убеждениям, он хотел, чтоб все зависело от него одного: пускай все идет криво и косо, но зато он один ответчик и хозяин. Все это делало Фиону Ивановну самовластною распорядительницею кладовых и буфета.

В таком завидном положении экономка доживала тридцать восьмую свою весну; но тут подвернулось одно обстоятельство, которое сильно потревожило невозмутимо-блаженное существование Фионы Ивановны... Она любила! Всякому человеку даны при рождении чувства, и рано или поздно чувства эти должны высказаться. Принимая в соображение настоящую страсть Фионы Ивановны, должно полагать, что покойный протоколист вовсе не пользовался любовью своей супруги, или, по крайней мере, пользовался ею очень мало. Мы ничего не знаем положительного о покойнике; но не подлежит ни малейшему сомнению, что качества его (если таковые и были) далеко уступали качествам Прокисая Захаровича Копкова. Прокисай Захарович был тих, как овечка, кроток и добродушен, как теленок, не только не брал в рот ничего горького, но даже морщился и щурился, когда Аристарх Федорович, в припадке великодушия, заставлял его выпивать рюмку шато-роз-пульяка или сантуринского. С благородством и безукоризненною честностью соединял он чистоплотность и аккуратность немца. Стерляжье сходство относилось собственно к лицу Копкова, которое от этого нисколько не было хуже любого сорокалетнего мужчины; в остальном Копков отличался приятною, соразмерною полнотою и даже изящною округлостью форм. Таких людей немного, и выбор Фионы Ивановны не должен удивлять ни одного благомыслящего человека. Вдова Чивадзи думала соединить судьбу свою с судьбою Копкова. Доказано уже положительными фактами, что положение нисколько не мешает женщине предаваться мечтам и убаюкивать свое сердце сладкими грезами. Сердце вдовы наполнялось неизъяснимым трепетом, когда она переносилась мысленно в будущее: маленький капитал, в 2.800 рублей серебром, приобретенный трудом и потом у Балахновых, пойдет часть на покупку маленького домика в уездном городе; домик полон как чаша; и тогда, как она бегает, суетится по хозяйству, Прокисай Захарович в зеленом своем сюртучке травяного цвета сидит у растворенного окна за стаканом чая и слегка бренчит на гитаре...

Мы забыли сказать, что Копков наделен был многими приятными талантами, “talents d’agrement, talents de sociate”, а именно: играл на гитаре, искусно вырезывал из бумаги козлов и мужиков, которых он любил потом наклеивать на окно, делал удочки, плел из бумажных лент корзинки и проч., и проч. Такие таланты покажутся, конечно, ничтожными просвещенному и взыскательному читателю, но со всем тем они приобрели Прокисаю Захаровичу всеобщую любовь мелких помещиков и особенно помещиц. Даже в доме Аристарха Федоровича, который терпел Копкова потому только, что мог выставлять его при случае как живой факт своих щедрот и благотворительности, таланты проживальщика не прошли без оценки. Бумажные лошадки и корзинки прельстили Володю; тихий нрав Копкова, его безграничная покорность и повиновение всем возможным капризам и прихотям мало-помалу привязали к нему мальчика: вскоре сделались они неразлучны. Это обстоятельство естественным образом должно было возбудить к проживальщику живое участие со стороны Лизаветы Семеновны. Хотя участие это ограничивалось ласковым обращением да платочками, которые иной раз дарила Лизавета Семеновна, украдкою от мужа, Копков считал себя счастливейшим человеком в мире. С той минуты, как сердце вдовы забилось под влиянием юного, неведомого чувства, жизнь Прокисая Захаровича пошла иначе. Белье Копкова (если можно назвать этим две рубашки и пару прорванных карпеток) поступило в комнату к Фионе Ивановне и, неделю спустя, вышло оттуда заштопанное и приращенное кое-какими вещицами, как-то: манишками, платочками и другими. Подобие блина, на котором спал проживальщик, уступило место доброй перине. Копков, выпивавший один стакан чаю утром, выпивал теперь два и даже три; лимон, сливки с густыми пенками, морс, варенье, сухари, булки не обходили его, как прежде; иной раз даже появлялась перед ним, как бы невзначай, нарочно испеченная сдобная лепешка с фестонами и узорами, искусно выведенными по краям. Даже конурка, которую разделял Прокисай Захарович с Аполлоном Егоровичем, получила другой вид. Нередко случалось, что Фиона Ивановна

зазовет его к себе наверх – и уж чего только нет на ее столике: варенье, пряники, жуковский табак, до которого Копков большой охотник, и многое множество других сластей. А ласковая речь Фионы Ивановны, а ее взгляды, проникающие в глубину сердца...

Взываю к вам, проживальщики всех возможных уездов и вотчин! Вы, верно, не устояли бы перед этими взглядами. Рассудок ваш, согласно положительным стремлениям вашего сердца, мигом оценил бы всю будущность, какую сулили эти взгляды: окинув пытливым взором ряды сундучков и коробков, пестривших комнату вдовы, вы пали бы к ногам ее и тут же сознались бы в давно терзавшей вас страсти... Но, увы! Быстрое соображение и находчивость даны не каждому. Копков решительно не в состоянии был понимать задушевных целей экономки без положительных и прямых с ее стороны объяснений. Так как разговора еще не было между ними и все ограничивалось лепешками и сюрпризами, то чувство благодарности, одно это чувство, заменяло все остальные в простой и бесхитростной душе проживальщика. Но Фиона Ивановна была довольна, она, казалось, нарочно старалась продлить это время, самое обильное внутренними волнениями и полное сладостного, томительного ожидания; а между тем Прокисай Захарович катался как сыр в масле; в последние четыре месяца он даже значительно пополнел, и на лице его заиграл привлекательный румянец.

Иногда Копков выпросит у Аристарха Федоровича разгонную лошадку, сядет в тележку вместе со своей гитарой и отправится куда-нибудь в гости по соседству. Палашка, босая девчонка, находившаяся на бессменных ординарцах у экономки, должна была уведомлять ее о приезде Прокисая Захаровича. Фиона Ивановна бросалась к окну, потом накидывала на плечи платок, стремглав спускалась с лестницы и, встретив как бы невзначай проживальщика, говорила ему дрожащим от волнения голосом: «Здравствуйте, Прокисай Захарыч; где это вы пропадали? А мы думали, с вами уж и Бог знает что такое случилось!..». Каждый день, казалось, сближал все более и более Копкова с его благодетельницей, и страстная экономка, видя несомненные признаки любви в заботливости и уважении, которыми окружал ее возлюбленный, думала уже приступить к развязке, как вдруг (это случилось за полтора месяца до настоящей минуты) страшная весть подрезала в основании все ее надежды. Копков находился в отлучке и, по случаю разлития рек, целые две недели не мог попасть в Ханские Пруды. Никто, разумеется, об этом не заботился, кроме Володи да экономки, которая не переставала ломать себе голову, придумывая, где именно мог бы находиться Прокисай Захарович. Карачаев, явившийся неожиданно к Балахнову, разрешил, к несчастью, слишком скоро догадки бедной вдовы. Спустя пять минут после его приезда, по всему дому распространился слух, что Копков прожил все это время у барышень Кокуркиных, и – кто опишет ужас Фионы Ивановны! – обнаружил даже в тонких намеках готовность предложить руку и сердце младшей из них – Надеженьке.

Многие дамы уверяют, что легче перенести смерть любимого человека, чем его измену. Это, должно быть, совершенно справедливо и приносит величайшую честь их опытности. Точно, в первом случае остается утешение, что сердце билось по крайней мере для достойного человека (отсутствующие, и тем более покойники, всегда хороши)... Мысль о несомненном превосходстве любимого человека над остальными людьми смягчает удар, нанесенный сердцу. «Да, действительно, он не был жителем здешнего мира. Возвышенной душе его тягостны были оковы света! Она отлетела в иной, лучший мир!». Затем следуют успокоительные и достоверные догадки о том, как любимый человек произносил, умирая, имя отсутствующей, как клялся он, что умирает спокойно потому только, что сознает себя любимым, как остался он верен уважаемому предмету до гробовой доски и тому подобное. Все это, естественно, должно облегчать страдание, и часто случается, что сердце, подобно ребенку, которому болезнь послужила в пользу, обретает после кризиса новую силу. Во втором случае раны неизлечимы. Самые страшные муки во сто раз сноснее страдания женщины, покинутой для другой. Тут, разумеется,

больно не то, что лишаешься любимого человека, а то, что он унизился, предпочтя порядочной женщине какую-то дрянь; больно за себя, за свою недальновидность и ослепление! Можно ли было доверяться и рассыпать сокровища своего сердца перед человеком недостойным и низким во всех отношениях!.. В первом случае страдает только сердце, во втором – изъязвлены в одно время все чувства; а известно, что легче излечить одну большую рану, чем множество маленьких; поди угоняйся за ними!..

Удар, нанесенный Фионе Ивановне, произвел на нее страшное действие. Все чувства экономки, улегшиеся вследствие невозмутимо покойного счастия мягкими пластами вокруг ее сердца, разом поднялись, вспенились и зашипели, как содовые порошки, опущенные в воду. Достойно замечания, однако ж, что громы оскорбленной вдовицы упали не на Прокисая Захаровича, а на младшую Кокуркину и сестер ее, которые одни были причиною ее бедствия. Но когда Копков, сопровождаемый Кокуркиными, явился в дом Балахнова и Фиона Ивановна увидела улыбки, посылаемые им Надеженьке – все пошло вверх дном в голове экономки, и молниеносный взгляд, брошенный ею сначала на барышень, мигом упал на бедного проживальщика. С того же дня повела она подкопы, и начались гонения.

Прощайте, вкусные сдобные лепешки с фестонами! Прощай, жуковский табак, варенья, сплоенные крахмальные манишки! Прощай, комфорт! Прощай и ты, пуховая перина, на которой так любил покоить косточки свои Прокисай Захарович, и которую успел уже заменить жесткий войлочный тюфяк!

Крутой переворот судьбы отозвался тем сильнее Копкову, что, в простоте души своей, он решительно не подозревал причин бедствия, так неожиданно обрушившегося на его голову. Совесть его была чиста, как лед. О Боже мой! Да знай он только сердечную тайну Фионы Ивановны, он, разумеется, не из корыстных видов, но попросту, вследствие врожденной робости, не посмел бы и думать ни о ком другом, кроме экономки. Вот каковы иной раз последствия недоразумений! Преданный, с одной стороны, безнадежной любви (Кокуркины объявили Копкову всю несбыточность брака Надеженьки с человеком, не имеющим хлебного места), преследуемый, с другой стороны, страшными взглядами и язвительными улыбками Фионы Ивановны, бедный Копков потерял голову. Он истощил всю свою мыслительную силу, придумывая причины такого гонения, и все-таки ничего не мог придумать. Бедный проживальщик решился, наконец, обратиться к единственному своему другу Володе, прося его проникнуть, если можно, страшную тайну. Володя побежал наверх, в комнату экономки. «За что сердишься ты на Копкова?» - спросил он, ласкаясь к экономке. - «Вам чего здесь надо? - грозно спросила Фиона Ивановна, - разве вам позволено ходить сюда? Постойте, вот я скажу папеньке!». И вместо ответа она взяла его за руку и выпроводила на лестницу. Подробное донесение о такой неудачной депутации имело последствием то, что Копков растерялся в своих соображениях. Он впал в глубокую меланхолию и оживал тогда только, когда проходила мимо его Надеженька, или когда слышались шаги Фионы Ивановны.

В последнем случае он быстро вскакивал с места, повертывал за угол и бежал без оглядки, куда глаза глядят.

Но пора обратиться к самому рассказу.

В настоящую минуту, то есть в то время, как все спало в доме и два лакея играли в дураки, Фиона Ивановна сидела в своей комнате. Комната эта, расположенная в углу верхнего этажа, оканчивала собою ряд покоев, пустых и заброшенных, в которых не жили уже лет двадцать. Изредка лишь в летнее время Аристарх Федорович водил туда гостей, частью для того, чтоб похвастать великолепным видом Ханских Прудов, частью для того, чтоб показать им, как жили его предки. Оборванные обои, позволявшие различать сквозь плесень узоры из блестящего песку, боскетная, расписанная в виде рощи, с выглядывавшими поверх деревьев бельведерами, продолговатые зеркала, обвитые вычурными деревянными рамами с позолотою, диванная с колоннами, подпиравшими деревянный купол, расписанный облаками и усеянный звездами, люстры, обвешанные

стеклышками - все это показывало, что предки жили действительно хорошо. Комната Фионы Ивановны не представляла, однако ж, и тени вышеупомянутого великолепия. Это происходило единственно потому, что предки, любившие украшать парадные апартаменты и часто тратившие на это все свое состояние, немного заботились о так называемых внутренних покоях, то есть о тех, куда не проникал взор посторонних. Комната Фионы Ивановны, предназначенная когда-то для детской, была запросто обшита дранью и потом оштукатурена так только, для виду. Несмотря на то, что в настоящее время штукатурка успела уже обвалиться наполовину, экономка умела сообщить своему жилищу что-то уютное; и тогда как в парадных апартаментах веяло повсюду мертвенностью, угол экономки носил на себе все признаки оживления и деятельности. Сахарные головы, ящики с чаем, пучочки мяты и других целебных трав, свертки холста, столы с хрусталем и посудой, два старинные брюхастые комода, набитые так плотно, что ящики не могли запираться, сундуки и ящики, перины, подушки, груды салфеток, ворохи грязного белья – все это лепилось вдоль стен, громоздилось друг на дружку и мешалось, как в винегрете.

Посреди комнаты на полу сидела босая девочка лет тринадцати, черноглазая, с черными, как смоль, волосами, обстриженными в кружок, и черными блестящими глазами навыкате. Вокруг нее лежало несколько листов синей бумаги с возвышавшимися на них горками колотого сахару. Ударяя из всей мочи утюжною плиткой в кухонный нож, направленный в сахарную голову, она поминутно бросала плутовские взгляды на экономку и, улучив минуту, не пропускала случая запрятать отколотый кусок в рот или за пазуху.

Фиона Ивановна стояла у окна против комода и выкладывала столовое белье, предназначенное для завтрашнего торжества. Вдова Чивадзи, как уже сказано, была женщина лет тридцати восьми. Ситцевое платье кофейного цвета с белыми крапинами обхватывало не совсем щеголевато ее талию, отличавшуюся необыкновенною жесткостью. Платье и черный шерстяной платок, покрывавший плечи экономки, драпировались как на вешалке. Она была более чем среднего роста, хотя, по-настоящему, исполинские ее ступни, заключенные в опойковые башмаки, глядевшие из-под юбки, показывали, что следовало бы ей перерасти бельгийского великана. Желтые как шафран волосы, подобранные на затылке тщедушным пучочком, державшимся помощью рогового гребня, лишенного двух зубцов, подходили как нельзя лучше под тень лица серо-лимонного цвета. Заостренный нос, крошечные глазки зеленоватого отлива, сухие морщинки и жиденькие рыжие брови, согнутые наподобие французского S, придавали лицу ее что-то пронырливое и не совсем привлекательное, что, впрочем, в настоящую минуту сглаживалось выражением душевной тоски и сосредоточенной думы. Смягчению этих резкостей немало способствовала опухлость левой щеки по случаю флюса – обстоятельство, заставлявшее экономку обтягивать голову белой косынкою и носить постоянно за щекою вареную в молоке фигу. Флюс – неизбежный почему-то недуг всех почти экономок, – сильно действовал на нервы и без того уже раздраженной вдовы. Фига, с своей стороны, причиняла ей также много горя; раз даже, а именно когда Фиония Ивановна получила известие о проделках Прокисая Захаровича, фига чуть было не лишила ее жизни. Вот как это случилось: фига проскочила в горло, и бедная экономка сделалась бы, без сомнения, жертвою страстей своих, если б не подоспел домашний фельдшер.

Тишина в комнате экономки прерывалась дребезжащим пением канарейки, висевшей под окном, и ударами утюжной плитки, которые, по-видимому, доставляли величайшее удовольствие девчонке.

- Тише ты! - крикнула в десятый раз Фиония Ивановна кислым голосом, похожим на звук разбитого колокольчика.

- Жесткий такой, Фион-Иванна! Никак не отколешь! - отвечала скороговоркою девчонка, и, бросив лукавый взгляд к окну, ударила с такою силой плиткою по ножу, что посуда зазвенела на столе.

- Тише, говорят!.. Погоди; вот я тебя постучу... Кто там? - прибавила экономка, опуская на окно кипу салфеток и поворачивая косое лицо свое к двери.

- Это я-с, - сказала, входя в комнату, красивая горничная, отличавшаяся необыкновенным развитием стана.

- Что тебе, Глафира? - спросила экономка, принимаясь снова за свое дело.

- Барышни Кокуркины прислали просить у вас кокосового мыла; свое, говорят, забыли захватить.

При имени Кокуркиных все члены Фионы Ивановны затрепетали, и лицо ее перекрылось красными пятнами.

- Да, как же! Стану я для всех бегать в кладовую! - произнесла экономка, стараясь скрыть свое волнение. - Много их тут и без того понаехало! Пускай ищут, где хотят; нет у меня мыла никакого, да и все тут!.. Сороки, тараторки этакие! Им попадись только что в руки, все к себе домой тащат; так и глядят во все глаза, не попадется ли что под руку...

- Да-с, - подхватила Глафира, - я только дивлюсь, Фиона Ивановна, как это барыня наша ничего не видят и в дом их пускают. Вот намедни, как они в последний раз у нас были: уж на что, кажется, стеариновые огарки, и те понадобились, выпросили у барыни, целый узел увезли с собою... Тоже и насчет барыниного гардероба: прежде, бывало, ненужное платье - нам идет, а теперь все им да им; такие-то жадные, завистливые, право... А уж сплетницы, смутьянки какие - не приведи Бог! Ездят к нам также бедные: Свищевы, Полушкины... тоже попрошайки, да все же смирные, никого не трогают по крайности... А эти уж кого только не переберут - не только господ, да и нашего-то брата; до всего им дело; только, кажется, одного вот Прокисая Захаровича и оставляют в покое...

Видно было из усердия, с каким Глафира описывала Кокуркиных, что ей небезызвестны были враждебные к ним отношения экономки.

Ядовитая улыбка промелькнула на тонких губах Фионы Ивановны; она поправила косынку, перевязывавшую больную щеку, передвинула фигу, чтоб свободнее изъясняться, и, окинув девушку с головы до ног проницательным взглядом, сказала:

- А знаешь ли, Глафира, что они про тебя рассказывают?.. Аполлон Егорыч сам слышал...

- Что такое? Нет-с, не знаю... - сказала Глафира полусмущенным, полууверенным голосом.

- Поди-ка, послушай: они говорит, будто ты завела шашни с Иваном Карачаевским... Мое дело сторона, я в ваши дела не стану мешаться, а только смотри...

- Ах, они, провалиться бы им! - воскликнула Глафира, всплеснув руками и покраснев до белков.

- То-то ах! Смотри, Глафира, дойдет до Аристарха Федорыча, не было бы худо... не миновать коров пасти...

- Помилуйте, Фиона Ивановна! - произнесла Глафира с видом человека, который плачет не потому, что боится наказания, по потому только, что уличили его в преступлении. - Помилуйте, чем же я виновата? Иван точно со мной разговаривает... я знала его еще в Петербурге, когда обучалась в магазине: он жил в том же доме подмастерьем у портного; что ж, мне бегать от него?.. Ах, они... провалиться бы им!.. Ну, не знала я этого, Фиона Ивановна! - прибавила Глафира с каким-то особенным одушевлением. - Дам же я им теперь себя знать, особливо этой толстой, чтоб ей лопнуть! «Глафирушка, душенька, застегни платье; Глафирушка, сбегай, возьми у Лизаветы Семеновны помады!..». Погоди ж, надсадишь себе горло-то звамши! Сами набегаетесь, смутьянки проклятые! Пойду скажу им, что нет мыла! - торжественно заключила горничная.

- Постой, сказала Фиона Ивановна, - кстати, заодно возьми простыни и подушки... Сколько сегодня будут у нас ночевать?..

- Сейчас; раз... два... пять... Да что считать! Верно, к вечеру еще понаедут! У нас, знаете сами, что постоялый двор – успевай только управляться. Давайте четырнадцать подушек да девять простынь...

Экономка поправила косынку и начала рыться в сундуке.

- Фиона Ивановна! - сказала Глафира заискивающим голосом.

- Что тебе?

- Где у вас, матушка, были подушки, что моль-то съела... Помните, дух такой от них?..

- В кладовой... А что?..

- Дайте-ка мне их, я положу их этим ведьмам...

- Смотри, пожалуются! Не досталось бы тебе, Глафира.

- Все возьму на себя, Фиона Ивановна, будьте покойны!

- Где ты им хочешь стлать?

- Хотела было в боковой, где они всегда спят, да нет, жирно будет... Скажу, что полы мыли, улягутся нынче и подле буфетной... Пускай их ночь-то ворочаются с боку на бок; я перины-то все посдергаю... Сороки этакие! Смутьянки проклятые!..

- Смотри, не намылили бы тебе шеи! - проговорила Фиона Ивановна тоном, какой принимают обыкновенно люди, которые, затеяв и пустив в ход какое-нибудь ядовитое дельце, быстро отходят в сторону, как бы ни в чем не бывало, и только потирают руки да исподтишка улыбаются.

Она с особенною заботливостью взвалила на плечи Глафиры простыни и несколько подушек, дала ей, как бы невзначай, ключ от кладовой и проводила ее до двери.

- Палашка! - сказала она после краткого молчания, обращаясь к девчонке, которая во все это время не переставала колоть сахар. - Палашка, - прибавила нерешительно экономка, - ступай вниз...

- Слушаю-с! - крикнула девочка, быстро скакнув на ноги и без оглядки бросаясь к двери.

- Куда ты, пострел? Ну куда ты? - зашипела Фиона Ивановна, придерживая пальцем фигу, которая чуть было не вылетела.

- Я думаю, Фиона Ивановна, вам что-нибудь понадобилось, - возразила девчонка, бойко тряхнув волосами.

- Ничего не понадобилось... Поди... поди погляди, что делает Прокисай Захарыч...

Палашка, обрадованная случаю сбежать лишний раз с лестницы, пустилась без оглядки, придерживая рукою куски сахару, болтавшиеся у нее за пазухой.

Должно заметить, что проделки Прокисая Захаровича нимало не уменьшили страсти экономки; казалось, напротив, чувство ревности разжигало несчастную эту страсть с каждым днем сильнее и сильнее.

- Ну что? - спросила Фиона Ивановна, когда вернулась Палашка.

- Спят-с в бильярдной... насилу отогнала-с...

- Кого отогнала?

- Мухи-с... так и облепили их, словно сахар-с...

- Молчи, тебя не спрашивают! - задумчиво сказала экономка. - Возьми, собери сахар на одну бумагу; или нет, на, возьми салфетки и скатерть, - присовокупила она, навьючивая плечи и руки девчонки бельем.

Она высыпала на один лист сахар, подняла его с полу и, сопровождаемая Палашкой, начала спускаться по темной, узенькой лестнице.

Очутившись в коридоре, Фиона Ивановна повернула в бильярдную.

- Чего тебе? Ступай в залу, положи салфетки на стул, - вымолвила вдова, грозно взглянув на девчонку.

Оглянувшись на стороны, Фиона Ивановна устремила пронзительный взгляд на Копкова, который спал, сидя на диване. Скрестив руки на крутом брюшке и опустив коротенькие ножки, далеко не достававшие до полу, он испускал легкий носовой свист, не лишенный, по-видимому, гармонии для несчастной жертвы страстей, стоявшей перед диваном. Улыбка на губах Прокисая Захаровича показывала, что сны, носившиеся вокруг головы его, были самые обворожительные.

Зеленые глазки Фионы Ивановны расширились и загорелись сверхъестественным блеском; острый нос ее выглянул как змея из-за сахарной головы, и дрожавшие уста ее прошептали:

- Негодный!

Прокисай Захарович сделал движение, как будто хотел прогнать муху, раскрыл глаза - и остолбенел.

Фиона Ивановна повернулась тотчас же спиною и, дрожа всем телом, вышла в залу.

В эту минуту из гостиной послышался колокольчик.

- Барыня зовет! - шепнула Палашка.

Экономка поправила косынку и неровными шагами пошла в гостиную.

- Чего изволите? - спросила она, косясь на террасу, где дребезжали как трещотки Кокуркины, успевшие уже восстать от послеобеденного сна.

- Пожалуйста, Фиона Ивановна, дайте мне розовой воды, - сказала Балахнова.

- Помилуйте, Лизавета Семеновна, вы сами изволили приказать последний раз, как были барышни, отдать им последнюю бутылку на варенье.

- Я ничего не знаю... Я приказала отлить им во флакон.

- Они сказали, что вы велели отдать им всю бутылку; я и отдала...

- Хорошо, - отвечала Лизавета Семеновна.

Фиона Ивановна вернулась в залу и нос к носу встретилась с Копковым, который в ту же минуту прирос к полу.

- Чего вы испугались? - спросила экономка, окинув его грозно и в то же время презрительно с головы до ног.

- Я-с... право, ничего... ей-Богу, - пробормотал Прокисай Захарович, но тут же замялся и, повернувшись спиною, побежал с помощью коротеньких ножек своих в противоположные двери.

- Ку-д-а-а-а? - закричал Карачаев, заслоняя неожиданно путь несчастному Копкову и обхватывая его руками.

- Пусти, Павел Петрович, полно! Экой ты какой... Сделай милость...

- Ни-ни... я тебе дам бегать! Шалишь, брат... Э! э! да ты еще подножки вздумал ставить!..

И Карачаев, приподняв Копкова, понес его в залу.

- Фиона Ивановна, не вашей ли вотчины беглец? Ха! ха! ха! - захрипел Карачаев, поднося ей несчастного Копкова, который заболтал коротенькими ножками в воздухе и стал биться, как заяц, пойманный за задние лапы.

- Вы бы посовестились балясничать-то! - произнесла с негодованием и вся вспыхнув экономка, - не нашли лучшего места.

- Че-е-го? Ха! ха! ха! - захрипел Карачаев, разражаясь ревущим хохотом и стискивая еще крепче свою жертву.

- Да то же...

Володя, появившийся в эту минуту у дверей залы, кинулся со всех ног, чтобы освободить друга, но, увидя отца, в ту же минуту оторопел и скрылся за дверью гостиной.

- Что у вас тут такое? - неожиданно вымолвил Аристарх Федорович, выходя из кабинета с обычною своею улыбкой.

- Да вот, братец, Фиона Ивановна ревнует Прокисая даже ко мне... ей-Богу... вот она штука-то в чем. Чуть было глаза не выцарапала...

- Скоморох! - пробормотала экономка, роясь в буфете.

- Правда ли это?.. Ха! ха! ха!.. У тебя, братец, язык без костей, ты чего не выдумаешь! - сказал Балахнов, лукаво подмигивая Карачаеву на экономку.

- Делать, видно, нечего! стыдились бы! - проговорила Фиона Ивановна, уходя из залы и сердито хлопнув дверью.

IV.
События, которыми ознаменовался остаток дня

Когда Балахнов и Карачаев пошли в гостиную, там сидело уже все общество. Двухчасовой отдых подействовал на всех самым благоприятным образом. Лица трех Кокуркиных и лицо девицы Сараманаевой, спрыснутые водой из Ханских Прудов, сияли необыкновенною свежестью; черный паричок Семена Семеновича лоснился, как наилучший атлас; Анна Васильевна Кошкина распространила вокруг себя запах наилучших духов, какие можно только было сыскать в губернском городе; даже Лизавета Семеновна казалась более веселою. Беседа была самая оживленная. Предметом разговора был тот же новоприезжий Бобохов.

Недурно, если б кому-нибудь из записных столичных любезников привелось попасть на время в уездную гостиную. Заранее можно поручиться, что в первый день и даже в первые два дня он произвел бы неслыханный эффект своими рассказами об итальянской опере, своими тремя-четырьмя анекдотцами саркастического свойства и даже, faute de mieux, теми общими местами и фразами, которые доставили ему название: charmant homme и homme aimable в столичных гостиных. Прекрасно! Теперь, скажите на милость, что стал бы он делать на третий день? Запасы истощились, а между тем пополнить их нечем. Ни оперы, ни новостей, ни приятелей, которые доставляют случай заимствовать рассказцы или анекдоты – ничего этого нет в провинции. Остается одно средство: сравнить себя с фейерверком, который, после блистательного сожжения, оставил после себя пустые бумажные трубки; но этого недостаточно, и притом никто охотно не только не решится поднять на себя руку, но даже мысленно потрунить над собою. Зовут в гостиную... Как быть? Вот тут-то увидел бы столичный записной любезник, как ничтожны его средства в сравнении со средствами какого-нибудь уездного франта в венгерке. Уездному франту скажут: говорите нам о г. Бобохове, которого вы никогда не видали и о котором не имеете ни малейшего понятия – и уездный франт станет говорить без умолку сколько угодно о г. Бобохове. Смиритесь, прекрасные молодые люди, краса и цвет столичных гостиных! Вы довольствуетесь обыкновенно одним легким намеком, чтобы создавать знаменательные истории и комментарии насчет ближнего; в провинции последний юноша, последняя вдовушка перещеголяют вас, ибо им не нужно даже и тени намека! Столичные гостиные пользуются тем значительным преимуществом перед уездными, что там разговор кажется неистощимым, потому что в продолжение двух часов сменилось двадцать человек; здесь гостиные наполняются людьми, приехавшими на два, на три дня и даже более. При таких условиях, сколько ни говори, все перескажешь, да, наконец, и язык устанет. Вот тут-то в уездных городах наступают тягостные минуты, в продолжение которых хозяева и гости углубляются в самих себя, придумывая, но тщетно, что бы такое сообщить друг другу. Наступает молчание. Напрасно хозяин произносит: «Господа, mesdames, тихий ангел пролетел между нами!», приправляя эту фразу известной улыбкой; напрасно треплет он по плечу того и другого, приговаривая: «Ну, что скажешь, Иван Иваныч, или Вакх Сидорыч? Давно, брат, мы с тобой не видались!». Иван Иваныч или Вакх Сидорович решительно не знают, что сказать; ими овладел тупик; они разводят только руками да оглядываются с беспокойством на стороны.

Такой же точно казус произошел в почтенном доме Аристарха Федоровича. Когда разобрали по косточкам Бобохова и не нашлось уже ничего нового, наступил штиль совершеннейший. Предложили было сделать прогулку, но оказалось, что было всего шесть часов и солнце пекло невыносимо. Хозяйка и особенно хозяин начинали уже

приходить в смущенье, когда неожиданно в дверях показался новый гость. Присутствовавшие мгновенно подняли головы и ожили.

- А, ба! Васильков! Добро пожаловать! - раздалось отовсюду. - Порфирий Павлыч! «Порфирий, ты ли это? Сколько лет!», - заключил наконец Карачаев, кидаясь на шею гостю, который застенчиво раскланивался дамам.

Порфирий Павлович принадлежал к числу тех злополучных людей, которых физическая природа подверглась не совсем правильному развитию: когда глядишь на него, очевидным делается, что эти тоненькие, как жимолость, ножки, эта тщедушная грудь отказываются постоянно от питательных и растительных сил в пользу головы, которая поэтому вчетверо более, чем бы ей быть следовало. Васильков с детства должен был весь расти в эту голову, казавшуюся еще огромнее от густых, взъерошенных прядей черных смолистых волос, которые подымались свирепым хохлом на макушке и спускались валютами на виски и щеки, украшенные такими бакенами, каких, верно, не носил еще ни один смертный; усы, напоминавшие в миниатюре рейнский водопад, и густые крутившиеся брови довершали волосяное богатство Порфирия Павловича. Из-под бровей выглядывали круглые глаза навыкате, похожие как две капли воды на страусовые яйца, с намалеванным посереди их черным, как смоль, зрачком. Ему было всего тридцать пять лет, и даже менее. Несмотря, однако ж, на ребарбативность и мужественность такой физиономии, Порфирий Павлович был меланхоликом, и смело можно утверждать, что не найти во всей вселенной человека более кроткого, нежного и чувствительного. Будучи ровно вчетверо богаче трех Кокуркиных, он не только не гордился своим превосходством над барышнями, но чувствовал к ним любовь и питал даже особенное уважение. Скромность проглядывала даже в его одежде: коротенькая синяя венгерка с высокою талией и иероглифом из черных шнурков на спине, узенькие сапожки и тоненький галстук с длинными концами; на тафтяной черной манишке красовался жилет канареечного цвета с полосками из черного бархата; этот жилет Василькова украшался снизу кончиками подтяжек, не лишенных, впрочем, привлекательности, потому что их вышивали Кокуркины.

- Ну что, решено? - спросил Балахнов, нетерпеливо наклоняясь к уху гостя, после обычных приветственных фраз.

- Решено! - отвечал нежно, но вместе с тем восторженно Порфирий Павлович.

- Ба!?..

- Клянусь! - подтвердил гость, пожимая руку хозяина.

- Извините, mesdames, мне нужно переговорить два слова с приятелем. Мы сию минуту вернемся, - сказал торопливо Аристарх Федорович.

Он нагнулся мимоходом к кушетке, поцеловал жену в лоб и, взяв под руку гостя, повлек его с особенною поспешностью на террасу.

- Ну, братец, позволь тебя поздравить! От души желаю тебе счастья. Я, ты знаешь, я не лицемер и говорю всегда от чистого сердца...

- Благодарю вас... я чувствую это, знаю, Аристарх Федорович... О, я счастливейший человек в целом мире, в целой губернии! - воскликнул Васильков, снова пожимая руку Балахнова и страстно вращая своими белками, в которых блеснули восторженные слезы.

- Ну, рассказывай, рассказывай, садись...

- Да что вам рассказывать! Через месяц свадьба... Надежды мои увенчались, можно сказать, блистательным успехом; чрез два дня я еду в губернский город делать свадебные покупки, подарки невесте - этому существу, облеченному в очаровательнейшие, можно даже сказать, неземные формы, которым подобных...

- А что, верно, теща снабдила капитальцем? - прервал Балахнов, шутливо подмигивая жениху.

- Нет, Аристарх Федорыч, я все делаю на свои... Ищу поэтому, где бы занять... И если б вы...

- Помилуй, братец, что ты делаешь!.. - поспешно перебил Балахнов, физиономия которого приняла мгновенно строгий характер. - Ну, кто тебе даст взаймы? Да и к чему это?.. Теща твоя, сказывали мне, дает за дочерью тридцать душ. Так или нет?..

- Да-с, Аристарх Федорович; но она соглашается передать их не иначе, как после свадьбы... Это обстоятельство, признаться, несколько сконфузило меня... Но что же делать-с... Я не из корысти какой-нибудь, клянусь, не из корысти! Я никогда расчетом не оскверню блаженства, которое обещает мне это милое существо.

- Все это прекрасно, друг мой, - возразил Аристарх Федорович отеческим тоном. - Я сам, ты знаешь, презираю корысть, сам чужд гнусного расчета, как и подобает всякому благородному человеку; но тут другое дело: у тебя ничего нет или почти ничего; не разориться же тебе из того только, что упрямится старая баба... Хочешь, я все это тебе устрою?. Я всегда рад служить друзьям, всегда готов подать руку на защиту правого дела...

- О, вы мой истинный благодетель. Поверьте, я все это чувствую... не знаю даже, как благодарить вас... Но как же вы это сделаете?..

- А вот как. Ты, конечно, останешься у меня завтра: я праздную свое рожденье; а послезавтра посажу тебя в коляску и поедем к будущей твоей теще. Я уговорю ее отдать тебе немедленно следуемое за дочерью приданое. Старуха уважает меня... Заранее ручаюсь в успехе... А то, помилуй, братец, что ты затеял? Занимать деньги! Тсс... тсс... - продолжал Балахнов, качая головой. - Хорошо еще, что сказал мне; душевно рад выпутать тебя из беды; ты доставляешь мне случай сделать доброе дело... Благодарить не за что, любезный! - торопливо заключил Аристарх Федорович, между тем, как Порфирий Павлович свирепо пожимал его руки и крутил головой. - Обязанность, назначение каждого человека состоит в том, любезный, чтоб не умалять сердца в лоне эгоизма и подавать ближнему руку помощи.

Балахнов поднял глаза к небу, кашлянул и готовился еще продолжать речь, как вдруг Карачаев влетел сломя голову на террасу.

- Что тебе? - спросил Аристарх Федорович.- Поди, братец, оставь нас. Видишь, мы говорим о деле...

- Какие у вас дела, все вздор! Я знать не хочу ваших дел! Вот она штука-то в чем! - возразил Карачаев, обнаруживая запальчивость и негодование во всех движениях. - Я пришел только сказать, что смерть не люблю людей, которые с вами и так и сяк, лезут в дружбу, а на деле выдают вас... Лицемеры! Двуличневые! - заключил он, наступая решительно на Василькова, который сидел, выкатив глаза, с видом совершенного недоумения.

- Что с тобой? Ты, брат, просто рехнулся! - сказал Балахнов.

- Нет, я не рехнулся... Не рехнулся я!.. Помилуй, братец, сам посуди, - продолжал снисходительнее раздраженный Карачаев, - вот этот молодец помолвлен, жених, все говорят об этом в гостиной, все, и барышни, и Лизавета Семеновна, все знают, всем растараторил все говорят мне об этом, а я стою, как чушка, да ушами хлопаю... «”Вы”, говорит, „приятель его и не знаете, что он женится!”. Каково? Как тебе это кажется?.. Я никому не позволю ставить себя в дурацкое положение - вот она в чем штука-то!.. Я после этого не подам ему руки! - заключил Карачаев, грозно моргая своими воспаленными белками.

- Чудак! - проговорил Порфирий Павлович, смущаясь окончательно.

- Полно, Карачаев! - начал увещательным тоном Аристарх Федорович. - Вот сам видишь, ты всегда из-за пустяков вздор затеешь... Ты должен понимать, братец, какое это деликатное дело...

- Деликатное дело, так молчи, не говори о нем никому!..

- Да где ж мне было тебя отыскивать? - произнес Васильков - Вольно же тебе слоняться Бог знает где...

- Что ж, почты нет у нас, что ли? Ха-ха-ха! Слава Богу, есть почты! Стоило написать письмо, уведомить, как следует между порядочными людьми: вот, дескать, то и то... Я сейчас прискакал бы к тебе... Нет, я не я буду, если подам ему после этого руку, и больше ничего!..

- Ну, полно, перестань! Согласись, подумай, куда бы стал он писать, когда ни я, ни он, никто в уезде не знал, где носила тебя нелегкая... Ну, подай ему сей же час руку!

- Да я не сержусь на него; что мне сердиться! Я говорю только, что глупо; не мог как-нибудь отыскать меня и дать знать!..

- Экой какой, право! перебил Васильков. - Чудак! Право, чудак!

- Ну, куда ни шло! Говори: когда свадьба? - воскликнул Карачаев, переменяя мгновенно интонацию.

- Через месяц; дня еще не могу назвать.

- Это все равно. Слушай, Порфирий, если ты возьмешь шафером не меня, а другого кого-нибудь, знать тебя не хочу!

- Помилуй, братец, я даже хотел просить тебя об этом... точно так же, как хотел просить Аристарха Федорыча сделать мне честь быть посаженым отцом... Надеюсь, Лизавета Семеновна не откажется занять место посаженой матери невесты?..

- Разумеется, с удовольствием... - сказал Балахнов, изъявляя полную готовность.

Владетель Ханских Прудов чрезвычайно любил торжественные случаи. Он постоянно принимал живое участие во всех делах, касавшихся мелких помещиков уезда. Это доставляло ему всякий раз полную возможность занимать первое место и расточать при случае дары высокого своего покровительства. Чувство глубокого уважения и почитания, которыми окружали его, льстило немало его самолюбию. Все это, разумеется, заставляло его забывать на время раны, наносимые ему обществом истинно порядочных соседей.

- Ну, и прекрасно! Аристарх Федорыч - посаженый отец, Лизавета Семеновна - посаженая мать, а я дружка. Поздравляю тебя, Порфирий! - закричал Карачаев, заключив в свои объятия Василькова. - Теперь, брат, вот в чем сила, присовокупил он с видом крайней заботливости, - теперь, то есть завтра же, после вечера, едем тотчас же...

- Куда? - спросил Балахнов.

- Куда! Вот славно! ха! ха! ха!.. Сначала к невесте, разумеется; надо же все это уладить, переговорить... потом в губернский город для закупок... Оркестр, повар - все это я беру на себя... Только у меня, брат, Порфирий, ни гу-гу, ни-ни! Всем буду я один распоряжаться. Слышь? Завтра же едем!

- Да полно тебе, бешеная голова ты этакая! полно тебе мутить его! У него, я думаю, и без того голова идет кругом, все это сделают и без тебя; с тебя потребуют только не залететь на время свадьбы в какую-нибудь трущобу, где тебя с собаками не отыщешь...

- Сделай милость, нельзя ли без нравоучений?... Я сам знаю, что делать, вот она штука-то в чем!... - возразил недовольным тоном Карачаев.

- Ну, хорошо, хорошо. Слушай, Порфирий Павлыч: можно, я думаю, объявить все нашим дамам? Теперь скрывать уж нечего, - промолвил с улыбкою Балахнов.

Порфирий Павлович обнаружил при этом не только согласие, но даже величайшую радость. Как всем страстно влюбленным, ему давно прискучили деловые толки Аристарха Федоровича, хлопотавшего о материальном благосостоянии будущей его жизни; сердце его, переполненное самыми нежными чувствованиями, оставалось глухо к благоразумным советам приятелей и давно уже порывалось в гостиную, где сидели дамы: там только можно было найти сочувствие пылко влюбленному, там только поймут и оценят его. Васильков угадал верно. Как только Аристарх Федорович объявил, что Порфирий Павлович женится, что свадьба назначена в начале будущего месяца – все дамы испустили радостный крик, как будто слышанное было для них самою свежею новостью; потом они встали со своих мест, окружили жениха, засыпали его любезностями, обнаруживая в каждом движении трогательную симпатию. Со стороны Кошкина услышал он также

самые лестные и радушные приветствия. В одном только ошибся Порфирий Павлович: он думал обрадовать этим известием особенно трех барышень, а вышло на поверку, что барышни приняли новость холоднее Кошкина. Это происходило оттого, что дружеское расположение Кокуркиных было слишком искренно; связь Василькова с семейством, которое, по разным отношениям, не благоприятствовало барышням, должна была лишить их навсегда первого мазуриста, первого любезника и самого веселого и милого кавалера. К этому примешивалось также чувство ревности, которое суждено испытывать особам прекрасного пола даже в делах дружбы. Всех недовольнее казалась толстая Вера Андреевна; она хотя и объявила с веселой улыбкой, что с завтрашнего дня начнет готовить бальное платье и новые башмаки, но тотчас же села к окну и погрузилась в раздумье. Счастье Василькова было однако ж так велико, что не могло омрачиться такими замечаниями. Он принялся описывать физические и нравственные красоты своей невесты, которую называл алмазом, перлом и существом небесным, посланным на землю единственно для того только, чтоб подарить его невообразимым блаженством. Увлеченный обворожительною картиною своей будущности, он распространился о семейной жизни, давая почувствовать всем и каждому, что истинное назначение человека заключается в том, чтоб быть семьянином, что тут только познает он себя и выказывает, так сказать, духовную сторону бытия своего; описал в поразительно верных красках горькое положение холостяка, которому негде согреть сердца, некуда приклонить голову; мало-помалу перешел к будущему своему хозяйству, сказав притом, что хотя оно и заключается в бедной, скромной хижине на берегу живописной речки, но тем не менее подарит его миром и покоем, столь сладостными после скитальческой и полной треволнений жизни. Растрогав до слез всех дам поэтическими эпизодами печальной, одиноко сиротской молодости своей, Порфирий Павлович прибавил, что утомился уж жизнью, где всюду одна лишь мишура и декорации, что избрал покой и, в подтверждение сказанного, заключил нежно-взволнованным голосом: да-с,

Есть тихие брега покинуть для волнения

И бросить якорь свой у пристани забвенья...

«Боже мой, Боже мой! Давно ли говорил он, что ничего не может быть лучше холостой жизни, когда никому не отдаешь отчета, а живешь с теми, кто мил сердцу!», - думала, между тем, средняя Кокуркина, не сводя тоскливых глаз с восторженного лица первого мазуриста. Слово за словом, разговор делался общим и постепенно перешел к другому предмету; но Васильков и тут-таки успел обратить на себя лестное внимание дам. Он говорил без умолку, вставляя свое слово в каждый разговор, касавшийся до него лично, и даже посторонний. Порфирий Павлович считал непременным долгом, как только судьба ставила его в дамское общество, болтать языком без умолку. Иной раз скучненько было, мысль не лезла в голову, но делать было нечего, он поставил себе за правило быть учтивым кавалером, занимать дам и обнаруживать перед ними во всех случаях тончайшую любезность. Для дамы он готов был, как герой шиллеровской баллады, броситься из-за перчатки в пасть к освирепелым львам и тиграм. И все это делалось так, бескорыстно, разумеется, без всякой задней мысли. Услышав, что в другом конце гостиной шла речь о Бобохове, Порфирий Павлович объявил тотчас же во всеуслышание, что знает как нельзя лучше этого Бобохова, что они служили вместе юнкерами, и что в то время, как полк их стоял на травяном продовольствии, он и Бобохов жили в одной избе, спали на одной лавке, ели из одной чашки. Так как Василькова считали в уезде честнейшим малым, каким он и был в самом деле, то дамы, нашпигованные любопытством касательно соседа-миллионера, закидали вопросами Порфирия Павловича.

Как ни был любезен Васильков, однако ж он вскоре почувствовал, что не в силах более устоять против соблазнительных пуфов табачного дыма, пускаемых сидевшим подле него Кошкиным. При дамах он никогда бы не решился курить – это также не было в его правилах – и потому, повернувшись на тонких своих ножках, улучил минуту и юркнул

в залу. Встретив Дрянкова, который ходил взад и вперед с заложенными за спину руками, Васильков поспешил к нему навстречу.

- Я слышал, ты, брат, женишься... весь дом говорит об этом... - сказал Аполлон Егорович, мрачно покручивая пучочки щетин, торчавших у него под носом.

- Да, друг мой, да! Надоело таскаться по свету; душа, знаешь, утомилась и просит отдохновения! - отвечал Василков, пожимая руку приживальщика и увлекая его в бильярдную.

- А! вот он, сизый голубочек! Ну, что ты там с бабьем-то засиделся?..! А мы так с Ванюшей оканчиваем уж третью партию, - сказал Карачаев, ударяя кием по бильярду.

- Смерть, братец, покурить захотелось, - произнес Васильков, ласково кивая карачаевскому партнеру, которым был не кто другой, как известный уже сухопарый Иван.

- Трубку Порфирию Павлычу, живаа..а! - гаркнул Карачаев, обращаясь к Ивану и подняв в то же время к губам свою рюмку, стоявшую на соседнем стуле. - Ну, Порфирий, партийку! Десять очков вперед даю. Э! была не была! - продолжал он, покуривая из дорожного чубучка.

- Хорошо; кончи прежде партию, а после; смерть курнуть хочется! - отвечал Васильков, принимая трубку из рук Ивана и садясь на диван подле Дрянкова.

- Ну, Аполлон Егорыч, скажи-ка, что ты поделываешь. Мы ведь давно с тобой не видались...

- Че-е-во? Что он поделывает? Да ты спроси у меня об этом, ха! ха! ха! - заголосил Карачаев, прицеливаясь кием. - Эх-ма! Чуть было не положил своего беляка в лузу!

- Да, спроси у Карачаева; он тебе объяснит все, что хочешь; распишет, как по маслу, значение всей литературы, если хочешь, – произнес с горькой улыбкой Аполлон Егорович. - Мое намерение, - прибавил он, мрачно насупив брови, - ехать в Петербург; - один известный журнал предлагает мне купить мою повесть...

- Не верь! кому нужна его «Непризнанная Индейка»! Не верь, Порфирий! - крикнул Карачаев, переваливаясь через борт бильярда.

- Намерение мое, - продолжал Дрянков, бросая презрительный взгляд, - оставить этот дом, где добра не дождешься.

- Что-о-о? О каком доме ты осмеливаешься говорить?... - воскликнул Карачаев, мгновенно изменяя голос и подходя к дивану.

- Да, я говорю о здешнем доме, - возразил приживальщик, лицо которого перекрылось зеленоватым оттенком, - о доме, где всякий... да, всякий дает себе волю, где даже сам хозяин не различает людей, где образование...

- Ка-а-к? И ты смеешь бранить Лизавету Семеновну? - закричал Карачаев.

- Сделай милость, братец, оставь меня в покое... Лизаветы Семеновны я не трогаю...

- Полно, Павел, охота тебе... эх! - пробормотал Васильков.

- А ты что? Я не с тобой говорю. Целуйся со своей невестой и больше ничего. Как? Лизавета Семеновна, которая одела, обула его, Лизавета Семеновна... и ты осмелился?...

- Павел Петрович! Павел! Полно! Говорят тебе, он не упомянул даже о Лизавете Семеновне. Оставь, у каждого, брат, есть свои неприятности, - ласково произнес Васильков.

- Все равно! Он бранит дом, дом, в котором все мы считаем за честь быть приняты. Разве мы хуже его?.. Да знаешь ли ты? Скажи еще одно, скажи одно слово - и я...

- Павел Петрович, послушай... Ты смешал, братец ты мой: он совсем не то хотел сказать. Перестань, сделай милость... ну, хоть для меня...

- Не то хотел сказать? - возразил Карачаев, значительно понижая голос. - Ну, так что ж после этого в его литературе, когда он говорить не умеет?.. А еще толкуешь, что деньги дают тебе за сочинение! Выучись говорить прежде… Ну, Ваня, сколько очков? - заключил Карачаев, неожиданно повертываясь к бильярду.

- Вот ты сам был свидетелем, - сказал Дрянков, наклоняясь на этот раз к самому уху собеседника,- я даже рад, признаться, этой сцене; сам суди, каково жить в таком доме…

Тут не только какие-нибудь повести, но даже мысль, простая мысль не придет в голову… Ты счастлив, братец, и, согласно законам психологическим, тебе теперь не могут быть понятны страдания человека...

- Ты ошибаешься... Хотя, действительно, счастливее меня нет человека в целом уезде, я все-таки понимаю тебя...

- Эх, промахнулся! Ишь его, негодяй, широк в плечах, в лузу не лезет! - перебил Карачаев, стуча кием по желтому. - А все ты, Ваня, экая зюзя! Право зюзя! а еще комедиантщик! Ну, на какого лешего подставил ты маску?..

- Да чего ж вы-то смотрели, Павел Петрович? А вам бы красным подрезать! - отвечал Ваня, охорашиваясь.

- Сколько я проиграл?

- Три нынче, да вечор у Барабанчнкова восемь, да за вами было прежде семь...

- Эка штука! на квит! - крикнул Карачаев, допивая рюмку.

Ваня тряхнул волосами. Карачаев снова взялся за кий, и началась новая партия.

- Ты понимаешь, говоришь, мое положение, - продолжал между тем Аполлон Егорович, - но поймешь еще лучше, когда я прочту тебе свою повесть... Я прочту ее тебе, если хочешь, сегодня вечером, когда все пойдут спать, - добавил он шепотом.

Порфирий Павлович изъявил, как изъявлял во всех случаях своей жизни, совершенную готовность исполнить требуемое; он стал даже просить автора приехать к нему со временем в дом, дабы усладить чтением повести минуты его семейного счастия; но Карачаев не дал ему окончить, требуя настоятельно обещанную партию.

Партия однако ж не состоялась; потому что Аристарх Федорович прислал сказать, что на террасе всех ожидает чай.

Чай разливала девица Сараманаева, и это обстоятельство, позволявшее Карачаеву подливать рому сколько душе было угодно, развеселило его окончательно. После чая Вера Андреевна Кокуркина, первая затейщица всех возможных общественных увеселений, предложила кататься в лодке. Предложение принято было с восторгом.

- Лизочка, - сказал Аристарх Федорович, нежно целуя жену, которая вспыхивала каждый раз при такой нежности, хоть и была уже десять лет замужем, - Душенька, повторил Балахнов, целуя ее вторично, - тебе бы не худо накинуть что-нибудь на плечи: вечер сырой; к тому же роса падает, на воде будет холодно; да и вам, mesdames, советовал бы сделать то же самое, - присовокупил он, обращаясь с любезностью к Кошкиной и Кокуркиным.

Минуту спустя, дамы явились на террасу, закутанные в платки и мантильи. Мужчины, в числе которых находились Копков и Дрянков, вооруженные картузами и трубками, и Карачаев с гитарою Копкова за плечами, стояли на террасе, ожидая сойти в сад.

По сигналу, данному хозяином дома, Семен Семенович поправил очки и, выразив на желтом лице очаровательную улыбку, поспешил предложить руку хозяйке.

Но потому ли, что Лизавета Семеновна не заблагорассудила подать руку предупредительному кавалеру, или просто хотела идти одна, она сделала вид, как будто не заметила его движение, повернулась к нему спиной и отошла к Кокуркиным. Взгляд, брошенный на нее мужем, потерялся в пространстве; она стояла к нему спиною.

- Ну, я пойду с Володенькой! - сказал Кошкин сахарным голоском, в котором заметны были смущение и досада, - мы с ним старые друзья; он, я уверен, ни на кого меня не променяет. Володенька, пойдем, дружок, со мною... - прибавил он, подходя к мальчику и ласково наклоняясь к нему.

- Нет, я не пойду с вами... - произнес вполголоса ребенок, который не мог видеть отца за спиною Кошкина.

- Отчего же, дружок?..

- Так, не хочу. Я пойду с Копковым.

- Но отчего же не со мной?..

- Оттого, что... оттого... я вас не люблю! - отвечал Володя, хмуря брови и отворачиваясь в сторону.

- Ха-ха-ха! Вот славно! - сказал Семен Семенович, смеясь усиленным, кисленьким смехом, - Ну, как хочешь, дружок, я тебя нисколько не принуждаю...

- Что такое? В чем его принуждают? - спросил Аристарх Федорович, хмуря брови и подходя к Кошкину и ребенку.

Лизавета Семеновна, а за ней и остальные дамы подошли к Володе, который, очутившись перед отцом, побелел, как известь.

- Нет, ничего... Между нами произошла маленькая ссора, - проговорил Кошкин голосом невинности. - Володя объявил мне, что он меня не любит и не пойдет гулять со мной, - промолвил он с сожалением.

Величественное лицо Аристарха Федоровича вздрогнуло, словно от гальванического удара; высокий лоб его мгновенно покрылся красными пятнами.

- Это еще что значит? Вон! - закричал он грозно, насупив брови и указывая сыну на дверь гостиной.

Ребенок, рыдая, покинул террасу.

- Аристарх Федорыч, полноте! Помилуй, братец, вот вздор какой! Прости его: ребенок! - заговорили в один голос присутствовавшие, окружив Балахнова.

- Нет, уж извините, mesdames, его надо, наконец, хоть раз проучить хорошенько. Это из рук вон! Я давно замечаю за ним кой-какие черты вовсе... Не знаю только, откуда черты эти прививаются... - произнес Аристарх Федорович, бросая значительный взгляд жене, которая стояла подле Кошкиной, стараясь подавить слезы.

Маленькая эта катастрофа нимало не повредила прогулке, и общество потянулось гурьбой по садовым дорожкам, спускавшимся к прудам, которые ярко сияли посреди зелени, начинавшей уже покрываться тенью.

Минуту спустя большая лодка, украшенная флюгерами и расписанная самым затейливым образом, отчалила от берега, таща за собою длинную, волнистую струю, в которой играли и дробились последние лучи солнца. Вечер был чудесный; чистое небо, исполосованное только на закате золотыми облаками, отражалось целиком в широком пруде, гладком как зеркало. Тишина возмущалась лишь плеском весел; изредка присоединялся к этому отдаленный говор поселян, возвращавшихся с поля, или дребезжанье тележки, скакавшей где-то в стороне по пыльной дороге. Воздух начинал уже проникаться вечернею свежестью. По мере того, как лодка удалялась от берега, барский дом, с его мезонином, службами и садом, сбегавшим по косогору, окрашенные золотистым пурпуром заката, выступали резче и резче вперед и, наконец, один за другим, начиная с мезонина, показались в воде.

Васильков был в восторге; он думал о своей невесте, и воспоминание это сообщало в глазах его тройную прелесть природе. Впрочем, каждый из присутствовавших, кроме, может быть, одной Лизаветы Семеновны, казался очень доволен прогулкою. Все сидели в сладком раздумье и молча поглядывали друг на друга.

- Эй, ты, литератор, „littérateur"! Ну, что голову-то повесил? Греби дружнее! Слушай моей команды: весла на воду! Так! Что это, mesdames, „écoutez", кого здесь хоронят?..

Получив в ответ несколько жалких улыбок, Карачаев сбросил с плеч гитару, взгромоздился на корму, кашлянул, перебрал струны и, взяв комически величавую позу, запел тоненьким, пронзительным голосом, очевидно, рождавшимся в горле, но выходившим, по какому-то странному закону, прямо из носа: «T'en souviens-tu disait un kapitan»...

- Нет, Карачаев, полно, братец; спой нам лучше что-нибудь родное, национальное, такое, чтоб захватывало, знаешь, прямо за сердце! - сказал Аристарх Федорович с легким оттенком меланхолии.

- Да, пожалуйста, братец, что-нибудь заунывное, - произнес с чувством Семен Семенович.

- Ах, да, русское! пожалуйста, русское! - восторженно заговорили дамы, кроме Балахновой, которая рассеянно глядела вдаль.

- Что ж? «Вниз по матушке по Волге»? - спросил, приосанившись, Карачаев, слывший большим знатоком русских песен и первым певцом в околотке, - только „écoutez", песню эту надо петь хором. Mesdames, барышни, извольте садиться подле меня... Эй ты, литератор, Копков, слушать моей команды. Ты, Порфирий, садись подле барынь, ты тенор, так. Эй, ты, „littérateur", смотреть на меня в оба!

Карачаев забренчал гитарой, кашлянул, закинул назад лысую, багровую голову – и звонкий, дребезжащий голос его, прерываемый громкими взрывами хора, раздался с перекликами по всей окрестности. За первой песнью последовали другие, исполненные то Карачаевым, то Васильковым, у которого был слабый, но сладкозвучный и горловой тенор, то всем обществом, не исключая даже Копкова, который прерывался и схватывал поспешно весла каждый раз, когда глаза его встречались с глазами младшей Кокуркиной. Музыка, как и следовало ожидать, произвела свое обаятельное действие на присутствовавших. К концу прогулки присутствовавшие, со включением даже хозяйки дома, сделались необыкновенно веселы и сообщительны, и только два человека, Аполлон Егорович и Аристарх Федорович, не разделяли, казалось, общей радости. Музыка подействовала на них отрицательно: она пробудила в них грустные думы. Аристарх Федорович, облокотившись на борт, не отрывал глубоко задумчивых глаз от дальних берегов. Горькая улыбка человека непонятого, неоцененного пробегала на тонких губах его. Видно было, что его мысли были далеко от всего окружающего. Заметив эту улыбку и поняв тайный смысл ее, Кошкин наклонился к Василькову, шепнул что-то на ухо Кокуркиным, подал выразительные знаки Дрянкову, Карачаеву и Копкову; присутствовавшие взглянули на Аристарха Федоровича, потом переглянулись между собою, и секунду спустя на лодке воцарилось молчание...

Внезапно Аристарх Федорович поднял голову; он провел ладонью по высокому лбу, положил одну руку на плечо Кошкина, другую простер к горизонту и произнес слегка взволнованным голосом:

- Друг, что прочно на свете? Побуждение человека суть только плод бренного, тревожного бытия его! К чему ведут нас высокие думы, возвышенные стремления?.. К тому, чтоб видеть на каждом шагу забвение того, что возвышено и достойно!.. Что сделал человек с самим собою? Благородство заменил он коварством, ум обратил во вред ближнему! Пламенная страсть переходит мгновенно в ненависть, дружбу заменяет неприязнь лютая! Ничто не прочно... и только вот, да, одна лишь природа, как бы в укор человеку, остается вечно неизменною, вечно одна и та же; все исчезает перед могучим ее величием...

Когда последние слова Аристарха Федоровича замерли в отдалении, Кошкин проворно поправил очки, схватил руку Балахнова и бросил на него один из тех взглядов, которые для людей, понимающих друг друга, дороже всяких фраз и возгласов. Балахнов ответил ему выразительным пожатием руки и снова устремил задушевные взоры на дальний берег.

Присутствовавшие в молчании последовали его примеру.

Вскоре лодка причалила к берегу, и общество направилось к дому. Вера Андреевна, желая, по своему обыкновению, развеселить компанию, предложила было сыграть в фанты, или протанцевать хотя бы одну французскую кадриль, но все единодушно отказались от предложения, тем более неуместного, что в зале давно уж ожидал ужин. Минуту спустя, кавалеры подали руки дамам, и длинная вереница потянулась из темной гостиной в столовую.

- Ужасный человек! Жестокий человек! - пролепетала девица Сараманаева, опускаясь снова всею тяжестью на руку Карачаева, который шел с нею в одной паре.

- За что вы на меня нападаете?.. Écoutez, ей-Богу, не знаю, что я сделал... пусть я ослепну, если понимаю...

- Коварное существо!.. Зачем разболтали вы все Кокуркиным?.. О, я никогда от вас этого не ожидала!..

- Кто, я? Ах они... да я сейчас же пойду проучу их... что вы!

- Ради Бога, Павел Петрович... Павел... умоляю вас, хоть для меня, не делайте этого... Я вам за это напишу милую записку... - пролепетала девица Сараманаева, показывая собеседнику крупные белки свои.

- Повинуюсь... Ах они... я им! Повинуюсь, когда вы этого требуете -повинуюсь! - шепнул Карачаев, укрощая мгновенно свою запальчивость.

Во время ужина не произошло ничего особенно замечательного, кроме разве того, что Карачаев выпил залпом четыре рюмки сердцекрепительной влаги, сказав при этом, что предпочитает ее во сто крат всяким шато-ла-роз-пульякам и прочим заморским выдумкам.

Пожелав хозяевам и друг другу доброй ночи, гости, провожаемые кто лакеями, а кто горничными, отправились в назначенные для них покои.

- Ты где спишь? В какой комнате? - спросил Васильков, обнимая одной рукою Карачаева, другою приводя в порядок волосяные свои волюты.

- Вот вопрос! Ха-ха-ха! Ах ты, шут гороховый, тетерев этакой! Да где ж я буду спать, если не с тобой?.. Я нарочно, брат, распорядился насчет этого. Вот, смотри, если вру, - прибавил он, вводя приятеля в маленькую комнату с двумя постелями и куском зеркала, вставленным в запачканную мухами раму. - Ну, что, Ваня, доволен ли ты, что привел я тебя сюда? - спросил Карачаев, бросаясь со всех ног на перину и подставляя сапог камердинеру.

- Доволен, Павел Петрович, покорно благодарю.

- Ведь вот, брат Порфирий, поверишь ли, для чего я приехал сюда - для него одного! У него, знаешь ты, здесь зазнобушка... Ну, что, видел Глафиру? Что она? рада?

- Как же не радоваться! Старые знакомые! – смеясь, отвечал Иван, принимаясь снимать второй сапог.

- Ведь вот, брат Порфирий, что он мне? Наемный, а, право, люблю его! Ну уж зато скажу, брат, тебе, и он не выдаст; да вот как: дай ему сто рублей в месяц, не пойдет к тебе... Мало того, дай двести, не пойдет! Ты знаешь сам, что он мог бы получать большие деньги: ведь он комедиант и делает преуморительные, брат, штуки; ему в губернском городе предлагали место паяца, четыреста рублей давали на ярмарке, а не пошел! Да что толковать! Дай ему двести рублей, тысячу дай – не пойдет, сам спроси у него...

- Да что спрашивать! Я и без того верю, - отвечал Васильков, забиваясь под одеяло.

- Нет, ты спроси, спроси, доволен ли он мною? Ваня, скажи ему, доволен ли ты мною - да или нет? Ну!

- Как же не быть довольным? Чего ж еще надо? Слава Богу, еще бы с вами не хорошо было жить! - весело отвечал Иван.

- Ха-ха-ха! Иван, поди сюда! - торжественно закричал Карачаев, принимаясь рыться в архалуке. - Ваня, на тебе полтинник.

- Помилуйте, Павел Петрович, зачем мне? Вам самим надо...

- Бери, когда говорят!

- Да нет же, не надо мне. Бог с вами; у вас теперь у самих гроша нет...

- Что-о-о? - закричал Карачаев, вскакивая с постели.- Вон, когда так! Не смей являться на глаза! Вон, грубиян!.. Ну, вот, брат, - прибавил он спокойно, когда вышел Иван, - видишь сам, не человек, а золото! Последний ведь полтинник отдал ему, а не жаль, право не жаль. Эн, Порфирий! да что ты, спишь или нет?

- Нет...

- Что ж ты уткнулся, как байбак, в стену?

- Я думаю...

- О чем? ха-ха-ха!..

- О Боже, Боже! что-то делает теперь моя Антониночка? - произнес замирающим голосом Васильков, - что-то она теперь делает?.. Она...

- Фу! Пусто вас побери всех влюбленных! Ха-ха-ха!.. Кто там? - промолвил неожиданно Карачаев, повертываясь к двери.

Но вместо ответа на пороге показался Аполлон Егорович с толстой тетрадью под мышкой.

- А! - воскликнул Карачаев. - Ну, послушай, брат, Аполлон Егорович, я забыл тебе сказать: ты, брат, не сердись на меня; леший же велел говорить тебе в бильярдной так, что тебя не поймешь...

- Хорошо, хорошо, - отвечал приживальщик, видимо озадаченный присутствием Карачаева, - только, пожалуйста, не мешай нам; мы займемся на минуту делом, - присовокупил он, подходя к Василькову.

- Ладно, читай! - сказал Карачаев, закуривая трубку и подпираясь локтем в подушку.

Дрянков снял со свечки, сел подле Василькова и раскрыл тетрадь.

- Повесть называется... «Непризнанная Индейка»... Но прежде, я думаю, нелишним будет рассказать в коротких словах сюжет ее, то есть содержание... - произнес Дрянков.

- Ну, мимо сюжет! Читай только; мы сами поймем и без твоих объяснений... - заметил Карачаев, нетерпеливо пуская клубы дыма.

Дрянков мрачно нахмурил брови, кашлянул несколько раз сряду и начал:

«Светило дня медленно склонялось к горизонту и, как бы тоскуя о разлуке с землею, бросало на нее последний, прощальный привет, когда на пороге избушки показался старик, убеленный почтенною сединою. Время и заботы избороздили высокое его чело, но он был еще бодр, и члены его, прикрытые шинелью, казались еще довольно крепкими. Могучая грудь почтенного старца, усеянная рядом незабудок...»

- Стой! Зачеркни это: не годится! - крикнул Карачаев, обнаруживая живое участие. - Что это? Незабудки? Вздор! Сейчас же вон их!

- Ну вот, сам теперь видишь, какой ты! - произнес Дрянков, сжимая кулаки, но обращая умоляющий взгляд на Карачаева.

- Зачеркни незабудки, и я замолчу; без этого не хочу дальше слушать, вот в чем она штука-то.

- Полно, Павел, оставь нас, - пробормотал Васильков, у которого сильно слипались глаза.

- А ну, коли так, за порог же всю вашу литературу! Ступай, читай, кому хочешь свои незабудки. Вон! Я спать хочу!

И Карачаев, без дальних объяснений, побежал к комоду, затушил свечу и, выпроводив гостя, грохнулся на постель.

На конце темного коридора, под лестницей, находилась крошечная каморка, обращенная благотворительным Аристархом Федоровичем в жилье для приживальщиков. Туда-то направил шаги свои Аполлон Егорович, сжимая судорожною рукою тяжеловесную рукопись «Непризнанной Индейки». Войдя в каморку, он отыскал ощупью спичку и засветил огонь. Первый предмет, попавшийся ему на глаза, был Прокисай Захарович, спавший в своем углу невинным сном младенца.

Но Аполлон Егорович отвернулся от него так же ненавистно, как отвернулся бы в эту минуту от всего человечества. Он опустился на тюфяк, придвинул к постели стул, поставил на него свечку и, раскрыв перед собой повесть, дико заскрежетал зубами. Вслед за тем Аполлон Егорович уперся локтями в подушку, положил угловатую свою голову между ладонями и принялся читать с каким-то свирепо-отчаянным выражением лица лучшие места из своей повести.

V.
Часть быта, которая тщательно скрывается от посторонних

В то самое время, как Аполлон Егорович Дрянков восседал в каморке, определенной благотворительным Балахновым для приживальщиков, и, скрежеща зубами, читал с каким-то свирепо-отчаянным выражением на лице незабвенные страницы собственного своего произведения, в нескольких шагах от него, через две стены, происходили сцены совершенно другого рода.

Местом действия служила маленькая, но красивая комната, отведенная супругам Кошкиным.

- Не хочу! не хочу! не хочу! - кричала Анна Васильевна, сидевшая на постели и одетая по-ночному, в измятом миткалевом чепце и такой же точно кофте, которые, скажем в скобках, нисколько не соответствовали ее шелковому платью и другим более или менее дорогим принадлежностям туалета, лежавшим на стуле.-Не хочу! Вот славно! Что она за невидаль, что я позволю ей строить разные гримасы, задирать нос да отворачиваться!.. Никогда этого не будет, никогда, никогда! слышите ли? - прибавила она, бросив презрительный взгляд на мужа, который стоял перед нею в носках и без парика.

- Да ты только выслушай, моя радость... - униженно произнес супруг.

- Ничего не хочу слушать! У вас нет ни амбиции, ни самолюбия! Вы скоро, кажется, позволите сесть себе на голову в этом проклятом доме! Делайте, что хотите, но чтоб я, я, я! позволила задирать перед собою нос этой долговязой дуре, Балахновой... ха-ха-ха!., нет, merci beaucoup, этого вы никогда не дождетесь! Завтра же, завтра утром чтоб были готовы лошади, и я еду.

- Что ж из этого выйдет? Скандал, скандал на весь уезд, и больше ничего! - отвечал сокрушенный Семен Семенович.

- Большая нужда мне в том, что будут говорить Кокуркины какие-нибудь! Я уверена, что все порядочные люди, которые бегают из этого дома, как от чумы, оправдают мой поступок! - воскликнула Кошкина, энергически махнув рукой. - Если я до сих пор пренебрегала порядочным обществом и ездила сюда, так делала это из снисхождения к вам; я имела глупость верить всем вашим сказкам...

- Да ты выслушай только, Анна Васильевна...

- А, подите! Ваши Балахновы mauvais genre, и больше ничего! - перебила жена, нетерпеливо махнув рукой.

- Послушай, дружок, я вовсе не защищаю их; я даже совершенно согласен во всем с тобой, хотя ты, признаться, слишком уж строга. Нельзя же отнять ума у Аристарха Федоровича: умен как ясный день! Скажу более: умен, адски умен, хитер и лукав, как бес, вдобавок! - возразил Семен Семенович. - Что ж касается до Лизаветы Семеновны, ты сама знаешь, душа моя, причину ее гнева: во время оно я мог быть ее мужем и... и предпочел тебя...

- Скажите пожалуйста! Есть ей за что сердиться! Велика важность!..

- Вот ведь ты какая, Анненька! Слова не можешь сказать без колкости. Но как бы там ни было, прошу, умоляю тебя потерпеть и не делать скандала, - продолжал Семен Семенович, кашлянув, чтобы придать себе более бодрости. - Если б завтра был день обыкновенный, я слова бы не сказал, право не сказал бы; нашли бы предлог - и все кончено, поехали бы с Богом; но сама посуди, ты столько умна, что сама можешь понять: сюда съедется почти весь уезд; хозяин празднует день своего рожденья, и... и... вдруг... В жизни нужно соблюдать некоторую политику... К тому же завтра будет сюда Окатов; он почти главный рычаг в нашем деле с Балахновым, и я должен его видеть...

- И вы в самом деле думаете, что жена Окатова допустит своего мужа мешаться в ваши дрязги?.. Я знаю, она терпеть не может Балахнова и его долговязую; одного ее слова довольно, чтоб он от всего отказался. Не всякий так охотно, как вы, готов себя

компрометировать... Что вы тогда станете делать с вашим Балахновым? Все ваши затеи и надежды – вздор и больше ничего...

- Если это случится, мы тогда посмотрим. Я обещаю тебе, что тогда ноги нашей не будет в этом доме; но покуда, послушай, Анна Васильевна, Бога ради, не делай, дружок, скандала... К тому же, право, моя радость, будет здесь завтра очень весело. Ты знаешь самолюбие Балахнова; он не захочет уронить себя, особенно в настоящее время, где следует ему всеми силами поддержать кредит. Тебя, кажется, не было в зале, когда приехали музыканты, первый оркестр в губернии! Вечером будет фейерверк, прекрасный фейерверк! Обед будет отличный! Я знаю наверное, что Балахнов выписал из Москвы ананасов; если хочешь, я попрошу даже семян... Ты порезвишься и потанцуешь, - продолжал вкрадчивым голосом Семен Семенович, - а послезавтра, чем свет, если хочешь, мы уедем!..

- Какой вы дурной, как я посмотрю! Нашли чем пленять: ананасы! Не видала я ананасов, слава Богу!.. Оркестр! ха-ха-ха!.. Но, скажите пожалуйста, с кем же прикажете танцевать: с Карачаевым, или, что еще лучше, с этим пучеглазым Васильковым?..

- Отчего же, друг мой? Не одни они будут, будут и другие...

- Но кто же, например?

- Гм... гм... но не все ли тебе равно? - произнес, спохватившись, супруг. - Неужели тебе не весело будет затмить всех?.. Во-первых, я уверен, что даже у Лизаветы Семеновны, которую муж одевает из тщеславия как куклу, не будет такого платья, - прибавил он, указывая на огромный ящик, в котором заключался завтрашний туалет жены.

- Скажите, какая честь быть лучше этой мумии, или каких-нибудь столетних Кокуркиных и Сараманаевых!..

- Полно, душа моя! - сказал супруг таявшим голосом, - я знаю, всему этому причиной твоя желчь и слабые нервы. Полно, поступи так, как делал один древний философ, кажется даже... Нума Помпилий, если не ошибаюсь; он всегда говорил, что предпочитает быть первым в деревне, чем вторым в городе, - прибавил Семен Семенович, желавший от всей души рассеять, рассмешить и хоть этим способом склонить на свою сторону капризную супругу. - Итак, ты согласна со мною?

Но вместо ответа Анна Васильевна прищурила свои черные глазки, сделала кислую мину и завернулась в одеяло.

- Анюта, Анненька... ты спишь, душа моя? - спросил после минутного молчания Семен Семенович.

- Ах, оставьте меня, подите прочь! - сказала Кошкина, придвигаясь между тем к стенке.

Семен Семенович взглянул на жену, потер потихоньку руки и задул свечу.

Мы перенесемся теперь на противоположный конец дома и посмотрим, что делалось в спальне самих хозяев. Но прежде не мешает познакомить читателя с наружностью и расположением этой спальни.

Я был всегда того мнения, что сокровенные комнаты, каковы, например, кабинет и спальня, высказывают склонности и вообще весь характер своих владельцев несравненно красноречивее, чем самая физиономия этих владельцев. Господин или дама в гостиной и тот же господин или дама в спальне или кабинете, как известно, – два существа совершенно разные. Я даже уверен, что такие превращения ровно ничего не значат в сравнении с самыми неожиданными театральными превращениями, где часто из цветущей долины вдруг делается мрачная пещера, и наоборот. В гостиной или свете, что одно и то же, все люди почти одинаковы: все равно милы, привлекательны, любезны, или стараются, по крайней мере, быть такими, и только в заветных комнатах являются они сами собою, то есть такими, какие они на самом деле. Мы окружаем и обставляем себя по возможности всем, что соответствует нашему вкусу, и вкус этот должен, следовательно, приблизительно выражать наши склонности; мельчайшие привычки, обычаи – словом,

все, что составляет всего человека и что тщательно иной раз скрывается им от света, является в поразительно верных красках на полках, мебели и стенах его кабинета. Вы убеждены, например, что г. Z. страстный поклонник отечественной словесности – прекрасно; вы глазам не верите, найдя в его кабинете одни «Губернские ведомости», прикрытые стаканом квасу на том самом месте, где объявляется о продаже борзых собак. Но в том-то и штука, что вы знали поддельного г. Z., тогда как вот вам настоящий. Господин П. кажется вам человеком характера могучего и твердого, силы воли непоколебимой, гордости непреклонной: посмотрите-ка на него, когда он остается наедине с женою - совсем не то! Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Каждый дом, каждая квартира, как бы малы ни были – тот же театр, разгороженный на сцену и кулисы: вся разница в том, что действующие лица занимаются актерским ремеслом из любви к искусству, не приписаны ни к какой труппе и не получают жалованья. Поверьте, так!.. Спальня Лизаветы Семеновны, чтобы окончить дальнейшие объяснения, находилась подле маленькой комнаты, которая оканчивала собою угол дома, затерянный в глухой и запущенной части сада. Обращенная когда-то в великолепный будуар, спальня не представляла теперь тени прежней роскоши: все было просто и печально, как наружность самой хозяйки. История преобразования будуара в спальню достойна замечания: она составила эпоху в жизни Балахновой. Два года после свадьбы и вскоре после ссоры Аристарха Федоровича с Солонеевым, Лизавета Семеновна обнаружила заметное охлаждение к окружавшему ее миру; сплетни, дрязги, последовавшие за ссорой, балы, обеды, съезды, явившиеся как противодействие, и, главное – равнодушие Аристарха Федоровича, которому, конечно, не до того уже было, чтобы заниматься детьми и женою – все это заставило Лизавету Семеновну искать жизни в другой сфере. Нечего и говорить, что душа ее проникалась болезненной тоскою, когда она мысленно устремляла взор в будущее. Тщеславие и самолюбие мужа, доходившие до помешательства, должны были подточить в скором времени состояние детей: материнское сердце бедной женщины обливалось заранее кровью и ожесточалось с каждым днем более и более. Видя, что усилия ее, стремившиеся к тому, чтоб подавить в Балахнове пошлое, пустое чувство, возвратить его к обязанностям отца и мужа – были напрасны, Лизавета Семеновна почувствовала, что завеса, опущенная раз навсегда между его и ее интересами, становилась с каждым часом гуще и гуще. Мало-помалу она переселилась в маленькую комнату верхнего этажа, где жили ее дети и старая няня, носившая ее на руках. Аристарху Федоровичу это очень не понравилось: в голове его носился совсем другой идеал жены и подруги жизни. Оказывалось на поверку, что Лизавета Семеновна не только не играла никакой роли, но даже не подавала надежды играть когда-нибудь роль в уездном кругу. Следствием этого было то, что Балахнова сильно упала в мнении своего величавого супруга. «Я ошибся, - подумал Аристарх Федорович, натирая докрасна дипломатический свой лоб, - страсти увлекли меня! Такая женщина не в состоянии понять возвышенные стремление человека, стоящего выше других! Горько ошибся! мелкие, жалкие натуры!..

Им чувств высоких не дано!

От колыбели до могилы им пресмыкаться суждено!»

- заключил Балахнов, подавляя вздох. Все это было совершенно справедливо. Но так как, с другой стороны, Лизавета Семеновна исполняла беспрекословно все его прихоти, являлась, в случае надобности, с веселым лицом в гостиную, принимала гостей в роскошном будуаре, с батистовым платком в руке, то он и оставлял ее в покое. Он не сказал даже слова, когда по прошествии некоторого времени жена упросила его перевести детей вниз, отдать им прежнюю спальню свою, а из будуара устроить себе комнату. Ему было совершенно все равно: главное – был бы будуар в доме; а так как прежний далеко не соответствовал его постепенно развившемуся вкусу, то он с радостью перенес его в соседнюю комнату. «Оно будет повиднее!». Он тотчас велел снять все полки, все безделушки, ковры, картинки, бронзу, фарфор и украсил ими новую комнату; даже цветные стекла, украшавшие прежние окна, перешли в новый будуар.

Новый этот будуар, истинная bête noire Лизаветы Семеновны, доставлял долгое время великое наслаждение Аристарху Федоровичу. На первых порах он даже никого не хотел принимать нигде, кроме этого места. Когда гости усаживались в гостиной в ожидании хозяев, Балахнов давал маленькое наставление Володе и поспешно посылал его к гостям. «Где мамаша, душенька?», - спрашивали обыкновенно гости. «В бодоаре», - отвечал ребенок, которому было тогда четыре года. Гости отправлялись в бодоар, и встречали всякий раз самый радушный, приветливый и любезный прием со стороны хозяина. Как бы там ни было, Лизавета Семеновна была очень довольна такой переменой: это давало ей возможность жить вместе, почти в одной комнате с детьми, и жить как можно дальше от будуара. И как часто бедная женщина, сидя у окна своей маленькой детской, окруженная детьми, отдыхала душою и сердцем после великолепных балов и обедов Аристарха Федоровича! Как часто, обвив руками и прижав к груди детей своих, забывала она свое горе! Но как часто зато те же самые дети заставали свою добрую маму с заплаканными глазами! Как часто тогда соединенное усилие маленьких ручек было напрасно, чтоб оторвать ее от окна, уныло глядевшего мутными стеклами на глухую часть сада, опустошенную осенним ливнем!.. Но мы удаляемся от предмета. Нам следовало перенестись в спальню Лизаветы Семеновны и посмотреть, что делалось там в это время, когда гости укладывались по своим местам, прикутывались в свои одеяла и весело разговаривали, вникая, как водится, в характер и нравственные качества хозяина и хозяйки гостеприимного дома.

Балахнова сидела на чахлом соломенном стуле, прислоненном к ее узенькой постели. Вытянув ноги, опустив худощавые кисти рук на колени, склонив голову, она напоминала собой одну из тех мраморных фигур, которыми украшают гробницы; неподвижность ее положения довершала сходство. Совсем другое зрелище представлял Аристарх Федорович, расхаживавший нетерпеливыми шагами из одного угла в другой, с закинутыми за спину руками. Тусклый, едва вздрагивавший свет нагоревшого сального огарка, воздвигнутого на комоде (Аристарх Федорович допускал стеариновые свечи только в парадных комнатах), не позволял, к несчастью, различать выражение лица его. В спальне было почти темно, и большая часть света выходила из растворенной двери детской; там, в углу, перед образами, теплилась постоянно лампадка, зажигаемая каждый вечер заботливою рукою няни. Принимая, однако ж, в соображение яростные толчки, которые посылал Балахнов носком сапога в лохмотья зеленого сукна, украшавшего пол бывшего будуара, должно полагать, что душа его вмещала в себе целую бурю; недоставало только грома и молний. Казалось, гроза собиралась покуда еще в черных тучах, облипавших высокое чело Балахнова, и ждала удобного случая, чтоб ударить всею силой и пронестись с перекатами по огромному дому, погруженному в мрачное молчание. Случай вскоре представился: Аристарх Федорович зацепил носком сукно, терпение его лопнуло, и речь посыпалась крупным градом:

- Я давно хотел объясниться с вами, сударыня! - начал Аристарх Федорович, внезапно останавливаясь перед женою, которая не переменила прежнего своего положения. - Я долго вооружался терпением, но всему есть конец: терпение мое истощилось! Что означает обращение ваше с людьми, которых я приглашаю в дом свой? Я не позволю, я не хочу, чтоб вы поворачивались спиною и делали ваши плаксивые, презрительные мины людям, которых я удостоил своим расположением и дружбой... Слышите ли, что я говорю, милостивая государыня?.. - примолвил он, величественно выпрямляясь.

Лизавета Семеновна ничего не отвечала; она продолжала сидеть неподвижно, и только грудь ее волновалась сильнее прежнего.

- Вы думаете, что ваши обязанности заключаются в том только, чтоб нянчиться с детьми с утра до вечера! - продолжал Аристарх Федорович, принимаясь расхаживать по комнате, но остановился, увидев, что жена привстала со стула и заперла дверь детской.

- Что это значит? - спросил он. - Не хотите ли вы, сударыня, подарить меня новой сценой?.. Объявляю вам вперед, что ваши слезы и жалобы ровно ничего не сделают...

- Нет, я только заперла дверь, чтобы вы не разбудили детей, - тихо отвечала жена, опускаясь на прежнее место.

- Не мешало бы вам обратить частичку этого нежного участия и заботливости к интересам вашего мужа! - сказал Аристарх Федорович с видом человека, который считает непременною своею обязанностью сделать строгий выговор, но чувствует вместе с тем, что лицо, к которому обращается речь, так ничтожно и слабо, что не стоит обнаруживать перед ним запальчивость.

- Я готова бы всей душой исполнить ваши желания... если б... если б видела в том, что вы называете «ваши иптересы», какое-нибудь для вас счастье... - сказала она кротким голосом.

- О! я вовсе не требую, чтоб ваше участие простиралось так далеко! Вы не в состоянии были бы понять моих целей. Но, прибавил он, гордо выпрямляя грудь, - в вас нет для этого достаточной доли того возвышенного, благородного честолюбия; к тому же я сам очень хорошо знаю, что делаю. Я хотел только спросить вас: что сделал вам Кошкин? За что, за какие напасти стараетесь вы обнаруживать к нему при всяком удобном случае явное презрение? Может быть, сударыня, вы делаете это потому, что я, я оказываю ему предпочтение перед другими, что он, может быть, единственный человек, который чувствует ко мне истинную привязанность?..

- Я не думаю... - произнесла Лизавета Семеновна, медленно подымая глаза на мужа.

- Вы не думаете... но когда я говорю, сударыня, стало быть, я знаю, что говорю!

- Вы можете ошибаться точно так же, как и всякий другой, - сказала она мягким, но убедительным тоном. - Я уверена, что этот Кошкин обманет вас рано или поздно точно так же, как прежние ваши приятели, если не хуже...

- Та-та-та, сударыня! Все это пустяки, бредни. Вот это, признаться, мне очень нравится! Не хотите ли вы меня учить, как вести себя, как жить с людьми? Меня! меня!! меня!!!., - воскликнул Аристарх Федорович, возвышая постепенно голос.

- Бога ради тише... - проговорила она боязливо, оглядываясь на дверь детской.

- Этого только недоставало! - продолжал Балахнов, понижая голос и принимаясь величественно расхаживать по комнате.- А вот, если хотите знать, я вам докажу, насколько дальновиднее вас. Я знаю, за что вы ненавидите Кошкина: вы ненавидите его за то, что я дал ему взаймы три тысячи, которые три тысячи вам хотелось употребить на гувернера и немку для детей. О, я давно это понял! Но позвольте вам заметить, что я, во-первых, не намерен отдавать отчет в своих поступках, во-вторых, сам очень хорошо знаю, что нужно моим детям и что нет. Вы думаете, что если я не просиживаю с ними целые дни за азбукой да не целую их, так уж я и не отец? Раз навсегда прошу вас не говорить мне о детях: я сам понимаю свои обязанности... В заключение прошу вас впредь не давать мне повода к подобным объяснением и обращаться с людьми, которых я удостоиваю своей дружбой, приличнее - словом сказать, так, как подобает благовоспитанной даме, даме хорошего круга и хозяйке... Надеюсь, вы можете для меня это сделать? До сих пор вы, кажется, не можете на меня жаловаться: не исполнял ли я малейших ваших желаний и даже прихотей?..

- Я никогда ничего не требовала, - сказала она.

Она взглянула на мужа, который стоял, приняв одну из самых величественных, самодовольных поз своих: ей стало стыдно за самое себя; слезы остановились у нее на вспыхнувших щеках.

- Я никогда ничего не требовала, - проговорила она наконец, подавляя слезы. - Если я просила вас о чем, если я позволяла себе вмешиваться в ваши дела... я делала это, имея в виду бедных детей моих. Вы сами очень хорошо понимаете мое беспокойство: мне ничего не надо; но им – другое дело... Вы знаете, в каком положении наше состояние... Чем все это кончится? Вы сами себя обманываете!..

- Опасения ваши ни на чем не основаны! - перебил Аристарх Федорович, принимая надменную и величавую осанку. - Надеюсь, что дети Балахнова найдут всегда чем поддержать достоинство своего имени. Балахновы, сударыня, Балахновы никогда не будут без куска хлеба и быть не могут!..

Аристарх Федорович перестал ходить и взглянул на жену, которая сидела, закрыв лицо руками и горько плакала.

Но ничего, разумеется, не понял и не прочел Аристарх Федорович из слов и движений своей жены. Он увидел только, как это большею частью водится в подобных случаях, пустые слезы ничтожной и пустенькой женщины, покосился на нее еще раз и вышел вон, нетерпеливо пожав плечами.

Как только он исчез, дверь детской тихонько отворилась, и в комнату вошла крошечная, сморщенная старушка. Она была одета как простая деревенская баба; темный платок плотно окутывал ее голову, склоненную несколько набок; другой платок покрывал ее плечи и падал мелкими складками на руки, желтые как воск, изрытые и изъеденные временем. Она заботливо покачала головой, подошла к комоду и принялась шарить дрожащей рукою, не замечая щипцов, которые между тем лежали у нея под носом. Сняв с грехом пополам со свечки, старая няня повернулась спиною к комоду и приложила ладонь к мутным глазам своим в виде зонтика. Увидев Лизавету Семеновну, сидевшую на стуле, но опустившую голову в подушки, старушка пошла прямо к постели.

- Лизавета Семеновна, полно тебе убивать себя, не гневи Бога... - сказала она, бережно прикоснувшись к плечу Балахновой и наклоняясь к ее лицу, - полно; слезами ничего не сделаешь. Возьми терпением да молитвой... что убивать себя понапрасну!.. Побереги себя, родная; тебе есть о ком подумать, - заключила тихим голосом няня, приподымая голову барыни и приводя в порядок ея волосы. - Полно, ненаглядная, встань; благослови поди деток, да помолись Господу: Он тебя не оставит...

И, взяв Балахнову под руку, она повела ее в детскую, не переставая щуриться и качать головой.

Комнатка эта не только не походила, но даже не напоминала ни одну из многочисленных детских, которые приводилось мне видеть. Стены, как это водилось в старину, были расписаны деревьями, макушки которых расходились у карниза и пропадали в голубоватых облаках, намалеванных на потолке; краска от времени совсем почернела, но все еще можно было различать между стволами берез пестрые клумбы цветов и растений, разбросанных неискусною рукою; все в этой комнате, начиная с крашеного пола и кончая самым отдаленным углом, задернутым зеленым коленкором, где находилась постель няни, отличалось чистотой необыкновенной; казалось, трудно было отыскать пылинку; на темном фоне дерев выказывались четко и ясно четыре маленькие постели, с белыми, как снег, простынками и одеялами. Бледный свет лампадки позволял различать четыре розовые личика, отененные прозрачным полусветом подушек.

Кругом в доме, в саду, в деревне было так тихо, что Лизавета Семеновна и ее няня могли расслышать легкое дыхание четырех детей.

- Не плачь, родная, уйми свое сердце... вот твоя утеха! - сказала старушка, подводя Балахнову к первой постельке. - Полно, благослови их, да помолись Богу...

Лизавета Семеновна отерла платком слезы, склонилась над ребенком и осенила его крестным знамением.

- Так, ненаглядная ты моя, так! Христос с ними! - говорила старушка, следя за каждым движением женщины и притрогиваясь поминутно дрожащими пальцами к мутным глазам своим. - Вот подрастут, даст Бог, вспомянут твою заботу и тебя не оставят... Вишь, они здоровенькие да крепенькие какие, словно цветки с поля. Чего ж тебе еще? Ты вся в них живешь... О-о-ох! Вот не привел только Господь дожить барыне, твоей маменьке, царствие ей небесное! натешилась бы она на них, моя матушка, приголубила бы их – все бы и ей, и тебе, да и им легче стало...

Туман, покрывавший в эту минуту глаза няни, не дал ей различить Лизавету Семеновну.

Услыша о матери, доброй и нежной матери, вся забота, все помыслы которой обращены были на счастье единственной дочери, сердце бедной женщины переполнилось горем, рыдание вырвалось из груди ее, и как стояла она на коленях, так и склонилась головой на край володиной постели.

Старушка спохватилась, но было уже поздно: движение разбудило мальчика. Он открыл глаза, потянулся, но, увидя мать, тотчас же привстал, крепко обвил ее шею руками и сказал, стараясь всмотреться ей в лицо:

- Ах, это ты, мама? Я, знаешь, я сейчас видел тебя во сне, мама... Что ты? Что с тобой? Ты плачешь, мама? - тревожно прибавил ребенок, бережно приподымая голову матери.

- Полно, дитятко мое, полно! - произнесла няня, поспешно подходя к постели. - Усни, ляг, Христос с тобой! Это так, пройдет. - Я не лягу, я не хочу спать, когда мама плачет; я хочу, чтоб она была веселая... - возразил ребенок, прикладывая с нежностью свои щечки к мокрым щекам матери и целуя ее в глаза и в волосы. - Я не хочу, чтоб мама плакала, слышишь, няня? Я не хочу этого! - повторил мальчик, подымая черные блестящие глаза и пристально устремляя их на старушку.

- Видишь... я не плачу... мне теперь весело... - проговорила Лизавета Семеновна, стараясь улыбнуться.

- Ну, видишь, вот и прошло! - сказала няня, - ну, полно же, ляг, усни, а то головка будет завтра болеть...

Няня с помощью матери уложила ребенка и прикутала его одеялом.

- А знаешь что, мама? - сказал Володя, неожиданно поворачиваясь к матери, - знаешь, о чем я думаю? Я, мама, не хочу завтра танцевать русскую...

- Нехорошо, друг мой; ты знаешь, что папаша этого желает. Завтра день его рождения... Надо всегда слушать, что приказывают родители...

- Да что ж, мама, когда мне стыдно при гостях? Зачем папаша заставляет меня всегда делать то, чего мне не хочется?.. Если бы не было только этого Кошкина...

- Не все ли тебе равно? - возразила мать, - думай только о том, что ты исполняешь волю отца.

- Ах, мама, мама, если б ты только знала, как я не люблю этого Кошкина!

- Это очень дурно; не любить никого не надо: Бог велел всех любить... Ну, будь же умный мальчик, не думай о том и завтра постарайся, чтоб папаша был тобой доволен...

- Хорошо, мама, для тебя, для тебя я все сделаю! - с горячностью сказал ребенок, обвивая снова шею матери.

Перекрестив сына и убедившись, что он заснул, Лизавета Семеновна подошла к образам и горячо начала молиться.

Во все это время старая няня, свесив набок голову и скрестив на груди руки, стояла позади ее.

VI.
Торжество в Ханских Прудах

Наконец-то настал тот вожделенный день, в который Аристарху Федоровичу Балахнову суждено было вступить в эпоху возмужалого возраста и горького разочарования на пути жизни, или, говоря языком обыкновенных смертных, должно было исполниться сорок лет для света, и пятьдесят один год для него собственно. Сама природа, казалось, благоприятствовала такому событию: деревья умылись росою, и яркая зелень молодой листвы, украшенная мириадами алмазов, сияла во всей своей свежести; пруды, спокойные и величавые, как и всегда, отразили чистое, ясное небо; птицы, как бы сговорившись еще накануне, разливали в воздухе звонкие трели. Но, когда взошло солнце

и украсило пурпуром и золотом бельведер, стены дома и флигелей, когда озарило оно слуг, суетливо бегавших взапуски по всем направлениям, когда, поднявшись выше, осветило бесчисленное множество баб, мывших стекла и мебель, ряды мужиков, обметавших двор и аллею, повара и чумичек, тащивших теленка и целые корзины, наполненные доверху овощами; когда, взобравшись еще выше, ударило оно косыми лучами в сад и осветило толпу девчонок и мальчишек, чистивших клумбы и дорожки, садовника, обстригавшого акации, старого маляра, красившого черною краской носы и лапы искусственных лебедей – все показывало, что в этот день действительно должно было совершиться что-то необычайное.

Усеяв розами порог и подножие дома, Аврора проникла в открытые окна и потому самому прикоснулась прежде всего своими розовыми перстами к носу Веры Андреевны Кокуркиноий, положенной заботливою Глафирой прямо против света; благодаря этой заботливости все три сестры провели, можно сказать, нестерпимую ночь. Как только Вера Андреевна восстала от сна, первым ее движением было разбудить сестер и поставить их на ноги. Мешкать было нечего. Как самым близким и домашним почти лицам, им следовало явиться прежде всех в залу и опередить поздравительною речью остальных гостей; к тому же, по узаконенному порядку, Аристарх Федорович и его семейство поедут в десять часов в церковь, и им никак не хотелось опоздать. Барышни принялись тотчас же выкладывать из коробок новые платья – все три хотели быть непременно в белом, – начали мыться, чесаться, зашпиливаться и шнуроваться. К несчастью, благодаря все той же закоснелой злобе Глафиры, приказание их исполнялись так нехотя, воду приносили так медленно, шнурки лопались так часто, булавки и шпильки гнулись так упорно, что когда барышни явились в залу – а это произошло не ранее девятого часа – все общество стояло уже настороже против двери кабинета, и лучшие места были уж заняты.

На первом месте, как и следовало ожидать, находился г. Кошкин; закинув правую ногу назад, он стоял, облокотившись на спинку кресел Лизаветы Семеновны, сидевшей подле жены его. Впереди их толпились дети. Позади Кошкина возвышался на целый аршин Карачаев, в черном жилете, черных панталонах и черном узеньком фраке, с болтавшимися пуговками, который должен был лопнуть по всем швам при первом движении его владельца. Но Карачаева считать нечего, потому что он поминутно отлучался, чтоб сделать какое-нибудь распоряжение или отдать приказание мимо проходившему лакею. Кокуркины поместились подле девицы Сараманаевой, усыпанной розовыми бантами; Дрянков и Васильков, распространявший в воздухе сильный запах гвоздичной помады (огромные его завитки и волюты поглощали каждый раз банку), расположились подле; Копков, косившийся боязливо на Фиону Ивановну, приготовлявшую в углу все нужное для чая, прикрывался за левым флангом; позади господ, в почтительном отдалении, стояли дворовые люди, разместившиеся по степеням их заслуг и большего или меньшего почета их должности. Так, например, старая няня, повязанная новым набивным платком, стояла у двери гостиной во главе горничных, прачек, стряпух и судомоек; старый кучер, отставленный от должности по преклонности лет, старый маляр, с огромной клюквой вместо носа и серо-мутными глазами, составляли у двери прихожей авангард остальной дворовой челяди, головы которой представляли бесконечную перспективу разнокалиберных и разноцветных макушек.

Как передние ряды этого общества, так и задние, находившиеся уже далеко за дверями залы, хранили глубокое молчание. Изредка лишь легкий «тш! тш!..» раздавался из первого ряда, имея целью прекратить нескромный голос Карачаева, мешавший расслышать, что происходило за дверьми кабинета, куда были направлены все взоры.

При малейшем шорохе, раздававшемся за этой дверью, все оживало, и басистый гул, подобный тому, какой бывает в сосновом лесу при ветре, проносился из одного конца залы в другой.

Но тревога оказывалась фальшивою, и снова воцарялось молчание, позволявшее расслышать нетерпеливое биение сердец.

Наконец дверь отворилась, и на пороге показался Аристарх Федорович...

На нем была голубая, небесного цвета венгерка, обшитая по всем швам черными шнурками; розовый галстучек, небрежно повязанный вокруг воротничков a l'enfant, шел как нельзя более к его красивому лицу, только что спрыснутому одеколоном.

Величие, смешанное с некоторым оттенком растроганного чувства, обозначалось во всех чертах его.

Прежде всего Балахнов подошел к жене и поцеловал ее несколько раз сряду, потом пожал руку Кошкину, поклонился его супруге и обратился без различия к остальным гостям.

- Аристарх Федорыч! - заговорили в один голос Кокуркины, очутившиеся каким-то образом впереди, - Аристарх Федорыч, - подхватила старшая, подталкивая вперед Надеженьку, увенчанную, как Амур, цветами, - желаем вам от души, из глубины сердца всего... всего...

Но они не договорили и ушли в туго накрахмаленные юбки.

- Аристарх Федорыч, - заговорил Васильков, восторженно вращая своими глазами вроде страусовых яиц, - да позволено будет и мне, ничтожному смертному сего мира, пожелать о продлении дней ваших. Молю Всевышнее Провидение о сохранении вас в добром здравии...

- Э! Что тут долго разговаривать! - воскликнул неожиданно Карачаев, подходя к Балахнову и раскрывая объятия, причем послышался маленький треск на локтях и спине его черного фрака, - по-моему, просто вот, вот, вот! - заключил он, бросаясь целовать Балахнова, который был так озадачен, что не мог произнести ни слова.

- Поздравляю вас! - сухо сказал Дрянков, шаркнув сапогом.

- И я тоже... желал бы... - начал Копков, но, увидев Фиону Ивановну и старую няню, подходивших к Аристарху Федоровичу с огромными кренделями, поспешно юркнул в толпу.

Приказав поставить крендели на стол, Аристарх Федорович величественно повернулся к двери гостиной и сказал: «благодарю!», потом повернулся к дверям залы, приветливо улыбнулся и тоже сказал: «благодарю».

Аристарх Федорович видимо был растроган; но когда очередь дошла до детей, и ему предстояло высказаться не как соседу, но как отцу, он не выдержал, и две крупные слезы повисли на его ресницах. Во все время, как продолжались приветствия детей, он стоял с платком в руке и опущенными взорами.

Видно было, что ему хотелось обнять их, посадить к себе на колени, перецеловать – и верно послушался бы он влечения своего сердца, если б рассудок не говорил ему, что такие порывы несовместны со строгой торжественностью настоящей минуты.

После чая, продолжавшегося не очень долго, присутствовавшие стали готовиться к отправлению в церковь. К крыльцу подъехала коляска Кошкина, сопровождаемая другими, более или менее затейливыми экипажами, в числе которых отличались особепно длинные, дощатые дроги, прозываемые в провинции разлюли.

- Едем, душенька, - сказал Аристарх Федорович, подавая руку жене. - Пора, mesdames, - прибавил он, обращаясь с любезностью к остальным дамам, - слышите... колокол уж давно призывает нас под сень Божьего храма... Но вот вопрос: уместимся ли мы все в экипажах? Я думаю, надо кому-нибудь остаться... Да вот, кстати, Прокисай Захарыч... - протяжно вымолвил Балахнов, входя в залу и заметив в углу приживальщика.- Пожалуйста, милый мой, останься здесь; я хотел попросить тебя приглядеть за людьми на время моей отлучки... Да вот и Фиона Ивановна... Фиона Ивановна, пожалуйста, голубушка, посмотрите с Копковым, чтоб все было исправно...

- Слушаю-с, - сказала Фиона Ивановна, бросая пронзительный взгляд на бедного приживальщика.

Прокисай Захарович обомлел. К счастию, на выручку подоспел Карачаев.

- Как! что?... ecoute! - помилуй, братец Аристарх! ха, ха, ха! вот славно! вот прекрасно! ecoute! Да ты бы давно сказал, душа моя... Недоставало только, что ты станешь церемониться... Где ему, этому?... Я сейчас всем распоряжусь и все это устрою, будь спокоен... А ты садись, сейчас пошел, садись... Э-э-э, брат, со мной коротка расправа!... И Карачаев, не докончив объяснений, повлек приживальщика на крыльцо, с твердым намерением усадить его на разлюли.

Зная, что возражать Карачаеву или уговаривать его было напрасно, Аристарх Федорович оставил на минуту руку жены и поспешил воспользоваться отсутствием Карачаева, чтоб запереть на ключ дверь кабинета. Отдав затем кое-какие приказания, заключавшиеся в том, чтоб отнюдь ни под каким видом не сметь слушаться будущего распорядителя, он снова подал руку Лизавете Семеновне и вместе с гостями вышел на крыльцо.

- Пошел! - прохрипел Карачаев, когда все общество уселось, - пошел! С Богом! Прощайте, прощайте! - крикнул он вслед отъезжавшим экипажам, размахивая своим клетчатым платком и взбираясь на верхние ступеньки крылечка.

«Вот не было печали!, - говорили люди, глядя изо всех окон на крыльцо, где продолжал неистовствовать Карачаев. - Ну, он пойдет вертеть по-своему! У-гу-гу, держись только – бядовый!»

Люди не ошиблись. Вернувшись в залу, Карачаев приказал тотчас же созвать всю дворню, всех баб, ребят и потребовал даже старосту. «Жива! жива-а-а-ааа!», - кричал он, метаясь из одного конца дома в другой. После этой церемонии он немного успокоился, потребовал трубку, сел на стул посреди залы и начал отдавать приказания: кого послал наломать липовых ветвей, чтоб украсить ими залу, кого отправил привезти с поля несколько возов цветов; мальчишек, всех без исключения, разослал наверх по кровлям, по бельведеру и дорогам, чтоб караулить приезд гостей или хозяев и, в случае надобности, подать сигнал. Так велика его была деятельность, что он не преминул заглянуть на кухню, в конюшню, посмотрел, хорош ли овес выдают лошадям, жирны ли индюки и куры, приготовляемые для стола – во всем и всюду поспевал неутомимый Карачаев. Изредка лишь останавливался он, заслыша подле себя маленький треск, и боязливо оглядывал локти черного фрака, но это было делом секунды, и он снова пускался сломя голову за исполнением какой-нибудь светлой мысли; в припадке усердия, он обежал даже раз, сам не зная зачем, вокруг всего сада и прудов.

- Ба! - воскликнул он, останавливаясь на террасе и шлепнув себя по лбу, - где ж фейерверк? Ведь его еще не расставили. Вот наделали было мы кутерьмы!

- Эй, Иван! Степан! Аглай! Сидор.. Сидор, а где фейерверк? - спросил он, вбегая в залу и вперив красные, беспокойные белки на камердинера.

- Не знаю-с, - отвечал, смущаясь, Сидор.

- Как не знаешь?... Ах, ты!. Да знаешь ли, какую беду было наделали? Ведь мы его забыли, вот оно штука-то в чем! Надо его расставить!... Где он? Где фейерверк? Говори...

- Аристарх Федорыч не приказали...

Но Карачаев не дослушал и бросился в кабинет; люди, движимые любопытством и страхом, последовали за ним.

- Павел Петрович, полноте! Ведь дверь заперта; перестаньте; Аристарх Федорыч приедут, сами изволят распорядиться...

- Долой! - гаркнул Карачаев. Он разбежался, грохнулся со всех ног на дверь и как бомба влетел в кабинет.

- Бери, на, тащи, жива-а-а!... - крикнул он, раздавая кому ракету, кому колесо. - Тащи в сад, за мной!

И, взвалив на плечи целый щит с вензелем А и Б, переплетенным лавром, Карачаев побежал по аллеям, сопровождаемый целою ватагой.

Подобно бойцу, возвращавшемуся с битвы, покрытому пылью и потом, Карачаев направился уж к дому, чтоб захватить остаток фейерверка, как вдруг мальчишки,

стоявшие на вышке бельведера, крикнули в один голос: «едут!». Карачаев бросился к зеркалу, привел в порядок жиденькие мокрые волосы, отер пот, ливший ливнем вдоль багрового лица, обтянул рукава и фалды черного фрака и побежал на крыльцо.

- Кто едет? - крикнул он, прикладывая ладонь ко лбу.

- Гости! - отозвались тоненьким голоском мальчишки, стоявшие на бельведере.

Карачаев снова обтянул фрак и снова приложил ладонь ко лбу.

Немного погодя различил он два экипажа-монстра, которые делали явные, но тщетные усилия, чтоб перегнать друг друга; клячи были до того изнурены, что подавали плохую надежду дотащиться до подъезда; наконец, кое-как втащились они на двор.

В первом экипаже сидел непомерно-толстый, коренастый господин, отличавшийся совершенным отсутствием шеи, и с ним четыре дамы, из которых одна была старая и три молоденькие.

- Здорово, брат Кондей! Здравствуйте, Софья Кузьминична! Барышни, честь имею кланяться! - гаркнул бесцеремонный Карачаев.

- Здорово, молодец! - прохрипел с одышкою толстяк, стараясь освободить из экипажа свои ноги, напоминавшие колонны тосканского ордера.

Карачаев поспешил прежде всего высадить пожилую даму - крошечную, заспанную женщину в тюлевом чепце, с огромным вязанным ридикюлем; затем он подал руку дочкам, румяным и толстеньким, как пионы.

- Ну, выходи, сороковая бочка! Ведь не на руках же тащить тебя! - присовокупил Карачаев, поворачиваясь к толстяку, который пыхтел, сопел и отдувался, - выходи; вот и Полушкины подъехали... надо им очистить место.

Известие, что подъехали Полушкины, придало, казалось, силы толстяку; он ступил наземь и сказал, бросив торжествующий взгляд на тащившийся позади экипаж: «А все, брат, мы прежде подъехали! Молоды, в Саксонии, брат, еще не бывали».

Природа, столь щедрая во всех своих проявлениях, заблагорассудила, однако ж, снабдить Кондея Ивановича Свищова (так звали толстяка) самыми ничтожными дыхательными органами; ему требовалось неимоверных усилий, чтоб перевести одышку; он пыхтел и казался постоянно задыхающимся от недостатка свежего воздуха. Совершенно другой образчик человеческой природы представлял сосед его Прокл Иванович Полушкин (дома их стояли рядом, и оба они владели одною и тою же землицею). Последний – маленький, тщедушный, жидкий телом, не обещал никакой силы, по крайней мере физической; но зато лицо и глаза его выражали энергию, которая так вот и порывалась наружу. Семейство его также не подходило ни в чем к семейству Кондея Ивановича: оно состояло из сухопарой жены и двух сухопарых дочек; общее заключалось в том только, что как у Свщцовой, так и у Полушкиной были ридикюли совершенно одинаковой материи, цвета, вместимости и устройства. Полушкии играл неподражаемо на гитаре. Аристарх Федорович находил неизъяснимое удовольствие мирить и ссорить Прокла Ивановича с Кондеем Ивановичем. Сильная распря между Свищовым и Полушкиным продолжалась с давних времен. Между ними не было, однако ж, заметно назойливой, непреклонной ненависти; они ссорились каждый день и мирились вечером, чтоб поссориться на другое утро.

- А где ж именинник... где же новорожденный? - проговорил Кондей Иванович, вдвигаясь с семейством своим в залу.

- В церковь уехал со всеми гостями; сейчас будут... - отвечал Карачаев. - Ну, брат Кондей, Софья Кузьминична, пожалуйте в гостиную. Барышни, извините; я здесь один за всех про все... Дел по самое горлышко... Пожалуйте в гостиную... сейчас приедут!..

Выпроводив таким же точно порядком семейство Полушкиных, Карачаев побежал было в сад, чтоб поглядеть, так ли устанавливали щит, как снова послышалось с бельведера: «Едут!». На этот раз глазам Карачаева предстало бесконечное облако пыли, посреди которого скакали экипажи хозяев дома.

Он бросился с сияющим лицом на крыльцо, остановил под уздцы лошадей и принялся поочередно высаживать дам.

- Что, никого еще нет? - спросил Аристарх Федорович, отряхивая пыль на груди и плечах своей голубой венгерки.

- Полушкины и Свищовы, - отвечал Карачаев, давая знать кучеру, чтоб он отъезжал.- Ну, брат, все готово, все твои приказания...

- Скажи, пожалуйста, помирились ли они, но крайней мере? - перебил Балахнов.

- Помирились!.. Вместе даже приехали... - торопливо отвечал Карачаев.

- Ну, хорошо; пускай их хоть грызутся дома. Я хочу, чтоб у меня, особенно нынче, все дышало миром и веселостью!

Между тем как дамы отправились в свои комнаты, чтобы привести в порядок туалет, Аристарх Федорович заглянул в гостиную, чтобы кивнуть одобрительно вновь приезжим. Выслушав девять поздравительных приветствий от девяти членов обоих семейств и сказав девять раз: «благодарю», Балахнов, провожаемый усердным Карачаевым, пошел в кабинет.

- Это что значит? - спросил он, останавливаясь с изумлением перед дверью.

- Ничего, душа моя, будь спокоен, все устроено... и щит, и ракеты...

- Да кто ж тебя просил? - возразил с сердцем Аристарх Федорович, - фу, пропасть!

- Помилуй, Aristarque, душа моя...

- Нечего тут миловать! - произнес, весь вспыхнув, Балахнов, - я тебя вовсе не просил об этом. Сделай, брат, милость, оставь меня в покое, да не забудь, что сегодня много посторонних и не напейся, как в прошлый раз...

- Че-е-во? - перебил Карачаев, мрачно вращая своими воспаленными белками. - А! когда так, пропади ты и с твоим праздником! Сейчас еду. Эй, Иван! Лошадей! - гаркнул он неистово и побежал в залу.

- Ну, не сумасшедший ли ты после этого? Ну, сам посуди, - говорил Балахнов, кидаясь за ним и почти силою вовлекая его в кабинет.

- Лошадей! лошадей! Не хочу ни минуты оставаться в этом... доме! - продолжал кричать раздраженный Карачаев.

- Полно, перестань; что скажут люди? Лизанька, - прибавил Балахнов, обращаясь к жене, которая входила в эту минуту в кабинет, - уговори эту беспутную голову - хочет ехать!

Увидев Балахнову, Павел Петрович захлопал глазами, в которых сверкнула какая-то влага, очень похожая на слезы.

- Куда же вы, Павел Петрович? Что за странная мысль! Останьтесь с нами...- произнесла Лизавета Семеновна.

- Для вас готов на все... Приказывайте, повелевайте!.. - воскликнул Карачаев, бросаясь целовать с неистовством руки хозяйки, - я сейчас же велю распрячь лошадей...

- Не беспокойся, братец; это и без тебя сделают... А вот что, кстати, Лизанька, попроси уж его, чтоб он был повоздержанее... Я стал ему говорить, а он сердится...

- Павел Петрович знает, я думаю, и без нас, как вести себя...

- Вот эта речь мпе по сердцу, Лизавета Семеновна. Для вас... все... Клянусь вам, не дотронусь до рюмки! - заголосил Карачаев, преклоняя колено, причем снова послышался легкий треск на спине черного фрака, - впрочем, и не до того будет: столько хлопот... Я берусь за всем присматривать...

- Вот что, брат, - сказал Балахнов, когда вышла жена его, - тебе не худо бы осмотреть фрак: он, кажется, лопнул на локтях...

- Ах, да! Сейчас, душа моя; это ничего; Иван сию минуту все поправит, - отвечал с необыкновенной мягкостью Карачаев, выбегая в коридор.

Оставшись наедине, Аристарх Федорович принял заботливое выражение, позвонил камердинера, послал за поваром, за Фионой Ивановной, и весь углубился в хлопоты. Изредка прерывали его лакеи, прибегавшие известить, что приехал тот или другой гость.

Достойно замечания, что в то время, как переходил он из кабинета в залу, в нем успевали являться два совершенно различные человека: так, в кабинете он размахивал руками, кричал, сердился, топал ногами и часто ронял свое достоинство; но как только появлялся в дверях залы или гостиной, физиономия его, как по свистку театрального машиниста, являлась полная сияющей, светлой экспрессии, уста дарили чарующей улыбкой, глаза глядели нежно и приветливо, грудь выпрямлялась величественно и, казалось, вдыхала с наслаждением воздух. Всего страннее, что перемена физиономии не причиняла ни малейшого усилия с его стороны: все происходило самым естественным образом; привычка носить попеременно обе эти маски сделала то, что он уж не чувствовал на себе их тяжести.

В одну из тех довольно частых минут, когда Аристарх Федорович терял в кабинете всю свою сановитость, пришли доложить ему, что к парадному крыльцу подъехала карета, запряженная четвернею вороных коней, принадлежащих, по-видимому, незнакомому господину.

Балахнов покосился в зеркало, передернул свою физиономию, так что в одно мгновение исчезли все морщины и даже тень какого-нибудь неудовольствия, и поспешил из кабинета.

В ту самую минуту, как он выходил в залу, из дверей передней показался господин среднего роста, в черном полуфраке, черном галстуке, синих панталонах и белом длинном жилете, украшенном полновесною золотою цепочкой. В руках новоприехавшего, обтянутых белыми лайковыми перчатками, красовалась щегольская синяя фуражка.

- С кем имею честь говорить? - произнес Балахнов, раскланиваясь самым обворожительным образом.

- Бобохов... - отвечал владетель золотой цепочки, кланяясь в свою очередь.

- Очень рад-с познакомиться, - сказал Аристарх Федорович с какою-то особенною радостью, но, тем не менее, выдержал свое достоинство.

Затем они оба отступили шаг назад, принялись кланяться и шаркать ногами.

В то время как они обменивались первыми приветственными фразами, Аристарх Федорович не пропустил случая окинуть пытливым взором нового своего знакомца.

А новый знакомец был молодой человек лет двадцати восьми или девяти, с круглым, гладким и глянцевитым лицом; реденькие волосы пепельного цвета едва-едва прикрывали его темя; серые глазки, сверкавшие каким-то фосфорическим блеском, тоненький нос и тоненькие рыжеватые усики придавали этой физиономии выражение приторное, но со всем тем не лишенное лукавства. Издали он казался недурен, так себе, но вблизи был безобразен. Стараясь придать лицу нечто джентльменское (а это составляло, нужно заметить, одну из постоянных забот его), Бобохов отрастил себе огромные бакены. Но старания его были напрасны.

Удаление Бобохова от полка и причина переселения в деревню объясняются сами собою. Он ни с кем не мог ужиться, даже с родными жил не в ладу. Развившись наедине, сам собою и, следовательно, в весьма дурном сообществе, Бобохов рассудил, что, несмотря на богатство, ему оставалось одно средство – разыгрывать роль джентльмена, а именно: уехать в провинцию, купить дом, деревню и зажить барином. Так он и сделал. И вот, устроившись и распорядившись, приехал он рекомендоваться ближайшему соседу. Если пошло на правду, Бобохов приехал к Балахнову единственно потому, что слышал стороною отзывы о себе порядочных людей уезда, которые, имея о нем кое-какие сведения прежде, объявили наотрез, что не примут его в свое общество. А между тем, весть о приехавшем миллионере, переходя из уст в уста, проникла в гостиную, к великой радости всех барышень, молодых и старых, и к неописанному волнению маменек, которых чадолюбивые сердца забили вдруг сильнейшую тревогу. Когда Аристарх Федорович и Бобохов покинули залу, где начинали уже накрывать на стол, и Балахнов представил гостя обществу – лихорадочное состояние госпож Полушкнной и Свищовой приняло такой решительный характер, что ридикюли, висевшие у них на руках,

запрыгали, как будто вместили в себе неожиданно по маленькой живой собачке. Все глаза запрыгали и устремились на вошедшего, кроме глаз девицы Сараманаевой, вместо которых показались два огромные белка.

- Скажите, пожалуйста, как это вы решились променять столицу на нашу провинциальную скуку? - сказал Балахнов, усаживая гостя подле Лизаветы Семеновны и бросая беспокойный взгляд на толпу барышень, которые так неосторожно шептались, что слышалось поминутно: «Ах, какой душка этот Бобохов!».

- Здесь не найдете вы ни того общества, ни тех удовольствий... - сладостно пролепетала госпожа Кошкина, щуря кокетливо свои черные глазки.

- Какое! Скука, как есть, да и все тут! - сказал неожиданно Кондей Иванович Свищов.

Аристарх Федорович побагровел до ушей.

- Я, признаться, не люблю общества, - отвечал с небрежностью Бобохов, - даже в Москве, где я жил безвыездно, я посещал очень мало салонов. Довольно часто я ездил к сестре, Тохтамышевой; но и там, признаться, такая скука... - заключил он, делая особое ударение на имя сестры, в надежде озадачить присутствовавших.

Крестовая сестра Бобохова, которую называл он просто сестрою для краткости, вышла действительно замуж, благодаря своему капиталу, за некоего Тохтамышева, славного не столько богатством и древностью рода, сколько великолепными черными усами и искусством играть в карты, доведенным, впрочем, до непостижимого совершенства. Бобохов считал свояка первым львом и денди своего времени.

- Ах, да; я совсем было забыл; ведь вы, кажется, сослуживцы? - воскликнул Балахнов, взяв за руку Василькова и подводя его к новому соседу.

Слово «сослуживец» действовало всегда не совсем благоприятно на слух Бобохова; он боязливо поднял свои рысьи глазки на Порфирия Павловича и пролепетал бессвязно: «Очень рад встретиться», забыв даже, в замешательстве, протянуть ему руку.

Такой холодный и вовсе незаслуженный прием (Васильков был один из тех немногих товарищей, которые не давали щелчков Бобохову) крайне смутил чувствительного Порфирия Павловича; он покрутил головой и тотчас же отошел в сторону.

Бобохов, между тем, оправился и продолжал распространяться о преимуществах салона Тохтамышевой перед остальными светскими салонами Москвы.

Разговор сделался общим.

К сожалению, Аристарх Федорович не мог следить за нитью всех толков, поднявшихся в гостиной: он поминутно должен был отрываться, чтобы показаться в одном углу, в другом, поговорить с тем, другим и третьим. Много было лиц таких, с которыми он еще не сказал ни слова. Так подошел он к седенькому, слезливому старичку, который стоял у двери подле сына, парня лет восемнадцати.

- А, здравствуй, Иван Панкратьич! Ну, ну, рад, братец, рад, что не забыл меня, благодарю! Как поживаешь? - сказал Аристарх Федорович, протягивая ему покровительственно кончик мизинца.

- Ох, плохо, отец, плохо! И шатко, и валко, и на сторону. Все вот они сокрушают... Поздравь же; ну, что стоишь? - промолвил старичок, подталкивая сына.

- Поздравляю... - забасил малый, шаркнув сапогом и глядя исподлобья сквозь черные, длинные кудри на Балахнова.

- Благодарю, спасибо. Ну что, Федя, пора на службу... Хочешь служить?..

Федя покосился, не поворачивая головы, на отца и улыбнулся.

- Ох, что и говорить! - сказал отец, махнув отчаянно рукой, - пора бы, давно пора! Чаю, отец, умрет он у меня без чина... Эх, кабы милость твоя была, Аристарх Федорович...

- Хорошо, хорошо; я уж обещал тебе и сделаю; сегодня же приедет ко мне Окатов, и мы все устроим... А! ба! да вот и он, Николай Степаныч! - закричал Балахнов, выходя в залу навстречу дорогому гостю.

Окатов среднего роста, плотный, не столько толстый, сколько Свищов, но, по-видимому, еще тверже его телом. По обеим сторонам лысой головы его, важно закинутой назад, торчит по пучку белых, как снег, вьющихся волос, которые составляют самый резкий контраст с его густыми, черными как смоль бровями, подверженными беспрестанному движению; короткий вздернутый нос, раздвоенный на кончике, круглый подбородок с ямкой посередине и толстые губы придают лицу Николая Степановича что-то надменное, гордое, что как нельзя более согласуется с его наружностью, которой старается он придать как можно больше значения.

Одежда его, начиная с бесконечно длинных воротничков рубашки и кончая сапогами, лоснящимися как зеркало, отличается необыкновенною чистотою и аккуратностью.

- Поздравляю! - отрывисто сказал Николай Степанович, пожал руку хозяина и пошел, без дальних объяснений, прямо в гостиную.

Вступив в гостиную, он направился к хозяйке дома, сказал «bonjour, madame» и поцеловал у ней ручку, потом обратился к остальной компании, сказал «bonjour» и уселся на диван.

На лице его показалась улыбка, когда он обратился вторично к Лизавете Семеновне; но, по-видимому, он был не слишком разговорчив по натуре и любил выражаться лаконически.

- Здоровье ваше? - спросил он.

- Покорно благодарю, хорошо, - отвечала Лизавета Семеновна.

- А детки?

- И дети, слава Богу, здоровы... Я надеюсь, и ваши точно так же?..

- Живут! - отвечал Николай Степанович.

Затем он положил одну ногу на другую и уж ничего не сказал.

Так как Окатов был последний и в то же время единственный гость, который был вправе заставлять себя дожидаться, то Аристарх Федорович приказал подавать кушать. Пять минут спустя, по знаку, данному хозяином дома, оркестр грянул польский. Это послужило сигналом. Общество приподнялось разом со своих мест. Окатов подал руку Лизавете Семеновне, Бобохов – Кошкиной, Аристарх Федорович – одной из барышень, и пары, плавно выступая под такт оркестра, потянулись фестонами к дверям залы.

VII.
Лица, явившиеся в предыдущей главе, говорят и действуют сообразно со своими целями, взглядом на вещи и убеждениями

Начало торжественного обеда не ознаменовалось ничем особенно замечательным.

В продолжение первых десяти минут общество сидело спокойно и чинно. Каждый почти занят был рассматриванием великолепной крепости из сладкого теста с вензелями А и Б, воздвигнутой посредине стола, между бисквитных и сахарных пирамид, утыканных цветами; каждый старался приноровиться, примениться к своему месту, и заводил тихую, предупредительную речь с соседом. Вскоре, однако ж, звуки оркестра, игравшего какую-то симфонию, стали постепенно заглушаться говором, хохотом и звяканьем стаканов и тарелок. Один только Карачаев, можно сказать, хранил упорное молчание; не отступая ни на волос от обещания, данного Лизавете Семеновне, он выдержал характер и не прикоснулся к рюмке, несмотря даже на то, что перед ним красовался графин «дорожной отрады» и целая бутылка «фронтиньяку». Впрочем, ему не до того было, как сам он выражался. Он поминутно вскакивал со своего места, чтоб отдать то или другое приказание, или предупредить неповоротливого лакея; если случалось, что глаза Карачаева, следившие с беспокойством по всем возможным направлениям, замечали, что не доставало чего-нибудь на конце стола, он тотчас же бросался к буфету, вырывал из рук

слуги недостающее блюдо или приправу и, поднося их гостям, говорил заботливо: «Салату-с!» или «pardon, mesdames; вам, кажется, забыли подать подливки к телятине» и т.п.

- Как вам нравится этот лысый, хлопотливый господин? Неправда ли, он очень мил? - иронически говорил Бобохов, щуря свои рысьи глазки на соседку, Анну Васильевну Кошкину, с которой не переставал шептаться.

- Ах, какой вы насмешник! С вами просто опасно быть знакому! - отвечала Кошкина с самым любезным, кокетливым видом.

- А эта крепость... - продолжал шептать Бобохов,- не правда ли, как трогательны, умилительны, можно сказать, эти два сахарные вензеля?..

Но на этот раз Бобохов был прерван слугой мрачного вида, который, просунув между ним и соседкой руку, окутанную салфеткой и вооруженную бутылкой, проворчал, наклоняясь: «Висанту-с!».

- Вот вино! - шепнул Бобохов, снова прищуриваясь,- слыхали вы такое название? Я первый раз слышу... Это, кажется, попросту настой из рыбы корюшки...

- О, перестаньте!.. Вы будете виною, что я рассмеюсь на всю залу, - возразила Кошкина, прикладывая к губам салфетку.

Не мешает заметить, что Бобохов, подобно многим молодым людям одинакового с ним свойства, думал выигрывать чрезвычайно много во мнении дам, отпуская плоские шуточки и пошлые, тупые остроты на все, что ни попадалось ему на глаза. «Остроумие таких кавалеров» – чтоб не назвать их другим именем – остается, впрочем, не всегда бесплодным: иной раз, правда, оборвут, и жестоко оборвут; но часто оно приносит репутацию злого, насмешливого, опасного, но очень умного человека.

Итак, общество постепенно оживлялось после каждого нового блюда и особенно после каждого нового напитка. Аристарх Федорович, как уже сказано, любил угощать на славу и ничего не жалел в торжественных случаях. Каких уж зато и не было вин на его столе! Тут были и сен-жюльен тре калите, и дримадера, и испанский мускат, и бургонское монтраше; из рейнвейнов особенно часто появлялись: либфрауенмильх, гей-зенгеймер и лаубенгеймер. Все это было выписано, по словам Балахнова, прямо из Петербурга и даже с самой биржи; он бы и в самом деле выписал все это из вышеупомянутых мест, если б не было так далеко (читатель припомнит, что пирамида, воздвигнутая у плотины, возвещала довольно ясно, что Ханские Пруды отстоят от Петербурга ровно на 1,200 верст).

- Что тут такое? - громко спросил Аристарх Федорович, поворачиваясь к камердинеру, который поднес ему во время десерта коротенькую бутылку, тщательно обернутую салфеткой.

- Птичье молоко-с... - отвечал едва передвигая губами камердинер, получивший еще с утра наставление, как говорить и действовать.

- Что такое?

- Птичье молоко-с! - повторил камердинер с большею внятностью.

- Какое птичье молоко? - продолжал расспрашивать Аристарх Федорович, обнаруживая изумление.

- Птичье молоко-с! - произнес, наконец, совсем громко камердинер.

- Ха-ха-ха! Господа! - воскликнул Аристарх Федорович, заливаясь добродушным смехом и окидывая самодовольно общество, – вот говорят, что здесь какое-то птичье молоко!.. Попробуем... надо, надо попробовать... Как вы думаете?..

- Попробуем! попробуем! Надо, надо попробовать! - отозвалось с перекликами по зале.

Птичье молоко было розлито, и общий одобрительный гул в честь нового напитка пронесся с одного конца стола на другой.

Но когда подали шампанское, известное под именем мак-сотен (Балахнов любил обзаводиться всем тем, что носило громкое, необыкновенное прозвище и бросалось в глаза), когда мак-сотен зашипел в бокалах и предложен был первый тост в честь дорогого

хозяина, громкое восклицание, сопровождаемое стуком ножей, стаканов и стульев потрясло потолок и самые фундаменты дома. Тут даже и сам Карачаев, образец твердости и терпенья, не выдержал: он вскочил со своего места и, подняв на воздух пустой бокал, прокричал «ура» таким неистовым голосом, что всем показалось на минуту, будто стол с прибором и гостями шарахнулся на пол.

Внезапно звуки оркестра, игравшего громогласно туш, умолкают. Семен Семенович Кошкин медленно приподнимается с бокалом в руке. Его желтенькое, приглаженное и прилизанное лицо, после излияний мак-сотена, к которому прибегал он единственно для того, вероятно, чтоб почерпнуть достаточную дозу бодрости и вдохновения, покрывается яркими полосами пурпура. Смущение проглядывает, однако ж, во всех чертах его; рука с бокалом изменяет ему.

Воцаряется тишина.

Взоры всех внимательно обращаются на Кошкина, и только Аристарх Федорович, один он, смотрит задумчиво в тарелку.

- Милостивый государь, Аристарх Федорович! - начинает Семен Семенович пискливым голосом. - Мы все (тут он обводит глазами присутствующих), все мы... мы все собрались сюда, в это памятное для нас число прекрасного мая месяца (Семен Семенович трогательно улыбается), чтоб отпраздновать с радостным сердцем день вашего рождения... Поверьте, милостивый государь, не чувство лицемерия или другие какие ложные чувства, которые так часто принимают личину искренности, внушило нам такую похвальную мысль... Все мы... мы все... (Семен Семенович снова окидывает взглядом присутствующих) все мы... явились сюда с открытым сердцем...

На всех концах стола раздается одобрительный гул. Аристарх Федорович углубляется еще усерднее в рассматривание тарелки; Карачаев выставляется вперед, и на лице его выступают постепенно все признаки восторженного состояния.

- Да позволено же будет мне, милостивый государь, - продолжает Кошкин, увлекаясь, очевидно, потоком собственного красноречия, - да позволено мне будет, от имени всех присутствующих соседей ваших, высказать вам при сем удобном и радостном для нас случае всю признательность, все чувства, все уважение и глубокое почитание... Аристарх Федорыч, заслуги ваши неоцененны.

Карачаев окончательно выставляется вперед, подмигивает соседям и начинает яростно хлопать в ладоши; примеру его следуют Свищов, Полушкин и старичок с сыном; один Окатов остается по-прежнему недвижим; Аристарх Федорович все более и более задумывается.

- Заслуги ваши, Аристарх Федорыч, говорю я, неоцененны... Да, Аристарх Федорыч, они неоцененны!., - продолжает оратор, заметно воодушевляясь. - Как сосед, вы умели привязать к себе сердца всех близких вас людей; как человек... Но пусть скажут вам за меня толпы обласканных, призренных, облагодетельствованных вами, бедных и неимущих!.. Слезы благодарности... да, одни эти слезы послужат ответом... Позвольте же, милостивый государь, пожелать вам от имени почтенных особ, здесь находящихся, многие и многие лета. Молю Всевышнее Провидение о сохранении вас в добром здравии и о продлении дрогоценных дней ваших, дабы мы все, по прошествии многих десятков лет, нашли вас в том же цветущем состоянии души и тела... Многих из нас, может быть, уже не будет тогда, многие сойдут в могилу... Но пусть воспоминание об этом незабвенном числе прекрасного, цветущего мая (лицо Семена Семеновича приняло самое трогательное выражение) сохранится в памяти нашей... и пусть внушит оно нам навсегда то же уважение, какое мы всегда разделяли и разделять будем. Аристарх Федорыч, от имени всех присутствующих соседей ваших, я пью за ваше здоровье! - заключил Кошкин, дав знак музыкантам.

Туш грянул вторично.

Все последовали примеру Семена Семеновича и огласили залу единодушным «ура!», и Карачаев еще неистовее захлопал в ладоши и затопал ногами. В зале воцарилось совершенное смешение языков.

- Не правда ли, как это трогательно?.. Речь этого господина растрогала меня до слез!.. - говорил иронически Бобохов, наклоняясь к своей соседке.

- Полноте смеяться...

- Ведь это ее муж! - шепнул на ухо Бобохову толстый Свищов, у которого давно уже чесался язык заговорить с миллионщиком.

- Как? - поспешно заговорил Бобохов, снова наклонясь к соседке. - Я вовсе не смеюсь над этим господином, клянусь вам честью, не смеюсь... Этот господин говорил прекрасно!..

- Уж будто бы?..

- Даю вам честное слово!

Во время этого разговора, заглушаемого всеобщим гвалтом, Аристарх Федорович успел налить новый бокал; он приподымается с места и обращает влажные взоры на гостей своих.

- Милостивые государи и милостивые государыни! - проговорил он, сохраняя, однако ж, все свое достоинство и косясь на Окатова, который сидел по-прежнему, двигая только бровями. - Гм! гм! Милостивые государи и милостивые государыни!

- Тише! шт!.. - неистово закричал Карачаев, делая свирепые жесты и вдруг, неожиданно, налил себе целый стакан «дорожной отрады».

- Позвольте мне сказать несколько слов в ответ на всерадушное приветствие ваше, - вымолвил Балахнов, потупляя взоры и кланяясь направо и налево.

- Говорите! говорите! - восторженно отозвались отовсюду.

- Милостивые государи и милостивые государыни! - произнес Аристарх Федорович, полный в эту минуту величавого спокойствия. - Радушный привет ваш, выраженный словами искреннего друга моего, почтенного Семена Семеновича Кошкина, сделал бы честь не только мне, но и всякому человеку, превышающему меня несчетно раз приданными мне... гм! гм! приданными мне вами добродетелями и заслугами... Принимаю его с благодарностью!.. Да, скажу с тою искренностью, с тою правдивою прямизною, которым поставил я за правило всегда следовать - к чему лукавить? - я почитаю себя счастливым, что умел сохранить дрогоценную для меня любовь вашу и снисхождение... Повторяю: я счастлив!

Рукоплескания заглушают голос растроганного Балахнова; в воздухе мелькает несколько платков; Карачаев свирепеет от полноты душевного восторга и, в замешательстве, наливает второй стакан «дорожной отрады»; жесты его принимают неслыханные размеры, глаза хотят выскочить из своих впадин; он, наконец, успокаивается и снова весь обращается во внимание.

- Милостивые государи и милостивые государыни, - продолжает, между тем, Аристарх Фёдорович, возвышая постепенно голос, - да, я все делал до сих пор, чтоб только поддержать и заслужить столь лестные для себя чувствования... Я шел прямой дорогой. Чувство черного лицемерия и язвительной, шипящей злобы чуждо мне. И если... если... если, говорю я, нашлись из среды нашей особы, которые поставили мне в укор прямизну моих поступков, виною не столько я, скажу смело, сколько их собственное заблуждение... Всесокрушающее время, озаряющее истину, надеюсь, скоро укажет им прямизну моих мыслей и поступков... Не огорчает меня черная клевета и людская шипящая злоба: я счастлив расположением тех немногих присутствующих здесь особ... Благодарю вас от всего сердца за ваши теплые желания и... и... и, милостивые государыни и милостивые государи, пью от всей души за ваше общее здравие.

Не успел Аристарх Федорович докончить своей речи, как уж видел себя окруженным всем обществом; пожатие дамских ручек, восторженные крики мужчин, звук оркестра и посреди всего этого неистовые «ура» Карачаева, успевшего уже осушить дно

графина, отуманили и без того уже растроганного Балахнова; но это было непродолжительно, и он снова овладел собою...

- Господа! - сказал он, вырываясь из объятий Кошкина и мгновенно изменяя интонацию, - господа! Николай Степаныч, мсье Бобохов, господа! Не угодно ли вам? - прибавил Балахнов, приглашая рукою в кабинет.

Он взял под одну руку Окатова, под другую Семена Семеновича и, провожаемый остальными мужчинами, направился в свою комнату.

- Эх! - сказал Свищов, подходя к Бобохову и переводя одышку, - что вы... чуть было не наделали... ведь это, уф! уф! Ее муж был...

- Я не знал... Ах, да, скажите, пожалуйста, кто вот этот господин? - шепнул Бобохов, кивая головой на Карачаева, который запальчиво объяснялся с музыкантами.

- Это Карачаев... - здешний приятель, то есть был когда-то... Уф! уф! О, славный парень!

- Ничего нет славного, - промолвил Дрянков, заигрывая с миллионщиком, - грубое созданье, вот и все тут!

Вее трое вошли в кабинет.

Там стояло уже густое облако табачного дыма, посреди которого восседал в огромных вольтеровских креслах, как олимпийский бог, Николай Степанович Окатов.

- Николай Степаныч, не прикажешь ли зубочистку? - сказал Балахнов, вынимая из вазочки толстое перо в бисерном чехле. - Вот, братец, настоящее орлиное перо. Я привез его с Кавказа... Один грузинский князь подарил мне целого орла, то есть, скажу тебе: чудовище было, а не птица!

- Велика была? - произнес с необыкновенно нежным участием стоявший подле Васильков.

- Страшно: три аршина! И представь, братец, - продолжал Балахнов, снова обращаясь к Окатову, рассеянно чистившему десны, - представь, сам ведь видел, как орел этот витал над облаками Эльбруса, этого царя Кавказа! При мне его и застрелили... Думал ли он, бедняга, что попадет когда-нибудь ко мне, в Ханские Пруды!.. - промолвил Аристарх Федорович, внезапно растягивая слова и бросая недоброжелательный взгляд на Карачаева, который входил в кабинет, цепляясь за косяки и стулья.

Карачаев прошел невнимательно мимо Окатова, пробрался сквозь толпу курильщиков, сел на диван и засвистал протяжно какую-то песню.

- Ах, да, Николай Степаныч! Я хотел представить тебе Ивана Панкратьича Пшеницына... Помнишь, о котором я говорил? - поспешил замять Балахнов, отыскивая глазами старичка и его сына.

Он подошел к старичку и подвел его к Окатову.

- Вот, Николай Степаныч, рекомендую, - сказал Балахнов, - почтенный отец семейства... три года хлопочет об определении сына... и...

Окатов наклонил набок голову.

- Да-с, три года... - начал старик, выставляя вперед долговязого Федю, - три года бьюсь, но добьюсь... Семейство большое, состояньишко - взять нечего... ваше превосходительство...

Окатов обнаружил внимание.

- Ну? - сказал он.

- Именьишко маленькое, ваше превосходительство...- продолжал ободренный Пшепнцын, обдергивая рукава на сюртуке долговязого Феди, - ох, что делать! Жили в деревушке, людей, света не видали; ну, думали, не уйдет время, ан вышло и прозевали!.. Ох, что делать, ваше превосходительство, проспали, прозевали!.. Глядь, а ему уж восемнадцать лет минуло... Поехал я в губернский город, там есть у меня приятель, Иван Кузьмич - может, знать изволите?

- Ну? - повторил Окатов.

- Нет, срок, говорит, прошел. Я, ваше превосходительство, метнулся к другому - также благодетель, Севастьян Игнатьевич, может, знать изволите?

- Ну? - сказал Окатов.

- И он тоже... что мне делать! Чаю, умрет он у меня без чину, ваше превосходительство... Сделайте такую милость! Другие ребятишки мал-мала-меньше, от земли не видать! На нем одном вся надежда... Был у меня другой сын...

- Что ж? - спросил Окатов.

- О-ох! Умен больно был, ваше превосходительство: книгу это увидит или что такое, сейчас и подавай ему; заучился, знаете - у него гений-то и лопнул...

- Как так? - спросил Окатов, чуть-чуть подергивая бровями.

- Да так, знаете, лопнул, да и только...

- Хорошо; я похлопочу, - сказал Окатов, отворачиваясь в сторону.

Кошкин подсел к нему.

- Мосье Бобохов, вы, кажется, не курите? - проговорил между тем Аристарх Федорович, подходя к столу.

- Нет, курю, но только самые тонкие сигары...

- Может быть, «nec plus ultra»?

- Нет-с, «regalia suprefina»... благодарствуйте, я ношу всегда с собой... Скажите пожалуйста, что это за книга?..

- А! это мой альбом! моя записная книжка; прочтите, прочтите... тут найдете вы мысли... много таких мыслей...

- Покажите...

И Аристарх Федорович, взяв самодовольпо книгу, прочел громким голосом, заглушившим на минуту всеобщий говор: «Взгляни, этот чинар расколол корнем гору! А она лелеяла его, когда он еще был ничтожным желудем!». На полях, против этих строк, чья-то заботливая рука подписала: «Солонеев!..». Но Балахнов сделал вид, как будто этого не заметил, возвратил книгу и обратился к другим гостям.

- Что это за сапог? - насмешливо шепнул Бобохов на ухо Свищову, который ни отступал от него ни на шаг.

- А это, уф! уф! Сапог Карла Двенадцатого при Полтаве; а это вот, - продолжал толстяк, - это страусовое яйцо; знаешь, есть такая страус-птица, а это клык зверя... жил он до потопа, сказывают...

Увлеченные отчасти любознательностью, отчасти желанием побеседовать с миллионщиком, к ним вскоре примкнули Копков, Дрянков, еще кое-кто из близстоявших курильщиков и, наконец, сам Карачаев.

- Фу, как, однако ж, здесь накурили! - произнес Бобохов, отходя немного в сторону, - нельзя ли выйти отсюда?

- Что ж! пойдем в сад; большой сад!.. Ты... вы еще его не видали; пойдем! - отвечал с особенною заботливостью Кондей Иванович, дав себе, по-видимому, слово сдружиться как можно скорее с миллионщиком.

Мало-помалу кабинет опустел, остались только Окатов, Кошкин и сам хозяин.

Аристарх Федорович переглянулся с Семеном Семеновичем, и оба сели, один по правую сторону Николая Степановича, другой - по левую.

- Ну, скажи пожалуйста, как тебе нравится наш новый сосед Бобохов? - начал Балахнов.

- Пустой человек! - отвечал Окатов, рассеянно глядя в окно.

- За что же такая немилость?

- Глупец! - произнес Окатов как бы нехотя.

- Я совершенно согласен с этим мнением, - заметил с любезностью Кошкин.

В то время как делались в кабинете такие невыгодные заключения о новоприезжем, в гостиной были о нем совершенно другого мнения; похвалы, расточаемые на его счет госпожою Кошкиной, забывшей, казалось, совершению слово „parvenu“, не сходившее у

нее с языка накануне, придали еще больше блеска молодому соседу в глазах всех почти дам. Следствием было то, что в ту самую минуту, как Бобохова величали в кабинете глупцом, в гостиной провозглашали его единодушно самым любезным, светским и умным человеком, какой когда-либо появлялся на белом свете.

К несчастью, в настоящую минуту Бобохов не мог насладиться плодами всеобщего восхищения; когда он вошел в гостиную, сопровождаемый верным Свищовым, там сидели только хозяйка дома, Кошкина, да еще несколько старушек.

- А где, сударыня, позвольте... уф, уф... позвольте спросить, остальные дамы? Променад? - спросил Свищов, принявший окончательное намерение пленить миллионщика своим тонким, светским обращением.

- Все ушли в сад... и, кажется, даже намереваются кататься в лодке, - отвечала Кошкина, закусывая насмешливо губы.

- Послушайте, - шепнул Кондей Иванович, наклоняясь на ухо Бобохову, - мне нужно сказать два слова жене... Потолкуй пока с ними... Я сейчас вернусь, - присовокупил он, подмигивая ему с видом взаимного участия.

- Хорошо, - отвечал Бобохов, переглядываясь с Кошкиной по направлению к Свищову.

Он сел подле Анны Васильевны, заботливо очистившей ему место, и вступил в разговор. Результатом любезности Бобохова было то, что перед Лизаветой Семеновной, Кошкиной и старушками замелькали в самых ярких и верных красках все подробности, имевшие прямо отношение к госпоже Тохтамышевой. Они узнали, во-первых, что квартира Тохтамышевой находится на Сивцевом Вражке; во-вторых, что «салон» Тохтамышевой представляет образец современной роскоши, доведенной до тончайшей изысканности; в-третьих, что Тохтамышева принимает по вторникам и пятницам и допускает одних только литераторов, художников, людей первых фамилий - словом, окружает себя всем тем, что есть лучшего в Москве. Он начал уже распространяться о цвете, какой предпочитает преимущественно Тохтамышева, и привел в пример цвет платья Кошкиной, как вдруг слуга пришел доложить, что его просят в кабинет. Бобохов раскланялся с дамами и вышел из гостиной; в зале загородил ему дорогу Свищов.

- Каково я их надул, а? - прошептал он, самодовольно пожимая руку молодому богачу. - Ведь это я... уф, уф, я велел сказать, что тебя... вас зовет Аристарх Федорыч. Ну, что там заговорился со старухами-то? Пойдем в сад; я покажу тебе молоденьких; красотки есть... у-у какие! Уф, уф... пойдем через заднее крыльцо... я тебя проведу прямо в сад. Пойдем, спасибо скажешь...

Минуту спустя оба очутились на открытом месте сада.

- Куда ж ты? Не туда... уф, постой! - говорил суетливо Кондей Иванович.

- Как не туда? Вот ведь дамы: так прямо и пройдем к ним, - сказал Бобохов, указывая на лужайку за прудами, где мелькали розовые, белые и всякие платья.

- Эх, послушайся, не туда. Даром что прямая дорога... там, брат, топкое место, как раз засядешь... Послушайся меня... Вот надо идти но этой аллее; ступай сюда, - проговорил, едва переводя дух, Кондей Иванович, увлекая насильно молодого друга в густую, тенистую и, по-видимому, совершенно глухую аллею.

Оба пошли рядом.

Внезапно Кондей Иванович ударил себя по лбу, сказав:

- Ах я пострел, женин платок забыл! Ступай все прямо, догоню, - и быстро исчез из виду.

Оставшись один, Бобохов пошел по указанной ему дороге.

Не успел он сделать двадцати шагов, как вдруг за поворотом аллеи мелькнуло перед ним голубое платье; он ускорил шаг; вскоре различил он толстенькую, румяную как пион барышню, сидевшую на скамейке в очаровательно-меланхолической позе, с цветком в руке. В ту минуту, как Бобохов выравнивался с нею, послышался шелест в соседнем кусту, и показалась рука с ридикюлем, которая принялась дергать из-за скамейки голубое

платье. Бобохов приподнял кокетливо синюю свою фуражку и франтом прошел мимо, не сказав ни слова.

Немного погодя, мелькнуло перед ним другое платье, усеянное снизу до верху розовыми бантами; платье принадлежало толстой, здоровенной деве, которая ловила бабочку и, казалось, вовсе не замечала постороннего лица, посреди невинного своего занятия.

Бобохов снова приподнял синюю фуражку, но было напрасно: дева не могла его видеть; она глядела на него вместо глаз одними белками. Новый поворот аллеи, новая скамейка – и на скамейке опять-таки новое платье. На этот раз рысьим глазкам миллионщика, сверкавшим от самодовольствия, предстала особа лет тридцати пяти, с платком в руке, увенчанная цветами, как Амур; белое платье ее, украшенное красным кушаком, пришло в неописанное волнение на груди, как только поравнялся молодой человек; она скромно опустила глаза, сузила свои губки, зарделась, и вдруг, как бы опомнившись, приложила платок к глазам.

Но Бобохов не был, видно, чувствительного свойства и прошел мимо, удостоив только приподнять фуражку. Как ни понятны были все эти проделки господину в белом жилете, он пришел, однако ж, в некоторое изумление и даже смутился, когда, почти при выходе из аллеи, встретил опять прежнее голубое платье, но только в другой позе. Полное лицо молодой особы, и без того уж красное, пылало чистейшим пурпуром; члены ее, грациозно расположившиеся на скамейке, показывали страшную усталость. Она должна была сделать добрую версту, чтоб очутиться на этом месте.

Бобохов проходил уж мимо, как вдруг голубое платье заговорило:

- Вам, кажется, очень скучно...

- Помилуйте, сударыня, совершенно напротив! - поспешил сказать молодой человек, останавливаясь и приподнимая фуражку.

Последовала секунда молчания, в продолжение которой молодой человек заметил, что рука с ридикюлем ущипнула голубое платье...

- Здесь так свежо... - проговорила молодая особа, видимо нуждавшаяся в прохладе.

- Совершенно справедливо, - заметил с поспешностью Бобохов, - и я бы, конечно... но к несчастью... к несчастью, меня звали и, наверно, дожидаются...

Он приподнял фуражку и дробным шажком вышел из аллеи.

Тут, на лужайке подле прудов, находилось почти все общество.

- А! Иван Дормидоныч! - воскликнул Свищов, успевший уже осведомиться об имени и отчестве молодого своего друга, - а я вот только шел к тебе навстречу... Ну что, брат, уф, уф... как дошел? Не заблудился?

- Мудреного нет; сад огромный! - заметил, подходя, автор «Непризнанной Индейки».

- Огромный и прекрасный, не правда ли? - сказал Васильков, нежно улыбаясь.

- Ну, господа... ха-ха-ха!, что было со мною! - произнес Бобохов, понижая голос, чтоб не могли расслышать дамы.

- А что? Что такое? - спросил Свищов, обнаруживая явное беспокойство, - должно быть, бульдог Аристарха Федоровича... уф, уф... Он везде шляется...

- Да, бульдог, да только в голубом платье... ха-ха-ха! потеха!..

- Какое... уф... какое голубое платье? - спросил Свищов, багровея и едва переводя одышку.

- Голубое с красными бантами, - продолжал Бобохов, не замечая, что Васильков мигал ему изо всей мочи, - да, голубое платье, с красными бантами и таким же красным лицом... Не правда ли, как это интересно?.. Ха-ха-ха!..

- Ничего... ох, ничего нет интересного, - пролепетал Кондей Иванович, который пыхтел и окончательно задыхался.

Он повернулся на своих тосканских столбах и отошел в сторону.

- Что вы наделали? - шепнул Васильков, забывая оскорбительное равнодушие, какое обнаруживал к нему сослуживец.

- Что такое?

- Да ведь это была его дочь.

- А что такое, - мрачно возразил Дрянков, - поделом им... урок! Не бегай за женихами!..

Голоса дам, призывавшие кавалеров, заставили Бобохова, Василькова и Дрянкова присоединиться к обществу, которое усаживалось в лодку.

Минуту спустя пруды огласились звонким хохотом и говором; один только Свищов не произносил слова и мрачно поглядывал то на воду, то на Бобохова, которому ни разу не пожал даже руки во все продолжение прогулки.

А между тем в кабинете, где по-прежнему сидели Балахнов, Окатов и Кошкин, происходил разговор самого серьезного содержания.

- Ну, полно тебе, Николай Степаныч; экой ты какой, право! Я знаю, ты ведь это так только! - говорил Аристарх Федорович, утрачивая окончательно свою сановитость (он размахивал руками и сильно горячился),- полно, продай мне свое Чернопятово! Оно для тебя ровно ничего не стоит. Сам посуди: сорок десятин всего, да ведь восемь дворов - ну, что они принесут? Много-много триста рублей в год. Для меня оно совсем другое дело: я, ты знаешь, хлопочу из того, чтоб скупать все земли, прилежащие к моим владениям. Я, братец, люблю простор! Твое Чернопятово тем и дорого для меня, что целиком врезывается в мои земли. Право, продай. Я тебе даю за Чернопятово... три тысячи... Ведь это, братец, выходит почти по сту рублей за десятину, а земля, ты знаешь, какая: суглинок, хрящ... Итак, по рукам: три тысячи?..

- Деньги прекрасные! - шепнул Кошкин, потирая руки.

- Идет? - повторил Балахнов.

- Нельзя, наследственное! - сказал Окатов, оглядываясь на своих собеседников.

- Вот славно! - воскликнул Аристарх Федорович. - Ну, послушай, если уж ты решительно продавать не хочешь - давай меняться. Я тебе дам за Чернопятово свою Подчищаловку; оно же кстати пятнадцать верст отсюда; следственно ближе к тебе; а я люблю, чтоб все было у меня под рукою. В Подчищаловке те же сорок десятин и почти то же число дворов... Ну, говори, Николай Степаныч, хочешь Подчищаловку?

- Прекрасное именьице... - сказал Кошкин, поправляя очки.

- Ничего нет хорошего - заложено! - сухо возразил Окатов.

- Заложено, так уже ничего и не стоит по-твоему? Помилуй, Николай Степапыч, да у меня все именье заложено; что ж такое? Закладывать ничего не значит, когда на полученные деньги прикупаешь землю, лес или другое что, как, например, делаю я.

- По-моему, меньше, да чтоб было чистое! - решился проговорить Окатов.

- Послушай, пусть будет по-твоему; но ведь ты забываешь, что в Подчищаловке есть роща.

- И прекрасная роща! - подтвердил Кошкин.

- Хорошего ничего нет, - сказал Окатов.

- Да ты видел ли ее в последнее-то время? - спросил Аристарх Федорович.

- Видел; ничего нет необыкновенного.

- А деревья? Триста дерев!

- Да, толщины средней... - произнес Окатов.

- Нет, не в том дело, Николай Степаныч! Не в том дело, какой они толщины. Дело, братец мой, в том, что каждое дерево пустило уже четыре побега, каждый побег даст тебе, следовательно, дерево, лет этак... через пятнадцать. У тебя будет, следовательно, по прошествии этого срока не триста дерев, а целых - целых...

- Тысячу-двести! - подсказал Кошкин, отличавшийся всегда по счетной части.

- Ну, потом ты забыл, что в Подчищаловке есть еще пруд...

- Нет, знаю, - сказал Окатов, косясь на окно.

- Да ты видел ли в нем рыбу?

- Нет.

- Ну так вот то-то и есть. Слушай: в 1809 году дед мой посадил туда триста карасей; каждый год эти караси мечут икру – так или нет? Мечут они икру, да или нет? сказывай!

- Ну, мечут...

- Ну, сам сосчитай после этого, сколько же теперь должно быть рыбы в Подчищаловке...

- Я думаю, руками загребать можно, - вымолвил с уверенностью Кошкин.

- Нет, не надо мне твоей Подчищаловки! - сказал решительно Николай Степаныч после молчка.

- Кажется, если я не ошибаюсь, у Николая Степаныча есть еще другой клок земли, который находится в твоих владениях, любезный Аристарх Федорович? - проговорил добреньким голосом и, по-видимому, очень рассеянно Кошкин.

- Да, - отвечал также рассеянно Балахнов, - это та долина, что примыкает к большой дороге. Но что мне в ней? Негодна она ни в запашку, ни для выгона...

Говоря это, Аристарх Федорович не переставал коситься на Окатова. Нужно заметить, что речь об этой долине, на которой нельзя было ни пахать, ни сеять, должна была составлять, между тем, главный пункт настоящего разговора; все предыдущее служило, некоторым образом, только предречием. Дело вот в чем: долина выходила на большую дорогу к губернскому городу и была самым видным местом; но главное заключалось в том, что она принадлежала когда-то роду Солонеевых. Приобрести эту долину в свою собственность, и особенно Балахнову, врагу Солонеева, значило нанести последнему величайшую досаду. Солонеев не раз говорил, что он ничего бы не пожалел, чтоб возвратить себе то место, где стоял когда-то дом его предков, место, проданное когда-то Окатову одним из родственников Солонеева. Этого было уже достаточно, чтобы Аристарх Федорович со своей стороны готов был предложить какую угодно сумму, не взирая даже на то, что долина ровно ничего не стоила и имела ценность для одного Солонеева. Но каково было изумление Аристарха Федоровича, когда Окатов повернулся к нему и сказал:

- Ну, это другое дело!

Нужна была вся твердость характера, все уменье владеть собою, отличавшие Аристарха Федоровича, чтобы не обнаружить восторга после такого неожиданного поворота счастья.

- Ну, Бог с тобой! Если уж ты не хочешь расстаться с Чернопятовым, давай хоть долину! - произнес снисходительно Балахнов.

- Пожалуй! - отвечал Окатов.

Тут уж Аристарх Федорович не мог выдержать: он вскочил со своего места, но, к счастию, скоро оправился и сделал вид, как будто давно собирался встать, чтоб закурить сигару.

- Сколько? - спросил он.

- Четыре тысячи.

Сумма была огромная; долина не стоила и десятой доли, но, тем не менее, Балахнов едва усидел на стуле от радости.

- Гм... гм... четыре тысячи... - сказал он равнодушным голосом, в котором проглядывало взволнованное состояние души его, - гм... четыре тысячи... В сущности, что мне в этой долине?..

- Ну, не надо, - вымолвил Окатов.

- Нет, нет, - возразил с живостью Аристарх Федорович. - Зачем же? Я положил себе за правило прикупать, по возможности, все земли, все угодья, прилежащие к моим владениям, и... и покупаю долину... Деньги в сентябре, после первого обоза...

- Нет, теперь нужны.

- А, ну теперь так теперь! - воскликнул Аристарх Федорович, решившийся лучше продать хлеб на корню, чем потерять такой удобный случай, - теперь, так теперь; мне все равно. Ты свободен послезавтра?

- Свободен.

- В таком случае приезжай в уездный город... в Горшкове же, кстати, в этот день ярмарка: мы совершим купчую и деньги получишь чрез две недели. Итак, по рукам?..

Окатов подал руку Аристарху Федоровичу, и все трое привстали со стульев.

- Ну, господа, однако ж мы заговорились! Посмотрите, начинает уже смеркаться, - сказал Балахнов, потирая руки, - мы совсем забыли наших милых дам. Пойдемте отсюда... душа просится на простор! Пора подышать свежим воздухом, - промолвил он, принимая мгновенно величавую осанку свою и приглашая гостей из кабинета.

Когда они вошли в гостиную, там находилось уже все общество, собравшееся к чаю. Посреди всего этого недоставало одного лишь Карачаева. По справкам, наведенным Аристархом Федоровичем, оказалось, что Карачаев грохнулся на постель и заснул таким богатырским сном, что его о сю пору не могли добудиться.

- Ну, оставить его; пускай его хорошенько проспится! - сказал хозяин дома.

Полчаса после этого, когда уже совершенно смерклось и дом осветился несметным множеством плошек и шкаликов, из сада послышались неожиданно торжественные звуки оркестра.

- Что это? - спросил Аристарх Федорович, окидывая удивленным взором присутствовавших.

- Не говорите, не говорите ничего! - крикнуло несколько тоненьких дамских голосков.

Дамы окружили Балахнова, кавалеры между тем вышли на террасу и прокричали «ура! а!.. а!».

- Что это? - повторил Аристарх Федорович, приятно улыбаясь на все стороны.

- Не говорите, не говорите! - отозвались снова тоненькие голоса, - в сад, в сад, пойдемте в сад!

Балахнов, увлекаемый почти силою, молча повиновался.

Звуки оркестра становились слышнее и слышнее. Общество вступило в густую тенистую алею, перегороженную поперек старым ковром.

Внезапно все остановились, захлопали в ладоши, ковер упал к ногам Аристарха Федоровича, и взорам его предстал искусственный боскет из цветов, переплетавших бесчисленное множество его собственных вензелей. Посреди боскета, ярко освещенного с боков, на возвышении из снопов стояла младшая Кокуркина; длинный кисейный балахон, приколотый к ее голове, ниспадал густыми складками почти до земли; в одной руке держала она пучок колосьев, другая рука ее грациозно подавала букет цветов.

Воздух огласился рукоплесканиями. Аристарх Федорович поклонился, сказал «Благодарю!», подошел к жене и нежно поцеловал ее в лоб.

- К прудам! к прудам! - раздалось отовсюду.

По выходе из аллеи, Аристарх Федорович был встречен новым «ура!», подхваченным всем оркестром. Неожиданно послышалась русская песня; на пруде показалась лодка, изукрашенная шкаликами и наполненная нарядными мужиками и бабами. Лодка повернулась носом, и тогда все увидели, что на ней вместо паруса красовался вид Ханских Прудов, написанный на коленкоре. Общество подходило уже к самому берегу, как вдруг, на другой стороне прудов, прямо против того места, где стояли господа, взвилась ракета. За ракетой взвилась другая ракета, потом третья, четвертая и, наконец, лопнул бурак, зогорелись римские свечи и посреди внезапно вспыхнувших бенгальских огней открылся исполинский щит; литеры А и Б поддерживались на этот раз двумя гениями, попиравшими облака.

Аристарх Федорович, растроганный до слез, мог только проговорить „Благодарю!“, и бросился обнимать жену. Затем последовали другие сюрпризы, но о них не стоит

упоминать, они состояли почти исключительно из тех же вензелей с легкими вариантами. Всего замечательнее было то, что герой этого празднества предвидел заранее и даже знал наперечет все сюрпризы, исторгавшие у него в настоящую минуту благодарственные слезы. Гости и Лизавета Семеновна ничего даже не подозревали. Аристарх Федорович две недели назад сам послал купить кисею и позументы для балахона, украшавшего младшую Кокуркину; он же придумал боскет, лодку с песенниками, фейерверк; он же дал рисунок знаменитого щита с гениями и снабдил строгими наставлениями старого маляра, чтобы все было хорошо и аккуратно исполнено. Но что прикажете делать? Есть, видно, чувствительные натуры, которые не могут воздержаться от слезливого умиления, даже при виде собственных своих произведений!.. Когда общество вернулось в дом, оркестр находился уже в зале и играл польский. Николай Степанович Окатов подал руку хозяйке и открыл бал.

- Куда же ты, Николай Степаныч? - говорил Балахнов, удерживая почетного гостя, который взялся за шляпу, как только умолкли рукоплескания, сопровождавшие русскую пляску, исполненную Володей.

- Нельзя, пора! - отвечал тот.

Ни увещание, ни просьбы - ничто не помогло. Все, чего мог добиться Аристарх Федорович, заключалось в том, что Окатов повторил обещание приехать послезавтра в Горшков для совершения купчей.

«А ну, Бог же с тобой, когда так! - подумал Балахнов, видимо оскорбленный равнодушием, какое обнаруживал богатый сосед к знаменитому числу прекрасного мая месяца. - Бог с тобой! Дело слажено; мне больше ничего от тебя не нужно!». Главное, чтоб все было по-моему; не так ли, друг? - прибавил он громко, потрепав по плечу бежавшего мимо Кошкина.

- Что такое? - спросил тот, поправляя очки.

- Главное, чтоб все было по-нашему! - повторил еще громче Аристарх Федорович.

Кошкин засмеялся, пожал ему выразительно руку, привстал на цыпочки и побежал приглашать Лизавету Семеновну на экоссез.

Бал был в полном разгаре. Кавалеры и дамы, между которыми особенно отличались Вера Андреевна (средняя Кокуркина), успевшая уже затанцевать до полусмерти Порфирия Павловича Василькова, поминутно сшибались, расходились, составляли новые танцы, снова сшибались и снова расходились, окружая графины с оршадом и клюквой и опустошая подносы с мороженым, крымскими яблоками и виноградом.

- Как вам нравится хозяйка дома, мосье Бобохов? - наивно спросила Кошкина, танцовавшая vis-a-vis с Лизаветой Семеновной.

- Знаете что? - она напоминает мне плакучую березу... Ваша очередь делать шен.

Кошкина приложила батистовый платок к губам, но, проходя мимо Лизаветы Семеновны, приветливо кивнула головкой.

- Боже мой, что вы наделали? Я едва-едва могла удержаться от смеха, продолжала она, щуря глазки. - Скажите, как вам вообще понравилось это... это общество?

- О, удивительно! - возразил с комическою торжественностью Бобохов. - Но знаете, без шуток, я, признаться, никогда не мог думать, чтоб все это было до такой степени пошло... Я хотел бы только, чтоб сестра моя, Тохтамышева, или ее муж были здесь. Посмотрите, например, на эту даму в тюле... Что это такое?..

- Кокуркина, наша соседка. Как вы ее видите, это первая танцорка здешнего уезда...

- Хотите, я приглашу ее на один тур? Так, для смеха, разумеется...

- Пожалуйста; это будет очень забавно.

Увидя еще издали подходившего Бобохова, Вера Андреевна запрыгала на стуле, радостно захлопала глазами и принялась нетерпеливо шаркать по полу ногами.

Бобохов и Кокуркина завертелись.

- Как вам нравится... уф, уф, не правда ли, как весело? - спрашивала Вера Андреевна, подпрыгивая при каждом повороте вальса и очаровательно улыбаясь своему кавалеру.

- Чрезвычайно! Мне особенно нравится вот эта дама... - проговорил Бобохов, проносясь мимо Надеженьки.

- Мне очень приятно это слышать... уф, уф... - отвечала Вера Андреевна, неистово увлекавшая мильонщика.

- Представьте... Она хотела пленить меня в аллее... хи! хи! хи!.. Позвольте вас поблагодарить, - заключил он, расшаркиваясь; но Вера Андреевна проворно отвернула голову и пролепетала: «Болван!».

- Ах, mercі, mercі... вы чуть было не уморили меня со смеху... Но постойте, то ли еще будет после ужина! - сказала Кошкина.

К несчастью, Бобохов не дождался ужина: он увидел Карачаева и поспешил потихоньку исчезнуть, так что его никто не заметил. Он всего-навсего успел только проговорить Кошкиной: «Позвольте мне иметь честь явиться к вам...» на что, разумеется, получил тотчас же согласие.

- Где же Бобохов? Где он? Где? - раздалось отовсюду по прошествии некоторого времени.

- Где же он в самом деле? - спросил Аристарх Федорович, останавливаясь посреди залы, куда столпилось все общество, в ожидании новой кадрили.

- Бог с ним, Аристарх Федорыч! - сказала Вера Андреевна, - пусть его едет; он осмеял всех нас, всех без исключения.

- Буржуа-жантильйом! - крикнул входивший Карачаев, - ведь я уж вам говорил, а вы нет да нет! Просто буржуа-жантильйом, вот она штука-то в чем! Еще смеяться вздумал! Ах он! Да я его!.. Погоди, голубчик, я еще тебя проучу!..

Несмотря, однако ж, на очевидно дурное расположение духа Карачаева, несмотря на припадок меланхолии и все признаки глубоко оскорбленного человека, обнаруженные им, когда объявили ему, что фейерверк давно уж сгорел и все обошлось как нельзя лучше без его присутствия, несмотря на неожиданные взрывы негодования, последовавшие непосредственно за меланхолией, Карачаев принял мало-помалу участие в танцах, и вскоре весь грохот бала был покрыт его восторженными кликами.

Бал продолжался вплоть до самого утра. Большая часть гостей осталась в доме; весьма немногие разъехались, да и то не прежде, как увидели, что ноги отказывались от повиновения и не могли уж двигаться.

На горизонте Ханских Прудов снова показалось солнце.

Снова окрасились золотым пурпуром бельведер, макушки берез, стены дома, флигель и службы. Но, когда солнце осветило двор, уже глухой и пустынный, подъезды со спавшими вповалку кучерами и лакеями, когда, поднявшись выше, перешагнуло оно через забор и озарило опустошенные клумбы сада, измятые лужайки, изломанные сучья деревьев и желтые дорожки, молчаливо спускавшиеся в густую темно-зеленую листву акаций; когда, восходя постепенно выше и выше, глянуло солнце в окна и прошло яркими лучами по закоптелым стенам, по заспанным усталым физиономиям и ворохам пыли, сора и конфетным билетикам – все показало тогда, что жизнь приняла здесь свой обыденный порядок, и торжество, столь блистательное накануне, кончилось, оставив после себя одни лишь развалины.

VIII.
Разъезд.-Утро после бала.-
Вечеринка в людской. - Разсказ карачаевского Ивана

Нет сомнения, что предлагаемый роман станут обвинять в мелочности и однообразии. В самом деле, хоть бы тень какой-нибудь животрепещущей драматической завязки, хоть бы проблеск какого-нибудь сильного, энергического характера!... Заранее соглашаюсь со всеми обвинениями. Да, в предлагаемом романе решительно нет энергического характера, нет интриги, и – что всего хуже – представьте, о мой почтенный

читатель! – интриги не будет до самого конца... Но что ж прикажете делать? Автору, поверьте, очень прискорбно, что вся драма в жизни, хоть, например, Аристарха Федоровича, заключается в его бесплодной борьбе с соседями, которых считает он злейшими врагами потому лишь, что соседи эти – люди порядочные, видят его насквозь, не желают с ним сближаться и не чувствуют к нему особенного уважения. К тому же, надо сознаться, люди с сильными клокочущими страстями как-то вывелись в последнее время – должно быть, сгорели в горниле собственных страстей своих! Их заменили лица тихие, кроткие, также со страстями, но со страстями столь положительными и упорными, что не создашь из них никакой животрепещущей интриги, или, наоборот, со страстями слишком жидкими, совершенно неспособными для подклейки сильной завязки романа. Со всем тем вышеупомянутые лица живут, действуют, и по этому самому никак не должны быть исключены из описания. Я совершенно согласен, что повесть о каком-нибудь событии, преисполненном случайностей, была бы несравненно интереснее читаемого вами ныне романа. Все мы любим, чтоб делали нам сюрпризы, и не только в день нашего рождения, но, по возможности, даже во все дни нашего существования. Это очень приятно. Я готов даже разделить мнение тех немногих читателей, которые приходят в неописуемый восторг, когда герой повести в порыве безумной страсти бросается в окно и выламывает себе ноги; я готов пролить слезы умиления, когда, в следующей затем главе, является тот же герой, радикально выздоровевший, совершенно счастливый и – вдруг в конце снова пропадает без вести; сердце мое обливается кровью, когда в третьей главе застаю его под ножами убийц! В четвертой главе непризнанные достоинства героя открываются в привлекательном свете; он бросается в объятия милой – и что ж! Я сам готов плакать и прийти в восхищение… Отдавая себе, как видите, ясный отчет в своих чувствованиях и понимая, следовательно, пружины, употребленные авторами для возбуждения их, я мог бы написать точно такую повесть; но не сделал я этого единственно потому, что побоялся соперничества, ибо таких повестей пишется чрезвычайно много. Та же самая причина заставила меня отказаться писать повести, в которых с начала до конца спрягается на все возможные лады глагол *люблю*. «Вот вам два прекрасные юные существа, - говорит автор, - они только-что начали любить друг друга...» (Следует затем постепенное развитие юной разгорячающейся страсти). Герой любил героиню, героиня любит героя, родные того и другого любят детей своих и сверх того любят еще друг друга. (Тут является для контраста лицо, которое обыкновенно никого не любит). Вы видите потом, как два прекрасные юные существа, достигнув апогея или, если хотите, последняго градуса страсти, соединяются неразрывными узами или возвращают друг другу письма и прекращают все сношения. Тут наступает собственно драма. Следует затем постепенный ход охлаждения героя к героине, героини к герою, и часто все дело приходится начать сначала: герой и героиня снова полюбили друг друга.

Есть еще повести, в которых преобладает так называемый анализ, повести, имеющие целью знакомить большею частью с блестящим кругом, которые можно назвать, для отличия от других, повестями пусто-прозрачно-психологического содержания. Их писать очень легко, особенно в последнее время: стоит только взять первую из них, переменить заглавие, имена действующих лиц, перенести действие из Морской в Миллионную или на Английскую набережную – и делу конец. Вот вам образчик. «Действие происходит в будуаре, или на балконе каменно-островской дачи (непременно одно из двух). Подле открытого окна сидит героиня – графиня или княгиня. (Следует легкое, но, по возможности, более поэтическое описание местности и наружности самой героини). Дверь отворяется: является молодой человек задумчивого вида. Он лев с головы до пяток (то есть он посещает балет, итальянскую оперу, носит штиблеты и обедает у Дюссо). Горький опыт паркетной жизни поселил в нем разочарование: он холоден, спокоен; но много еще огня таится под его новомодным жилетом; много теплого, нежного чувства он умел сохранить в своей собственной особе. Итак, он вошел, протянул руку графине, графиня подала ему свою маленькую, миниатюрную ручку; долго, долго смотрят они друг

на друга, полные какого-то неопределенного чувства... и вдруг, нежданно, обоим делается грустно, невыразимо-грустно, страшно-грустно... Герой и героиня обмениваются новым пожатием руки; они поняли друг друга, говорят: «прости!», расходятся – и повесть кончена. Все дело, как видите, очень просто. Меня остановило только то, что такие повести нравятся одним провинциальным барышням, а провинциальные барышни, сколько известно, читают весьма мало.

Теперь следует оправдаться перед читателем, который может принадлежать к сословию, частью изображенному в предлагаемом романе.

Цель автора заключалась в том, чтобы провести читателя в самые глухие и отдаленные захолустья проселочных дорог, куда не успели еще проникнуть просвещение и образование. Многим покажется, вероятно, странным и даже невероятным, чтоб изображенные нами лица могли составлять в действительности одно общество. В самом деле, было бы отчего прийти в отчаяние, если б Васильковы, Кокуркины, Бобоховы, Дрянковы и пр., и пр. совокупно населяли одну и ту же местность. Горшковский уезд играет здесь роль вогнутого зеркала, к которому автор подводит фантастические лица, заслуживающие насмешку. Вот на этот счет наши убеждения: человек бедный, не имевший средств образовать себя и, следовательно, невиновный в том, что является иной раз карикатурным посреди своего же общества, возбуждает только глубокое сострадание; если такой человек, несмотря на свою грубую оболочку, добр и честен, чувство сострадания заменяется мгновенно уважением и сочувствием, и тогда вы уж, конечно, не станете над ним смеяться. Совсем другое, по-нашему, должен побуждать человек, добровольно коснеющий в невежестве и упорно удаляющийся от прямого, светлого пути, по которому стремится целое общество.

Благодаря просвещению, разливающему благодатные лучи по всему пространству нашего отечества и проникающему даже в самые отдаленные закоулки проселочных дорог, таких оригиналов у нас очень мало; но все же кое-где на них наталкиваешься, и цель нашего романа состоит в том, чтоб познакомить с ними читателя. Приглашая его смотреть на Горшковский уезд как на панораму, составленную из самых исключительных типов, над которыми, право, подчас не грешно посмеяться, и не считая лишним заметить, что весь роман не что иное, как собрание забавных сцен, автор раскланивается на все стороны и продолжает свой рассказ следующим образом…

Не знаю, приводилось ли вам присутствовать в доме в ту минуту, когда раздаются крики: «Пожар!». Если приводилось, вы не забыли, какая страшная суматоха поднималась вокруг вас. Люди, за минуту спокойные, сладко дремавшие в углу на диване, или занятые тихой беседой, внезапно повскакивали со своих мест и забегали, как угорелые, из одного угла в другой; одни стремглав летят из дверей, другие рвутся в покои, третьи, потеряв окончательно управление воли, испуганные и ошеломленные страхом, мечутся на лестницу, тогда как четвертые сбегают со ступеней с быстротой молнии; весь дом наполнился криком, суматохою, суетою... Все это привел я для того, чтобы дать вам приблизительное понятие о том, что происходит иногда в большом провинциальном доме на другое утро после того, как накануне случилось заночевать великому множеству гостей. Совершенно почти та же картина. Как только наступает час всеобщего пробуждения, по всем коридорам и комнатам подымается страшная беготня и суматоха. Люди заночевавших гостей мечутся к хозяйским людям; хозяйские люди мечутся к управительницам и экономкам; управительницы и экономки отговаривают их как умеют, но тем не менее сами начинают метаться. Всюду раздаются отрывочные восклицания, все говорят, толкают друг друга, шепчутся, и, по-видимому, ни один не понимает другого. «Где у вас умывальник? Барин хочет мыться. Давайте скорее умывальник!» - Да, как же! Найдешь ты здесь умывальник! Здесь тебе и лоханки-то не дадут! - «Ах, батюшки, да как же быть? ах!» - Ступай скорей в кухню: я, кажись, его там видел вечор. Ступай, пока другой не взял! - «Ну, что ты его морочишь? ступай наверх; я его на окне видел под канареечной клеткой». - Ах ты, Господи! - «Скорее, скорее, давайте полотенце; барыня

спрашивает полотенце...» - Да, много у нас полотенцев-то; где я стану его теперь искать? Зачем своих не берете?.. - …воды, горячей воды; скорее: барин хочет бриться». - Горяч больно, подождет!.. плиту еще не нагревали... - «А как же утюг-то?.. ах! барыня спрашивает воротнички!.. беда!..» - Иван Карпыч, сделай, брат, милость, сходи зачерпни водицы. - «И сам сходишь, колодезь не больно далеко!» - Мне некогда...- «Большая мне нужда!.. небось...» - Ну, вот, сделай милость... - «Да вот не пойду же, не пойду; вороват больно; проси кого хочешь!» - Где у вас экономка-то? - «А что?» - Да барышни просят мыла. Сходи позови ее... - «Да, как же, пойду... много их тут понаехало! У меня и без того ноги-то, как мочало! Сам ступай!». В то же время убираются столы и стулья, метутся полы, стирается пыль... Такая же точно суматоха происходила в доме Аристарха Федоровича, когда гости его, зевая и потягиваясь в своих постелях, посылали первую приветливую улыбку давно уже наступившему утру. Все, однако ж, постепенно успокоилось и угомонилось. Парадные комнаты представили вскоре свой повседневный вид, и на всем этом не было даже заметно следа какой-нибудь суматохи, когда хозяин, сопровождаемый гостями, расположился в зале подле чайного стола.

После чая многие из гостей стали собираться в дорогу.

Кошкин обнаружил первый такое желание и отдал приказание, чтоб подавали коляску.

Такое распоряжение, по-видимому, чрезвычайно удивило супругу его, Анну Васильевну. «У этих мужей всегда какие-то дела!», - сказала она голосом сожаленья и нежно пожала руку Лизаветы Семеновны; но когда Семен Семенович возразил вздыхая: «Что же делать, душенька, надо покоряться обстоятельствам; не все же ясные дни: бывают и тучки на небе!» - Анна Васильевна, как кроткая и послушная жена, тотчас же покорилась, надела шляпку и направилась к двери, лукаво кивнув Аристарху Федоровичу на ридикюли Свищовой и Полушкиной, набитые так туго всяким снадобьем, что одно моченое яблоко грозило даже вырваться из своей засады и укатиться Бог знает куда.

Ридикюли эти красноречиво возвестили Балахнову, что запасливые владелицы их также собрались восвояси. И в самом деле, толстый Свищов был сильно не в духе. Он не переставал подмигивать Полушкину, с которым любил всегда действовать как одна душа, несмотря на вечные ссоры, и поминутно указывал ему на шапку. Кондей Иванович, казалось, никак не мог забыть вчерашнего анекдота: как только глаза его встретили голубое платье старшей дочери, он начал кряхтеть, с трудом переводить одышку и кончил тем, что распрощался с хозяевами и уехал. Примеру его последовали многие другие, в числе которых находился старичок Пшеницын и Федя.

К полудню гостиная опустела. Остались одни лишь Кокуркины, Васильков и Карачаев, то есть люди почти домашние. Жизнь в Ханских Прудах, выскочившая на минуту из своих рельсов с таким громом, шумом и треском, пошла опять обыкновенным порядком. Лизавета Семеновна, обрадованная тем, что кончилось торжество и наступила тишина, поспешила удалиться в свою комнату. Она расположилась в маленькой детской, подле окна, окружила себя детьми и принялась учить их. Кокуркины, вооруженные с головы до ног спицами, иглами, тамбурными подушечками и всяким рукодельем, уселись на террасу и завели нескончаемую беседу о минувшем празднестве; к ним присоединился нежный Васильков, который, казалось, утратил на этот раз всю свою любезность. Узнав, что поездка к невесте отложена не только на завтра, но что завтра придется еще ехать в Горшков и пробыть там целый день по делам Аристарха Федоровича, он впал в глубокую меланхолию, не переставал вращать своими выпученными глазами по направлению дороги и вздыхал так сильно, что барышни невольно вздрагивали. Такая сосредоточенная грусть не мешала ему, однако ж, вмешиваться в разговор барышень каждый раз, как дело касалось его будущего благополучия; тогда он одушевлялся, глаза его страшно разгорались и устремлялись к небу; все существо Порфирия Павловича проникалось в эти минуты каким-то восторженным томлением. Копков находился в это время на противоположной стороне сада, по ту сторону прудов, прямо против террасы;

притаившись за кустом осоки, он занимался деланьем тростниковой дудочки, обещанной им накануне Володе. Изредка прерывал он свою работу, высовывал лицо из-за куста и глядел умильными глазами на младшую Кокуркину, вышивавшую по тамбуру головную сетку. Из всех посторонних, оставшихся в доме, один Карачаев, можно сказать, не был похож на самого себя: он хранил мрачное молчание, не хотел явиться пить чай в залу вместе с другими и, казалось, избегал с ними встречи. Причиной такого страшного переворота было происшествие, случившееся с ним накануне, в конце бала: он до того расходился, что даже сама Лизавета Семеновна вынуждена была прочесть ему маленькое наставление. Все было нипочем Карачаеву; его не могли остановить никакие увещания и убеждения; но замечание доброй, снисходительной Лизаветы Семеновны, за которую, как сам он говорил, позволил бы разрезать себя на части, этого замечания не вынес Карачаев. Он не переставал осыпать себя самыми энергичными эпитетами, не переставал посылать себе на лоб и голову удары и, казалось, хотел убежать от самого себя. Присутствовавшие поодиночке и соединенными силами старались уговорить и рассеять Карачаева – все было напрасно: самые увещания Лизаветы Семеновны, тронутой, наконец, неподдельным отчаянием Карачаева, ничего не сделали. - Не подходите ко мне, голубушка, Лизавета Семеновна, - говорил он, багровея и уныло вращая глазами, - не подходите ко мне: я недостоин вашего участия! Вытолкайте меня вон, да и все тут!. За обедом он не прикоснулся ни к одному кушанью, не взглянул даже на остатки фрауэн-мильха и испанского муската. Как только встали из-за стола, Карачаев исчез в свою комнату, забился головою в подушки и, как сказывали потом люди, не могли его добудиться никакими силами. Этим богатырским сном разрешались все душевные потрясения Карачаева; бывало так, что он просыпал несколько суток сряду.

Что же касается до Аристарха Федоровича, то расположение его духа было самое приятное; он поминутно выходил из своего кабинета, заговаривал с гостями, подтрунивал над Копковым, смеялся с Кокуриными и уговаривал Василькова потерпеть до послезавтра, замечая ему при этом, что чем дольше разлука, тем приятнее свидание. Не раз заставали его расхаживавшего с сияющим лицом по зале и потирающего руки. После обеда он послал за старостою, отдал приказание, чтобы послать мужиков для очистки долины, и это обстоятельство, казалось, окончательно развеселило его. Вечером Аристарх Федорович составил партию, и любезность его не прекращалась целый день.

Между тем, как в самом доме наслаждались миром и тишиною, обменивались трогательными излияниями, искренними сердечными чувствованиями, обращавшими гостиную в благополучную Аркадию, в людской подымался шумный говор, и все вокруг принимало самый оживленный характер.

Как только наступил вечер и распространился слух, что господа уселись за карты, некоторые из многочисленной дворни, как женского, так и мужского пола, стали тотчас же сходиться в огромный флигель, где между множеством разных помещений находилась квартира балахновского камердинера и жены его, бывших виновниками и даже главными затейщиками такого неожиданного стечения. Флигель этот представлял огромное одноэтажное каменное здание, выходившее фасом на двор, задними окнами во фруктовый сад, и соединял в себе, по-видимому, все удобства для помещения людей. Так оно в самом деле и было. К несчастью, расположившиеся в нем люди задумали распорядиться иначе. Страсть к особнячкам, к закоулочкам послужила к совершенному преобразованию пространного и светлого флигеля. Так, например, большие сени, разделявшие его на две равные части, сделались решительно непроходимы благодаря каморкам, чуланчикам, отгородкам, клетушкам, которыми загромоздили их люди; к этому немало также способствовал непроницаемый мрак (свет не проходил в скважины чуланов, заслонявших окна) и несметное множество кадок, лагунчиков, горшков с золою, корчаг и корыт, зевавших своими черными ртами во все стороны. В тех же сенях, чрезвычайно похожих на черный улей, наполненный черными сотами, домохозяйки соседних жилищ, считая, вероятно, за лишнее бремя делать каждый раз десять лишних шагов, варили против своих

дверей щелок, рубили капусту, затирали квас и так усердно плескали каждый день воду, что пол несчастных сеней, устланный когда-то плитами, повихнулся во все стороны как от самого сильного землетрясения: одна плита стояла торчмя, другая совсем ушла в грунт, третья чуть-чуть глядела наружу. В левой половине этих сеней, где находилась квартира камердинера, все было подведено под ту же систему особнячков; начиная от двери, вплоть до противоположной стены, тянулась параллельно окнам, глядевшим на двор, высокая загородка с бесчисленным множеством кривых и косых дверок. Окна, обращенные в фруктовый сад, были частию заклеены сахарной или газетной бумагой, частию, и именно на тех местах, где уцелели стекла, завалены всяким хламом. Тут же помещались: столяр со своим станком, досками, пилами и долотами, и вместе с ним, на другом конце, старый маляр с клюквой вместо носа.

Маляр этот, которого, между прочим, звали Калиной, жил у Аристарха Федоровича в качестве наемного и получал жалованье. Калина слыл во всем околотке за самого умного человека, но вместе с тем и самого горького пьяницу, какого только носила мать сыра земля на своей поверхности. Он был вдов и никого не имел на свете, кроме дочки Палашки, черномазой, обстриженной в кружок девчонки, состоявшей, как известно, на посылках у Фионы Ивановны, и которую любил Калина со всего страстью нежнейшого отцовского сердца. В этой любви было, однако ж, что-то особенное, точно так же, как и во всех сердечных и душевных побуждениях Калины; он не переставал ворчать с утра до вечера: «Вот послал Господь наказание!.. Сущий пострел девка!.. ну ее!..». Но со всем тем, если б с Палашкой случилось какое-нибудь несчастье, Калина был бы неутешен. В настоящую минуту, то есть в то время, как собирались гости, Калина был сильно не в духе. Причина такого нерасположения заключалась в том, что полчаса назад Аристарх Федорович приказал ему изготовить к послезавтрему свой вензель, перепутанный арабесками; вензель должен был украшать въезд в новоприобретенную долину со стороны столбовой дороги. Не было, может быть, в целом свете художника, который ценил бы так высоко свое искусство и придавал бы ему такое значение, как Калина; он ненавидел насмерть всякую спешную работу: он любил заниматься искусством con amore, любил тщательно вывести каждую полоску, каждый штришок; к тому же потреблялось им много времени на обдумывание произведений и еще больше на то, чтоб отходить в сторону после каждого нового удара кисти, прищуривать то тот, то другой глаз и восхищаться этими ударами...

Дурное расположение духа Калины подействовало самым неприятным образом на Сидора Матвеевича (так звали камердинера), который рассчитывал на него, как на самого драгоценного для общества человека. Поделать было нечего: Сидор Матвеевич знал очень хорошо, что стоило только Калине сесть за работу и вооружиться кистями, его не оторвешь тогда не только просьбами, но не соблазнишь штофом лучшего травника.

Сидор Матвеевич был человек умный, рассудительный, и сам любил окружать себя людьми умными и рассудительными. В приглашенном им обществе читатель мог только встретить цвет дворни. Тут находился Кузьма Севастьянович, кучер Кокуркиных, старый седой драбант с мрачно-нависшими бровями, премного уважаемый всеми за преклонность лет и долгую опытность; виднелась потом знакомая читателю Глафира, первая камеристка и первая красавица целого околотка; был также Иван карачаевский, и много было еще других лиц, более или менее замечательных. Кроме приглашенных, находились, как водится, и зрители. В числе последних, стоявших большею частью по углам, вертелась Палашка, нежно любимое чадо Калины.

Между тем как Сидор Матвеевич и супруга его, жидкая, бойкая, повязанная платком бабенка, отставленная по наговору Фионы Ивановны от всякой должности, ставили самовар, мыли чашки, кололи сахар и приготовляли угощение, приглашенные столпились вокруг Калины, который сидел против железного загрунтованного листа и, задумчиво нахмурив брови, водил по нему кистью.

- Ах, Боже мой! Посмотрите-ка, посмотрите, Иван Емельяныч, какое страшилище! - говорила Глафира, обращаясь к карачаевскому Ивану и указывая ему на фантастического зверя, рождавшогося на железном листе под странно-причудливою кистью Калины, - просто страшилище!.. Посмотрите, Иван Емельяныч, зубы-то, зубы- то!.. А вот это что у него такое, Калина Васильич? Ах ты, Господи!..

- Хвост, - отвечал недовольным голосом Калина.

- Помилуйте, Глафира Львовна, разве вы не видите, что это глаз? - шепнул Иван Емельянович.

- Ах, да, ведь, и в самом деле!.. Батюшки, ни дать, ни взять, барский бульдог!..

- Эк хватила! Много ты видала, небось, таких собак-то! - проворчал обиженным тоном Калина, принимаясь закруглять зрачок зверя.

- Это дикобраз! - подсказал Иван Емельянович.

- Дикобраз? Что ж это за зверь за такой, Иван Емельяныч? Я их никогда не видала, - проговорила Глафира.

- У нас, в Рассее, они не водятся, - отвечал Иван,- их, изволите видеть, привозят из жарких краев, где родятся арапы. Я сколько раз видал этих дикобразов у нас в балаганах: страшилище такое... Да вот, посмотрите, точно такой вид имеет, как написал Калина Васильич... И удивляюсь я это, право, как он только так верно потрафил! Как есть, то есть, дикобраз, настоящий дикобраз!

Калина самодовольно покрутил головою, прищурил глаза и принялся еще усерднее закруглять зрачок дикобраза.

- До какой премудрости, как подумаешь, доходит человек! - произнес задумчиво, раскачивая головою, один из гостей, следивший с изумленным видом за работою Калины.

- Что говорить! Всякое дело требует ученья, - возразил Иван, - без ученья ничего не сделаешь. Посади-ка поди любого из нас на место Калины - напутает такого, что и сам потом не разберешь. Всякое дело надо произойти, а тем более ихнее! Тут всякая вещь, какая только есть на свете, должна быть тебе известна. Скажут: зверя ли какого напиши, дерево или траву какую – все умей показать и сделать.

Гость продолжал задумчиво качать головою.

- Что это вы, Татьяна Васильевна, какой труд на себя принимаете? - сказал Иван, расшаркиваясь с любезностью пред женою камердинера, которая раздувала самовар.

- Помилуйте, что за труд! Для дорогих гостей ничего не трудно-с...

- К тому ж поторопиться нужно, - перебил ее супруг, подсыпая уголь, - неравно господа потребуют.

- Помилуйте, Сидор Матвеевич, что вы беспокоитесь! - воскликнула Глафира, - мы все это сейчас узнаем... Эй, Палашка! - прибавила она, обращаясь к девочке, - ступай, посмотри, что делают господа; да не зевай и приходи скорее сказать... Что ж ты?

- Глафира Львовна, дайте поглядеть, что тятенька делают... - сказала Палашка, вытягивая шею по направлению кисти ее отца.

- Что-о-о?.. - заревел Калина, поворачиваясь к дочери и топая свирепо ногами. - Ах, ты!.. пошла, когда велят, пошла! Вот я тебя!.. Эко, право! - прибавил он.

- Посмотрите-ка, посмотрите, Иван Емельяныч, звезды-то, звезды... Ах, как прекрасно! Точно на небе, - заговорила Глафира, - этак он, пожалуй, и солнце сделает!

- Нет, где звезды, там уж солнцу не след, - глубокомысленно возразил Калина.

- Да неужто ты, в самом деле, можешь сделать солнце? - спросила Глафира.

- Все могу, - отвечал с уверенностью художник, - все, все могу, всякий цвет могу произвести, какой только есть. Давай, что хочешь напишу... и месяц, и солнце, и... и... и... все могу!

- А вот огонь, Калина Васильич, не напишешь, ни за что не напишешь: цветов таких нет! - заметила Глафира.

- А сурик на что? А бакан на что? - сурово воскликнул Калина, который вообще терпеть не мог, чтоб сомневались в его искусстве.

- Помилуйте, Глафира Львовна, - произнес Иван, - ученому человеку все возможно. Что такое огонь? Ничего! Такие ли цвета, если б вы видели, подбирают в разных живописных обозрениях. Вот я видел картины - поверите ли... пожар представлен... люди, так просто живые люди бегают... А, вот и Палашка! Ну, что? - прибавил он, обращаясь к девчонке, которая остановилась в дверях, едва переводя одышку.

- Что ты там так долго делала? - спросила Глафира. - Ну, что господа?

- Ух, дайте дух перевести, Глафира Львовна... ух! Фиона Ивановна задержала, посылала: ступай, говорит, посмотри, что делает Прокисай Захарыч? Я и пошла... сидит, говорю, да моргает на младшую Кокуркину...

- Ну, а что делает барин?

- Барина нет с гостями, ушел в кабинет; поглядела в замок: то в книжку поглядит, то встанет, да по комнате ходить начнет.

- Ну, а другие что? - спросили несколько человек, окружая девочку.

- Другие, да кто еще там?.. Ах, да, Дрянков! Сидит в своем чуланчике с Васильковым и читает ему книжку. Такой-то чудной, право: он читает, тот спит, да вот так только головой махает, ха! ха! ха!..

- Ну, чего ты? чего? чего-о-о? - закричал Калина, поворачиваясь неожиданно к дочери, - вот я тебе посмеюсь... Пошла!

- Смешно больно, тятенька-с...

- Вот я тебе дам смешно! Пошла! Как мазну тебя вохрой, так будешь помнить.

- Полно ты на нее злобиться-то, Калина Васильич: дело молодое! - сказал камердинер. - Милости просим, Глафира Львовна, Иван Емельяныч, Кузьма Севастьяныч, - прибавил он вместе с женою, приглашая гостей в каморку.

- Сейчас, Сидор Матвеевич, сию минуту, - вымолвил Иван. - Палаша, а что, голубушка, не видала моего барина?

- Нет, не видала.

- Ну, должно быть, все еще спит. Теперь его не добудишься, - произнес Иван, входя в каморку и усаживаясь подле Глафиры.

Каморка камердинера свободно вмещала в себя трех человек средней полноты; в ней могло бы поместиться гораздо более, если б не препятствовали тому: огромная кровать с ситцевыми занавесками, два стула, стол и длинная-длинная клетка, наполненная дроздами, снегирями, синицами и всякими другими птицами; сверх того, тут же помещались сундучки, висели мешочки с разным добром, приобретенным во время служения Аристарху Федоровичу. Потолок и стены каморки украшались кусками разноцветных обоев, расположенных так искусно, что розассы и цветы сходились в одной точке, прямо против постели. На столе, между стеариновыми свечами, воздвигнутыми в разнокалиберные бронзовые подсвечники, пыхтел самовар.

- Глафира Львовна, Кузьма Севастьяныч... что это, как вы мало кушаете? Прошу покорно! - говорил камердинер, подливая в чашки Ивану и другим. - Татьяна Савельевна! - промолвил он, подмигивая в то же время жене и указывая ей на гостей.

- Покорно благодарю, Сидор Матвеич, очень довольно, - сказал Иван. - А я вот все насчет своего барина.

- Вчера умаялся. Уж как только это хватает его, право! Хоть бы минуту постоял или посидел в покое!

- Нет, не то, Сидор Матвеич, совсем не то; я уж его знаю: должно быть, что-нибудь не по нем вышло. Помните тот раз, как узнал он, что умерла у него сестра, плакал, плакал... А иногда нападет, знаете, на него тоска такая - весь исхудает... ну, просто жалости достойно, сам на себя не похож... Я уж так и сяк - ничем не возьмешь...

- Какого он положенья? - спросил один из гостей.

- Да лет уж сорока будет... А то есть доброты какой, так, кажется, не найти другого в целом свете: последнюю рубашку готов отдать тебе, то есть вот как; век бы не расстался!

- Эх! Вот жизнь, так жизнь! Вот и слушать, так... зависть берет... Ох-ох-хо, хо! - заметил Кузьма Севастьяныч, сурово нахмурив брови.

- Да, могу сказать, - продолжал Иван, - такого другого человека не найдешь... Да что искать! просто нет, как есть нету! А что насчет людей - просто сказать: мухи не тронет. Добрая душа! Зато ведь, Сидор Матвеич, Богу и молишь. Никогда бы я с ним, признаться, и не расстался, если б не подумывал... насчет других дел... то есть своих собственных. Сколько ни живи, а пристроиться надо... - заключил Иван, бросая украдкою взгляд на Глафиру, которая опустила при этом глаза в чашку и покраснела.

- Эх! Вот жизнь, так жизнь! - повторил Кузьма Севастьяпыч, - не то, что наша! Живи, живи... а все тебе... что? – ничего!..

Кузьма, нужно заметить, принадлежал к числу людей, которые весь свой век жалуются на судьбу и ничем не бывают довольны. Дайте Кузьме дом, скажите ему: «На, вот тебе за твои заслуги!». Кузьма нахмурится и возразит с самым недовольным видом: «А на что мне дом ваш? Ни жены, ни детей у меня нет; что я с ним стану делать? Ничего мне не надо!». Не давайте ему дома, а дайте все, что нужно: теплую одежду, полную месячину, светлый угол, Кузьма будет опять недоволен: «Вот, - скажет он, - служи, служи, а что нажил? – Ничего! Эх-эх!..».

- Как же вы, Иван Емельяныч, осмелюсь вас спросить, попали к Карачаеву? - спросил камердинер, подливая ему чаю и подмигивая жене на остальных гостей.

- А попал я к нему... попал таким образом... знаете... - сказал Иван, посылая взгляд Глафире и видимо заминаясь, - как получил уже вольную от первого своего барина.

- Вы чьих были? - спросил камердинер.

- Ивана Петровича Долотова. Он не здешних мест. Вы его не знаете. Также был добрый барин, царствие ему небесное!

- А что, стало быть, помер?

- Помер. Кабы не он, так, кажется, что бы со мной и было теперь: давно бы сгиб! Куда только меня не носило, по каким мытарствам не проходил... и-и-и! Боже упаси! Был и в Петербурге, и в Москве: еще мальчиком туда послали. Чего-чего только не привелось видеть! То-есть, просто сказать, такая моя жизнь, что хошь в любую книжку.

- Расскажите, Иван Емельяныч, оченна бы признательно было, любопытно, - сказали хозяин, хозяйка и другие.

- Долгая история-с! - скромно произнес Иван.

- Ничего, Иван Емельяныч! - возразила Глафира, - я не раз от вас слышала, как вы рассказывали, и рада бы еще послушать. Расскажите, - примолвила она, нежно взглянув на своего возлюбленного.

- С моим удовольствием, - сказал Иван.

Хозяин и хозяйка налили новые чашки чаю, присутствовавшие пододвинулись ближе, Иван кашлянул и начал следующий рассказ, передаваемый нами здесь в сокращенном виде.

История карачаевского Ивана

...Как родили меня отец с матерью, так и оставили сиротою (начал Иван). Отец помер до меня месяцев за шесть, а матушка, дай ей Господь царствие небесное! скончалась вскоре после родов. Оба были дворовые, и меня поэтому зачислили в деревню. Дворня была у нас большая: как есть люди все чужие мне, хоть бы один сродственник. Не знаю, привел ли бы Бог и на свет-то поглядеть, если б не одинокая вдова Анна: взяла она меня, обмыла, одела, приютила, словно мать родная, и выкормила. Вот, говорят, добрых-то людей нет на свете! И то сказать надо, я за нее и теперь молю Бога, помню ее добро: да и как не помнить, братцы, когда право слово, – лучше иной матери вырастила! Иной раз письмецо пошлешь и деньжонок приложишь – все пригодится старухе на нитки; одним плохо говорит, глазами плоха нынче стала. Вот, год за годом, начал я подрастать; было

без малого мне никак лет десяток. Около той поры помер у нас барин; на место поступил молодой, сын; служил он прежде в Петербурге и происходил всякими чинами. Чин был на нем немалый; человек был умный, рассудительный, кредитный. - «Что это, говорит, ребят-то сколько у нас во дворне? что они делают: баклуши, чай, бьют? Это, говорит, нехорошо. Что, говорит, человек без мастерства: куда он пригоден? Взять человек десять, говорит, да послать-ка их в Петербург, заняться каким-нибудь делом. Сами после спасибо скажут. Что мастерство, то хлеб в руке, – одно и то же!». Такой-то был рассудительный! Взяли нас – и я попал с ними, взяли и повезли всех в Питер. Кого в каретники, кого в сапожники, меня отдали к немцу-портному. Куда жутко пришлось на первых порах! Известное дело – совсем уж не то положение! Сказывали, был он прежде (хозяин мой, Карл Карлыч) человек смирный и ласковый, пока не разбогател; а как разбогател, такой форс на себе понес, что Боже упаси! Бывало, малость какая, самая ни на есть безделица – за все ответ перед ним держи. Всех уважай, мало что его самого – жену, детей; за всеми ухаживай; такой-то был бедовый; подумать, так страсти! Жил я однако у него ладно и безобидно; работа пришлась мне в руки. Сначала, разумеется, подкладка шла, стежка, пуговицы, строчку метал, а там принялся и за жилеты. Жил я у него лет пяток без малого и выучился всякой работе; года полтора оставалось всего до подмастерья. Стали отпускать меня по праздникам, на Крестовский ли, в Екатерингоф ли, – все это было можно. В Петербурге есть, знаете, где погулять, были бы деньги... Их-то у меня и не было. А тут, знаете, завелись у меня шашни... На нашем же дворе, изволите видеть, держала француженка модный магазин; девиц было много, красавицы были – загляденье... да вот, я чай, Глафира Львовна припомнят? Там с ней и привел случай познакомиться... Была у них подружка... такая, такая... просто, красотка! Машей звали...».

Тут рассказчик лукаво подмигнул Глафире, как будто хотел сказать: «..молчи только; вывернемся!». Глафира видимо успокоилась и, чтобы скрыть остаток волнения и краски, принялась сильно сморкаться.

«Уж так-то полюбилась мне эта девушка, Маша, - продолжал Иван, бросая новый взгляд на собеседницу, - так полюбилась, что ужасти! Ну, пошли это, знаете, тары-бары; деньги еще нужнее стали. Известно, люди молодые: на извозчике ли прокатить, леденцов ли купить - на все нужны деньги до зарезу, а их нет. Кровь-то, знаете, играет: завидно! Столкнулся я около той же поры с одним парнем: был он прежде в ученьи у нашего же хозяина, да отошел и приписался к комедиантщикам – вот, знаете, что в балаганах, на масленой, штуки разные показывают. Страсть такая, говорят, была у него. Звали его Яшка Гвоздырь – то есть такое прозвище было, и уж, скажу вам, такой-то был парень этот, такой-то бедовый, что Боже упаси! Вот и говорит он мне раз: - «Ваня, - говорит, - скучаешь ты, брат, деньжонками: хочешь, - говорит, - я достану тебе работу к праздникам? Не оберешься, успевай только метать; и деньги хорошие; пойдем, говорит, к моему хозяину! Я чуть не кинулся с радости к нему на шею. - «Ах, такой, сякой, благодетель!..». Пришли. Вижу, знаете, квартира хорошая, народу много, и народ, знаете, такой все чистый, хороший. Сам хозяин – немец, славный такой, ласковый. Звали его Адольф Кристианович Вейнерт. Вижу: в достатке живет человек. Держал он, изволите видеть, комедиантщиков, и сам был комедиантщик; балаган его, об масленой или об Святой, был самый первый. Спросил это он, где живу, у кого обучаюсь. Ну, и хорошо. Взвалили на меня целую корзину камзолов, платья всякого; все бархат да атлас, везде позумент и блестки – хорошее такое, знаете, всё добротное; костюмы и гардероб, нечего сказать, были важные. Кое-что понадобилось перекроить, перешить. Я снял мерку, пошел и сел за работу. Первое время, знаете, как ходил к ним, казалось очень чудно. Дело, разумеется, непривычное; смотришь: на руках люди ходят, пригибают голову к пяткам, и добро бы еще большие, а то мальчишка какой-нибудь, от земли не видать, коверкается на всякие манеры, «сальте-мортале» делает, то есть, изволите видеть: стоит, примерно, человек на ногах и вдруг перекувырнется в воздухе и опять на ноги встанет... Все сначала было в диковинку; но потом, знаете, чаще и чаще, присмотрелся, пригляделся и – ничего,

привык. Люди были, - говорю вам, - отличные, добродушные; что сработаешь, принесешь, бывало, и сейчас тебе деньги. Как пошли это у меня деньги – и жизнь совсем пошла другая: заработаешь целковых два или три, сейчас, знаете, перекинешься словцом в магазине; смотришь, Маша и идет... (Рассказчик снова подмигнул украдкой Глафире). Если можно, гулять пойдем; нельзя – купишь ей леденцов, или другую какую сладость. Дожил я этак-то до подмастерья, совсем привык к комедиантщикам, как к родным, работал на них без устали и думал только: кабы Господь век привел так жить! Судил-то я так, а вышло другое. Вот раз прихожу домой (воскресенье было под вечер, как теперь помню), захожу под ворота, смотрю: стоит моя Маша, лицо закрыла руками, а сама, знаете, так и плачет, так и заливается. Что за причина такая, думаю... - «Так и так, - говорит (а сама, знаете, слово-то скажет, да навзрыд), так и так, ученье мое, - говорит, - кончилось и господа требуют в деревню! Меня так и обдало всего! Любил, любил я эту девушку, просто ужасти как любил. Ну, поплакали, погоревали – что ты станешь делать? Обещали подавать друг другу весть и простились. Уехала моя Маша. Стал жить я у своего портного, нет: моченьки не хватает! Такая-то одурь, тоска одолела – просто жизнь прискучила. Как взгляну, бывало, насупротив, в окно магазина – просто хоть бы повеситься! Тут случись та беда: хозяин мой – банкрот! То есть разорился. Сам виноват, говорю вам: как разбогател, такой форс поднял, что просто Боже упаси! Куда мне деваться? - думаю. Пошел к Адольфу Христьянычу, комедиантщику, так и так, говорю... «Что ж, - говорит, - работы у нас много; оставайся у нас жить; жалованье такое и такое; в свободное время будешь подмогать переставлять кулисы, то да се; работа не больно мудреная, привыкнешь!». Послушался. Прожил я с ними полгода, и полюбились они мне, полюбилась жизнь их еще пуще. Славные были люди!.. Пришла масленая, Святая; поставили балаганы; пришли мы туда, стали играть. Сошелся я скоро с другими комедиантщиками и зажил с ними как свой. Одним скучал: вижу – люди играют, наряжаются, народ ими потешается, музыка играет, а я сиди один в потемках, крои лохмотья, ставь заплаты, да передвигай машины, кулисы всякие, или сиди под полом. Оно хоть жили мы товарищами, а все, знаете, как словно обидно стало: и тот же, думаешь, человек, да не то; вишь, думаешь, комедиантщик, паяц или ахтер какой, все его знают, все видят... а ты что?., портнишка, ламповщик! Дело, знаете, было в ту пору помоложе... Эх! думаю, Маши моей не стало; один как перст на свете; пропадай моя голова, повихну себе шею – туда и дорога! К тому же, думаю, ведь делают же люди, умудряются, а живут, не пропадают. И стал я себя пробовать на все манеры: как улягутся, бывало, спать, я и давай, и давай – норовил всячески подойти под их стать. Сначала потешались надо мной, а потом видят: человек способный, учить стали. Наградил меня Господь здоровьем и силой, даром, что от роду не был дюж и крепок. Сначала было куда уж тяжко и трудно, а потом привыкать стал помаленьку. Прошел год, другой - пошел делать все штуки не хуже ихнего. И такая, скажу вам, страсть припала у меня к этому делу, что как, бывало, заиграет музыка, так все жилки и задрожат!..

- Как, Иван Емельяныч, - перебил камердинер, устремляя на рассказчика удивленные взоры, - так, стало быть, вы и в балаганах представляли?

- А то как же, - самодовольно отвечал Иван,-затем и учился.

- Да, ведь, помилуйте, - подхватил камердинер,- ведь, говорят, эти комедианты кости себе выламывают? Как же это... осмелюсь спросить?

- Кто это вам сказал? - возразил Иван. - Никаких костей не выламывают; так, просто, сноровка, ловкость только одна. Вот, изволите видеть, я вам покажу; извольте смотреть, - прибавил Иван, взяв в одну руку несколько блюдечек, пуская их полукругом по воздуху и подхватывая их другою рукою. - Вот, вот! вот!.. - продолжал он, между тем как присутствовавшие и особенно Татьяна Савельевна, боявшаяся за свою посуду, следила с изумлением и страхом за всеми его движениеми.

- До чего может произойти человек! - проговорил, наконец, камердинер.

Одна Глафира, привыкшая уже к штукам Ивана, казалась не столько удивленною, сколько восхищенною ловкостью своего любезного.

Затем Иван повертел несколько минут на пальце поднос, потом почесал ногою затылок, сделал еще несколько штук, дал себя ощупать – обстоятельство, возбудившее особенное усердие со стороны гостей, – и, убедив окончательно присутствовавших, что кости у него были целы, продолжал рассказ следующим образом:

Ну, знаете, как дело-то пошло на лад, я взял и отписал Маше о новом своем житье-бытье. Месяца через три получил ответ: здорова, пишет, и помнит меня по-прежнему. Вспомнил я и старину, вспомнил и ее ласку-привет. Снова напала тоска на меня, словно так уж на роду написано было жить нам вместе! Святая в ту пору только что минула; Вейнерт (хозяин мой) поехал в немецкую свою землю повидаться до зимы с родными. Я перешел покуда в другую труппу, к другому хозяину, потому более, что ведь так и так, думал, едут они по Рассее на весь год, побывают в разных городах; случай приведет, может статься, повидаться с Машей... Поехали. Где уж только мы не были, каких городов не видали: были и в Казани, и в Нижнем, и в Арзамасе, и в Астрахани, и в Тамбове – везде были; где ярмарка, туда и мы; не привелось побывать только в той стороне, где жила Маша. Житье, признаться сказать, было плохое: порядок совсем другой, что у Вейнерта. Хозяин – человек бедовый, жена – еще хуже, труппа – народ все беспутный, пьющий, что ни заработают денег – в кабак да в кабак... Дела пошли плоше да плоше; все пообносились; жалованья не платят – сумбур просто такой, что того и смотри в острог попадешь... беда! Вот я так думать, этак думать... Были мы далеко от Москвы... Пропадай вы совсем, думаю, взял паспорт – да в Москву. Еле-еле дошел: ни платья, ни денег, хоть бы перекусить было чем – и того нет! Жил в Москве управляющий нашего барина; я к нему. - «Ах, ты, говорит, такой-сякой, где пропадал? Барин велел отыскивать тебя чрез полицию. Я так и обомлел; во всем роду нашем не бывало такой оказии. На другое утро прихожу к барину. А он все уж проведал от управляющего, где я жил и чем, примерно, занимался. Веселый такой. - «А! говорит, фигляр ты этакой! а ну-ка, ну-ка, - говорит, - покажи штуки свои». - Я ему и показал. Смеется. – «Ну, говорит, этого мне, братец ты мой, не надо. Это хлеб и для тебя ненадежный: того и смотри, шею свернешь. Поедем со мною в деревню. Тут жизнь пошла опять на другом положении. Барин мой был такой, что дай Бог всем такого. Полюбился я ему более потому, что был человек трезвый и расторопный. Взял он меня к себе в камердинеры. Уж чего, кажись, лучше такой жизни – а меня все тоска берет: так вот, верите ли, и ноет сердце по прежней жизни; как заслышу музыку – смерть моя; во сне и наяву только и видишь представление; так бы, кажется, и урвался! С нашею жизнью, коли страсть имеешь, трудно расстаться; точно вино пьянице: так вот тебя и манит, и манит – смерть да и только! Пришла зима; поехал барин в Москву и меня взял с собою. Уложились, сели, поехали. Вот, братцы, привелся тут такой случай видеть, что вспомнишь – поджилки дрожат. От Москвы мы были всего верст за сто; дело было ночью. Ехали мы проселком и ехали на своих; барин, кучер и я – всего и людей-то было. С вечера, как выехали из станции, поднялась метель; чем дальше, пуще да пуще: мороз, ветер такой – страх Господень! Замело нас кругом, зги не видно: ночь глухая, и видим мы, что сбились с дороги. Мы и так, и сяк, и криком, и кнутом, и посвистом – нет, хуже еще: заехали в такой овраг, что, кажись, и летом там вылезти трудно. Видим – плохо: пропадать пришлось, лошади дрожат, сами еле дух переводим. Беда! Твори только молитву, да помирать собирайся. Вот барин и говорит нам: «Ребята, - говорит, - отпрягай лошадей; будете стоять, как раз замерзнете, и лошади замерзнут с вами. Садись и пошел отыскивать дорогу или деревушку; я останусь - говорит, - и буду ждать; мне ничего не сделается в кибитке под шубой!». Вот взяли мы лошадей, поехали куда глаза глядят и словно как будто согрелись; а мороз такой, я вам говорю, смерть – так и жжет! Долго плутали мы, и кабы не собачий лай, так, верно, и пропали бы. Поехали, перекрестились; видим, стоят избы. Мы стучать. Сначала-было то да се, как? куда? откуда? Мы и давай рассказывать: так и так, барин едет из деревни в Москву... Что ты будешь делать? Не

хотят идти на помощь к нему да и полно! Мы и то, и другое, и заплатит, - говорим, - вам, а они все на своем: нет да нет; а народ все здоровый, крепкий, два мужика, да с ними работник. Что, думаем, ничего не сделаешь; дождемся света. Легли. Вот, братцы, как теперь помню, не спится мне да и только. «Что, думаю, с нашим барином?» - думаю так-то, а народ – мужики-то да работник – надели, вижу, полушубки и вон. Взяло меня сомнение. «Долго ли, думаю, до греха?», разбудил кучера, оделись, сели опять на лошадей и поехали. Плутали-плутали, искали-искали – ничего; а стало в ту пору как будто маленько светать. Вот, братцы, подъезжаем мы как словно к овражку, глядь – человек лежит, а рядом с ним другой; еще проехали – третий. Что за диковинка! Мы кричать. Откликнулись и нам, и голос – словно барина. Смотрим, а он и выходит из овражка. Кибитку замело почти до верху, не видать. – «Вот, - говорит, - меня ограбили всего как есть и деньги все взяли». Господи, Иисусе! - думаем, вот не было напасти. «Пришли, - говорит, - три человека». Батюшка, да не те ли? - говорим. Пошли. Что ж бы вы думали, братцы, ведь те и были, те самые, у кого мы ночевали; и деньги барские в руках у них, и вещи все, все как есть сполна; а сами замерзли, разбойники! Вот уж подлинно Господь не попустил!

Чрез это почти дело я и кучер получили вольную. Приехали в Москву; меня и взяло опять раздумье, то есть опять, примерно сказать, стало манить меня на прежнюю жизнь. Написал я к Маше о новом своем счастье и получил ответ: слава Богу, здорова и меня помнит. Были у меня в ту пору кое-какие деньжонки; дай, думаю, схожу, посмотрю, что делает. И совсем было собрался, как вдруг в Москву приезжает Вейнерт - помните, старый мой хозяин. Так и сяк, звать меня – и сманил. Театр был построен у него огромнейший, вся Москва, бывало, туда сходилась, все господа. Кажется, все лето пробыл я у него; жалованье получал хорошее: на мой пай пришлось запрятать рублей четыреста. Он поднял театр и поехал в Петербург, а я побрел на покой отыскивать Машу. Ну и отыскал. А там пошел отыскивать место, да вот и напал случайно на Карачаева. Вот таким-то порядком и привелось к вам ездить, привелось повстречаться опять с Глафирой Львовной... Охо-хо! - прибавил Иван, посылая многозначительный взгляд подруге своей юности, - наскучило толкаться по свету, братцы; хочется пристроиться, зажить домком. Вот, думаю, и сам как-нибудь устроюсь; хочу списаться кой с кем да завести свой балаган в губернском городе. Город славный; ярмарка бывает большая; губернские выборы каждые три года. Много повидал всего, везде перебывал – надоело. Человек в моей бродяжнической жизни – что непокрытая вода... Всего перебывало, и худого более, чем хорошего» - весело заключил Иван.

Едва только он успел кончить свой рассказ, как в людскую вбежал лакей и возвестил, что господа готовятся идти ужинать. Это обстоятельство прекратило тотчас же вечеринку. Распростившись с хозяином и поблагодарив за радушный прием, гости вышли из каморки. В людской все уже было темно и тихо. Свет луны, проникавший в окно, позволял, однако ж, ясно различать Калину, спавшего подле своей работы, обвернутой простынею и прислоненной к стенке. Окинув веселым взглядом старого маляра, Иван и его возлюбленная покинули людскую, и долго еще потом можно их было видеть гулявших при свете месяца, по пустынным и тихим аллеям барского сада.

IX.
Поездка в Горшков. - Новые лица. - Ночное приключение е чувствительным Васильковым

Всевозможные часы, находившиеся во владении Ханских Прудов, начиная с огромных стенных часов, висевших в прихожей и заключенных в исполинский деревянный футляр, который скрывал механизм их и, сверх того, два кирпича, игравшие роль гирь и приводившие механизм в движение, не выключая прадедовских солнечных часов, воздвигнутых в конце сада на полусгнившем дубовом цоколе, обросшем

непроходимою травяной чащей, и кончая крошечными карманными часиками Лизаветы Семеновны, с эмалевою незабудкою на спинке, подаренными ей девять лет тому назад, когда она была еще невестой – все эти часы показывали полдень (и какой полдень! светлый, теплый майский полдень!), когда Аристарх Федорович, распростившись с домашними и пожав руку гостям, не забыв даже туманного Карачаева, вышел на парадное крыльцо в сопровождении Василькова.

На этот раз на лице Порфирия Павловича не было заметно малейшого следа меланхолии: каждая черта прыгала от радости, глаза горели нетерпением и, казалось, хотели выскочить из своих впадин, покатиться по дороге и опередить лошадей.

Он принужден был, однако ж, укротить порывы страстей своих и выждать с подобающим смирением, пока Аристарх Федорович подвергнет окончательному осмотру экипаж, лошадей и кучера, давным-давно стоявших у подъезда. Предметы наблюдательности Балахнова представляли, в самом деле, большой интерес: коляска была глубокая, выстеганная внутри шелковой красной материей и украшенная по бокам, на дверцах, золотыми вензелями; четверня (отличная четверня караковых) могла возбудить зависть любого коннозаводчика. Но всего замечательнее, по-моему, был кучер. Представьте себе красавчика, молодчика лет двадцати пяти, в голубом армяке, с бесчисленным множеством складок назади, перетянутых золотым кушаком. На голове его с синеватым подбритым затылком воздвигалась коротенькая черная шляпа с выворотом, или взломом, как говорится, украшенная на боку павлиньим пером. Он сидел залихватски на лакированных своих козлах и, вытянув в одну линию вожжи, казалось, ждал только приказания, чтоб умчать господ своих с быстротою вихря.

Аристарх Федорович, как уже известно, любил, чтоб все было у него парадно и пышно; особенно держался он этого правила – очевидно, внушенного чувством собственного достоинства – при выездах. В этих случаях изменялся даже костюм его: небесного цвета венгерка уступала место черному сюртуку с большими плоскими лацканами; под воротнички «à l'enfant » подпускался тугой, стоячий, волосяной галстук с пряжкою назади, который естественным образом должен был придавать своему владельцу еще более сановитости.

В то время как производился осмотр вышеупомянутых предметов, несчастный, волнуемый страстями Васильков подошел к собственному своему экипажу, легонькому тарантасу, запряженному тремя клячами, стоявшими теперь позади коляски Балахнова с опущенными головами и приподнятыми копытами.

Три эти клячи, тарантас и кучер, со включением табачного кисета, вышитого Кокуркиными, составляли все имущество Порфирия Павловича.

Отдав ласковое приказание кучеру, чтоб он ни под каким видом не отставал от четверки караковых, Порфирий Павлович поспешил к Балахнову, который подымался в коляску, поддерживаемый Сидором с одной стороны и целою толпою слуг с другой.

- Пошел! - сказал Аристарх Федорович, когда Сидор уселся на козлах подле кучера, а Васильков поместился внутри кареты.

- Эх вы, дружки-голубчики!.. Эх!., эх!., - крикнул молодчик-кучер, проведя кнутом по воздуху и заломив в то же время набекрень свою шляпу.

Коляска полетела, как перо.

- Песню! - лаконически вымолвил Аристарх Федорович, величаво развалившись на подушках экипажа. Кучер, приготовившийся заранее к такому приказанию, немедленно затянул пронзительным дискантом:

Не бе-е-е-лы-и-та-а! а-а-а!
Ах, не белы-ы-ии-и-снег-и-и!-и-и.

Выезды Аристарха Федоровича сопровождались всегда звуками русской песни – такой уж был заведен порядок. Бесконечно вьющаяся и пропадающая дорога,

размашистый простор полей и пажитей, и посреди всего этого быстро несущаяся четверка караковых – все это, сливаясь вместе, наполняло сердце Аристарха Федоровича веселым, безмятежным чувством. Он был необыкновенно в духе и не переставал разговаривать с Васильковым. Изредка лишь чело его как будто омрачалось, глаза задумчиво устремлялись в бесконечную даль горизонта; но все это происходило не долее минуты; он опускал руку на плечо своего собеседника, произносил с легким оттенком чувствительности: - «Природа, природа! Щедро, бескорыстно рассыпаешь ты дары свои пред человеком, и только люди, люди одни омрачают себя своими делами...» и успокоенный, вероятно, живым сочувствием Василькова, который, поднимая восторженно глаза, отвечал всякий раз: «Да, ничего не может быть лучше природы!» - Аристарх Федорович снова принимал веселый вид и снова удостоивал беседой своего спутника.

Время прошло таким образом почти незаметно.

Мало-помалу горизонт оживился: показалось несколько кузниц; из-за кузниц выступили дома, сначала маленькие, потом больше и больше; потом выставился шест с сушившимися мотками синей пряжи; там лоток с вареными грушами и гречишниками, далее подводы с мукою, мужиками и бабами; а там уж коляска Аристарха Федоровича запрыгала по мостовой города.

Город Горшков славился с незапамятных времен горшечным производством, отчего и получил свое название. Он разделялся на две равные части широкою мощеною улицею, прозывавшеюся Никольской; с середины Никольской шли вправо и влево две другие улицы: одна Дворянская, другая – Московская. На каждой из этих улиц находилось средним числом по три каменных дома, и в каждом доме помещалось средним числом по одному семейству, и все эти семейства, отличавшиеся любознательностью и любовью к литературе, согласились выписывать общими силами один экземпляр одного из лучших наших журналов ежегодно. Жители этих каменных домов, соединенные теснейшими узами дружбы, проводили время, посещая друг друга, катались верхом, ездили к соседям, зимою спускались на замороженных лодках с горы на реку, при громких единодушных рукоплесканиях народа, и жили, вообще, очень весело.

Когда коляска Аристарха Федоровича въехала на площадку, обрамленную справа шестью лавками гостиного двора, а слева красным кирпичным зданием, под воротами которого продавалось железо, Васильков попросил позволения остановиться.

Он объявил, что ему необходимо было заглянуть к аптекарю, к почтмейстеру и еще к другим лицам, с которыми находился всегда в самых дружеских отношениях.

- Скажи им, пожалуй, что и я сюда приехал... что и я здесь! - проговорил Аристарх Федорович как-то рассеянно и, по-видимому, не отдавая себе ясного отчета в произнесенных им словах.

Порфирий Павлович, озадаченный выходкою Балахнова, который мог усомниться на минуту в его преданности, объявил тотчас же, что известит о нем по всему городу, выпрыгнул из коляски, сел в свой собственный тарантас и повернул в Дворянскую улицу.

Аристарх Федорович поехал прямо по Никольской.

Вскоре, то есть очень скоро, минут этак через пять, коляска очутилась на большой площади. Тут собственно оканчивался уже город; непосредственно после площади начинался крутой берег, спускавшийся неправильными уступами к широкой реке, извивавшейся на беспредельное пространство между сосновыми лесами и песчаными отмелями. Самая площадь, покрытая сочной зеленой травой, перерезывалась множеством тропинок, тоненьких, как нитки; тут можно было встретить по утрам толпу мальчишек, игравших в бабки; во всякое время дня встречались тучные коровы, принадлежавшие обывателям города. Площадь граничила бесконечным рядом серых заборов, обросших полынью и крапивой; прямо против Никольской подымалось прекрасное новое каменное здание, выбеленное мелом, и светилось на солнце, как очарованный замок, привлекая невольно взоры.

Туда-то приказал Аристарх Федорович ехать коляске. Глаза его не без удовольствия встретили старую карету Окатова, стоявшую в стороне от подъезда; удовольствие сменилось радостным чувством, когда навстречу ему выбежали два гайдука, неразлучные спутники Николая Степановича во время его странствований.

Николай Степанович, нужно заметить, ничего так не боялся, как дорог и могущих произойти на них во всякую минуту несчастий. Он не переставал храбриться, не переставал задирать голову и ерошить пучки седых завитков, торчавших на висках, пока твердо уверен был, что не предстояло никакой опасности; но как только гремел гром, или попадалась на проселке канавка, душа его мгновенно проникалась паническим страхом. В первом случае он зарывался в подушки, наваливал на себя перины, приказывал опустить шторы и лежал пластом, неподвижен; во втором случае выходил из кареты и, какая бы ни стояла погода, шел пешком несколько верст, тщательно осматривая дорогу. Особенный страх наводила на него всегда водяная стихия; каждый раз, как судьба приводила ему переезжать на пароме, он считал жизнь свою в неминуемой опасности.

Выпрыгнув из коляски, Аристарх Федорович поднялся по лестнице, отдал пальто и, стряхнув с себя пыль, вступил в большую желтую комнату, в которой сидело за разными столами человек двадцать.

- Здравствуйте! - сказал Аристарх Федорович, направляясь прямо к противоположной двери.

- Желаем здравствовать! - раздалось в желтой комнате.

Отворив дверь, Аристарх Федорович очутился в небольшой комнате серо-молочного цвета; тут, против стола, сидели Николай Степанович и еще другой весьма толстый господин.

Господин этот был так толст, что, сколько бы ни нагибался, никогда не мог бы увидеть кончиков сапогов; без посторонней помощи он также не в состоянии был бы вынуть платок из заднего кармана, и поэтому, вероятно, держал его всегда вместе с табакеркою в левой руке. Голова его, без малейшего признака какой-нибудь растительности на поверхности, лоснилась, как серебряный чайник, а нос – длинный и отвислый, покрытый свинцовым матом, привлекательно краснел, как дозревающая слива: по обеим сторонам этого аппетитного носа красовались два круглые глаза, но из них особенно был замечателен только левый, не перестававший моргать и производить разные конвульсивные прыжки – обстоятельство, заставлявшее этого господина подымать каждый раз руку и прижимать указательный палец к причудливому оку. Нил Степанович Лукьянов (так звали этого толстого господина) был и весельчак, и умница, точь-в-точь как покойный Йорик, соединявший в себе, как известно, в совершенстве оба эти достоинства. Он любил до страсти анекдоты, поговорки, прибаутки и смотрел на жизнь с философской точки. - «Много ли нужно для счастья человека?..» - говорил он обыкновенно и затем заливался добродушным, веселым смехом.

- Батюшки-светы! Кого я вижу! Аристарх Федорыч! Вот говорят: в один день по две радости не живет! - воскликнул Нил Степанович, протягивая обе руки вошедшему.

Аристарх Федорович пожал руки, улыбнулся и тотчас же обратился к Окатову:

- Здравствуй! - сказал Окатов. - Напрасно только приехали! - промолвил он после некоторого молчания.

- Как так? Что такое? - спросил Аристарх Федорович, обнаруживая крайнее беспокойство.

Он положил шляпу на стол и поспешно присоединился к двум собеседникам.

- Да так же! Ха-ха-ха! - отвечал Нил Степанович. - Что ты будешь делать! Раздумал, отложил до другого случая.

- Фу ты, пропасть, как это неприятно! - произнес Аристарх Федорович, хмуря лоб и устремляя вопросительный взгляд на Окатова.

Но Окатов сидел неподвижно и смотрел на соседнее окно.

- Что ж вы прикажете делать! На грех мастера нет, хе-хе-хе! - разразился Лукьянов. - То ли еще было раз, я вам скажу, с покойным моим шурином, то есть сыном отца моей жены. Раз приезжает он…

Но Лукьянов не договорил, изменился в лице, зашевелил беспокойно бровями и начал прижимать пальцем глаз.

- На грех мастера нет, хе-хе-хе! - продолжал он, снова повеселев, - не чаешь, где беда, где напасти!.. А я вот что вам скажу, почтеннейший и премногоуважаемый Аристарх Федорович, поживите-ка у нас, погостите...

- Вот славно: ждать! Когда тут ждать? К тому ж мне и некогда! - возразил с досадою Балахнов, принимаясь расхаживать по комнате.

- И мне тоже некогда! - решительно проговорил Окатов, продолжая смотреть на окно.

- Ну, вот, видите ли? - подхватил Аристарх Федорович, останавливаясь и запальчиво указывая на Окатова.

- Постойте же в таком случае, - сказал примирительным голосом Лукьянов, - сам себе досадишь, но друга не победишь! Чтоб вам не беспокоиться и не ездить по пустому, мы расспросим обстоятельно, с чувством, с толком, с расстановкой, хе-хе-хе... кто бишь это говорит?.. Да, расспросим того и другого.

- Что тут расспрашивать! - произнес Аристарх Федорович, принимаясь снова расхаживать по комнате. - Надо сегодня покончить, вот и все тут.

- Не сердись, матка, все будет гладко! - сказал Лукьянов, и снова левый глаз его запрыгал и затрясся, будто кто-то дергал его сзади за ниточку. - Все будет гладко, хе-хе-хе! все устроим... А покуда, послушайте, господа! - воскликнул веселый Лукьянов, поворачиваясь к собеседникам, - право, погостите; вечерком милости просим в мой приют, к безвласому старцу, «их иссушила грусть и ветер их разнес!» - подхватил он, гладя себя по голове и заливаясь хохотом. - Составим партийку и не заметим, как пройдет золотое время... право-ну!.. Вот я скажу, то же самое было раз с покойным моим шурином, то есть сыном отца моей жены. Раз...

- Право нельзя, почтеннейший Нил Степаныч; в другое время душевно бы рад, но теперь, право, не могу, - перебил нетерпеливо расстроенным голосом Аристарх Федорович, пожимая руку Лукьянова и бросая беспокойный взгляд на Окатова, который сидел в креслах, глядел в окно и гладил раздвоенный свой подбородок, что означало всегда дурное расположение его духа.

- Э-эх, господа! А я только что замышлял, ухищрялся, метил просить вас на чашку чая, да на робертик... Ну, как быть! вольному воля, говорится, хе-хе-хе!

Аристарх Федорович остановился неожиданно против Окатова.

- Итак, на чем же мы остановились? Что ты решил, любезный Николай Степаныч? - сказал он, усаживаясь против него и придавая своему голосу самую мягкую, чарующую интонацию, которая, однако ж, что-то плохо подействовала на собеседника.

- Я еду, - отвечал коротко и сухо Николай Степанович.

- Но, послушай, душа моя, надо же покончить чем-нибудь наше дело, - подхватил Аристарх Федорович, обсахаривая до приторности голос. - Ба! да вот что мы сделаем! (тут лицо Балахнова засияло, как бы отражая яркую, блестящую мысль, зародившуюся в голове его). Вот что мы сделаем, душа моя! Чем тебе ездить сюда лишний раз, - я знаю, ты не любишь наших дорог, - пришли сюда в субботу человека с доверенностью от твоего имени на совершение купчей, поручи доверенность... да вот хоть Нилу Степанычу; я уверен, он не откажется?..

- Помилуйте, рад всей душой; для милого дружка и сережка из ушка, говорится, хе-хе-хе! Что и толковать об этом! - возразил Лукьянов, протягивая с готовностью обе руки.

- Ну, вот видишь ли, душа моя! Это избавит тебя от лишнего беспокойства... Итак, я считаю дело наше оконченным... Теперь остается только вот завершить, как говорится, - примолвил Аристарх Федорович, поспешно вынимая бумажник.

- Добрый конец всему венец. Дружба дружбой, а денежка сама по себе... хе-хе-хе! - проговорил Лукьянов.

- Да, - подхватил Балахнов, - вот тебе, душа моя, задаток, а остальные, как сказано, чрез две недели, - заключил он, протягивая ассигнации.

- Не надо, после! - произнес лаконически Окатов.

- Нет, уж сделай милость, душа моя, - сказал Аристарх Федорович, утрачивая окончательно свою сановитость, - прошу тебя... Нил Степаныч прекрасно заметил: дружба дружбой, а денежки сами по себе... Сделай милость; иначе я готов сердиться.

Окатов взял деньги, сердито сунул их в карман, приподнялся с места и сказал:

- Пора!

- А ну, пора так пора! Как знаешь, душа моя. И я поеду! - воскликнул Балахнов, радостно схватываясь за шляпу. - Прощайте, Нил Степаныч.

- Прощайте, многоуважаемый Аристарх Федорович. Итак, до субботы. Ну, уж как вы себе там хотите, а старый толстяк, - воскликнул Лукьянов, - затащит вас на роберт.

- Прощайте, - сказал отрывисто Окатов.

- Прощайте, многоуважаемый Николай Степаныч! Не поминайте лихом! До радостного свидания! - проговорил Нил Степанович, провожая гостей в желтую комнату.

Спускаясь с лестницы, Аристарх Федорович обнаружил самую нежную заботливость в отношении к Окатову: он пропустил его вперед и настоятельно потребовал даже, чтоб Николай Степанович проходил первым во все двери.

Когда усадили Окатова и коляска его тронулась с места, Аристарх Федорович приказал коляске ехать вперед, а сам пошел пешком. «Долина моя, моя и моя!» - подумал он, потирая руки. Теперь только, после волнения, испытанного им, когда дело купчей чуть было не расклеилось, почувствовал он, как дорога была ему эта долина. Отменное расположение духа тотчас же вернулось к нему; лицо его, подпертое тугим волосяным галстуком, проявило, однако ж, все признаки величавого, горделивого спокойствия, когда он вступил в Никольскую, запруженную подводами, мужиками и мещанами, которые, завидя издали приближающогося Балахнова, снимали шапки и кланялись.

Достигнув площадки, заключавшейся между гостиным двором и железною лавкою, Аристарх Федорович столкнулся нос к носу с Васильковым, который только что распрощался с аптекарем.

- А! Ну, рассказывай, братец, рассказывай: кого видел, у кого был, что поделывал, - добродушно сказал Балахнов, принимаясь трепать Порфирия Павловича по плечу с видом покровительства.

- Только что от Карла Готлибыча, нашего аптекаря. Ах, Аристарх Федорыч, вы не поверите, как все обрадовались, когда я объявил о своем благополучии, точно родные! - отвечал Васильков.

- Что ж, ты говорил им о том, что я приехал?

- Говорил, Аристарх Федорович.

- Что ж они?

- Как жаль, говорят, что Аристарх Федорыч так редко посещает Горшков! Вы не поверите, какие добрые люди! - продолжал Васильков, между тем как Балахнов выступал величаво вперед и рассеянно глядел в толпу, наблюдая, однако ж, очень внимательно, какой эффект производит его появление посреди города. - Вы не поверите, какие добрые, радушные люди!..

Но тут Порфирий Павлович почувствовал, что кто-то потянул его сзади за венгерку, и остановился. Обернувшись, он увидел совершенно незнакомого господина, который стоял, приподняв фуражку. Лицо незнакомца отличалось необыкновенною белизною, точно так же, как зубы и шея, повязанная черной косынкой; румянец играл во всю полную его щеку; правильное красивое лицо его, украшенное усиками и белокурыми локонами по бокам, нисколько не соответствовало красным рукам и особенно одежде: на нем был

желтый нанковый сюртучок, очень поношенный, и необъятно широкие шаровары такого же цвета и материи. В левой руке держал он хлыстик.

Порфирий Павлович приподнял шляпу и вопросительно заморгал глазами.

- Извините, милостивый государь, непостижимую дерзость мою.., - заговорил отрывисто незнакомец, устремляя на Василькова пару бойких серых глаз, выражавших самоуверенность, смешанную с изрядной долей наглости. - Извините... осмелюсь спросить... вы служите в землемерах?

- Никак нет-с, - отвечал Васильков, обращая на него удивленные глаза.

- Извините... осмелюсь спросить... с кем изволили сейчас идти?

- Балахнов, - отвечал Порфирий Павлович.

- Балахнов... Игнатий Матвеевич?

- Нет, Аристарх Федорыч.

- Честь имею рекомендоваться, - сказал незнакомец, снова приподымая фуражку, - Попельковский... Ардалион Александрыч... обстоятельства... жду наследства... с кем имею честь говорить?

Васильков удовлетворил его ответом.

- Очень рад познакомиться, - прибавил красавец, быстро схватывая руку собеседника. - Много потерпел... несчастие... обстоятельства...

- Что же прикажете? - спросил с замешательством Порфирий Павлович.

Ардалион Александрович выпрямился во весь рост, выставил правую ногу вперед и завертел хлыстиком.

- Насчет денежных обстоятельств, - проговорил он, слегка замявшись. - Фортуна... скупая тетка... три миллиона наследства... очень буду благодарен...

- Я, право, не знаю, - застенчиво сказал Васильков, - у меня теперь нет-с... Вот если вам угодно обратиться к Аристарху Федорычу, - прибавил он, указывая на Балахнова, величаво выступавшего в отдалении.

- Очень рад... много обязан, - бойко отвечал Попельковский, направляясь тотчас же в ту сторону.

Ардалион Александрович без дальнейших церемоний взял под руку Василькова и, размахивая во все стороны хлыстиком, подвел его к Балахнову.

- Аристарх Федорыч, - сказал Порфирий Павлович, - вот господин...

- Честь имею рекомендоваться, - поспешно перебил новый знакомец, приподымая снова фуражку. – Попельковский, Ардалион Александрыч... получил прекрасное воспитание...

- Что же вам угодно? - спросил Аристарх Федорович, принимая величественную осанку.

- Наслышан вашими благодеяниеми... скупая тетка... жду наследства... много потерпел неудовольствий...

- Странно!., - проговорил, улыбаясь, Аристарх Федорович.

- Так точно-с... процесс... несчастия... все проиграл!

- Хорошо, приезжайте ко мне, - произнес покровительственно Аристарх Федорович, - спросите Ханские Пруды; последний ребенок знает... Очень рад буду помочь вам.

- Чувствительно благодарен. Вы теперь куда? - осмелюсь спросить.

- В гостиницу...

- Позвольте проводить... я музыкант... приятная беседа...

- Извините, теперь некогда... Приезжайте в Ханские Пруды; очень буду рад, - отвечал Балахнов, направляясь с Васильковым к постоялому двору - длинному деревянному дому на каменном фундаменте, с мучным лабазом посредине.

- До приятного свидания! - крикнул Попельковский, и вдруг, как бы опомнившись, побежал за Васильковым и снова ухватил его за венгерку. - Виноват, сказал он, наклоняясь к его уху, - нет ли у вас сигарки, только фабрики Белобородова? Я других не курю...

- К сожалению, нет-с, - отвечал Порфирий Павлович, пожимая плечами.

- На нет и суда нет. Жаль... Прощайте; до свидания; очень благодарен!

Как только Васильков исчез в воротах постоялого двора, Попельковский надел набекрень фуражку, засвистал какую-то трель, подперся молодчиком, закинул правую ногу за левую и принялся рисоваться на улице.

Балахнов и Васильков направились к постоялому двору. Там встретил их хозяин – толстый пожилой мещанин в синей чуйке.

- Здравствуй, Федот Васильев, - ласково говорил Балахнов, взбираясь как бы нехотя по шатким ступенькам. - Ну, что? Как дела? А?

- Живем, благодаря Господа, сударь, - отвечал Федот, кланяясь.

- Нумера порожние?

- Три верхние-с; нижние все заняты.

- Ну, вот, что не дело, то не дело, Федот Васильев, - продолжал Аристарх Федорович, останавливаясь в сенях и указывая ему на дырявую кровлю.- Э-э! Сколько раз говорил я тебе: почини... нет! Пойдет дождь, все сени вымочит, да и постояльцам неприятно...

- Никак нельзя было, сударь. Я, признательно, и сам думал; всю весну, как есть, такие-то дожди шли, хошь бы денек выбрался для работы...

- Ну, теперь, братец, стоит ясная погода; теперь почини.

- Да что ж ее теперь-то чинить, сударь? Бог милостив; теперь не мочит пока; слава-те, Господи!..

- Эх! - сказал Аристарх Федорович, входя в узенький коридор с тремя дверьми. - Хорошо; я беру два крайние нумера. Да смотри, чтоб был отличный овес и сено... слышишь, Федот?

- Помилуйте, сударь, мы дурного не держим. Зачем держать? - с уверенностью отвечал Федот, низко поклонился и застучал пудовыми сапогами по лестнице.

Аристарх Федорович вошел в грязно-розовую комнату о двух окнах, между которыми красовалось зеленоватое зеркало, показывавшее три лица вместо одного, и девять глаз вместо двух. Рамка этого зеркала была обклеена, вероятно, в угоду проезжающим, всем, что только попалось хозяину под руку: тут виднелись верхушки с помадной банки, ярлык с пузырька, ярлык с бутылки донского, выпитой, вероятно, каким-нибудь проезжим купчиком, конфетные билетики и картинки. На одном из окон стояла бутылка с деревянным маслом, заткнутая пробкою из хлебной мякоти. В углу цеплялся кривой шкап с крошечными чашками, украшенными надписями: «в знак любви» и «в день ангела». Кроме зеркала, бутылки и шкапа, в грязно-розовой комнате находились еще: стол, выкрашенный красною краской, такого же цвета постель с одними досками, три стула и диван, обтянутый клеенкой. Диван этот отличался особенным странным свойством: днем на нем еще можно было найти отдых, несмотря на совершенное отсутствие упругости и удобства, но ночью – словно по колдовству какому – вся поверхность его проявляла жизнь и движение. Нечего и говорить, что из грязно-розовой комнаты отворялась дверь в соседний нумер, и что из соседняго нумера такая же точно дверь вела в следующую затем комнату; но не лишним будет заметить, что доски, из которых сделаны были двери, снабжены были от предусмотрительной природы бесчисленным множеством сучков, и что сучки, расположенные посередине этих дверей, оказались в отсутствии в самый день открытия гостиницы, после проезда первого же путешественника. Дыры в дверях, точно так же, как писание на стенах, доставляли сначала много хлопот Федоту Васильеву: он затыкал отверстия бумажными пробками, стены протирал добела ладонью; но убедившись, вероятно, что труды его пропадали даром, махнул рукой и обратил свою деятельность на другие хозяйственно пункты.

Тем временем как Аристарх Федорович занимался сниманием галстука, раскладыванием бумажника и часов, а Порфирий Павлович глазел по стенам, любознательно всматриваясь в стишки и путевые заметки, нацарапанные ногтем или

написанные карандашом, Сидор Матвеевич, камердинер, успел уже вынуть из барского сака разные туалетные принадлежности, обвернул белою простынею диван, положил в ногах халат, в головах пуховую подушку, показывая этим, что ему известны были в совершенстве все тонкости камердинерского дела.

- А-а-аа! - заголосил Аристарх Федорович, зевая и выпрямляя спину, - что-то поясница заломила... ух! Эй, Порфирий Павлович, что ты там делаешь?

Васильков, только что прочитавший какой-то стишок, от которого вся кровь бросилась ему в голову, повернул к Балахнову лицо свое, покрытое краской стыдливости, и пробормотал, потупляя глаза, что это ничего, так, что тут такие вещи, словом - сказать нельзя...

Трудно было сыскать человека, который был бы стыдливее Порфирия Павловича. Это происходило, вероятно, от привычки его находиться постоянно в кругу прекрасного пола. Васильков любил женское общество и тщательно избегал мужского; последнее как-то не соответствовало нежным и чувствительным качествам души его.

- Ну, вот, что ты в самом деле за красная дева! - произнес Аристарх Федорович, садясь на диван и подавая Сидору правый сапог. - Ну-ка, ну! Вот там, наверху, что-то написано. Прочти, что это такое - читай! - прибавил он, подавая Сидору другой сапог.

- Тут ничего, Аристарх Федорыч, просто написано: «Здесь квартировал Василий Аматов с шурином и племянником».

- Очень нужно знать, что он квартировал здесь со своим шурином и племянником! - произнес Аристарх Федорович, забыв, вероятно, что сам не пропускал случая извещать на станционных стенах о своем проезде.- Ну, ступай, Сидор. Чтоб лошади были накормлены. В восемь часов разбуди; да смотри, самовар приготовь! - промолвил он, ложась на диван. - И тебе, Порфирий Павлыч, советую порасправить кости. Следующая комната в твоем полном распоряжении.

- Нет, Аристарх Федорыч, мне надо еще кой-куда зайти... Почтмейстер просил убедительно...

- Ну, как знаешь. Завтра в восемь часов едем и прямо к невесте: я сказал, что устрою, уговорю старуху отдать тебе если не все приданое, то, но крайней мере, снабдить деньжонками на свадебные расходы; сказал – и сделаю.

- Ах, Аристарх Федорыч не знаю, как благодарить вас... вы мой благодетель! Моя Антониночка поблагодарит вас...

- Не за что, не за что. Рад всегда протянуть руку помощи, любезный: это обязанность, долг каждого честного человека...

Аристарх Федорович повернулся на другой бок и закрыл глаза. Порфирий Павлович схватил шляпу и вышел потихоньку из комнаты.

Должно полагать, что почтмейстер, его жена, дети, родня и вообще все семейство были люди очень радушные, которым если случалось залучить к себе гостя, так уж они держали его до тех пор, пока сами видели, наконец, что гостю мочи не было бороться долее со сном и зевотой. Такое заключение явствует из того, что Порфирий Павлович пришел на постоялый двор около полуночи.

Секунду спустя явился Софрон, батрак постоялого двора, с зажженным огарком и начал подыматься по лестнице, преследуемый Васильковым.

- Вы, барин, потише, - сказал Софрон, когда оба они очутились в коридоре, - тут подле вас господа остановились.

- Какие господа? - шепотом спросил Порфирий Павлович.

- Барыни.

- Какие барыни?

- А кто их знает! Две какие-то молодые...

Порфирий Павлович затаил дыхание, сжал губы, наклонил голову и, поднявшись на цыпочки, стал подбираться к своей двери, останавливаясь и подымая руку каждый раз, как

скрипнет сапог или половая доска. Он взял свечку, отпустил Софрона и бережно, чуть-чуть касаясь пола, вошел в свой нумер.

Первым движением Порфирия Павловича было поставить свечу подле табачного кисета, подобраться вдоль стенки и приложить глаз на то место двери, где находился когда-то сучок. Сердце его забило страшную тревогу, когда он увидел часть освещенной стены и две женские тени. Следя жарким взором за движением двух теней, он ясно заключил, что соседки убирали волосы и готовились к отдыху. Васильков украдкою подобрался к столу и задул свечку. Такая проделка не принесла, однако ж, никакого результата хитрому Порфирию Павловичу, который хотел этим способом отстранить всякое подозрение о своем присутствии и наслаждаться посреди темноты наблюдением в соседний светлый нумер: когда он подошел к двери, отверстия, равно как и остальные щели вдоль косяков снизу и сверху, оказались завешенными какою-то черною, непроницаемою материею.

Порфирий Павлович был влюблен без ума в свою невесту, но со всем тем, если сердце его испытало когда-нибудь досаду, так это случилось в настоящую минуту. «О, мужчины! мужчины!, - воскликнут многие чувствительные особы, - «как непостоянно ваше сердце! Верить ли после этого вашим клятвам, хранить до гробовой доски неизменное чувство, когда достаточно одного кончика постороннего, чужого платья, чтоб смутить вас и трепетом наполнить вашу душу?». Вы совершенно справедливы, милостивые государыни. И вот вам образчик, к несчастию, самый обыкновенный. Порфирий Павлович принадлежал к числу тех робких, но страшно скрытных людей, которых обдает жаром и холодом в присутствии всякой женщины без исключения. Застенчивый, любопытный, сентиментальный и приторный до бесконичности в обращении с прекрасным полом, он был совсем другой человек, когда удавалось ему прислушиваться втихомолку к сокровенным дамским разговорам или подглядывать за дамами в щелочку двери.

Оставшись в темноте, Порфирий Павлович, рассчитывая не без основания на непрочность, с какою ставятся обыкновенно перегородки постоялых дворов, принялся тщательно осматривать углы и стены, не теряя еще надежды напасть на след какой-нибудь скважинки. Увы, все было напрасно! Тогда он приложил ухо к стене, чтоб расслышать, по крайней мере, хоть говор соседок. И это ни к чему не повело: раздался только шепот, из которого невозможно было выпутать ни одного живого слова. Что ты станешь делать! С горя Порфирий Павлович набил трубку, высек огня и принялся затягиваться напропалую. Если б принять трубку за мерило времени и предположить, что каждую четверть часа нужна новая, можно утвердительно сказать, что Васильков провел добрый час в бесполезном подслушивании подле соседней стены.

Он набил пятую трубку и решился наконец успокоиться на диване.

Внезапно у соседок послышался шорох. Порфирий Павлович затаил дыхание.

- Ах, Боже мой! - произнес мелодический голос, от которого задрожали все жилки Василькова, - этот господин, кажется, заснул наконец. Что, если он оставил зажженную трубку: мы все сгорим.

- В самом деле, - отвечал другой не менее мелодический голос. - Ах, Боже мой! как бы это...

Если б в эту минуту грянули из десяти пушек под самым ухом Порфирия Павловича, он не вскочил бы с такой поспешностью на пол. Невзирая на непроницаемый мрак, он принял очаровательнейшую позу, потупил застенчиво глаза, поправил волосы и сказал нежно умилительным голосом:

- Не беспокойтесь, сударыня, я погасил трубку. Вам не предстоит никакой опасности.

- Очень вам благодарны, - отвечали за стеною.

- Помилуйте, сударыня, - подхватил, расшаркиваясь, Васильков, - долг каждого... я почел обязанностью...

Но язык прилип у него к гортани от внутреннего волнения, и он остановился.

Это обстоятельство окончательно распалило и без того уже пылкое воображение Порфирия Павловича; он ворочался с боку на бок на своем диване и не сомкнул глаз во всю ночь.

X.
Читатель знакомится с будущим семейством Порфирия Павловича

На другое утро, как только услышал Васильков, что Аристарх Федорович потянулся на своем диване и произнес несколько слов, первым его делом было броситься в его комнату и сообщить ему во всех подробностях ночное происшествие.

- Но кто же эти дамы? - спросил Балахнов.

- В том-то и штука, Аристарх Федорыч, что никто не знает, - отвечал Порфирий Павлович, вращая удивленными глазами. - Я расспрашивал хозяина, хозяйку, батрака Софрона - все говорят: первый раз видим. Кучер, с которым они приехали, ушел с утра на ярмарку, вернулся пьян, и я не добился от него никакого толку.

- Странно! - вымолвил Аристарх Федорович, приподымаясь на диване. - И ты, Сидор, не знаешь? - промолвил он, обращаясь к камердинеру.

- Никак нет-с. Не приводилось даже встречать.

- Странно! - повторил Балахнов, принимаясь одеваться.

Обнаружив почему-то особенное внимание и заботливость к туалету, Аристарх Федорович почему-то посмотрелся лишний раз в зеркало, вошел в нумер Василькова и приказал Сидору подавать чай. В то время как приготовляли все нужное к чаю, Балахнов не переставал бросать любопытные взгляды на дверь соседнего нумера, где слышалось шипение самовара и звяканье чашек, и вдруг совершенно неожиданно подошел к Порфирию Павловичу, кашлянул и начал рассказывать ему громким, звучным голосом какую-то героическую историю о самом себе. Аристарх Федорович поминутно кашлял, возвышал голос, взглядывал на дверь и ввертывал через каждые пять слов одно французское, не обращая, по-видимому, никакого внимания на то, что Васильков не знал ни слова по-французски. Балахнов начал уже рассказывать изумленному Василькову историю своего деда, как вдруг в дверях, ведущих из номера в коридор, показалась совершенно незнакомая фигура. Фигура принадлежала дворовому человеку. То был старик с всклоченными седыми волосами, крупным носом и серыми глазами, мрачно глядевшими исподлобья; одет он был в старый зеленый сюртук, ниспадавший вплоть до сапогов.

Затворив дверь, старик отвесил короткий поклон и произнес хриплым басистым голосом:

- Барыня приказали просить вас чай кушать.

- Кого? - спросили в одно время Васильков и Балахнов.

- А что вечор-то разговаривать изволили, - отвечал старик, отвешивая новый поклон и исчезая за дверью.

- Mais allez done! Ces dames vouz font l'honneur? - произнес звучным приятным голосом Аристарх Федорович, поворачиваясь к двери и забывая опять-таки, что Васильков не знал по-французски!

- Что вы изволили сказать? - проговорил смущенный и оторопевший Порфирий Павлович.

- Ступай; ну, чего ты? - шепнул отрывисто Балахнов.

Васильков поправил дрожащею рукою волосяные свои волюты, выпрямился, застегнул венгерку, потом расстегнул ее, потом опять застегнул и, стараясь улыбнуться, вышел из номера.

- А что, милый мой, барыни твои здесь? гм... гм... - спросил он, указывая старику на дверь соседок.

- А где ж им быть-то? Сами, я чай, знаете...- отвечал старик с самым мрачным видом.

- Нет... да я так только... гм... гм... - проговорил Порфирий Павлович, расшаркиваясь и входя к соседкам.

За самоваром сидели две дамы; одной из них было лет тридцать, другой немного менее; обе были одеты в глубокий траур; лица их, длинные, желтые, соответствовали как нельзя лучше печальной одежде; в тусклых, беловатых и как будто стертых глазах не было ничего особенно замечательного.

- Извините, милостивый государь, - заговорила старшая печальным протяжным голосом, – мы решились вас побеспокоить. Вы были вчера так обязательны...

- Помилуйте, сударыня... гм... гм... обязанность каждого человека... я почел за священнейший долг, - отвечал Порфирий Павлович, снова расшаркиваясь и покручивая головою.

- Позвольте узнать, с кем имею честь говорить? - спросила заунывно младшая.

- Васильков, здешний помещик-с, - отвечал Порфирий Павлович, смиренно опуская глаза.

- Очень приятно познакомиться... - сказала старшая, подавляя вздох. - Не прикажете ли чашку чаю? Прошу покорно садиться.

- Если позволите... очень будет приятно, - пробормотал Васильков, садясь на кончик стула.

- Извините нас, милостивый государь, - начала старшая расстроенным тоном, - мы решительно никого не имеем знакомого в этом городе.

- Все нам здесь чуждо! - перебила младшая, едва сдерживая рыдание.

- Все нам здесь чуждо! - продолжала старшая, подавлял вздохи. - Я и сестра живем отсюда верст за шестьдесят.

- Позвольте спросить, сударыня, с кем имею счастье беседовать? - спросил Порфирий Павлович, кланяясь.

- Миловзоровы, - отвечала раздирающим голосом младшая. - У нас есть брат в Москве; доктор Миловзоров... может быть, вы его знаете?..

- Нет, сударыня, не имею удовольствие, - отвечал Васильков, пожимая плечами и обнаруживая искреннее сожаление.

- Мы приехали сюда на ярмарку для разных покупок и, видя вашу обязательность, милостивый государь, решились просить вас... решились побеспокоить... надеюсь, вы не откажете просьбе двух дам, для которых все здесь чуждо...

- Помилуйте, сударыня, все, что вам будет угодно... рад душевно... это моя обязанность...

- Вот видите ли, - сказала с сердобольным умилением старшая, устремляя заплаканные глаза на Василькова, который поспешил выразить на лице своем все признаки живейшего участия, - видите ли, нам понадобилось купить лошадей; мы решительно, как женщины, не знаем этого дела и желали бы, видя вашу обязательность, чтоб вы, милостивый государь, помогли нам сделать эту покупку, если это только вас не обеспокоит...

- Сударыня! - воскликнул Порфирий Павлович, взбивая пряди своих волос, - если только это, извольте приказывать! Моя обязанность... Притом, служив в кавалерии, я хорошо знаю эту часть; я далее бывал ремонтром и в то время закупал для полка лошадей...

- Ах, как мы рады! как нам приятно это слышать! - сказали меланхолически обе дамы. - Итак, вы позволите просить вас пойти с нами на ярмарку?...

- С величайшим наслаждением готов служить вам, сударыни. Извольте одеваться; сию секунду явлюсь, - произнес Порфирий Павлович, расшаркиваясь и кидаясь со всех ног в коридор.

Ои вбежал в свой нумер, отыскал шляпу, юркнул в комнату Аристарха Федоровича, шепнул ему восторженно на ухо: «Миловзоровы!» - и, не дожидаясь возражения, пустился

догонять дам, которые спускались уже с лестницы. Заунывные барыни Миловзоровы и спутник их, любезный, услужливый Васильков пробыли недолго на ярмарке: благодаря заботливости Василькова, вскоре найдены были две буланые кобылицы отличнейшей породы – так, по крайней мере, утверждали единодушно барышники, цыгане и коновалы, налетевшие со всех сторон, как саранча, на новых покупателей. Дамы сказали, что буланая масть им очень понравилась и изъявили желание, чтоб Васильков сделал окончательный приговор касательно доброкачественности предлагаемых животных. Васильков, как каждый себе представит, недолго заставил себя дожидаться; он сунул шляпу ближайшему цыгану, засучил рукава и принялся обходить лошадей, тщательно потрепал их по холке, посмотрел им в зубы, подергал за хвост, пощупал ноги и обнаружил притом такую опытность и знание дела, что обе дамы не могли надивиться, как господин, обладающий такими глубокими сведениями, не навсегда остался ремонтером. Окончив осмотр, Порфирий Павлович объявил, что лошади добрые; дамы вынули деньги и спросили хозяина.

- Нет-с, сударыня, позвольте, - сказал Васильков с очаровательной улыбкой, - у нас, кавалеристов и коннозаводчиков, на этот счет свой особый обычай, извольте видеть... - Тут Порфирий Павлович взял деньги и передал их из полы в полу бывшему владельцу буланых. - Дело кончено! Лошади ваши! Веди их за нами! - заключил он, махнув рукою в толпу.

- Ах, как мы вам благодарны, милостивый государь, - печально сказала старшая Миловзорова, - надеюсь, что мы будем иметь удовольствие вас видеть у себя?.. Мы живем верст шестьдесят всего отсюда, по проселочной дороге... спросите сельцо Склепино, Гробово тоже... Нам будет очень приятно...

- Сударыня, я буду совершенно счастлив... и позвольте уж мне в таком случае приехать к вам с молодою женою.

- Вы женитесь? - спросила сквозь слезы младшая.

- Через месяц, сударыня, - восторженно отвечал Порфирий Павлович.

Рассуждая таким образом, они очутились вскоре под воротами постоялого двора. Увидев коляску Аристарха Федоровича, совсем уже готовую к отъезду, Васильков проводил барынь до нумера и поспешил с ними проститься.

- Пора! Пора! - сказал Балахнов, выходя навстречу своему приятелю. - Скоро двенадцать часов. Eh bien, avez vous rempli les desirs de ces dames? - прибавил он, выравниваясь с дверью соседок.

- Что вы изволили сказать? - спросил Васильков, укладывая кисет и трубку в боковые карманы.

- Нет, так, ничего... - отвечал Аристарх Федорович, выходя на лестницу.

На крыльце он был встречен Федотом Васильевым, его женою, детьми и даже батраком Софроном, которые, завидев еще издали Балахнова, принялись кланяться и воссылать искренние мольбы о сохранении его в добром здравии.

- Благодарю! - произнес владетель Ханских Прудов, усаживаясь в голубую коляску.

Минуту спустя коляска и позади нее тарантас Василькова покатили к шлагбауму.

- К Фанагории Петровне! - крикнул Балахнов. - Ну, кто ж эти дамы, рассказывай! - промолвил он, обращаясь нетерпеливо к своему спутнику.

- Ах, премилые, преочаровательные и прелюбезные дамы! - воскликнул спутник, потряхивая головой.

- Миловзоровы... Миловзоровы... Я что-то, однако ж, не помню... Знают ли они меня, по крайней мере?.. Ты им говорил, с кем приехал?

- Говорил, Аристарх Федорыч, - краснея, пробормотал Васильков.

- Что ж они?

- Они говорят, что не имели счастия слышать... Впрочем, - прибавил он, спохватившись, - немудрено, живут за шестьдесят верст... глушь...

- Так, мелюзга какая-нибудь, - пробормотал Аристарх Федорович, рассеянно глядя по сторонам.

«Для тебя все мелюзга! - подумал Порфирий Павлович, - а, по-моему, премилые, преинтересные, прелюбезные дамы: чрезвычайно приятное знакомство; и я с Антониночкой непременно к ним поеду».

Вскоре коляска оставила за собой город, свернула вправо, оставив влево дорогу в Ханские Пруды, и весело покатила по проселку. Порфирий Павлович закурил с видимым наслаждением трубку и принялся выгружать из сердца свои впечатления, и те, которые накопились в последние дни, и те, которые предстояло испытать в будущем. На этот раз, однако ж, Аристарх Федорович как-то неохотпо поддавался беседе: он не то что был не в духе, но видно было, что мысли его далеко блуждали за пределами настоящего разговора и заняты были совсем другим. Изредка отрывался он от своего созерцательного состояния, чтоб крикнуть: «Тише, легче, осторожней!» – когда коляска въезжала на мост или спускалась с кручи, и снова уходил весь в необъятную глубину собственной души своей.

А между тем проселок бежал вперед и вперед, как ручей по склону широкой долины; местность изменила свой плоский вид, начинала волноваться и с часу на час становилась живописнее. Там показалась березовая роща; еще минута – и коляска нырнула в густую тенистую листву, цепляясь за кусты и длинно раскинувшиеся ветви. Быстро мелькали белые стволы дерев; ярко блеснуло солнце; миновалась опушка, и снова волнистый вид зеленеющого поля со своим пахарем на отдаленной ниве, снова простор, и над ним серебряная песнь жаворонка... Любите ли вы наши проселки, почтеннейший читатель? Что до меня касается, я их очень люблю, люблю несравненно более всех возможных дорог столбовых и даже шоссейных. Правда, нет на них столбов, самоваров, ветелок и станций; никто не трудился над ними: их протоптал пешеход. Но что до этого!.. они проведут вас, если хотите, в самое сердце русской земли. Тут только увидите вы настоящее русское поле с его необъятным, манящим простором, о котором, быть может, вы прежде так сладко мечтали; тут услышите вы народную речь и русскую песню... И сладко забьется ваше сердце... Да, мне нравится наш проселок! Посмотрите, как весело вьется он, то пропадая в изумрудной чаще ярового хлеба или забиваясь в тесных рядах янтарной ржи, голубых васильков и пестрой куколи, то снова появляясь на бугорке со своими тоненькими полосками зелени...

Любопытно было бы знать, что думал обо всем этом Аристарх Федорович. Принимая в соображение задумчивую физиономию и упорную несообщительность, он, по-видимому, далеко от всего его окружавшего; он даже вздрогнул всем телом, когда собеседник его, Порфирий Павлович, не спускавший с некоторых пор глаз с горизонта, закричал:

- Грачовка! Аристарх Федорыч, Грачовка!..

И в самом деле, на горизонте показалась деревушка, бывшая целью настоящей поездки.

- Что с тобой, братец? ты меня просто испугал, успокойся! - произнес не совсем ласково Балахнов.

- Извините, Аристарх Федорович... Грачовка... ах!., знаете... извините... Антониночка!.. Грачовка!.. Может быть, она меня ждет у околицы...

Аристарх Федорович усмехнулся и отвернулся в сторону.

Но уж с той минуты Порфирий Павлович не переставал волноваться, высовываться из коляски и осматривать приближавшуюся деревушку. Восторженное состояние Василькова усиливалось с каждым поворотом колеса и, несмотря на то, что у околицы никого не оказалось, движения его приняли размеры самой необузданной радости, когда коляска въехала на улицу.

- Здравствуйте! Здравствуйте! - кричал он поминутно, раскланиваясь мимо проходившим мужикам, - здравствуй, Федос! ну, что, как жена, дети? здоровы? а?

Зензивей! здравствуй, Зензивей!.. Вот, Аристарх Федорыч, рекомендую вам, отличнейший плотник, что хотите сделает... Вот, если вам понадобится, и, главное, человек прекрасный, непьющий, - продолжал он, не переставая подталкивать локтем своего покровителя, который обнаруживал все более и более сановитости по мере приближение к дому.

- А что, Сидор, что? Ворот еще не видать? Нет? А? Кажется, не видать?.. - кричал Порфирий Павлович, метаясь в коляске.

Вскоре показалась красная кровля с двумя белыми трубами, и наконец выступил самый дом, старенький, слепенький, обсаженный с одного бока акациями и палисадником. Вправо тянулся луг, исполосованный полотнами, которые растягивали бабы для беленья; прямо виднелся пруд, перерезанный плотиной; далее опять луга, а за ними пашни, подымавшиеся неровными уступами к горизонту. Немного погодя коляска покатила вдоль полуобвалившегося плетня, из-за которого выглядывали тесные ряды развесистых яблонь, покрытых белыми, как снег, цветами; тут же, под тенью бесконечно высокой черемухи, обсыпанной точно пухом, виднелся маленький киоск с перекосившимися колонками и полинялым голубым куполом. Глаза Порфирия Павловича, приводимые в движение припадками восторженности, готовы были, казалось, выскочить из своих впадин.

На этом дворе, обнесенном с одной стороны известным уже садом, с других – сараями, конюшнею и амбарами, появилась суета и движение, как только заслышался шум подъезжавшего экипажа.

Прежде всего из какой-то клетушки высунулась востроносая баба, с горшком в обеих руках.

- Анисья! Анисья! Дома барыня? а? Поди сюда! - крикнул Васильков.

Но вместо ответа Анисья поставила горшок наземь, подобрала юбки и пустилась со всех ног на заднее крыльцо.

Путешественники остановились у главного крыльца.

Выходя из коляски, Аристарх Федорович наткнулся на мальчишку, который, увидя чужих господ, страшно оторопел, растопырил руки, раскрыл рот и вдруг огласил двор неистовым криком.

- Мишка, Мишка, это я! - поспешно заговорил Васильков, выпрыгивая в свою очередь из коляски. - Ну, о чем? Аристарх Федорович, это сын кучера Ермолая и прачки Фетиньн. Не правда ли, славный мальчик? Сделайте милость, пожалуйте сюда, вот в эту дверь. Ах, Боже мой! Отчего же никого нет?.. Хоть бы один человек! Сюда-с, Аристарх Федорыч, - продолжал Порфирий Павлович, суетливо отворяя двери и вводя гостя в крошечную лакейскую, увешанную охотничьими снарядами.

Тут находился еще бесконечно длинный детина. Закинув обе руки за голову и вытянувшись на спине во всю длину конника, он спал глубочайшим сном. Заслышав шум, он вскочил на ноги, обвел глазами вошедших и вдруг бросился снимать с них пальто. Почти в то же время в лакейской показался управляющий – маленький, седенький человек; голова его уходила вместе с подбородком в набивной миткалевый галстук, который, в свою очередь, уходил наполовину в воротник синего неизмеримого сюртука, подметавшего пол; он заморгал на заспанного лакея, подошел к Аристарху Федоровичу, потом к Василькову и принялся обметать пыль с их платья.

- Посмотрите, Аристарх Федорыч, какие ружья, - говорил между тем Порфирий Павлович, - превосходнейшие ружья! Тут даже есть мушкетон, настоящий персидский мушкетон!.. Все это принадлежало покойному мужу Фанагории Петровны...

- Кому же ты это говоришь, любезный? - отвечал Балахнов. - Я бывал в этом доме, когда ты не знал даже о его существовании... Ведь Никита помнит, я думаю...

- Как же-с, помилуйте; часто езжать изволили, - отвечал управитель, заботливо отворяя дверь лакейской.

Войдя в залу, выбеленную мелом и обставленную кругом старинными почерневшими стульями, приезжие услышали за соседнею стеною русскую песню; несколько тоненьких, пискливых голосов тянули:

Закатись ты, солнце красное,
Ты взойди, светел месяц,
Ты свети во всю ноченьку,
Ты свети во всю темную...

- Что это? - спросил Балахнов.

- А это, сударь, изволите видеть, - отвечал управитель, - наши девки собрались, шьют приданое барышни и поют свадебные песни...

Порфирий Павлович опустил руку в карман жилета, кивнул лакею, сунул ему в ладонь целковый и шепнул на ухо: «Отдай девушкам и поблагодари их за меня!».

После этого он побежал вприпрыжку за Балахновым, который входил в гостиную.

Гостиная была маленькая и также выбелена мелом: прямо, между двумя окнами, глядевшими на киоск, находился старомодный вычурный диван; перед ним овальный стол, а по бокам, вместо крыльев, стояли два огромные кресла, выкрашенные когда-то краской небесного цвета. Налево, подле двери, ведшей в спальню и запертой в настоящую минуту, вытягивались старенькие, покоробившиеся клавикорды; направо вся стена была увешана картинами; на самом видном месте красовался в черноватой золотой раме портрет Фанагории Петровны, когда ей было еще три года: голова ребенка, у которого рот находился посредине лица и имел вид сердца, занимала большую часть холстины; оставалось самое маленькое место для ножек, обутых в красные башмаки, и для цветка, находящогося в правой руке ребенка. Под этой картиной висела другая, но только несравненно меньше; на ней изображен был куст, усеянный розанами; подле куста стоял на одной ножке длинный господин с коком в синем фраке; в одной руке держал он белую шляпу, другая рука его протягивалась к кусту и ловила двумя пальцами сидевшую на цветке бабочку. По бокам детского портрета, рядом с историей Павла и Виргинии, помещались еще две картинки, достойные внимание; обе носили одно и то же название и заключали в себе, по-видимому, общую связь. На первой была надпись: «Утро после свадьбы». Другая картина, прозывавшаяся: «Десять лет после свадьбы», – представляла даму и господина, сидевших в креслах против группы детей. Внизу было означено: «Друг мой, как мы счастливы! как милы наши дети!..».

В то время, как Балахнов рассматривал грачовскую картинную галлерею, а Порфирий Павлович суетился перед зеркалом, висевшим над диваном, за дверью спальни слышалась возня, посреди которой ясно можно было различить шум и шелест туго накрахмаленных юбок; минуту спустя все, однако ж, успокоилось; дверь отворилась, впустила даму и захлопнулась с тою же поспешностью, как дверцы на циферблатах старинных часов, которые вдруг выпустят кукушку и, мигнуть не успеешь, как уже снова захлопнутся. Но на этот раз кукушка не юркнула за циферблат! Фанагория Петровна выступила на середину гостиной и сделала очаровательнейший реверанс.

Фанагории Петровне было лет пятьдесят, но, несмотря на то, туалет ее отличался немногим от туалета на портрете, когда ей было без малого три года; красный истертый беловатый бархатный спензер обтягивал могучие ее рамена; белое кисейное платье раздуто было непомерно тугими юбками. Спензер, открытый наверху, позволял любоваться парой круглых плеч, щедро усыпанных пудрой; следы пудры еще явственнее обозначались на шее, украшенной бархатной ленточкой с бирюзовым голубком; круглое лицо ее, с двумя привлекательными акрош-керами на висках, сохраняло на щеках самый свежий румянец. Прическа ее соответствовала остальному туалету: голова, сформированная как-то угловато и самым фантастическим образом, покрыта была маленькими седоватыми завиточками, державшимися помощью шпилек и черных шнурочков. Фанагория Петровна жила вся, нужно заметить, воспоминаниями своей юности; а так как в юности была она страшною кокеткой и горела желанием пленять всех и каждого, то немудрено, что и теперь пребывала в том же настроении.

- Ах, Боже мой, Аристарх Федорыч! какой сюрррприз! - заговорила Фанагория Петровна, картавя и любезничая.

- Давно и даже очень давно собирался я к вам, любезная соседка, - сказал Балахнов, целуя ее руку, обвешанную кольцами и бронзовыми браслетами, и унося после этого поцелуя на правой щеке своей частичку роз, усыпавших щеки вдовы.

- Маменька! Здравствуйте, маменька! – я уже просил позволение называть вас этим очаровательным для меня именем – как ваше здоровье? - скороговоркою произнес Васильков, целуя протянутую руку и отпечатывая, в свою очередь, красные блики на щеках своих.

- Но скажите, как... чему обязана я вашим милым визитом, - спросила Фанагория Петровна, ломаясь и бросая томную улыбку Аристарху Федоровичу.

- А вот этот молодец доставляет мне нынче удовольствие вас видеть, - отвечал Балахнов, указывая на Василькова с игривою любезностью самого светского свойства.

- О, милый, милый! благодарррю тебя! - пролепетала Фанагория Петровна, вторично протягивая руку Василькову.

- Но, позвольте, maman, я не вижу, где же...

- Невеста? - перебила будущая тёща. - О-о! - прибавила она, лукаво грозя ему пальцем и увлекая в то же время Аристарха Федоровича.

Она усадила его подле себя на диване, поправила голубка и закричала тоненьким голоском:

- Тоничка! Антинька! Анция! Жених приехал. Да кто там? Девушка, девка! Скажите Антонине Васильевне, чтоб вышла. Жених приехал, жених, жених!..

С последними словами в гостиной появилась барышня лет двадцати, зачесанная по-китайски и очень недурная собою: черные, живые глазки ее бегали во все стороны и обещали все, что угодно, кроме, однако ж, тишины и спокойствия в семейном быту. Антониночка была столько же бледна, жидка и тщедушна, сколько матушка ее была сильна, крепка и могуча. Она бойко подошла к дивану, присела перед Балахновым, потом обернулась к Василькову и ласково кивнула ему головкой.

- Что ж вы? Так ли встречаются жених и невеста? Ах, Боже мой!.. Анция, Порфирий! - пролепетала с укоризною Фанагория Петровна.

Порфирий Павлович оторопел, вспыхнул, сделал шаг вперед, чтоб поцеловать невесту, но та отвернула голову, и он окончательно растерялся.

- Да поцелуйтесь же! Ах, Боже мой! теперь это уже можно... Антония, да что ж это такое в самом деле? Порррфирий Павлыч!

- На месте Порфирия Павловича я не заставил бы просить себя, - с любезностью сказал Аристарх Федорович.

Протянув жениху бледную свою щечку, барышня села на стул и принялась рассеянно смотреть в сад. Васильков поспешил занять соседний стул, взял руку невесты и, не будучи в состоянии произнести слово от полноты душевного восторга, страстно устремил на нее глаза свои, полные томительной любви.

- Как здорррровье вашей супруги, Аристарх Федорович? Боже, как давно мы с нею не видались!.. Здорррова?.. - говорила между тем Фанагория Петровна, прищуривая глаза.

Аристарх Федорович величаво, но благосклонно поклонился.

- Здорова? Ах, как я рада! А детки?..

Аристарх Федорович повторил прежнее движение.

- Здоровы, милашки этакие? Ах, как я счастлива! Одно только мне неприятно, о-о-очень даже непррриятно: скажите, зачем вы так поздно приехали? Не лучше ли бы приехать утром и подарить меня целым деньком?.. - проговорила Фанагория Петровна, грозя пальцем и принимая очаровательную позу.

- Я так и думал сделать, весело отвечал Балахнов, - но вот, виноват ваш жених: мы остановились и ночевали на станции в Горшкове; он познакомился там с какими-то дамами соседнего нумера, а потом отправился с ними на ярмарку покупать лошадей.

При слове познакомился с дамами, Антониночка быстро взглянула на своего жениха, брови ее запрыгали; она вырвала с сердцем свою руку из его руки, пересела на другой стул к самому окну и нахмурилась.

Порфирий Павлович остолбенел и, как пораженный громом, остался на своем месте.

- Какие же это дамы? - продолжала расспрашивать Фанагория Петровна, не заметившая маленькой сцены. - Из наших соседок?.. Ах, Боже мой, что я! - воскликнула она неожиданно, - ведь я забыла спросить вас! Вы, верно, еще не кушали?..

- Нет-с, маменька! - произнес Васильков отчаянно-растроганным тоном.

- Хорррош, батюшка! А все ты! Ну, как не сказать?.. Да и вы, Аристарх Федорыч, как не стыдно!.. Эй, люди! девушки! Кто там?.. Антония, что ж ты, душенька? а еще молодая хозяйка... Ах, Боже мой! Поди, мой ангел, распорядись, вели скорее подавать кушать.

Антониночка поспешно встала со своего места и оставила гостиную, не забыв бросить сокрушительный взгляд Василькову, который тотчас же принялся расхаживать по комнате с таким видом, как будто ему только что прочли смертный приговор.

В эти полчаса, как накрывали стол и разогревали кушанье, Фанагория Петровна, принявшая очевидное намерение пленить окончательно Аристарха Федоровича, не переставала занимать его живой беседой, приправляя живую эту беседу чарующими взглядами и улыбками. Дело в том, что в эти несчастные полчаса Аристарх Федорович успел уже заменить в сердце Фанагории Петровны то место, которое накануне еще занимал Васильков, и увы! увы! - успел даже исторгнуть из этого непостоянного и слабого сердца все воспоминание о несчастном, который продолжал, между тем, расхаживать по комнате, комкал, в припадке горя, свои волосяные пряди и страшно таращил глаза, делая неимоверные усилия, чтоб не разразиться воплем.

Фанагория Петровна принадлежала, можно сказать, к разряду самых эксцентрических, причудливых дам, каких когда-либо производила горшковская сторона. Ни лета, ни опытность, ни долгая замужняя жизнь не в силах были излечить ее от склонности к романтизму и поэтическим грезам. Во-первых, у нее было семь пятниц на неделе. Иной раз она вставала утром в самом веселом расположении духа, как птичка, готовая порхать целый день с цветка па цветок, и вдруг к обеду впадала в глубокую безотрадную меланхолию, надевала черный траурный капот, говорила о том только, что хочет идти в монастырь, целые дни отказывалась от пищи, довольствуясь тем только, что утром лизнет кусочек сахару, да ввечеру лизнет тот же кусочек и запьет все это стаканом воды. В другое время сидит она на диване и вдруг, совершенно неожиданно, приказывает запрячь рыдван, надевает красный бархатный спензер, повязывает бирюзового голубка на шею, обсыпает себя пудрой с головы до ног, подделывает фальшивую косу и едет с Антониночкой делать визит. Находят опять такие дни, когда Фанагория Петровна без памяти влюблена в Антониночку, поверяет ей свои сердечные тайны и пребывает с нею вообще на самой короткой, дружеской ноге; находят опять и такие дни, в продолжение которых обе не перестают ссориться – ни дать ни взять, малолетние пансионские подруги. Прошел час, другой, и Фанагория Петровна впадает снова в меланхолию; но на этот раз меланхолия ее приняла уже совсем другой характер; она садится в огромные кресла, подпирается тоскливо локтем, не сводит глаз со своего младенческого портрета и струит потоки слез; или садится, в тихом раздумье, подле отворенного окна, слушать пение соловья: «Соловушка! соловушка! - говорит она обыкновенно растроганным голосом: соловушка, спой мне свою сладкозвучную песню!». Если песня оказывается неудовлетворительною, она отправляется вечером в киоск, возводит задумчиво глаза на луну, кладет голову на грудь Антониночки, вздыхает, и новые потоки слез орошают ее полные щеки.

Беседа Фанагории Петровны и Балахнова была расстроена приходом старого управителя, который возвестил, что кушанье подано.

- Кушать, кушать, господа! Милости прошу, Аристарх Федорович! Порфирушка, полно тебе ходить... Пожалуйте, милый, дорогой гость... я не буду мешать вашему аппетиту...

- Отчего же? напротив, вы усладите своим присутствием нашу и без того, вероятно, роскошную трапезу, - произнес Аристарх Федорович, поставивший себе за непременный долг быть красноречиво-любезным с прекрасным полом.

- О, льстец!.. Все вы, мужчины, таковы! - проговорила вдова, лукаво грозя пальцем. - Впрочем, мы займемся в это время с Антониночкой... Да где ж она?.. Анция! Тоничка! Антония! Мы пойдем с ней на берег пруда и нарвем вам очаровательный букет незабудок, - прибавила она, жеманясь до неимоверности.

Аристарх Федорович снисходительно улыбнулся, выпрямил грудь и, дружески трепнув по плечу Порфирия Павловича, вышел с ним в залу.

- Что, братец, с тобой? - спросил он, когда они уселись за стол.

- Ах, Аристарх Федорович, что вы наделали!., - произнес раздирающим голосом Васильков.

- Что такое?

- Помилуйте, вы сказали при Антониночке, что я познакомился на станции с Миловзоровыми...

- Ну, что ж из этого?..

- Ах, если б вы видели, - возразил Васильков, едва удерживаясь от слез, - она говорить со мной даже не хочет!.. Зачем вы это сделали?.. Боже! того ли ждал я, когда мы подъезжали к околице!

- Э-ге-ге, брат, так вот оно что! Ну, поздравляю: если с этих пор она начинает выкидывать такие штуки – нечего сказать, сама она после этого штучка, да и какая еще!..

- Нет, ох, нет, она премилая! Но, знаете, Аристарх Федорыч, страх раздражительна, как все нервные женщины. Боже мой, Боже мой, что вы наделали!

- Ох, уж мне эти раздражительные! - заметил Балахнов, переносясь мыслями к жене, которую он также считал почему-то раздражительною и капризною. - Вот ты дай-ка ей волю! - продолжал он, значительно поднимая брови. - Посмотри, что она из тебя тогда сделает! Она сердится, дуется, а ты сам рассердись, отойди прочь, да и не говори с нею ни слова во весь вечер: сама подойдет.

- Не могу, клянусь, не могу, Аристарх Федорыч. Так сердце вот и надрывается!.. Как взглянет, так весь точно ослабну, знаете, и даже ноги дрожать начинают... клянусь! - заключил Васильков, утирая глаза, в которых блеснули слезы.

Балахнов принялся увещевать своего protégé – ничего не помогало: protégé ничего по ел, не пил и встал из-за стола окончательно расстроенным.

Когда они вошли в гостиную, Фанагория Петровна сидела на диване со свежими розами на щеках и двумя пучочками незабудок за каждым ухом: она сидела, подпершись локтем, погруженная в сладкое раздумье, и, казалось, не замечала вошедших; вдруг она испустила маленький крик, вздрогнула и улыбнулась.

- Ах! - сказала она, щуря свои глаза, - ах, как вы меня испугали!.. Ну, что, Аррристарх Федорыч, я думаю, вам очень не показался наш обед?.. Извините, чем богаты, тем и рады; в нашей скромной хижине не найдете вы, рррразумеется, того, что привыкли встречать в ваших палатах, - продолжала она, бросая чарующий взгляд на Балахнова, который благодарил за радушный прием. - Порфирий, что с тобой? Посмотрите, Аристарх Федорыч, и это жених! - подхватила она, указывая на Василькова, сидевшого на стуле с всклоченными волосами и не спускавшого унылых глаз с двери спальни. - Ах, Боже мой! Тоничка! Анция! Антония! помилуй, душа моя, что это значит! Посмотри на своего жениха. Отчего ты не займешь его? - заключила Фанагория Петровна, когда дочь показалась в дверях.

- Мне кажется, если я не ошибаюсь, - заметил со светскою шутливостью Балахнов, - мне кажется, между Антониною Васильевной и ее женихом пробежала маленькая черная

кошечка... Впрочем, - примолвил он с улыбкой, - влюбленные всегда ссорятся, чтоб иметь потом удовольствие помириться...

Добродушное лицо Порфирия Павловича озарилось надеждой, и под страшными усами его показалась улыбка; но все это мгновенно исчезло, когда Антониночка отвернулась к окну.

В то же время управитель ставил на овальный стол огромный поднос, покрытый блюдечками с вареньем.

- Вот клубника, милый сосед. Мы сами, то есть я и Антоша, ходили рвать ее на берег ррручья. Аристарх Федорыч, пожалуйста... Ох, Боже мой, и это влюбленные! Аристарх Федорыч! - продолжала Фанагория Петровна, подмигивая ему на дочь и жениха, - и это влюбленные... кто бы этому поверил? О, любовь! любовь! - проговорила она, возводя очи к потолку и вздыхая. - Послушай, Анция, как вам обоим не стыдно? Антония, ты бы постаралась рассеять своего жениха – это твое дело. Спой нам что-нибудь, мой ангел; ты так мило поешь...

- Нет, маменька, я не стану петь.

- Отчего же, мой дружочек?

- У меня болит горло, - сухо отвечала барышня.

Порфирий Павлович чуть не заплакал.

- Вот, - подхватила Фанагория Петровна, приподымаясь с дивана и подходя рассеянно к клавикордам, - вот, Аристарх Федорыч, молодежь-то какая нынче!., Горло болит! Ах, в ее лета у меня никогда не болело горло! В ее лета я пела целый день, как птичка поднебесная... и прекрасно даже пела...

- Вы и теперь, маменька, очень мило поете, - сказал меланхолически Васильков, решившись, наконец, последовать совету Аристарха Федоровича и попробовать не обращать внимания на дурное расположение своей невесты.

Сказав это, он подошел к будущей тёще и раскрыл клавикорды.

- Ах, нет, нет, теперь уж не то! - проговорила будущая тёща, картавя до невозможности и садясь за фортепиано.

Она украдкою взглянула на Балахнова и взяла аккорд.

Клавикорды издали слабый, едва внятный звук, доступный вполне тем разве героям русских сказок, которые пользовались преимуществом подслушивать, как трава растет; но это нимало не смутило героини этой главы: она взяла новый аккорд, возвела очи сначала к небу, потом на Аристарха Федоровича и запела тоненьким дрожащим голосом известный старинный романс:

В хижине унылой
Вижу образ милой, и проч.

Последние слова, произнесенные с необыкновенным чувством, не успели еще слиться с аккордом, когда Аристарх Федорович, стоявший за стулом, а за ним Васильков, все еще не покидавший дерзновенного плана досадить невесте, осыпали певицу похвалами. Пение романса перенесло Фанагорию Петровну к воспоминаниям детства; она пересела на диван и принялась рассказывать историю своих первых годов. Аристарх Федорович слушал и, по-видимому, очень внимательно; но когда соседка начала распространяться о супружеской жизни, выставляя в ярких красках положение женщины, часто угнетаемой мужем-эгоистом, Балахнов потер себе лоб и сказал, что приехал к ней за делом.

- Оставьте нас, дети; Бог с вами! - сказала вдова, переменяя позу, - подите, погуляйте в зале или в саду... Заранее соглашаюсь на все ваши просьбы, милый, любезный сосед, - добавила она, устремляя па Аристарха Федоровича глаза, которые подтверждали как нельзя лучше ее слова.

Антониночка сделала кислую гримасу и вышла в залу; Порфирий Павлович, начинавший уже каяться и даже приходить в отчаяние, что осмелился следовать дерзким советам Балахнова, побежал за нею.

- Что вам от меня угодно? - сказала Антониночка, когда он подошел к ней, полный раскаяния и смирения, - сделайте милость, оставьте меня. У вас есть «милые» дамы, с которыми вы знакомитесь на станциях: поезжайте к ним... я вам вовсе не нужна, и между нами все кончено!..

- Боже! я несчастнейший человек в целом свете! - воскликнул Васильков, падая на стул и закрывая лицо руками.

- Сделайте милость, оставьте все ваши фарсы; я им не верю. Вы, может быть, плачете потому, что слишком скоро расстались с вашими милыми знакомками...

- Выслушайте меня... Я невинен, клянусь! - простонал Васильков, простирая отчаянно руки.

- Ну, что вам угодно? - спросила жестокая Антония, останавливаясь перед женихом и бросая на него презрительный взгляд.

Снова луч надежды блеснул на лице несчастного Василькова; он подошел к невесте и умиленно начал рассказывать ей историю нового знакомства. Расхаживая взад и вперед по зале, они невольно услышали несколько отрывчатых фраз, выходивших из гостиной.

- Да помилуйте, милый сосед, - говорила Фанагория Петровна, - я назначаю ей кучера Ермолая и прачку Фетинью; у них еще и сын Михайло... Мишка... и дочка Лукерья...

- Все это прекрасно, любезная соседка; но сами посудите, - возражал убедительно Балахнов, – вся часть расходов, свадебные издержки на его руках. Он человек кроткий, тратиться не станет; все пойдет вашей же дочери. Тысячи три устроят, как нельзя лучше, будущее их хозяйство...

В другой раз, именно когда жених объяснял невесте покупку лошадей и причины, заставившие его снизойти к просьбе Миловзоровых, из дверей гостиной ясно послышалось:

- Нет, милый, любезный сосед, вам, как я вижу, ни в чем нельзя отказать...

Результат объяснений Василькова имел, однако ж, самые гибельные последствия: Антониночка пришла в неописанное негодование, когда узнала, что жених дал слово приехать к Миловзоровым и даже обещал привезти ее к ним.

- Как? - вскричала она, - и вы осмелились, и вы думаете, что я поеду к каким-нибудь милым дамам, которые заводят знакомства с мужчинами? Никогда, никогда этого не будет! слышите ли: никогда! - закричала она, топнув ножкой и уходя в дверь, где раздавалась свадебная песня девок, шивших приданое.

Васильков вошел в гостиную как приговоренный к смерти: на нем лица не было.

- Поздравляю! - сказал Аристарх Федорович. - Благодари, братец, Фанагорию Петровну: она согласилась устроить то, о чем я просил ее, то есть выдать тебе денег на свадебные расходы.

- Ох, нет, нет, мне ничего теперь не надо! - проговорил Порфирий Павлович изнемогающим голосом.

- Как? что? Опять поссорились?

- Нет, это ни на что не похоже! - воскликнула Фанагория Петровна.-Тоничка! Анция! Антония! Анция! Что это, друг мой? - продолжала опа, обращаясь с плачевным укором к дочери, которая входила в гостиную.- Порфишенька, друг мой, на что это похоже, скажите на милость? Сейчас же прошу помириться. Анция! Поцелуй своего жениха. Порфирий Павлыч, слышишь?

Антониночка снова подставила свою щеку, и как только жених поцеловал ее, отошла к окну с самым недовольным видом.

Порфирий Павлович упал окончательно духом.

Вскоре после чая, который не замедлил явиться на овальном столе, Аристарх Федорович взялся за шляпу и приказал подавать лошадей.

- Боже! как скоро день прошел! О, поверьте, милый, любезный сосед, этот день будет одним из лучших воспоминаний моей жизни! - сказала Фанагория Петровна,

украшая новым розаном правую щеку соседа, который, между тем, рассыпался в любезностях.

- Прощайте, маменька! - воскликнул Васильков, роняя слезу на руку будущей тёщи.

- Это что такое? Ах, Боже мой!

- Маменька! Она меня не любит! - проговорил Васильков раздирающим голосом.

Этот маленький случай задержал на минуту отъезд. Фанагория Петровна снова потребовала, чтоб жених и невеста поцеловались и помирились раз навсегда. Взяв слово от милого соседа, что он не забудет скромной хижинки сельца Грачовки и приказав Порфирию Павловичу явиться через два дня для составления списка покупкам и для окончательных распоряжений, Фанагория Петровна, сопровождаемая Антониночкой, вышла на крыльцо провожать дорогих гостей.

- Прощайте, милый, любезный, очаррррровате-ль-ный сосед! Прощай, Порфирий! - кричала она, размахивая платком вслед отъезжающему экипажу.

И долго еще махала она платком, облокотившись меланхолически на плечо Аптониночки, которая смотрела между тем на пруд и заходящее солнце.

Как только облако золотистой пыли, поднятой колесами, улеглось на дорогу, Фанагория Петровна спустилась меланхолически по ступенькам крыльца и ушла в сад. Долго блуждала она в поэтическом экстазе по берегу пруда и, наконец, вошла в киоск. Давно уже сельцо Грачовка окуталось тенью; давно наступила светлая летняя ночь со своими звездами на синем небе и тихим, теплым воздухом, распускавшим аромат цветущих черемух и яблонь; давно показался полный месяц из-за головастых ветел, глядевших черными массами в серебрившийся пруд – а Фанагория Петровна все еще сидела в киоске, следя с какою-то особенною тоскою за падающей звездой, или прислушиваясь к пению соловья, который трещал и заливался в отдалении...

XI.
Николай Степанович Окатов и Софья Алексеевна Окатова, урожденная княжна Жирофлё-Никитекая, – в своем домашнем быту

Николай Степанович был, если хотите, чудак, и даже страшный чудак, но уж, во всяком случае, он не был таким мрачным и нахмуренным чудаком, каким казался на вид. Он делался мрачным только тогда, когда приводилось ему переступать за порог домашнего очага и ехать в гости. Выезжать в гости или принимать к себе гостей он терпеть не мог и составлял в этом случае совершенную противоположность Аристарху Федоровичу, который, напротив того, обнаруживал мрачные свойства каждый раз, когда оставался без гостей наедине со своим семейством. Источник несообщительности Окатова нимало не проистекал из его характера или душевных наклонностей; главною виною, мне кажется, была природная водобоязнь и злосчастная экспедиция из Петербурга в Кронштадт, окончившаяся, как уже известно, страшною качкой. Не будь он подвержен водобоязни, не случись качки – над ним бы не смеялись, и он не заключился бы с ранних лет в селе Большие Соли, доставшемся ему после отца. Николай Степанович прожил несколько лет сряду в глухом одиночестве и, полный еще страшного эпизода, возбудившего общий смех, действительно должен был ожесточиться против людей настолько же, насколько ненавидел морскую стихию. На двадцать пятом году молодость взяла, однако ж, свои права над мизантропиею: он влюбился в бедную девушку, женился и зажил семьянином. Семейная жизнь была истинным назначением Николая Степановича. Дни и месяцы проходили у него в сладостном безмолвном созерцании хорошенькой жены, которую с утра еще усаживал он на канапе, разодетую по-бальному. Он выучил даже по этому случаю французскую песню:

„Mire dans tes yeux, mes yeux
Charmante brunette…”

и вообще был так счастлив своею созерцательною жизнью, что ни к кому не ездил, никого не хотел видеть и жену никуда не пускал и никому не показывал.

Должно полагать, однако ж, что супруга Окатова обладала натурой в высшей степени слабой или капризной; созерцательная жизнь произвела на нее в скором времени самое разрушительное действие. Она начала сохнуть, вянуть, и на второй же год – после того, как произвела на свет дочку – обратилась окончательно в пепел, который разнесся при первом дуновении весеннего ветра.

Николай Степанович пришел в неописанное отчаяние. Он рвал на себе волосы, рыдал на весь дом три месяца сряду и целый год не выходил из своего кабинета. Такая упорная усидчивость вошла незаметно в привычку; в продолжение пятнадцати лет много-много если он выехал пять или шесть раз к Солонееву и его дяде, с которыми не был еще тогда в ссоре. Вторая и последняя женитьба Николая Степановича заточила его окончательно и почти безвыездно в селе Большие Соли. Женитьба эта произошла следующим образом: сестра Николая Степановича, проживавшая в Петербурге, изъявила желание взять на себя воспитание его дочери. Резоны, приводимые ею, были так очевидны и вместе с тем положительно здравы, что Окатов поневоле заглушил в себе ненависть к приморскому городу, взял дочь и поехал в Петербург. На обратном пути, совершенном с необыкновенною поспешностью, он завернул в Москву, чтоб уж заодно повидаться с родными, и остановился у богатой старой тетки. К богатой тетке ездило много знатных дам, и в числе этих дам особенно часто показывалась княгиня Жирофле-Никитская. (Князь Шасье, маркиз Жирофле, французский эмигрант, женился на девице Никитской единственно для того только, чтоб доказать, что ему не стоило ровно никакого труда прокутить восемьдесят тысяч дохода женина приданого – и доказал это, нужно заметить, блистательнейшим образом. После своей смерти он оставил жене титул княгини с присовокуплением имени Жирофле к прежней ее фамилии, и несколько прелестнейших дочерей). Можете представить, какую страшную тревогу забило чадолюбивое сердце княгини, когда она узнала, что Окатов вдовец с изрядным состоянием! Она приняла в нем тотчас же самое живое участие и изъявила самое искреннее сожаление, что человек с его именем, состоянием и достоинствами пропадает для света, в котором мог бы служить лучшим украшением, и предпочитает ему одинокую, скучную деревенскую жизнь. Николай Степанович не возражал; ободренная его молчанием, княгиня Жирофле-Никитская сообщила человеколюбивые мысли свои старой приятельнице, тетке Окатова, и дней пять спустя мысли эти, переходя от одной к другой, воодушевили до такой степени нескольких почтенных особ, что они, не медля ни минуты, принялись рыть траншеи, волчьи ямы, рвы, воздвигать брустверы и повели правильную осаду на владетеля села Большие Соли. Блокада увенчалась блистательным успехом: неприятель ворвался в самое сердце крепости, разгромил, перебудоражил там все и привел в такую страшную слабость нравственную силу гарнизона, что крепости оставалось только сдать ключи и подчиниться во всем воле победителей. Знамя победы (как водится в таких случаях) предоставлено было водрузить старшей дочери княгини, тридцатилетней девице, необыкновенно величавой и гордой, которая, впрочем, и без позволения не уступила бы такого права остальным сестрам.

Софья Алексеевна Жирофле-Никитская (так звали княжну) принадлежала к числу зрелых и энергических девушек. Сделавшись хозяйкою крепости, она предписала ей, по-видимому, самые выгодные условия мира, но в сущности сохранила над нею свою власть и так хитро повела дело, что власть незаметным образом обратилась в непреложный закон. Она сделалась полною распорядительницею всех частей управления, не выключая даже финансовой. Николай Степанович, как новый Марс, попавший в сети Венеры, не воспротивился такому деспотизму: он был подавлен величием своей супруги, очарован ее прелестями. Несмотря на то, что сам был страшно самолюбив, он сознавался в душе, что предпочтение, оказанное ему перед другими женихами, приносило все-таки величайшую честь его лицу, и потому, вероятно, находил превосходным все, что ни предпринимала и

ни делала его супруга. Он не сказал даже слова, когда она объявила, что для поддержания достоинства ей необходимо будет ездить каждую зиму в Москву или Петербург.

- Княжна Жирофле-Никитская! - восклицал он обыкновенно, когда оставался наедине, - княжна Жирофле-Никитская!.. - повторял он, ударяя себя ладонью в верхнюю часть груди; потом, проводя ладонью но всем пуговицам, бросал величественный взгляд в зеркало, закидывал назад голову и начинал самодовольно маршировать по комнате.

Приехав в Большие Соли, Софья Алексеевна объявила во всеуслышание, что терпеть не может провинции и никого не удостоит своим визитом. Николай Степанович, как сказано выше, был горд и честолюбив. Он понял, что такой особе, как жена его, не след было слоняться с визитами по уезду. Не штука – княжна Жирофле-Никитская!.. Следствием этого было, разумеется, то, что никто из соседей не показал в Большие Соли кончика своего носа. Все это ничего бы еще не значило: в провинции очень невзыскательны к богатым соседям, и Софье Алексеевне стоило только по прошествии нескольких лет сделать первый визит, чтоб наводнить свой дом многочисленным обществом; но дело в том, что, по прошествии нескольких лет, Софья Алексеевна совем почти перестала жить в Больших Солях. Сначала, вместо одного выезда в год, она начала выезжать три раза: вскоре после первого весеннего обоза, немедленно после экстренного летнего обоза и, наконец, после первого осеннего; а там уже потребовалось дышать столичным воздухом во всякое время, когда только заблагорассудится. Предлогом для таких поездок служили большею частию домашние неприятности и сцены, если можно только назвать этим именем те редкие случаи, когда Николай Степанович изъявлял несогласие в каком-нибудь хозяйственном пункте. Стоило ему заупрямиться, сказать «нет», – и уж все кончено: следовало затем немедленное приказание закладывать дормез и приготовлять все нужное для отправления в Петербург. Несогласия выходили большею частью из-за детей и особенно из-за старшего сына, девятилетнего мальчика, который был любимцем отца и матери.

Итак, Николай Степанович жил почти один-одинёшенек в своих Больших Солях. Дети, старая француженка-гувернантка, мадам Буске, и муж ее, мосье Буске – составляли все его общество. Несмотря на то, он был чрезвычайно доволен. Взглянув на него в домашнем быту, вы не поверили бы, что перед вами находится тот самый господин, который еще накануне казался таким мрачным и молчаливым. Он не переставал разговаривать с детьми, с мосье Буске и с мадам Буске, не переставал в то же время расхаживать быстрыми шагами по залу, выпивая на каждом повороте стакан свежей воды со льдом и самодовольно закидывая назад голову. Изредка лишь останавливался Николай Степанович, чтоб посмотреться в зеркало, ударить себя в грудь ладонью, потом провести ладонью по пуговицам и воскликнуть самодовольно: «Ни-ко-лай Сте-па-ныч Ока-тов... о! о! оо!!!». Он любил также иной раз прочесть во всеуслышание басню Измайлова или страничку из «Энеиды» Котляревского, которую считал первым сочинением в мире, но смело можно утверждать, что беседу с мадам Бускё предпочитал он всем остальным удовольствиям. Он любил повествовать ей о своих мореходных похождениях по Финскому заливу, изображая яркими красками страшную картину качки, умел незаметным образом перейти к описанию того, как женился на первой жене, потом на второй, и кто такая была его вторая жена; затем следовали горячие споры о том, что есть в России и чего нет на берегах Луары; потом разговор переходил к воспитанию детей. Николай Степанович соглашался во всех пунктах с мадам Бускё и говорил обыкновенно, указывая ей на белые воротнички и щегольскую одежду детей своих: “J’aime ca, madame; c’est noble, c’est noble; j’aime ca…”. Николай Степанович очень плохо говорил по-французски, но, несмотря на то, чрезвычайно любил изъясняться на этом языке. Присутствуя постоянно в зале при детских уроках, он сам сделался в скором времени ученым и очень дельно разсуждал иной раз об отвлеченных предметах. Как все новички ученого звания, он любил похвастать своими сведениями, приобретенными накануне. Так, например, почерпнув у мадам Бускё какую-нибудь премудрость, он немедленно

отправлялся в комнату мосье Бускё и сообщал ему о почерпнутой премудрости, с уверенностью человека, давно обдумавшего этот предмет. Мосье Бускё кивал головою, рассыпался в комплиментах, и Николай Степанович возвращался в зало, не забыв наперед остановиться перед зеркалом, чтобы ударить себя в грудь и воскликнуть торжественно: „Ни-ко-лай Сте-па-ныч Ока-тов! о! о! о!“ Из этого ясно, кажется, видно, что Николай Степанович, благодаря врожденной любознательности и склонности к семейной жизни, не мог скучать в домашнем быту даже и тогда, когда Софья Алексеевна находилась в отлучке.

Мы застаем Николая Степановича на другой день после приезда его из Горшкова. Он возвратился домой очень поздно и, к величайшему своему ужасу, должен был сделать половину дороги в ночное время. Но теперь он встал, умылся, выбрился, оделся (Николай Степанович одевался дома так же чисто и тщательно, как одеваются другие, когда едут в гости). Расспросив гайдуков своих, Прошку и Севку, о том, проснулась ли барыня, и получив отрицательный ответ, Николай Степанович выпил стакан воды со льдом и вышел в залу.

Бьет десять часов. Посреди залы стоит круглый складной дубовый стол, покрытый черной клеенкой; на столе разбросаны книги, прописи, тетради. Во главе сидит мадам Буске, крошечная старушка с необыкновенно добродушным лицом, покрытым бесчисленным множеством тоненьких морщинок и украшенным очками в черепаховой оправе. На ней темный коричневый капот и необъятной величины чепец с светло-желтыми лентами. По обеим сторонам ее сидят девочки, лет семи и восьми - обе одетые чрезвычайно чисто н даже щеголевато; они пригнулись с высоких стульев на стол и прилежно выводят тоненькими ручками какие-то каракули, изредка отбивая ладонью длинные каштановые локоны, которые то и дело падают им на глаза. Немного поодаль сидит девятилетний мальчик в темно-зеленой курточке и белых, как снег, воротничках. Он положил одну ногу на стул, локтем уперся в книжку и рассеянно смотрит в потолок, наблюдая движение мух. ”Dites donc le nonjour a papa!” - говорит мадам Буске, делая книксен. Девочки целуют руку отцу, садятся на свои высокие стулья и принимаются усердно выводить каракули. Мальчик бросается на шею к папаше, возвращается на свое место и продолжает следить за мухами. Видно по всему, что он баловень.

Бьет половина одиннадцатого. Николай Степанович выпивает новый стакан воды со льдом и начинает ходить но комнате, разглаживая грудь п останавливаясь по временам перед зеркалом. Мадам Бускё вооружается книгой и диктует тихим голосом эпизод из греческой истории.

Бьет одиннадцать часов. Николай Степанович выпивает еще воды и продолжает расхаживать по зале, прислушиваясь любознательно к тому, что диктует гувернантка. Мало-помалу лицо Николая Степановича принимает глубокомысленно задумчивое выражение, он устремляет мысленный взор на великих людей древней Аттики и мысленно заводит с ними приятную поучительную беседу. Дело дошло до Сократа; Николай Степанович хмурит брови и принимает гордую осанку, как будто встретил в кругу приятелей совершенно незнакомое лицо. Бьет половина двенадцатого, недоумение насчет Сократа усиливается; мысленный взор Николая Степановича никак не может помириться с этим новым лицом. Наконец, любовь к древнему аттическому миру берет верх над предрассудками. Николай Степанович выпивает стакан воды со льдом, подходит к столу и, устремив тревожно беспокойный взор на мадам Бускё, спрашивает густым, отрывистым басом:

- Dites moi, madame, est-ce que Socrate etait francais?

Мадам Бускё подымает голову и отвечает учтиво:

- Non, monsieur, erait un grec…

Николай Степанович очень доволен своим ученым исследованием; мысленный взор его видит теперь очепь ясно; густые брови его распрямляются; он бросает приветливую улыбку навстречу мудрецу и выпивает новый стакан воды.

Бьет двенадцать часов. Николай Степанович самодовольно закидывает назад голову и направляется уже в комнату господина Бускё, чтоб сообщить ему плод своих исторических разысканий, как вдруг дверь в залу отворяется и на пороге показывается Софья Алексеевна.

- Dites donc le bonjour a maman! - говорит мадам Бускё, делая книксен.

Софья Алексеевна протягивает руку двум девочкам, нежно прижимает к своему материнскому сердцу сына, кивает головой гувернантке и протягивает руку Николаю Степановичу.

Софье Алексеевне сорок лет, но она до сих нор еще прекрасна, несмотря на то, что полнота начинает заметным образом овладевать ее стройною талией. Она держится необыкновенно величаво, прямо, и потому сохраняет свой рост, который давно, еще в Москве, когда она была княжной Жирофлё-Никитской, заслужил ей название Семирамиды. Она причесана en cheveux, без чепчика, и белокурые, золотистые, густые ее волосы обрамливают изящными бандо свежее лицо, украшенное прелестным ртом и зубами белизны ослепительной. Шелковый синий капот, обшитый такими же шнурками, согласуется как нельзя более с ее полными белыми руками и шеей, окруженной широкими кружевами, падающими, как пена, на высокую ее грудь.

Потрепав еще раз своего сына по плечу и взглянув в тетради дочерей, Софья Алексеевна поплыла величаво, точно фрегат на всех парусах, в боковую гостиную и уселась на диван.

За ней выступил Прошка с серебряным подносом, уставленным фарфором и серебряным чайником, покрытым тонкою салфеткой; за Прошкой следовал Севка, почтительно держа руками, обтянутыми в белые вязаные перчатки, корзину с хлебом и булками.

Николай Степанович подошел к зеркалу, пригладил на висках пучки седых завитков, пришедших в расстройство в тяжелое время исторических его разысканий, и сел подле жены.

- Как ты себя чувствуешь, друг мой? - спросил он, облокачиваясь локтем на ручку кресел.

Софья Алексеевна медленно приподняла ресницы, сделала какое-то движение губами и сказала рассеянно:

- Не совсем хорошо...

Софья Алексеевна, нужно заметить, была не в духе в это утро: она ждала несколько дней сряду писем, которые должны были ускорить ее отъезд в Петербург.

- Где вы были вчера? - спросила она, едва трогая губами и принимаясь перелистывать французский роман, лежавший на столе подле чайного прибора.

- Я ездил, друг мой, в Горшков; просил Балахнов, - словоохотливо начал Николай Степанович.

- Опять Балахнов! и вечно, вечно один и тот же Балахнов? Что же нужно этому Балахнову?.. - возразила супруга, продолжая перелистывать одною рукою роман, тогда как другая рука ее протягивалась к чашке.

- Знаешь, друг мой, ту долину, что прежде принадлежала Солонееву... ну, да словом, та самая, что выходит на большую дорогу?.. Балахнов просил меня продать ее, и мы ездили в Горшков, чтоб совершить купчую.

Брови Софьи Алексеевны сделали выразительное движение; она подняла голову.

- Мне кажется, - сказала она ровным, величавым голосом, - мне кажется, вам не мешало бы прежде спросить об этом мое мнение; долина эта мне всегда очень нравилась; я даже думала устроить в ней со временем небольшой парк, куда бы можно было ездить верхом.

- Помилуй, душенька! - сказал Окатов, разглаживая грудь, - ты никогда почти не живешь здесь; притом долина отстоит от нас за двадцать пять верст; она составляет совершенный особняк и никуда, ни к чему не годна... Впрочем, что говорить об этом! - прибавил он, поправляя галстук и потряхивая головой, - дело уже сделано, я дал слово Балахнову.

- А я вам говорю коротко и ясно, что не хочу, чтоб долина была продана, - и тем менее продана Балахнову! - отвечала Софья Алексеевна, сухо поворачиваясь к нему спиною.

- Экая досада! Что бы тебе, друг мой, сказать мне прежде о своих намерениях! Я бы, конечно, и думать не стал; все было бы сделано, как ты желаешь. Помилуй, можно бы даже устроить там не только парк, но разбить целый сад в английском вкусе... как тебе только хочется... Усадить главный вид тополями, сиренью, выписать из Москвы статуй от Кампиони, главное место украсить статуею, знаешь, этого Сократа... знаменитого грека, - заключил он, делая особенное ударение на последнем слове.

- Подите, пожалуйста, рассказывать ваши вздоры мадам Бускё, если хотите! - возразила нетерпеливо супруга,- одним словом, я вам сказала, что не хочу, чтоб вы продавали эту долину; кажется, ясно? - прибавила она, толкнув чашку и принимаясь за свой роман.

- К несчастью, друг мой, этого никак сделать.

- А я вам говорю, что можно, должно и будет сделано.

Лицо Николая Степановича приняло беспокойное выражение, и черные брови его обнаружили все признаки лихорадочного состояния; впрочем, он скоро оправился и сказал довольно даже решительно:

- Этого нельзя сделать.

Софья Алексеевна захлопнула книжку и бросила на мужа взгляд, какой бросают люди с высоты страсбургской колокольни.

- Нельзя! - упрямо повторил Окатов.

- Что ж? вы верно хотите, чтоб я сейчас же велела приказчику написать Балахнову, чтоб он не смел думать о долине?., - воскликнула Софья Алексеевна, покрываясь румянцем.

- Нет, да что ж это такое? - заговорил Николай Степанович и вдруг сам побагровел и крикнул,- я этого не позволю, сударыня!

- Ха! ха! ха! вы не позволите! вы?., вы?., вы?., - залилась истерически Софья Алексеевна, - а вот мы посмотрим! - заключила она, быстро приподымаясь с дивана н дергая за сонетку.

- Я этого не позволю, сударыня! - повторил с возрастающим жаром супруг, закидывая назад голову и принимаясь размахивать руками.

- А когда так, - сказала Софья Алексеевна, переменяя мгновенно интонацию и направляясь в залу,-когда так, закладывать дормез! - крикнула она, обращаясь к Севке, который бежал на звон колокольчика.-Madame Bousquet, allez habiller le petit!!

- Madame part?

- Oui, a l'instant… preparez le petit… Что ж ты? - продолжала Софья Алексеевна, обращаясь к оторопевшему Севке, - слышишь, чтоб сейчас же закладывали дормез: я еду в Москву.

- Я этого не позволю. Не сметь запрягать дормеза! - произнес Николай Степанович, теряясь окончательно.

Софья Алексеевна окинула молниеносным взглядом залу и вылетела в спальню. Николай Степанович замаршировал по зале, обнаруживая страшное волнение; мадам Бускё побежала с детьми вслед за матерью; один Севка, как окаменелый, стоял на пороге, выставив правую ногу в залу, а левую в переднюю.

Внезапно в соседних покоях раздался пронзительный крик. Крик этот, казалось, пробуравил насквозь Николая Степановича; горячность его мгновенно исчезла; он остановился и на широком лице его изобразился испуг.

- Что такое? - произнес он, обращая тревожные глаза на дверь, ведущую в женину половину.

- Madame se trouve mal! - крикнула госпожа Бускё, выбегая в залу и спотыкаясь па каждом шагу, как будто увлекал ее собственный ее чепчик.

Если б сказали Николаю Степановичу, что Большие Соли очутились на морском берегу, или гром упал прямехонько против его окон, или что оба эти несчастия случились в одно и то же время, он не отпрянул бы от мадам Бускё с такою быстротою, как сделал это в настоящую минуту.

Буря, гром, спазмы, истерики, обмороки, корчи, пожар или вид мертвого тела - потрясали с одинаковою силою энергическую натуру Николая Степановича.

Когда, вслед за восклицанием мадам Бускё, раздалась по всему дому суматоха, и во всех концах его забегали горничные с криком: „барыне дурно!" - Николай Степанович почувствовал такую слабость, что едва устоял на ногах. Все, что он мог сделать - это закрыть как можно скорее лицо левою рукой.

- Боже мой! - проговорил он, и вдруг, собрав остаток сил, бросился со всех ног в кабинет, плотно притворил дверь и отскочил в самый задний угол. Опорожнив бессчетное количество стаканов с водою, он успокоился настолько, чтоб позвать людей.

Явились Прошка и Севка.

- Скорей, ступайте, бегите, велите заложить четвероместные дрожки; я еду в поле... живо!., - заговорил Николай Степанович, вращая во все стороны испуганными глазами. Беспокойство Николая Степановича усилилось, когда он остался наедине; он принужден был прибегнуть ко второму графину, чтоб почерпнуть немного бодрости.

- Севка! - крикнул он.

- Чего изволите?

- Что ж дрожки?

- Сейчас заложут-с.

Николай Степанович принялся расхаживать по кабинету, прислушиваясь время от времени, не услышит ли какого-нибудь шума в жениных покоях.

- Севка! - закричал он, выпивая стакан воды.

- Чего изволите? - отвечал, вбегая, Прошка.

- Что ж дрожки?

- Сейчас заложут-с. Севка побежал.

Николай Степанович выпил еще воды и, приложив ухо к замочной скважине, провел безмолвно целую минуту, приподымая то одну бровь, то другую.

- Прошка! - крикнул он.

- Чего изволите? - отвечал, вбегая, Севка.

- Что ж дрожки?

- Сейчас заложут-с. Прошка побежал.

Николай Степанович надел белый войлочный картуз, взял платок и табакерку, ловко юркнул в залу и побежал на цыпочках в переднюю.

- Ну, что барыня? - спросил он у Севки и Прошки, которые спешили объявить, что дрожки готовы.

- Сейчас прошла горничная, - отвечали гайдуки,- говорит, что барыню не могут привести в себя.

- Боже мой! - произнес Окатов, закрывая левой рукой лицо и потирая правою грудь. - Скорей! скорей! - подхватил он, выбегая на крыльцо и торопливо усаживаясь в дрожки, - пошел в поле, на Рожевскую Слободку! Ух!..

Прошка и Севка, вечные неизменные спутники и телохранители Николая Степановича, разместились: один сел на козлы, другой стал па запятки, и дрожки,

чрезвычайно похожие в эту минуту на две огромные башни, соединенные у основания плотным, коренастым зданием, увенчанным круглою головою и седыми завитками на висках, покатили по проселку и вскоре оставили за собою село Большие Соли.

Теперь только понял Николай Степанович, как поступил необдуманно, дав такой сильный размах своей вспыльчивости; горячая голова его, освеженная тенью двух башен, между которыми она находилась, а также влиянием свежего воздуха, обсудила ясно и здраво критическое положение, в какое ввергнула своего властелина. Устремив мысленный взор в спальню жены, Николай Степанович невольно содрогнулся, взглянул назад и дал себе слово никогда, ни в каком случае не противоречить Софье Алексеевне. „Пускай делает что хочет!” - таков был результат его размышлений. Мало-помалу он углубился в самого себя и удостоверился, не без особенного удовольствия, что нимало не преувеличивал, когда говорил господину и госпоже Бускё, что обладает необыкновенно энергическим, вспыльчивым характером.

„Да, я горяч, страшно горяч!" - думал Николай Степанович, самодовольно ухмыляясь и покачиваясь в своих дрожках: - ...страшно горяч и, что хуже всего, мстителен, ужасно мстителен. Не даруй мне Бог силы воли и твердости духа, не умей я владеть собою - горячность моя и мстительность наделали бы давным - давно множество несчастий". Подвергнув такому строгому разбору опасные свои наклонности и предав беспощадному анализу свирепые свои страсти, Николай Степанович, подобно всем людям, заглядывающим зорким оком в тайник собственной души своей, почувствовал себя облегченным от огромной тяжести. Узнав от кучера, что они отъехали уже с десяток верст от Больших Солей, Николай Степанович велел ехать в Рожевскую Слободку; встретив на дороге стадо шленских овец и грозно стоящего посреди их барана, он изменил, однако ж, своему намерению и, закрыв левой рукой лицо, приказал как можно скорее свернуть с дороги и ехать на ферму. Остановившись за четверть версты от фермы, Николай Степанович послал Севку и Прошку разузнать обстоятельно от скотницы и самим рассмотреть хорошенько, крепко ли привязан на цепи свирепый тирольский бык. Получив утвердительный ответ, Николай Степанович бережно сошел с дрожек и с подобающею осторожностью поместившись в соседстве тирольского быка, принялся завтракать, прислушиваясь к малейшему шуму и шороху.

Он, бесспорно, провел бы приятнейшим образом эти три-четыре часа прогулки, если б не омрачала их поминутно мысль о том, как вернется он домой и в каком виде предстанет перед Софьей Алексеевной. Он проклинал тогда поездку свою в Горшков, связь с Балахновым, не забывая при этом помянуть нелегкими эпитетами несчастную долину, которая между тем, нимало не подозревая людских гонений, сияла подобно невинной молодой жертве во всей красе своей. Высоко подымались стройные березы, осенявшие ее плавные, мягкие склоны, покрытые сочной травой и пестрыми цветами; ярко блистала густая молодая листва деревь, бросая синие сквозные тени на пыльную окраину большой дороги, охваченную знойным солнцем.

По мере приближения к Большим Солям жажда, а вместе с тем и волнение начали снова беспокоить Николая Степановича. Севка и Прошка должны были поминутно снабжать его водою, которая бралась всегда в дорогу и заключалась в баклажке, привязанной к запяткам. Мысленный взор Николая Степановича не переставал устремляться в боковую гостиную, где, по всем соображением, должна была находиться теперь Софья Алексеевна. Как приступить ему к мировому объяснению? как уверить ее?.. И если б можно было это сделать без предварительных приступов и разговоров, как уверить ее, что он на все готов, заранее соглашается на все ее прихоти и требования, просит взять в соображение его вспыльчивость и уверяет ее, что впредь употребит всю силу воли, всю твердость духа и энергию для обуздание свирепых страстей своих?.. Размышляя таким образом, Николай Степанович опять-таки проклинает поездку свою в Горшков, связь с Балахновым и долину, которую, как нарочно, в эту самую минуту

благословляла целая толпа старых богомолок, расположившихся усталыми дряхлыми членами под свежею прохладною тенью высоких берез, окаймлявших пыльную дорогу.

- Севка! - закричал Николай Степанович, когда дрожки стали подъезжать к дому.

- Чего изволите, сударь? - спросил Севка, наклоняясь с запяток и образуя над своим господином с помощью спины, головы и плеч огромную арку.

- Посмотри, да и ты, Прошка, не зевай: посмотрите, не видать ли кого в окнах?

- Никак нет-с, - отвечали в одно время Севка и Прошка, вытягивая длинные свои шеи по направлению к окнам.

Они не ошиблись; в окнах не было видно живого лица, и даже самый дом казался в эту минуту каким-то мертвым телом, лишившимся души. Широкий двор не представлял признака жизни и обыкновенной всегдашней суеты. Даже на крыльце, куда выбегали всегда люди в случае приезда господ, никого теперь не было. Предчувствие чего-то недоброго мгновенно закралось в энергическую душу Николая Степановича.

- Где ж люди? - спросил он, входя в переднюю и наталкиваясь на горничную, бежавшую из залы.

- Уехали с барыней, - отвечала, вся вспыхпув, субретка.

- Как? куда?., - воскликнул Николай Степанович, роняя картуз и растопыривая руки.

- Изволили приказывать в Москву... - проговорила девушка, оторопев окончательно при взгляде на лицо господина.

Николай Степанович влетел в залу и, увидев мадам Бускё, сидевшую только с двумя дочерьми, отступил на три шага и страшно заморгал глазами.

- Madame est partie! - сказала госпожа Бускё, разводя руками.

- А где ж Павлушка? Пашенька где? Ou est Paul?.. - спросил Окатов, едва удерживаясь на ногах.

- Madame a pris le petit avec! - отвечала госпожа Бускё.

- Как, Пашеньку увезла с собою? Пашу?.. Пашку?., - закричал Николай Степанович, топая ногами, и вдруг побагровел и зашатался, как свая, подмытая водою.

- Мне дурно! - проговорил Николай Степанович.- Удар! удар!.. Прошка! Севка! льду! скорей льду...

Люди, сбежавшиеся со всех сторон в залу, подхватили его под руки, ввели в кабинет и усадили на диван.

- Развязывай галстук! скорей! ну! ну! - повторял Окатов.-А где ж лед? скоро ли?

- Здесь, сударь, - сказал Севка, вбегая в кабинет,- там, сударь, какая-то карета, говорят, заворачивает в нашу сторону...

- Отказать, глупцы, отказать! Так, три крепче... ух, слава Богу, легче... Отказать! сказать, что никого нет дома...

- Барыня изволят назад ехать! - провозгласил Прошка, входя в кабинет.

Кровь Николая Степановича мгновенно отхлынула от головы, и ему тотчас же стало лучше. Он выслал всех людей, привел в порядок свой туалет, выпил стакан воды и, приперев дверь кабинета, принялся расхаживать быстрыми шагами по комнате. Ему стало легче столько же морально, сколько физически; он обсудил с необыкновенною быстротою, что, пользуясь выходкой Софьи Алексеевны, он несравненно легче получит прощение.

Но как горько ошибался хитрый и проницательный Николай Степанович! Софья Алексеевна возвращалась домой в самом нервозном состоянии и была сильнейшим образом раздражена против мужа. И действительно, было отчего: всякий раз, как ей случалось выкидывать такие штуки, то есть исчезать в дормезе на несколько часов из дому, и сколько ни запоминала она таких случаев в продолжение десятилетнего супружества, Николай Степанович ненарушимо сохранял обыкновение посылать вдогонку верховых людей, целую ватагу дворовых и сам летел на дрожках умолять ее о возвращении. И что ж? теперь ничего! Хоть бы какой-нибудь намек на раскаяние с его стороны! Софья Алексеевна была чрезвычайно раздражена.

Войдя в залу, она бросила на стол шляпу, шаль и, нежно обхватив Павлиньку, направилась в боковую гостиную.

Николай Степанович успел в это время выпить несколько стаканов воды и окончательно ободриться. Он вошел в залу, пригладил перед зеркалом свои седые завитки и, призвав на помощь всю твердость могучего своего духа, вошел в гостиную.

Софья Алексеевна сидела на кушетке, держа на коленях сына. Сколько ни умела она владеть собою и как ни велика была ее энергия, однако ж при виде недостойного отца этого нежно любимого сына вся кровь закипела в материнском ее сердце, и потоки горьких слез заструились по прекрасным щекам ее.

Николай Степанович сделал шаг вперед, но Софья Алексеевна остановила его движением руки и, прижав голову сына к груди своей, сказала нежно, разглаживая ему волоса:

- У тебя нет отца, бедный мой Павлик! ты сирота, круглый сирота: у тебя нет отца!

- Я отец! я! я отец! - воскликнул расстроенным, взбудораженным голосом Николай Степанович.

Он сделал снова движение вперед, намереваясь обнять всех вместе, и мать и сына, но Софья Алексеевна снова отстранила его рукой и, положив голову свою на голову сына, продолжала:

- Нет у тебя отца, мой Павлик, нет его! А если и есть - ему все равно, где бы ты ни был. Если б судьба закинула тебя на край света, - продолжала она, бросив мокрый взгляд на Николая Степановича, который тихо всхлипывал, - если б тебя занесли на край света, мой Павлик, и тут он не позаботился бы о тебе... Нет, пусть уже лучше не будет у тебя отца! Нет его у тебя!

- А как же, maman, папаша-то? он-то что ж? - весело спросил мальчик.

- Павлик! Павлик! - зарыдал Николай Степанович, бросаясь обнимать сына. - Софья, Сонечка! прости меня, друг мой, забудь старое. Все, что хочешь, приказывай! говорил он, целуя ее руки и умоляя ее не сердиться, - а долину эту и говорить нечего... Я сейчас напишу Балахнову! Слава Богу еще, что купчую-то не совершили, и все можно поправить! - заключил он, обдувая платком раскрасневшиеся глаза свои.

На этом условии мир был заключен, и вся семья, со включением мадам Бускё (мосье Бускё редко выходил из своей комнаты), уселась обедать.

Бьет восемь часов. Письмо к Балахнову запечатано и отдан приказ послать завтра с нарочным в Ханские Пруды.

Бьет девять часов. Из Горшкова возвращается лакей с почты и привозит письма. Софья Алексеевна и Николай Степанович сидят в гостиной, и каждый читает порознь. Внезапно оба подымают голову и издают радостное восклицание. Софья Алексеевна получила известие, что петербургская квартира ее отделана, и она может беспрепятственно сесть в дормез и отправиться в северную столицу. Мадам Бускё вбегает с радостным известием, что жатва на берегах Луары такая, какой еще не запомнит никто на ее родине, и объявляет вдобавок, что сестра ее, мадам Гаваш, разрешилась благополучно от бремени. Но все это еще ничего не значит пред восторгом Николая Степановича, когда, дочитав письмо до конца, узнает он, что дочь его, та самая, что воспитывалась у сестры, выходит замуж, и за кого бы вы думали?.. Нет, Николай Степанович глазам своим не верит! Ну, как бы вы думали? - выходит за богача Мурзи-Менасова!

Николай Степанович взъерошивает седые завитки свои, бежит в комнату господина Бускё, чтоб сообщить ему радостное известие, потом бежит по всем остальным комнатам, где есть люди, зовет Севку и Прошку, говорит им: „Кричи ура!" - и снова возвращается в гостиную, чтоб пополнить картину семейного счастия, или, лучше сказать, семейную картину.

Бьет десять часов. Большие Соли погружены в сладкий сон, и все вокруг наслаждается миром и тишиною, в которой недостает, однако ж, еще двух маленьких

членов в белых платьях, с шелковистыми каштановыми локонами, заслоняющими поминутно грустные, печальные глазки. Где ж эти девочки?

Они вон там, в темном отдаленном углу залы, сидят подле отворенного окна и не подходят к родителям. Но отчего же? - спросит читатель. Ответ очень простой: они нелюбимицы.

XII.
Возвращение в Ханские Пруды и первые распоряжения Аристарха Федоровича. - Ардалион Попельковский озаряется более ярким светом.

Два вензеля, окруженные фантастическими арабесками и аллегориями, разбросанными искусною рукою Калины, высятся уже на белых деревянных столбах и украшают вход долины со стороны большой дороги. Такое распоряжение последовало в самый день возвращения Аристарха Федоровича в дом своих предков. То ли еще будет! Тысячи великолепных планов бродят в голове Аристарха Федоровича: он обнесет новоприобретенную долину высокою белою палисадою, прикажет Калине расписать готическими окнами и аркадами всех возможных архитектур, срубит, по этому случаю, несколько берез, чтоб дать место башням и минаретам, которые будут торчать на всех видных пунктах. Аристарх Федорович решился уже - имея в виду окончательное поражение Солонеева, когда тот поедет по большой дороге в губернский город и взглянет на долину - решился уже перенести туда скотный двор, поставив его на то место, где стоял некогда дом врага, и надписать на фронтоне: „Службы Ханских Прудов".

Да, долина украсится, украсится на горе Солонееву и на удивление всему остальному крещеному миру! Аристарх Федорович, как ловкий охотник, убивает таким образом двух зайцев одним залпом и, полный счастливой своей мысли, заранее потирает себе руки.

А между тем сама долина покрылась тенью набежавшей тучи. Кудрявые ветви молодых берез опустились сами собою и не тронутся ни одним листиком, как бы предчувствуя скорую свою гибель; веселые голоса птиц, испуганных звуком топора и говором народа, посланного для исполнения великих замыслов, умолкли; изредка слышится тоскливый крик иволги, которая боится за гнездо свое, наполненное только что вылупившимися птенцами. Грустно как-то! А вот и два молодые дерева повалились, с плачем и воем, на опушку; отчаянно простирают они свои ветви, как бы прощаясь с товарищами детства, жадно цепляются за землю, которая взрастила и взлелеяла их, и с которой разлучаются они невозвратно, на веки вечные.

Загрустил даже прохожий, тащившийся но большой дороге с берестовою котомкой и лаптишкамн за спиною. Много прошло их в это роковое утро мимо долины: каждый, бывало, еще издали бросал приветливую улыбку навстречу высоким верхушкам березок; каждый спешил укрыться под их гостеприимною сенью - а вот теперь уже с сокрушенным сердцем подходит прохожий. Он, однако ж, остановился, подперся палкою и смотрит во все глаза на диковинные произведения Калины, гордо смотрящие с высоты белых столбов. К прохожему присоединился другой и третий; мало-помалу составилась толпа; все подперлись палками и взоры всех устремились с удивлением на один и тот же предмет. Слово за словом, поднимаются толки, суждение; каждый вставляет свое слово, каждый воссылает похвалу великому мастеру, и все вместе дивятся человеческой мудрости.

Калина - слава и честь художников Горшковского уезда, - прислушивается между тем жадным ухом ко всем похвалам и толкам. Вензеля поставлены всего несколько часов назад, но он успел, однако ж, вырваться под разными предлогами три раза из людской, и теперь в третий раз останавливается перед произведениями бессмертного своего гения. Любо ему глядеть па них! Дикобразы, принятые непросвещенною, необразованною Глафирой за барских бульдогов, составляют тем не менее торжество и вместе с тем

гордость Калины; он щурит глаза, потирает свой клюковный нос, обходит со всех сторон, разглядывает со всех боков, потом отдаляется на некоторое расстояние, величаво марширует по большой дороге и, не выпуская ни на секунду из вида дрогоценных перлов своей фантазии, судит об их эффекте со всех возможных пунктов. Он решился уже являться сюда каждое утро, чтоб освобождать свои творения от пыли и неприятностей, могущих произойти по случаю закоснелой невежественности подорожных птиц, грачей и галок, которые без зазрения совести изберут, чего доброго, местом отдыха верхушки столбов - и, полный такой решимости, снова возвращается к толпе зевак, пожинать заслуженные лавры. Калина заводит умную, поучительную речь, треплет без милосердия свою клюкву, двигает самодовольно бровями, закидывает величаво голову, но, увидя между березами подходившего Аристарха Федоровича, тотчас же смиряется, снимает с достоинством шапку и почтительно дает ему дорогу.

Лицо Аристарха Федоровича озаряет, подобно солнцу, опушку печальной долины, и так ослепителен блеск этого лица, что староста Карп Иванов, к которому он обращается, не может смотреть прямо и невольно потупляет глаза.

- Ну что, Карп Иванов? - говорит Аристарх Федорович,-надо теперь подумать о лесе. Бревна у нас есть свои, а что касается до тёса на палисаду, распорядись немедленно и завтра же, чем свет, пошли десятка три подвод в Неверовку, к Солонееву; там, я слышал, круглый год напиливают тёс и продают на барки.

- Осмелюсь доложить, если ваша милость...

- Что такое? - перебил Балахнов.

- Осмелюсь доложить, - подхватил Карп Иванов,- тёс в Неверовке дороже выйдет горшковского: в Горшкове посходнее брали.

- Все вздор; вам лень ехать в Неверовку, потому что дальше. Пустяки! не может быть дороже. Завтра же чтоб посланы были подводы; а если спросят, зачем, дескать, барину нужно столько тёсу, сказать, что купил у Окатова долину, ту самую, что принадлежала прежде господам Солонеевым. Если случится, что спросит об этом сам Солонеев: зачем барин купил у Окатова долину, сказать, что хочет перенести туда, и уже начал переносить скотный двор. Слышишь?

Карп Иванов не возражал, и Аристарх Федорович обратился к Калине.

- Спасибо, Калина! - произнес он, осматривая вензеля с самодовольством, которое ни в чем не уступало самодовольствию, написанному в эту минуту на лице художника. - Спасибо, Калина, спасибо, любезный; славно! Скажи-ка ты мне теперь, - продолжал он, ослепляя окончательно великого мастера, который странно заморгал глазами, - скажи-ка, можешь ли ты расписать весь забор колоннами? Я хочу - пойми хорошенько - я хочу, чтоб наверху колонн были арки, везде арки, а между арками, над каждым фальшивым окном, находилось по такому же точно вензелю... понял ты меня?

Такой вопрос со стороны Аристарха Федоровича, который мог усомниться в могуществе Калины, и особенно в эту минуту, естественно должен был затронуть самолюбие знаменитого живописца; он, однако ж, оправился и отвечал с уверенностью человека, сознающего свои силы:

- Помилуйте, ваше высокоблагородие, не в первый раз, кажется... Извольте только приказать...

- Так ты берешься исполнить работу? полно, так ли? уверен ли ты в этом? Можешь ли ты, например, окончить ее к назначенному сроку?

- Все могу, ваше высокоблагородие, все могу! - смело отвечал Калина,-все могу! всякий цвет могу произвести, какой только есть. Что угодно напишу: и колонны, и вензеля, и все, и даже арабеск можно подвести под карнизом, заключил он, делая особенное ударение на слово „арабеск “, которое было его любимым словом.

- Ну, хорошо, любезный, хорошо. Завтра же выдадут тебе все, что нужно.

Аристарх Федорович, возвратившись домой, велел тотчас же призвать Калину, отдал приказание, чтоб поднесли ему рюмку водки, и принялся расспрашивать его о предварительных распоряжениях, нужных для начала работы.

Во все это время Калина ни разу не уронил артистического своего достоинства; он стоял, глубокомысленно насупив седые брови, и слушал, казалось, очень внимательно; но когда дело дошло до ответа, из уст его понеслась вдруг такая страшная околесица, дичь и нескладица, что Аристарх Федорович невольно отступил шаг назад и устремил на него изумленный взор. Сознавая в эту минуту более чем когда-нибудь могущество своего гения, Калина нимало не смутился этим взглядом и продолжал распространяться с возрастающей энергией.

- Э-э-э, любезный! Да ты просто пьян, как я вижу! - сказал Балахнов, убеждаясь из слов художника, что он успел уже предупредить барское угощенье, желая, вероятно, доказать этим фактом свою готовность к наиболее поспешному поощрению собственного таланта.

- Ты пьян. Сидор, он пьян? - повторил Балахнов.

- Нет, ваше высокоблагородие, - проговорил Калина, - никак нет... насчет, то есть... все вижу, все могу... арабеск могу...

Аристарх Федорович кивнул головой камердинеру, который поспешил взять Калину под руки.

- Что тебе, пустая голова? - воскликпул художник, презрительно отталкивая Сидора, - я говорю с их высокоблагородством, барином. У нас идет, примерно, рассуждение, насчет, примерно... все могу, ваше высокоб...ла...гдие, и арабеск могу... все могу...

- Вывести его вон! пошел, проспись прежде.

Сидор взял Калину под руки и, невзирая на то, что он настаивал непременно чтоб объясниться с барином насчет арабеска, вывел его из кабинета.

Такая сцена, благодаря счастливому расположению духа Аристарха Федоровича, могла только рассмешить его, и он весело вышел в залу. Радостное чувство, наполнявшее его душу, просвечивало теперь во всех чертах его, и влияние этого чувства, подобно благотворным лучам весеннего солнца, разлило мгновенно вокруг себя довольство и радость. Все стали почему-то довольны, и всем сделалось весело.

Карачаев был очень доволен. Он расположился, по-видимому, на некоторое время в доме Балахновых; впрочем, никто не стеснялся его присутствием - все были ему очень рады. Когда Карачаевым не овладевала меланхолия и следовавшая всегда затем трехсуточная спячка, или когда случалось ему изменять служению Вакха, он делался смирным, веселым, забавным собеседником, услужливым и даже иной раз очень полезным малым. Во время отсутствия Аристарха Федоровича с пим случилось необыкновенное происшествие: у него была старая легавая собака, по имени Медор, которую оставил он у приятеля своего, Барабанчикова. Прожив неразлучно десять лет с Медором, Павел Петрович не без многих усилий оставил его на чужих руках и не видался с ним несколько суток. Карачаев не был охотником и любил своего Медора бескорыстно, так, по привычке и по естественному побуждению сердца. Можете себе представить удивление и радость Павла Петровича, когда, проснувшись от несчастной спячки, напавшей на него после бала, увидел он перед собой Медора! Медор не вынес разлуки, перегрыз веревку, клочок которой висел еще о сю пору у него на шее, проскакал сорок верст без отдыха и, управляемый чутьем, достиг до Ханских Прудов; он отыскал Ивана, уцепился за полу сюртука и потащил его прямо к барскому дому, страшно махая хвостом перед каждою дверью и устремляя на Ивана с мольбою подслеповатые глаза свои. Иван хотел было привести в порядок туалет нового гостя, но Медор, сгоравший от нетерпения, не дал ему исполнить такого намерения, рванулся в двери, обежал несколько комнат и, прошмыгнув мимо испуганной Фионы Ивановны, влетел сломя голову в комнату своего господина. Обнюхав его с головы до ног, Медор сел на задние лапы против постели и забарабанил хвостом по полу. Припомнив, однако ж, старые уроки, которые гласили, что

лучший способ не тревожить и не подымать дичь состоял в том, чтоб взять стойку, Медор тотчас же изменил прежнему своему положению; он встал на три ноги и, приподняв правую переднюю, вытянув шею, принялся караулить своего господина с тем же притупленным вниманием, как если б находилась перед ним жирная, тучная куропатка. Так прошли добрые три часа; но когда Павел Петрович раскрыл глаза, Медор уже не выдержал дисциплины и, позабыв старые уроки, кинулся с визгом к нему на шею и принялся душить его своими пыльными лапами, нимало не обращая внимания на то, что конец веревки шмыгал во все время исправнейшим образом по носу и щекам его господина. Свидание было самое трогательное. Но когда Лизавета Семеновна объявила, что всегда любила Медора и, в подтверждение своих слов, погладила его по голове, велев ему дать поужинать, восторженность Карачаева дошла до крайних пределов: он не переставал повествовать всем и каждому о необыкновенных свойствах Медора, и вообще так увлечен был мыслью о его возвращении, что первым движением его, когда Балахнов приехал из Горшкова, было сообщить ему о радостном случае.

- Ну, брат, Аристарх Федорович, ecoutez, Медор здесь! - закричал Карачаев, бросаясь обнимать хозяина. - Здравствуй, душа моя! И как, братец, странно: лежу в постели, смотрю - Медор! Поверишь ли, Aristarque, душа моя, веревку отгрыз, за сорок верст прискакал - вот она штука-то в чем! Ну, что еще?.. Да, Лизавета Семеновна, слава Богу, здорова и детки также... Все благополучно в доме... Я за всем присматривал, все, брат, надежнее. Ну, а где же Порфирий? Куда ж ты его дел? - заключил Карачаев, переговорив без отдыха все предыдущее.

- Я оставил его на половине дороги, после того, как мы выехали от Фанагории Петровны. Он отправился к Кокуркиным заказывать кое-что для приданого, - отвечал Аристарх Федорович, выходя из коляски.

- Ну, душа моя, ecoutez: как же дела его? Надеюсь, ты все устроишь?

- Все, все устроено, - рассеянно произнес Балахнов, направляясь в кабинет.

- Устроено! а? Ну, это значит: надо навострить лыжи да утекать отсюда. А жаль! Хотелось пожить с вами.

- Это еще что такое?

- А то, душа моя, - возразил заботливо Карачаев,- что... что свадьба будет на днях, и мне, следовательно, надо распорядиться: музыка, вино, то, другое, третье, десятое. Надо съездить к невесте, потом в губернский город; все это, душа, требует времени... вот она в чем штука-то!

- Полно городить вздор! Все это устроится отличнейшим образом и без тебя. Сиди здесь и жди, пока напишут, что нужен шафер.

- Что-ж? я очень рад. Помилуй, душа моя! Ты знаешь, я готов тебя слушать всегда и во всем. Мне, конечно, приятнее с вами, чем где бы то ни было. Но посуди, брат, я все насчет Медора; чутье-то, а? каково чутье? скажи на милость! Прибежал за сорок верст... Привязанность какова!

Аристарх Федорович начал одеваться и приступил немедленно к распоряжениям насчет долины. Карачаев возвратился к своему Медору, и все могли любоваться, как он три часа сряду, сидя на последней ступеньке террасы, изъяснялся с собакой, которая сидела на дорожке и, вперив свои подслеповатые глаза на хозяина, сильнейшим образом барабанила хвостом. О чем они толковали - неизвестно, но всем, однако ж, казалось очевидным, что Павел Петрович был очень доволен.

Довольна была также, и даже очень, очень довольна девица Сараманаева. Пухлое лицо ее сохраняло выражение невинной, но привлекательной стыдливости, точь-в - точь как в ту заветную и милую для сердца минуту, когда она ловила бабочку в темной аллее старого сада; с той заветной и милой для сердца минуты, никто уже не видал глаз Розалии Владимировны, но взамен их каждый мог вдоволь любоваться ее белками. Она не переставала как бы глядеть внутрь себя, боясь, вероятно, разрушить действительностью окружающей жизни поэтический мир своих мечтаний. Она всегда любила мечтать, но

теперь, после сцены в саду, мечтание стали ее потребностью и вместе с тем сладчайшей отрадой... ”О, милый, милый, но жестокий молодой человек! - думала она, выворачивая на изнанку свои глаза, - зачем ты не подошел тогда ко мне? Зачем не сказал приветливое слово любви? Скажи слово, одно слово - и я написала бы тебе тотчас же милую записку! Ужасный человек! жестокий Бобохов!"

Тут девица Сараманаева делала обыкновенно движение рукою, как бы защищаясь от беспокойных ласканий нетерпеливого любовника, и продолжала, выставляя белки свои: „Что ж? я не нищая, не проживалка какая- нибудь; я дворянка, и если живу у Балахновых, то это потому только... о милый, милый, но жестокий молодой человек! потому что отдала им, отдала Аристарху Федорычу свой капитал на сохранение. Конечно, пять тысяч немного, но все же состояньице независимое, все же доказывает оно... Что я говорю, о Боже! Боже! разве любящее сердце может об этом думать? Нет, „ты" поверишь мне, милый, но ужасный человек! Разбей мое слабое сердце и взгляни в него. О! ты уже разбил его, коварный, ужасный молодой человек!" Так думала и сокрушалась перезрелая весталка, но со всем тем была очень, очень довольна.

Доволен также был Аполлон Егорович Дрянков; и мог ли быть несчастным человеком он, рука которого начертала бесценные страницы „Непризнанной Индейки”? Причина его довольства в настоящую минуту объясняется сама собою: перечитывая каждый вечер и каждое утро (в эти минуты голова всегда свежее и рассуждения яснее), перечитывая лучшие места из своей повести, он, разумеется, убеждался более и более в несомненном ее достоинстве, и сознание это естественным образом должно было услаждать его авторское сердце. Припоминая невежественные толки непросвещенных, но тем не менее многочисленных слушателей „Непризнанной Индейки", он смеялся над ними; особенно забавляли его - да и как не забавлять!-суждения Карачаева. „Павлу Петровичу (говорил он) не могут быть доступны предметы высокого поэтического содержания, требующие, как ведомо, со стороны читателя или слушателя художественного такта и эстетического развития". Разбирая мысленно и строго всех своих слушателей, Аполлон Егорович остановился с удовольствием на внимательном лице Порфирия Павловича, припоминая, как страшно вылуплялись глаза Василькова всякий раз, когда он читал ему свою повесть и, принимая страшную выпуклость глаз за выражение изумления и живейшего любопытства со стороны слушателя, Дрянков дал себе слово непременно поехать к нему, чтоб усладить чтением незабвенных страниц и без того уже сладкий медовый месяц молодых супругов. Окончательным намерением его было отправиться в конце июля или в другое время, смотря по обстоятельствам, в Москву и предать тиснению „Непризнанную Индейку", которая в настоящую минуту переписывалась набело рукою самого автора.

Вдова Чивадзе, или проще Фиона Ивановна, была также очень довольна: ревнивое сердце ее почувствовало облегчение уже с той минуты, как ненавистные и вполне презрительные Кокуркины покинули Ханские Пруды. С той минуты робкий луч надежды снова проник в ее истерзанную грудь и, проясняясь постепенно, показал, что в этой истерзанной груди много еще таилось огня, готового вспыхнуть ярким пламенем при малейшем благоприятном дуновении со стороны недостойного и слабодушного Копкова.

В ожидании, несчастная жертва страстей сама разжигала это пламя беспрерывным, невольным лицезрением Прокисая Захаровича. Как только бедный проживальщик уходил в сад с детьми Лизаветы Семеновны, Фиона Ивановна летела стремглав наверх, в свою комнату, чтоб полюбоваться им еще раз. Прокисай Захарович садился у берега пруда и начинал играть на маленькой дудочке собственного изделия: иной раз Володя запрягал его в камышевую тележку, и Прокисай Захарович летел дробной рысцой по извилистым дорожкам; в другой раз, утомленный дневными трудами, он ложился отдыхать под тенью акаций на садовой скамейке... Такие картины доставляли неизъяснимое утешение страстной душе госпожи Чивадзе. Обворожительные грезы снова зароились толпами в голове ее; снова, сквозь мрак, постепенно прояснявшийся, мелькнул маленький домик в

уездном городе, приобретенный на двухтысячный капитал, добытый трудом и потом в доме Балахнова; снова увидела она себя бегающею и суетящеюся по делам хозяйства, тогда как Прокисай Захарович, в зеленом своем сюртуке травяного цвета, сидит у растворенного окна за стаканом чая и слегка бренчит на гитаре.

Итак, Фиона Ивановна была довольна: но кто сказал, что она могла быть довольнее Калины?.. Никогда, никто не мог сказать этого. В самом деле, какие академические залы могли сравниться с широким простором большой дороги, по которой утром и вечером, во всякое время дня, беспрерывно шел и ехал народ? Завидная выставка для гениального художника! Волны народа стелются одна за другой мимо его произведений, и далеко всюду разбегаются народные волны, унося на хребте своем имя художника... Калина понимал это как нельзя лучше, и потому был очень доволен.

Принимая в соображение постоянные прогулки при лунном свете карачаевского Ивана и Глафиры Львовны, должно полагать, что им было не совсем скучно. Что же касается до того гостя-лакея, который - помните, все вздыхал при рассказе Ивана, - он просто был вне себя от радости: изумляясь, с одной стороны, необычайному искусству карачаевского Ивана, вертевшего на мизинце тарелки и подносы, восхищаясь, с другой стороны, гениальностью Калины и поставленный судьбою между двумя подобными людьми, он не мог быть недоволен и выражал свое довольство, не переставая покачивать головою.

Но вот что странно; кто поверил бы этому? Лизавета Семеновна была также довольна! Радость ее была, однако ж, совершенно другого рода и не выражалась никакими восторженными выходками.

Она сидела по-прежнему у окна маленькой детской, по-прежнему окруженная детьми, и считала себя совершенно счастливою уже тем, что третьи сутки пользуется тишиною и не обязана выходить в будуар с батистовым платком в правой руке. Она любила четырех детей своих с одинаковою страстью, и нежное материнское сердце ее было вознаграждено за все горести, когда замечала она, что ручки четырех детей обхватывали ее шею с одинаковою силой. Иной раз, правда, она задумывалась, и это случалось обыкновенно после того, как старая няня, уложив детей, зажигала лампадку и уходила за свою коленкоровую занавеску; она задумывалась и, положив локти на окно, устремляла глаза на глухую, заброшенную часть сада, освещенную бледным месяцем. Одинокая заброшенная часть сада, заброшенная потому лишь, что природа, устроив ее скромною, тихою, лишив ее живописного, крикливого эффекта и громко говорящих за себя красот, не представляла ли бедной женщине картины ее собственного положения! Она долго задумывалась, и мысли ее, сменяясь одна другою, как светлые струи тихо бегущего ручья, часто останавливались на муже. Ей казалось странным, непонятным мелочное, ничтожное, пустое самолюбие Аристарха Федоровича; она содрогалась, однако ж, при мысли, что это ничтожное, пустое самолюбие было единственною причиною охлаждения к ней ее мужа, было виною расстройства целого почти состояния и, что всего хуже, могло со временем, и даже очень скоро, лишить детей ее последнего куска хлеба. Она принималась приводить на память все средства, какие употребляются другими женщинами, чтоб овладеть своими мужьями; ей не хотелось властвовать над мужем; ей вовсе не нужно было беспрекословное повиновение ее капризам и прихотям; ей хотелось только владеть сердцем мужа, чтоб спасти от верной гибели его самого и будущность детей своих. Длинная нить горьких размышлений всякого рода приводила Лизавету Семеновну к семейству Окатова: какими тайными путями Софья Алексеевна прокралась в сердце своего мужа?.. Нет, Балахнова никогда не пойдет такими путями! К тому же Балахнов не Окатов!.. И быстро отталкивает она семейную картину, с двумя детьми, грустно сидящими в темном углу залы. И думает она: „Почему люди, готовые часто жертвовать жизнью за взгляд совершенно посторонней, ничтожной женщины, обращаются в лед и делаются страшными эгоистами в отношении к собственным женам, даже тогда, когда жены эти не дали к тому малейшого повода?“ Она снова задумывается,

и мысли ее снова возвращаются к тому, как бы завладеть сердцем Балахнова. Как полна была бы тогда ее жизнь! Она уносилась невольно живостью сладкой грёзы, и иной раз казалось ей, что она в самом деле счастлива! С какою любовью всматривалась она тогда в этот обманчивый призрак воображения, каким трепетом билось ее сердце! Мало-помалу спокойное размышление вытеснило сладкую мечту, и грустная, печальная действительность снова ложилась холодною плитою на ее сердце.

Но была одна мысль, могучая, твердая, непреклонная мысль, которая поддерживала ее в трудной борьбе с суровой действительностью. Пусть будет что будет, она не расстанется с детьми и, как ангел -хранитель, будет напутствовать их всюду. Пока бьется ее сердце, пока крепки ее руки, она не перестанет трудиться, будет добывать хлеб, если нужно... Нет, дети ее не останутся без крова и призрения! И она снова задумывалась, п мысли ее, сменяясь одна другою, как светлые струи тихо бегущего ручья, возвращались к более отрадным картинам. Она подходила к четырем постелькам, склоняла над каждой из них бледное лицо свое - и, поверьте, в эти минуты уже ничто не омрачало души ее: опа была счастлива по-своему!

Итак, все были довольны в старом доме Балахновых, но всех довольнее был все-таки сам Аристарх Федорович. Он не переставал величаво расхаживать по всем комнатам, бросая приветливые улыбки и светлые взгляды всем и каждому, встречным и поперечным. Иной раз Аристарх Федорович останавливался на террасе, закладывал левую руку за фалды голубой венгерки, правую запускал в складки манишки, качался самодовольно с носка на каблук, с каблука на носок, и вдруг, как бы озаренный новою, светлою мыслью, спешил в кабинет, где на столе между бронзовою Фемидой и акварельным портретом, схожим с древним греческим мужем, лежал лист бумаги с надписью наверху: „распоряжение касательно новоприобретенной долины.” Там Балахнов отмечал карандашом светлую мысль, надписывал сбоку: „сообщить Карпу Иванову", и снова, величественный, сияющий с головы до ног, возвращался с веселым лицом в залу.

В одну из таких прогулок, совершавшихся за полчаса до обеда, Сидор пришел доложить ему, что к крыльцу подъехал какой-то господин и спрашивает барина.

- А! это, должно быть, тот, что на ярмарке... как бишь его?.. Ну, да все равно, проси в кабинет, - произнес Балахнов, медленно отправляясь в свою комнату.

Через пять минут Сидор вводил Ардалиона Александровича Попельковского.

- Извините... „Аристарх Федорыч", я, может быть, вас беспокою?.. Прекрасный вид, великолепное местоположение! - говорит с необычайною развязностью Ардалион Александрович, раскланиваясь и устремляя голубоватые глаза на Балахнова, который приветливо улыбался и кивал головою.

- Здравствуйте! очень рад... виноват, я все забываю ваше имя и отчество...

- Попельковский... Ардалион Александрыч... - явственно, с выдержкою, отвечал гость, пристукивая остатками каблука и взбивая волосы.

- Садитесь...

- Помилуйте, чувствительно благодарен. Почел за обязанность засвидетельствовать свое почтение... Получив воспитание... Какой прекрасный дом! великолепный вид из окон! - заключил неожиданно гость, оглядывая углы, стены и окна кабинета.

На Ардалионе Александровиче был тот же нанковый желтый сюртучок, те же нанковые неизмеримые панталоны, падавшие на сапоги; красные руки его вертели ту же замасленную фуражку и показывали явственно, что он должен был голодать исправнейшим образом последние трое суток.

- Вы, может быть, думаете насчет моего платья, - начал вдруг Попельковский, презрительно оглядывая свои сапоги и панталоны, - ограблен собственным лакеем! Великолепнейшее поместье! чудный портрет! Чей это? ваш? У меня был точно такой же; писал в Москве Галкин... Подлейшим образом ограблен! Отличное было платье... шил Шамбахер. Свой дом на Маросейке... первый портной.

- Конечно, очень неприятно; но, впрочем, у нас найдется чем поправить беду.

- Чувствительно благодарен... Осмелюсь спросить: что это у вас за штука? - спросил Попельковский, притрагиваясь к зубу мамонта.

- А это зуб допотопного чудовища, чрезвычайно любопытная вещь. У меня одного, можно сказать, настоящий образчик; остальные все - подделки, возбужденные гнусной спекуляцией... Но, виноват, вы, может быть, курите; не хотите ли сигарку?

- Чувствительно благодарен. Весьма приятно. Осмелюсь спросить: есть у вас фабрики Белобородова? Я ведь других не курю.

- Белобородова нет, а вот nec plus ultra, если хотите... Что тебе? - заключил Аристарх Федорович, обращаясь к вошедшему Сидору.

- Мужик, который их привез, - отвечал камердинер, указывая многозначительно на гостя, - говорит, что хочет ехать, и просит денег.

- Ах, виноват! забыл! Одолжите два целковых. Мерзавец, скверно ехал. Подлейшая лошадь! Много буду благодарен... - произнес Попельковский, поправляя волосы.

- Вели, братец, выдать что нужно и отпустить мужика, - сказал Аристарх Федорович. - А, Карачаев! добро пожаловать! Вот, рекомендую тебе... Виноват, все забываю ваше имя и отчество.

- Попельковский... Ардалион Александрович. Весьма приятно познакомиться! - проговорил гость, подавая руку Карачаеву и раскланиваясь.

Наружность нового знакомца произвела на Павла Петровича с первого же раза самое неприятное впечатление; он холодно пожал ему руку и тотчас же вышел из кабинета. Останься Карачаев еще минуту, он не утерпел бы, чтоб не прикрикнуть с обычною своею откровенностью: „мне не нравится эта физиономия!"

- Осмелюсь спросить: кто этот господин, с которым я сейчас познакомился? - спросил Попельковский, наклоняясь к Аристарху Федоровичу.

- Карачаев.

- Приятное лицо, открытое! Ум, радушие, доброта сердца, - отвечал Попельковский, значительно двигая бровями.

Когда Конков и Дрянкин, предупрежденные людьми, явились в кабинет, чтоб познакомиться с приезжим, Попельковский снова нагнулся к Аристарху Федоровичу и, подмигивая ему на проживальщиков, повторил: „Приятные лица, открытые! Ум, радушие, доброта сердца!"

Затем он испросил позволение закурить трубку и начал расхаживать по кабинету, прикасаясь ко всякой вещи; он воссылал похвалы безусловно каждому предмету, не забывая заметить при этом, что обладал когда-то точно такими же сокровищами, и если оставался теперь в одном нанковом сюртуке, - всему виною негодный лакей. Из разговора оказалось, что у Попельковского находился когда-то зуб мамонта, такой же величины и тяжести, словом, совершенно схожий во всем с зубом допотопного чудовища, находившегося у Аристарха Федоровича; если Ардалион Александрович не может показать или даже подарить этого зуба Аристарху Федоровичу, виною опять-таки негодный лакей, обокравший своего господина немилосерднейшим образом.

Большая часть этих объяснений обращалась к Дрянкову и Копкову; Аристарх Федорович занимался в это время распоряжением, как бы приличнее снарядить нового знакомца, и отдавал Сидору приказание перенести в комнату проживальщиков кое-что из старого своего гардероба.

Узнав, что Дрянков был сочинитель, Попельковский объявил, что ему очень приятно это слышать, потому что он сам был когда-то сочинителем и даже печатал очень много в разных современных изданиях; бросил он литературу потому только, что никак не

мог ужиться с критиками и редакторами, с которыми, по словам его, решительно не стоило заводить знакомства.

К несчастью, беседа была прервана Балахновым, который пригласил гостя следовать за Сидором и привести в порядок туалет.

Расспросив предварительно у Сидора кой-какие подробности касательно дома и узнав, что жена Балахнова была еще молода, Ардалион Александрович закрутил усы, провел залихватский пробор между белокурыми своими завитками и, подмигнув в зеркальце, влетел молодчиком в залу. Он развязно отрекомендовался Лизавете Семеновне и сделал ей даже глазки; потом совершил такой же точно маневр в отношении к девице Сараманаевой, которая не замедлила показать ему белки свои; затем кивнул головою Карачаеву, как старому знакомцу и, повернувшись снова к хозяйке дома, заговорил о музыке.

Во время обеда Попельковский, не перестававший делать глазки Лизавете Семеновне и не обращавший решительно никакого внимания на то, что она повертывалась к нему каждый раз спиною, рассказывал необыкновенные истории. Он сообщил, между прочим, как в бытность свою в Москве дал концерт на виолончели в зале Благородного Собрания. Зала была полным -полнешенька, особенно много виднелось дам, и все без исключения принадлежали к высшему кругу. Сбору десять тысяч. Впрочем, виолончель заплачена была втрое больше; мастера не помнит... Пени... Рени... забыл! Теперь у него уже не было виолончели: разбил вдребезги за одну фальшивую ноту! С каждой минутой Попельковский почерпал, неизвестно из каких источников, более и более развязности. К концу обеда он сказал Дрянкову „ты" и начал подтрунивать над Копковым, к величайшему неудовольствию Карачаева, который не переставал бросать на гостя суровые взгляды. Аристарх Федорович смеялся от души. Ободренный этим, Ардалион Александрович принялся распоряжаться как дома.

- Вы, кажется, не пьете? Позвольте вам услужить. Весьма приятно! - сказал он, протягивая бутылку к Карачаеву.

- Не беспокойтесь; у меня есть свои руки! - сухо отвечал Павел Петрович, вращая своими воспаленными белками. Он хотел уже крикнуть: „мне не нравится ваша физиономия", но взглянул па Лизавету Семеновну, побагровел н молча опустил голову.

После обеда Аристарх Федорович, сопровождаемый новым лицом, Дрянковым и Копковым, отправился, по своему обыкновению, в кабинет делать кейф. Карачаев отказался наотрез от такого удовольствия; он остался в зале и принялся расхаживать вдоль и поперек с самым зловещим видом, не обращая даже большого внимания на Медора, который не спускал глаз с своего господина и друга.

А между тем Попельковский успел уже окончательно расходиться; беспечно покуривая трубку, он сообщал самые интересные происшествия; присутствовавшие узнали вскоре, что он был женат. Правдивый разсказ об этой женитьбе не лишен занимательности.

- Был у меня приятель Кондаков, Ваня Кондаков, славный малый! - говорил Попельковский, пуская клубы дыма и пристально всматриваясь в своих слушателей.- Вот раз приезжаю я к нему - а жил он, нужно вам сказать, в губернском городе и нанимал квартиру в доме одного грека - звали Рокопополо, богач, миллионщик! - Ну, знаете, приезжаю я к нему, то есть к Кондакову; давно не видались; то да се и пошло... Выставили бутылочку сантуринского, другую, третью. А Рокопополо-то, нужно вам сказать, был в этот день именинник и давал бал. Музыка гремит. Танцы. Вот и говорит мне Кондаков: „пойдем, говорит, на бал к хозяину". За галстуком-то, знаете, было: молодежь! Приоделись, пошли. Приходим. Видим: народу множество. Дамы хорошенькие, разодеты - богатство; но, знаете, все видно, что хозяин купец. Вот я подлетел к одной; хорошенькая такая, черномазенькая гречаночка. Танцую кадриль. Спрашиваю у Кондакова: кто? Тот говорит: племянница Рокопополо. Ладно, думаю, не отвертится. Танцую с ней вторую кадриль; делаю предложение... у меня это скоро. Принимают благосклонно. Сначала было и конфузия, то, другое, да у меня не отвертишься! На другое утро отправляюсь прямо к дяде. Объясняюсь. Очень, говорят, рады. Узнаю: десять, то есть серебром, тридцать пять тысяч приданого. Хожу женихом. Моя гречаночка так, знаете, и млеет. Вы, говорю я Рокопополо, дяде-то, отдайте заблаговременно приданое; меня, говорю я, не надуешь

этими супирами да дезирами. А деньги были, знаете, нужны: накануне проиграл десять тысяч Кондакову. Очень, говорит, рад. Ну, я, знаете, обнадежен; еду в Москву для закупок. Вдруг, как бы вы думали? получаю письмо: отказывают по молодости лет! Э-э! думаю: нет, брат, шутишь; меня этим не подденешь! Прискакал назад. Опять к Кондакову. Давай, говорю, назло ему, увезем племянницу! И в ту же ночь Рокопополо стал без племянницы. Обвенчался, повез ее к отцу... Очень, говорит, рад...

- Где ж она теперь? - спросил Аристарх Федорович, смеясь без церемонии в лицо рассказчику.

- Представьте: трех месяцев не прожила, умерла в злейшей чахотке, - продолжал Попельковский, нимало не смущаясь, - я было заказал для нее оранжерею: доктора предписали... Тогда у батюшки было тысяча душ - славное именье!

- Где же теперь эта тысяча душ? - спросил с усмешкою Балахнов.

- Я вам докладывал: тётка... процесс.. - отвечал Попельковский, затягиваясь из чубука.

Аристарх Федорович в добрые минуты любил посмеяться. Ему особепно приятно было, когда обласканные им ничтожные люди, не выступая из пределов уважения, платили ему дань, стараясь наперерыв потешить, смешить и забавлять его в то время, когда он лежал на диване с сигарою “nec-plus-ultra” во рту, совершая свой послеобеденный кейф. Это как бы всегда служило ему доказательством, что люди, обласканные им, понимают свое место и рвутся, чтобы доказать ему свою признательность.

Утомившись, однако ж, неумолкаемою болтовнею нового забавника, Аристарх Федорович оставил его в кабинете с Дрянковым и Копковым, а сам вышел прогуляться по саду.

Вступив в залу, он увидел Карачаева, который продолжал расхаживать, обнаруживая все признаки самого неблагоприятного расположения духа.

- Ба! Карачаев! что ты здесь делаешь? - весело воскликнул Аристарх Федорович.

- Видишь, хожу! - отвечал тот, окидывая зловещим взором комнату и продолжая расхаживать.

- Жаль, братец, что тебя не было в кабинете, - сказал, смеясь, Балахнов,-этот... как бишь его? я все забываю... ну, да все равно, врал такую чушь, что просто уши развесишь... Ступай туда, послушай. Он, кажется, все еще говорит.

- Чтоб я пошел его слушать! - закричал Карачаев, делая самые отчаянные жесты. - За кого ты меня принимаешь?

- За что ж такая немилость? - смеясь, спросил Балахнов.

- Мне не нравится его физиономия! - продолжал Карачаев, - это... это... это просто какой-то наглец! Уж довольно того... Да вот, чего же лучше? не успел он приехать, как уже, не спросясь никого, надел галстук Копкова... Ты этого ее заметил?.. Вот посмотри, если он не наделает тебе каких-нибудь неприятностей. Я только дивлюсь, братец, тебе: охота же пускать к себе в дом всякого прощелыгу!

Выслушав монолог раздраженного приятеля, Аристарх Федорович разразился громким самодовольным смехом; мало-помалу лицо его приняло степенное, серьезное выражение; он подошел к Карачаеву, потрепал но плечу и сказал голосом снисходительным, но не лишенным, однако ж, некоторой торжественности:

- Когда делают добро, любезный друг, или желают оказать помощь ближнему, не думают о том, к кому это добро обращается. Рассудок в этом случае омрачает благодеяние... Обязанность каждого из нас протягивать руку всякому неимущему. Делай добро с закрытыми глазами...

Проговорив это, Аристарх Федорович возвел очи к потолку и вышел па террасу в самом счастливом расположении духа.

XIII.

Желчь начинает кипеть в величавой груди Аристарха Федоровича.

Вдохнув в себя с наслаждением воздух, Аристарх Федорович закинул обе руки за спину, медленно спустился с террасы и ступил на первую попавшуюся ему дорожку. Занятый мыслями и соображениями всякого рода, он незаметно очутился в темной аллее и, подняв как-то неожиданно голову, увидел жену, сидевшую на скамейке с книгою в руках.

Балахнов остановился.

Она сидела к нему в профиль; бледное кроткое лицо ее, обрамленное гладко зачесанными волосами, склонялось над книжкой, которую поддерживала кисть правой руки; левая рука, белая как слоновая кость, лежала на скамейке; простое белое платье обтягивало ее стройную талию и падало мелкими длинными складками на ноги, положенные одна на другую.

Аристарх Федорович находился, как сказано, в самом веселом, певучем расположении духа; в эту минуту ничто, казалось, не в состоянии было омрачить души его. Он улыбнулся, когда увидел жену, и не переставал улыбаться во все время, как подходил к пей украдкою, очень довольный тем, что его не замечают.

Поравнявшись с ней, он вдруг упал на скамейку и залился самым добродушным смехом.

Лизавета Семеновна вздрогнула, подняла голову - и щеки ее покрылись румянцем.

Аристарх Федорович положил книжку на скамейку, взял руку жены и, уложив ее пальцы между своими ладонями, принялся слегка похлопывать.

Румянец заиграл еще сильнее на бледных щеках Лизаветы Семеновны; она пристально смотрела на мужа, не понимая, не отдавая себе отчета, откуда взялась вдруг такая нежность; она так отвыкла от ласкового, нежного обращения, что в первую минуту ей стало даже как-то неловко - чувство, весьма понятное всем заброшенным, забытым женщинам, когда совершенно неожиданно, вследствие каприза, приходится им испытывать ласковое обращение мужа.

- Я, кажется, душенька, еще не говорил тебе, что заезжал к этой полоумной Фанагории Петровне, - начал Балахнов, продолжая трепать женину руку. - Ну, Ли- занька, плачь над своим благоверным супругом: сердце его прострелено Фанагорией Петровной! Да! Однако ж, признаться, несмотря на прелести моей красавицы, я бы никогда к ней не поехал, если б не доброе дело... мне хотелось устроить судьбу этого бедного Василькова. Все, слава Богу, теперь кончено; старуха дает ему денег на свадьбу... Одно жаль: невеста, кажется, у! у! какая штука! Она уже теперь вертит женихом, как тряпкой. Такую сцену ему сделала, что бедняга чуть было не рехнулся; боюсь, чтоб супружество это не свернуло ему голову. Влюблен, влюблен, как шестнадцатилетний мальчик! Жаль будет: добрый парень!.. Впрочем, кто ж велел? сам виноват. Ну, потом я, кажется, также рассказывал тебе, заезжал в Горшков... - прибавил Балахнов расеянно, с видом величайшей небрежности.

Он, как уже известно, не много обращал внимания на то, нравилось ли что жене или нет; со всем тем, он не решался сообщить ей цели своей поездки и вообще очень неохотно посвящал ее в свои планы и намерения. Она стояла всегда перед ним как упрек и олицетворяла в его глазах его собственную совесть, которая частенько находилась в отлучке.

Лизавета Семеновна продолжала смотреть на мужа; ей не к чему было расспрашивать о цели поездки в Горшков: еще накануне узнала она все от болтливого Карачаева, и известие это, как каждый легко поймет, легло новою раною на ее материнское сердце. Приобретение долины поведет только к новым издержкам. Чтоб досадить Солонееву, Аристарх Федорович ничего не пожалеет; он пять лет сряду думал об этой несчастной долине и в состоянии наделать самых пошлых глупостей. Лизавета Семеновна понимала своего мужа как нельзя лучше. Всю ночь провела она, обдумывая,

какие бы употребить средства, чтоб отклонить его от новой покупки. Обнадеженная веселым расположением его духа, она собрала всю свою силу, все благоразумие, чтобы приступить к делу. Она ждала только, из чувства деликатности, чтоб Аристарх Федорович сам заговорил о предмете своей поездки.

По какому-то странному, небывалому приливу добродушия Балахнов не замедлил исполнить ее желание.

- Представь, душенька, как это неприятно, - продолжал он с тем же рассеянным видом, - приезжаю в Горшков с Окатовым, чтоб совершить купчую... знаешь, на эту долину... так, безделица, прихоть, и представь, не нашли кого было нужно: все разъехались. Так и не могли совершить купчей - должны были отложить до субботы.

- Это опять, верно, будет стоить много денег, - проговорила она, смягчая по возможности голос.

- Нет, вздор, безделица. Впрочем, об этом говорить теперь нечего; дело кончено: Окатов дал слово.

- Я сказала, друг мой, вовсе не с тем, чтоб упрекнуть тебя, - произнесла она, робко протягивая руку к руке мужа, - мне хотелось сказать, что в настоящую минуту нам очень нужны будут деньги.

- Зачем же? Покуда я не вижу еще никакой крайней нужды. Может быть, тебе нужно зачем -нибудь?..

- Нет, мне ничего не надо; я говорю не за себя.

- В таком случае, объяснись хорошенько; я, право, тебя не понимаю! - сказал Балахнов, утрачивая мало-помалу свою любезность.

- Я хотела сказать тебе, что Карачаев напомнил мне о долге и просил, чтоб я сообщила тебе, что ему нужны деньги. Ты должен ему, кажется, пятнадцать тысяч?

- Вот это мне очень нравится! - воскликнул Балахнов, медленно отнимая свою руку, - ему нужны деньги, а он обращается... то есть беспокоит тебя. Ему, кажется, следовало бы говорить об этом со мною!

- Ему совестно. Он сам сказал мне, что ни за что не решится просить у тебя денег, хотя деньги эти принадлежат ему; ты знаешь сам, как деликатен этот человек, несмотря на грубую свою наружность. Если б была должна я, а не ты, он, верно, обратился бы тогда к тебе.

- Ну, нечего сказать, матушка, нашла же деликатность, ха-ха! Карачаев - вот у кого деликатность! К тому же у меня нет теперь денег. И что, какая нужда, зачем нужны деньги этим людям? Пусть его живет у меня - чего ему еще? Кажется, не морят его здесь голодом, - проговорил Балахнов, бросая презрительные взгляды на стволы берез.

- Нет, ты после этого не знаешь Карачаева... - тихо сказала Лизавета Семеновна.

- Это мне нравится!.. Скажи, пожалуйста: вот все, в чем состояло твое беспокойство? Больше ничего?

- Нет, меня просила о том же Розалия Владимировна. Она хочет взять назад свой капитал.

- Как! и эта туда же? ха-ха-ха! Уж не хочет ли эта дурища выйти замуж? Раненько хватилась, голубушка, нечего сказать!

- Я не спрашивала о ее намерениях, - сказала Лизавета Семеновна, употребляя всевозможную нежность, чтоб только не раздражить Аристарха Федоровича, - не знаю, что она хочет делать; может быть, она думает оставить наш дом... Но во всяком случае требует назад свои деньги.

- Нет у меня денег! - коротко и сухо отвечал Балахнов.

Последовало молчание, в продолжение которого Аристарх Федорович встал со скамейки, закинул руки за спину и принялся расхаживать по аллее на протяжении десяти шагов.

- Я, право, не знаю после этого, что скажу им обоим. Дай мне хоть какой-нибудь совет. За Карачаева я ручаюсь; но не знаю, как примет отказ Розалия Владимировна: она может рассердиться, оставить наш дом и разболтать Бог знает что.

- Черт с ней! пусть себе рассказывает что хочет!

- Ты знаешь провинциальное общество лучше меня. Впрочем, везде, мне кажется, случилось бы то же самое, везде перетолковали бы по-своему твою неисправность: деньги ее - и она имеет полное право их требовать.

- Нет, ты скажи мне, в самом деле, любезный друг, - возразил Балахнов, останавливаясь внезапно против жены и устремляя на нее насмешливые глаза, - скажи мне, ты в самом деле думаешь, что какая-нибудь... смешно вымолвить! какая-нибудь Сараманаева может испортить мою репутацию, или повредить мне, мне - Балахнову?

- Не знаю, насколько она может повредить тебе, - отвечала, краснея, Лизавета Семеновна, - но во всяком случае деньги ее и, как я уже сказала, она имеет полное право требовать их назад. Я передала тебе обо всем этом, надеясь... я думала, что так как ты намерен купить эту долину, то у тебя есть деньги и, следовательно...

- Следовательно, отдать эти деньги, не так ли? Послушай: я хочу только просить тебя об одном... Я думал было промолчать, да так уж, к слову пришлось; скажи мне искреннее, откровенное мнение, как ты думаешь о покупке этой долины?

Такой вопрос поставил Лизавету Семеновну в самое затруднительное положение. Высказать ему прямо, без обиняков, свою мысль - значило дать повод к новой неприетной сцене; сказать, что он поступает прекрасно - она ни за что не решится говорить против совести и своих убеждений. К тому же она с утра еще решилась отклонить мужа во что бы ни стало от новой глупости. Вооружившись всею бодростью, обратила она на него полные живейшего участия глаза и сказала:

- Я думаю, что долина...

- Ну, извольте, слушаю, что вы скажете? - перебил Балахнов, выпрямляясь во весь рост, выставляя правую ногу вперед и складывая на груди руки.

- Я уверена, что долина эта совершенно лишняя... и не понимаю...

- Так! прекрасно! я этого только и ждал! - заговорил Аристарх Федорович, багровея, как жареный рак и принимаясь размахивать руками, - я это знал! Знал и знаю также, сударыня, что вы, по какому-то непостижимому упрямству, никогда не хотели понимать моих мыслей! Вы не умели дажо сделать различие между мною и теми пустыми людьми, которые вас окружают! - продолжал он, возвышая голос, - оставайтесь в этом приятном и лестном для вас заблуждении... Я, как вы могли заметить, принял уже давно свою долю; делайте что хотите! Я, со своей стороны, делаю то, что мне нравится, не спрашивая ничьего совета... Не знаю только, почему мне пришло в голову заговорить с вами о долине; вперед буду следовать неизменному своему правилу: никогда не вмешивать вас в свои дела...

- Я уже давно привыкла к этому, хотя и не подавала никакого повода, - сказала с грустною улыбкой жена.

- Та-та-та, сударыня, перестаньте, пожалуйста! Не станете ли вы говорить мне теперь о детях? или не захотите ли возобновить ваши намеки об обязанностях отца?..

- Вы угадали, - сказала она с необыкновенною живостью. - я хотела прибавить к тому, что если вы отстраняете меня от обязанностей жены в отношении к вам, то я, с своей стороны, никогда не забуду обязанностей своих к моим детям, и потому желаю сохранить права матери в отношении к этим детям...

- Ба! да вы, кажется, намекаете на ваши двести душ? - воскликнул Балахнов, забываясь окончательно.

Он выпрямился и гордо взглянул на жену; но та выдержала смело этот взгляд и отвечала с возраставшею энергией:

- Вы не ошиблись. Вы знаете, я никогда не решилась бы говорить вам об этом, Аристарх Федорыч. Видит Бог, как мне тяжело сделать это даже теперь, когда детям моим

угрожает опасность - лишиться последнего средства к воспитанию и, может быть, последнего куска хлеба... Да, скажу вам откровенно, я боюсь за их участь! Делайте что хотите, я не буду вам прекословить, но прошу вас, ради детей ваших, возвратить им их имение: оно должно быть неприкосновенно! Отдайте мне его: я берусь даже заплатить долги, о которых вам говорила.

- Нет, это уж слишком, сударыня! Вы забываете свои обязанности в отношении ко мне! ко мне!., - крикнул Балахнов, но в ту же минуту остановился, увидев на конце аллеи подходившего к ним камердинера.

- Что тебе? зачем? - спросил Аристарх Федорович, закусывая тонкие свои губы патентованными изделиями Вагенгейма.

- От Николая Степаныча Окатова человек с письмом.

- Где письмо?

- Приказано отдать, говорит, в собственные руки.

Аристарх Федорович бросил взгляд жене, которая сидела бледная, растерянная, в волнении, и, закинув руки за спину, вышел быстрыми шагами из аллеи.

Вернувшись в кабинет, он приказал позвать посланного от Николая Степановича.

Вошел Севка.

- Здравствуй, милый мой, - сказал Аристарх Федорович, ласково обращаясь к гайдуку, но вместе с тем устремляя на него пронзительный взгляд. - Ну что? как здоровье Николая Степановича?

- Слава Богу-с, приказали кланяться и отдать вам письмо, - отвечал Севка, почтительно вручая пакет.

- Как, и письмо ко мне есть? - произнес Балахнов, обнаруживая приятное удивление. - Хорошо; ступай, милый мой. Сидор! накормить хорошенько гостя; прикажи подать водки, да чтоб лошадь его не забыли! - заключил он, делая движение головою, чтоб оставили его одного.

Как только вышли люди, Балахнов запер на ключ дверь кабинета, уселся в кресла и поспешно распечатал пакет.

Но лишь только он развернул письмо, лицо его, за минуту улыбавшееся, вдруг изобразило все признаки страшного негодования.

Между страничками письма лежала аккуратно сложенная сторублевая депозитка, которую вручил он Окатову как задаток.

- Нет, шутишь, любезный! этому не бывать! - воскликнул Балахнов, бросая депозитку на стол.

Затем, успокоив себя энергическим жестом, он опустил сверкавшие глаза свои на записку.

„Любезный Аристарх Федорович (гласил Николай Степанович, очевидно, писавший под диктовку Софьи Алексеевны), непредвиденные обстоятельства заставляют меня отказаться от предложения вашего продать вам известную долину. Основываясь на вашем добром расположении, я уверен, что вы приняли бы в уважение эти обстоятельства даже в том случае, если б купчая была совершена законным образом и дело было бы кончено. Уверенный заранее в вашем снисхождении, прилагаю при сем задаток. Примите, м. г., и т. д.“.

Невозможно описать бешенства Аристарха Федоровича. Как! отказаться от долины в ту самую минуту, когда весь уезд и даже, может быть, сам Солонеев извещены уже о том, что она перешла в руки Балахнова! Отказаться от пятилетней мечты, взлелеянной в глубине сердца, обратить в прах великолепные проекты, которые должны были удивлять тысячи людей, отказаться от случая нанести перед лицом целой губернии блистательный, торжественный, смертельный удар непримиримому врагу - и все это из-за какой-нибудь прихоти, или так называемых непредвиденных обстоятельств Окатова!

- Нет, этому не бывать! - заключил Аристарх Федорович, скомкивая письмо и пуская его, неизвестно по каким причинам, в собственный свой портрет.

Пройдя несколько раз вдоль и поперек кабинета, Аристарх Федорович остановился неожиданно перед столом, раскрыл записную книжку свою и, обмакнув перо, написал дрожащею рукою: „Слово „честность" будет скоро находиться в одних лишь словарях!"

Исполнив это, он принялся снова расхаживать по кабинету, стараясь привести в порядок свои мысли и овладеть собою. Положение его было критическое. Требовалось с его стороны употребить всю дипломатическую тонкость и повести дело о долине таким образом, чтобы придать отказу Окатова вид милой и очаровательной шутки.

Так и было сделано. Аристарх Федорович отдал строжайшее приказание, чтобы никто не смел подходить к дверям кабинета, и принялся за работу. Вооружившись пером, он почувствовал тотчас же, что к нему возвратилась вся его бодрость. Он ожил мгновенно, как рыба, вынутая сначала на свежий воздух и пущенная опять в воду. Не сомневаясь нимало, что всему виною Софья Алексеевна, Аристарх Федорович написал ответ, преисполненный любезности; не переставая обращаться к Окатову, он не пропускал случая делать косвенные намеки, смысл которых заключался в том, что он, Аристарх Федорович Балахнов, очарован, обворожен женщинами, которые, играя первую роль в высшем обществе и занимая в нем блистательнейшее и заслуженное место, не пренебрегают домашними делами, входят в интересы мужа. „Такая женщина", - писал он, „венец и вместе с тем торжество и гордость нашего общества! " Затем, дав шуточный, веселый оборот отказу Окатова, он просил его сделать ему величайшую честь приехать откушать под свежею тенью берез в только что отстроенном киоске, помещенном в долине, - постройке, предпринятой в том убеждении, что он, Балахнов, считал всегда слово Окатова столько же неизменным, сколько твердым и непоколебимым. Свидетельствуя свое нижайшее глубокопочитание Николаю Степановичу, Аристарх Федорович осмеливался посылать нижайший поклон Софье Алексеевне и просил принять назад задаток.

Севка, упитанный и пресыщенный заботливым Сидором, исполнявшим беспрекословно волю своего господина, отправился с ответом далеко за полночь.

Весь следующий день проведен был Аристархом Федоровичем в беспокойном ожидании; это не помешало ему, однако ж, съездить десяток раз в долину, чтоб лично убедиться в поспешности производимых работ. Возвращаясь, он обыкновенно спрашивал: „Никто не приезжал от Окатова?" - и, получая каждый раз отрицательный ответ, ударял каблуком в пол и покрывался чистейшим пурпуром.

Прошел еще день, потом другой - ответа не было. Пурпуровый цвет уже не сходил с грозно-величавого лица Аристарха Федоровича. Раздражение его было так велико, что раз, застав у дверей кабинета Попельковского, он повернул его за плечи и выпроводил из коридора исправнейшим образом.

Такое поражение нимало не смутило Ардалиона Александровича, но вместе с тем поставило его в самое затруднительное положение: в зале, в это самое время, расхаживал Карачаев... Отретироваться на другой конец коридора и войти в комнатку проживальщиков было для него невозможно: третьего дня, вечером, Ардалион Александрович, выслушивая чтение „Непризнанной Индейки", имел неосторожность подать мнение, что повесть никуда не годится и автор лучше сделает, если станет писать под его диктовку. Дрянков, пылая справедливым негодованием, поклялся отмстить советчику, если только тот попадется ему на глаза. Взгляд и движение, сопровождавшие угрозу, показывали ясно, что оскорбленный автор ни перед чем не остановится. Не время было долго раздумывать, и Попельковский, избрав из двух зол меньшее, вышел в залу. Но каково было удивление Ардалиона Александровича, когда Карачаев тихо повернулся к нему спиною и вышел в гостиную. Попельковский не знал, что между Карачаевым и Лизаветой Семеновной происходило накануне маленькое совещание, в котором последняя просила Павла Петровича не делать никакой сцены и не обращать ни малейшого внимание на сокровище, привезенное Аристархом Федоровичем из Горшкова; не знал также Ардалион Александрович и того, что одного слова Лизаветы Семеновны

достаточно было, чтоб Карачаев даже в состоянии был протянуть ему руку. Приписав миролюбивою выходку Карачаева трусости, Попельковский засвистал какую-то трель и направился в сад.

Нетерпение Аристарха Федоровича возрастало, между тем, с каждым часом, с каждой минутой.

Наконец на третий день явился Прошка с вожделенным ответом.

Николай Степанович, свидетельствуя свое почтение Аристарху Федоровичу, изъявил искреннее сожаление, что не может исполнить просьбы и уступить долину. Он обнаруживал крайнее удивление, что Аристарх Федорович, не быв еще введен во владение вышеупомянутой долиной, приступил тем не менее к рубке леса и постройкам, и просит его всепокорнейше остановить таковые распоряжения. Затем, свидетельствуя свое почтение, он возвращает ему задаток.

Час спустя после этого голодный Прошка скакал на голодной лошади в Большие Соли, неся за пазухой ответ Аристарха Федоровича.

В ответе значилось коротко и ясно, что человек, давший раз слово, не отступает от своего обещания. Основываясь на этом, Аристарх Федорович почитает дело оконченным и просит раз навсегда Николая Степановича оставить у себя задаток, в ожидании скорой выдачи остальных денег.

В тот же вечер записная книжка Балахнова украсилась следующею мыслью: „Низкого человека обыкновенные свойства суть: ласкательство, притворство, лицемерие, пронырство..." Сбоку, на полях, бросалась в глаза фамилия Окатова, написанная другим почерком, но очевидно тою же нетвердою рукою.

На этот раз ответ не замедлил явиться из Больших Солей.

Николай Степанович уж не свидетельствовал своего почтение Аристарху Федоровичу, а говорил напрямик, что желает прекратить с ним сношения, как до долины относящиеся, так равно и всякие другие. Задаток находился при письме.

Несчастной депозитке пришлось снова пропутешествовать из Ханских Прудов в Большие Соли, но уже в сообществе ядовитейшего и злейшего письма, какое когда- либо начертано было рукой человеческой.

С этого дня перо Аристарха Федоровича забегало неутомимо но бумаге.

Прежде всего написано было в Горшковский земский суд прошение, а о чем, тому следовали пункты... Пункты заключались в том, что он, Аристарх Федоров, сын Балахнов, положившись на крепкое слово Николая Степанова, сына Окатова, обещавшого продать ему долину, лежащую там-то и там-то, застроил вышеупомянутую долину дорогими постройками, живописью украшенными; а так как вышереченный Окатов отступает ныне от своего слова и требует возвращение долины в свою собственность, то он, сын Балахнов, просит покорнейше Горшковский земский суд принять в соображение великолепные украшенные живописью постройки, возведенные на землях Окатона, и заставить последнего возвратить ему, Балахнову, протори и убытки, каковым виною лживые обещание вышереченного Окатова, а буде Горшковский земский суд найдет прошение основательным, что не подлежит сомнению, дать ему надлежащий ход по всем судебным инстанциям.

При сем Аристарх Федорович прикладывал список построек и издержек и, сверх того, частное письмо к Нилу Степановичу Лукьянову, в котором, между напоминанием о том, что он был свидетелем обещания, данного Окатовым, и между просьбою поддержать это обещание в случае надобности, Балахнов приглашал Нила Степановича на ботвинью и на бутылочку шато-роз-пульяка.

Курьер, посланный из Ханских Прудов с драгоценными бумагами, должен был завернуть мимоездом в деревню Семена Семеновича Кошкина и вручить ему послание, в котором Балахнов, сверх известия о поступке Окатова, просил своего друга приехать немедленно для совещания.

Рука Аристарха Федоровича не останавливалась уже ни на минуту. Вскоре известие о ссоре с Окатовым пронислось по всему уезду с быстротою зажженной смолы.

Жил-был в том же уезде седенький, толстенький старичок, по имени Фукол Иванович. Этот Фукол Иванович жил, казалось, для того только, чтобы вмешиваться во все ссоры, имея в виду примирять поссорившихся. Верный, как всегда, человеколюбивому своему призванию, он осадил Аристарха Федоровича письмами (Фукол Иванович был разбит параличом и редко трогался с места), прося его снизойти к мольбам преклонного старца, внять звукам замогильного гласа и протянуть руку приязни почтенному и премногоуважаемому Окатову. Но замогильный глас Фукола Ивановича пронесся в пустыне, и миролюбивое сердце старика переполнилось горечью, когда узнал он, что Аристарх Федорович так же мало слушает его в этом деле, как в деле с прежним врагом своим, Солонеевым.

Балахнов остался непреклонен.

Деятельность его возрастала по мере усиление препятствий.

Получив в один и тот же день два письма, одно от Кошкина, в котором извещалось, что Семен Семенович не может явиться по причине болезни, другое от Лукьянова, в котором обозначалось, что Нил Степанович не может явиться на радушный зов по непредвиденным обстоятельствам, - Балахнов и тут не упал духом.

Перо его продолжало так же усердно ходить по бумаге, а сам он продолжал следить по-прежнему за наиболее поспешным исполнением работ, уверенный, что только окончанием их можно заставить Скатова отказаться от долины.

В таком-то благоприятном положении находились дела, как вдруг в один прекрасный летний вечер Аристарх Федорович известился, что Горшковский земский суд признал его прошение неосновательным и отказал ему.

Удар пришелся в самое сердце Аристарха Федоровича, и именно в ту часть, которая проникалась уже некоторою надеждою. Он хотел что-то сказать, но вдруг затрясся всем телом и грохнулся в вольтеровские кресла вместе с грозным приговором земского суда.

XIV.
Желчь продолжает кипеть в груди Аристарха Федоровича. ПорФирий Павлович Васильков женится.

- Позвать сюда Карпа Иванова, Калину, и... и... и... позвать сюда Карпа Иванова и Калину!

Такими словами разразился Балахнов, как только пришел в себя. Он быстро приподнялся с кресел, гордо взглянул на зуб мамонта, как бы вызывая его на спор, и принялся расхаживать по кабинету. Минуту спустя на пороге показались староста и Калина.

Аристарх Федорович принял мгновенно одну из самых величественных осанок.

- Карп, - сказал он, стараясь скрыть бурю, грохотавшую в его груди, - Карп, сейчас же, сию секунду, нарядить всю барщину и разобрать - слышишь, разобрать все постройки в долине... все, до последней щепки!..

Но тут Аристарх Федорович уже не выдержал: девятый вал взволнованной желчи хлынул ему в самое горло; слова его спутались, смешались, и вдруг, как бы прорвав невидимую плотину, посыпались подобно яростному потоку... Страшен был этот поток, кативший мутные, пенистые, клубившиеся волны, увлекавший на пути своем все, что ни попадало: камни, корни, клочки земли и целые сосны с их пнями и сучьями. Долго грохотал поток по направлению к двери, где стоял Карп Иванов, и вдруг, неожиданно изменив русло, покатил в другую сторону и обдал с головы до ног Калину - красу и славу художников Горшковского уезда.

- Вон все вензеля и арабески! - послышалось внезапно в мутных волнах потока. - Чтобы духу их там не было! Свалить на чердак всю эту пачкотню! Снести в курятник,

чтоб на глаза не попадались!.. Все пьешь! Вон пошел и сейчас же все исполнить, старый пьянчуга! - заключил Аристарх Федорович, топнув каблуком.

Калина вышел из кабинета. В ушах его звепело, как словно только и дела ему было с утра, что стрелять из пушек; в голове происходила такая суматоха, как будто все украшение, карнизы, расписанные его рукою, столпились в одну кучу и разом грохнулись ему на голову. Он держался, однако ж, прямо. Направляясь медленным шагом в людскую, он решил, что ни за что не останется более в этом доме.

- Коли пачкотня, пущай будет пачкотня; а коли пачкотня, так, стало, и не надо.

Таков был результат его размышлений. Когда он вступил в людскую, никто не заметил его прихода. Крошечные дверцы каморок отворялись и запирались дворовыми, которые сновали по всем направлением, сбирались в кучки, наполняя людскую шушуканьем, посреди которого раздавалось: барин изволят гневаться! Никто не обращал внимания на Калину. Палашка, которую пять минут назад застал он подслушивающей у дверей кабинета, убежала в испуге наверх, в комнату Фионы Ивановны. Другие люди, пользовавшиеся расположением маляра, занимались собственными своими делами. Один из лакеев только что получил чрез мужика, приехавшого в Ханские Пруды, письмо от родных, и карачаевский Иван, стоявший спиною к Калине, читал это письмо во всеуслышание:

„Любезному нашему братцу Моисею Егорычу во-первых брат твой Михайло Егорыч счел за первый долг с супругою Капитолиною Стратоновной свидетельствовать всенижайшее почтение и поклон во-вторых от сестрицы твоей Анны Егоровны с супругом Михаилом Матвеичем желаем тебе быть здоровому затем свидетельствую свое прелюбезное почтение и поклон в-третьих кумушка Фекла Потаповна нижайшее почтение в-четвертых дедушка Аника Федорович свидетельствует нижайший поклон с любовию и желает тебе быть здоровому и благополучие навеки ненарушимое и от всех знающих тебя и известных нижайший поклон и почтение от любви затем пожелав тебе доброго здравия и всякого благополучия от Всевышнего Творца остаюсь брат единоутробный любящий тебя сердцем к услугам навсегда готовый.

Михайло Акишев ".

- Извольте получить, - сказал, Иван, подавая Моисею Акишеву письмо, на котором была такая огромная печать, как будто в письме заключалось несметное сокровище.

- Покорно благодарю за одолжение, - отвечал Акишев, задумчиво складывая братнино послание.

- Ах, батюшки! да вот и Калина Васильич! - воскликнул Иван, увидав маляра, который сидел на скамейке, опустив голову с мрачно нависшими бровями и глядел в угол. - Ну, что, как, зачем призывал барин?.. - Иван остановился и дал дорогу Глафире, которая вбежала в людскую с платочком па голове, кокетливо подвязанным у подбородка.

- Здравствуйте, Иван Емельяныч, - сказала она, посылая улыбку милому своего сердца, - я пришла к Калине. Ну, что, Калина Васильич, что говорил барин? - промолвила она, устремляя нетерпеливо-любопытные глаза на старика.

- Вот сошлись в одно слово, - промолвил с улыбкою Иван, - и я об этом же его спрашивал.

- Калина Васильич, что же ты ничего не говоришь? Экой какой! Я нарочно прибежала затем, - произнесла горничная, схватив его за рукав.

Калина грубо отдернул руку и продолжал сурово смотреть в угол.

- Эх, полно, старина! - сказал Иван, трепля по плечу малярного мастера, - полно; ну, о чем задумался? Что? аль жутко пришлось? Полно...

- А пачкотня, так и пачкотня! - проговорил наконец Калина, все еще продолжавший смотреть в угол. - Поминай как звали, коли так! Завтра же чем свет ухожу из эвдакого дома - баста! - прибавил он, ударяя ладонью по коленям и обводя глазами присутствующих.

- Может ли быть? и он, Калина Васильич, вон из дому! - с изумлением воскликнул Акишев, питавший в душе твердую уверенность, что потеря Калины для Ханских Прудов ничем не вознаградима.

- Ну, когда так, - сказал Иван, усаживаясь на лавочку подле старика и подмигивая в то же время Глафире, - когда так, Калина Васильич, слушай же, что я скажу тебе: печалиться нечего...

- Кака мне печаль! - сурово перебил Калина, - что из дому-то отхожу? Я везде хлеба найду, да еще спасибо скажут - вот что!

- О том-то и идет речь. Я, признаться, давно хотел поговорить с тобою, - продолжал Иван. - Видишь ли какое дело, братец ты мой: у меня в разуме вертится оставить своего барина. Жаль, признаться, очень жаль, да как быть: свои дела хочется справить! Вот, слушай, братец ты мой, какое дело: пришло мне на мысль, и давно, признаться, пришло стакнуться, списаться, примерно, с другими, прежними товарищами. Труппу составить не трудно. Меня любили всегда, благодаря Бога, и все ко мне пойдут. В виду у меня, видишь ли ты, наш губернский город. Народу богатого живет много. Тут только и быть балагану; дело-то мне с руки. К тому же времени, авось Бог даст, и Глафир... ну, да что об этом толковать!.. Хочешь поступить к нам в долю, Калина Васильич?..

- А что там стану делать? Нешто я комедиянщик какой?

- Как что делать? А кто ж будет писать кулисы-то? Об этом я и прошу тебя.

- Что ж! пожалуй; по мне все равно: декорации ли какие, другое что - все могу сполнить! - отвечал Калина, расправляя брови. - Вот одно только разве, - промолвил он, снова насупиваясь, - куда я дену этого пострела? Ну, чего стоишь? что глазища-то выпучила? - заключил он сердито, обращаясь к Палашке, которая с минуту уже стояла в людской и прислушивалась к толкам.

- Что ж, тятенька, и я пойду с тобой! - сказала девчонка, просовывая остриженную голову из-под руки Моисея Акишева.

- Молчать! - сказал Калина.

- Полно сердиться, старинушка: вот есть из чего! А насчет ее ты не сумлевайся: к тому времени, может статься, Бог даст Глафир... ну, да что загадывать? Пристроим Палашку, найдем и ей место. Скажи ты мне только одно, Калина Васильич: можешь ли - да наверное говори - можешь ли, примерно, написать дубраву?

Калина небрежно взглянул на Ивана, повернулся к нему спиной и, презрительно улыбаясь, стал смотреть в угол.

- Как, Калина-то Васильич? Не сумлевайтесь, Иван Емельяныч, все может! - проговорил с поспешною заботливостью Моисей; затем он понизил голос, нагнулся к собеседнику и, глубокомысленно моргая белыми ресницами, прибавил, указывая головою на маляра: - умнейший человек, все может исполнить!

Калина повернулся к разговаривавшим, и лицо его не представляло уже ни малейшого следа суровости.

- Все могу, все могу! - произнес он, торжественно подымая голову и вместе с нею правую руку, - все могу, какие тебе хочешь декорации могу исполнить: дубраву ли, лес ли какой, арабеск ли подвести - все могу...

- Ну, когда так, стало и разговаривать нечего! - радостно воскликнул Иван – По рукам, что ли?

- Ладно! - отвечал Калина.

- Вот Глафира Львовна и Моисей Егорыч свидетели; давай руку!

- А на закрепу-то что ж? - спросил Калина, подергивая бровями.

- И закрепа будет. Я не пью, а ты выпей себе на здоровье.

Иван дал деньги; Калина сунул их в руку Палашки. Вскоре явилась закрепа, а немного погодя на лице Калины изгладились и последние следы неутешного горя.

Целый месяц Аристарх Федорович не выходил из своего кабинета. Окна были тщательно завешаны, в коридоре разостланы половики; все ходили на цыпочках; подле

дома расставлены были люди, обязанность которых состояла в том, чтоб не подпускать ни одной телеги; дворовые собаки отправлены были в деревню; даже петухи подверглись изгнанию, к совершенному неудовольствию кур, которые, по свойственной им кротости, составляющей, как известно, лучшее украшение женского пола, перессорились в тот же день, поставили вверх дном все клетушки, взбудоражили целые ворохи соломы и объявили напрямик, что коли на то пошло, они себя покажут и назло же не станут нести яиц до тех нор, пока не исполнят их воли и не выпустят петухов из заключения.

Дом, погруженный в мрачное молчание, походил на заколдованный дом спящей красавицы, где все, начиная с кухонного огня, кончая прислугою и наконец самой царевной, предавалось беспробудному усыплению. Аристарх Федорович лежал в постели. С ним приключилось то же самое, что за восемь лет тому назад, после злополучной истории с Солонеевым: все предметы, лица и даже самое небо представлялись ему в ярко-желтом свете, как будто за день до этого Ханские Пруды, со всеми их угодьями и жителями, подверглись наводнению из шафранного настоя.

Аристарх Федорович лежал в постели! Не в порядке вещей, однако ж, чтоб умственная деятельность такого человека, каким был Балахнов, могла сокрушиться от подобной безделицы. Тело - особая статья: тело могло пасть и сокрушиться под бременем злополучных обстоятельств; но душа, ум - словом то, что называем мы духом и над чем мы властны, казалось, получило еще больше могущества и упругости в величавой груди Аристарха Федоровича. „Приятности и огорчения равно содействуют к возбуждению растительной силы, сокрытой в негодных семенах ”, - сказал какой-то мудрец. Встречает ли подобный человек всеобщее уважение или ненавистное презрение со всех сторон - самолюбие его разгорается с одинаковою, если еще не с большею, силою, особенно при последнем случае.

В продолжение этого месяца не было такого часа, где бы записная книжка Аристарха Федоровича не украсилась каким-нибудь мудрым изречением, которое показывало в авторе глубокое знание человеческого сердца, но вместе с тем и носило на себе печать горько-безотрадного чувства - увы! - неразлучного с таким познанием. Не проходило дня, чтоб окрестные соседи не получали памфлета, сатиры или аллегории на владетеля Больших Солей. Как, откуда, от кого, каким способом попадались памфлеты, сатиры и аллегории в руки соседей - никто объяснить не мог. Большею частью их находили на садовых дорожках или приносили дворовые люди, которые находили их ранней утренней порой на крыльце господ... „Вот вздор какой! есть из чего разлиться желчи и слечь в постель. Да наконец чего-ж добивался этот Аристарх Федорыч?” Если б привелось услышать такие вопросы со стороны читателя, я принужден был бы, с своей стороны, сказать ему с обычною своею откровенностью, что он решительно не посвящен в тайны человеческого сердца. Как чего добивался? Помилуйте! Вспомните только, чего добиваются другие люди! Я знал, например, одну даму, и даже очень неглупую, которая делалась больна всякий раз, когда одно очень значительное лицо, в дом которого она ездила, не удостоивало ее, за неимением времени, приветливым словом или взглядом. Разверните любое тяжебное дело: там найдете вы, как очень порядочные, по-видимому, люди истратили тьму денег и сделались непримиримыми врагами за клочок земли, не стоящий двух с полтиною на медные гроши. Прогуляйтесь по Невскому проспекту, по Тверскому бульвару, войдите в любое публичное место - вы увидите, что люди, преисполненные страшной гордости, гнутся в три погибели, млеют и замирают, чтоб получить взгляд, улыбку, пожатие руки, ласковый поклон, а иногда и того менее!.. Чего ж опи добиваются, скажите на милость? Неужели же Аристарх Федорович, сгоравший от самолюбия, желавший играть роль между помещиками своего уезда (желание, возбуждаемое еще более ненавистью к Солонееву, перед которым он хотел восторжествовать), скупавший по этому случаю соседние земли, задававший, не взирая на отощавший карман, балы и обеды, и вдруг лишившийся случая нанести окончательное поражение Солонееву - неужели все эти желания и стремления не легче объяснить, чем то,

до чего добиваются вышеприведенные особы, преисполненные недосягаемой гордости?... Но это в скобках.

В продолжение этого несчастного месяца никто, или почти никто не удостоился взглянуть на Балахнова. Он сам, впрочем, никого не хотел видеть. Во все это время был один только Порфирий Павлович, приезжавший звать к себе на свадьбу. Аристарх Федорович приказал впустить его, но принял в постели. Трудно описать отчаяние сердобольного Василькова, когда узнал он, что болезнь лишит его такого почтенного посаженого отца. У доброго, чувствительного Порфирия Павловича была так же, как и у всех смертных, своя доза самолюбия: разъезжая с приглашениями по соседям, он не мог утерпеть, чтоб не шепнуть на ушко радостное известие, что Балахнов будет у него посаженым отцом. Пронзенный теперь насквозь горестным событием, он каялся в своей поспешности. Несколько минут сидел он против постели страдавшего в совершенном оцепенении чувств. Оставалось одно утешение, что хоть, но крайней мере, Лизавета Семеновна Балахнова не откажется от роли посаженой матери жениха. В этом Порфирий Павлович не ошибся: Лизавета Семеновна, несмотря на всю свою грусть, дала слово приехать на свадьбу. Обнадеженный и несколько утешенный Васильков выходил уже в залу, как вдруг наткнулся на Попельковского, который, впрочем, давно уже поджидал его в дверях. Ардалион Александрович поспешно увлек его на террасу и начал с того, что бросился к нему на шею, обдав его потоком благодарственных изречений. Порфирий Павлович был тронут до глубины души чувствами старинного своего знакомого незнакомца. Он узнал, что Попельковский ни за что в свете не приехал бы в Ханские Пруды, если б был предуведомлен заранее, что Порфирий Павлович не составляет члена Балахновского семейства. Попельковский сгорал одним желанием увидеться с Васильковым, к которому с первого взгляда почувствовал неизъяснимое влечение. Порфирий Павлович узнал, сверх того, что бескорыстная душа Попельковского не выносила пышной жизни, таящей в себе зародыш холодного обращения, что роскошь большого света была тягостна Попельковскому, который предпочитал тихую семейную жизнь, скромный домик и сладостное созерцание двух нежно любящихся сердец. Быть другом, посредником между двумя любящими сердцами, - вот что составляло, по словам Ардалиона Александровича, истинное наслаждение в жизни.

Порфирий Павлович был так доверчив, что если б ему продали в Туле перочинный ножик и уверили его, что это настоящий английский, он и тут бы нимало не усомнился. С ним даже произошел, кажется, раз такой же точно случай. Он умилился до невероятной степени словами Попельковского, словами, которые выражали его собственные чувствования. Он утешил нежного Ардалиона Александровича, пригласил его к себе на свадьбу и поспешил уверить, что и сам мечтал всегда о такой жизни и радушно принимает его, как друга, в свое маленькое семейство. Попельковский хотел уже сказать: „нельзя ли как-нибудь скорее исполнить такое намерение?" - но увидев Карачаева, подходившего быстрыми шагами, выразительно подмигнул глазом и скрылся за террасой.

- Порфирий! ха! ха! ха! душа моя! - закричал Карачаев, растопыривая свои руки и радостно обнимая Василькова. – Однако ж, ecoutez, вот что, брат, радость радостью, дело делом: когда свадьба? - заключил Павел Петрович, нахмуривая брови и обнаруживая все признаки живейшей, глубокой заботливости.

Васильков объявил восторжепно, что свадьба назначена чрез десять дней.

- Стой! Ладно! - произнес Карачаев, принимая самый серьезный и деловой вид. - Едем, Порфирий; мешкать нечего. Надо все это устроить, душа моя, так, как следует. едем!

- Да куда же ехать-то? Я уж все устроил: музыку пригласил, купил вина, объездил весь уезд...

- Чего? че-е-во? - проворчал Карачаев, мгновенно разгорячась, - че-е-во? А кто ж тебя просил об этом? - крикнул он, запальчиво вращая своими воспаленными белками, - просил ли я тебя об этом, да или нет? Ты просил меня в шаферы - я согласился, и потом

ты поступаешь со мной так низко... Смеяться над собой я никому не позволю, слышишь ли? Я тебя спрашиваю: шафер ли я? да или нет?

Оторопевший Васильков поспешил уверить Карачаева, что он не только считает его своим шафером, но даже искренним, преданнейшим другом, и никогда не думал над ним смеяться.

- Ну, когда так, так стало так и есть! - воскликнул Карачаев, мгновенно успокоиваясь. - Я, братец, хотел сказать тебе, что это нехорошо; так не делают между порядочными людьми! Если ты приглашал меня в шаферы, значит, должен был положиться во всем на меня: я знаю свои обязанности!.. Ну, да Бог с вами! прошлого не воротишь; времени терять нечего: едем, Порфирий!

- Да куда же ехать-то? - спросил Васильков, решительно не понимавший, чего хотел от него приятель.

- Как куда ехать? Ты думаешь, пригласил музыкантов да купил вина, так уж и Бог знает какое дело сделал! - крикнул Карачаев, принимаясь размахивать руками - Нет, душа моя, все это надо устроить как следует между порядочными людьми. Сделай только милость, душа моя, не мешайся во все это, предоставь мне; я все это сам обделаю, - заключил он, окончательно смягчаясь.

Порфирий Павлович хотел было возражать, но Карачаев не дал ему проговорить слова. Оп бросился в переднюю, закричал: „Запрягать лошадей! жи-и-ва!", потом кинулся в людскую, отыскал Ивана и, объяснив ему, что вот так и так, должен ехать непременно на свадьбу, поручил ему надзирать заботливо за обедом и ужином Медора. Затем он вернулся в дом. Теперь предстояла ему трудная обязанность проститься с Лизаветой Семеновной, которая почему-то не покидала своей детской в продолжение последних трех недель. Карачаеву известна была в мельчайших подробностях причина грусти Балахновой; одну часть этих подробностей объяснил он себе рассудком, другая - самая сокровенная и вместе с тем сложная - разъяснилась перед ним помощью какого-то особенного сердечного чутья. В другое время он ни за что в свете не решился бы оставить Лизавету Семеновну на произвол судьбы, одну в большом доме (Карачаев был твердо уверен, что в его присутствии никто, ни даже сам Аристарх Федорович не решился бы взглянуть косо на добрую женщину; хотел бы он посмотреть, кто осмелился бы прикоснуться к ее волоску или нанести ей огорчение!), но теперь явилось такое обстоятельство, что волею-неволею он должен был отлучиться на время из Ханских Прудов. Он постучался в дверь спальни и, получив утвердительный ответ, предстал пред Лизаветой Семеновной с стесненным сердцем. Взглянув на бледное, заплаканное лицо ее, он окончательно растерялся и объявил напрямик, что ни за что не поедет из дому. Получив в ответ, что этого никак не следовало делать, потому что чрез то нарушалось деликатное положение, в которое поставлен он Васильковым, Карачаев успокоился. Он перецеловал детей, простился с Лизаветой Семеновной и вышел из детской, дав себе слово обделать как можно скорее все дела, взгроможденные на него обязанностью шафера, и вернуться как можно поспешнее в Ханские Пруды.

Полчаса спустя Карачаев усадил Василькова в свою тележонку и, приказав тарантасу не отставать ни на шаг, полетел вихрем по направлению к Грачовке.

Восемь дней, ровно восемь дней после вышеупомянутых событий Карачаев снова явился в Ханские Пруды. Заботы отпечатлевались резкими чертами на красном лице его, сохранявшем выражение полной готовности, усердия и, вместе с тем, сознания в отношении к почетной роли шафера, возложенной на него добрым приетелем. Он был в черном своем «фраке», в руках держал «шляпу». Шляпа, взятая на время у Барабанчикова (Карачаев сделал для этого нарочно сорок верст крюку), была крошечная и не могла уместиться на верхушке его лысины; поэтому он держал ее постоянно во всю дорогу в левой руке. Войдя с каким-то особенным величавым спокойствием в дом, он направился прямо к Лизавете Семеновне. Карачаев объявил, что приехал за ней: в доме жениха приготовлена была для нее комната; она переночует сегодняшнюю ночь и завтра

утром, после благословения бракосочетающихся, поедет за ними в церковь. Проговорив это с особенною торжественностью, он пошел в кабинет. Но тут уже достоинство, которое он хотел сохранить с таким тщанием, разлетелось вдребезги. Узнав, что Балахнов отказывается напрямик принять участие в свадьбе, Карачаев вышел из себя. Он объявил наотрез, что это ни на что не похоже, что так не делают между порядочными людьми, что если уж дал слово, так держи это слово... и прочее, в том же роде. Выпровоженный довольно неучтиво из кабинета, Карачаев осмотрел прежде всего локти фрака, которые не переставали издавать маленький треск во все время объяснения с Балахновым, потом перенес в левую руку шляпу и, полный своею ролью, отправился в комнату проживальщиков. Он церемонно раскланялся перед Дрянковым, протянул ему руку и сказал, что жених и невеста поставляют себе за особую честь видеть у себя на свадьбе Аполлона Егоровича. С такими же точно словами обратился он к Прокисаю Захаровичу. Поймав, не без особенных трудов, Попельковского, который продолжал бегать от Карачаева всякий раз, как видел кончик его красного носа, Павел Петрович отвесил ему сухой поклон и сказал: «И вас также просят на свадьбу!» Ардалион Александрович хотел было пуститься в любезности, но Карачаев повторил поклон и сухо произнес:..»Виноват, мне теперь некогда!». Исполнив в точности возложенные на него обязанности, Карачаев спустился в сад, нарвал огромнейший букет из самых ярких цветов и вернулся к Лизавете Семеновне объявить, что карета дожидается у подъезда. Церемония заштопывания фрачных локтей и усаживание Лизаветы Семеновны заняла немало времепи.

К вечеру шафер и посаженая мать уехали, сопровождаемые тележкой Карачаева, в которой сидели Попельковский, Дрянков и Прокисай Захарович.

Оставшись наедине в прадедовском доме, Аристарх Федорович приказал отворить ставни кабинета и увидел с особенным удовольствием, что окружающие его предметы все еще сохраняли такой вид, как будто подверглись наводнению из шафранного настоя. Мудреного тут, впрочем, ничего не было. Причиною были два письма, полученные накануне. В нервом письме Семен Семенович Кошкин извещал вторично, что весьма соболезнует его горю, но со всем тем не может утешить друга, потому что сам лежит в постели. Аристарх Федорович, узнав от посланного, что Кошкин был здоров и даже разъезжал по соседям, конечно, не мог не возмутиться такою вестью, и странно было бы, если б после этого род человеческий предстал пред ним в розовом свете. Он ничего, однако ж, не сказал и ограничился тем только, что подчеркнул в записной книжке следующее изречение: «Чем поверхность реки глаже, тем дно ее глубже; чем лицо человека спокойнее, тем душа его двуличнее». Второе письмо раздражило его настолько же, если еще не более. Оно было от старичка Пшеницына и напоминало ему ненавистного Окатова.

«Милостивый государь мой (писал Пшеницын), не могу преминуть вас уведомить, что я, по милости Создателя, нахожусь еще в живых. Посылаю к вам, милостивый государь мой, всепокорнейшее о неоставлении меня прошение. Был я на днях с ходатайством у многоуважаемого вами Николая Степановича Окатова. Не удостоился я великой чести узреть его. Сделайте такую божескую милость, замолвите письмецом ему о моем Фединьке. Что ты станешь делать! растет не по дням, а по часам! Ох, проспали, прозевали мы с матерью его лета. Желание, единственное желание всегда служить вам обнадеживает, что вы не отринете моей просьбы, ибо есмь с нелицемерным почтением преданный вам на веки вечные.

Иван Панкратьев Пшеницын».

Прочитав это письмо, Аристарх Федорович почувствовал легкое головокружение и приказал снова запереть ставни. Так провел он несколько дней сряду. Лизавета Семеновна, Карачаев и остальные проживальщики, приглашенные на свадьбу, вернулись уже в Ханские Пруды, а Аристарх Федорович все еще сидел или лежал в своем кабинете.

Вышел он в первый раз, когда, недели две спустя носле свадьбы, пришли доложить ему, что приехали молодые.

Аристарх Федорович явился в гостиную; рассеянно раскланялся с молодою, сказал ей два-три комплимента, потом два-три слова молодому, и принялся молча расхаживать по зале.

Женитьба произвела заметную перемену в Василькове. Он употребил, по- видимому, всевозможные усилия, чтоб казаться солиднее, глубокомысленно моргал глазами, говорил разумные, тихие речи, которые доказывали, что он уже проникся новым своим положением и понимал в совершенстве, что теперь не след было вмешиваться в шумные сборища холостых товарищей. Он должен был вести себя солидно, говорить разумно, взвешивать каждое слово, а в минуты молчания глубокомысленно закрывать глаза. Но, увы! – не все наделены завидною долею держать на привязи порывы своего сердца. Как ни крепился Порфирий Павлович, сколько ни насупивал бровей, чтоб сохранить вид спокойный и солидный, восторг, наполнявший его душу, прорывался насквозь и беспрестанно изменял ему. Он поминутно вскакивал с места, подбегал к жене, чтоб поправить какой-нибудь бантик, спрашивал, не беспокоит ли ее сквозной ветер, или садился подле и не отрывал от нее глаз, как бы желая предупредить малейшее ее желание. Антонина Васильевна не обращала большого внимания на мужа; черные быстрые глазки ее, обращавшиеся ласково ко всем, не исключая даже Копкова, отворачивались всякий раз, когда встречались с глазами супруга; видно было, что она билась изо всей мочи, чтоб показать совершенное беспристрастие, холодность и даже полное равнодушие к супругу. Подобно многим барышням, воспитанным в пансионах, она уверена была, что в этом-то именно и состоит бон тон. Супруг нимало, однако ж, не оскорблялся такими выходками: напротив, всякий раз, как супруга хмурила брови, он утраивал, учетверял свою нежность; не проходило минуты без того, чтоб Порфирий Павлович не целовал жениной руки или кончика ее мизинца. За обедом Васильков, усевшийся подле Антониночки, забыл уже все его окружавшее: он не переставал ухаживать за нею, наливал ей воды, поддерживал блюда, поправлял шаль и после каждого кушанья прикладывался к ее щеке или плечу, причем заунывно-страстно вращал своими глазами; раз даже, а именно во время десерта, он поцеловал ее несколько раз сряду в самые губки, так что Аристарх Федорович, сидевший насупротив, не утерпел, чтоб не сказать:

- Ай да молодые супруги! Вот любовь! Вот поцелуй! Вчуже позавидуешь!

Легкая тень иронии, которая проглядывала в этих словах, обдала стужей воспаленное сердце Василькова. Взглянув на раскрасневшееся лицо жены и нимало не сомневаясь, что смущение ее происходило от замечания Балахнова, Порфирий Павлович, все еще верный своей супружеской роли, чрезвычайно обиделся. Он поднял на Аристарха Федоровича глаза свои, потом опустил их и, покручивая головою, произнес не совсем твердым голосом:

- Что ж, Аристарх Федорович? тут нет ничего особенно такого... Вы... вы, может быть, целуетесь по утонченности света-с, а мы, Аристарх Федорович, мы – как любовь позволяет-с.

Так как после обеда Антонина Васильевна запретила своему мужу подходить к себе ближе чем на десять шогов, то Васильков, окончательно расстроенный и огорченный, отправился в сад.

За первым же кустом он встретился с Попельковским.

- Возмущен за вас... Грубо, неделикатно! - сказал Ардалион Александрович, крепко пожимая руку Порфирию Павловичу, который шел, опустив голову. - Неблагородно! Получив воспитание, почту долгом ответствовать. Скажу искренно: грубые люди! Не будь вы, никогда не остался бы в этом доме. Неделикатное обхождение... Лесть в глаза, за глаза другое... Насчет вас то же самое...

- Как, неужели он и меня бранит? Да за что же? что я ему сделал? - спросил Васильков, огорченный до глубины сердца.

- Так точно, - отвечал Попельковекий, снова пожимая ему руку. - Вчера еще смеялся над вами и над вашей женой... Очаровательна, мила, прекрасна - все скажут. Самый

двуличневый человек! Да и все здесь таковы. Желал бы другой жизни... Обстоятельства... тётка скупая! Не будь это – уехал бы сию минуту, купил бы подле вас имение, все пополам. Питаю к вам сердечную склонность... Позвольте обнять вас! Терпеть не могу двуличневых людей. Балахнов расплатится за то, что смеется над вами...

Нежная душа Порфирия Павловича получила страшный удар разочарования. Так точно: холодный прием Балахнова, его отказ принять участие в свадьбе под предлогом болезни, сарказм во время обеда – все подтверждало слова Попельковского. Васильков был из числа тех людей, которые век свой мечтают о том, находил таких друзей на каждом шагу; но так как ни один друг не выдерживал долее суток сердечных излияний, приторных, сентиментальных фраз, которыми осаждал его Васильков, то Порфирий Павлович огорчался всякий раз до глубины сердца и предавался одиночеству. На другой же день одиночество уже тяготило его: он садился в тарантас, летел к первому ближайшему соседу и бросался к нему в объятия. Потому ли, что прием соседа казался ему холоден, но он снова падал духом, и снова мечта об одиночестве западала ему в голову. После всего слышанного, особенно после участия, обнаруженного Попельковским, Порфирий Павлович не сомневался, что нашел, наконец, преданного и истинного друга. Результат этого открытия был тот, что Васильков умолял Ардалиона Александровича последовать за ним и разделить его уединение. Утонченная деликатность, какою снабжен был Попельковский, заставила его некоторое время колебаться, но наконец он уступил, взяв в соображение, что отказ с его стороны мог только нанести новое огорчение чувствительному сердцу Порфирия Павловича.

Удаление Ардалиона Александровича из дому Балахновых подействовало приятным образом на всех жителей и особенно на дворовых людей. Что ж касается до Прокисая Захаровича, Попельковский не только не возвратил ему галстука, но даже воспользовался, самоуправно и без отдачи, шелковым платочком, который тем самым был дорог проживальщику, что младшая Кокуркина держала когда-то этот платок в руках своих. Словом, всем насолил Ардалион Александрович, и все были рады, что он убрался подобру-поздорову.

Сердце Порфирия Павловича не могло долго сохранять злобы: размягченное ласковым, задушевным обращением нового друга, переполненное благополучием, оно искало только случая излиться в сердца других людей и разделить с ними свои чувствования. Не прошло двух недель после его отъезда из Ханских Прудов, как уже Аристарх Федорович получил приглашение удостоить своим посещением тихий домик на берегу живописной речки и выпить в нем чашку чая: «Порфирий Павлович Васильков и Антонина Васильевна Василькова просят покорнейше Аристарха Федоровича и Лизавету Семеновну, с детками и всеми гостями, пожаловать к ним завтра на вечер откушать ханского, белого, сребровидного букетного чая с эфирными бисквитами, изготовленными золотыми ручками самой хозяйки...».

Жёлчь к этому времени начинала чуть-чуть утихать в величавой груди Аристарха Федоровича: он чувствовал уже скуку сидеть дома без гостей; к тому же следовало опровергнуть слухи, носившиеся по уезду, будто он слег в постель от огорчения, нанесенного историею с Окатовым. Всему этому надлежало, разумеется, придать вид глупейшей лжи, и не было лучшего средства, как показать себя в это время блестящим более чем когда-нибудь и полным, сверх того, величавого и гордого спокойствия. Проникнутый такой мыслью, Аристарх Федорович решился не только ехать к Василькову, ио заглянуть даже к другим соседям, а именно к богачу Бобохову, которому, во-первых, он должен был отдать визит, и который, во-вторых, мог сильно пригодиться при настоящих затруднительных обстоятельствах.

XУ.
Правдивая история одного медового месяца

Порфирий Павлович считал себя счастливейшим человеком в целой губернии. Порфирий Павлович был влюблен в свою жену задолго еще до брака. Тоскуя посреди глубокого своего одиночества и возводя постоянно мысли свои (с шестнадцатилетнего возраста) к тихим радостям семейной жизни, он естественно должен был считать себя на верху благополучия, достигнув раз задушевной своей цели. Нужно было видеть Василькова в то время, как он убирал маленький домик на берегу живописной речки, домик, долженствующий поместить в себе будущую его супругу! Порфирий Павлович хотел, чтоб свадьба совершилась в собственном его поместье, деревушке Сусловке, заключавшей в себе двадцать две души и примыкавшей к владением Балахнова, и это обстоятельство, заставляя его ездить по пяти раз в день из Сусловки в Грачевку для совещаний с тёщей и невестой, поддерживало в одинаковой степени восторженное настроение души его. Нужно было видеть Порфирия Павловича, когда, взгромоздившись на верхние ступеньки ручной лестницы, перевязывал он голубыми лентами занавески брачной постели! Особенно любопытное зрелище представлял он в губернском городе в то время, как делал свадебные закупки. Если б сказали Василькову, что три тысячи, данные ему Фанагорией Петровной, составляют все его имущество (что было бы не лишено справедливости), он и тут, кажется, истратил бы их до последней полушки. Дело известное: восторженное настроение духа никогда не уживается с расчетом! Имея в виду лишь одно наслаждение семейной жизни, Порфирий Павлович позаботился прежде всего приобрести фортепиано. Как сладко, Боже! Как сладко потекут длинные зимние вечера! Порфирий Павлович положит свою голову на плечо Антониночки; Антониночка склонит щёчку на лицо мужа и будет слегка перебирать клавиши... Сумерки давно уже наступили; в доме темно, хоть глаз выколи, но они ничего не замечают и продолжают сидеть в невозмутимо-сладостном усыплении всех чувств... Рисуя в воображении привлекательную картину того, как молодая хозяйка будет восседать за самоваром, Васильков вошел в лавку колониальных товаров и потребовал самого лучшего душистого чаю; минуту спустя два фунта белого, ханского, сребровидного, букетного чая поступили в число других закупок. Затем благополучнейший из всех женихов отправился в мебельные лавки: оказалось необходимым выбрать лучший дамский туалет и лучший рабочий столик. Но вот вопрос: чем наполнить ящик туалета и рабочего столика? При таком неожиданном и вместе с тем многосложном вопросе все на минуту смешалось в голове Порфирия Павловича, и глаза его выкатились так страшно, что купец, отпускавший мебель, отпрянул шаг назад, обнаруживая готовность юркнуть за прилавок. Наконец, счастливая мысль озарила Василькова: чего же лучше? он наполнит ящики туалета разными дамскими принадлежностями и так хитро устроит дело, что Антониночка ничего не будет знать до тех пор, пока не полюбопытствует заглянуть в эти ящики. Полный такою мыслью, он пошел ускоренным шагом в москательные ряды. Расспросив обстоятельно о том, какие бывают самые лучшие духи и помада и получив в ответ, что лучшие изделия этого рода принадлежат бесспорно Мусатову, Порфирий Павлович накупил бесчисленное множество флаконов из синего стекла, с криво и косо налепленными ярлыками, украшенными золотою надписью: „a Pari“, потом приобрел такое же количество полновесных синих банок с надписью: „a eliotrop“, но в сущности издававших сильный запах гвоздики. Когда все места, не исключая далее карманов Василькова, были наполнены заграничными изделиями Мусатова, покупатель вышел из лавки, объявив наперед купцам, что почтет за непременную обязанность отрекомендовать их целой губернии. Надо же было, наконец, подумать и о себе самом. Свадебная пара черного платья была заказана «Ивану Остолопову из Петербурга». Иван Остолопов обязывался, сверх того, построить из остатков сукпа щегольскую фуражку, на которой красовался бы непременно широкий красный околышек. Порфирий Павлович был брюнет, и красный околышек должен был идти как нельзя лучше к его мужественному лицу. Вместе с мыслью о красном околышке в голове Василькова создавалась мысль о том, что наружность мужа имеет более или менее сильное влияние на семейное счастье. Нимало не сомневаясь в искусстве

столичного мастера, Порфирий Павлович обратил свои мысли к другому предмету. Рассуждая весьма основательно о том, что женатый человек никак не может обойтись без шкатулки с разными секретными ящиками, куда бы, в случае надобности, в дорогу, например, можно было укладывать деньги, женины письма и бисерные кошельки, вышитые женою, он пустился вдогонку за такой вещицей; поиски его увенчались вожделенным успехом; шкатулка превзошла даже ожидание: в ней находилось все нужное для письма; посредине помещался вертлявый желобок с палкою сургуча и двумя карандашами; по сторонам красовались высеребренные чашечки для чернил и песку; на дне, в секретном отделении, лежала пачка почтовой бумаги, на которой Васильков предполагал писать записочки добрым приятелям о посещении его в маленьком домике, на берегу живописной речки.

Восторженное состояние Порфирия Павловича нимало не остыло, когда он увидел, что из трех тысяч Фанагории Петровны едва ли осталась десятая доля. Неприятное чувство овладело им тогда только, когда, вернувшись к Сусловку, он увидел, что за всеми этими хлопотами упустил совершенно из виду устройство самого дома: дом был не оштукатурен, кой-какие брёвна даже подгнили; в зале и в передней половые доски ходили так же исправно, как клавиши только что купленного фортепиано... Плохо!.. Осматривая остальные части дома, Порфирий Павлович пришел к тому заключению, что хотя деньги, потраченные на шкатулку - не брошенные деньги, но все-таки не мешало бы употребить их на покупку кастрюлей, кухонной посуды и на постройку печки, которая, к великому его ужасу, оказалась в отлучке. Неприятное чувство овладело им окончательно, когда туалет с драгоценными изделиями Мусатова пришлось поместить посредине спальни, чтоб предохранить его сколько-нибудь от сырости и дождевых капель, осаждавших без милосердия все углы маленького домика, на берегу живописной речки.

Как бы то ни было, это не помешало, однако ж, великолепию свадьбы. Благодаря необыкновенной деятельности шафера, хлопотавшего о том, чтоб все произошло как следует между порядочными людьми, все исполнилось согласно желанием жениха и тёщи. Васильков заикнулся о каретах для почетных гостей - Карачаев объездил духом половину уезда и привез целых пять рыдванов. За три дня до свадьбы Павел Петрович не сомкнул глаз: потребовав, чтоб сдали ему на руки все распоряжение, он распространил свою деятельность в мельчайшие частности свадебных приготовлений. Впрочем, Василькову не до того было: он не переставал примерять новый фрак и фуражку с красным околышком. Фрак и панталоны сидели отлично: Иван Остолопов, обнадеженный Васильковым, который обещал отрекомендовать его целому уезду, употребил все свое старание. Порфирий Павлович был чрезвычайно доволен. За день до свадьбы он не снимал уже фрака и фуражки и, останавливаясь поминутно перед Карачаевым, спрашивал его, постукивая высокими каблуками: «Хорош жених? а?.. а?..». Затем перевертывался спиною, перегибал голову через плечо, причем глаза его чуть не выкатывались из впадин, и делая вид, как будто осматривает фалды нового фрака, повторял, снова постукивая каблуком: «каков фрак? а? а?., хорош жених?., а? а?..»; Карачаев, покрытый пылью и потом, говорил, что у него полон рот хлопот и не время теперь заниматься жениховым фраком, и Васильков, восторженно вращая глазами, отправлялся перевязывать голубые банты брачной постели.

Свадьба совершилась в том же самом порядке, в котором совершается большая часть свадеб. Мать невесты, склонившись живописно над дочерью, уронила на ее вуаль несколько слез; почетные гости отправились в пяти рыдванах в церковь. Затем дан был свадебный пир, в продолжение которого не переставали провозглашать тосты во здравие и многолетие молодых, при чем Карачаев усердно махал клетчатым платком, давая знать музыкантам, чтоб они играли туш. За обедом последовал бал, укрепивший окончательно за Верой Андреевной Кокуркиной (средней) титул первой танцовщицы уезда. Во время бала, Васильков, задыхавшийся от блаженства, не пропустил ни одной кадрили и становился всегда в первую пару с женою, как бы желая показать этим, что дорожит

случаем стоять подле нее и пожать ей лишний раз руку. Он, казалось, совсем одурел от радости, не мог говорить, а только моргал глазами; когда обращались к нему с каким - нибудь приветствием или вопросом, он потряхивал черною кудрявою головою, болтал руками и, отыскав Карачаева, принимался кричать изо всей мочи: «вина! вина!». Больше он ничего не был в состоянии выговорить. После бала все пошли ужинать; потом Фанагория Петровна, снова уронив несколько слез на голову дочери, поднесла Порфирию Павловичу великоленпый стеганый халат из тармаламы. Словом, все произошло так же, как происходит у других людей, с тою разве ничтожною разницею, что ни одна честолюбивая мысль не помрачила счастие молодого, счастие, выступавшого из каждой черточки его лица и чистосердечно отражавшогося в глазах.

Несколько дней спустя после свадьбы, когда Порфирий Павлович и жена его, следуя установленному порядку, поехали делать визиты к соседям, никто не заметил малейшей перемены в наружности молодой: лицо Антониночки было так же беззаботно и рассеянно, как прежде; черные живые глазки ее обращались так же приветливо ко всем без исключения и так же нетерпеливо отворачивались всякий раз, как встречались с глазами Порфирия Павловича. Словом, никакой перемены, как будто она и не думала выходить замуж, и свадьба, совершившаяся на днях в Сусловке, была не что иное, как сон, приятный сон, пригрезившийся соседкам. «Хорошо! (думали соседки) отворачивай глаза от мужа. Знаем мы, матушка, вашего брата, молодых: только прикидываешься, а сама, чай, влюблена в него по уши!». Так рассуждали про себя проницательные соседки. Порфирию Павловичу, опьяневшему от счастия, не до того было, чтоб задавать себе такие головоломные вопросы. Не отрывая глаз от маленьких ножек жены, или припав губами к ее руке и оставаясь в этом положении целые часы, он доволен был уже тем, что ручка или ножка не отказывались от его ласки.

Дни проходили необыкновенно быстро в жизни Василькова. Не зная уж что бы такое придумать, какую бы новую ласку изобрести для Антониночки, он проводил время, осаждая ее разными фантастическими именами, почерпнутыми в самой середине сердца, переполненного счастием. Антониночка, переименованная неожиданно в Лилиньку, называлась десять минут спустя Фавинькой; Фавинька уступала в свою очередь – и все это не более как чрез десять минут – место Грибиньке, Грибинька переходила в Бирманиньку; затем уста Порфирия Павловича сладостно лепетали: Шафранинька, и Шафранинька, утопая в океане других имен, не замедляла замениться Шишечкой или Кокушкой, смотря по тому, что первое попадало на язык чувствительного супруга. Давать друг другу фантастические и, по возможности, более нежные наименования – дело весьма обыкновенное в супружеской жизни, особенно в первое время или в медовый месяц. Это происходит, мне кажется, единственно оттого, что люди - и тем более счастливые - никогда не довольствуются настоящим. Я знал одного господина, который в избытке восторга называл свою жену «милою нелепостью» и, называя ее этим именем, нисколько не стеснялся, происходило ли то наедине или при посторонних.

Васильков пребывал постоянно у ног жены, и каждый час, каждую минуту, начиная с самого утра и кончая поздним вечером, можно было застать его в умилительном положении. Нежные имена сыпались в изобилии, заменяя собою всякий разговор; изредка лишь влюбленный супруг решался проворковать какую-нибудь сладкую речь в следующем роде:

- Попоцька, ангелоцек ты мой, полози свою головеноцку на мое плецо...

- Ах, Боже мой, если б вы только знали, как все это скучно!.. Очень нужно класть голову на ваше плечо... Вы хотите, верно, чтоб я смяла прическу, - отвечала Антониночка, нетерпеливо поворачиваясь к окну.

- Ну, полноте же, Вавочка; полноте, Фифоцка... Вам глюсно. Отцего вам глюсно? - продолжал Порфирий Павлович, пришепетывая, как маленькие дети, вероятно, для большей нежности. - Ну, полноте глюстить; ведь ты со мной, со мной, и никто, ангелоцек, не разлуцит нас... Полно, посмотли на меня своими глазеноцками...

Но глаза жены обращались совершенно в другую сторону. Наступало невозмутимое молчание, и Васильков снова припадал на целый час к жениной руке.

Дни Порфирия Павловича потянулись медленнее, когда, в одно прекрасное утро, Антонина Васильевна объявила, что не хочет, чтоб он называл ее другим именем, кроме ее собственного, и, оставив кушетку, расположилась у окна, с твердым намерением не покидать этого места.

Восторженное состояние Василькова сменилось трогательною меланхолией. Он отыскал где-то крошечный табурет, уселся на нем подле ног жены, устремил на нее томные глаза и старался ее утешить:

- Вам глюсно, мамочка! О! я это не понимаю! Вам, ангелоцек, ненавистны свет и люди. Да! о, да! Мы уедем на Кавказ. Уедем, Вавиноцка, Папоцка моя! Удалимся куда-нибудь в горы и будем жить одни, далеко от света.

- С чего ж вы взяли, что я поеду на Кавказ? Вы верно хотите, чтоб меня убили черкесы?

Лицо Порфирия Павловича приняло тоскливо-умилительное выражение человека, непонятого в минуту самого искреннего излияния чувств. Он хотел взять руку жены, но она предупредила его желание и быстро положила руку на перекладину окна.

- Господи, как скучно! сил нет как надоел! - произнесла она с особенным ударением на последнее слово. - Скажите, пожалуйста, когда вы кончите все эти нежности? Неужели вы ни на минуту не оставите меня в покое? Неужели у вас нет никакого занятия? Вы бы пошли в поле или посмотрели, что делается в доме или в хозяйстве. Ведь этак можно просто так надоесть, что... что... я уж и сама не знаю!

Две крупные слезы навертывались на глазах Порфирия Павловича; он отходил к соседнему окну, поправлял бесконечные завитки на голове своей, разглаживал исполинские бакены и задумывался. Мало-помалу, однако ж, глаза его, высушенные внутренним огнем, устремлялись снова на Антониночку, лицо его переполнялось страстью; он выставлялся вперед и, потряхивая головой, пришепетывая более, чем когда-нибудь, говорил заигрывающим голосом:

- Мамоцька, я вас юбью!

Антонина Васильевна продолжала глядеть в окно.

- Мамоцька, я вас не юбью! - произносил тогда супруг.

- Очень нужно, - отвечала жена, делая движение, как будто отогнала муху.

- Ангел! ангел! ангел!! - вскрикивал супруг, восторженно бросаясь к Антониночке и принимаясь целовать ей руки, осаждая ее в то же время бесчисленным множеством имен самого фантастического свойства.

Дни потянулись еще медленнее в жизни чувствительного Порфирие Павловича, когда он увидел, что Антониночка не думала услаждать поэтические минуты сумерек игрою на фортепиано. Фортепиано было для нее столько же ненавистно, сколько рабочий столик, к которому она ни разу не прикоснулась. Та же самая история случилась с туалетом, воздвигнутым заботливою рукою супруга посреди спальни. Васильков рассчитывал доставить самый приятный сюрприз Антониночке, когда она раскроет ящики. Что ж вышло? Раскрыв ящики, Антониночка пришла, к неописанному огорчению Порфирия Павловича, в совершенное неудовольствие, побросала все банки с надписью a eliotrop, перебудоражила флаконы из синего стекла и объявила напрямик, что все это дрянь и ровно никуда не годится, а если и годится куда-нибудь, так разве на то только, чтоб душить и помадить горничных.

Дни тянулись еще медленнее в маленьком домике на берегу живописной речки, когда приехал Попельковский. Он приехал, нужно заметить, очень кстати, потому что неделю спустя после его переселения Антонина Васильевна начала вдруг ни с того ни с сего, делать сцены сердобольному своему супругу. Ардалион Александрович, как истинный друг Василькова, готовый поделиться с ним половиною своего состояния и даже тысячью душами, оттянутыми процессом скупой тётки, получил за такое

великодушное самопожертвование право носить его платье и облачаться даже в черный фрак работы Ивана Остолопова из Петербурга всякий раз, как приезжали гости. Увидев маленькое несогласие между супругами, Попельковский вступил тотчас же в должность посредника и примирителя двух любящихся сердцем. Как только возникало маленькое неудовольствие, Ардалион Александрович уводил Порфирия Павловича с братскою заботливостью в глубину сада или в поле, усаживал его на траву и, выслушав, в чем состоит недоразумение, бежал с необыкновенною поспешностью в дом, сгорая желанием умаслить сердце раздраженной супруги. Но потому ли, что посредник плохо исправлял свое дело, или сердце Антонины Васильевны заключало в себе слишком много раздражительности - супружеские сцены стали повторяться чаще и чаще, так что, наконец, каждый день прибавлял новую рану в нежном сердце Порфирия Павловича, уже окончательно предавшогося меланхолии.

И странное дело! Антонина Васильевна между тем веселела с каждым часом. Это заметили даже гости, начинавшие открывать на лице ее все признаки полного довольства и счастия; особенно радовалось такой перемене чадолюбивое сердце Фанагории Петровны.

- Анция, Тоня, Антония! подойди ко мне. Порций, Порфирушка! Детки мои, голубки мои! - говорила она, картавя сильнейшим образом, прижимая их к груди и оставляя каждый раз на щеках голубков по красному пятну, чрезвычайно похожему издали на налепленный листок розана.

Порфирий Павлович с некоторых пор совершенно разлюбил одиночество и очень радовался, когда приезжали к нему гости и даже теща. В то время Антониночка обнаруживала к нему необыкновенную внимательность, даже нежность. Она позволяла ему целовать свои ручки, не отворачивала своих черненьких глаз, играла на фортепиано, смеялась и была весела как птичка.

- Она любит общество. Получив воспитание... ты понимаешь? - ей необходимо общество, свет, развлечения, приятная беседа, - говорил Попельковский, распоряжавшийся уже как дома, и говорил это, основываясь на собственных своих чувствах, ибо, получив также воспитание, он не мог жить без общества и приятной беседы.

Почтовая бумага, лежавшая о сю пору неприкосновенною в секретном отделении шкатулки, увидела вдруг свет и разлетелась, подобно вестовым голубям, по всем концам уезда, разнося радушные приглашение на чашку ханского сребровидного чая. В маленьком домике на берегу живописной речки послышался немолчный говор, веселые восклицания, хохот и даже песни, сопровождаемые звуком фортепиано. Общество Васильковых состояло большею частью из знакомых уж нам людей: Кондей Иванович Свищов с семейством, Прокл Иванович Полушкин с семейством, старичок Пшеницын с своим сыном, долговязым Федей, три сестры Кокуркины, которые, увидев всю безполезность оплакивать потерю первого мазуриста, согласились как можно чаще навещать его; затем следовали Фанагория Петровна и Попельковский. Впрочем, последние не в счет: они были свои. Фанагория Петровна была в восторге от Ардалиона Александровича; она говорила ему в глаза, что он красавец, восхищаясь его голосом и голубыми глазами с поволокой, устремлявшимися к небу, как скоро встречались с особою прекрасного пола. Впрочем, все гости, особенно дамы, разделяли мнение Фанагории Петровны. Никто не понимал, как мог Аристарх Федорович расстаться с человеком, одаренным такою любезностью и ловкостью. Ардалион Александрович пел романсы, аккомпанируя себе на фортепиано или на гитаре, забавлял, рассказывая разные потешные анекдоты, играл в карты, играл даже отлично, словом – был душою общества. Попельковский, как каждый легко себе представит, недолго томил привычных гостей Василькова разгадкою того, почему Балахнов не изъявил особенно сожаления к его отъезду, и почему он, с своей стороны, поспешил оставить Ханские Пруды. Безыскусственный рассказ Ардалиона Александровича, повествовавшого всем и каждому

историю ссоры Балахнова с Окатовым, объяснял как нельзя лучше, что человеку, получившему воспитание, подобно Попельковскому, не след было выносить колкости, возбуждаемые желчью, яростно кипевшею в груди Аристарха Федоровича; колкости его могли выносить какой-нибудь Копков, Дрянков, девица Сараманаева, но отнюдь не Попельковский, тетка которого могла умереть со дня на день и оставить племяннику тысячу душ отличнейшого имения.

Оставалось рассказать эту историю одним Кокуркиным, и вот Кокуркины, услышав стороною, что Попельковский поселился у Васильковых, поспешили в Сусловку, чтоб разузнать от очевидца все подробности ссоры Окатова с Балахновым. В тот же день в Сусловку явился, словно по чутью какому, и Кондей Иванович с семейством. Общество поместилось в маленькой темной гостиной, где первыми украшениями служили рабочий столик и горшок с чахлой геранью, воздвигнутый на окне. Оно расположилось в следующем замечательном порядке:

Попельковский, раздушенный, распомаженный изделиями Мусатова, восседал посредине гостиной, против овального стола, примыкавшого к дивану; черный фрак работы Ивана Остолопова сидел на нем отлично. Слева расположились три Кокуркины, так, однако ж, что младшая, Надеженька, подталкиваемая беспрестанно сестрами, находилась ближе всех к будущему наследнику скупой тетки. Справа тянулись один за другим пять стульев; на самом дальнем сидел Кондей Иванович, который сопел, кряхтел, отдувался; подле него сидела младшая дочь, за ней средняя; жена Кондея Ивановича помещалась с своим неизменным ридикюлем на четвертом стуле; она казалась спящею, но со всем тем не переставала дергать старшую дочь, сидевшую подле будущего наследника тысячи душ. Против Попельковского, в левом углу дивана, сидели Антониночка и Васильков; последний нежно держал обе руки жены и восторженно крутил своими глазами; в правом углу, ближе к Кондею Ивановичу, грациозно располагалась Фанагория Петровна, не спускавшая взоров с лица прекрасного молодого человека, одаренного очаровательным голосом и снабженного бесподобными голубыми глазами с поволокой. Все вместе составляло трогательную картину тихой домашней жизни и семейного очага, достойную кисти великого художника.

- Позеленел, совершенно позеленел! - говорил Попельковский, делая глазки всем дамам в одно и то же время. - Когда сказали ему, что долина не продается, повалился на пол. Мы думали, умрет. Я бросился развязывать ему галстук. Без этого - удар, непременно удар. Не вынес. Клянусь вам, как честный человек! Гордость... надменность... злоба!..

- Да, горд, горд; есть тот грех: горд! - произнес Кондей Иванович, с трудом переводя одышку.

- И ты туда же! - произнесла Фанагория Петровна, поворачиваясь к Свищову. - О, замолчи! замолчи! - продолжала она, грозя пальчиком Попельковскому, который тотчас же завернул глаза к небу, - замолчи! Аристарх Федорыч – милый человек, и я никогда не поверю, чтобы он был с жестоким сердцем...

- Аристарх Федорыч! Ха-ха-ха! Клянусь вам, как честный человек! - возразил Попельковский, качаясь на своем стуле. - Да вот, спросите, чего же лучше, спросите у Порфирия. Десять лет знакомства – приехал... осмеял самым колким образом. Неделикатность, забвение приличий... не получил хорошего воспитания!

- Да, признаюсь, - меланхолически сказал Васильков,- Аристарх Федорыч обошелся со мною не по-дружески. Никак не ожидал от него этого.

- Изволите видеть! - воскликнул Ардалион Александрович. - Не только его, но всех осмеял: вас, вас, вас (тут он попеременно обращался к каждому лицу), словом - всех, без исключения - грубо, неделикатно! Что вы изволили сказать? - заключил он, поворачиваясь неожиданно к младшей Кокуркиной.

- Ах! - произнесла Надеженька, ущипнутая сзади руками старших сестер.

- Ах! - произнесла старшая Свищова, бросая боязливый взгляд на маменькин ридикюль, но тотчас же поднимая глаза на рассказчика.

- Клянусь, как честный человек! - продолжал Попельковский. - Всех осмеял. Расплатится! Получу наследство... не увернется из рук. Почту долгом объясниться. Балахнов ли, другой кто – мне все равно. Как только увижусь – объяснюсь.

- Злой человек! Ты этого не посмеешь сделать в моем присутствии, - картавя и ломаясь, проговорила Фанагория Петровна.

- Полно, Ардалион Александрыч, оставь эту историю, Бога ради! - сказал Васильков, запуганный мстительностью своего друга. - Не говори ему ни слова, по крайней мере, сегодня.

- Как сегодня? - спросил Попельковский, понижая голос.

- Да, он должен приехать сегодня: обещал.

Попельковский оправился и заговорил о музыке. К сожалению, разговор его не был продолжителен, потому что вскоре доложили о приезде Аристарха Федоровича.

Вслед за этим докладом, сделанным подслеповатым малым, поступившим в Сусловку из Грачовки, на пороге гостиной показался сам Аристарх Федорович.

Присутствовавшие переглянулись и испустили радостный крик.

Прежде всех навстречу знаменитому гостю бросился сам хозяин дома, за ним пустился вдогонку толстый Кондей Иванович; Попельковский взбил белокурые свои завитки, приосанился и поспешил вслед за ними.

Балахнов прошел, однако ж, мимо и направился к дивану. Он поцеловал руку Антониночке, потом поцеловал руку Фанагории Петровне, поклонился Кокуркиным, ласково кивнул головою Свищовым и тогда уж обратился к мужчинам, которые наперерыв протягивали ему руки, изъявляя совершенную радость видеть его в добром здоровье.

- Весьма счастлив... Неожиданный сюрприз... Большая честь... - заговорил Попельковский, и вдруг остановился и отступил несколько шагов.

Голос Карачаева, отдававшего приказания, чтоб насыпали лучшего овса лошадям, послышался в зале.

Павел Петрович влетел в гостиную с треском, шумом и хохотом. Он повернулся на каблуке, хлопнул в ладоши и бросился со всех ног целовать руку Фанагории Петровне.

- Здравствуй, бешеный! Ну, хорошо, хорошо, полно, сорвиголова! - произнесла Фанагория Петровна, слегка отклоняя рукою его лысину.

Карачаев залился новым хохотом и бросился к руке молодой хозяйки. Павел Петрович находился в самом отличном расположении духа: лицо его сияло радостью; черные брови его, смеявшиеся вместе со всеми чертами лица, нахмуривались тогда лишь, когда встречались с Попельковским, к которому чувствовал он непреодолимую антипатию. Он не обратил на него ни малейшего внимания и заговорил тотчас же с Кокуркиными.

Общество, смешавшееся на минуту, окружило Аристарха Федоровича и осадило его со всех сторон любезностями. Балахнов отвечал на все вопросы ласково и приветливо. Желтизна не совсем еще покинула правильное лицо его, но она шла к нему точно так же, как идет дубу, тронутому первым осенним морозом. Он сохранял важный вид, как и всегда, но в наружности его не было заметно тени гордости или надменности. Мелочные люди судят по наружности и никак не хотят понять, что величавая осанка ровно еще ничего не доказывает: она ничто иное, как привычка, полученная с детства; выражение чувства собственного достоинства составляет почти такую же принадлежность каждого значительного человека, как уничиженный вид составляет принадлежность какого-нибудь подьячего или выскочки. Аристарх Федорович горд - смешно сказать! Но перед кем же, позвольте спросить? Он мог быть гордым и действительно был горд с равными себе; но гордиться пред какими-нибудь Васильковыми, Кокуркиными - фи! да это значило бы унизить свое достоинство! Балахнов называл неуместную гордость «побрякушкою глупых людей» и всегда показывался очень охотно в кругу бедных соседей.

Мало-помалу разговор сделался общим и продолжался до тех пор, пока не подали чай. После чая Порфирий Павлович, хлопотавший изо всей мочи, чтоб занять гостей, предложил партию преферанса, благодаря Попельковскому, который настроил его на эту счастливую мысль. Но Аристарх Федорович отказался напрямик, сказав, что предпочитает беседу с молодою всем возможным удовольствиям.

- О, милый сосед! Вечно с молоденькими. Постойте, вот я перескажу это Лизавете Семеновне! - сказала Фанагория Петровна, лукаво грозя ему пальчиком. - Ну, если Аристарху Федорычу не угодно, - продолжала она, обращаясь к Карачаеву, - ты, бешеный... ах, какой сорви-голова! ты не откажешься составить партию со старррушкой? - заключила она, кокетливо потряхивая головой.

- Я? извольте, приказывайте, готов! - воскликнул Карачаев, снова бросаясь целовать руку перезрелой вдовице. - Но кто же будет еще с нами? - присовокупил он, повертываясь на каблуке.

- Да вот: Кондей Иваныч, Ардалион Алек-сан-дро-вич, - протяжно проговорила Фанагория Петровна, грациозно приподнимаясь с дивана.

При имени Попельковского Карачаев нахмурил брови, но тотчас же оправился, топнул каблуком, подал руку тёще Василькова и вышел в залу, сопровождаемый другими игроками. Минуту спустя в зале послышался шум стульев и шелест бросаемых карт.

Разговор Аристарха Федоровича, сначала несколько натянутый и вычурный, принял самый любезный характер, когда он остался наедине с дамами. Балахнов чрезвычайно любил дамское общество и при случае не прочь был даже строить куры. Он нимало не заботился о том, что Кокуркины или другой кто могли передать и чего доброго - перетолковать его слова Лизавете Семеновне. Итак, беседа в гостиной была самая оживленная, благодаря неистощимому запасу остроумия Аристарха Федоровича. Обращаясь постоянно к молодой хозяйке, Балахнов не пропускал случая сказать вскользь несколько комплиментов и остальным собеседницам. Дамы щурили свои глазки, украдкою подмигивая друг другу, смеялись и были очень веселы.

По окончании преферанса, за которым Карачаев успел поссориться с Попельковским и даже с Фанагорией Петровной, гости начали разъезжаться. Аристарх Федорович отправился вместе с Карачаевым в Горшков, откуда намеревался ехать к Бобохову.

XVI.
Образчик того, что Карачаев называет буржуа-жантильом!

Балахнов остался в Горшкове долее, чем хотел. Многие обыватели этого города, извещенные уж о злополучной истории его с Окатовым, поспешили явиться засвидетельствовать свое нижайшее почтение Аристарху Федоровичу. Большая часть исполнила это не столько по собственному побуждению, сколько вследствие настоятельного требования жен, которые в Горшкове, точно так же как и во всех уездных городах, отличаются необыкновенною любознательностью ко всему, что касается чужих дел. К числу последних можно было причислить веселого Нила Степановича Лукьянова.

Нил Степанович находился в совершенном отчаянии по поводу «недоразумения», происшедшего между двумя соседями, и искренность его слов подтверждалась как нельзя красноречивее левым глазом, который, действительно, в то утро выкидывал самые эксцентрические штуки. Дело в том, что на этот раз, как назло, он и жена – что было совершенно одно и то же – находились в отлучке в то время, как составилось решение, подкосившее Балахнова, и в то же время, как назло, остальные его сотоварищи пребывали в Горшкове. Присутствуй он – и дело, по всем вероятиям, приняло бы другой оборот: в этом Нил Степанович заверял чем угодно почтеннейшого Аристарха Федоровича, к которому чувствовал всегда высокое уважение и даже, если можно так выразиться, пристрастие.

Следствием всех этих визитов, столько же лишних, сколько и неуместных, было то, что Балахнов подъезжал к Голодаевке, имению Бобохова, уже в третьем часу пополудни. Голодаевка показывалась великолепно. Самой Голодаевки, то есть деревни, не было видно: показывался один лишь барский дом, громадный, каменный, с зеленою крышкою и белыми стенами – дом, торчавший как выскочка посреди темного сада и неоглядных плоских полей. Двор впереди дома замыкался со стороны большой дороги каменною оградой, которая, в свою очередь, замыкалась справа и слева двумя кирпичными флигелями самого неуклюжего свойства, построенными, очевидно, новым владельцем. Старание придать как можно более эффекта своему жилищу и даже ослепить великолепием его проезжающих по большой дороге показывало, что Бобоховым управляло то же самое свойство, какое обнаруживал Балахнов, воздвигая дощатый Вавилон вокруг своего сада. Но какая, однако ж, необъятная, неизмеримая разница заключалась между намерениями двух соседей! Балахнов строил киоски, имея в виду высокую цель честолюбия; им управляло даже в этом случае несколько выспренних намерений. Бобохов, как выскочка, или parvenu, преследовал одну пошлую, мелочную цель ослепить проезжающих наружным великолепием своего дома так, чтоб с первого взгляда сказали: тут живет богач! Притом и единственная эта цель умещалась с трудом и как-то тупо в его голове, что ясно доказывалось двумя неуклюжими флигелями его собственной архитектуры.

Такие точно мысли занимали Аристарха Федоровича, когда он въезжал на просторный двор миллионщика; он не мог даже утерпеть, чтоб не кивнуть насмешливо на окружавшие предметы и не сказать Карачаеву с грустною улыбкой:

- Посмотри, и этот туда же, хочет барствовать!..

- Помилуй, душа моя, я тебе говорил: буржуа-жантильом! Ну, и конечно, и все тут! - отвечал Карачаев, с необыкновенною живостью. - Стой, стой у подъезда! Эй, вы, кто тут? Миллионщики! Просить вас надо, что ли? - гаркнул он, обращаясь с горячностью к старику в синей ливрее, обшитой серебряными галунами, который бежал сломя голову к подъехавшей коляске.

Старик отворил дрожащими руками дверцы коляски, высадил под руки Балахнова и таким же порядком высадил Карачаева, который спросил его:

- Как тебя зовут, старина?

- Корней, сударь.

- Ну, брат, Корней, что, дома ваш миллионщик, что ли?

- Дома-с, извольте пожаловать, - отвечал Корней, у которого все складки на лице разгладились от такого ласкового обращения.

В это время Аристарх Федорович успел отряхнуть пыль, поправил волосяной галстук и начал уже взбираться по широкой деревянной лестнице, выкрашенной желтою краской. В его глазах, слегка щурившихся, и вообще во всей его наружности можно было прочесть величавое пренебрежение ко всему, что его окружало в настоящую минуту. Это очень понятно: во-первых, кто такой Бобохов?.. Притом, Бобохов еще молодой человек... Да и во всяком случае, Балахнов делал ему величайшую честь своим посещением.

Карачаев, в сопровождении дряхлого Корнея, догнал Аристарха Федоровича, когда тот взбирался уж на верхние ступеньки. Тут к лестнице, немного влево, приделан был огромный деревянный выступ, на котором красовалась кадка с чахлым померанцевым деревом.

Дом Бобохова построен был лет пятнадцать назад одним князем. Купив дом по смерти этого князя, новый владелец ловил пытливым оком малейшие следы, оставленные минувшею вельможественною жизнью: замечал ли он на стене беловатые полосы, оставленные висевшею когда-то рамой, он заказывал точно такой же величины раму и вешал ее на прежнее место; диваны, мебель, стулья - разместились точь-в-точь, как бывало в старину; усердие неаполитанских любителей древности, которые стараются

возвратить Помпею в прежний вид, далеко уступало усердию Бобохова, бившегося из всех сил, чтоб стены новоприобретенного дома сохранили прежний барственный характер. Померанцевое дерево – в этом твердо уверен был Бобохов – составляло непременную принадлежность лестницы каждого истинно барского дома.

Аристарх Федорыч и Карачаев, который не переставал говорить очень громко, желая, вероятно, выразить этим способом совершенное свое пренебрежение к богатому выскочке, вступили в просторную, но пустую переднюю; поправляя перед зеркалом галстук, Балахнов увидел, однако ж, в полураскрытые двери, направо, несколько синих ливрейных рукавов, которые натягивались с необыкновенною поспешностью на рукава рубашек.

- Как прикажете доложить? - спросил дряхлый Корней, впиваясь подобострастными глазами в обоих гостей.

- Балахнов... и Карачаев! - рассеянно отвечал Аристарх Федорович.

- Ха-ха-ха! Это что еще?! Помилуй, душа моя, Aristarque. Мы к тебе ездим без доклада... а тут... да что тут толковать, пойдем! - закричал Карачаев.

Он взял под руку Балахнова и, громко постукивая каблуками, вошел в дверь налево. То была маленькая комната, перегороженная наискось ширмами из красного дерева, обтянутыми сзади пурпуровою тафтою. Ширм, собственно говоря, тут вовсе не нужно было, но Бобохов распорядился таким образом, следуя, вероятно, примеру сестры своей, Тохтамышевой, посвященной, как он говорил, во все тайны аристократических обычаев. Следующая дверь этой комнаты, не имевшей ровно никакого назначения, открывала длинную анфиладу просторных комнат, оклеенных пестрыми, яркими обоями, обставленных пестрою шелковою разнокалиберною мебелью, устланных пестрыми ковриками; во всех углах торчали деревянные точеные подставки, державшие в неуклюжих лапах маленькие люстры и жирандоли, с бесчисленным множеством граненых длинных стеклышек; окна и двери завешивались кисейными занавесками, украшенными сверху красными шелковыми фестонами и ярко блиставшими арабесками из выбитой меди; по бокам дверей и окон торчали огромные розасы из той же выбитой меди.

- Эй! кто тут? Куда все запропастились? Эй, народ! - крикнул, наконец, Карачаев, оглядываясь во все стороны обширной не то залы, не то гостиной. - Эй, Корней, куда ж ты ушел? Помилуй, братец, где ж твой барин? Отыскивать нам прикажешь, что ли?

- Пожалуйте-с, они изволят дожидаться в гостиной, - отвечал Корней.

- Вот еще новость! у нас заведено, чтоб выходили навстречу гостям... ишь выдумал! Пойдем, душа моя, Aristarque. Прямой, брат, буржуа-жантильом, ей-Богу!

- Полно, пожалуйста, - сказал Балахнов, рассеянно оглядывая стены, - он, чего доброго, тут где-нибудь, и может услышать...

- Че-е-во? Услышать может! Пускай слушает! Буржуа-жантильом, да и все тут! - крикнул Карачаев, смело выступая за Корнеем.

В дверях гостиной Балахнов остановил, однако ж, Карачаева и вошел прежде. Бобохов, предуведомленный еще заранее людьми, стоял уже совсем готовый к принятию гостей; на нем был черный полуфрачок, синие панталоны и белый жилет. Он, нужно заметить, не носил других жилетов; кто-то уверил его – может быть, француз, у которого закупал он белье и помаду, а может быть и сам Тохтамышев – что истинный джентльмен не должен носить других жилетов; а так как пункт помешательства Бобохова состоял именно в том, чтоб прослыть человеком порядочным (что не значит еще быть порядочным человеком), то он слепо повиновался этому правилу.

Что делал Бобохов в ту минуту, когда Балахнов показался на пороге гостиной – неизвестно, но только он бросил на диван какой-то журнал и поспешил к нему навстречу, обнаруживая на желто-прозрачном лице своем выражение приятного удивления.

- Чрезвычайно приятно... м... м... м... м... - заговорил он, устремляя рысьи свои глазки на Балахнова и горячо пожимая ему руку; но вдруг пухлые щеки Бобохова опустились;

рысьим глазкам очевидно стало неловко; он, однако ж, оправился и также горячо пожал руку Карачаеву.

- Ну уж, батюшка, мы вас искали-искали, по вашему паласту... или, как бишь это... палатам, что ли?.. Вы, чай, не ожидали нас?., - сказал Павел Петрович, расчесывая реденькие волосы, окаймлявшие лысину, маленьким складным гребешком, который никогда не покидал его жилетного кармана.

- Признаюсь, не ожидал; мне чрезвычайно приятно... - произнес Бобохов, тщетно припоминая приветственные фразы, употребляемые в этих случаях знаменитым Тохтамышевым.

- Я располагал приехать к вам раньше, но, к несчастью, задержали в Горшкове, - сказал Балахнов, усаживаясь на диване. - Славный дом у вас! прекрасный дом! - прибавил он, осматривая комнату.

- Вам нравится? чрезвычайно приятно! - отвечал Бобохов, обращая с восхищеньем лицо свое на стены гостиной, оклеенные красными обоями с золотыми аляповатыми разводами. - Эй! - крикнул он, поворачиваясь неожиданно к двери. Вошел Корней.

- Сказать мальчикам, чтоб сделали репетицию! - провозгласил мильонщик, устремляя проницательный взгляд на камердинера.

- Чему же это репетиция? - любезно спросил Аристарх Федорович.

- Сегодняшнему спектаклю. У меня каждый вечер театр... это, если вам угодно взглянуть... - прибавил Бобохов, подавая с самодовольством лист бумаги, на котором написана была афиша. Афиша возвещала, что, такого-то числа июля месяца на театре Ивана Дормидоныча Бобохова дан будет следующий спектакль. Затем выставлены были водевили и имена актеров, придуманные самим хозяином театра.

Дилетантизм был также одною из слабостей выскочки миллионера. Впрочем, за ним водилось много слабостей. Он имел, например, претензию на ученость и особенно на звание литератора. В бытность свою в Москве он пригласил даже на обед к Шевалье нескольких литераторов, чтоб прочесть им комедию своего изобретения. Литераторы не дослушали первой сцены, и Бобохов, уверенный, что такое невнимание произошло единственно от последствий роскошного обеда, попробовал себя в новом роде и сочинил повесть в юмористическом духе: описывалось, как муж и жена въезжали в Москву и как подрались они посреди улицы... Затем получили свет несколько стихотворений: муза Бобохова избирала обыкновенно своим предметом бедную даму, которая сидела у окна и смотрела на луну... Читал он свои произведения следующим образом: когда собирались к нему гости, он случайно ронял на пол бумажку, потом подымал ее, осматривал и говорил с видом приятного изумления: «Что это? вот славно! кажется, подписано: Бобохов». Гости «обнаруживали» любопытство, и автор приступал немедленно к чтению. Бобохов получал большую часть наших журналов и читал все сплошь, сгорая желанием приобрести как можно больше самых разнородных познаний. Казалось бы, очень похвальное стремление это проистекало не столько из душевных и умственных потребностей, сколько из желания блеснуть при случае своим знанием и показать, что он принадлежит к разряду самых просвещенных молодых людей своего времени. В основании этого стремления таилась также мысль отдалить от себя всякую параллель с купеческим сынком – мысль, убийственная мысль, решительно отравлявшая существование Бобохова. Старания его не приносили, однако ж, ожидаемого результата. Ему не помогали ни взъерошенные бакенбарды, ни волосы, завитые французским парикмахером, ни даже белые жилеты: он все-таки продолжал читать сплошь и рядом русские журналы. Но потому ли, что круглая голова его была слишком крепка, или были на то другие причины, только прочитанные им премудрости действовали на него как горох на стену, или, лучше сказать, сам он, как крупная горошина, отскакивал от всякой истинно порядочной мысли. Говорилось ли, например, о том, что вот в таком-то случае следует поступать так-то и так-то для достижения какой-нибудь добропорядочной цели - он дочитывал книгу и поступал совершенно наоборот, как бы назло автору, который осмелился давать ему советы.

Бесплодное чтение образовало в голове Бобохова совершенную кашу, в которой каждая крупинка представляла отрывчатую фразу или даже одно какое-нибудь слово; таких слов набралось у него много, и он пересыпал ими при случае с необыкновенной энергией. Одно из страданий мильонщика заключалось также в том, что он не знал французского языка; чтоб скрыть это, он прибегал к разным хитростям: отыскав в словаре какой-нибудь мудреный технический термин и затвердив его хорошепько, он подходил к приятелю и спрашивал: „Скажите, пожалуйста, что значит вот это слово?., я что-то не припомню.. - Приятель сознавался в своем невежестве; Бобохов щурил тогда рысьи свои глазки и произносил насмешливо: «Ах, да! вспомнил. Ведь это особенный термин и означает вот то-то».

Бобохов выказывался особенно резко в обращении с людьми низшего класса. Он обращался с ними необыкновенно грубо; никогда не удостоивал их ласковым словом или вглядом, никогда не называл даже по имени, и если требовалось позвать человека, кричал обыкновенно: «Эй!». Впрочем, такая черта составляет, можно сказать, неотъемлемое отличие всех выскочек от других людей: истинно порядочпый человек говорит учтиво и ласково со всеми.

В то время, как мы передавали достоверные эти сведения, Карачаев успел уже потребовать трубку, а Аристарх Федорович закурил сигару, предложенную ему хозяином дома.

Разговор между Балахновым и Бобоховым, прерываемый поминутно неугомонным Карачаевым, никак не клеился.

- Да вот еще что я хотел спросить у вас, - сказал Карачаев, закидывая левую руку за спину и останавливаясь перед креслами Бобохова, - скажите, пожалуйста, ха! ха! ха! отчего этот старый шут Корней одет в такую богатую ливрею?.. Что, это всегда так бывает у вас?.. Такой уж видно заведен порядок... aristocrates?

Балахнов засмеялся и подмигнул Бобохову, как будто хотел сказать: «не взыщите, простите ему». Бобохов оправился и старался улыбнуться.

- Да вот еще что, почтеннейший Иван Дормидоныч, - заговорил опять Карачаев, принимаясь расхаживать по гостиной, - пора бы, знаете... этак того... у вас, я чай, есть водка, велите-ка подать...

- Эй! - крикнул Бобохов.

- Кого это вы так зовете: Эй! эй? У них, чай, имя есть... - перебил Карачаев, мгновенно изменяя интонацию и показывая мильонщику воспаленные белки. - Послушай, брат Корней, принеси-ка водочки... Да впрочем, постой, что тебе беспокоиться, я и сам пойду! - заключил он, бросая значительный взгляд Бобохову, который зеленел и смеялся в одно и то же время.

- Вы, верно, удивляетесь этому молодцу? - весело спросил Балахнов, оставшись наедине с мильонщиком.

- Признаюсь... это даже некоторым образом...

- Ха-ха-ха! - залился Аристарх Федорович, - да; но что же делать! - подхватил он со вздохом. - Я вам уж, кажется, говорил, что мы в провинции не властны выбирать общество: надо довольствоваться тем, что есть... Впрочем, из всех остальных этот самый еще добрый и честный малый; ему все можно простить. К тому же он человек бедный: это всегда возбуждает снисхождение.

Действительно, Карачаев был очень беден, потому что теперь менее, чем когда-нибудь, имел надежду получить долг от Аристарха Федоровича.

- Ecoutez! - воскликнул Павел Петрович, показываясь неожиданно в дверях с рюмкою в одной руке, с трубкою в другой. - Скажите, пожалуйста, обедали вы, да или нет?.. Мы, может статься, приехали вовсе некстати?..

Бобохов хотел засмеяться, но взглянул на руку Карачаева, державшую чубук, и отвечал снисходительно:

- Нет, я обедаю обыкновенно в пять часов.

- Aristocratie! как есть aristocratie!.. Я тебе говорил, душа моя Aristarque... Нет, батюшка, у нас это иначе... мы привыкли обедать в два, в три часа, вот она штука-то в чем! - возразил Карачаев, заливаясь добродушным смехом.

- Впрочем, если Аристарху Федоровичу угодно, можно сейчас велеть подавать... - перебил с поспешностью Бобохов.

- Да, признаться, я бы не прочь; я сам обедаю очень поздно; но, знаете, с дороги не мешало бы отступить от принятого правила... - сказал Балахнов, самодовольно пуская клуб дыму.

- В таком случае сейчас же распоряжусь... В ожидании не угодно ли взглянуть на карту нынешнего обеда... у меня всегда так уж заведено... - сладко проговорил Бобохов, вручая лист с начертанными именами соусов, лежавший на столике вместе с афишей.

Бобохов на этот раз не крикнул: «эй!», а сам отправился с приказанием.

- Ну, не говорил ли я тебе, душа моя? Выскочка как есть, просто: буржуа-жантильом. Ну что это, например, такое? Ведь все это называется пустить пыль в глаза! - сказал Карачаев, щелкнув пальцем по обеденной карте. - Да погоди, брат, я его вышколю, будет он у меня кричать «эй!». Я дурь-то из него выбью, по струнке ходить станет; увидим!

Бобохов вернулся, сел возле Балахнова и молча устремил рысьи глазки на дверь гостиной, как бы выжидая чего-то.

Минуту спустя показался Корней, отвесил низкий поклон и возвестил, что кушанье готово.

- Неугодно ли вам пожаловать, господа? - сказал с церемонною приветливостью Бобохов, приглашая гостей в столовую - огромную белую комнату, в которой стол, накрытый на три персоны, и даже самый оркестр, стоявший вдоль задней стены, казались затерянными посреди пустыни.

Войдя в залу, Бобохов махнул рукой, и оркестр грянул какую-то увертюру.

- Превосходно! прекрасно! Вот что дело, то дело! Важно!.. Разодолжил, Иван Дормидоныч! Позволь обнять тебя за это, душа моя! - воскликнул Карачаев, протягивая хозяину руки и восторженно потряхивая головой и выбивая в то же время такт ногою.

- Прекрасный оркестр! о-о-чень хорош! - сказал Аристарх Федорович, - скажите, свой или наемный?..

- Свой-с, сам учил... вам нравится? чрезвычайно приятно! - отвечал Бобохов, у которого щеки и глазки запрыгали от восхищения. - Они играют у меня всякий день за обедом и вечером, практика. Эй! сыграть восьмой нумер из «Лучии»!.. - заключил дилетант, поворачиваясь к музыкантам. - Ну, господа, прошу садиться. Карачаев, полно вам, - прибавил он, насмешливо подмигивая Балахнову и увлекая Павла Петровича, который стоял перед контрабасом, топал ногами и поминутно стучал чубуком в пюльпитр первой скрипки, давая этим знать, что услышал фальшивую ноту. Музыка приводила всегда Карачаева в восторженное состояние: стоило раздаться каким-нибудь звукам, и уже Карачаев забывал все свои горести; в эти минуты он забывал даже советы доброй Лизаветы Семеновны и прибегал без пощады к сердцеутешительной влаге. Так случилось и теперь. В былые времена, когда сердцекрепительная влага не была еще потребностью Павла Петровича, он певал самоучкою, но очень хорошо певал русские песни и слыл даже приятнейшим бардом во всей губернии; не подозревая никакой перемены в своем голосе (у каждого человека есть свои слабости), Карачаев продолжал так же усердно подвизаться на певческом поприще; он любил до страсти управлять хором или оркестром, то есть постукивать чубуком в пюльпитр, бить такт носком, хмурить глубокомысленно брови, и обнаруживал вообще в этих случаях большую критическую строгость. „Что мне Рубини, Пини, Рини какие-то... Горло дерут и больше ничего! Я их слышал в Москве. Нет, пусть-ка вот споют русскую песню - вот тут-то мы посмотрим.“

Услышав звуки «Лучии», Карачаев разразился энергическими эпитетами против итальянцев, велел замолчать и играть что-нибудь русское.

- Стой! - кричал он поминутно, сменяя одну песню другою, вскакивая с места и подбегая к оркестру, - стой!., шт!.. валторна высоко взяла!., не то: та-та-та-тра- вот! Вишь, повадились играть итальянские арии! Первая скрипка начинай!., валторна, ну, все разом... так!! - заключил он торжественно, вращая своими воспаленными белками, размахивая салфеткой и возвращаясь каждый раз к столу с меньшею и меньшею уверенностью в ногах.

Благодаря выходкам Карачаева, обед обошелся не без смеха. В самом обеде, точно так же, как и во всех домашних распоряжениях Бобохова, ничего не было особенно замечательного или роскошного. Во всем проглядывала явная внутренняя борьба мелочной скупости с желанием блеснуть великолепием. Так, например, когда Бобохов оставался дома один, он пил одно пиво домашнего изделия и проявлял вообще страшную скаредность; природа его высказывалась тогда во всей наготе своей. Но как только появлялся хоть один гость, кто бы то ни был - на столе появлялось шампанское, да еще не белое, а розовое, и подавалось не в обыкновенных бокалах, но в каких-то краеугольных кубках из цветного стекла.

Бобохов, очень довольный похвалами, расточаемыми Балахновым безусловно всему, что попадалось ему на глаза, приказал музыкантам немедленно отправляться вниз.

- Это что значит? Стой! не сметь уходить! - закричал Карачаев, яростно размахивая руками.

- Полно, Карачаев. Ну, что ты дурачишься? - заметил Балахнов.

- Че-е-во? - запальчиво перебил Карачаев.

- Я хотел велеть им приготовляться к спектаклю. Пора; скоро половина седьмого... - сказал Бобохов.

- А, ну, это другое дело, душа моя! Ты бы мне так и сказал, Иван Дормидоныч. Ступай и приготовляйся к спектаклю! - гаркнул Карачаев, поворачиваясь к музыкантам, - да велеть мне подать трубку! жива-а-а! - заключил он, направляясь нетвердыми стопами в гостиную.

После кофе хозяин дома пригласил гостей идти в театр.

- Ну, уж удружил, душа моя! право, удружил... спасибо. Хоть ты, душа моя, и буржуа-жантильом, настоящий буржуа-жапан... все-таки позволь обнять тебя! - говорил Карачаев, выступая зигзагами по комнатам.

- Не сердитесь на него. Видите, он в восторженном состоянии, - шепнул Балахнов.

- Помилуйте, я вижу! - отвечал, зеленея, Бобохов.- Заметили ли вы это померанцевое дерево? - продолжал он, останавливаясь на лестнице, - прекрасно... Жаль только, не цветет в настоящую минуту... такой приятный запах... напоминает Палермо... Сицилию... Неаполь... Naples...

- Да, весьма должен быть приятный аромат, - отвечал Балахнов, скрывая улыбку.

Когда гости и амфитрион очутились на дворе, их окружила целая стая разношерстных собак...

- А! Вот пёс так пёс! - крикнул Карачаев, растопыривал руки перед датской собакой. - Трезор.. Кастор... поди сюда...

- Славная собака! - сказал в свою очередь Балахнов.

- Вам нравится? Чрезвычайно приятно! - заговорил амфитрион сладким голосом.- Минотавр... ici... Зовут ее Minotaur... знаете... греческое божество... Minotaur! - продолжал он самодовольно. - У этой собаки задняя часть схожа с лошадиной и глаза умные, как у человека. Я потому и назвал ее Минотавром... Minotaur... У греков было в мифологии божество... корпус человека, а зад лошадиный...

- Ну, брат, заврался! заврался, дружище! - перебил Карачаев, - какое греческое там еще божество... А вот у меня пёс, скажу тебе, душа моя, так пёс; зовут Медор, за сорок верст... да, прискакал за сорок верст и веревку перегрыз... Ну, однако, полно турусы-то разводить!.; пора делом заняться... Ну, веди, что ли, в театр, веди: ты должен предупреждать гостей. Ступай вперед; вот она штука-то в чем...

Бобохов переглянулся с Балахновым, и минуту спустя все трое входили в один из флигелей, замыкавших каменную ограду двора.

- Сюда пожалуйте, господа, сюда; здесь буфет, а тут вход за кулисы, и фойе – foyer – актеров, - говорил Бобохов, проходя с гостями по маленьким закоулкам, где едва могли поместиться три человека. - Все это еще не устроено, не успел: тут везде будет шелк и позолота. А вот, вот спектакльная зала...

Спектакльная зала могла вместить с большим удобством четыре лошадиные стойла; но Бобохов, творец ее, видел в ней совершенное подобие залы Большого московского театра. Боковые стены серо-молочпого цвета расписаны были колоннами; в интервалах висело по одной лампе, задняя стена украшалась громадными намалеванными часами, которые показывали семь; к ней примыкало подобие банного полка, выкрашенное желтою краской и имевшее назначение райка; под полком тянулись два ряда стульев: это был партер; колени зрителей упирались в дощатую перегородку, за которой помещался оркестр, над головами музыкантов возносилась суфлерская будка, составлявшая ровно пятую часть всей залы; голубая занавесь с изображением нимфы, у которой ноги начинались непосредственно после груди, усеяна была золотыми звездами; нимфа играла на лире такой же величины, как контрабас.

- Как вам нравится? - сладеньким голосом спросил Бобохов, и в то же время боязливо покосился на Карачаева, который, перевалившись через перегородку, распоряжался уже в оркестре.

- Очень мило. Мне кажется, только немного тесно.., - отвечал Балахнов.

- Помилуйте... отчего же?., совсем напротив! - возразил амфитрион, по-видимому очень недовольный тем, что гость обнаруживал мало удивления.

- Эй! Иван Дормидоныч, постой! Куда ты? - крикнул Карачаев, протискиваясь между пюльпитрами и музыкантами.

- За кулисы...

- И я с тобой; погоди, где ж тебе одному управиться?.. Постой, я все сейчас устрою...

- Нельзя, - отвечал Бобохов, нетерпеливо хлопнув дверью.

Карачаев отпрянул шаг назад, опрокинул пюльпитр, побагровел и страшно заморгал воспаленными белками.

Музыканты ухватились за свои инструменты и припали на скамейках.

- Полно, братец, оставь его; сиди смирно и смотри, что дальше будет. Это поистине любопытно, - сказал Аристарх Федорович, насмешливо улыбаясь.

- Нет, душа моя, его надо проучить хорошенько! - захрипел Карачаев, - я его выучу, как захлопывать под нос двери. Я тебе говорил... Ах, он! Прочь!., - заключил он, расталкивая музыкантов.

И, не слушая возражений Балахнова, Карачаев взгромоздился на скамейку, приподнял занавес и, просунув на сцену багровое лицо свое, прокричал во все горло:

- Буржуа-жантильом!

- Полно, Карачаев, садись, - говорил Аристарх Федорович, - охота тебе! Садись, и давай ждать конца - натешимся!

- Да это, братец, ни на что не похоже! Эй, Корней, сюда! - прибавил он, поворачиваясь неожиданно к старику, который стоял в стороне с подносом, уставленным стаканами и бутылками шампанского. - Я его выучу, как жить с порядочными людьми! Будет он у меня захлопывать двери!., - бормотал он, выпивая два стакана. - Эй! что ж вы? начинай! Ну, «Не белы-то снеги!» - заключил он, обращаясь к оркестру.

- Барин приказывали играть из «Лучии»... - робко отвечал капельмейстер.

- Че-е-во?.. Я приказываю играть: «Не белы-то снеги» - вот она штука-то в чем! Ну!

Увидя входившего Бобохова, Карачаев замолк, повернулся к нему спиной, перешагнул через ряды кресел и, затягиваясь из чубука, развалился на полке с видом глубочайшего презрения.

Лицо Бобохова было совершенно зелено, и прозрачные щеки его слегка дрожали; он старался, однако ж, не заметить Карачаева и сел подле Балахнова, обратив к нему сладенькую улыбочку.

Оркестр заиграл, нимфа улетела в потолок, и глазам Аристарха Федоровича предстало совершеннейшее подобие клетки, в которой, вместо птиц, находились два разрумяненные мальчика, одетые в старое барское пальто и белые жилеты. Мальчики стояли по обеим сторонам суфлерской ложи - иначе, впрочем, их не было бы видно, не двигали ни одним членом и говорили так тихо, что самые музыканты ничего не могли расслышать; и только каждый раз, как должна была произноситься самая эффектная фраза, на которой вращалась вся пьеса (афиша возвещала, что шел водевиль под названием: «Маленькие неприятности в жизни»), главное действующее лицо делало шаг вперед и, выразительно тыкая пальцем в оркестр, принималось кричать во все горло: «Да, вот они, маленькие-то неприятности в жизни!».

- Всего три месяца, как я их учу. Были просто деревенские мальчишки!.. Удивительная способность... понятливость... Скажите, пожалуйста, как вам нравится? - говорил Бобохов, впиваясь рысьими глазами в именитого гостя.

- Очень мило, о-о-чень мило! - отвечал снисходительный Балахнов.

- Мило... да? неправда ли, очень мило? - произнес иронически Бобохов, обиженный равнодушием гостя. - Вот куплет, послушайте... Ну, как вам нравится музыка?..

- Очень мило...

- Это мое сочинение... написано вчера утром...

- Да это, кажется, если я не ошибаюсь, «Пчелка златая», - заметил Балахнои.

- Да, если хотите... то есть напоминает, может-быть... я кое-что, однако ж, прибавил... Очень жаль, что вам не нравится... - сказал Бобохов, трепля себя за бакены, чтоб скрыть неудовольствие.

Бобохов поминутно исчезал за кулисы, чтоб делать замечание актерам. Карачаев продолжал молчать на своем полке, и только слышно было, как свистал и шипел его чубук, из которого валили клубы табачного дыма. Во второй пьесе, из нравов французских маркизов времен Людовика XIV, Карачаев, однако ж, не выдержал: улучив минуту, когда слуга на сцене, одетый в лохмотья барского пальто, возвестил: «Карета графа готова и ждет его у решетки парка», он разразился неистовым хохотом. К концу спектакля он угомонился, чубук выпал из рук его, и легкий храп возвестил, что Павел Петрович отдался Морфею. Аристарх Федорович начинал также зевать и потягивался очень неохотно на стуле. Заметив это, Бобохов приказал прекратить зрелище, молча указал Корнею на спавшего Карачаева и пригласил Балахнова идти в дом, обнаруживая все признаки раздраженного, недовольного состояния.

Во время чая Аристарх Федорович старался рассеять своего амфитриона, у него были на то свои причины: он, можно сказать, именно за этими-то причинами и поехал к выскочке. Он принялся хвалить устройство дома, сказал, что недостает только молодой хозяйки, которая придала бы своим присутствием еще более жизни роскошным палатам, и начал уж достигать своей цели, как вдруг появление Карачаева все испортило.

Первым вопросом Павла Петровича, когда разбудил его Корней, было:

- А что? Вволю ли насыпали овса лошадям?

Получив утвердительный ответ и убедившись лично в степени справедливости такого ответа, он сказал, чтоб его провели в комнату, назначенную гостям для ночлега; осмотрев комнату и оставшись, по-видимому, доволен ее расположением, он снял с себя верхнее платье, напялил старый халат, надел истасканные туфли, потребовал хересу и, удовлетворив жажду, поспешил явиться в гостиную, не забыв наперед приказать принести трубку.

- Ну, вот и я. Что ж вы без меня ушли? Эх вы, aristocratie! Послушай, Иван Дормидоныч, а что, вели-ка, брат, играть оркестру! - сказал он, разваливаясь на диване и запахивая бережно халат.

Аристарх Федорович засмеялся и подмигнул Бобохову, который поспешил исполнить желание гостя.

Заслышав звуки оркестра, Карачаев встрепенулся, закричал «спасибо!», подлил в свой чай рому и, вооружившись стаканом, поспешно вошел в залу.

- Я вам говорил, что это лучшее средство избавиться от него, - сказал Аристарх Федорович самым любезным тоном. - Вы, кажется, любите книги столько же, сколько и музыку? - продолжал он, окидывая величавым взглядом столы, заваленные журналами,- когда я приехал, вы даже читали что-то?..

- Да, я сличал два ouvrages об ученом археологическом исследовании, то есть более в нумизматическом отношении, всего того, что... то есть сличал исследования о развалинах Колизея...

Аристарх Федорович и сам уже не рад был, что коснулся такого предмета. Сколько потом ни старался он повернуть разговор, все было напрасно: Бобохов не дал ему выговорить слова и принял, казалось, явное намерение - выгрузить перед ним весь запас тех сведений, которыми он старался обогащать свою круглую голову. Оркестр, отпущенный Карачаевым, давно уже замолк, сам Карачаев давно уже лежал в постели - а речь Бобохова не умолкала ни на минуту. Балахнов начинал уже приходить в отчаяние, как вдруг Бобохов замолк и, весь запыхавшись, сел на диван. Ученый запас его истощился; Аристарх Федорович перевел дух и приступил немедленно к своему предмету.

- Скажите, пожалуйста, любезнейший Иван Дормидоныч, - произнес он как бы в рассеянности, - вы, конечно, поедете нынешнюю осень на выборы?..

- Помилуйте, как же мне не ехать! непременно поеду...

- Разумеется, - продолжал с достоинством Балахнов, - вы еще не были на выборах, и вам, как новому человеку, следует даже побывать, представиться, познакомиться с другими помещиками...

- Я все это очень хорошо знаю, - сказал выскочка, расплываясь от удовольствия, - непременно буду на выборах; но прежде еще поеду в Москву... У меня, нужно вам сказать, три музыканта в оркестре, вы их не заметили? Удивительные таланты! Я хочу образовать из них виртуозов – virtuoz virtuoso primo... и со временем, даже очень скоро, они будут играть в концертах...

Аристарх Федорович, испугавшись, что собеседник начнет теперь, чего доброго, выгружать перед ним свои музыкальные познания, поспешил перебить его.

- Скажите, пожалуйста, - произнес он с очаровательною любезностью, - кого думаете вы... то есть за кого хотите вы вотировать, то есть я говорю насчет шара вашего, кого хотите вы предпочесть из среды нашей вашим белым?..

Голос Аристарха Федоровича захлебнулся в потоке, и он остановил с уверенностью свои глаза на лице миллионщика.

- Я уж на этот счет имею свои виды, - отвечал тот, значительно раздувая прозрачпые щеки.

- Как? имеете виды? Какие же? - спросил изумленный Балахнов, - вы новое лицо у нас и, кажется, так мало еще знаете здешних помещиков...

- Да; но я уже обещал свой голос, - отвечал Бобохов, самодовольно разглаживая бакены.

- Кому же это, если можно спросить? - ласково вымолвил владелец Ханских Прудов, изменяясь в лице и закусывая нижнюю губу.

- А это секрет, mistere... меня просили не сказывать... Виноват, тайна, дал слово... misterrr...

- Человек, давший слово, должен держать его; делайте, как знаете - в этом каждому предоставлена воля, - сухо произнес Балахнов, поспешно приподнимаясь с места. - У-у, как, однако ж, поздно! Что это? Кажется, скоро час... Эй, любезный, вели поскорей закладывать коляску! - заключил он, обращаясь к Корнею, показавшемуся в дверях.

Бобохов начал упрашивать его остаться ночевать и провести весь следующий день, но величавый гость отказался напрямик, сказав, что одно очень серьезное дело заставляет его быть завтра утром дома. Бобохов, щепетильный, обидчивый и самолюбивый, как все выскочки, видя в отказе Балахнова пренебрежение к его особе, не настаивал и ограничился только тем, что отдал приказание разбудить Карачаева.

- Нет, уж вы лучше оставьте его: пусть выспится. К тому же теперь его не добудишься, - сказал с убийственною небрежностью Балахнов, едва-едва поворачиваясь к хозяину дома.

Послали, однако ж, будить Павла Петровича. Десять мипут спустя вернулся Корней и объявил, что хотя и добудились гостя, но он прогнал их всех и сказал, что уничтожит всякого, кто осмелится подойти к его постели на пять шогов.

Известие это подействовало на Бобохова самым неприятным образом: лицо его покрылось зеленью и пухлые прозрачпые щеки пришли в конвульсивное движение.

- Что это значит?., как же... это?. это... это... чрезвычайно неприятно... - пробормотал он, стискивая свои зубы.

- А значит то, - смеясь, возразил Балахнов, - что следует оставить его в покое. Завтра проснется и уедет... Дайте ему только лошадей, у вас же их так много... Прощайте! - заключил он, величаво протягивая два пальца.

Миллионщик расстался очень холодно с Балахновым, но проводил его, однако ж, до порога гостиной: дальше этого порога он никогда не провожал гостей и следовал в этом случае правилу свояка своего Тохтамышева, который говорил обыкновенно, что истинные джентльмены не должны провожать гостей своих дальше гостиной. Вернувшись в залу, Бобохов закричал: “эй!“ и отдал строжайшее приказание, чтоб завтра утром дали лошадей оставшемуся гостю и сказали ему, что хозяин дома уехал с утра на охоту.

Аристарх Федорович летел между тем в Ханские Пруды, тщетно ломая себе голову над тем, кому бы именно мог обещать Бобохов свой шар. Вопрос так живо касался честолюбивых интересов Балахнова и вместе с тем так занимал его, что он не сомкнул глаз во всю дорогу, несмотря на упругость подушек и мягкое колебанье голубой коляски, украшенной золотыми вензелями.

XVII,
преисполненная событиеми разного рода.

- Я тебе говорил, душа моя, Aristarque, я тебе говорил!.. Об этом говорила тебе даже Лизавета Семеновна! Ты не хотел верить... сердился... вот вышло же наружу, вот тебе и друг. Ай да Семен Семеныч! Вот тебе и Кошкин!

Такими словами разразился Карачаев немедленно после возвращения своего от Бобохова, у которого пробыл, сверх всякого ожидания, лишние сутки. Войдя в дом Ханских Прудов, ои тотчас же вызвал в кабинет Аристарха Федоровича, усадил его в кресла, запер на ключ двери, тщательно осмотрел, крепок ли замок, и тотчас же, без дальних приготовлений, приступил к вышеупомянутой речи. Жесты Карачаева, нахмуренные брови, воспаленные белки, вращавшиеся с беспокойством, и вообще вся наружность его показывали, что он был возмущен до глубины души.

Аристарх Федорович слушал Карачаева с величавым, презрительным пренебрежением; тем не менее, однако ж, последние слова Карачаева произвели на него сильное и совсем неожиданное действие; он изменился в лице, быстро приподнялся со своего места и начал ходить по кабинету, закинув левую руку назад, тогда как правая рука его свирепо почесывала дипломатический лоб, мгновенно покрывшийся тучами.

Наконец он остановился перед Карачаевым, топнул ногой и произнес нетерпеливо:

- Вздор! быть не может!.. Ты, братец, вечно все перепутаешь, переврешь... Слышал звон, да не знаешь, где он... Этого быть не может, говорю я! Ты, верно, не переставал

пить, и это Бобохов натолковал тебе... Вздор! быть не может! - присовокупил, разгорячась, Балахнов.

Тут Карачаев бросил на пол чубук и кинулся к двери, закричав хриплым, задыхающимся от бешенства голосом:

- Иван! Эй, лошадей!., еду... сейчас же еду; вон отсюда!..

- Ну, не сумасшедший ли ты?.. Посуди, можно ли после этого в чем-нибудь на тебя положиться? - говорил Балахнов, удерживая его за руку.

- Лошадей! лошадей! - продолжал кричать Карачаев, - не останусь же я здесь после этого! Пропадай ты совсем со своими приятелями! Пусть каждая шельма, Бобохов какой-нибудь, тебя надувает! Знать не хочу! ноги моей не будет больше в этом доме! Тебя не жаль... жаль только расстаться с Лизаветой Семеновной...

- Жены тут поминать не для чего: жена в этом деле должна быть постороннею.

- Че-е-во? Мне не жалеть Лизаветы Семеновны! которая, может быть... ну, да что тут толковать! Прощай, брат, будь счастлив! Зла тебе никогда не желал, да и добра также не желаю после всего этого. Делай, как знаешь! - заключил Павел Петрович не совсем уверенным голосом.

- Полно, Карачаев; все это пустяки! Ну, перестань беситься; довольно; садись! - говорил Аристарх Федорович, усаживая раздраженного друга, который, впрочем, довольно охотно поддавался. - Согласись сам, братец, продолжал он, усаживая его, - согласись, дело слишком серьезное и притом слишком близко до меня касается, чтоб я мог сразу, так, с бухта-барахты, дать веру словам твоим, хотя слова эти могли б даже быть не лишены справедливости...

- Помилуй, душа моя, да из чего же я говорю, если не из того, что дело касается именно тебя? - воскликнул Карачаев, мгновенно смягчаясь, - к тому же: ecoutez, неужели я стал бы чернить человека просто - здорово живешь? Если я говорю, так, стало, наверное: твой Кошкин плут, вот в чем штука-то!

- Из чего же ты это заключаешь? - произнес Балахнов, снова омрачаясь и снова начиная ходить но кабинету, - ну, говори, рассказывай, рассказывай обстоятельно, как все было; только, пожалуйста, не путай...

- Изволь, душа моя! - возразил с полной готовностью Карачаев. - только, пожалуйста, брат, не волнуйся, садись и слушай.

- Ну! - произнес Балахнов, нетерпеливо бросаясь в кресло и стараясь скрыть свое волнение.

- Вот, братец ты мой: просыпаюсь я на другое утро у этого буржуа-жантильома Бобохова; говорят, ты уехал; фу ты, пропасть! думаю... признаться, побранил тебя на порядках... хочу идти наверх - хозяин, говорят, уехал! на охоту уехал!.. Ах, он, выскочка! говорю: быть не может! Иду наверх, смотрю: ходит себе взад и вперед по своему проклятому паласту, или, как бишь это, палатам, что ли... Ну уж, брат, ecoutez, задал же я ему баню! Буржуа-жантильом этакой! Проучил же я его... Мне плевать, зеленей он сколько угодно! Со мной, ты знаешь, коротка расправа... Потом, братец, слово за словом, разговорились; что ж, душа моя? Узнаю, что он поминутно ездит к Кошкиным, и Кошкин к нему... Что за дьявол! думаю; Кошкин Балахнову об этом ничего не говорил – вот она в чем штука-то! Тут что-то неладно, думаю, завелись шашни...

- Нет, воля твоя, тут что-то не так... Бобохов, верно, наврал тебе... - перебил Аристарх Федорович недоверчиво, однако ж нетерпеливо тряхнув головой.

- Как не так! Нет, так, если я говорю! - возразил с живостью Карачаев.- Бобохов ездит беспрестанно к Кошкиным и даже, если хочешь знать, в переписке с ними, и особенно с этой чернявой Анной Васильевой... У меня есть доказательства... да!

- Какие? какие же доказательства? - спросил Аристарх Федорович, стараясь показать равнодушие.

- Какие? а вот какие доказательства, - вымолвил Карачаев, торопливо расстегивая крючки своего нанкового сюртука и вынимая клочок тщательно свернутой бумажки, - на, читай, - прибавил он торжественно.

Балахнов поспешно развернул письмо и прочел следующее:

«Madame!

Envain vous me rememorez je n'oublie vos desirs et vouz remercie pour votre amabilite. J'ai l'honneur d'etre votre

devoue J.Bobokoff»[20]

Письмо, написанное, очевидно, по лексикону, украшалось с боку литерою Б. и носило на обертке следующий адрес: «Анне Васильевне Кошкиной, в сельцо Журавлево».

- Ну, что ж из этого? - сказал Аристарх Федорович, бросая с сердцем послание на стол.

- Фу ты пропасть! Да чего ж тебе еще? Как что из этого? - крикнул Карачаев, мгновенно разгорячаясь, - тебе этого мало! Да вот погоди, брат, это еще не все; знаешь ты Газеннота, горшковского доктора, Карла Готлибовича?

- Ну, знаю...

- А когда так, так слушай же, ecoutez: Газеннот приехал вчера обедать к Бобохову и говорит, между прочим, что был на днях у Окатова и застал там Кошкина... Ага! что, братец? Что? небось поверил теперь? - подхватил Карачаев, видя, что Аристарх Федорович вскочил с пеной у рта и свирепо ударил кулаком по столу, - Что? поверил теперь? А то: нет, быть не может... Да погоди, дружище, это еще не все...

- Что ж еще? - крикнул Балахнов, стискивая вагенгеймовские зубы и покрываясь желтизною.

- А то, душа моя, Aristarque, что твой Кошкин был на днях не только у Окатова, но даже у Солонеева: Карл Готлибович Газеннот сам его видел...

Но Аристарх Федорович уже не слушал Карачаева: он маршировал по кабинету, опрокидывая на пути своем стулья, задевая за все углы и разражаясь яростными эпитетами против человеческой природы вообще и природы Семена Семеновича Кошкина в особенности. Взрыв не был, однако ж, продолжителен: минуты две спустя Аристарх Федорович уже владел собою; пожелтевшее лицо его приподнялось кверху, грудь выпрямилась, наружность приняла вдруг величавую, горделивую, полную достоинства осанку. Он подошел к столу, взял записную книжку, обмакнул перо и начертал дрожащею рукою: «Черная рука лжебрата подобна рву Даниилову: в ней гнусные страсти, яко лютейшие львы, готовы растерзать и поглотить ближнего!..».

Потом, как бы воодушевившись, он подписал сбоку „Кошкин"; затем, помакнув перо, начертал еще следующее: «За что люди вооружаются и восстают против тебя? За то, что ты добродетелен и стоишь превыше их! О, добродетель! Да не удалится от тебя жизнь моя, хотя бы суждено мне было потерпеть самые лютые скорби!».

Глубокие мысли, вызванные неожиданным моральным потрясением, осадили вереницею голову великого человека, но со всем тем не произвели на его душу успокоительного действия. Образы Окатова и Солонеева, смешанные с образом лжебрата, носились перед ним в зловещем тумане и поражали его сердце тройным кинжалом.

Что ж касается Карачаева, он чувствовал невозмутимо сладостное спокойствие человека, исполнившего свои обязанности; он поднял чубук, брошенный на пол, затянул ремень вокруг толстой, неуклюжей своей талии и стал против Балахнова, обнаруживая готовность начать увещательную, успокоительно-благоразумную речь.

Он захлопал уже белками, взял его за руку и кашлянул, но в эту самую минуту Сидор постучался в дверь и объяснил, что едет Семен Семенович Кошкин.

---

[20] Сударыня!

Не попрекайте тем, что я забыл о ваших желаниях. Благодарю за доброту и участие, всегда к вашим услугам - Ж. Бобохов.

Невозможно описать эффекта, произведенного этим известием на двух собеседников. Оба они остановились как вкопанные и взглянули с недоумением друг на друга. Карачаев – должно отдать ему справедливость – первый пришел в себя; он кинулся к двери, повернул ключ, просунул к Сидору лицо свое, побагровевшее, как клюква, и произнес:

- Не принимать! сказать: дома нет!!! жива-а-а!!!

- Перестань, братец! чего ты беснуешься? - крикнул с сердцем Аристарх Федорович, удерживая своего друга за руку и бросая на него грозный взгляд с высоты своего величия. - Сидор! сказать, что я в кабинете, - заключил он, стараясь накинуть на себя как можно больше достоинства.

- Как?!. - воскликнул Карачаев, выказывая мгновенно все признаки раздраженного состояния, - как, после всего того, что я говорил?.. Тьфу! Пропадай же после этого совсем со своим Кошкиным! тьфу! - довершил он, хлопнув дверью так, что она снова отворилась сама собою.

Встретив в коридоре Кошкина, Карачаев страшно нахмурил брови, отступил шаг назад, церемонно раскланялся, не сказав слова, и вышел в залу, размахивая руками.

Семен Семенович, приняв в соображение суетливые лица лакеев, встретивших его в передней, и вместе с тем странную выходку Карачаева, смекнул сейчас же, что тут было что-то неладно. Он был уверен, однако ж, что визиты его к врагам Балахнова оставались для владетеля Ханских Прудов совершенною тайной. «Так, разве бабья сплетня какая-нибудь, а может, и того нет; просто, может статься, домашняя ссора или неприятность», - подумал он, отыскивая пытливым взглядом какой-нибудь наружный признак, который подтвердил бы его предположение.

Сделав еще несколько шагов по коридору, Кошкин остановился, поправил черный лоснящийся парик с буклями на висках, отворотил манжеты рубашки на обшлага сюртука и, выразив на лице своем сладенькую улыбку, простирая руки вперед, пошел навстречу Аристарху Федоровичу, который показался в дверях кабинета.

- Здравствуй, Семен Семеныч, - сказал Балахнов, отвечая на дружеские излияния Кошкина холодным, почти принужденным пожатием руки.

Желтенькое лицо Семена Семеновича искривилось, как будто за щекой его внезапно очутился кусок ревеню; экспрессия растроганно-огорченного человека промелькнула в сухих чертах его; он поправил золотые очки, медленно подошел к своему другу, медленно взял его за обе руки, медленно поднял на него сметливые глаза и сказал с особенною, трогательного выразительностью:

- Здрав-ствуй, Арис-тарх Фе-до-рыч!..

Последовала непродолжительная пауза.

- Здравствуй, Семен Семеныч! - спокойно отвечал Балахнов.

Сказав это, он отступил шаг назад, скрестил на груди руки и выпрямился во весь рост.

Целую минуту оба молчали и стояли друг против друга. Кошкину видимо сделалось неловко; он опустил глаза, прищурился, потом робко взглянул на Аристарха Федоровича, как бы покушаясь спросить: «Кто ты, грозное привидение?..» Если б такой вопрос вырвался из уст Семена Семеновича, Аристарх Федорович - в том нет ни малейшого сомнения - отвечал бы следующее: „Твой судия - твоя совесть, и... и... воплощенная невинность и добродетель! Взгляни на меня, лжебрат, и если сердце твое не разорвется на части, оно никогда не знало добродетели!». Но Балахнов ограничился тем только, что подумал это, потому что Семен Семенович разразился следующими словами:

- Аристарх Федорович! Я не могу понять, что все это значит?.. Тщетно придумываю я все случаи, которые могли бы навлечь на меня твою холодность. Как и всегда, пришел я к тебе с распростертыми объятиями... Я теряюсь в скорбных для меня догадках... Встревоженные люди и даже этот Карачаев... не постигаю! Может быть, причиною тому

домашние обстоятельства, неудовольствие, может статься, какое-нибудь неожиданное горе...

- Ты не ошибаешься, - возразил Аристарх Федорович, полный в эту минуту спокойного, величавого, благородного достоинства, - да, действительно, как ты говоришь, меня постигла большая неприятность... Неисповедимая воля судеб наслала новое испытание... Не думай, однако ж, чтоб это было одно из тех неудовольствий, о которых ты уже слышал, - поспешил прибавить Аристарх Федорович, испугавшись, чтоб Кошкин не приписал его расстройство ссоре с Окатовым и неудачной истории с долиной, - отнюдь нет, любезный Семен Семеныч; я давно привык к людским неправдам; чувство гнусного лицемерия и ядовитой, шипящей злобы чуждо мне; охотно прощаю врагам моим, Семен Семеныч; пускай распускают они зловещую клевету; я этим не огорчаюсь, Семен Семеныч; всесокрушающее время, озаряющее истину, покажет им, что я всегда стоял за правду и помышлением даже не отступил от этого правила, Семен Семеныч...

Кошкину сделалось совсем неловко; он щурился, ежился, поправлял золотые очки. Странно! до сих пор не было такого домашнего горя, которое не сообщалось бы Кошкину. Кроме того, что значат этот величавый, горделивый вид, эти часто повторяемые слова: лицемерие, людская неправда и проч.? Аристарх Федорович не приглашал даже его садиться и, что всего страннее, не предлагал ему сигару nec-plus-ultra.

Желтенькое, недоумевающее лицо Кошкина, сохранявшее во все это время такое выражение, как будто он нюхал предмет, издававший крепко неприятный запах, переполнилось вдруг патокою, и - словно, вместо неприятного предмета, нос его наткнулся на розан - он подошел к Балахнову, взял его за обе руки и сказал голосом сердечного участия:

- В таком случае, друг мой, я, может быть, приехал некстати?..

- Помилуй, напротив того, я очень рад. Приезжай ты вчера или третьего дня, не застал бы дома: я ездил к Бобохову... - проговорил Балахнов, взглянув выразительно на друга.

Кусок ревеню как будто снова попал за щеку Семена Семеновича; ои прищурился, поправил очки, кашлянул и произнес рассеянно:

- Бобохов... дрянь, братец! Совершенная дрянь! Пустой мальчишка, parvenu! Я, право, не знаю, что в нем находит жена... уверяет, что он очень остер и любезен... Ах, да, кстати; она велела тебе кланяться и Лизавете Семеновне...

Аристарх Федорович поклонился, не спуская пытливого ока с очков своего друга.

Внезапно лицо Кошкина оживилось; мысль о том, что Бобохов, или гости, случившиеся у него при Балахнове, могли проболтаться, раскрыла перед ним всю истину; ои поспешил, однако ж, привести свою физиономию в прежнее умилительное положение и сказал после минутного молчание:

- Очень жаль, друг мой, что застаю тебя расстроенным; я было нарочно приехал к тебе сегодня, чтоб поговорить об очень важном деле...

- Что ж такое, братец? - живо перебил его Балахнов - говори, я готов слушать; к тому же я вовсе не расстроен; душа и голова - две вещи совершенно разные... Не прикажешь ли nec-plus-ulnra?

- Пожалуй; но все-таки, признаться, я хотел бы лучше отложить дело до другого, более удобного, случая... Принимая в уважение твое душевное расстройство...

- Полно, Семен Семеныч! Говорю тебе: я спокоен... Говори, пожалуйста, говори...

Семен Семенович закурил сигару, кашлянул, поправил очки и проговорил таинственно:

- А я, братец, ездил к Окатову...

Аристарх Федорович выпустил сигару изо рта и весь обратился во внимание. Балахнов узнал, что цель поездки Кошкина к Окатову заключалась в том, чтоб примирить его с Николаем Степановичем, уговорить Николая Степановича, раскрыть ему глаза и заставить его возвратить долину в руки Аристарха Федоровича. Поездка не увенчалась,

однако ж, успехом. Кошкин сознался чистосердечно, что сам был отчасти этому виною, ибо не расчел, что неумеренное участие его в деле Балахнова могло только раздражить упрямого и крайне мстительного Николая Степановича.

- Не все обладают твоим умом и, сказать ли (не прими это за лесть, Аристарх Федорович), твоим умом и благородством! - заключил окончательно растроганный Семен Семенович.

Призма, сквозь которую смотрел до сих пор Аристарх Федорович на прежнего своего друга, начала мало-помалу проясняться; он ждал только, что Кошкин объяснит ему свое намерение, сопровождавшее поездку его к Солонееву; одно слово - и Аристарх Федорович раскрыл бы ему свои объятия, сказал бы ему: «Друг, ты мыслишь благородно! Прости меня: я поверил лживым толкам людей и оклеветал тебя в душе своей!..». Но этого слова не произнес Семен Семенович, и сердце Балахнова наполнилось вдруг мрачною недоверчивостью. Все подтверждало его подозрение: Карлу Готлибовичу Газенноту не из чего было выдумывать! Коли сказал, что видел Кошкина у Солонеева, так, стало, это действительно так и было. Молчание Кошкина, смешанное с заметным смущением в то время, как Балахнов расспрашивал о том, кому Бобохов обещал на выборах свой голос; мнимая болезнь Кошкина в минуту страшной катастрофы с Окатовым, наконец, самопроизвольный визит к Окатову – визит, оставшийся без всяких последствий... Сомнение укрепилось в душе Балахнова; желчь закипела ключом в величавой груди его.

Да, он не ошибался, когда говорил, что вступал в эпоху горестного разочарования на пути жизни!

Великая душа Аристарха Федоровича не сокрушалась, однако ж, под бременем тяготившей ее грусти; натура его, подобно фениксу, возрождалась всегда из собственного своего пепла и проявляла энергию по мере усиления преград и препятствий.

- Одного я только не постигаю, одно темно и непонятно, - говорил сам себе Аристарх Федорович, расхаживая но кабинету после отъезда Кошкина, - одно странно: к чему же этот негодяй, таивший в душе своей, такой же черной, как его парик, злобу и ненависть, говорил в день моего рождения такие сладкие, лживые речи?..

К вечеру записная книжка украсилась следующим изречением: «Действия низких людей возвышают тех, на кого обращаются!».

Аристарх Федорович укрепился духом и решился принять как можно скорее меры для отстранения козней нового врага. Меры должны были быть самые действительные, потому что до выборов оставалось всего-на-все какие-нибудь три месяца. Балахнов несколько дней не выходил из своего кабинета, погруженный весь в хитро сплетенные соображения самого тонкого дипломатического свойства.

В один из этих дней, вечером, когда все жители древнего дома разбрелись после ужина по своим спальням, Карачаев натянул на плечи старый свой халат, спросил трубку и принялся расхаживать взад и вперед. Он, казалось, был чем-то сильно озабочен; не было, однако ж, никакой возможности определить с точностью выражение на его лице; брови его то нахмуривались сильнейшим образом и лысина, прикрытая полдюжиною мягких, как шелк, волос, зачесанных справа налево, покрывалась колером, не уступавшим в яркости цвету раздавленной свеклы; то вдруг брови выпрямлялись, как бы разглаженные счастливою мыслью, выступавшею на самом переносье; то снова останавливался он в тягостном, беспокойном раздумьи перед догоревшей свечкой, поставленной на стол заботливой рукой Ивана. Павел Петрович выпускал изо рта трубку, моргал нетерпеливо воспаленными своими белками, свирепо почесывал голый мясистый затылок, и вдруг снова, как бы перескочив через сто тревожных мыслей на одну счастливую, принимался расхаживать по зале, затягиваясь из трубки с такою свирепостью, что можно было принять издали шипение трубки за храп пятерых дюжих лакеев!

Как бы там ни было, все это, вместе взятое, показывало, однако ж, очень ясно, что Карачаев был озабочен, и даже сильно озабочен. Положение, в которое ставили его обстоятельства, стоило действительно того, чтоб призадуматься... Карачаев, нужно

заметить, был в ссоре с Аристархом Федоровичем по поводу истории с Кошкиным (он не знал еще результата свидания между Балахновым и Семеном Семеновичем), и хотя в сердце его не оставалось злобы на маковую росинку, но он все-таки не хотел говорить с ним и дал себе слово прекратить раз навсегда всякие сношения с владетелем Ханских Прудов.

- Пусть его надувают. Я хотел по дружбе раскрыть ему глаза... Этот Кошкин – плут, и больше ничего! Говорю, доказываю – нет, не верит мне. Пускай же оберут его как липку, да впутают еще в какое-нибудь дело. Не веришь Карачаеву - спохватишься, да поздно будет. Карачаев плакать не станет, небось! Карачаеву жаль только одну Лизавету Семеновну да ребятишек... Вот с ними, с голубчиками, что-то станется!

Карачаев считал себя в высшей степени оскорбленным; Аристарх Федорович – в том Карачаев теперь ясно убедился – не ставил в медный грош его дружбы, потешался только над ним, а между тем обстоятельства были такого рода, что Павлу Петровичу необходимо нужно было объясниться с Балахновым, и объясниться насчет самого щекотливого, неприятного дела: требовалось попросить хоть сколько-нибудь деньжонок. Он, разумеется, станет просить не чужие деньги, свои собственные, но тем не менее просьбы эти, весьма редкие, составляли для Карачаева нравственную пытку. Ссора его с Балахновым придавала делу самый неловкий оборот. Балахнов подумает, чего доброго, что он просит денег именно потому только, что поссорился с ним! Об этом-то и сокрушался Карачаев, расхаживая в халате и туфлях по зале. Не просить денег – невозможно: Иван уж не раз докладывал, что из носовых платков остался один лишь бумажный, клетчатый, да и тот начинал обсекаться по углам от частого употребления; из другого белья оставалась самая безделица, годная лишь на корпию или на заплаты. Осматривая в последний раз черный фрак, Карачаев сам убедился, что локти и швы вообще показывали все признаки окончательного разрушения; серый нанковый сюртучок, равно как широкие шальвары, и даже сапоги, требовали немедленного подкрепления; кроме этого, Ивану не было заплачено жалованья ровно за полгода, и тем скорее следовало выдать деньги, что Иван не упоминал даже о них.

Стенные часы пробили уже два, когда Карачаев решился покинуть залу. Он взял свечку и, шагая через людей, спавших вполовину на полу передней, направился в свою комнату, ту самую, где некогда вместе с Васильковым слушал чтение «Непризнанной Индейки».

Войдя в комнату, Карачаев немного удивился, когда увидел, что Иван, которого отпустил он спать три часа тому назад, стоял у двери и дожидался.

Веселая, беззаботная физиономия бывшого гаера выражала на этот раз такое же точно неловкое, смущенное состояние духа, какое обозначалось на лице самого барина. Карачаев тотчас же заметил это. Привыкнув судить обо всем, основываясь на своих собственных чувствах, он тотчас же подумал, что Иван заминается, не зная, как приступить к разговору о выдаче жалованья. Мысль эта окончательно сконфузила Павла Петровича; он побагровел до ресниц и пробормотал несвязно:

- Что ты, Ваня?., я сам разденусь... пошел бы спать... Я ведь сказал тебе...

- Ничего, Павел Петрович; я, признаться, не то, чтобы... то есть хотелось, сударь, потревожить вас насчет одного, то-есть собственного своего дельца, проговорил он, тряхнув белокурыми волосами.

Карачаев повернулся к постели и принялся поспешно перебирать ногами.

- Знаю, братец, проговорил он, моргая глазами, - знаю я, душа моя; сам только что об этом думал...

- Вы, то есть, в рассуждении думаете, Павел Петрович, я насчет, то есть, денег...

- Ну, да, душа моя, знаю, знаю, за шесть месяцев.. Я завтра попрошу у Аристарха Федоровича...

- Помилуйте, сударь! На этот счет не извольте сомневаться; я совсем не об том... Я хотел попросить вас насчет, то есть, совсем другого дела, - произнес Иван, хмуря лоб и значительно пожимая губами.

У Карачаева отлегло от сердца. Он проворно обернулся к Ивану и, устремив на него удивленные зрачки, сказал развязно:

- Помилуй, душа моя, очень рад, говори... ты знаешь, я все готов для тебя сделать. Ну, что такое?

- Покорнейше благодарю, Павел Петрович. Век, сударь, буду помнить вашу добродетель. Не оставьте меня теперь... Я хотел, Павел Петрович, - примолвил Иван, делая шаг вперед и опуская голову, - хотел просить вас отпустить меня... Я, признаться, никогда бы не расстался с вами, да дела свои заставляют...

Карачаев, пораженный неожиданным известием, не мог проговорить слова в продолжение нескольких секунд и только багровел.

- Как? - вскричал он наконец, страшно захлопав глазами, - как? Ты хочешь оставить меня? Что ж, недоволен ты мной, что ли? Чего ж тебе еще?.. Что жалованье-то не платил исправно, так ты этим обижаешься? Говори, продавшая душа, говори, говори, чем ты мной недоволен?..

И, не дожидаясь ответа, Карачаев заходил но комнате, размахивая руками и повторяя, как бы обращался к целой аудитории:

- Вот, обходился с ним как нельзя лучше; в дороге ли, в людях ли, первое слово, чтоб его поили и кормили, чтоб ему то и то было... А он!.. Чего ж тебе еще, продажная душа? - заключил Карачаев, запальчиво останавливаясь перед Иваном, который стоял с понурою головою.

- Помилуйте, Павел Петрович! Я все это чувствую, сударь, и никогда бы не расстался с вами; не сойти мне с этого места, если говорю неправду. Я, кажется, всегда служил вам как следует. Уж чего, сударь, всякую малость берег, как свое добро, сами изволите знать. Дела, сударь, свои дела, Павел Петрович, заставляют... Иначе бы, поверьте, во веки веков никогда с вами не расстался...

- Толкуй эту белиберду не мне, а другому кому, если хочешь; вот она штука-то в чем! - вскричал запальчиво Карачаев, - дела, гм! Какие дела, хотел бы я знать? Какие дела? Ну, говори, говори - какие дела? - повторил он, озадаченный тоном уверенности, с каким говорил Иван.

Иван сообщил ему свои намерение составить труппу, вернуться к прежнему ремеслу, которое, говорил он, зазывало его, не давая ему покоя ни днем, ни ночью; затем он передал Карачаеву дальнейшие планы свои, заключавшиеся в том, чтоб уехать в губернский город, построить балаган на скопленные у прежнего барина деньги и давать представление во время выборов.

Объяснения Ивана отличались такою ясностью, показывали столько обдуманности, и вместе с тем предпринятое им дело заключало в себе столько выгод в сравнении с настоящим его положением, что Карачаев ничего не отвечал и стоял, моргая глазами, опущенными к полу.

Оп вскоре, однако ж, оправился, поспешно подбежал к постели, еще поспешнее сбросил халат, скинул сапоги и, не сказав ни слова, повернулся спиною к Ивану и закутался в одеяло.

- Павел Петрович!., - начал Иван умоляющим голосом.

- Чего тебе? - нетерпеливо возразил Карачаев, – сказано, что нельзя – стало, так и будет. Все вздор! шею тебе сломать хочется, что ли? Вздор, пустяки, не пущу – вот и все тут! Делай как хочешь! Вздор! не дам паспорта; живи у меня... Да и нельзя отпустить, никак нельзя... - заключил он снова, поворачиваясь спиною.

- Да, помилуйте, за что же так, Павел Петрович?.. Кажется...

- А то, что я тебе должен!.. Ну, сказано - стало, и разговаривать нечего... отваливай!..

- Полноте, сударь, вам об этом не для чего сомневаться... за вами не пропадет. Слава Богу, я вас знаю! - подхватил Иван с живостью. - Только уж сделайте Божескую милость...

И Иван, желая, верно, убедить окончательно своего барина, принялся рассказывать свои отношение к Глафире, прося его в то же время упросить Аристарха Федоровича отдать ее за него замуж. Карачаев продолжал отнекиваться, потом стал убеждать Ивана оставить все эти затеи и, наконец, сраженный доводами Ивана, замолк и прикинулся спящим, чтоб только прекратить тягостное совещание...

На другое утро и в продолжение всего дня Карачаев старался не видеть Ивана. «Перемелется - все мука будет. Ведь заберет же человек такой вздор в голову! Не пущу, да и все тут! А, впрочем, пройдет день - другой, и сам одумается, сам скажет, что вздор затеял!» - рассуждал Карачаев, ободряя себя такими мыслями. Вечером, когда наступило время спать, Павел Петрович ушел прежде других, решившись раздеться как можно скорее, затушить свечку и предупредить Ивана; но Иван стоял уже в комнате. Карачаев хлопнул дверью и увидел Глафиру, стоявшую с заплаканными глазами; не успел он отступить шаг назад, как уже Глафира и Иван лежали у ног его, прося быть отцом родным.

- Что с вами? встаньте! Я этого не люблю! - говорил Карачаев, суетливо подымая обоих. - О чем плакать? Ну, Господь с вами! Э! все сделаю... перестаньте!..

Он сел на кровать, провел ладонью по лбу, прищурился и, наконец, устремив глаза на камердинера, сказал, качая во все стороны своею головой:

- Эх, Ваня, Ваня, Ваня!

Иван и владычица его сердца, обнадеженные словами Карачаева, покинули комнату с легким сердцем.

Что ж касается до Павла Петровича, он долго не мог сомкнуть глаз; никогда еще, во всю жизнь, не привелось ему испытывать таких сильных моральных потрясений...

На другой же день, утром, он стоял у кабинета Аристарха Федоровича с твердым намерением выпросить во что бы то ни стало вольную Глафире. Заслышав голоса за дверью, Карачаев несказанно обрадовался, принимая в соображение не совсем приязненные отношение, существовавшие между им и Балахновым; он рассудил, что легче будет заговорить в первый раз с Аристархом Федоровичем при посторонних, чем с глазу на глаз. Он кашлянул, приосанился и вошел в кабинет, силясь придать как можно больше развязности в своих приемах, но обнаруживая, тем не менее, крайнюю неловкость.

- А! это ты? здравствуй, братец, где ты пропадал? - рассеянно сказал Аристарх Федорович, не подозревавший даже того, разумеется, чтоб Карачаев мог питать к нему когда-либо какие-нибудь неприятные чувства. - Вот, братец, взгляни, полюбуйся, примолвил он, указывая ему рукою на Калину, который стоял подле двери с мрачно нависнувшими бровями, - хочет оставить меня, просит паспорт... а? как тебе это нравится?..

Карачаев ничего не отвечал, занятый весь своим делом и предстоящею разлукою с Иваном; он провел ладонью по лысине и отошел в сторону.

- Нет уж, ваше высокородие, как вам будет угодно, а только, ваше благородие, извольте отпустить меня, - говорил Калина, разводя руками.

- Да куда тебя тащит нелегкая? зачем? Жизнь, что ли, не правится тебе в Ханских Прудах, а? - произнес шутливо Балахнов.

- Нет, ваше высокоблагородие, не то... Что мне!., а уж только извольте отпустить меня... как будет угодно! - заключил старик, тряхнув головой.

- Ведь пропадешь, - смеясь сказал Аристарх Федорович, - пропадешь, пропадешь вместе с дочерью, пропьешь и себя, и ее, с кругу сопьешься!..

Калина поднял на него свои отекшие глаза, бросил взгляд немого, который силится выразить глубочайшее равнодушие.

- Притом, - продолжал Балахнов, объясняя этот взгляд в свою пользу, - куда пойдешь ты искать работу, тогда как ее и здесь много?., лучшего места тебе не найти...

- Много местов, ваше благородие; меня везде возьмут, потому что, ваше высокоблагородство, все могу исполнить, все могу! - сказал мастер, покручивая головой.- Как вам угодно будет, а уж только извольте ослободить меня...

- Делай, как знаешь; держать тебя я не могу против воли. Ступай, завтра получишь паспорт!

Калина – слава и честь маляров Горшковского уезда – поклонился и вышел из кабинета.

Аристарх Федорович повернул тогда глаза к Карачаеву. Как ни мало расположен был к веселью величавый владетель Ханских Прудов, он не мог, однако ж, удержаться от смеха, увидев нахмуренную физиономию Павла Петровича.

- Что с тобой, братец? Что затуманился? Уж не приключилось ли чего-нибудь с Медором? - спросил Балахнов, продолжая смотреть в лицо своему другу и смеяться.

- А хоть бы и приключилось – что ж тут смешного?.. смешного ничего нет... - проговорил Карачаев, краснея, но стараясь подавить досаду, возбужденную, во-первых, неуместным смехом, во-вторых, свободным обращением Балахнова, не подозревавшего, по-видимому, вины своей перед Карачаевым.

«Ему как бы нипочем; он точно прав передо мною; как словно ничего между нами не было в эти дни!» - подумал Павел Петрович, и наконец прибавил вслух:

- Ну, да что об этом толковать! Я, братец, пришел к тебе, признаться, за делом...

- Ба! судя по твоему лицу, должно полагать, братец, что дело очень серьезное! - сказал Балахнов, шутливо нахмурив брови. - Садись, рассказывай, повествуй. Ну... - примолвил он с такою натянутою веселостью, какую принимают люди, имеющие привычку отшучиваться от просьб докучливых кредиторов.

- Серьезное ли это дело или нет, все зависит от того, как станешь смотреть на него, отвечал отрывисто Карачаев, - я, по крайней мере, почитаю его очень серьезным. Вот в чем оно состоит: Иван мой хочет жениться на Глафире; он человек вольный, она крепостная - отпусти ее на волю... А если не хочешь для меня этого сделать, если горазд ты только говорить: «доброе дело, доброе дело!» - прибавил он сурово,- так я внесу, пожалуй, все, что потребуешь...

- Только-то? - воскликнул Балахнов, думавший прежде, что Карачаев приходил просить денег. - Ну, признаюсь, есть из чего хмурить брови! А чтоб доказать тебе, что я не на словах делаю добрые дела, пускай твой Иван берет Глафиру; завтра же дана ей будет отпускная на все четыре стороны...

- Спасибо, душа моя! Я никогда не сомневался в твоем благородстве! - с жаром сказал Карачаев, пожимая протянутую руку.

И он, без сомнения, бросился бы в объятия Балахнова, если б его не останавливала другая мысль, обдавшая лихорадочным холодом всю его внутренность.

- У меня, братец, есть к тебе ещё другая просьба... - проговорил он, поглаживая лысину.

- Что такое? Очень рад, говори! - произнес Балахнов, косясь в окно.

- Вот видишь ли, душа моя, я не то, чтоб... ты знаешь, Aristarque, душа моя, - отвечал Карачаев, щурясь и переминаясь с самым пеловким видом, - я, ты знаешь, смерть этого не люблю, Аристарх Федорыч; тебе, может, говорила Лизавета Семеновна, а если и не говорила, так я, душа моя... одна необходимость, душа моя, Aristarque... Фу, черт побери, смерть не люблю говорить об этом! - заключил он, яростно плюнув в угол.

- Если тебе нужны деньги...

- Ну, да, душа моя! Да черт с ними! пропадай они совсем!.. А, право, нельзя никак, хоть сколько-нибудь... Есть, брат, одно дело...

- Если тебе нужны деньги, - продолжал Аристарх Федорович, принимаясь чистить вагенгеймовские свои зубы зубочисткою из орлиного крыла, - очень сожалею, что не сказал этого прежде... Теперь, к несчастью, никак не могу исполнить твоей просьбы.

Карачаев, закинув толстые руки за спину, ходил в волнении по кабинету.

- Впрочем, если хочешь, я частью могу удовлетворить тебя, - подхватил Аристарх Федорович, озаренный внезапно счастливою мыслью, - у меня есть вексель, гм! гм! вексель этого Кошкина в три тысячи. Возьми его, пожалуй, подай ко взысканию - и ручаюсь, что получишь, конечно не все, но третью долю - наверное. Тысяча рублей порядочная сумма для тебя, разумеется... Хочешь, бери; вот он.

Карачаев ходил несколько секунд в раздумьи, потом вдруг шлепнул себя по лбу, подбежал к Балахнову и закричал:

- Давай! беру!

Вооружившись векселем и вместе с ним доверенностью действовать по нему самопроизвольно, Карачаев побежал тотчас же к Лизавете Семеновне, соблюдая, однако ж, при этом такую осторожность, что никто его не заметил.

- Наша взяла, голубушка моя, Лизавета Семеновна, наша взяла! - закричал Карачаев, показываясь в дверях детской и ударяя кулаком по векселю, - наша взяла! А я-то думал, что они опять в дружбе! Поссорились, насмерть поссорились; вот вам доказательство, вот оно! Теперь Кошкин в наших руках, и мы его, то есть, скрутим...

Балахнова долго не могла понять, в чем дело; наконец, кой-как объяснилось, что Карачаев владел неоспоримым доказательством самых неприязненных отношений между ее мужем и Кошкиным, и хотел завтра же отправиться в город, чтоб подать вексель ко взысканию и отомстить Кошкину за все огорчение, нанесенные ей и ее мужу.

- Нет, добрый мой Павел Петрович, вы не должны этого делать, - сказала она, пожимая ему руку, - это даст только повод к новым историям; их, к несчастию, и без того слишком много. Прошу вас, оставьте Кошкина в покое; он, верно, перестанет к нам ездить - я этого только и хотела. Бросьте этот вексель, или лучше отдайте мне его...

- Помилуйте, все, что вам угодно, я на все готов. Вот он, возьмите его...

- Скажите, однако ж, Павел Петрович, каким образом он попал к нам? разве вы просили денег у мужа?

- Да, признаться, Лизавета Семеновна, очень понадобились. Вы знаете, я без этого никогда бы..,

- Знаю, знаю, - говорила, улыбаясь, Балахнова, - и что ж? вот все, что дал он вам? - прибавила она, краснея.

- Да-с; но я вовсе не хотел подать ко взысканию, потому собственно, что мне нужны деньги... Мне, признаться, не то, чтобы очень... я хотел, извольте видеть... Иван отходит от меня; шесть лет жил... вы понимаете?..

- Не совсем...

- То есть, как бы вам сказать?.. Хотелось бы сделать ему подарочек на память, так, безделицу... К тому же он женится. Аристарх Федорович дал вольную Глафире...

- Ах, как я рада! Ну, слава Богу! - говорила Балахнова, тогда как Карачаев, в припадке душевного восторга, осыпал поцелуями ее руки. - Но, послушайте, добрый мой Павел Петрович, надо, однако ж, подумать о том, как бы помочь горю и привести в исполнение благородное ваше намерение... Вы знаете, у меня нет денег, я бы душою рада... Как быть! надо, однако ж, достать...

- Что вы, что вы, голубушка моя! И вы, вы станете для меня беспокоиться! Да что я, разве - бесчувственный какой, что допущу вас просить у Аристарха Федорыча! Я ведь все знаю, все, голубушка Лизавета Семеновна... Нет, вам нечего беспокоиться на этот счет. Вот разве что-нибудь из платья на приданое - это другое дело... А что касается до денег, я сам постараюсь достать их где-нибудь!

Рассуждать о том, что следует занять там-то и там-то денег, обнадеживать себя тем, что там-то и там-то непременно дадут денег, гораздо легче, чем привести такое намерение к вожделенному успеху. Так точно случилось с добрым Карачаевым. Целый день бродил он по дому, придумывая, к кому бы обратиться. По всему видно было, что мыслительная машина его работала всеми своими жерновами и шестернями; он переходил из одной комнаты в другую, останавливался перед каждым окном, почесывал свою лысину или

садился перед Медором и пристально смотрел на него, как бы желая прочесть в подслеповатых глазах собаки разрешение трудной загадки. Но ни Медор, ни окна, ни стены древнего дома, ни даже почесыванье затылка - ничто не вразумило Павла Петровича. К вечеру, наконец, пришла ему счастливая мысль - обратиться к прежнему приятелю Барабанчикову, и утром, на другой же день, летел он стремглав, подскакивая в своей тележке.

XVIII,
в которой находится подробное донесение о том, что услышал Карачаев по возвращении своем в Ханские Пруды, как принял он это известие, и какое затем последовало с его стороны распоряжение.

Во время отсутствия Карачаева, продолжавшегося, по обыкновению, несколько дней, в Ханских Прудах произошло следующее достопримечательное событие: общество, состоявшее из Аристарха Федоровича и его жены, Копкова, Дрянкова и трех Кокуркиных, приехавших накануне, сидело под вечер на террасе; девица Сараманаева разливала чай и показывала белки свои всякий раз, когда пухлое лицо ее обращалось к кому-нибудь из мужчин. Беседа не отличалась особенным одушевлением. Балахнов рассеянно смотрел вдаль, по ту сторону прудов, где показывались верхушки киосков и пирамид; Дрянков, занятый почти безнадежною, но тем не менее назойливою, непреклонною мыслью о том, как бы осуществить поездку в Москву и предать тиснению „Непризнанную Индейку", хранил мрачное молчание, насупливал свое лицо или нетерпеливо потирал нос; Прокисай Захарович также не говорил ни слова: язык его прилипал к гортани и не мог двигаться с места по причине страшных сильных ощущений и чувствований, осаждавших в одно время его душу; он глядел на младшую Кокуркину, сидевшую спиною к окну террасы, и взгляд его, сначала тоскливо-страстный, начинал уже суживаться и тонуть в патоке, как вдруг в окне, над самой головой Надеженьки, показывалась грозная, мстительная фигура Фионы Ивановны...

В одно мгновение члены Прокисая Захаровича, размягчавшиеся и таявшие от сладостного созерцания, переполнялись смертельным холодом до самого мозга, глаза выражали испуг, а лицо принимало экспрессию, как у человека, отягченного продолжительным, страшным кошмаром. Лизавета Семеновна, слегка наклонив голову, слушала с заметным принуждением двух старших Кокуркиных, которые говорили за всех, поминутно перебивая друг дружку, и тараторили без умолку, наполняя террасу дребезжаньем, чрезвычайно похожим на то, когда в раскаленную печь бросят добрую пригоршню кедровых орехов.

Внезапно за садом послышался колокольчик...

- А! вот и Карачаев! - воскликнули все в один голос, но с разными, однако ж, интонациями: кто радостно, кто с насмешкой, а кто и с явным пренебрежением.

Тем не менее лица всех обратились нетерпеливо к двери гостиной. Общество немало было удивлено, когда, вместо разбитного, веселого, красного лица Карачаева показалось лицо - и, Боже мой, какое лицо! - Порфирия Павловича Василькова. Представьте себе картину местности, покрытой некогда цветущей, великолепною растительностью, и вдруг опустошенной, изрытой, поставленной верх дном действием какого-нибудь страшного антильского урагана: не могу приискать лучшего сравнение, чтоб определить с наибольшею точностью то, что выражало в настоящую минуту лицо сердобольного, чувствительного Василькова. Черные волосяные волюты его свешивались на лоб, стояли торчмя на затылке, ерошились в беспорядке на макушке и, вместе с гигантскими встрепанными бакенами, представляли совершеннейший образчик хаоса. Глаза... о глазах его и говорить нечего: они готовились, казалось, лопнуть от чересчур сильного напряжения, горя и отчаяния, разлитого на бледных, впалых щеках.

Он остановился, как привидение, в дверях, и таким унылым взглядом окинул присутствовавших, что общество целую минуту не могло проговорить слова.

Наконец, все, не исключая даже сурового, эгоистического Дрянкова, который, впрочем, как уже известно, отличал всегда Василькова - единственного покорного и снисходительного слушателя «Непризнанной Индейки», окружили растерзанного, убитого горем гостя.

- Что такое? что с вами? что случилось? Боже мой? уж не несчастие ли какое-нибудь? А супруга? Где Антонина Васильевна?. Говорите, что приключилось? - посыпалось со всех сторон, сопровождаемое пожатием многих рук и взглядами, преисполненными живейшого любопытства.

Порфирий Павлович раскрыл рот, хотел что-то сказать, вероятно, поблагодарить за участие, но вместо ответа из уст его вырвалось раздирающее рыдание. Он закрыл лицо руками, опустился на соседний стул и тоскливо замотал огромною головою.

- Боже мой, ему дурно! воды, скорей воды! - закричали в один голос три Кокуркины, суетясь как угорелые.

- Полноте, барышни, какое дурно! Видите, он просто встревожен или расстроен чем-нибудь, - сказал Аристарх Федорович, ободряя страждущего дружескими ударами по плечу.

Порфирий Павлович действительно ободрился; он отнял руки от лица, орошенного слезами, возвел, с глубоким вздохом, к потолку свои огромные глаза и проговорил, отчаянно мотая головою: «Нет, я не жилец на здешнем свете!».

Вопросы: «Что случилось? Что такое? Что с вами?"» – посыпались уже теперь с учетверенной силой на голову Порфирия Павловича, и всеобщее любопытство дошло до крайних пределов.

- Позвольте, mesdames, тут, может быть, такое дело, которое прямо касается каких-нибудь семейных, домашних обстоятельств; они неприкосновенны! - сказал торжественно Аристарх Федорович. Встань, Порфирий Павлыч, ободрись. Пойдем со мной в кабинет. Мы посмотрим, что можно сделать и чем помочь твоему горю. Рука дружбы облегчает страдание изъязвленного, переполненного скорбью сердца, и блажен тот, к кому готова протянуться такая рука. Пойдем! - примолвил Балахнов, сгоравший от нетерпения и страстно любивший, как уже сказано, играть роль поверенного, посредника, отца-покровителя мелких соседей своего уезда.

Он взял Василькова йод руку и повел его в кабинет.

- Ну, что случилось? разсказывай. Будь уверен, братец, - ты меня знаешь, - если это тайна, она останется сокровенною тайной! - говорил Балахнов, заботливо усаживая Василькова на мягкое кресло и протягивая ему обе руки свои.

Разнеженный Порфирий Павлович завертел зрачками, припал к щеке Аристарха Федоровича, который тотчас же приставил правое ухо, и, заливаясь обильным потоком слез, принялся передавать ему шепотом свою тайну.

Во время этого шепота, прерываемого поминутно всхлипываниями, лицо Аристарха Федоровича переменило несколько выражений, которые можно было, однако ж, привести под общий итог: живого, постепенно удовлетворяемого любопытства.

- Так, любезный мой, так; этого следовало ожидать! - сказал он, отнимая свое ухо, вымоченное слезами Василькова, окончившего свое трудное повествование, - этого непременно следовало ожидать. Я это предвидел. И ведь охота же была тебе связываться с этой чахоткой!.. Я тебе тогда еще - помнишь, за обедом, когда ты был женихом - говорил, что это сущий пострел. Мать – старая кокетка: какое могла она дать ей воспитание? Ровно никакого! Взлелеянная, вскормленная, можно сказать, дурным примером, она... ты понимаешь?.. И притом, охота же тебе было пускать к себе в дом... Я сам выгнал этого прощелыгу, а ты принимаешь. Видна птица по полету. Негодяй, отъявленный негодяй!..

- Помилуйте, Аристарх Федорыч, ох! это просто меломан какой-то! - с отчаяньем возразил Порфирий Павлыч.

- Гм... так, ну, хорошо! Теперь скажи мне, какие твои намерения? Ты говоришь, что она хочет жить с тобою в разделе, она в своем имении, ты в своем, не так ли?

- О-ох, Антониночка, что ты со мной сделала!.. Куда преклоню я свою голову?. - говорил бедный Васильков, отчаянно мотая головою и закрывая лицо руками.

- Полно, братец, перестань; мужчине непристойно падать духом! - сказал Аристарх Федорович, рассеянно протягивая руку, пристально всматриваясь в угол и как бы желая удержать новую мысль, промелькнувшую в дипломатической голове его. - Да, отчаиваться не следует; полно, говори толком... Итак, - прибавил он, овладев по-видимому уже окончательно своею мыслью, - ты говоришь, что она хочет жить с тобою в разделе именья, то - есть ты в своем, она в своем? Я считаю такую претензию с ее стороны неосновательною! Как муж, ты имеешь право на известную часть ее имения...

- Нет, Аристарх Федорыч, ничего мне не надо; без нее я ничего не хочу; я даже видеть теперь не могу своей собственной Сусловки, где родился... Тоничка, Антониночка! Что ты со мной сделала!..

- Ну, это вздор, братец! Свое добро упускать незачем. Не везде найдешь ты в жизни людей, готовых принять тебя как родного, не везде встретишь распростертые объятия друзей. Я вот что хотел предложить тебе, - примолвил с особенною поспешностью Аристарх Федорович. - Понимая и вполне душевно соболезнуя о том, что тебе опротивело именьице, в котором родился, предлагаю тебе продать его мне. Я хотел давно еще предложить тебе это, но не предлагал потому именно, что тебе нужно же было иметь что-нибудь для женитьбы; ты знаешь, я скупаю все именья, прилежащие к моим владениям, и, конечно - я в этом уверен, да и ты, я думаю, также - мы сойдемся в условиях. Об этом и говорить даже нечего, я полагаю. Ты знаешь мое расположение к тебе: кому же вернее передать свое имение, как не человеку, который оказывал всегда дружбу и искреннее участие?., - договорил Балахнов, выпрямляя грудь и вторично протягивая руки несчастному другу.

- Я все это чувствую, ох, чувствую! - возразил Порфирий Павлович, прикладывая ладонь к груди и возводя исполинские глаза свои на стены кабинета, как бы призывая их в свидетели, могущие подтвердить искренность его слов, - вы мой благодетель, всегда были им... Но как, куда преклоню я свою голову, если продам Сусловку? Где найду тогда угол и пристанище?..

- Вот вздор какой! Живи пока у меня, живи, сколько хочешь; мой дом открыт для друзей; а там, если вздумается, с помощью капитала всюду найдешь себе место и пристанище, как ты говоришь... Но теперь прежде всего не должно тебе упустить следующей тебе части из женина имения; приложив эту часть к Сусловке и продав мне то и другое, ты составишь себе порядочный капитал, а так как в подобных делах время терять нечего, то ты должен немедленно приступить к ограждению своих прав и, если можно, уговориться с женою полюбовно; если ж нет, действовать через посредство суда...

- Как, Аристарх Федорыч, мне, мне поднять руку на Антониночку! - воскликнул испуганный Васильков.

- Все это вздор, братец! - спокойно возразил Балахнов. - Руки подымать тут незачем; как я тебе сказал: прежде следует попробовать обделать дело полюбовно; завтра же или, зачем откладывать, сегодня же напиши ей письмо, в котором изложи свои требования. Если удастся - хорошо, нет - я скажу тебе, как действовать, и сам даже помогу... Итак, полно отчаиваться, живи у меня; постараемся рассеять грусть-тоску нашего друга. Э, братец! Не ты первый, не ты последний! - весело заключил Аристарх Федорович, похлопывая ладонью ио плечу Порфирия Павловича, который плакал и улыбался в одно и то же время.

Страждущее сердце чрезвычайно схоже с кораблем, набитым тяжелым грузом и несомым страшною бурей; средство к спасению одно - как можно скорее выгрузить лишнюю тяжесть: облегченный корабль всплывает тогда на поверхность разъяренного моря, как пустая яичная скорлупа, и скачет по пенистым хребтам валов, нимало не

опасаясь лютых взрывов ветра и натиска седых бурунов. Так же точно случилось и с сердцем Порфирия Павловича: выгрузив часть своего горя в ухо Аристарха Федоровича, он сам подивился необыкновенной легкости, с какой пошел лавировать из кабинета в гостиную. Воспоминания об Антониночке, занимавшие в сердце его такое же точно место, как киль в корабле, то есть главное, основное место, от которого ни под каким видом нельзя было освободиться, не переставало, однако ж, давить его. Порфирий Павлович, несмотря на свое сильное расположение к меланхолии, был человек чисто общественный; очутившись между дамами и чувствуя, что этот несчастный киль мешает ему проявлять обычную легкость и развязность, Васильков принялся теребить его во все стороны, стараясь вырвать его хоть на время, пока пребывал в гостиной. Видя свое бессилие, но верный все-таки своей цели, он начал деятельно осматривать все закоулки своего сердца, и каждый раз, как находил какую-нибудь лишнюю тяжесть, спешил выгрузить ее в первое встречавшееся ему ухо; ушей встретилось чрезвычайно много и, следствием старательной своей выгрузки, Васильков достиг наконец цели и окончательно облегчился. Через полчаса обывателям Ханских Прудов известна была в малейших подробностях история, происшедшая в Сусловке. Пора, впрочем, было: всеобщее любопытство, особливо трех Кокуркиных, доходило уже до несносного состояния зубной боли. Тронутый участием дам и ощущая на себе благотворное действие этого участия, Порфирий Павлович принялся выгребать из своего корабля даже сор и малейшие песчинки. Как уже сказано, женское сочувствие было для него всего дороже.

Сусловское событие произвело на каждого, как и следовало ожидать, совершенно различное действие. Старшая Кокуркина и Розалия Владимировна Сараманаева прослезились; Надеженька опустила глаза, зарделась, и тридцатилетняя грудь ее заволновалась, как бы подавляя следующие слова, готовые извергнуться из глубины ее девственного сердца: «О! если б тогда ты предпочел меня ей, мой добрый Порфирий, ты вкусил бы блаженство вместо страданий!». Вера Андреевна (та самая, что похожа на откормленного дрозда, увеличенного в полторы тысячи раз) издавала скорбные восклицания, но вместе с тем таила в душе радостное чувство и воссылала жаркую благодарность судьбе, возвратившей в общество первого любезника и мазуриста. Бесстрашный Дрянков, обнаруживавший всегда при дамах необыкновенное мужество, приходил в ярость. Два только человека холодно, по-видимому, приняли сусловское событие; то были: Лизавета Семеновна, сказавшая по этому случаю несколько общих фраз, и Прокисай Захарович, перед которым, вместе с разоблаченной тайной Василькова, предстала сокрушительная мысль такого рода: Порфирий Павлович, расставшись с женою, конечно, снова возобновит свои посещения к барышням, и тогда... тогда, увы! прощайся бедный проживальщик с последними надеждами. Где ему тянуть в уровень с любезностью первого, можно сказать, мазуриста в целом уезде! Мысль эта как молот поразила голову Прокисая Захаровича; он стоял, как ошеломленный, и не произносил ни слова. Но Порфирий Павлович мало обращал на него внимания; растроганный слезами Кокуркиных и не зная, в избытке благодарности, чем бы уж воздать им за их сочувствие, он не переставал шептать им что-то на ухо. Каждый раз, как замечал Порфирий Павлович, что слезы начинали высыхать на глазах барышень и речь их сворачивала на посторонний предмет, он испускал протяжный вздох, тоскливо мотал головой и, нежно вперив исполинские зрачки свои на которую-нибудь из сестер, говорил заунывно: «Когда я умру, кто придет на мою могилу?». Такое обращение к барышням производило всякий раз свой эффект, и поток самых искренних, сердечных излияний был ему ответом.

Вечером, когда все ушли спать, Порфирий Павлович направился робкими стопами в комнату проживальщиков. Комнатка, расположенная под лестницею, освещалась сальным огарком, который красноречиво подтверждал щедрость Аристарха Федоровича, отдавшего раз навсегда приказание, чтоб выдавали на половину проживальщиков по сальной свечке в неделю.

Прокисай Захарович лежал навзничь; но по движениям его членов можно было заключить, что сон его не покоен. Аполлон Егорович, взгромоздившись на высокий стул, сидел наклонившись к комоду и перелистывал с восхищением лучшие страницы своей повести. Порфирий Павлович как следует извинился; но Аполлон Егорович сказал, что очень рад, и поспешил усадить гостя на постель. Тронутый такою внимательностью, Васильков сообщил, между прочим, что вот, так и так, Аристарх Федорович настоятельно просит его написать к жене миролюбивое письмо, долженствующее заключить в себе такие-то и такие-то пункты; это дело необыкновенно казусное, требующее чрезвычайной деликатности слога, так, чтоб слышен был укор, горький укор, а между тем, чтоб сердце читательницы, умиленное на первой же странице, разжалобилось и потонуло в слезах раскаяния на последней. Он приступил уже к делу, но оказался совершенно неспособным, и вот потому-то решился побеспокоить Аполлона Егоровича, надеясь, что он не откажет протянуть руку помощи, и уверенный, что для человека, начертавшего страницы «Непризнанной Индейки», ровно ничего не будет стоить написать такое письмо.

Аполлон Егорович изъявил совершеннейшую готовность, и оба, закурив трубки, принялись за работу.

На другой день утром Порфирий Павлович, у которого голова не представляла уже картины хаоса, а, напротив, была тщательно расчесана, вошел в кабинет Аристарха Федоровича, держа в руках почтовый лист бумаги, исписанный кругом мельчайшим почерком.

- А! ну, покажи, братец, покажи! - сказал Балахнов, сидевший у окна перед стаканом чая, - я, признаться, не думал, чтоб ты так скоро... Садись ближе сюда, подле моего портрета.

Затем он развернул письмо. Васильков сел подле портрета и завертел самодовольно зрачками.

Аристарх Федорович кашлянул и начал читать: «Мы любили, мы мечтали, мы блаженствовали!.. О, Антония! неужели забыли вы то радостное светило, которое лучами своими живило некогда мир пиитический и волшебный?..»

- Помилуй, братец, ну что же это такое?.. Совсем не то! - сказал Балахнов, опуская руку с письмом. - Тут, брат, не пиитический мир нужен: нужно, брат, дело...

- Я боюсь, Аристарх Федорыч, чтоб она как-нибудь не огорчилась... - сказал Васильков с жалостливым выражением. - Она, знаете, такая слабенькая, нежненькая... сами знаете. Ох, тяжело! уж как только тяжело, Аристарх Федорыч! Ведь жена не то, совсем не то-с; жена - горячая родня, Аристарх Федорыч! - присовокупил он со вздохом.

- Ну, вот ты мне станешь еще рассказывать, будто я не знаю! Положись во всем на меня: я обделаю это дело сам; жена твоя не будет огорчена нисколько, а между тем, ручаюсь, все придет к желанному результату.

Рука Аристарха Федоровича давно уже зудела от недостатка работы; страшная умственная деятельность, возбужденная в нем историею с Кошкиным (Балахнов не переставал обдумывать разные планы, как бы вернее уничтожить врагов своих), нуждалась в какой-нибудь пище. Исходом этой могучей деятельности послужило сусловское событие. Не откладывая дело в долгий ящик, Балахнов заключился в своем кабинете и принялся сочинять письмо к Антонине Васильевне.

В то время, как Аристарх Федорович работал в кабинете, и весь дом, следуя обычному порядку в таких случаях, ходил на цыпочках и таинственно перешептывался, подмигивая на заветную дверь, в передней послышался внезапно громкий шум, сопровождаемый голосом Карачаева, который говорил: «Как? Что такое? Быть не может; но где ж Порфирий?.. Где он?. Я хочу его видеть!».

Васильков, сидевший вместе со всем обществом в зале за утренним чаем, обвел глазами присутствовавших, как бы умоляя их о защите. Но было уже поздно: Карачаев влетел в залу, преследуемый Дрянковым, тщетно старавшимся удержать его за фалды нанкового сюртучка. Павел Петрович, нужно заметить, был в сильно раздраженном

состоянии духа: поездка его не увенчалась ровно никаким успехом, хоть бы и не ездить – Барабанчиков отказал, и больше ничего; да и вообще как-то не ладно чувствовал себя Павел Петрович. Несвязные полуслова, полуречи Аполлона Егоровича, спешившего передать прежде других сусловское событие, вскипятили окончательно и без того уже разгоряченную кровь Карачаева.

Он рванул фалды сюртучка, пригладил волосы и полетел на всех парусах к Лизавете Семеновне; поцеловав у ней ручку, он поспешно раскланялся с остальными лицами и тотчас же обратился к Василькову, который стоял ни жив, ни мертв подле своего стула.

- Что я слышал! Правда ли это? а? Говори, правда ли это – да или нет? - произнес Карачаев, закидывая обе руки за спину и устремляя грозный взор на несчастного супруга.

Порфирий Павлович обнаружил желание броситься к нему на шею и пошептать ему на ухо, но Карачаев остановил его.

- Рассказывать, брат, нечего, я все уже знаю! - продолжал он, нахмуривая брови. - Обниманья пойдут своей чередой! Это, брат, финтиклюшки, плезир, мон шер, и больше ничего. Я хочу знать прежде, что ты сделал, потому что не даю руки людям... понимаешь?.. Говори, что ты сделал? Жив он – да или нет?

Васильков трясся всем телом, и дамы, за исключением Балахновой, следовали его примеру.

Дрянков расправил вихры на голове своей и выступил вперед.

- Да, братец, Карачаев, и я говорил: на месть вызывающее дело! И я то же говорил: следовало вызвать его на дуэль! - заключил он просто, размахивая руками перед Кокуркиными.

Карачаев подошел к Василькову, пригнул воспаленные белки свои к его глазам и сказал протяжно:

- Колпак, и больше ничего!..

- Да, ему непременно следует вызвать на дуэль! Мести просящее дело! - повторил Аполлон Егорович, рисуясь перед девицей Сараманаевой.

- Ты говоришь это? Хорошо, ладно; когда так, ты со мной поедешь! - сказал Карачаев, неожиданно схватывая за руку автора «Непризнанной Индейки».

- Куда? - спросил тот, почувствовав вдруг ни с того ни с сего страшную слабость в ногах.

- Куда? Куда вы хотите ехать? - завопили Кокуркины, заслоняя полуживого Василькова.

- В Сусловку, сударыни, в Сусловку! - отвечал с горячностью Карачаев. - Да, сударыни, я поеду с Дрянковым в Сусловку! Не будет сказано, что Карачаев оставил это дело без внимания и не наказал Попли... Пропи... фу, забыл! Да, сударыни, дело, такое дело, как говорит вот этот litterateur, требует заступничества... Эй ты, книжник! бери фуражку, едем, сей же час едем! А ты, колпак, с тобою и говорить не хочу...

Заключив монолог, Карачаев попросил у Фионы Ивановны стакан чаю с ромом и, закинув руки за спину, принялся расхаживать по зале.

Аполлон Егорович находился в жесточайшем, безвыходном, можно сказать, положении: с одной стороны, дуэль со всеми ее последствиями, с другой – преследование Карачаева, в случае, если он отступится от обнаруженного им самим желания – беда да и только! Как все люди, накинувшие на себя петлю на шею, он проклинал свою горячность и в то же время обращал более чем когда-нибудь жаркие мечты к вечно цветущему мирному Парнасу. Но делать было нечего – надо на что-нибудь решиться. Обсудив хорошенько это дело, Дрянков решился следовать за Карачаевым. «Главное то, что свидетели всего этого были дамы - вот что главное. Нет, уж так и быть, будь что будет, поеду в Сусловку!» - подумал Аполлон Егорович, снимая с гвоздика фуражку и бросая прощальный взор «Непризнанной Индейке». Увидев Дрянкова, вооруженного в дорогу, Карачаев одобрительно кивнул головой, хлебнул чаю и стал прощаться с дамами. Порфирий Павлович бросился было умолять его о пощаде, призывая небо в свидетели, что

Антониночка была самая добрая женщина во всей губернии, но Карачаев презрительно оттолкнул его. Напрасно также дамы принялись увещевать его: ничто не помогло. Карачаев не послушался на этот раз даже советов Лизаветы Семеновны и, взяв шапку, увлек на крыльцо позеленевшого Дрянкова.

Порфирий Павлович упал на стул и очнулся тогда лишь, когда колокольчик удалявшейся тележки чуть-чуть слышался за прудами. Дрянков и Карачаев ехали молча. Наконец Карачаев, сидевший во все время спиною к своему спутнику, повернул к нему лицо свое и сказал, что хочет узнать во всех мельчайших подробностях васильковскую историю. Аполлон Егорович не заставил себя дожидаться. Карачаев слушал очень внимательно, грозно насупив брови, и говорил поминутно, с видом глубокомыслия: «Так, ладно; ну, что ж он? А она что? Так; что ж далее?». Изредка отрывался он от рассказа, чтоб крикнуть кучеру: «пошел, жи-и-ва-а-а!!». На что кучер, сидевший не совсем твердо на облучке, отвечал каждый раз: «Что ж, я пущу пожалуй... по мне что!.. Да это не езда, а беда».

На пятой версте (всего было десять от Ханских Прудов до Сусловки), Карачаев стал замечать, что кучер сильно клонится спиною и головою внутрь тележки. Отличительная и самая резкая черта Карачаева состояла в том, что он обнаруживал, во всех случаях своей жизни, необыкновенное снисхождение к проступкам подвластных ему людей. Верный всегда самому себе, он ограничился тем лишь, что припер рукою спину кучера и произнес, заглядывая ему в лицо: «Ты пьян, как я вижу!». Кучер сознавался в своей вине и объявил, что Иван Емельяныч, то есть карачаевский Иван, потому что так преимущественно величали камердинера, угощал на прощанье балахновскую дворню, и ему, Матвею, старому товарищу, поднес четверку доброго, забористого – ух какого забористого травничку!

- Не в том дело; скажи только: довезешь ли ты? - произнес Караваев, мгновенпо затуманиваясь при мысли о предстоящей разлуке с любимым камердинером.

- Помилте... Павл Петррр... отчего не довезти!.. Много вами доволен; вот то пра... во... отчего ж?.. довезу, коли лошади довезут... Эй, вы, голубчики... ну... котенок, эй, эй!., - примолвил Матвей, пуская во весь дух тройку.

- Карачаев... что... это?. Вели остановить!.. Он нам шею сломит... - кричал Дрянков, ухватившись за перекладину тележки.

- Пошел, Матвей! - крикнул Карачаев вместо ответа.

- Что это? сумасшествие?.. Стой, вели остановиться! Или я... я вылезу!

- А, ты вылезешь?.. Пошел, Матвей! поддай пару!.. жива-а-а!.. - подхватил Карачаев.

- Ломай себе голову сколько хочешь, - кричал Аполлон Егорович, отчаянно выбрасывая одну ногу из телеги. - Ах!.. На кочку наедешь, смотри!.. - заключил вдруг поэт, подталкивая не совсем учтиво Матвея.

- Че-о-во? - заголосил Павел Петрович, посылая неожиданный толчок в руку, начертавшую «Непризнанную Индейку». - Стой, Матвей! - примолвил он, ухватив вожжи и осаживая тройку, - стой!.. Че-е-во? - продолжал он, устремляя глаза на испуганного спутника, - ты здесь распоряжаться вздумал?.. а?

- Да что ж это такое?.. Я не позволю... ты забываешься... - проговорил Дрянков, выбрасывая поспешно другую ногу за перекладину тележки.

- Ты не позволишь? ха-ха-ха! Вон, когда так! - прибавил Карачаев, указывая непреклонным жестом на дорогу.

- Я и сам, брат, пойду, нечего указывать, - сказал Дрянков, обрадованный донельзя случаю освободиться от предстоящей дуэли.

Павел Петрович, без дальних околичностей, высадил своего спутника на дорогу.

- Пошел, Матвей! - крикнул он тогда, усаживаясь на скамейку, - ну, жи-и-ва-а-а!

И минуту спустя Карачаев исчез в облаке пыли, оставив посреди проселка Аполлона Егоровича, который принялся тотчас же сочинять, что бы такое привести дамам в оправдание неожиданного своего возвращения.

В скором времени перед Карачаевым предстала Сусловка, и пять минут спустя тележка его въезжала во двор маленького домика на берегу живописной речки.

- Эй! Кто тут? Эй, люди! Эй! Что ж никого нет? - заголосил Карачаев, вылезая из тележки и оглядывая пустынный двор. - О! о! постойте, дружки! я вам всем сделаю переборку; дайте только расправиться с этим Пли... Плу... Плупельковским... как бишь его? Да! Эй, кто там?

Никто не откликался; из-за угла сарая показался лишь Мишка, сын кучера Ермолая и прачки Фетиньи, поступивший из Грачовки в число сусловских, но в ту ж минуту скрылся опять за плетнем. Карачаев приказал Матвею поставить лошадей под навес и, подтянув ремень на нанковом сюртуке, смело вошел на крыльцо, приготовляясь учинить тотчас же распорядок.

Как ни возмущен был Павел Петрович поступком Васильковой, сколько ни пылал желанием не давать ей никакой пощады, он крайне смутился, однако ж, увидев Антонину Васильевну, вбежавшую в переднюю с платком в руке и страшно распухшими, заплаканными глазами.

Карачаев поспешил оправиться; все говорило ему, что, как ни был слаб и трусоват Васильков, следовало, во всяком случае, защитить его; и кому ж принять на себя такую обязанность, как не ему, человеку, знавшему Порфирия Павловича с малолетства и бывшему притом шафером на его свадьбе? Решившись быть непреклонным, строгим судьею, Карачаев начал с того, что скрестил руки на груди, потом отступил два шага и, бросив грозный взгляд на стоявшую перед ним заплаканную женщину, произнес с необычайною строгостью:

- Сударыня!..

- Павел Петрович... О, Бога ради... Вы, хоть вы не верьте всем этим сплетням и клеветам... Ах, я самая несчастная женщина! - заговорила, всхлипывая, Василькова.

- Сударыня! - повторил Карачаев, отступая еще шаг назад и стукаясь затылком в косяк двери.

Но, увидев, что Антонина Васильевна опустилась, рыдая, на скамейку, поспешил приподнять ее, бережно взял ее под руку и, проводив до гостиной, усадил на диван.

Закрыв лицо платком, Антонина Васильевна продолжала рыдать.

- Сударыня... извините, не могу больше называть вас другим именем... сударыня, я хочу знать, где этот негодяй? Извольте сказать мне, где он скрывается... Я затем и приехал сюда, - сказал Павел Петрович, страшно хмуря брови, направленные к соседним дверям.

- О, не говорите мне про него! - простонала Антониночка, - я самая несчастная женщина! О, да, я очень несчастлива!.. Павел Петрович, не покидайте хоть вы меня... будьте моим защитником! - примолвила она, схватывая его руку.

- Если вы точно не виноваты, сударыня, вы должны мне доказать это... да, и доказать тем, что тотчас же откроете, где скрывается этот негодяй. Я приехал затем, чтоб наказать его, вот она штука-то в чем! - отвечал Карачаев, страшно моргая глазами, но, со всем тем, смягчая постепенно свой голос.

- Вы приехали, к несчастью, слишком поздно! - возразила Антониночка, обливаясь слезами.

- Как? что вы говорите?

- Да, он уехал... и... и... кто бы поверил этому?.. увез с собою разные вещи... в числе их браслет... и маменькин бирюзовый голубок.... О, это ужасно! ужасно! ужасно! - рыдая, говорила Антониночка.

- Плут! плут! - сказал Павел Петрович, метаясь, как угорелый, по маленькой гостиной. - Нет, ты не уйдешь от меня, любезный! не уйдешь; я тебя поймаю!.. Антонина Васильевна, расскажите мне в подробностях, как это случилось. Ecoutez, мне нужно все знать!.. Успокойтесь, не отчаивайтесь... полноте плакать: слезы не помогут! - заключил Карачаев, неожиданно садясь подле Васильковой и обнаруживая в каждом движении живейшее участие к ее горю.

Рассказав во всех подробностях историю побега Попельковского, Антонина Васильевна прибавила, орошая обильным потоком слез руки Карачаева, который терялся, не знал, что ему делать, и готов уже был решиться на всевозможные снисхождения, лишь бы только успокоить несчастную женщину:

- Все, о чем я вас прошу, мой добрый Павел Петрович, не верьте низким сплетням и клеветам, говорила она, - я ни в чем не виновата и не понимаю причины внезапной ревности Порфирия Павловича. Во всем виноват он сам: он подружился с Попельковским, пригласил его к себе, дал ему волю распоряжаться в доме, сам ни во что не входил... Вы сами, впрочем, хорошо знаете слабость характера Порфирия Павлыча.

- Помилуйте, кому вы это говорите? Слишком хорошо знаю! - воскликнул Карачаев, обращая мгновенно весь свой гнев на слабодушного Василькова, который, нет сомнений, всему был виною.

- Да, поверьте, о, поверьте, я очень несчастлива! - продолжала Антониночка, обливаясь новыми слезами, - всей этой истории придали ложный, злобный и совсем неправдоподобный оборот.

- Скажите, однако ж, пожалуйста, Антонина Васильевна, что вы станете делать теперь? - спросил он, усаживаясь подле нее и обнаруживая самое нежное заботливое участие.

Антонина Васильевна возвела заплаканные, черные глазки свои на Карачаева и грустно покачала головой.

- Я решилась немедленно оставить именье моего мужа, пускай возьмет он свою часть - я буду очень рада, лишь бы только жить одной: я хочу поселиться в Грачовках и завтра же уеду туда... Маменьки теперь нет, она в Москве, но это все равно: я уверена, она меня не отвергнет...

- И прекрасно сделаете! Поезжайте с Богом, живите счастливо. Что ж до меня касается, я поеду сейчас же в погоню за этим негодяем Плиполько-кек... ском; авось не увернется! Будьте спокойны: все это не падет на вас; он поплатится за все достойным образом! А потом, потом... ну, уж извините, Антонина Васильевна, примусь потом за вашего мужа...

Антонина Васильевна долго уговаривала Карачаева, упрашивая его бросить это дело и особенно не говорить ничего ее мужу, но Карачаев остался непреклонен, раскланялся и, усадив ее на диван, побежал в переднюю, прося быть спокойной и не тревожиться.

Павел Петрович вышел во двор, отдал строжайший приказ, чтобы приготовляли все для завтрашнего отъезда Антонины Васильевны, вошел в сарай, осмотрел колеса васильковского тарантаса, велел их подмазать и, сделав еще кой-какие дельные распоряжения, сел в свою тележку и приказал ехать по направлению к губернскому городу...

XIX.
В дипломатической голове Аристарха Федоровича созрел, между тем, новый план и частью даже осуществился.

Должно быть, так уж на роду было написано Карачаеву, чтоб претерпеть в этом месяце самые страшные неудачи. Как новый Пинетти, он скакал, казалось, разом в одно и то же время по всем возможным проселкам, преследуя своего врага - и все-таки ни малейшого успеха: Припи...по... Попель...ковский... или как бишь его?., нигде не отыскивался, сгинул, пропал, словно провалился сквозь землю!.. Усталый, избитый, измученный своим напрасным странствованием, продолжавшимся без малого целую неделю, Карачаев возвращался в Ханские Пруды.

Он въезжал уж во двор, как вдруг глаза его, устремлявшиеся во все углы в надежде отыскать как можно скорее Василькова, причинившего столько несчастий, встретили коляску Аристарха Федоровича, оснащенную, по-видимому, в дальнюю дорогу.

Молодой кучер, услаждавший душу Балахнова своими песнями, ухаживал подле четверки добрых коней, подтягивал подпруги, приравнивал вожжи, осматривал и даже щупал шины и втулки колес; из открытых дверец экипажа выглядывали узелки, сапоги и ящики; на запятках красовался огромный чемодан с буквами А и Б. Сидор, одетый не совсем изящно, но с большим комфортом, стоял подле с шкатулкою в руках, и на широком лице его бродила глубокомысленная дума о том, каким бы образом уложить драгоценную вещь так, чтоб она не мешала барину и вместе с тем находилась постоянно у него на глазах.

Увидя все это, Карачаев проворно соскочил с тележки и спросил у камердинера:

- Что тут еще такое затеяли? Что это значит?

- Барин изволят ехать в Москву. Сейчас поедут. Уж одеваются, - отвечал Сидор, ныряя со шкатулкой в дверцы коляски.

Такой ответ столько же удивил, сколько раздражил Павла Петровича.

В самом деле, что же это такое? Едет в Москву; стало быть, имел давно это намерение; отчего же, спрашивается, таил он это намерение от Карачаева? а? А если б, положим, мысль ехать в Москву пришла Балахнову на днях – разве не мог он, не должен был оповестить об этом Карачаева? Просто с его стороны ни на что не похоже!

Так рассуждал Павел Петрович, взбираясь на крыльцо.

Дело вот в чем.

Мысль ехать в Москву, действительно, блеснула только на днях в дипломатической голове Аристарха Федоровича. Обдумывая планы, как бы вернее, успешнее восторжествовать над врагами своими, он пришел к следующему блистательному заключению: до выборов, то есть главной цели - цели, которая должна была разрешить: пасть или восторжествовать Аристарху Федоровичу - оставалось весьма немного; каждая минута была, следовательно, драгоценна. На этом основании Балахнов, горевший единственным желанием восторжествовать, решился распространить круг своей деятельности уже далеко за пределы земель, принадлежащих его близким соседям. Пускай хоть все ближайшие соседи восстанут против него - ему это нипочем! Он заключит теперь связи с дальними помещиками - и тогда посмотрим, чья возьмет! Аристарх Федорович рассчитывал теперь сблизиться с более значительными владельцами Горшковского уезда, которые, нет ни малейшего сомнения, будут очень рады знакомству с таким великим мужем. Для приведения в исполнение таких великих замыслов следовало ехать немедленно в Москву по двум весьма важным причинам: во-первых, большая часть тех помещиков, на которых метил Балахнов, жили в этом городе; посещая клубы и собрания, Балахнов легко сведет с ними знакомство и, следовательно, расположит их в свою пользу; во-вторых, Аристарху Федоровичу нужны были деньги для того, чтоб, вернувшись потом в Ханские Пруды, задавать балы и празднества остальным помещикам, также отдаленным от соседства, но жившим постоянно в провинции. Для выполнения последнего он решился снова перезаложить свои собственные двести душ (двести душ его жены были заложены). Кроме этого, деньги нужны были еще для приобретения Сусловки и другой части имения Василькова, выделенной из приданого Антонины Васильевны. В последних пунктах Балахнов остался верен прежним своим расчетам: «Пусть каждый клочок земли будет у него заложен и перезаложен; пускай, кроме пирамид, вензелей и обелисков, не будет у него никакого состояния, но зато все эти перезаложенные клочки земли будут его. Со временем принуждены же будут поневоле отдать преимущество самому многоземельному, многовотчинному помещику своего уезда!».

Когда Карачаев вошел в кабинет, Аристарх Федорович стоял уже одетый по-дорожному.

- А, ба! Карачаев! Откуда? где пропадал? - воскликнул Балахнов, обнаруживая в голосе и каждом движении восторженное состояние духа, пробужденное новыми планами и надеждами.

Карачаев отступил шаг назад, скрестил на груди руки и, вперив на величавого приятеля воспламененные белки, сказал сурово:

- Не в том дело. Дело в том, что все это значит?

Тут Карачаев указал на окно, из которого видна была дорожная коляска.

- А это значит, братец, что я еду в Москву, - возразил, смеясь, Балахнов. - Непредвиденное, очень важное обстоятельство... Ну, а ты что намерен делать? Да полно, братец, хмуриться-то; подумаешь, Медор у тебя околел. Ты куда?

- Че-е-во? - произнес Карачаев, сурово косясь на собеседника. - Странный вопрос! - прибавил он после молчка.

- Что ж тут странного? Ха-ха-ха! Ничего нет странного. Весьма естественно: мне хочется знать, что ты намерен делать в это время, как я буду в отсутствии? А так как это продлится, вероятно, довольно долго...

- Понимаю, любезнейший, понимаю! - перебил Карачаев с раздражительной иронией. - Это значит, ты хочешь сказать мне деликатным образом: „алон марше", то есть по-нашему: убирайся, брат, отселева! а? Так или нет? а?..

Аристарх Федорович залился звонким, дребезжащим хохотом.

- Ну, не сумасшедший ли ты, скажи пожалуйста? Ну, не бешеный ли? Да кто ж тебе это сказал? Я душевно рад, если ты останешься в Ханских Прудах. Живи, пожалуй, сколько тебе угодно...

- Да я думаю, что так! - возразил Карачаев, сурово нахмуривая брови. - По душе ли ты это говоришь или нет - это мне все равно! Хоть ты тут умирай со смеху, а я все-таки здесь останусь. Не будет сказано, что Карачаев оставил Лизавету Семеновну одну в то время, может быть, как... Ну, да погоди, брат, я еще скажу тебе на этот счет два-три слова, дай разделаться с этим Васильковым! - заключил он, с решимостью направляясь к двери.

- Ха-ха-ха! Погоди, защитник угнетенных! Ха-ха-ха! постой! За что же, позволь спросить, хочешь ты с ним разделаться? - воскликнул Балахнов, удерживая своего друга за обе руки.

Карачаев неохотно, отрывисто в нескольких словах рассказал ему, в чем дело.

- Ну, брат, поздно взялся! - казал Аристарх Федорович. - Ведь он едет сейчас со мной в Москву.

- Как? Нет, этого не будет! Я этого не допущу. Вот штука-то в чем!

- За что же такие напасти? – смеясь, спросил Балахнов.

- Не допущу, да и только! Он должен сию же минуту ехать со мною в Грачовку и примириться с женою! - закричал Павел Петрович, направляясь к двери.

- Чудак! чудак! - произнес Балахнов, снова удерживая его и тотчас же переменяя шутливую интонацию на серьезную. - Для чего ж я и беру его в Москву, если не для той же цели? Если б ты, вместо того, чтоб горячиться, обсуживал основательно каждую вещь, ты увидел бы, что свести их теперь - значило бы, может быть, разлучить навеки. Дай пройти месяцу - все переменится: соскучатся оба - тогда-то мы их и примирим.

Карачаев слушал сначала нехотя, потом внимательнее, потом, должно полагать, согласился во всем с Балахновым, потому что, не сказав ни слова, отошел к окну с таким выражением, которое ясно говорило: «Делайте, что хотите; я больше ни во что не вмешиваюсь!». Он не понимал, да и где ж было понять ему глубокие соображение Аристарха Федоровича, который имел свои причины отдалять, по возможности, примирение двух супругов и даже устроить так, чтоб они никогда не встречались? (Если б Васильков примирился с Антониночкой, Балахнов лишился бы случая купить Сусловку, да еще часть из женина приданого Василькова). Он вез Порфирия Павловича в Москву, уверенный, что этим способом вернее достигнет своей цели. Читатель увидит со временем, что Аристарх Федорович никогда не ошибался в своих соображениях и расчетах.

Когда Карачаев подошел к окну, глаза его упали прямо на Аполлона Егоровича Дрянкова, который хлопотливо шел от коляски к крыльцу, держа огромнейший сверток бумаг под мышкой.

- А что, братец, и этот едет, кажется, также с тобою? - спросил Карачаев.

- Скажи на милость, что с тобой сегодня? Ты, брат, совсем озлобился против света: мизантроп, да и полно! - отвечал, смеясь, Балахнов. - Да, и этот едет со мною. А что? тебе разве досадно? а? ха-ха-ха!..

Карачаев не отвечал ничего, а только презрительно пожал плечами.

В эту самую минуту в дверях кабинета показались Васильков и Дрянков. Увидя Карачаева, оба они отскочили поспешно в угол, но Карачаев повернулся к ним спиною и вышел в залу, где остальные члены дома, начиная с самой хозяйки и детей ее, и кончая Фионой Ивановной и Прокисаем Захаровичем, стояли в ожидании проводов.

Пять минут спустя Аристарх Федорович, вооруженный дорожной фуражкой, появился в зале в сопровождении своей свиты.

Он был необыкновенно весел.

- Лизанька, - сказал он, подойдя к жене и целуя ее несколько раз сряду в лоб, - поручаю тебя, друг мой, вот этому господину, - промолвил он, подмигивая ей шутливо на Карачаева. - Он сам, впрочем, вызвался быть твоим рыцарем, защитником и покровителем.

Карачаев заморгал глазами, хотел что-то сказать, но, взглянув на Лизавету Семеновну, отвернулся и отошел в самый дальний угол.

Аристарх Федорович разразился новым хохотом и начал целовать детей, давая им в то же время поучительные наставления вроде следующих: «смотрите же, не плакать без меня, не капризничать, учиться хорошо, очень хорошо учиться!» - слова, очевидно, вылетавшие из уст его для того только, чтоб сказать что-нибудь в таком торжественном случае.

Дети, особенно Володя, обнаружили какую-то воздержность чувств при прощании с отцом, и Аристарх Федорович – приписывая эту воздержность усилию с их стороны, клонившемуся к тому, чтоб не огорчить чувствительного сердца отца, что легко могло бы случиться, если б вздумалось им плакать и вешаться к нему на шею- громко изъявил свое одобрение и принялся снова целовать их.

На лице Лизаветы Семеновны было во все это время какое-то принужденное спокойствие, сквозь которое пробивалась, однако ж, сильная душевная тревога, очевидно, возбуждаемая разлукою с мужем.

Перецеловав детей, Аристарх Федорович снова подошел к жене и, вероятно, приняв грустно-спокойный вид ее за маску, скрывавшую раздирающие вопли и рыдание, поспешил успокоить ее, сказав, что скоро вернется и что, не явись непредвидимого важного обстоятельства (он не сообщил, однако ж, в чем состоит это важное обстоятельство, но она сама догадывалась), он никогда не подумал бы расстаться с нею.

- Ну, теперь сядемте, сядемте: все садитесь! - весело сказал Балахнов. - Так делывали наши предки. Обычай, освященный вековою, почтенною старостью! примолвил он самодовольно, оглядывая залу и выпрямляя грудь.

Все сели.

Мертвое молчание воцарилось в комнате; ни вздоха, ни тоскливо-беспокойного взора, устремленного на отъезжающих, ни слезинки!

- Пора! - сказал Аристарх Федорович, - велите подавать коляску; прощайте!

Мертвое молчание сопровождало эти слова, исторгающие так часто глубокий вздох из самого зачерствелого сердца. Приписав опять-таки все это выражению глухой, затаенной скорби, Аристарх Федорович снова успокоил жену скорым своим возвращением и, простившись с нею вторично, направился величаво к крыльцу в сопровождении всех домашних.

Взгромоздившись на козлы, Дрянков сидел уже подле кучера с своим огромным свертком под мышкой, бережливо закутанным в клетчатый платок.

То была дрогоценная рукопись «Непризнанной Индейки», которая летела в белокаменную с тем, чтоб возложить лавровый венок на приплюснутое чело и вихры бессмертного проживальщика.

Аристарх Федорович уселся в коляску; за ним, подпрыгивая и прискакивая, последовал Васильков, который во все время расставанья страшно выпучил глаза и не переставал посылать стоявшим на крыльце трогательные знаки соболезнования. Сидор, утирая обшлагом рукава следы слез, оставленных на широком лице его глазами дражайшей половины, уселся на запятки. Балахнов махнул рукой; молодой кучер затянул: «Не белы-то снеги», и коляска, подхваченная доброю четвернею, исчезла скоро из виду...

И опустели Ханские Пруды! Опустел прадедовский дом Аристарха Федоровича!

Дни потянулись за днями, не принося ровно никакой перемены в однообразной жизни немногих обывателей древнего дома.

Солнце по-прежнему восходит каждое утро на плоском горизонте Ханских Прудов, по-прежнему окрашивает золотым пурпуром бельведер, макушки берез, обелиски и стены флигелей; по-прежнему, подымаясь выше и выше, шагает оно каждый день через забор, озаряет клумбы сада, лужайки, сучья деревьев и желтые дорожки, молчаливо спускающиеся в густую темно-зеленую листву акаций... Золотые лучи скользят каждое утро по белым стенам древнего дома, врываются в окно и каждое утро, куда бы ни устремлялись они, везде и всюду встречают хлопотливое, заботливое лицо Карачаева, который неусыпно блюдет за порядком и благосостоянием прадедовского дома и его обывателей, вверенных, как уже известно, его попечению. Солнце достигает наконец до комнаты вдовы Чивадзи и освещает желтое лицо, на котором с каждою зарею появляется какой-нибудь новый опустошительный след глубоко затаенной страсти; после того золотые лучи начинают обыкновенно опускаться книзу, меркнут на бельведере и, пугливо скользнув по белкам девицы Сараманаевой, обращенным на проходящего Прокисая Захаровича, пропадают за горизонтом, с тем, чтоб на другой день снова осветить те же картины и лица.

Но редко, весьма редко проникает солнце в глухую, заброшенную часть сада, куда обращено окно маленькой детской; редко играют золотые лучи на темных стенах, расписанных деревьями и обставленных вокруг белыми, как снег, маленькими постелями; один тусклый, чуть вздрагивающий свет лампадки перед иконой освещает маленькие постельки и склоненное над ними лицо молодой женщины, погруженной в безотрадное, грустное раздумье...

XX

трактует в особенности о том, как Бобохов поехал в Москву, что он там делал, кого встречал, и знакомит читателя с великолепным Аркадием Тохтамышевым.

Была глухая, бурная, ненастная ночь. Крупный дождик, ливший еще с утра, делал проселки Горшковского уезда окончательно непроходимыми и обращал глинистую почву большой столбовой дороги в страшную топь. Непроницаемый мрак и отчаянная глушь царствовали повсюду; редкие тщедушные ветелки, уцелевшие кой-где на окраине большой дороги, колеблемые ветром, издавали пронзительные звуки, которые, подобно дискантам огромного хора, подхватывали и вторили басистому реву бури, гулявшей на просторе по черным, как уголь, полям...

Но горшковская большая дорога тщетно призывала ненастье и бурю, в надежде отдохнуть хотя на минуту от докучливых проезжающих: она никогда не знала покоя. И в ту ночь, равно как во все предшествовавшие и предыдущие ночи, равно как во все дни, часы и минуты ее существования, она не могла освободиться от проезжающих, которые с криком врезывали свои колёса по самую ступицу в ее рыхлую старческую грудь.

И добро бы бороздили ее тонкие колёса тарантасов - куда бы еще ни шло, все, словно, легче; но лезли туда же и неуклюжие, тяжеловесные колёса обозников и всякой сволочи; вот что казалось нестерпимым и, по всей справедливости, обидным горшковской большой дороге. Несмотря, однако ж, на эти подразделения, доказывавшие, что горшковская большая дорога преисполнена сознанием собственного своего достоинства, всем проезжающим, сидели ли они под рогожей на облучке тележонки, покоились ли на дне тарантаса под перинами и пуховиками - одинаково неприятно было тащиться в бурную, дождливую ночь; взоры всех без исключения, кроме тех, разумеется, которые уткнуты были в перины, устремлялись с одинаковой степенью зависти на ряд ярко освещенных окон, блиставших в отдалении, влево от дороги.

Те из путников, которые подскакивали на облучках и которым известно было, что освещенные окна принадлежали голодаевскому барину Бобохову, ничего не говорили и думали разве о том только, что в этом доме, каков бы он ни был, все же теплее в настоящую минуту, чем на большой дороге; но зато путешественники, сидевшие в тарантасах, не отрывали заспанных очей от ярко освещенных окон, блиставших посреди черной ночи, как глаза целой стаи волков. Сладостно утопая в пуховиках, они переносились мысленно в роскошные палаты, наполненные гостями; им чудились уже, сквозь шум дождя и грохот бури, веселые звуки оркестра; переносясь постепенно от толпы слуг, разносивших бесчисленное множество подносов с бесчисленным множеством мороженого, к дамским плечам и прическам, они рисовали самые обворожительные и привлекательные картины; многие из этих путешественников и путешественниц заносились часто так высоко по поводу освещенных окон, что начинали вдруг обдергивать платье, приглаживать волосы и с испугом ощупывали прорехи дорожной одежды, как бы готовясь через минуту вступить в чертог и принять участие в роскошном празднике, созданном пылкой их фантазией.

Но тарантасы проезжали, однако ж, мимо, и ни один из них не завертывал за каменную ограду бобоховского дома. Тем лучше! Пускай мечтательные путешественники остаются в приятном заблуждении, и пусть картина блистательного дома, промелькнувшая в их воображении, напутствует их всюду, во все продолжение скучной, печальной дороги.

В голодаевеком доме нет ни одного гостя; всех их заменяет сам Бобохов, который расхаживает быстрыми шагами по ярко освещенным комнатам: „Истинный джентльмен, находится ли он посреди многочисленного общества, сидит ли один у себя дома, не должен изменять на волос образа жизни”. Правило это, внушенное великолепным Аркадием Тохтамышевым, свояком Бобохова, строго соблюдалось сим последним; в одном лишь заметно было маленькое отступление от джентльменских правил: в гостиной на круглом столике стоял стакан с домашним пивом, из которого поминутно прихлебывал Иван Дормидоныч. Благодаря освещению, бросавшему желтые потоки света на лицо Бобохова, можно было утвердительно сказать, что лицо это вздувалось и пыжилось от удовольствия; причины, пробуждавшие такое чувство, должны были быть очень сильны, потому что Бобохов не обращал ни малейшого внимания на шум дождя, барабанившего по стеклам, не обращал внимания на яростное шипение воды, низвергавшейся с кровель целыми ручьями, которые, изменяя по воле ветра дугообразное направление, обдавали очень часто сверху до низу огромные окна; ему нипочем была буря; радость, наполнявшая его душу, не оставляла там малейшего закоулка для другого чувства; радость звенела даже в ушах его, и поэтому самому уши Бобохова оставались глухи к суровому голосу ветра, который люто завывал вокруг дома выскочки, как бы намереваясь содрать с древних стен неуместное великолепие.

Дело вот в чем. Иван Дормидоныч несколько часов тому назад продал горшковскому купцу весь свой хлеб, находившийся еще в поле, то есть „на корню”, как говорится, и продал за чистые деньги; чтоб объяснить такое распоряжение, следует сказать, во-первых, что Ивану Дормидонычу хотелось ехать в Москву; во-вторых, что

Иван Дормидоныч вовсе не был так богат, как прокричали в уезде. Все богатство находилось еще покуда в руках его матери, умной старой купчихи, которая хотя и не училась арифметике, но тем не менее отлично соблюдала счетную часть и ничего почти не давала сыну, зная, верно, по опыту, что отцовское наследие не пойдет впрок круглой, пустой башке.

Бобохову необходимо, между тем, ехать в Москву. И у него точно так же была своя задушевная мысль. Он горел желанием приняться как можно скорее за усовершенствование трех музыкантов из крепостного оркестра, обнаруживавших, по его мнению, необыкновенное дарование. Убежденный заранее, что талант трех доморощенных виртуозов, развиваемый, с одной стороны, его советами, с другой - советами и уроками первых московских артистов, достигнет в скором времени высшей степени своего могущества, Бобохов потирал руки, воображая с восторгом, что через какие-нибудь три месяца даст концерт, в котором, разумеется, будет играть значительную роль как дилетант, знаток музыки и меценат, создавший трех первоклассных виртуозов.

Вместе с такою мыслью пухлые щеки покровителя искусств раздувались так сильно, что рысьи глазки его, маленький нос и рыжие усики уходили куда-то внутрь и казались совершенно пропадавшими между двумя лоснящимися, глянцевитыми щеками.

Было уже далеко за полночь, и в стакане, стоявшем на маленьком столике, не было уже капельки пива, когда Бобохов остановился наконец у двери гостиной и крикнул „Эй!“.

Воззвание это, произносимое всякий раз едва внятным голосом, заключало, должно быть, в себе какую-нибудь магнетическую силу, потому что в состоянии было пробудить Корнея даже в том случае, если б он находился в летаргическом сне.

Секунду спустя явился Корней.

- Распорядиться, чтоб завтра утром готова была карета! - сказал Бобохов, делая явные усилия победить в себе чувство, воспрещавшее ему входить в какие бы то ни было объяснения с людьми, - да сказать, что Гаврила Дементьев, Фрол Климов и Севастьян Зюзин-Овсянников, из музыкантов, едут со мной! - заключил Бобохов и, как бы испугавшись, что вид Корнея может дать повод к новым объяснениям, поспешно отвернулся и ушел в спальню, где давно уже ждал его другой камердинер.

На другой день дождь шел ливнем, и буря ревела по-прежнему; но это не могло остановить Бобохова: он сел в карету и, сопровождаемый тремя будущими концертистами, выехал вскоре на большую дорогу.

В дороге не случилось ничего особенно замечательного, если не принимать в расчет маленького события, постигшего Бобохова в самом Горшкове. В Горшкове, как уже известно, протекала под самою горою широкая река; горшковское купечество, воодушевляемое своими торговыми расчетами, находило нелишним строить ежегодно на этой речке плотовый мост; мост этот, приподнятый двухсуточным ливнем, сорвался с каната и помчался, как назло, в ту самую минуту, когда Бобохов подъезжал к берегу, сгорая желанием перебраться как можно скорее на противоположную сторону. Иван Дормидоныч, подобно новому Ксерксу, разразился энергическими эпитетами против капризной стихии, но, вероятно, видя бесполезность такой меры, обратился тотчас же к слабым смертным, глазевшим с немым удивлением на отплывающие остатки моста. Известие, что какой-то важный господин - куда какой важный! - и руками машет, и кричит на весь берег, и грозит донести о горшковских беспорядках, мигом распространилось по городу и не замедлило достигнуть ушей купеческого головы; купеческий голова - седой, смышленый старик, запутался не на шутку и поспешил явиться с повинной, обдумав наперед оправдание: „это ведь, так и так, никто-де не виноват в таком казусном и вовсе неожиданном деле“. Голодаевский барин, свирепевший от негодования, напустился тотчас же на голову, но увидел, к величайшему своему изумлению, что голова не проявил ни малейшего испуга, как только встретился с ним лицом к лицу.

- А, это ты, мой батюшка! - сказал голова. - Ну, было зачем бежать, а я думал и взаправду невесть какой заслуженный человек... Нашего поля ягодка, отец родной, нашего поля ягодка! - заключил старик, спокойно выходя на дорогу и принимаясь так же спокойно подыматься обратно в гору.

Что далее было с Бобоховым, неизвестно; известно только то, что он выместил свое негодование на тридцати рыбаках, перетаскивавших на пароме его карету, и выместил тем, что дал им за труды один целковый.

Бобохов много читал о Москве; прочитанные им отрывки зароились хлопьями в его голове, когда древняя наша столица предстала неожиданно из-за холма с своими белыми стенами, пестрыми церквами, золотыми куполами и зелеными садами, охваченными ранним утренним солнцем. Чудный вид! Он пробудил даже в Бобохове какое-то особенное чувство, которое мигом разогнало злобу, кипевшую в его сердце по поводу истории с горшковским купеческим головою.

Не скоро, однако ж, показалась застава: Москва видна издали! Послав Корнея объявить караульному офицеру, что проезжает такой-то и такой-то из собственного имения Голодаевки, Бобохов свершил въезд в столицу. С этой минуты рысьи глазки, маленький нос и усики Ивана Дормидоныча окончательно уже исчезли для света; из зеркальных окон кареты виднелась лишь пара лоснящихся глянцевитых щек. Проколесив добрым порядком по разным закоулкам, миновав два моста, перебравшись потом несколько раз через холмы, откуда открывались чудные панорамы, карета очутилась, наконец, на главных улицах города и вскоре загремела под воротами одной из первых гостиниц.

Гостиница эта пользовалась вполне заслуженною известностью; не помню, как она прозывалась – кажется, Hotel de Princes, или что то в этом роде, помню только, что название было чрезвычайно аристократическое. Она занимала огромный дом, и номера располагались в бельэтаже; главный вход, со стороны площади, украшался швейцаром с булавою, который в свободное время от занятий, заключавшихся в том, чтоб откармливать снегирей в конурке, смежной с прихожей, не переставал играть в шашки и отрывался лишь в крайних случаях, а именно, когда следовало вместе с приказчиком отправиться в номер и получить заслуженную „на водку“ у отъезжающего гостя. Такой уж заведен был порядок, охотно, впрочем, поощряемый гостями, которые находили весьма законным платить за удовольствие, доставляемое им швейцарской булавой, сиявшей во всякое время дня в углу подле лестницы, ведшей в их комнаты. Лестница была великолепна и соответствовала как нельзя лучше великолепию нумеров. Бобохов нигде не останавливался, как в этой гостинице. Отдав строжайшее приказание своим людям, чтоб они не обнаруживали мещанской суеты при переноске вещей, он показал самодовольные свои щеки швейцару и поднялся на лестницу; на пороге конторы, примыкавшей к самой лестнице, его встретил хозяин – откормленный, румяный господин с изящными завитками на голове, в черном фраке и белом жилете отличного покроя.

- Mssieur j'ai bien l'honneur…et la santé, mssieur, comment va t'elle? Bien, enchante, mssieur... - сказал с развязностью хозяин, природный москвич, сын наполеоновского солдата, который не мог следовать в двенадцатом году за армией по причине отмороженных ног.

- Хорошо... oui... - отвечал Бобохов, - мне numero премье.

- Первый нумер занят, - сказал лакей в синем фраке с светлыми пуговицами, стоявший позади хозяина.

Известие это поразило самым неприятным образом Ивана Дормидоныча. Такая досада! Он в Голодаевке еще рассчитывал занять непременно этот нумер. Но делать было нечего: во всей гостинице оставался свободным один только пятый нумер, и Бобохов поспешил поместиться в нем, опасаясь, чтоб не пришлось – чего доброго! – ехать в другую гостиницу без швейцара и аристократического прозвища. Первым делом Бобохова было истребовать список с именами гостей, и неудовольствие его возросло до

неимоверной степени, когда он прочел против первого нумера: Аристарх Федорович Балахнов. Неудовольствие Бобохова объяснялось разными причинами, во главе которых стояли не совсем приязненные отношения, существовавшие между ним и владетелем Ханских Прудов. Но, как я уже сказал, делать было нечего, и Иван Дормидоныч примирился на том, что постарается как можно реже встречаться с соседом. Приняв такое намерение, он позвонил Корнея и отдал ему приказание (таким голосом, конечно, чтоб слышно было в соседних нумерах) отправиться немедленно к сестре, госпоже Тохтамышевой, и возвестить о его приезде.

Полчаса спустя вернулся Корней и объявил (также во всеуслышание), что Наталья Кирилловна изволит радоваться и просит братца пожаловать к себе. Бобохов послал Корнея к госпоже Тохтамышевой более для того, разумеется, чтоб жители соседних нумеров знали, с кем имеют дело; сам он не думал посетить ее и располагал провести весь этот день в отдохновении после трудной дороги; он начинал уже приводить в исполнение такое намерение, а именно, закурив сигару, возлег на бархатную кушетку, как вдруг вбежал Корней и доложил, что Аркадий Алексеевич Тохтамышев изволит подыматься по лестнице. Нос, усы и глазки Бобохова мгновенно исчезли за щеками, на которых обозначились теперь следы восторженности, смешанной с приятным смущением.

Он быстро вскочил с кушетки, оправился перед зеркалом и еще быстрее повернулся к двери, за которой слышался уж голос Тохтамышева.

Со стороны Бобохова потребовались невероятные усилия, чтоб не броситься, сломя голову, навстречу великолепному родственнику; проникнувшись мгновенно светским правилом какого бы то ни было чувства, Бобохов овладел, однако ж, собою и остановился на пороге комнаты, игравшей в нумере роль гостиной. Он выдержал характер даже тогда, когда увидел гостя в каких-нибудь пяти шагах от себя.

Гость выступал между тем ровным медленным шагом и направлялся прямо к зеркалу, висевшему в соседней комнате; поровнявшись с зеркалом, он снял шляпу, остановился, прищурил глаза, поправил волосы, покрутил усы и, наконец, решился уже повернуться к Бобохову, который продолжал между тем стоять на пороге гостиной, пыжась изо всей мочи, чтоб выдержать до конца светское правило, воспрещавшее обнаруживание чувств.

Аркадию Алексеевичу Тохтамышеву лет тридцать пять; он высок ростом, сложен отлично и вообще представляет из себя совершеннейший тип тех красавцев, которые сводят с ума на гулянье в Сокольниках всех молодых купчих, так называемых „легких барынь", да еще кой-каких пожилых дам, не пропускающих публичных гуляний и наводящих лорнет на всех красавцев без исключения; правильное лицо его отличается тою очаровательною интересною бледностью, какая приобретается с успехом просиживанием нескольких ночей сряду за карточным столом и неумеренными ужинами, которые сопровождаются самыми неумеренными возлияниями Вакху. Сонливая бледность лица выкупается, впрочем, у Тохтамышева необычайною бойкостью серых глаз, оттененных длинными ресницами, черными закрученными усами, черной эспаньолкой и черными кудрявыми волосами с синими глянцевитыми оттенками; одет он превосходно: темная коротенькая жакетка, панталоны – de fantasie, как говорят портные, клетчатый кашемировый жилет, на котором болтается тяжеловесная цепочка... пестро, но со вкусом; на груди его сияет ослепительной белизны батистовая рубашка с откидными полукруглыми воротниками, перехваченными бантом шелкового галстука, повязанного с изящною небрежностью в один оборот; руки его, с длинными ногтями, унизаны бесчисленным множеством дорогих перстней, из которых один, особенно блестящий, помещается всегда на ногте большого пальца правой руки; кожа на оконечностях этих рук так тонка, что Тохтамышеву, кажется, ровно ничего не значило, да и в самом деле ничего не значило узнать ощупью, пожалуй, хоть в потемках масть какой угодно карты; для этого ему стоило только провести руками по фигуре карты, ощупать толщину краски, и карта

сама собою сказывалась – искусство, приводившее не раз в справедливое смущение товарищей, просиживавших с ним ночи за зеленым столом.

Повернувшись к Бобохову, Аркадий Тохтамышев протянул ему кончики своих драгоценных пальцев и, сказав: «А! здравствуйте, Иван Дормидоныч!» - вошел в гостиную, переваливаясь с ноги на ногу, как будто в карманах его была огромная тяжесть.

- Ах, как мне приятно... чрезвычайно приятно... мм... мм... м... очень рад, - заговорил Бобохов, стараясь обуздать восторг, который, не находя, вероятно, другого исхода, страшнейшим образом раздувал его щеки.

- Какими судьбами в Москве? - спросил Тохтамышев, глядя в окно и, очевидно, думая о другом.

- Скучно в деревне... и притом хотелось поговорить с здешними артистами насчет моих музыкантов... двадцать один человек в оркестре... Надеюсь, вы дадите мне добрый совет, к кому именно обратиться, - повествовал Бобохов, протискиваясь также к окну и стараясь попасть в луч зрения свояка. - У меня, вот видите ли, три музыканта, удивительнейшие таланты! Я хочу образовать из них, то есть сделать primo... Ах виноват, как здоровье Натальи Кирилловны?

- Ничего; что ей делается... Впрочем, не знаю, - сказал Тохтамышев, оттопыривая верхнюю губу и наводя глаза на собственные усы свои.

- Чрезвычайно приятно... не прикажете ли сигару?.. Эй, человек, свечу!

Тохтамышев взял сигару, развалился в кресло и первый раз обратил внимание на собеседника.

- Да, так вы здесь насчет музыкантов. Что ж, хорошо, доброе дело, - вымолвил он, протягивая ноги, закидывая назад завитую, напомаженную свою голову и небрежно закуривая сигару, - о-о-очень хорошо; стало быть... (тут Аркадий Алексеевич окончательно уже навел свои серые глаза на Бобохова и прибавил, снисходительно улыбнувшись): - Стало быть, любезный наш Иван Дормидоныч привез с собой много денег? а?..

- Да, отвечал тот, - а впрочем, вы знаете, у меня всегда есть деньги... я положил две тысячи...

- Только-то? - перебил с живостью Тохтамышев, - ну, милейший мой, с этим вы в Москве недалеко уедете...

- Как, и вы думаете, ха-ха-ха! вы думаете всего-на-все две тысячи? Как это можно, помилуйте! Это, разумеется, для образования трех музыкантов, о которых я вам говорил. У меня с собою покуда десять тысяч серебром, - беспечно отвечал выскочка, увеличивая ровно вдвое привезенную им сумму, для того, вероятно, чтоб выиграть как можно больше в мнении свояка, которое было для него всего дороже.

- Ну, то-то, то-то! - спокойно возразил Тохтамышев, между тем как глаза его запрыгали по всей комнате, так что он с трудом мог удерживать их, наконец, на собеседнике. - То-то! Ну, Иван Дормидоныч, рассказывайте, рассказывайте, какие ваши намерения, что думаете делать в Москве, продолжал он развязно. - Музыка сама по себе; не ей же, я полагаю, посвятите вы исключительно свое время! Москва, как нарочно, необыкновенно весела нынешнее лето; скажите-ка, например, что намерены вы делать сегодня; неужто отдыхать?..

- Помилуйте, как это можно! ха-ха-ха! что вы! я и не думал отдыхать; какой отдых, ха-ха-ха!., смешно даже, ей-Богу! - поспешно отвечал Бобохов.

- То-то, перебил Тохтамышев, - предоставьте это какому-нибудь столетнему помещику, который тащится в Москву сто лет на своих... кто нынче отдыхает? никто! Порядочный человек сделает пять тысяч верст, приехал, например, в три часа, в пять - на обеде, в семь - в театре, в двенадцать - в клубе или маскараде... Итак, что ж вы думаете сегодня, любезнейший Иван Дормидоныч?

- Я только что хотел одеваться и ехать повидаться с Натальей Кирилловной...

- Ну, вот еще! очень нужно! что за нетерпенье. Как будто между вами такая уж в самом деле родственная любовь, что дня не можете провести в разлуке; успеете еще двадцать раз повидаться с нею.

- О, я совсем не то, чтоб... но так просто, хотелось... знаете...

- Ну, да что об этом толковать! По-моему, вот что: одеваться-таки извольте себе, но вместо того, чтоб ехать к сестрице, поедемте-ка лучше обедать к Шевалье. Который час?.. Скоро четверть пятого; пока оденетесь, будет самое время, - сказал Тохтамышев, приподнимаясь с места.

- Ах, чрезвычайно приятно! Я и сам думал... Эй! одеваться! Извините, я вас на минуту оставлю, - торопливо заговорил Бобохов, который при мысли ехать вместе с Тохтамышевым и явиться с ним рука об руку в первом московском кафе-ресторане, никак не мог сохранить должного равнодушия.

- Можете, впрочем, не торопиться, успеете еще, - возразил Тохтамышев, вооружаясь шляпой.

- Как, разве мы не вместе?..

- Нет; мне надо еще кой-куда заехать; в пять часов я буду у Шевалье; до свидания!- заключил свояк, надевая шляпу в дверях гостиной и ровным мерным шагом выходя в смежную комнату.

Оставшись наедине, Тохтамышев проявил, однако ж, необыкновенную живость, смешанную с пожирающим нетерпением, которое заискрилось в серых глазах его. Усаживаясь в наемную карету, он не переставал потирать руки, причем драгоценные оконечности его пальцев пришли в такое движение, как будто разыгрывали на фортепиано самую трудную сонату.

Бобохов между тем послал нанять лучшую извозчичью карету и, юркнув за портьеру, начал одеваться.

В сердце его ни малейшей досады к великолепному родственнику; непреклонная мечта сойтись и сдружиться с свояком и показываться с ним всюду рука об руку, не дававшая покоя Бобохову с той самой минуты, как двоюродная сестра его вышла за Тохтамышева, могла еще осуществиться. Времени оставалось много впереди, отчаиваться было нечего. Не удалось сегодня, удастся в другой раз, - так рассуждал Иван Дормидонович, и чувство маленького неудовольствия, возникшее в душе его по поводу настоящей неудачи, снова заменилось величайшим уважением к дендизму Аркадия Алексеевича.

Следя внимательно за стрелкою часов, чтоб не запоздать минутой и, со всем тем, не приехать раньше назначенного срока, Бобохов вышел, наконец, в гостиную.

- Шляпу! - крикнул он, самодовольно вертясь перед зеркалом, отражавшим длинный белый жилет.

Надев шляпу, он снова принялся охорашиваться перед зеркалом, но взглянул на часы и вдруг бросился сломя голову вон из нумера. Минуту спустя великолепная карета проглотила выскочку, и рысьи глазки его, вместе с носом и усиками, снова исчезли для света. У Шевалье было довольно много посетителей. Бобохов обратился к лакею и спросил во всеуслышание, не приехал ли господин Тохтамышев.

- Приехали-с; они изволят быть в красной комнате...

- Один?

- Никак нет-с, с ними господин Чиндаласов и Петр Степаныч Крапов.

Бобохов, наслышанный еще в провинции о необычайном изяществе и светском значении Чиндаласова (Чиндаласов был из той же губернии, как и Бобохов), почувствовал некоторую робость, и щеки его мгновенно покрылись краской; но это продолжалось секунду; он кашлянул и вошел в красную комнату.

- Господа, рекомендую вам доброго моего приятеля, Ивана Дормидоныча Бобохова, - сказал Тохтамышев, подводя родственника к Чиндаласову, господину с круглым, цветущим, смеющимся лицом, черными остриженными бакенбардами и необыкновенно

выпуклою грудью, украшенною плюшевым жилетом ярко-изумрудного цвета. - Петр Степаныч Крапов! Иван Дормидоныч Бобохов, - продолжал Тохтамышев, сводя родственника со вторым господином.

Второй господин, человек лет сорока, совершенно лысый, толстый, приземистый, с живыми буро-зеленоватыми глазками; черный длинный сюртук стариковского покроя придавал ему самый почтенный вид. Два господина протянули руки Бобохову, который сказал каждому из них, что ему чрезвычайно приятно.

Обед начался. С начала до конца обеда Бобохов млел и замирал от восхищенья; робость тотчас же уступила место тому легкому, свободному чувству, какое ощущаешь в обществе истинно порядочных людей. Благодаря этой свободе, ему легко было вслушиваться в каждое слово трех собеседников, следить за каждым их движением, и если такой труд казался иной раз крайне затруднительным, потому что часто три собеседника говорили вместе, Бобохов не падал, однако ж, духом и продолжал ревностно наблюдать, в надежде уловить хотя самую малость, которая со временем могла бы послужить ему с пользою, когда он снова вернется в круг уездных помещиков и помещиц. Делая свои наблюдения, Бобохов не пропускал случая блеснуть ученостью; но потому ли, что три собеседника находили ученую беседу несовместимою с роскошным обедом, или просто не было в них большого сочувствия к наукам - попытки Ивана Дормидоновича оказались совершенно безуспешными. Он не был, впрочем, в претензии: Бобохов охотно променял бы свою ученость на частичку той светскости, какою отличались три собеседника; его особенно приводила в восхищение любезность Чиндаласова, который к концу обеда уселся подле него и засыпал его вопросами о том, каковы урожаи, что говорят о предстоящем покосе и есть ли вообще надежда свести нынешний год концы с концами.

- Потому что, - прибавил Чиндаласов, - с тех пор, как я был в деревне, то есть месяц тому назад, многое могло измениться...

- Как, месяц тому назад вы были в наших краях? Чрезвычайно сожалею, что не знал этого!..

- Да, месяц тому назад... и, поверите ли, господа? очень приятно провел время! Там встретил я, между прочим, одну черненькую с усиками... как бишь ее?., да, Кошкина...

- Знаю, знаю; помилуйте! как не знать! о-о-очень даже хорошо знаю!., - произнес Бобохов, готовый в эту минуту разоблачить сокровеннейшие тайны своего сердца.

- Да полно тебе, Чиндаласов; ну, что ты его угощаешь провинцией! Я думаю, она и без того ему надоела. Он приехал в Москву совсем не затем, чтоб слушать новости своего уезда... - сказал Тохтамышев.

- Господа! - неожиданно забасил Крапов, - заметили ли вы, что друг наш, Тохтамышев, склонен нынче к нравоучениям, да и вообще он как -то не в своей тарелке... а! а! - подхватил Крапов, пуская густую восклицательную ноту из своего жирного горла, - у меня совсем из головы вышло: ведь сегодня балет, и он состоит на дежурстве!.. Вот вам и разгадка...

- Как, разве Лизавета танцует сегодня? - спросил Чиндаласов.

- Танцует и, хочешь знать, участвует даже в pas de quatre, - отвечал Тохтамышев.

Чиндаласов предложил сначала тост в честь хорошеньких женщин, потом в честь Ивана Дормидоныча; тост принят был с большим воодушевлением. Хотя обращение с Бобоховым, от начала до конца обеда, проникнуто было легкой иронией и удовольствие написано было на всех лицах, ни одно из них не обнаружило малейшего следа буйного веселья, свойственного одним лишь невоспитанным людям.

Замирая и млея от восхищения, Бобохов изъявил трогательную благодарность за сделанную ему честь и начал упрашивать присутствовавших приехать к нему в гостиницу.

- Итак, дело решенное, - сказал Тохтамышев, бросая знаменательный взгляд на двух приятелей, - мы празднуем сегодня возвращение моего родственника; после театра - все к нему!

Такое предложение скреплено было новым искренним пожатием рук, и общество поехало в театр.

Первое действие балета было уже на половине, когда Тохтамышев, Чиндаласов, Крапов и Бобохов показались в зале. Шумное появление четырех джентльменов обратило на них общее внимание, и даже многие почтенные особы прекрасного пола, движимые, должно быть, чувством изящного, повернулись тотчас же спиною к сцене, чтоб навести свои бинокли на усы Тохтамышева.

Но Тохтамышев привык уже получать дань очаровательных улыбок и взглядов, возбуждаемых его наружностью, и потому, нимало не изменяясь в лице, не оттопыривая даже груди, продолжал идти тем же ровным, мерным шагом по первому ряду, где было у него абонированное кресло. Бобохов и Чиндаласов последовали за ним; один Крапов остался позади и уселся с философским спокойствием на первом порожнем месте. Как человеку солидному, положительному, давно отказавшемуся от всех возможных претензий и чуждому притом мелочного самолюбия, свойственного одним молодым людям, Петру Степановичу Крапову было все равно, где бы ни сидеть, лишь бы спокойнее дождаться окончания спектакля и вознаградить себя потом легонькой карточной игрою - занятие мирное, тихое, соответствовавшее как нельзя более солидным наклонностям Петра Степановича.

В первые минуты своего пребывание в первом ряду Бобохов ничего не видит ни впереди себя, ни подле; рысьи глазки его, совершенно заслоненные щеками, не успевшими еще опуститься со времени торжественного шествия его по партеру с Тохтамышевым, начинают, однако ж, мало-помалу выглядывать из-за своей засады, устремляются на сцену, обводят бельэтаж, повертываются на стороны и вдруг, подобно тому, как прячется голова черепахи при виде неприятеля, снова исчезают за щеками. Причина такого неожиданного маневра та, что рысьи глазки наткнулись прямо на Аристарха Федоровича Балахнова, величественно сидевшего на соседнем кресле. Между двумя соседями заметно сначала некоторое колебание, но оно продолжается секунду; Аристарх Федорович, как человек с возвышеннымн понятиями, дает почувствовать выскочке, что учтивость есть первый долг каждого образованного гражданина. Он слегка наклоняет голову и, получив в ответ такое же точно приветствие, опускается на локоть и шепчет в ухо соседу: «Давно в Москве?» - «Полтора часа тому назад!» - отвечает Бобохов, желая озадачить соседа своею неутомимостью, признаком, как говорит Тохтамышев, отличающим джентльмена от всякого другого смертного. «Вы, кажется, если не ошибаюсь, вошли сюда с Чиндаласовым? - продолжал расспрашивать Балахнов, - вы с ним знакомы?» - «Да, это мой добрый приятель, - небрежно отвечал Бобохов, - а, впрочем, я приехал в театр с братом Тохтамышевым... Вы знакомы с Чиндаласовым?» - «Нет; но я часто встречался с ним у нас, на губернских выборах...». Громкий взрыв аплодисментов, раздавшийся в противоположном конце первого ряда и подхваченный с других сторон, прерывает беседу. Бобохов поспешно поворачивается к сцене и начинает хлопать, желая, вероятно, убедить величавого своего соседа, что принимает живейшее участие в закулисных интересах Тохтамышева и Чиндаласова. Аристарху Федоровичу нет, по-видимому, никакого дела до того, что происходит на сцене; он приехал в театр вовсе не с тем, чтоб посмотреть новый балет; другие мысли управляли Балахновым, когда он собирался в театр; другие мысли занимают дипломатическую его голову с той минуты, как он вступил в залу спектакля. Он бросает насмешливую улыбку выскочке, величественно выпрямляется на стуле и наводит угол глаза на крайнюю ложу бельэтажа, в которой помещается роскошная Софья Алексеевна Окатова. Окатова наводит бинокль на первый ряд; грудь Аристарха Федоровича, прикрытая черным бархатным жилетом, принимает неожиданно гигантские размеры, и лицо его выражает столько благородства, что, взглянув на него, Окатова поневоле должна будет почувствовать угрызения совести за историю, происшедшую между ее мужем и Балахновым.

Дело кончено; долина пропала; вражда между Ханскими Прудами и Большими Солями не может быть исправлена никакими человеческими силами - все это так; но пускай же гордая эта женщина унесет с собою, по крайней мере, вечное раскаяние в том, что прежде не сумела оценить достойного и благородного Балахнова.

А между тем наступил антракт, шум подымается страшный; Чиндаласов, Тохтамышев, еще несколько театралов и за ними Бобохов потрясают залу громкими рукоплесканиями. Но Аристарх Федорович, отданный весь своей мысли, ничего не замечает: он продолжает наводить угол глаза на крайнюю ложу бельэтажа. Заметив, что предмет его наблюдений покидает ложу и намерен, по всем вероятиям, прогуляться по фойе, Балахнов приподымается с своего места и предпринимает такое же точно намерение. Очутившись против восьмого ряда, он останавливается и подзывает к себе Аполлона Егоровича Дрянкова.

- Где ж Васильков? - спрашивает Аристарх Федорович.

- Убежал из театра, - беспечно отвечал автор «Непризнанной Индейки».

- Как? отчего?

- В театре Фанагория Петровна...

Балахнов обводит глазами ложи и вскоре отыскивает в четвертом ярусе красное лицо, выглядывающее из-под красной шали и увенчанное красной наколкой; он поспешно опускает глаза, принимает рассеянный вид и покидает кресла. Войдя в коридор, Аристарх Федорович осматривается на все стороны, обдумывая, как бы удобнее пройти в фойе, но вдруг из-за угла выскакивает Порфирий Павлович и схватывает его за руку.

- Вы мой благодетель... я вас нарочно ждал... что мне делать?., поставлен в самое неприятное положение... ах, какой анекдот! - говорит Васильков, устремляя тоскливо-беспокойный взор на собеседника. - Здесь Фанагория Петровна! - продолжает он, понижая голос. - Надо смотреть с точки... вы понимаете, Аристарх Федорович, наши несчастные отношения! Я не могу оставаться в театре...

- Вот вздор какой! Сиди себе и делай вид, как будто не замечаешь ее...

- Невозможно, Аристарх Федорыч, невозможно! - восклицает Васильков, приподымая брови. - Все равно, она меня увидит, тогда... тогда такая, знаете, может выйти история, просто публичная история; нет, уж лучше я посижу в буфете и к концу спектакля буду ждать вас здесь, на этом месте.

- Как хочешь, - рассеянно отвечает Балахнов, направляясь в фойе.

В это время шум в креслах умолкает к неописанному удовольствию Фанагории Петровны, которая может, наконец, наслаждаться вволю мелодическими звуками оркестра. Услаждая свой слух музыкою, напоминающею ей сладкозвучные трели соловушки, она не спускает в то же время томных глаз с усов великолепного Тохтамышева, изящного Чиндаласова и других театралов, которые сгруппировались подле оркестра. К ним то с одной стороны, то с другой жмется Бобохов; его, однако ж, не замечают, и выскочка, желая, вероятно, показать, что такое невнимание относится вовсе не к нему, добровольно удаляется от кружка театралов и, страшно раздув щеки, начинает расхаживать посредине залы.

- Здравствуйте, monsieur Бобохов, - произносит за ним грубоватый порывчатый голос.

Он оборачивается назад; вид, хотя гордой, но далеко не джентльменской наружности Дрянкова смущает его; он останавливается.

- Я не знал, что вы в Белокаменпной; давно приехали? - продолжал Аполлон Егорович.

- Часа полтора назад.. а вы зачем сюда приехали?..

- Я печатаю здесь последний свой роман, - отвечал Дрянков, возвышая голос и косясь самодовольно на соседние кресла. - В Москве печатанье как-то дешевле; я знаю это по опыту; для меня этот пункт очень важен в настоящем случае, потому что печатаю, во-первых, на свой счет и притом отдельным изданием. В журналы, как здешние, так и

петербургские, положил зарок ничего не давать; не разделяю их взгляда; к тому же дашь в один журнал, другой будет в претензии, и т. д. Неприятно!

- Очень рад буду прочесть ваше произведение; я постоянно слежу за отечественной литературой и сам писал довольно много... под псевдонимом, pseudonime. Читали вы свой роман какому-нибудь знатоку?..

- То есть так, из любопытства, для того более, чтоб собрать общее мнение... я читал его на здешних литературных вечерах...

- Очень бы хотелось послушать ваше произведение; я много читал... чтение образует вкус; притом я люблю читать произведения знакомых мне людей, - произнес Бобохов смягченно-покровительственным тоном, которым не оскорбился, однако ж, Дрянков, потому что радостно принял предложение и обещал даже явиться в следующее утро.

- С кем это вы там разговаривали? - спросил изящный Чиндаласов, когда Бобохов вернулся в первый ряд.

- А! это один бедный человек, человек, впрочем, с огромным талантом. Он просил меня прослушать перед печатанием его новый роман, - отвечал Иван Дормидоныч, обнаруживая снисходительное участие.

Чиндаласов переглянулся с Тохтамышевым, и оба поспешили отвернуться к оркестру.

В остальное время спектакля не случилось ничего особенно замечательного с нашими героями.

Аристарх Федорович продолжал выпрямлять грудь и олицетворять высшее благородство, наводя в то же время угол глаза на крайнюю ложу; Фанагория Петровна слушала в антрактах музыку, бросая томные взгляды с высоты четвертого яруса на усы Тохтамышева: солидный Петр Степанович Крапов сидел на прежнем месте, скучал страшно и думал о том только, как вознаградить себя легонькою карточною игрою; Порфирий Павлович продолжал сидеть в пустом буфете, курил трубку за трубкой и, выжидая с замиранием сердца окончания спектакля, заводил для развлечения очень приятное знакомство с прислужниками. Наконец, час освобождения пробил. Стук карет возвестил окончание спектакля; приняв всевозможные предосторожности, чтоб не встретиться как-нибудь со страшной тещей, Васильков, закутанный с головы до ног плащом, отыскал вскоре Аристарха Федоровича и успокоился тогда только, когда очутился вместе с этим великим мужем на лестнице одного клуба.

Бобохов летел между тем домой во всю прыть быстроногих коней. Тохтамышев, отправляясь на актерский подъезд, где были у него свои дела, сказал, что Чиндаласов, Крапов и еще кое-кто из приятелей поехали прямо в гостиницу и, вероятно, ждут теперь самого хозяина. Тохтамышев угадал верно: Бобохов нашел в своем нумере многочисленное общество, в котором знакомые ему лица были только Крапов и Чиндаласов. Но это ничего. «Приятели моих приятелей, по всей справедливости, должны быть и моими приятелями». Бобохову чрезвычайно приятно; на щеках его заметно даже явное усилие подавить в себе яростные порывы восторга. Содержатель гостиницы получает тайный приказ распорядиться немедленно насчет блистательного ужина, а между тем три музыканта из Голодаевки, в сопровождении Корнея, снабженные приличными наставлениями и одетые в красные жилеты и синие фраки, обшитые галунами, разносят на серебряных подносах чай и самые тонкие печенья, какие только можно отыскать в древней столице. Гости необыкновенно веселы... Чрезвычайно приятно! Между ними особенно отличается один почтенный седенький старичок, которого зовут не иначе, как Колен, Collin; но это ничего; есть еще и другой старичок, с широким рябым лицом, привинченным непосредственно к сгорбленным плечам; но это также ничего: Бобохову чрезвычайно приятно; оба они необыкновенно любезны и очевидно принадлежат к обществу Чиндаласова. Приезжает Тохтамышев, и Ивану Дормидоновичу делается еще приятнее. Веселый смех и говор разносится далеко и, вероятно, проникает в ближайшие нумера аристократической гостиницы.

- Господа! - произносит густым басом Петр Степанович Крапов, и вслед за тем выставляет вперед свое открытое, добродушное лицо, - господа, приятная беседа, конечно, дороже всего; она, нет сомнения, услаждает сердце и просвещает разум, я готов слушать вас до завтрашнего утра, если б не беспокойная натура моя: натура моя, должен я вам сказать, никак не может обойтись без деятельности; я разумею материальную и притом стариковскую деятельность.

Шутливая выходка Крапова возбуждает веселый хохот.

- Иван Дормидоныч, - продолжает добродушный Петр Степанович, - прикажите поставить ломберный столик...

- Ах, чрезвычайно приятно! Эй, ломберные столы! - восклицает Бобохов.

Столы принесены.

- А вы, Иван Дормидоныч, не играете?

- Как же, играю... очень даже люблю-с...

- Да; но только я должен объявить тебе, Петр Степаныч, - перебил Тохтамышев, покручивая усы, - что любезнейший мой родственник играет не иначе, как по сту рублей фишку...

- Что ж! меньше... меньше не стоит, - рассеянно сказал Бобохов.

- О!

- О!

- О! - повторил, в свою очередь, изящный Чиндаласов, ходивший во все это время по комнате.

- Я должен вам объявить, однако ж, любезный Иван Дормидоныч, что так можно играть только в азартные карты, где большею частью игрок волен отстать от игры, когда хочет, и снова пристать к игре, когда ему заблагорассудится, - произнес добродушный Крапов.

- Я иначе не играю, как в азартные игры; коммерческие как-то скучны.

- Я совершенно согласен с Иваном Дормидонычем, - проговорил Чиндаласов, значительно выпучивая грудь и проводя рукою по изумрудному жилету, - отказываясь постоянно в клубе от коммерческих игр, я всегда очень охотно сажусь играть в палки: игра все-таки более или менее возбудительная.

- Что ж? хочешь играть? - спросил его Тохтамышев.

- Пожалуй; но с кем же? Разве ты сядешь? К тому же из нас, кажется, никто не играет по сту рублей на фишку... Попробовать разве для шутки, так на одну карту с Иваном Дормидонычем?..

- Ах, чрезвычайно приятно!.. Эй, карты! - закричал Бобохов, самодовольно раздувая щеки.

- Ну, господа, как ни хочется мне сесть в преферанс с «Коленем», я, однако ж, подсяду к вам на минутку: любопытно посмотреть, что из этого выйдет... Если хотите даже, Иван Дормидоныч, я буду держать за вас...

- Ах, чрезвычайно приятно!..

- А я за Чиндаласова, - сказал Тохтамышев.

„Колен", рябой господин и за ними остальная компания расположились вокруг играющих.

Ничего не может быть увлекательнее игры! Это доказывает самым положительным образом Петр Степанович Крапов, который, несмотря на свою солидность, никак не может оторваться от играющих, забыл, по-видимому, свой преферанс, а к концу сам принимает деятельное участие в игре и - кто бы этому поверил? - ставит даже сто рублей на карту. Но вот что дурно: Чиндаласов проиграл, и проиграл порядочно. Бобохову чрезвычайно приятно, но, со всем тем, он старается показать, что смущен таким обстоятельством. Чиндаласов говорит, что не хочет больше играть, уступает свое место Тохтамышеву, а сам изъявляет желание держать сторону Бобохова. На этом основании он садится подле выскочки и строго наблюдает за его игрою; внимание изящного

Чиндаласова равно также обращается и на драгоценные пальцы Тохтамышева, которые, вооружившись раз картами, начинают снова разыгрывать трудную и чрезвычайно сложную и замысловатую сонату; вслушиваясь, должно быть, умственным слухом в эту сонату и обвороженный ее тайным, глубоким смыслом, изящный Чиндаласов продолжает снабжать Бобохова полезными советами, и Бобохов проигрывает огромный куш. Лицо Ивана Дормидоныча принимает такое выражение, как будто он проглотил рыбью кость и хочет скрыть это несчастие от присутствующих. Наружность Тохтамышева сохраняет невозмутимое спокойствие, как будто и не он выиграл, а если и выиграл, так ему совершенно все равно. Digne et calme – вот девиз Тохтамышева, девиз каждого, впрочем, джентльмена. Бобохов делает неимоверные усилия, чтоб последовать примеру своего родственника: принимает по возможности спокойный вид и хочет оставить игру. Но добродушный Петр Степанович, проникнутый истинным участием к проигравшему, никак этого не допускает; он говорит, что так нельзя, что любезнейший Иван Дормидоныч должен непременно отыграться, что сам готов за него играть, а если нет, то уж, во всяком случае, станет держать его сторону.

Игра продолжается...

Шесть часов утра. В пятом нумере аристократической гостиницы не раздается веселого говора. Там уже никого нет. Я, разумеется, не считаю престарелого Корнея, который стоит посреди гостиной, опустив руки, и осматривает стены, окна, столы и пол, покрытый пылью, устланный картами, раздавленными кусочками мела, объедками блистательного ужина и теми фестонами, которые отпечатываются на паркете франтовскими узенькими каблуками...

Корней отворяет окно, потому что в гостиной такая духота, что ему даже стало как-то тяжело. «Вот тебе и город-столица! Нечего сказать, приличная губерния... да, уж нечего сказать, и эти-то господа того... обчистили, ободрали, как липку!» - думает Корней. Затем оп припоминает подробности минувшого вечера, припоминает лицо Ивана Дормидоновича после того, как гости уехали - лицо с обвислыми щеками, и, бросив новый взгляд на пол, покрутив старческой головой, принимается приводить в порядок растрепанный вид гостиной.

XXI

Аристарх Федорович, верный своей цели, увеселяет Порфирия Павловича и вместе с тем не забывает собственных дел своих.

Аристарх Федорович, как уже известно, украшал своим присутствием первый нумер той же аристократической гостиницы и, смело можно сказать, проводил время как нельзя приятнее. Он перезаложил уже свои двести душ. Это было, впрочем, первым его делом по приезде в Москву - первым, да, но далеко не главным: главные дела еще впереди!

Что такое деньги для Аристарха Федоровича, величайшего человека из всех великих мужей горшковской почвы? - ровно ничего и, вместе с тем, очень много. Ничего, потому что великие люди вообще, и Аристарх Федорович в особенности, чужды мелких чувств и расчетов; очень много, потому что все великие люди смотрят на золотого тельца, как на средство, необходимое для осуществления великих планов и замыслов. Потому-то, вероятно (так, по крайней мере, замечено было), все великие люди, глядя с этой точки зрения на золотого тельца, стараются всегда выбирать его как можно крупнее и надежнее. По той же причине, вероятно, и Аристарх Федорович заботился всегда так усердно о том, чтоб в карманах его находилось по возможности более презренного металла. Мало того: принимая, должно быть, в соображение страшную потерю, которую понесет человечество в случае, если идеи его не примут надлежащого хода, он не только надсажал золотого тельца, назначенного для осуществления этих идей, но даже окончательно морил его посильною работой.

Я сказал уже, что Балахнов приятно проводил время; он, однако ж, не искал развлечений; удовольствия, встречавшиеся на пути его, были большею частью случайные

и вовсе не зависели от него; он посещал все клубы, не пропускал ни одного собрания, бывал каждый почти вечер в театре, ездил на всевозможные публичные гулянья, но делал это единственно потому, что ему некоторым образом необходимо было показываться в обществе. Не отступая ни на шаг от глубокомысленного плана, задуманного в Ханских Прудах, он ищет везде и всюду - в театрах и собраниях, в клубах и на гуляньях - значительных лиц своей губернии, которые, в случае надобности, могли бы представить надежный оплот против козней Окатова, Солонеева, Кошкина и других врагов его. До сих пор, по крайней мере, план не мог осуществиться, но благодаря золотому тельцу, позволявшему покуда упорно преследовать мысль, Аристарх Федорович не теряет надежды и продолжает всюду показываться.

А между тем толпа и легкомысленный свет, встречая Балахнова везде и всюду, судят о нем по-своему. Все находят его любезным, радушным, величавым, расточительным и даже очень обыкновенным смертным. Так судит легкомысленный свет! И не прозревает близорукое умственное око света в душевный тайник этого обыкновенного смертного; не читает оно глубоко сокровенной думы, ясно, между тем, отпечатанной на высоком дипломатическом лбу; не видит ничего в этих чертах, преисполненных высокого благородства, не сказать ли? - великий горшковский человек проходит незаметным... да, почти незаметным! Но любопытно было бы знать, что говорит легкомысленный свет о Порфирии Павловиче Василькове, который точно так же показывается везде и всюду вместе с Аристархом Федоровичем? Свет единогласно утверждает, будто Аристарх Федорович Балахнов „веселит" Порфирия Павловича Василькова, и на этот раз не ошибается: именно Балахнов веселит и даже сильно веселит сердобольного своего соседа. Но за что он веселит его – этого опять-таки никто не знает. Находятся, однако ж, люди, которые хотят во что бы то ни стало исследовать такую причину; некоторые из них, переходя постепенно от одной догадки к другой, положительно заключают, что Балахновым управляет в этом случае какая-нибудь эгоистическая цель; другие, более тонкие наблюдатели, говорят, что эгоистической цели здесь нет никакой, но что, во всяком случае, в заботливости, с какою Аристарх Федорович увеселяет Василькова, кроется что-то особенное, и что все это делается, верно, неспроста; третьи, наконец, обиженные даром проницательности, но со всем тем желающие показать, что ничто не ускользает от их внимания, не пропускают случая значительно подмигнуть левым глазом каждый раз, как встречают величавого господина вместе с незначительным его спутником.

Что же касается до Василькова, он всегда был далек от того, чтоб делать комментарии насчет ближнего, и тем менее насчет своего благодетеля, Аристарха Федоровича. Горький опыт доказал Порфирию Павловичу, что не следует доверять женскому сердцу, по крайней мере, сердцу Антонины Васильевны - этого ангела, который, по словам Василькова, послан был на землю единственно для того, чтоб подарить его блаженством, но который не исполнил своего назначения. Порфирий Павлович так рассудителен, что, основываясь на одном факте, не перестанет верить в искренность других сердец, не сделается мизантропом или, например, не скажет себе, что не существует на свете бескорыстной дружбы. Он весьма далек от этого; он доказывает это на каждом шагу, и доказывает самым положительным образом - обращением с Балахновым, которому платит за его приязнь и душевное расположение чувством беспредельной преданности. В настоящую минуту Порфирий Павлович считает себя счастливейшим человеком не только своего уезда, но даже всей вселенной.

В самом деле, чего ж еще недостает для полного его благополучия? С одной стороны - друг, такой друг, который один вмещает в себе запаса на сто друзей; с другой, благодаря тому же другу, - перед Порфирием Павловичем раскрывалась новая жизнь, жизнь, полная наслаждений, радостей и увеселений всякого рода. Невозможно передать словами трогательного, заботливого участия, какое обнаруживает с некоторых пор Аристарх Федорович к судьбе Василькова: он предупреждает малейшие его желания...

- Ты куда, Васильков?

- Хотелось, Аристарх Федорович, прокатиться по Петровскому парку. Очаровательный вечер!..

- Нет, любезный, брось это: сегодня праздник и как раз наткнешься на свою взбалмошную тещу: пойдут разговоры, сманит тебя в Сусловку, и тогда... Будь у тебя твердый, непреклонный характер, как у меня, например, я бы ничего не сказал; но для слабодушного и нежного человека, каков ты, такие встречи опасны. Пойдем -ка лучше со мною в клуб.

Васильков, тронутый до слез тонкою предусмотрительностью друга, изъявлял тотчас же согласие и готов был следовать за Балахновым не только в клуб, но хоть и на край света. В клубе опять новые знаки участия.

- Не стесняйся, любезный, - говорил Аристарх Федорович, - тебе, может быть, хочется испробовать счастие за зеленым сукном, или сыграть партию на китайском бильярде - на, бери денег, сколько хочешь.

Если Васильков проигрывал - а это приключалось почти каждый раз, как он садился попытать счастье - Аристарх Федорович не только не изъявлял сожаления, но старался, напротив, ободрять своего друга. Великолепие, с каким Балахнов раскрывал свой бумажник перед Васильковым, конечно, не могло ускользнуть от внимания привычных посетителей клубов; оно тем более бросалось в глаза, что Аристарх Федорович был так горд, что не скрывал своих действий от кого бы то ни было; он, как уже известно, раз сказал, что говорит и действует во всеуслышание мира! Некоторые из этих привычных посетителей клуба обнаружили явное желание познакомиться с господином Балахновым. Господин Балахнов охотно протягивал руку, внимательно всматривался в лицо нового знакомого, как бы стараясь припомнить, не видал ли уже его на выборах, и, убедившись, что новый знакомый принадлежал другой губернии, отказывался напрямик на его предложение сыграть в палки, говоря, что никогда не играет в карты. Из клуба он возил обыкновенно Василькова к цыганам, или в маскарад, или в другое какое-нибудь увеселительное место.

Опьянелый от удовольствий, Порфирий Павлович начинал мало-помалу забывать несчастное сусловское происшествие; он как будто забывал даже свою Антониночку, и если иной раз переносился мысленно в маленький домик на берегу живописной речки, и если, вслед за тем, из груди его невольно вырывался тяжелый вздох, Аристарх Федорович спешил рассеять неутешную меланхолию и обнаруживал при этом такую заботливость, как будто издавна принял намерение исторгнуть из памяти своего друга даже самое воспоминание о Сусловке. Достигнуть этого было весьма не трудно: Васильков не замедлил одуреть от веселья точно так же, как в свое время одурел от горя. В припадке восторженности, он не переставал уверять, что в отношении удовольствий Москва – просто какая-то волшебная Голландия. Затем он распространялся обыкновенно о том, как полк его стоял в двух верстах от польского города, на травяном продовольствии. «Уж на что, знаете, весело в этой Польше», - говорил он, вращая своими раковыми глазами, - «там, знаете, эти шляхтяночки, ангелочки-кокеточки, такие милые, черноглазенькие полечки, а все, знаете, в Москве веселее, – как честный человек, веселее!».

- Аристарх Федорович, я, право, не знаю, как благодарить вас... Поверьте, я все это чувствую!.. Родной отец, отец родной не сделал бы для сына того, что вы для меня делаете! - восклицал поминутно сердобольный Порфирий Павлович, устремляя на благодетеля глаза свои, увлаженные слезою благодарности.

- Полно, братец; благодарить тут не за что. Очень рад, что могу доставить тебе удовольствие и этим способом заставить тебя забыть минувшее горе. Обязанность, назначение каждого из нас состоит, любезный, в том, чтоб не умалять сердца в покое эгоизма и быть всегда готовым протягивать руку ближнему... - отвечал с достоинством Балахнов.

Исполненный справедливого почтения к своему другу и благодетелю, Порфирий Павлович расточал ему похвалы чуть не на всех площадях и перекрестках древней столицы; он не пропускал, разумеется, случая скреплять слова свои бесчисленным множеством поразительных фактов, из которых каждый мог уже служить дипломом для любого смертного. Красноречие Василькова доходило часто до такой неумеренной яркости, что сам Аристарх Федорович принужден был останавливать его; нередко даже случалось Балахнову журить своего друга, замечая ему при том, что обязанность человека заключается не в том, чтоб выставлять напоказ свои добродетели, но состоит, напротив, в том, чтоб скрывать эти добродетели под непроницаемым плащом скромности и смирения. Укоры Аристарха Федоровича дышали такою мягкостью, открывали в нем каждый раз столько новых возвышенных чувств, что Васильков почерпал каждый раз новые факты для восхваления своего величавого друга.

Дни проходили за днями. Аристарх Федорович ездил повсюду с Васильковым, стараясь изгладить из его памяти всякое воспоминание о Сусловке и в то же время внимательно всматриваясь в каждое лицо, как бы желая припомнить, не встречал ли он уж это лицо на губернских выборах и не принадлежало ли оно какому-нибудь значительному человеку его губернии. Васильков веселился до упаду и с каждым днем забывал более и более маленький домик на берегу живописной речки. Появление Бобохова в той же аристократической гостинице не произвело на двух друзей ни малейшего впечатления. Аристарх Федорович сказал, что этот Бобохов - выскочка, не стоящий ровно никакого внимания, и что, конечно, он не сделает шагу для поддержания с ним знакомства. Порфирий Павлович, со своей стороны, подтвердил такое намерение, прибавив, что хотя он и служил в одном полку с Бобоховым и даже ел с ним из одной чашки в то время, как полк стоял на травяном продовольствии, но что он, во всяком случае, не станет вешаться ему на шею, ибо, во-первых, не любит гордецов, во-вторых, Аристарх Федорович заменил для него всех людей, и ему ничего и никого не надо. Совсем другое говорил по этому случаю Аполлон Егорович Дрянков, который, благодаря неисчерпаемому источнику благотворительности Аристарха Федоровича помещался в темном углу первого номера той же аристократической гостиницы. Дрянков провозгласил, что не нашел ничего особенно гордого в обращении Бобохова, что считает его, напротив, человеком весьма учтивым, человеком, который мог даже некоторым образом представлять образчик образованного, вполне просвещенного соседа. Дрянкову не возражали, зная его склонность к противоречиям и желчное расположение. Не стоило, впрочем, заводить толки о каком-нибудь Бобохове с каким-нибудь Дрянковым, да и времени для этого не было. Балахнов и Васильков разъезжали весь день по своим надобностям. Аполлон Егорович исчезал с раннего утра вместе со своею «Непризнанной Индейкой», пропадал круглый день и являлся в гостиницу поздним вечером.

На третий или, кажется, на четвертый день после встречи с Бобоховым в театре, Аристарх Федорович почувствовал себя в самом отличном, веселом расположении духа. При взгляде на него можно было подумать, что он встретил накануне целую дюжину значительных личностей своей губернии, которые при первом намеке о кознях Солонеева и комп. протянули Балахнову руки и прокричали восторженно: «все за тебя!». Но в том-то и штука, что ничего этого не было. Причина такого счастливого расположения духа заключалась в сновидении, которое низошло в эту ночь на голову великого горшковского мужа. Аристарх Федорович не помнил хорошенько, в чем именно состоял сон – путаница была страшная; но со всем тем ему памятен был один эпизод, светлый и ясный, который невольно переносил его к любимым задушевным мечтам. Балахнов не верил в сны; но сновидение, как известно, то же, что отдаленная надежда: и не веришь, а все-таки настраиваешься под лад того, что они обещают.

Утро промелькнуло для Аристарха Федоровича незаметным образом. Отдавшись любимым мечтам своим, которые в настоящую минуту представлялись ему в розовом лучезарном свете, он, естественно, не мог следить за временем. Порфирий Павлович,

догадавшийся с помощью инстинкта о великом процессе мышления, совершавшемся в голове знаменитого друга, не решался тревожить его и хранил глубокое молчание; если улыбка озаряла лицо Аристарха Федоровича, такая же точно улыбка появлялась, словно в зеркале, и на губах Порфирия Павловича. Аристарх Федорович принимался ходить но комнате, потирая переносицу – Порфирий Павлович также ходил, потирая переносицу; Аристарх Федорович садился, и Порфирий Павлович садился. Мягкосердый Васильков решил с некоторых пор, что узы, связывающие его с Балахновым, сделают из них обоих одно нераздельное существо, подобное сиамским близнецам, и, основываясь на этом, судил не иначе о чувствованиях своего друга, как по биению своего собственного сердца; он полагал даже, что душевные и физические движения одного должны были непременно действовать на другого. Несмотря, однако ж, на такое счастливое сочетание, случилось то, когда одна часть целого, то есть Аристарх Федорович, подошел к Василькову, трепнул его по плечу и воскликнул в порыве радости: «Крепись! мужайся! авось наша возьмет!» - другая часть целого, то есть Порфирий Павлович, стал в совершенный тупик, потому что настоящие его чувствования не имели ровно ничего общего со словами друга. Он поспешил, однако ж, утвердительно кивнуть огромною своею головою. Такие проделки повторялись неоднократно в это достопамятное утро, пока, наконец, Балахнов не перешел из мира фантазии в мир действительности. Переход этот совершился весьма неожиданно. Аристарх Федорович, лежавший в сладком самозабвении на диване, быстро приподнялся со своего места и, приняв вид человека, который говорит самому себе: «Ну, душа моя, ты нынче много работал, надо дать отдохнуть голове и сердцу!» - обратился к Василькову:

-А что, любезнейший, - сказал он, - скоро, однако ж, четыре часа; не пора ли обедать, как ты думаешь?..

Мысль Аристарха Федоровича имела на этот раз прямое и самое близкое отношение к настоящим чувствованием Порфирия Павловича, и он несказанно этому обрадовался.

- Я хочу, братец, показать тебе сегодня чудо из чудес, - продолжал Балахнов, - ты, конично, слышал уже о Троицком трактире, но слышать и видеть - две вещи совершенно разные! Я намерен повезти тебя в это истинно колоссальное заведение, где все, начиная с роскошных яств и кончая прислугой, ярославскими молодцами, выражает грандиозный характер. Ну, братец, доволен ли ты?..

Доволен ли он? Вот вопрос! Порфирий Павлович был в восторге! Он окончательно убедился, что задушевные мысли его были не что иное, как прямой отголосок мыслей Аристарха Федоровича. Пользуясь благоприятным случаем, Васильков принялся тотчас же выгружать к ногам друга сокровища своего сердца; но друг, со свойственною ему скромностью, поспешил дать другое направление благодарственному потоку, сказав, что пора обедать и время идти одеваться.

Туалетная статья всегда обращала на себя внимание Порфирия Павловича – человека, как ведомо, общественного в высшей степени и притом пребывающего постоянно почти в дамском кругу; но теперь, благодаря влиянию столицы и средствам, которыми снабжал его Балахнов, такая заботливость сделалась еще заметнее. Черные бесконечные пряди волос вместо того, чтоб закручиваться волютами на висках Порфирия Павловича, как это водилось прежде, рассыпались изящными завитками по всей голове; исполинские бакены и усы, имевшие сходство с рейнским водопадом, подстригались каждую неделю; тщательно налакированные фиксатуаром и спрыснутые одеколоном, они приятно закруглялись на впалых щеках Порфирия Павловича, также спрыснутых одеколоном; о синей венгерке с иероглифом на спине, равно как о жилете с черными и желтыми полосками, давно и помину не было: они перешли в потомственное владение к Сидору и заменились франтовскими изделиями настоящего французского мастера, который, во время снимания мерки, истощил весь запас остроумия, подтрунивая над Иваном Остолоповым, прежним портным Василькова. Словом, Порфирий Павлович преобразовался; и если б не глаза, которые одни воспротивились столичному влиянию, упорно сохраняя свою прежнюю выпуклость, можно было бы ручаться чем угодно, что

Вера Андреевна Кокуркина не узнала бы в этом новом виде милого любезника и первого мазуриста. От гостиницы до Ильинки было не близко, и прошло довольно много времени, прежде чем наши приятели достигли цели своей поездки. Аристарх Федорович предпринял такое путешествие единственно потому, что имел в виду бесчисленный ряд дешевых удовольствий, которые ожидают Порфирия Павловича в Троицком трактире. На этом основании, прежде чем посадил его за обед, он принял намерение показать ему в деталях огромное заведение и начал с того, что подвел Василькова к буфету и попросил конторщика показать ему фокус. Фокус заключался в том, что конторщик снимал с полки два подноса и в одно мгновение ока укладывал на них в симметрическом порядке чашки, чайники, кусочки сахару и известную порцию чая; по данному сигналу, чашки укладывались одна в другую, сахар с чаем исчезал, и подносы возвращались иа прежнее место. Посмеявшись вдоволь над изумлением Василькова, который во время фокуса так страшно выкатил глаза, что можно было принять их за пару опрокинутых чашек, Аристарх Федорович показал ему бесконичную анфиладу комнат с бегающею взад и вперед прислугой и, сравнив все это мимоходом с гигантским муравейником, приказал подавать на стол в той самой комнате, где заключены были курские соловьи.

- Ну, что, братец, как тебе все это нравится? доволен ли ты? - говорил Аристарх Федорович, стараясь обратить внимание своего друга на каждый предмет.

- Аристарх Федорыч, я просто теряюсь... непостижимо!.. просто легенда какая-то!.. Как мне благодарить вас?..

- Опять! - перебил Аристарх Федорович, грозя ему снисходительно пальцем, - я сказал тебе, любезный, что почитаю себя счастливым уже тем, что все это доставляет тебе удовольствие. Однако ж, пора подумать о существенном, то есть об обеде. Мне хочется угостить тебя на славу и угостить именно русскими блюдами. Малый! - промолвил он, подзывая прислужника, который, накрыв на стол, остановился в почтительном расстоянии у двери и, перебирая салфеткой, впивался глазами в посетителей. - Малый, по-о-о-дай нам ботвинью, смотри только, настоящую русскую ботвинью; затем поросенка под хреном, калачей, да еще киевского варенья!

Проговорив все это самодовольно-торжественным тоном, Балахнов радушно усадил своего друга подле себя и принялся дорисовывать перед ним остальные детали Троицкого трактира - детали, скрытые для поверхностного наблюдателя или редкого, непривычного посетителя этого заведения. Аристарх Федорович любил озадачивать своего ближнего и в этом случае, можно смело сказать, не действовал по внушению какой-нибудь честолюбивой мысли, потому что так же охотно готов был пробуждать удивление в ближнем к личным своим достоинствам, как и к предметам совершенно посторонним. Страсть озадачивать ближнего ярко-выпуклыми рассказами (свойственная, впрочем, многим, весьма даже почтенным, особам) проистекает, мне кажется, из самого благородного источника; она показывает стремление человека излить свои чувства и впечатления в душу другого человека. Я знал, например, одного господина, который никак не мог утерпеть, чтоб не озадачивать каждое утро своего лакея рассказами об извержении Везувия, о слоновой охоте, крокодилах, кораблекрушениях и проч. Сам рассказчик, правда, ничего этого не видал, ибо со дня своего рождения по сие еще время не выезжал из своего уезда, но что до этого! главное дело в том, что видна сообщительность, и безрассудно поступит тот безжалостный эгоист, который позволит себе посмеяться над моим знакомым.

Подкладывая Василькову тертого хрену со сметаной и снабжая его достаточным количеством сливочного поросенка, Аристарх Федорович продолжал озадачивать своего друга. Он сообщил ему, между прочим, что соловьи, висевшие над их головами, стоили каждый пятьсот рублей, а тот, что вот висит посредине потолка, заплачен даже целую тысячу. Затем он распространился насчет органа, помещенного в другом отделении заведения, и сказав, что машина эта, заплаченная в свое время до пятидесяти тысяч рублей, играла до пятидесяти увертюр, перешел постепенно к хозяйственной и

экономической части трактира. Тут Порфирий Павлович, и без того уже озадаченный свыше всех ожиданий, узнал, что прислуги, одной прислуги находилось в этих стенах более сотни, что тут ежедневно поглощался цыбик чаю посетителями, которых, нет сомнения, следовало считать не сотнями, а тысячами, и проч., и проч. В заключение словоохотливый Аристарх Федорович обратился неожиданно к слуге, стоявшему во все время у двери и вертевшему салфеткой, и сказал ему, бросая знаменательные взгляды на Василькова:

- А принеси-ка ты теперь, братец, нам «лампопо»! Вот что!..

Глаза Порфирия Павловича, следившие с изумлением за эволюциями тысячерублевого соловья, мигом устремились сначала на слугу, потом на Аристарха Федоровича, и при последнем этом маневре выкатились так страшно, что, казалось, все нервы, державшие белок, порвались и разлетелись вдребезги. Аристарх Федорович разразился веселым хохотом.

- А! ты еще не знаком с лампопо, этим нектаром нашей доброй старушки-Москвы! - сказал он, самодовольно подымая брови, - ну, вот увидишь! Я сказал тебе, братец, что хочу угостить тебя национальным образом, и угощу. Обедать в Троицком трактире и не отведать лампопо - то же, что быть в Москве и не видеть царь-пушки и знаменитого колокола... а! вот и нектар наш: пиво, ржаная поджаренная корка, лимон для аромата, лед для прохлады - ну, как! доволен ли ты?

Порфирий Павлович возвел глаза свои к потолку, как бы в подтверждение, что сроду не только не пивал такого напитка, но даже не подозревал ничего подобного.

- А какова, братец, сервировка? Посмотри-ка: ведь это настоящий древний кубок! - продолжал Балахнов, повертывая в руках серебряный сосуд, в котором подают обыкновенно лампопо, - древний кубок, да! - подхватил он, величественно выпрямляя грудь и не обращая уже теперь внимания на Василькова, который, между тем, жадно впивался в него глазами, - древний кубок, в то же время единственный памятник баснословной роскоши тех великолепных богачей, которые тратили на один обед сотни червонцев! И вот, - торжественно заключил Аристарх Федорович, потрясая кубком, - вот свидетель, товарищ, соучастник тех прадедовских пирушек, к которым приглашались сотни людей!..

Нет сомнения, что Аристарх Федорович, попав раз в эту колею, перешел бы постепенно к любимой своей теме и сообщил бы весьма много любопытного насчет того, как живали его собственные предки, если б не остановило его одно совершенно неожиданное обстоятельство.

В ту самую минуту, когда он подносил древний кубок к губам своим, в соседней комнате раздался страшный взрыв хохота, сопровождаемый восклицаниями, посреди которых явственно послышались слова: «Бобохов!».

Бросив испытующий взгляд на слугу, Аристарх Федорович приказал ему осведомиться, кто таковы его соседи, и, получив в ответ, что это были какие-то вовсе незнакомые господа, поспешил тем не менее, однако ж, выслать слугу. Оставшись наедине с Васильковым, он невольно принужден был выслушивать каждое слово, произносимое за дверью.

Но ничего нового не услышал Балахнов. Говорилось о соседе его, Бобохове, и приводились те именно черты из частной жизни и характера выскочки, который известны были в совершенстве самому Аристарху Федоровичу. Не знал он только тогда, что Иван Дормидонович любил играть в карты и обнаруживал при этом такую горячность, что ловкому игроку, владеющему достаточным запасом хладнокровия, ровно ничего не стоило ободрать его, как липочку; этого не знал даже сам Порфирий Павлович, служивший с выскочкой в одном полку, и потому нет ничего удивительного, если Васильков и Балахнов удвоили свое внимание.

- Когда ж все это происходило? - спросил один голос.

- Третьего дня, тотчас же после театра, - отвечали другие голоса.

- И много проиграл, то есть я хотел сказать, сколько выиграл Тохтамышев?

- Четыре с половиною тысячи серебром - все, что было. Ха, ха, ха! умора! А впрочем, на долю Тохтамышева пришлось только две тысячи целковых, потому что он был, как обыкновенно, в доле с Чиндаласовым... Умора, я тебе говорю! Надо было видеть глупую рожу этого выскочки, когда убили последнюю его карту...

- Я думаю, братец, все рожи, какие только существуют в свете, принимают в этом случае не совсем умное выражение...

- Да; но ты не знаешь, что, проигрывая пять тысяч, этот несчастный Бобохов терял лучшую, задушевную мечту свою.

- Что ж такое?

- Он, нужно сказать тебе, привез сюда каких-то музыкантов, с тем, чтоб в три месяца сделать из них концертистов. Ха, ха, ха!.. Проигранные им деньги были назначены, если не ошибаюсь, именно для этой цели... так, по крайней мере, рассказывал Тохтамышев... Да вот, чего же лучше, он расскажет тебе, пожалуй, все подробности...

При этом послышались легкие дружеские удары по жирному плечу.

- Да, действительно так! - возразил густым басом какой-то господин, не подававший до сих пор голоса.

- Ха-ха-ха!.. Ну, что же намерен он теперь делать?.. ехать в деревню?., - послышалось среди хохота.

- Ничуть не бывало! - снова заговорил бас, напоминавший голос добродушного Петра Степановича Крапова. (Я не думаю, однако ж, чтоб это был Петр Степанович! Мало ли встречаешь не только сходных голосов, но даже физиономий!) - Ничуть не бывало! Этот Бобохов остается в Москве для того, вероятно, чтоб показать, что проигрыш в пять тысяч ровно для него ничего не значит, а может быть - кто его знает - для того, чтоб привести в исполнение задушевную мысль свою: образовать виртуозов, как сам он выражается. Поэтому он везде ищет денег; денег, разумеется, никто не дает. На этом основании он решился продать какую-то землю, которая составляет особняк и прилегает к чьим-то соседним владениям; продаст, конечно, за бесценок; кажется, даже за двенадцать или десять тысяч... так, по крайней мере, рассказывал мне свояк этого болвана, Тохтамышев, который взялся даже, если не ошибаюсь, найти ему покупщика...

Если б Троицкий трактир сдвинулся со своего места и очутился на Тверском бульваре, или если б пятисотрублевые соловьи, висевшие над головой Аристарха Федоровича, запели вдруг петухами - удивление его было бы ничтожно в сравнении с теми чувствами, которые теперь волновали его величавую грудь. Бобоховская земля, о которой шла речь, как раз примыкала к Сусловке (Балахнов изучил топографию своего уезда в совершенстве). О Сусловке и говорить нечего: Сусловка уже его - на обратном пути из Москвы он заедет в Горшков и совершит купчую с Порфирием Павловичем. Что ж касается до денег, Порфирий Павлович подождет: во-первых, Василькову не нужны деньги, это ясно, как день; а во-вторых, в случае надобности, Балахнов предложит ему угол в своем доме, стол, одежду и все возможные сельские удовольствия впридачу. Деньги, полученные с перезаложенного именья, пойдут теперь, следственно, на покупку бобоховской земли; это решено. Останутся даже (если заплатить Бобохову двенадцать тысяч), останутся две тысячи в кармане - и этого будет очень достаточно на заключение кой-каких знакомств с значительными лицами губернии, проживающими в Москве; а если мало, можно будет тотчас же заложить новоприобретенную землю Бобохова, которая не заложена.

Все эти соображения промелькнули с быстротою молнии в дипломатической голове Аристарха Федоровича. В первую минуту в глазах его зарябило, как словно из соседней комнаты, вместо слов, проникли лучи сверхъестественного блеска. Он провел рукою по лбу, мгновенно покрывшемуся ярким пурпуром, вскочил с своего места и произнес задыхающимся от восторга голосом: «Сон в руку!..».

Порфирий Павлович, конечно, не был посвящен в тайны Аристарха Федоровича и ничего не понимал; но, отуманенный лампопо и ощущая в груди своей живые, ясные отголоски того, что совершалось в душе друга, он не преминул обнаружить сильнейший восторг, вскочил с места, и даже, сам не зная, как это случилось, повторил: «Сон, сон в руку!».

А между тем Аристарх Федорович успел уже овладеть собою.

- Ну, милый мой, как тебе все это нравится, то есть я разумею не Бобохова - мальчишка! - а это истинно колоссальное заведение?., - проговорил он, весело трепля по плечу своего собеседника. - Не правда ли, превосходно? Мне давно хотелось угостить тебя по-русски: доволен ли ты? а? Эй, человек, дай нам шампанского! - заключил он, неожиданно усаживаясь на прежнее место и стараясь сохранить то величавое спокойствие, которое составляет обыкновенно неотъемлемую принадлежность всех великих душ.

Шампанское было принесено. Балахнов едва прикоснулся к бокалу, но взамен налил два стакана Порфирию Павловичу, попросил опорожнить их за его здоровье и за успех его предприятий, что, разумеется, и исполнено было с невыразимою готовностью. Когда глаза Василькова, потеряв окончательную точку опоры, заходили во все стороны, убеждая тем самым Аристарха Федоровича, что владетель их - лицо совершенно постороннее, он поспешил отвезти его в гостиницу и тотчас же осведомился о том, был ли дома Бобохов.

Бобохов не приезжал с самого утра, и Балахнов вынужден был отложить дело до следующего дня.

Во все продолжение вечера Аристарх Федорович не отлучился ни разу из гостиницы; он приказал раскрыть настежь все двери и не переставал расхаживать, с закинутыми за спину руками, по всем комнатам первого нумера. Его походка и озабоченный вид обличали человека, погружеиного умом и сердцем в глубочайшие соображения дипломатического свойства.

Изредка лишь обращался он к предметам, его окружавшим, и это случалось каждый раз, когда взоры его встречали Василькова, погруженного в благодатный сон, явившийся вскоре после пышного троицкого обеда, приправленного неумеренными возлияниями лампопо.

«Жалкие, ничтожные натуры!» - думал Аристарх Федорович, щуря свои глаза и выпрямляя грудь:

«Вам чувств высоких не дано!

От колыбели до могилы лишь пресмыкаться суждено!» -

прибавил он, задыхаясь от скопления в его собственной душе возвышенных чувств, принимавших с приближением завтрашнего утра самый восторженный характер, и... и заключив все это презрительным движением руки, великий человек снова начинал маршировать по комнатам, потирая попеременно лоб и переносицу.

XXII,
в которой доказывается самым положительным образом, что сновидения ровно ничего не значат и врут большею частью страшную чепуху.

Московская мостовая гудела под тысячами колес, и был уже поздний час утра, когда Аристарх Федорович пробудился от сна. Лихорадочно-нетерпеливое состояние, не покидавшее его в продолжение бессонной ночи, исчезло вместе с мрачными тенями, покрывшими стены первого нумера, и мысли его были так же светлы, игривы и веселы, как золотые лучи солнца, скользившие теперь на стенах его комнаты. Первым делом его, после легкого завтрака, было послать к Ивану Дормидоновичу и узнать, принимает ли он; получив утвердительный ответ, Аристарх Федорович оделся на скорую руку и направился в пятый нумер.

Лицо горшковского мужа выражало необычайное благородство, смешанное с тем простодушием и приветливостью, которые составляют отличное свойство людей, сознающих свое превосходство над остальными смертными; сверх того, Балахнов был весел, развязен, и ничто во всей его наружности не обличало тревожно-нетерпеливого состояния... Страшное, непостижимое уменье владеть собою!

- Дома ли наш добрый сосед, Иван Дормидонович?.. - сказал он звучным, привлекательным, заигрывающим голосом, останавливаясь в комнате, предшествовавшей гостиной.

Престарелый Корней объявил, что барин изволит дожидаться в гостиной.

Шоры Аристарха Федоровича обратились мгновенно в ту сторону и встретились с самодовольным лицом Бобохова, который раскланивался в дверях.

- Привет мой и поклон любезному соседу! - произнес Балахнов, протягивая радушно свою правую руку.

- Чрезвычайно приятно... мм... мм... - заговорил Бобохов, приглашая гостя в салон - так, по крайней мере, он сам выразился.

- Нехорошо, о-о-очень даже нехорошо, Иван Дормидонович: разве позволено так забывать своих добрых соседей? - начал Аристарх Федорович шутливо-любезным тоном. - Видите, как только выбралась свободная минуточка, я пришел навестить вас; а вы?..

- Чрезвычайно приятно... и завтра же я буду иметь честь отдать вам визит...

- Когда вам угодно! я всегда рад видеть вас у себя, - возразил Балахнов, садясь на диван и вторично протягивая руку соседу, - только прошу вас наперед дать знать, потому что легко может случиться, что меня не будет дома... и в таком случае мне будет неприятно... Дома бываю я редко... дела!..

- Да, знаю; мне говорил о том, что вы очень заняты, этот... как бишь его?., да, Дрянков... Не прикажете ли сигару?

- Merci! А разве вы знакомы с нашим знаменитым уездным поэтом? - сказал, смеясь, Аристарх Федорович.

- Да, то есть он хотел непременно познакомиться со мною, чтоб прочесть мне перед напечатанием свою повесть... и...

- И... договаривайте: страшно надоел, не так ли? Ха-ха-ха! Скучать - общая доля всех тех, кого удостаивает он чтением своего велеречивого произведения. Что до меня касается, я терплю его, разумеется, потому лишь, что человек бедный: ни кола, ни двора, как говорится.

- Та же причина, филантропия, philantrope, заставляет и меня обнаруживать к нему участие, - сказал Бобохов снисходительно-покровительственным тоном, причем рысьи глазки его скрылись за обычной своей оградой, - я, однако ж, напрямик объявил ему, что отказываюсь издавать его повесть... Я прочел ее - все это, знаете, так вяло, бесцветно, ужаснейшие длинноты; художественности никакой; требования беллетристики... да, совсем не то; слабо, ужасно слабо! Я хотел ему поправить кое-что; я сам писал и знаю требования от беллетристического произведения - он и слышать не хочет: самолюбив: смешно! Со вчерашнего дня глаз не кажет, а то являлся аккуратно каждое утро! - заключил меценат, самодовольно закидывая шарообразную свою голову.

- Ха-ха-ха!.. Представьте, а ведь мне говорил он, что каждое утро проводит с здешними журналистами и литераторами! Вечера, говорит, заняты сплошь и рядом чтением его повести на литературных собраниях, ха-ха-ха!..

- Какие литературные собрания! Помилуйте, я посещаю постоянно все литературные салоны и никогда его не встречал... Притом, говорю вам, повесть его - совершенная гиль... ха-ха-ха! а впрочем, знаете, жаль его, - прибавил Бобохов, придавая своему голосу жалостную, медовую интонацию, - надо помочь ему; я решился, знаете ли, подарить ему свое пальто...

- Нет; к чему ж? это будет лишнее, - возразил Балахнов, величаво выпрямляя грудь, - в моем доме он снабжен всем необходимым и ни в чем не терпит особенной нужды...

- Да, но, знаете, не мешает поощрить человека... меня это не разорит, а ему между тем доставит удовольствие... я - philantrope!..

Аристарх Федорович прищурил глаза, пустил несколько пуфов, принял на две секунды рассеянный вид и вдруг, как бы попав случайно на мысль, очень близкую к собеседнику, снова обратил на него спокойное лицо свое.

- Скажите, пожалуйста, любезнейший Иван Дормидоныч, - проговорил он протяжно, - правда ли, я слышал, будто вы имеете намерение продать ту землю, которая доставляет особняк от Голодаевки?..

При этом глаза его устремились рассеянно на собеседника, и на лице проступила беспечная улыбка. Небывалое уменье владеть собою! Леонид при Фермопилах, выспрашивая пленного солдата о силе Ксерксова войска, не обнаружил большого хладнокровия.

- Да, я ее продаю, - небрежно отвечал Бобохов,- страх надоела, и чем скорее сбуду с рук, тем лучше! Я ищу даже покупщика на Голодаевку. Место не живописно; мне хочется купить тысячи две душ где-нибудь в южных губерниях, этак, в Крыму, например, или поблизости. Земля, о которой вы говорите, у меня как бельмо на глазу; дрянь именье - не стоит того, чтоб им заниматься...

- Конечно, оно не представляет больших выгод для владетеля, но при случае, если, например, приходится пополнять свои владения, и владения эти находятся подле, отчего же? эта земля может послужить с пользою... А сколько вы за нее хотите?..

- Двенадцать тысяч, с тем уговором, однако ж, чтоб не тянуть дела, и деньги сегодня или завтра.

Тут Аристарх Федорович почувствовал, что сердце его забило сильную тревогу под бархатным черным жилетом, и поспешил затянуться сигарным дымом.

- Хотите, я вам найду покупщика? - сказал он, добродушно улыбаясь.

- Ах, чрезвычайно приятно! Кто ж это?

- Ваш покорнейший слуга, - возразил Балахнов, слегка наклоняясь, для того, вероятно, чтоб скрыть краску, выступившую на дипломатическом лбу, - я, нужно вам сказать, купил на днях еще соседнюю землю, Сусловку, и ваша землица пришла очень кстати...

- Чрезвычайно приятно! - произнес Бобохов, обрадованный счастливому случаю получить двенадцать тысяч, которые были ему крайне необходимы. - Но позвольте вас попросить подождать секунду: брат мой, Arcadie, Arcadie Тохтамышев, умолял меня не давать никому слова до двух часов; он не замедлит явиться...

Едва произнес Бобохов эти слова, как в дверях показался Корней и объявил, что господин Тохтамышев и еще какой-то господин изволили приехать.

- Проси! - сказал беспечно Бобохов, щеки которого чуть не лопались между тем от восторженного напряжения.

Появление Тохтамышева было в высшей степени неприятно Аристарху Федоровичу, считавшему дело с Бобоховым почти конченым. «Скверно! А впрочем, что бы ни было, буду отстаивать до последней возможности; дам тринадцать, все четырнадцать тысяч, наконец! Во-первых, имение стоит верных двадцать; во-вторых, не следует, да просто невозможно, пропустить такой счастливый случай!» - думал Аристарх Федорович, показывая в то же время входившему джентльмену лицо свое, преисполненное в эту минуту высшого благородства.

Тохтамышев был не один.

Позади его выступал коротенький, пузатый господин, обтиравший клетчатым платком жирный лоб и обвислые щеки, покрытые потом; господину этому было лет пятьдесят с лишком; волосы его, белые как снег и обстриженные под гребенку, принимали издали вид белой ермолки; в левом ухе у него сверкала сережка; на груди, непосредственно соединенной с животом, рисовалась бисерная голубая цепочка, которая пропадала в жилетном кармане, оттопыренном старинною серебряною луковицей; синий

замасленный сюртук плотно обтягивал сутуловатую его спину и свободно болтался на толстых икрах, обтянутых черными панталонами, далеко не покрывавшими пяток толстых сапогов. Сам по себе господин этот не представлял ничего особенно резкого: много попадается таких физиономий; но рядом с великолепным, блистательным и вечно юным Тохтамышевым он производил странный эффект.

- Ах, чрезвычайно приятно! - заговорил Бобохов, стараясь проявить как можно больше хладнокровия.

- Здравствуйте, - перебил Тохтамышев, протягивая свояку кончики драгоценных своих пальцев, - я приехал насчет вашего дела; вот рекомендую: Афанасий Никитич Степанчиков. Я уже говорил ему насчет вашего дела - он согласен; можете, если хотите, сейчас же ехать и совершить купчую; он рассмотрел бумаги ваши, касающиеся продаваемого имения, и нашел их в отличной исправности...

- Так точно, Аркадий Алексеевич изволили передать мне ревизскую сказку; за вами все дело, - сказал Степанчиков, устремляя глаза сначала на Бобохова, потом на Аристарха Федоровича, начинавшего уже чувствовать лихорадочные симптомы.

- Чрезвычайно приятно, садитесь, пожалуйста. Ах, Аркадий Алексеевич! позвольте познакомить вас: сосед мой, Аристарх Федорович Балахнов... Аркадий Алексеевич Тохтамышев! - произнес суетливо Бобохов...

Балахнов привстал и поклонился; Тохтамышев протянул ему свою бесценную правую руку. Афанасий Никитич Степанчиков сел, между тем, на кончик кресла.

- Я, право, не знаю... мне чрезвычайно совестно... - сказал выскочка, заходя то с одной стороны свояка, то с другой, - ведь Аристарх Федорович тоже изъявляет желание купить эту землю...

- Да; она как раз примкнула к маленькому имению, которое я купил на днях, и, приобретая одно, я кстати готов приобрести и другое, - вымолвил Аристарх Федорович с беспечно-веселой улыбкой.

- Monsieur Балахнов, я этих дел не знаю; покупать именья, продавать их - все это для меня, постоянного городского жителя, тараборская грамота! - сказал с любезностью Тохтамышев. - Бобохов просил меня найти покупщика, и я исполнил это; остается вам поладить с этими господами, - заключил он, поворачиваясь к свечке, чтоб закурить сигару, и бросая в тоже время многозначительные взгляды Степанчикову.

Степанчиков не тронулся с места и только приподнял свои заплывшие глаза на Балахнова.

- Сколько же изволите вы полагать, то есть, во сколько оценяете их имение? - спросил он без дальних обиняков.

- Что же это такое, господа? Это похоже на аукцион, и я... я, право, не знаю... - пролепетал Бобохов, вопросительно взглядывая на свояка.

- А что ж такое! - воскликнул свояк. -Предоставьте все это monsieur Балахнову и Афанасию Никитичу: оба они, верно, лучше нас с вами знают дело, - заключил он, бросая новый взгляд на Степанчикова, который на этот раз привстал с места и приблизился к Аристарху Федоровичу.

Тохтамышев отвел в сторону Бобохова и шепнул ему мимоходом: «Вам какое дело? было бы продано именье. Скажите, что кто больше даст, за тем и останется».

- Я даю двенадцать тысяч, - говорил между тем Аристарх Федорович, покуривая сигару.

- Ничего не изволите прибавить?

- Нет, так, безделицу разве; я покупаю эту землю из прихоти лишь: владения мои подле, и я хотел только воспользоваться соседнею землею... - произнес Балахнов, думая запутать противника силою своих средств.

Степапчиков подумал, помялся и промолвил:

- Пятьсот рублей можно надбавить-с...

- Отчего же? очень можно, - с живостью перебил Балахнов, - и я, с своей стороны, не прочь сделать то же самое... идет. Следовательно, теперь в тринадцати тысячах... - примолвил он, смело встречая взгляд Степанчикова.

- Извольте-с, держу! - возразил с убийственною флегмою Афанасий Никитич, почесывая ухо жирным пальцем, красным как морковь.

Ни один из тех соседей, которых любил озадачить Аристарх Федорович, конечно, никогда не был так озадачен, как теперь сам Балахнов. Он вовсе не ожидал такой настойчивости со стороны своего антогониста. Раздумывать долго нельзя было, и Аристарх Федорович решился надбавить еще пятьсот рублей, желая показать, что для него подобная сумма - шутка, и больше ничего; но со всем тем, понимая в совершенстве, что если отдаст тринадцать с половиною тысяч Бобохову, у него самого останется очень, очень немного.

- Извольте, держу! - сказал после молчка Степапчиков.

Аристарх Федорович величественно выпрямил грудь, медленно приподнялся с своего места и обратился к Бобохову:

- Иван Дормидоныч, - сказал он, употребляя неимоверные усилия, чтоб скрыть свое волнение: - посмотри-ка, каково идут здесь ваши дела: именье, ха-ха-ха! идет уже в тринадцати с половиною тысячах... ха-ха-ха!..

- Чрезвычайно приятно... делайте как хотите, господа, я совершенно разделяю мнение Аркадия Алексеевича: кто даст больше, за тем именье и останется, - развязно сказал Бобохов.

- Конечно, конечно, ха, ха, ха!., - проговорил Балахнов, проникаясь, неизвестно почему, глубочайшим презрением и ненавистью к выскочке. - Ну-с; итак, на чем же мы остановимся? - заключил он, обращаясь неожиданно к антагонисту.

- Пятьсот рубликов, - повторил Степанчиков.

Могло статься, и весьма даже легко могло статься, что в эту минуту узкие губы Аристарха Федоровича несколько вздрогнули и щеки его побледнели, но все-таки, в общих чертах, физиономия дипломата сохранила свое величавое спокойное достоинство. Четырнадцать тысяч - вот все, что было у него в кармане! хоть бы грош лишний! Конечно, принимая в соображение важность приобретения, можно было перезаложить заложенные двести душ Лизаветы Семеновны, но бумаги, необходимые для этого, находятся в Ханских Прудах, в кабинетном столе, и в то время как Сидор полетит за ними, этот мальчишка, выскочка, которому деньги нужны сию минуту, успеет двадцать раз продать именье. Призвав па помощь всю силу могущественной воли своей, Аристарх Федорович прервал молчание следующими словами:

- Извольте, пожалуй, давайте играть вперегонку, если только вам это нравится; я не прочь. Вы предлагаете четырнадцать тысяч, держу и я ту же сумму...

Степанчиков взглянул на Тохтамышева, Тохтамышев на Балахнова, Бобохов на Тохтамышева.

Последовала пауза.

С этой минуты сердце Аристарха Федоровича не переставало биться, и в груди его закипела самая непримиримая ненависть к выскочке.

- Четырнадцать тысяч последнее ваше слово? Сотенку надбавлю; ничего не изволите прибавить с своей стороны? - прохрипел наконец неумолимый Степанчиков.

Боже мой, двести рублей! Всего каких-нибудь двести рублей! Дайте взаймы! Берите какие угодно проценты! Неужели допустите вы какого-нибудь Степанчикова восторжествовать над Аристархом Федоровичем?

Никто не подает голоса; молчание... И великий горшковский муж, скрепив переполненное желчью сердце, принужден сделать позорное отступление.

- Н-н-нет, ни гроша больше не дам... - говорит он, стискивая узенькие губы блистательными вагенгеймовскими зубами и отворачиваясь к окну.

Бобоховская земля таким образом перешла во владение Степанчикова, и условлено было завтра же утром совершить купчую. Во время этих убийственных переговоров Тохтамышев беседовал с Аристархом Федоровичем и, должно отдать справедливость последнему, он вел себя достойнейшим образом - не обнаружил ни разу непристойной раздражительности или неуместной вспыльчивости.

Из этого не следует, однако ж, чтоб Аристарх Федорович должен был точно так же подавлять настоящие свои чувства и маскироваться перед Дрянковым и Васильковым - отнюдь не следует! Что такое Дрянков и что такое Васильков?., так себе... Однако ж, надлежало показать тем, которые видели два часа тому назад, с каким веселым расположением духа отправлялся Аристарх Федорович к Бобохову, надлежало показать, что причина настоящего дурного расположения не имеет ровно ничего общего с визитом к выскочке. Сила воли снова призвана была на помощь, и Аристарх Федорович - готовый в эту минуту (если б только находился он на каком-нибудь необитаемом острове) предать опустошению целую страну, вырвать с корнем деревья, источить свои патентованные зубы на камнях и стеклах - ограничился несколькими ядовитыми сарказмами, обращенными на автора «Непризнанной Индейки» и вот именно по какому случаю: вернувшись в свой нумер, Аристарх Федорович услышал еще за две комнаты громкую декламацию Аполлона Егоровича; он нахмурил брови и подошел к двери. Дрянков, с огромным своим свертком под мышкой и фуражкой в левой руке, неистово размахивал руками перед Порфирием Павловичем, который сидел у окна и следил с невыразимым участием за каждым движением своего второго друга.

- «Грубое, закоснелое невежество окружает тебя! Да, холодом, отовсюду веет страшным холодом!» - говорил Дрянков, мрачно расправляя вихры на угловатой голове своей и взглядывая на Василькова, который невольно вздрогнул при виде выражения, какое приняло в эту минуту лицо друга. – «Где найдешь ты человека, готового протянуть руку гению или таланту, осужденному погибнуть за недостатком ничтожных средств?» - продолжал между тем Дрянков с возраставшей энергией. – «Где те меценаты, те поощрители изящных искусств, которые открывали свои кошельки и летели навстречу к художнику с распростертыми объятиями? Нет их! их нет! Поглощенные веками...». На этом месте Дрянков был прерван Аристархом Федоровичем, который, войдя в комнату, объявил ему наотрез, что меценаты, во всяком случае, не осуществятся в Бобохове, что человек, обласканный в Ханских Прудах, не должен сметь канючить и просить милостыни у других прочих, десятых, что в Ханских Прудах, сколько известно, снабжают всех призренных бедняков всем необходимым, и что если третьи-десятые бедняки не в состоянии чувствовать благодеяний, рассыпаемых на них щедрою рукою в Ханских Прудах, так никто не воспретит им убираться подобру поздорову, и проч., и проч.

Аполлон Егорович был столько же желчен и раздражителен, сколько и Аристарх Федорович, но должно же, наконец, и ему отдать справедливость: он обладал вместе с тем благоразумием и уменьем владеть собою в той же степени, может статься, как и сам владетель Ханских Прудов. Все это очевидно доказывалось тем, что он не возразил ни слова на обидные замечания Балахнова. Другой, на его месте, дал бы тотчас же волю своему языку; но раздражительный Аполлон Егорович поступил иначе: он мигом сообразил, что одного слова с его стороны уже достаточно, чтоб он и вместе с ним «Непризнанная Индейка» лишились единственного крова и пристанища, и, скрепив сердце, ограничился тем только, что мрачно насупил брови и, судорожно сжав драгоценный сверток, отошел в сторону.

- Что ж ты, братец, остановился? - сказал Аристарх Федорович, поворачиваясь к нему неожиданно, - ведь тебя ждет, кажется, Бобохов... Ты выпросил у него пальто, и он говорил мне, что готов им пожертвовать великодушно в твою пользу...

- Я никакого пальто не выпрашивал у Бобохова, - отвечал с чувством достоинства Аполлон Егорыч.

На этот раз ему незачем уже было призывать на помощь благоразумие: со вчерашнего же утра, после того, как выскочка объявил ему о негодности «Непризнанной Индейки» и отказался напрямик быть его издателем, Дрянков решился прекратить с ним всякие сношения. На этом основании он разразился самыми энергическими эпитетами против Бобохова и, сказав, что такая неслыханная, вопиющая дерзость требует немедленного наказания, быстро вышел из комнаты. Очутившись в коридоре, он столкнулся лицом к лицу с Бобоховым. Как знать, неожиданность встречи, быть может, спасла выскочку от верной гибели. Озадаченный Дрянков уронил драгоценный сверток на пол, и в то время, как нагибался, чтоб поднять его, Бобохов, предчувствуя, вероятно, в чем дело, стоял уже на третьей ступени парадной лестницы.

- Милостивый государь, вы хвастун! - произнес не совсем твердым голосом Дрянков, пускаясь вдогонку за выскочкой и останавливаясь на верхней ступени.

- Вы жалкий человек! - отозвался Бобохов, стремглав летевший вниз.

- Что я не жалок, об этом узнают, может быть, все через две недели; вот, что вы хвастун... - воскликнул Аполлон Егорович, но тут же остановился, увидев в отдалении хозяина гостиницы.

Затем он принялся спускаться с лестницы, между тем как Бобохов летел уже на улицу, благословляя судьбу, что всей этой сцене не был по крайней мере свидетелем швейцар, занимавшийся, должно быть, в это время откармливанием своих дроздов.

XXIII.
Луч надежды озаряет впервые «Непризнанную Индейку».

Уличный воздух освежил разгоряченный мозг творца бессмертных страниц «Непризнанной Индейки». Обсудив хорошенько критическое свое положение, где с одной стороны угрожал Аристарх Федорович, с другой лопнули последние надежды, а с остальных двух все озарилось каким-то зловещим светом, он решился обратиться еще раз к книгопродавцам-издателям. На этом основании Аполлон Егорович направил стопы свои на Ильинку, в одну книжную лавку, хозяин которой посвящен был в сокровеннейшие тайны литературной деятельности и, сверх того, не только выслушивал охотно болтовню посетителей, но сам, казалось, еще охотнее заводил речь со встречным и поперечным.

Лавка его была не из последних в Ильинке и считалась даже чуть ли не первою теми почетными особами, которые готовы утверждать до последнего издыхания, что старый заржавленный ковшик имеет всегда неисчислимые преимущества пред новомодной посудой. Древность лавки, действительно, не подлежала сомнению: полки, туго набитые с потолка до полу лохмотьями книг, обернутых корешками без малейшего следа позолоты; прилавки и конторка, истертые снаружи посетителями, изнутри хозяевами, завалены были искомканными серыми брошюрками; перекосившийся сучковатый пол, отягченный грудами фолиантов с красными обрезами, с кожаными исковерканными переплетами - все это ясно свидетельствовало, что основание лавки относилось к отдаленнейшим эпохам книгопечатания; густой слой пыли, покрывавший без различия брошюры и фолианты, пол и прилавки, паутина, украшавшая потолок, косяки и карнизы - подтверждали как нельзя красноречивее такое мнение, и, конечно, ни один антикварий не мог пройти по Ильинке без того, чтоб не кивнуть одобрительно книжной лавке и потянуть в себя с видимым наслаждением затхлый запах, издаваемый заключавшимися в ней сокровищами. Но чаще всего запах этот приводилось вдыхать школьникам и ученикам всякого рода, которые запасались здесь латинскими грамматиками, прописями, словарями, и утвердительно можно сказать, что чувства, ощущаемые ими при входе в лавку, далеко не показывали любви к классической старине. Особенно резко проглядывало такое непохвальное равнодушие на лицах всех детей без исключения, которых заботливые родители приводили в эту лавку, имея в виду снабдить чад своих всем нужным для первоначального обучения: многие из них проникались невольным ужасом и трепетом, и

долго после того, как латинские грамматики, купленные папеньками и маменьками, выучены были до половины, им все еще мерещилась книжная лавка; толстые неуклюжие фолианты преследовали их даже в постели, налегали всею своею тяжестью, как кошмар, на грудь и голову, или страшно разверзали свои зазубренные листы, как бы изловчаясь поглотить свою жертву – и посреди всего этого резко звучал голос хозяина лавки, который высчитывал папеньке и маменьке нескончаемый каталог самых замысловатых книг...

Впрочем, голос этого хозяина, да и вообще вся его фигура оставались в памяти каждого, кто только заглядывал в его магазип. Представьте себе человека, засушенного так, что остались кожа да кости; придайте членам этой мумии судорожное, суетливое и ничем не прерываемое движение; придайте ей голос, дребезжащий как трещотка, и дребезжащий без умолку – и вы получите вернейший портрет одпого из самых эксцентричных книгопродавцев, какие когда-либо существовали на белом свете. Но доказано уже неоспоримыми фактами, что наружность бывает часто обманчива. Наружность не мешала Ивану Петровичу быть ученее многих очень ученых особ, посещавших его лавку; голова его, покрытая редкими курчавыми взъерошенными волосами, свободно вмещала в себе все то, что заключалось на полках его магазина; как библиофил он, бесспорно, мог заткнуть за пояс любого господина, проглотившего сотни тысяч каталогов. Дайте заглавие какой угодно книги - Иван Петрович без запинки назовет вам год ее издания, типографию, число томов, число страниц, качество бумаги, исчислит опечатки, вкратце изложит ее содержание и выскажет даже в конце свое личное мнение, столько же многословное, правда, сколько у критиков, писавших об этой книге, но уже, во всяком случае, более добросовестное. Псевдоним для него не существует: он решительно смеется над псевдонимом, ибо читает сквозь какие угодно иероглифы настоящее имя автора и, в случае надобности, может даже снабдить вас самыми любопытными биографическими сведениями о каком бы то ни было писателе. Двадцать тысяч томов, помещающихся на полках его магазина, так же хорошо знакомы ему, как клавиши рояля, пожалуй, хоть самому Листу; костлявые пальцы его бегают по полкам с быстротою непостижимою и даже без содействия глаз попадают прямо на тот корешок, который требуется... Странствование юного Анахарсиса по Греции... – но едва покупатель успел произнести эти слова, Иван Петрович стоит уже на верхней ступени ручной лестницы, приставленной одним движением его руки на то самое место, где сквозь пыль мелькают восемь заплесневелых корешков; секунду спустя он стоит снова перед покупателем и похлопывает своими восемью томиками – ни дать ни взять как башмаками, продаваемыми в Гостином дворе, распространяясь с большим успехом о достоинствах, какие заключают в себе странствования юного грека. Иван Петрович толкует в то же время с другим покупателем об „Уединенном Садовнике", изданном в 1749 году; ведет поучительную беседу с третьим, и все это нисколько не мешает ему продолжать горячий спор с четвертым и доказывать ему неоспоримыми фактами, что такая-то латинская грамматика превосходит все.

Беспрерывная суетливость, толки, посетители, требования, справки, раздирающие Ивана Петровича на части с раннего утра до позднего вечера и уподобляющие его чахлому ходячему каталогу, раздуваемому во все стороны неистовым ветром, нимало не обременяют его: он находит время сводить исправнейшим образом свои счеты, вдаваться в разные умозрительпые и метафизические размышления и, вместе с тем, не прекращает болтовню с тремя молодыми толстенькими приказчиками в кофейных пальто, которые (то есть приказчики) служат ему помощниками в многотрудных и многосложных занятиях. Румяные лица трех приказчиков дышат необыкновенною веселостью - мудреного тут ничего нет: каждый из них лелеял в душе привлекательную мечту о том, как со временем будет издаваться под их руководством бесчисленный ряд книжонок вроде «Турус на колесах» - книжонки дешевые, но тем не менее приносящие исполинский барыш своим издателям на ярмарке. Зная в совершенстве эгоистическую натуру своих приказчиков,

занятых несравненно более ярмарочными спекуляциями, чем делами своего хозяина, Иван Петрович находит нужным увещевать их без умолку разными лаконическими сентенциями юмористического свойства. Понукаемые такими замечаниями и особенно явною необходимостью настроить заблаговременно свои способности к будущим торговым операциям, три румяные приказчика работают без устали, и книжная лавка, отражающая таким образом страшную суету во всех своих отделениях, наполненная немолчным говором посетителей, шелестом перелистываемых брошюр, треском книг, которые приказчики низвергают с верхних полок на пол и прилавки - представляет в продолжение дня разительно верную картину кораблекрушения: скрип сапогов и дверей, шум разрываемых листов оберточной бумаги, напоминающий свист ветра, три приказчика, бегающие, как матросы, сверху вниз по ручным лестницам и приводящие на память оборванный такелаж, снасти и канаты – и посреди всего этого трещотчатый говор и фигура Ивана Петровича, который стоит на возвышении за конторкой, размахивает во все стороны руками и, как храбрый капитан, поспевает везде и всюду – все это сильнейшим образом содействует такому сходству.

Когда Аполлон Егорович переступил заветный порог (и кто знает, какая страшная драма разыгрывалась в эту минуту в душе его!), в книжной лавке было, по обыкновению, много народу. Видя невозможность пробраться к Ивану Петровичу и трем приказчикам, окруженным живою стеною покупателей, Дрянков освободил из платка свою рукопись и, обхватив ее так, чтоб каждый мог прочесть ее заглавие, написанное крупными каллиграфическими буквами, принялся расхаживать по магазину с видом чрезвычайно озабоченного человека. Такое углубление в самого себя, разумеется, не мешало ему бросать косвенные взгляды направо и налево и внимательно наблюдать все, что происходило вокруг. Предметом его наблюдательности была особенно группа из нескольких молодых людей, жиденьких и тщедушных, которые жались подобострастно к бесконечно долговязому господину, превышавшему своих товарищей не только целой головой, но даже и шеей впридачу; длинный, сухой и заостренный нос его печально опускался книзу; лицо его отличалось такою худобою, что, казалось, ничего бы не стоило пересчитать на верхней губе его число зубов и даже определить их форму, если бы не препятствовала этому дюжина белокурых волосков, изображавших усы. Реденькие белокурые волосы свешивались прямыми линиями по обеим сторонам бледных щек его и достигали до костлявых плеч, прикрытых рыжим пальто, из-под которого торчали вострые кончики черного фрака. Наружность этого господина заинтересовала в высшей степени Аполлона Егоровича, и он подошел ближе. Из слов господина, говорившего заунывным могильным голосом, оказалось, что он действительно только что похоронил лучшие мечты свои. Сделав шаг вперед, Дрянков увидел, что рука господина лежала на груде тощих жиденьких книжечек в ярко-зеленой обертке; посередине каждой обертки красовалась оттиснутая золотом надпись: «Пелопонезо-Таврические Мелодии». Рука господина ласкала с какою-то особенною любовью то место, на котором, по всем вероятиям, должно было находиться имя автора, и Аполлон Егорович, при всем своем старании, мог разобрать только букву Л, да и то с большим трудом, потому что локти и головы жиденьких молодых людей заслоняли поминутно от его взоров даже зеленые обертки: нимало не сомневаясь, однако ж, что «Пелопонезо-Таврические Мелодии» принадлежали господину, сгорая желанием узнать имя собрата, Дрянков решился протискаться к прилавку и обратиться к одному из приказчиков. Он крепко сжал обеими руками «Непризнанную Индейку» и принялся тотчас же приводить в исполнение свое намерение. Следовало прежде всего пробраться между крошечным старичком, державшим огромный фолиант, и непомерно-толстым господином, вертевшим в руках миниатюрную детскую книжку. Дрянков выбрался наконец к прилавку и очутился против молодого приказчика с полными дрожащими щеками.

- Скажите, пожалуйста, кто этот господин? - произнес Аполлон Егорович, притрагиваясь пальцем к руке приказчика и подмигивая ему на печальную голову собрата,

которая, невзирая на свое склонившееся положение, все-таки возвышалась на целый аршин над остальными головами.

- Сочинитель, Леокадий Леокадьич Куликов, - отвечал приказчик, захватывая белыми, как кипень, зубами бечевку и притискивая руками кипу книг, купленных пожилою дамою с веселым лицом.

Дальнейшие расспросы Аполлона Егоровича увенчались самым неожиданным успехом. Приказчик только что прочел «Пелопонезо-Таврические Мелодии» и потому передал Дрянкову весьма много любопытного о душевных свойствах и сердечных наклонностях Куликова, которые составляли главную сущность «Мелодий», прозванных „таврическими" столько же для красоты слога, сколько и потому, что автор предпочитал крымскую природу Сокольникам. Веселый Яша (так звали румяного приказчика), отпустив книги пожилой даме, снова обратился к Дрянкову; из слов его оказалось, что «Мелодии» дают возможность узнать, в какие именно часы дня и ночи тоскует или веселится душа Куликова, когда жаждет она излиться в душу девы Юга и когда именно в душу девы Севера - и, нет сомнения, веселый Яша сообщил бы еще много любопытного, если б не прервал его голос хозяина:

- Ну, Яшенька, пошевеливайся! Соблаговолите достать «Дитю Географ», верхняя полка, нумер тысяча-восемь-сот-сорок-третий; с краю, серый корешок, - говорил неутомимый Иван Петрович, подбегая к приказчику, подавая руками и головою знаки нескольким покупателям и напоминая своею суетливостью того французского тамбурмажора, который бьет в одно и то же время непрерывную дробь на двадцати барабанах. - Сию секунду, сударыня: ваша очередь, приказывайте, повелевайте! - подхватил Иван Петрович, поворачиваясь неожиданно к даме с чувствительным лицом. - Вы, кажется, помнится мне, изволили спрашивать легкое детское чтение?., так-с, если не ошибаюсь?..

- Да, мне бы хотелось какие-нибудь занимательные историйки, которые действовали бы на ум и особенно на сердце ребенка... Мои детки все почти перечитали... Они до страсти любят чтение и даже расстроили себе нервы... Ах, Боже мой, да где же они? Петенька, Сашенька, Петенька! - с испугом промолвила чувствительная дама, обращаясь к двери магазина, подле которой стояли два мальчика, глазевшие с пожирающим любопытством на лоток с пряниками.

Оба мальчика, оторванные от созерцательного состояния голосом матери, подошли к конторке и вперили глаза на кипу занимательных детских историй, расставленных заботливым книгопродавцем.

- Милые детки! Очаровательные детки! Любят учиться! Науки юношей питают... прекрасно, сударыня! - задребезжал Иван Петрович, размахивая руками. - Легкое чтение, вот, сударыня, чего же лучше? Возьмите «Библиотеку Детских Анекдотов», - продолжал он, похлопывая двумя синими книжонками.

И, не дождавшись возражений, Иван Петрович раскрыл первую попавшуюся страницу и прочел скороговоркой: «Осьмилетний Николашенька, услышав, что его маменька проиграла тяжебное дело, бросился обнимать ее и сказал: ах! как я счастлив, что вы проиграли сие скучное дело! как давно и как много вы тревожились оным!».

- Ах, как это мило и трогательно! Очень вам благодарна! - воскликнула чувствительная дама, взяв из рук книгопродавца «Библиотеку Детских Анекдотов» - Петенька, Саша! Слышали? - продолжала она, обращаясь к двум мальчикам, - слышали историю Николашеньки? Не правда ли, сколько чувства? Я вам непременно куплю эту книгу...

Петенька и Саша ничего не отвечали; оба продолжали коситься по направлению к лотку с пряниками и леденцами и думали, вероятно, что приобретение последних принесло бы им несравненно больше пользы. Тем не менее, однако ж, чувствительная дама купила «Анекдоты», и Иван Петрович полетел стремглав на другой кониец магазина, где высилась голова Леокадия Куликова.

Аполлон Егорович Дрянков последовал за ним и стал за группою тщедушных молодых людей, окружавших поэта, чтоб удобнее попасть в луч зрения книгопродавца.

- А, бонжур мусье! как живете-можете? Добро пожаловать, господа; измучился: туда Иван Петров, сюда Иван Петров... здравствуйте! - говорил книгопродавец, перекидывая обе руки через прилавок.

- Здравствуйте, здравствуйте, почтеннейший Иван Петрович! - запищали молодые люди, пожимая торопливо протянутые им руки.

- Здравствуйте, Иван Петрович! - медленным басом проговорил Куликов. - Ну, как, скажите-ка, идут дела! - примолвил он, значительно постукивая ладонью по обертке «Пелопонезо-Таврических Мелодий».

Иван Петрович заморгал глазами и кивнул головою. Куликов перегнул длинную свою шею через прилавок, и Дрянков явственно расслышал, как книгопродавец шепнул ему на ухо: «Ни одного экземплярчика!».

Леокадий Леокадьевич побледнел и нахмурил брови.

- Скажите, пожалуйста, Иван Петрович, как идет «Шпора Лермонтова»? - спросил молодой человек с черными встрепанными волосами и блуждавшим, беспокойным взглядом.

Дрянков приподнялся па цыпочки и увидел, что молодой человек указывал на кипу листов, посреди которых красовалась тускло отлитографированная шпора.

- «Шпора Лермонтова»! - протрещал Иван Петрович, быстро поворачиваясь к одному из приказчиков.

- Ни одного экземпляра! - крикнул веселый Яша с верхней ступени ручной лестницы.

- А мои «Заоблачные трели»? - пролепетал другой, белокурый молодой человек, отличавшийся такого вертлявостью, которая заставляла предполагать, что в спине его, вместо обыкновенных позвонков, находился тонкий стальной прут.

- «Заоблачные трели»! - крикнул Иван Петрович.

- Ни одного экземпляра! - отвечал веселый Яша, спускаясь с лестницы.

Дрянков никак не подозревал, что все молодые люди, находившиеся в магазине, были сочинители, и потому нет ничего удивительного, если он удвоил усилие, чтоб обратить на себя внимание.

- У нас в виду новый проектец, почтенный Иван Петрович, - снова заговорил вертлявый автор «Заоблачных Трелей». - Вот, видите ли, в чем дело: покойный Хемницер написал покойной моей бабушке басню, и басня эта хранится в рукописи в нашем семействе; мы приложим к ней ненапечатанную песенку Мерзлякова, которая находится в альбоме тётушки одного моего знакомого; Куликов обещал дать нам свое прекрасное послание «К замку на Воробьевых горах»; мы, с своей стороны, также дадим по стихотворению - и все это вместе составит очень занимательный литературный сборник - как вы об этом думаете?.. Скажите откровенно ваше мнение.

- Печатайте, работайте, трудитесь, господа! Музы-кокеточки, любят, чтоб за ними ухаживали! Но я скажу вам: литературный сборник нейдет, нейдет, как хотите; три кладовые одних литературных сборников!

Группа молодых поэтов испустила глубокий, протяжный вздох.

- Скажите, пожалуйста, Иван Петрович, - сказал безотрадным голосом Куликов, вздохнув в свою очередь - идет ли, по крайней мере, наш общий труд: «Собрание стихотворений», в которое каждый из нас принес лепту свою - словом, продается ли «Парнасская Звезда»?

- «Парнасская Звезда»!., - сказал Иван Петрович, живо поворачиваясь к приказчику.

- Ни одного экземпляра! - крикнул веселый Яша, показывая из-за конторки румяное лицо свое.

Сотрудники „Парнасской Звезды” окинули друг друга изумленными взглядами.

Куликов мрачно нахмурил брови.

- Странно!., - проговорил он с презрительным равнодушием, - я, право, не понимаю, чего нужно этой публике.

- А! добро пожаловать! бонжур мусье! - перебил неожиданно Иван Петрович, заметив, наконец, Дрянкова и протягивая ему руку, - как живете-можете? как дела? Печатаете?..

При этом воззвании молодые поэты и даже сам Леокадий Куликов устремили любопытные взоры на Аполлона Егоровича.

- Дела мои идут очень хорошо, хотя я не приступил еще к печати, - отвечал Дрянков, лицо которого покрылось краскою самодовольствия.

Он сделал шаг вперед, положил свою рукопись на прилавок, провел рукою по вихрам и продолжал:

- Я на днях еще получил из Петербурга два письма, в которых еще раз просят меня отдать повесть... но я уже говорил вам, Иван Петрович, что не разделяю их мнение и потому не дам ни за что повести... я сам хочу издать ее...

- Позвольте вам заметить, милостивый государь, вы прекрасно делаете. Печатайте свое произведение на свой счет, и печатайте его именно в Москве, - с живостью сказал Куликов, подходя к Аполлону Егоровичу.

- Именно, именно, о-о-очень хорошо сделаете, если не дадите им не только повести, но даже строчки! - подхватили в один голос все сотрудники «Парнасской Звезды».

Не мешает заметить, что сотрудники «Звезды» преисполнены были сильнейшей ненависти к петербургским журналам, и особенно к одному, который печатал на обертке, что «стихотворения, признанные неудобными к напечатанию, возвращаемы не будут». Негодование сотрудников «Звезды» имело весьма основательную причину: все они поочередно посылали свои произведения в вышеупомянутый журнал, и ни один из них не получил своей рукописи обратно; к счастью еще, запасались они всегда другим рукописным экземпляром, позволявшим печатать посланные стихотворения на свой счет, но только не выпускать издание в желтой обертке! Желтый цвет резал им глаза. Это не мешало им, однако ж, читать желтый журнал от первой страницы до последней с захватывающим дыханием.

- Мне очень приятно встретить человека, и притом собрата, который разделяет общее наше мнение, - сказал Куликов, приветливо наклоняя голову.

- Я думаю, и всем нам одинаково приятно найти такого собрата, - торопливо произнес вертлявый автор «Заоблачных трелей», - очень рад, что имел удовольствие с вами встретиться... Позвольте узнать, с кем имею честь говорить?

Дрянков поспешил удовлетворить общее любопытство, сказав, что имя его неизвестно, потому что до сих пор печатал статьи свои под разными псевдонимами.

Вертлявый автор «Заоблачных трелей», имевший похвальное свойство влюбляться сразу не только в черноокиx дев, но даже в каждого человека, с которым удалось ему сказать слово, почувствовал непреодолимое сердечное влечение к Дрянкову; он страстно пожал его руку своею рукою и отрекомендовал его всем своим товарищам.

- Куликова вы уже знаете по его произведениям, - говорил вертлявый поэт, подымая тусклые голубые глазки на долговязого господина. - Имя его... Ах, кстати: читали ли вы его «Пелопонезо-Таврические Мелодии»?..

- Нет еще; но мне было бы весьма приятно... - отвечал с достоинством Аполлон Егорович.

- В таком случае позвольте мне предложить вам экземпляр, - сказал Куликов, расправляя брови.

- Я только хотел вас просить об этом; и если вы так добры, позвольте попросить вас написать своею рукою на обертке мое имя вместе с вашим: это будет служить мне памятью, - сказал Дрянков, загибая ярко-зеленую обертку.

Улыбка озарила лицо Куликова; он взял перо и, подмахнув что следовало, с прибавлением «от автора», подал Дрянкову брошюрку.

- Мпе также было бы приятно оставить вам память по себе, - сказал вертлявый поэт, страстно пожимая коренастую руку Дрянкова.

Аполлон Егорович изъявил величайшую радость, и поэт чуть не со слезами на глазах поднес ему эфемерный экземпляр «Заоблачных трелей». Примеру его не замедлили последовать все остальные, не выключая встрепанного черноволосого господина с беспокойно блуждающим взором, который нарисовал с большою готовностью свое имя на листе, изображавшем «Лермонтовскую шпору».

Скрепив таким образом дружественные связи с собратом, сотрудники «Парнасской звезды» обнаружили живейшее участие к судьбе «Непризнанной индейки» и, сказав, что ждут с величайшим нетерпением ее появление в свет, покинули книжную лавку.

«Все это прекрасно!» - думал Дрянков, заботливо расправляя вихры на угловатой голове своей. – «Конечно, нельзя не радоваться такой встрече; круг людей, которые могут оценить мое произведение... Но... но дело в том, что они все-таки не помогут мне издать «Непризнанную Индейку»!

Радостное чувство, посетившее на минуту душу бедного проживальщика Ханских Прудов, сменилось мгновенно тоскою, когда он обратил взор на тяжеловесную рукопись повести, лежавшую рядом с напечатаннымн брошюрами новых своих знакомцев. Как быть?.. Аполлон Егорович, подобно утопающему, который хватается за соломинку, решился обратиться еще раз к Ивану Петровичу и попросить его принять на себя издание рукописи. Полный такой мысли, он сделал уже шаг к конторке, но в эту минуту в дверях магазина показалось новое лицо, которое поглотило все внимание книгопродавца. Новое лицо очевидно принадлежало лакею; серая ливрея с порыжевшими галунами подтверждала красноречивейшим образом такое предположение. Не постигая, что общого могло заключаться между старым ливрейным гайдуком и произведениями человеческой премудрости, Аполлон Егорович устремил на вошедшего любопытный взор.

- Здорово, дружище; что скажешь? – спросил между тем Иван Петрович.

- А что скажу? Ничего, батюшка, не скажу, - уныло отвечал гайдук, представлявший тип тех старых слуг барских домов, которые пережили три поколения, носили иа руках прадедушку, потом дедушку и, наконец, внучка.

Он покачал с безотрадным выражением седую голову и погладил обвислые белые бакенбарды свои.

- Ничего не скажу, батюшка, - продолжал он, - зачем прихожу каждый день, затем и нынче притащился: барин прислал...

- Яшенька, пошевеливайся; не продано ли нынче экземпляра?.. Да нет, - промолвил Иван Петрович скороговоркой, - не продано, верно не продано...

- Ни одного экземпляра! - отозвался веселый Яша.

- Ну, так и есть! - подхватил книгопродавец, - со дня издания поступило пятьсот - пятьсот и есть; тех только недостает, соколик, что взяты были назад самим барином.

- Да скоро ли, батюшка, конец-то будет? скоро ли раскупят эти книги-то? - воскликнул с отчаяньем старый гайдук.

- Бывает, что и по годкам книга пластом лежит, да с рук нейдет; не покупают, дружище, не наклевываются... Да я ведь вчера еще тебе говорил об этом...

- О-ох, батюшка! ведь и я докладывал им: Тирсис Иваныч, говорю: вечор наведался в лавку - ничего, сударь, не продано; а он все свое: все, говорит, сходи; в день много воды утечет, авось, говорит, один экземпляр продали! Что ты станешь с ним делать! Вот, батюшка, чего недоставало: и поместья есть, и чины есть, жили в спокойствии, всем наградил Господь - так нет: затеяли они эту печать, пропадай она совсем... о-х! Так вот что, батюшка: коли уж ничего не продано, так отпустите десять экземпляров, - продолжал старик, - я и ломового извозчика привел, словно чуял, что уж не продано ничего. Да вот еще что: барин велел сказать, чтоб вы, батюшка, поставили эти десять экземпляров на его счет; да скажи, говорит, Ивану Петровичу, чтоб всем говорил, что продано нынешнего

числа десять экземпляров, а никому бы, говорит, не сказывал, что поступили они назад к барину...

- Яшенька соблаговолите в кладовую! Десять экземпляров полного собрания Ястребилова, всего четыреста восемьдесят томов, - проговорил скороговоркою Иван Петрович.

Старый гайдук опустил голову и медленным, тяжелым шагом отошел к двери.

Аполлон Егорович, заинтересованный в высшей степени господином, который находил удовольствие раскупать свои собственные произведения, подошел к конторке.

- Скажите, пожалуйста, Иван Петрович, кто этот Ястребилов?

Имея в виду приступить вслед за тем к объяснению по поводу своей рукописи, Дрянков проговорил это самым дружелюбным, заискивающим голосом.

- Ястребилов! - воскликнул Иван Петрович, закладывая перо за ухо и взъерошивая быстрым движением руки кудрявые свои волосы, - самый ревностный любитель словесности, поклонник муз и Аполлона, двигатель литературы и книгопечатания, друг и покровитель всех пишущих, печатающих, издающих... почтенный человек-с!

Трудно выразить вполне те чувства, которые взволновали грудь Дрянкова, когда услышал он о существовании покровителя всех пишущих, печатающих и издающих. Поставленный судьбою в беспрерывное столкновение с Аристархом Федоровичем, человеком, постигшим в совершенстве искусство владеть собою, Аполлон Егорович последовал примеру великого мужа и укротил биение своего сердца. Мало того, он облокотился локтем на конторку и произнес спокойно:

- Я, признаться, не думал, чтоб могли существовать такие покровители...

- Как-с! Свет не без добрых людей! - возразил скороговоркою словоохотливый книгопродавец, - да вот чего же лучше, изволили видеть писателей, что приходили, четверть часа, в лавку? Всех вывел, как цыплят, Тирсис Иваныч! «Прекрасная звезда», «Заоблачные трели», «Пелопонезо-Таврические мелодии» обязаны ему своим существованием: сам хлопотал и дал даже денег на издание - меценат-с!

- Меценат?., - воскликнул Дрянков, не веря ушам своим.

- Поощритель...

- Поощритель?.. Да, конечно, почтеннейший Иван Петрович, - пробормотал Дрянков, обуреваемый порывами душевного волнения. Он отошел в сторону и быстрыми шагами принялся расхаживать по магазину.

Внезапно лицо его зарделось лучезарным блеском, глаза восторженно окинули полки книжной лавки, как-будто везде и всюду встречали роскошно изданные экземпляры „Непризнанной Индейки”; он подошел с уверенностью к конторке и сказал решительным тоном:

- Иван Петрович, дайте мне прочесть сочинение Ястребилова.

- С великою моею радостью; берите, пользуйтесь, читайте-с, готов служить, только не много ли будет? Десятки томиков наберутся; поэзия, драмы, оды и трагедии, послания, исторические заметки, философия, проза, археологические отрывки... - говорил без одышки Иван Петрович.

- Ничего, ничего; я буду брать по два, по три тома... Да вот еще что: скажите, пожалуйста, где живет автор?

- Никола-Красный-Звон, в собственном доме...

- Очень вам благодарен, почтеннейший, весьма даже обязан; в залог того, что взятые мною томы будут возвращены аккуратно, позвольте оставить вам мою рукопись...

- Э, к чему же это? не извольте беспокоиться; берите, пользуйтесь, читайте; вот первые два тома: оды, трагедии, афоризмы - так точно! - произнес книгопродавец, заглядывая на обертку двух страшнейших томов и подавая их Дрянкову.

- Эй, дружище! - промолвил Иван Петрович, обращаясь к старому гайдуку, спина которого, благодаря усердию веселого Яши, взвалившего на нее целое издание „Полного Собрания", представляла в эту минуту совершенное подобие покоробившейся полки

(другие два приказчика укладывали «Полное Собрание» на дроги). - скажи, дружище, Тирсису Иванычу, что книга его не расходится, но охотно берут читать ее на дом!

Аполлон Егорович подтвердил это и нарочно даже подошел к старому драбанту, чтоб шеппуть ему на ухо свою фамилию. Затем Дрянков распрощался с услужливым книгопродавцем и, обхватив одною рукою оды, трагедии и афоризмы, другою «Непризнанную Индейку» и полученные на память брошюры, вышел из лавки в то самое время, как ломовой извозчик, восседая на вершине «Полного собрания», тронулся с места, сопровождаемый гайдуком, который медленно выступал за дрогами, не переставая мотать головою и делать самые безотрадные жесты.

Какая цель воодушевляла Аполлона Егоровича, когда он взял на себя труд прочесть творение Ястребилова – об этом узнает читатель из следующей главы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I, могущая служить достоверным и в то же время единственным материалом для пополнение многих библиографических заметок

Жил-был когда-то в Москве весьма почтенный и кроткий старичок, по имени Тирсис Иванович Ястребилов. Этот старичок, вместе с супругою своей Клавдией Ильиничной, представлял трогательную картину неизменной любви и счастия. Сила любви, говорят, испытуется в критических случаях жизни. Если только за этим дело стало, то довольно привести один пример, чтоб доказать, что Филемон и Бавкида, Дафнис и Хлоя и вообще все знаменитые любовники, как мифологические, так равно и древнеисторические, были попросту водевильные герои в сравнении с супругами Ястребиловыми.

Вот вам это доказательство:

Тирсис Иванович и Клавдия Ильинична питали в душе непреодолимое влечение беседовать с музами или, говоря грубым слогом, оба преследуемы были в равной степени демоном стихотворства. (Вскормленные музами, взращенные Аполлоном, оба они, благодаря общему покровителю, Минерве, не замедлили подать друг другу руки и пошли к алтарю Гименея). С первых же дней своего супружества Тирсис Иванович показал неслыханный пример самопожертвования: готовясь предать тиснению превосходное свое послание «К Хлое», он встретил на столбцах одного детского альманаха послание жены под названием: «К Другу души моей»; послание написано было тайком, с тою целью, чтоб доставить приятный сюрприз мужу. Тирсис Иванович решился не печатать своего послания, из опасения затмить как-нибудь громадный успех послания «К Другу души моей». Клавдия Ильинична печатала, нужно заметить, с двадцатилетнего возраста; имя ее известно уже было во многих детских альманахах; довольно уже того, что, выйдя замуж, она переменила свою фамилию на имя, не успевшее еще прославиться в литературе. (Тирсис Иванович ничего еще тогда не выпускал в свет, хотя мог сотнями считать произведения своей юности). Но это, собственно говоря, еще ничего. Следовало только объявить в выноске, что Клавдия Ястребилова не кто иная, как автор «Маргариток» и проч., и проч.; так и поступила она по поводу послания «К Другу», и читатели детских альманахов, встречавшие всегда с любовью имя автора «Маргариток», успокоились раз навсегда. Но вот в чем задача: какие страшные недоразумения возникнут между этими самыми читателями, когда рядом с любезным именем встретят они другое имя, во всем подобное первому? Мы знали К*** Ястребилову, а теперь явился еще какой-то Т*** Ястребилов! Пойдут догадки, сравнение; кто этот Т*** и кто лучше пишет – К*** или Т*** Ястребиловы? Затеется, чего доброго, жаркая полемика в журналах; скажут, пожалуй, что Т*** Ястребилов пишет лучше К***, и это естественным образом огорчит Клавдию Ильиничну, которая не знала прежде соперников. И кто же этот соперник – ее собственный муж – ужасно!.. Нет, прочь такая мысль! Пускай имя Клавдии продолжает сиять лучезарным блеском на страницах детских альманахов; пускай украшает оно столбцы всевозможных газет!

Тирсис Иванович, натянувший уже все струны своей лиры и готовый ударить по ним всею силой вдохновенной десницы, решился принести в жертву самого себя, свое вдохновенье и свою лиру; преисполненный такой беспримерно-великодушной мысли, он дал себе слово ревностно трудиться в глуши своего кабинета и не печатать до тех пор, пока будет печатать жена его. И – страшно вымолвить, почтенный читатель, именно страшно вымолвить – в продолжение тридцати пяти лет... да-с, тридцати пяти лет, кроткий Тирсис Иванович работал в тиши своего кабинета, творил каждый день и ничего не печатал!.. Нам ничего не известно насчет того, проливал ли он в тиши своего кабинета горькие слезы над молчаливыми струнами своей лиры или, наоборот, выносил судьбу свою со стоическим хладнокровием. Принимая в соображение постоянный

меланхолический вид его, следует предположить, что последнее было не совсем справедливо. Судя по собственным своим чувствованием и зная по опыту, как горько жить в разлуке со славой, тогда как она только и ждет случая, чтоб броситься к вам в объятия, Тирсис Иванович принял намерения протягивать руку каждому поэту, который по каким-либо обстоятельствам не мог занять место на Парнасе без посторонней помощи. Нет возможности пересчитать всех денег, выданных Тирсисом Ивановичем разным собратам, не имевшим средств обогащать свет своими творениями; еще менее можно пересчитать все книги, брошюрки и томики, изданные на счет Ястребилова: для этого потребовались бы целые каталоги. Достаточно сказать, что прежде, чем имя Тирсиса Ивановича, выставленное перед «Полным Собранием» его сочинений, прогремело в литературном мире, он известен уже был как меценат, страстный любитель отечественной словесности и ревностный поощритель всего пишущего, печатающего и издающего. Несметные полчища лириков, элегистов, прозаиков всякого рода и поэтов во всех возможных родах тянулись караванами, подобно факирам, отправляющимся на поклонение в Мекку, по направлению к чертогам Тирсиса Ивановича и Клавдии Ильиничны. Литературные вечера двух супругов, имевшие быть каждый понедельник, приобрели давно заслуженную популярность. Об этих раутах и вечерах говорилось очень часто в газетах. Все это естественным образом должно было разливать благодатный бальзам на меланхолию кроткого Тирсиса Ивановича, который, нет сомнения, зачах бы в тиши своего кабинета без живительной известности.

Название покровителя искусств утешало его, подкрепляло его силы и давало ему необходимую энергию для того, чтоб скрывать свои творение от света.

В эти тридцать пять лет каждодневного, постоянного, беспредельного самопожертвования со стороны супруга Клавдия Ильинична не переставала услаждать читателей детских альманахов мелодическими звуками своей вдохновенной лиры. Но увы! Вечного ничего нет; всему суждено иметь свой конец! На пятьдесят пятом году от рождения Клавдия Ильинична чувствовала, что вдохновение стало посещать ее реже и реже; ум и сердце работали между тем беспрерывно, чувствуя сильнейшую потребность высказываться; рифма бежала с языка сама собою, и со всем тем, все вместе – мысль, ощущение сердца и рифма – никак не могли сочетаться в один стройный, звучный аккорд! Раз только, именно в день празднования золотой свадьбы, душа Клавдии Ильиничны обрела вновь свою творческую силу, да и то потому лишь, что была потрясена тридцатипятилетними впечатлениями. То была, впрочем, последняя песнь лебедя! Песнь эта, напечатанная в одном из первоклассных альманахов, под названием «Другу, поднесшему автору букет незабудок» и очевидно посвященная Тирсису Ивановичу, известна всему просвещенному миру, и потому нет никакой надобности распространяться о колоссальных ее достоинствах. Скажем только словами одной газеты, что Клавдия Ильинична покинула литературное поприще в эпоху полного развития своего могучего поэтического таланта. Это обстоятельство, как и следовало ожидать, произвело самые гибельные последствия на детские альманахи того времени; читатели, не встречая более имени любимого своего поэта, отказались напрямик подписываться; издатели других книг, не подозревавшие настоящей причины упадка альманахов, запуганные, чтоб и их не постигла такая же участь, остановили свои работы; библиографические отделы журналов, за недостатком пищи, отощали страшно; поднялся ропот в читающей публике; уныние овладело издателями, и Бог весть, чем бы все это кончилось, если б не явилось одно обстоятельство, которое, подобно Атласу, вынесло на плечах своих распадающийся мир тогдашней литературы. Кроткий Тирсис Иванович, молчавший в продолжение тридцати пяти лет, выпустил разом сорок восемь томов своих сочинений, украшенных портретом автора. Все ожило, встрепенулось и заговорило. Пример неслыханный, небывалый! Господин, выступающий на литературное поприще с сорока восемью компактными томами! Имя Ястребилова появилось во всех библиографических отделах, запестрело во всех современных изданиях, зарябило на столбцах всех возможных газет; многие

почтенные особы, хранившие упорное молчание подобно Тирсису Ивановичу, поощренные теперь его примером, подарили свет своими творениями, как бы желая показать этому свету, что и у них точно так же время не проходило даром. Бумажные фабрики ожили; типографские станки, покрывшиеся было паутиной, работали денно и нощно; полки книжных лавок затрещали и погнулись под спудом «Полных Собраний». Но переворот, произведенный Ястребиловым в литературном мире, ровно ничего не значит в сравнении с переворотом, совершившимся в душе самого автора: из меланхолического старичка, восседавшого недвижно в вольтеровских креслах и погруженного постоянно в тихое раздумье, сделался вдруг старичок-живчик, не остающийся ни минуты на одном месте, бегающий, суетящийся и ни в каком случае не напоминающий прежнего Тирсиса Ивановича. Он не читал прежде газет и журналов, за исключением тех разве случаев, когда говорилось о его литературных вечерах или превозносились до небес стихотворения Клавдии Ильиничны, но теперь не пропускал ни одной печатной строчки, и трудно передать волнение почтенного старичка, когда глаза его встречали отзывы о «Полном Собрании». Отзывы – как это весьма часто случается – имели по поводу одного и того же предмета совершенно различные характеры; так, например, если в одном журнале нападали без пощады на оды Ястребилова, другой журнал находил какое-то особенное удовольствие превозносить их до небес, указывая в то же время весьма ловко на тупую непонятливость враждебного журнала, который не умел оценить достоинств, бросающихся в глаза последнему школьнику; казалось даже в иных случаях, что «Полное Собрание сочинений» Тирсиса Ивановича служило враждебным журналам только предлогом для того, чтоб осыпать друг друга эпиграммами и указывать читателям на промахи того и другого. Мы привели это единственно к тому, чтоб выразить в наивозможно более коротких словах душевное состояние автора, принужденного читать о себе отзывы, произносимые в одно и то же время в разных журналах. В подтверждение того, что подобное состояние хуже всякой каторги, стоило лишь взглянуть на Тирсиса Ивановича, который исхудал в три месяца, как щепка, и утратил в эти три месяца душевное спокойствие.

Перенесемся теперь в кабинет автора «Полного Собрания» – кабинет, заслуживающий внимания, потому что теперь нет уже почти таких кабинетов.

Представьте себе огромную четырехугольную комнату, обставленную кругом частыми полками, которые завалены классиками; там и сям мелькают бюсты древнейших классиков, бронзированные мухами; пол устлан зеленым полинялым – ну, словом, классическим сукном; широкий стол, занимающий середину комнаты, покрыт таким же зеленым сукном; на нем возносятся в лирическом беспорядке (выражение чисто классическое) свертки, бумаги, разверстые фолианты с красными и мраморными обрезами, из которых выглядывает бесчисленное множество закладок; тут же виднеется исполинская чернильница античной формы, античные карманные часы, имеющие большое сходство с маленьким приплюснутым глобусом, и рядом с ними синие классические очки, обшитые зеленой кожей. Полдюжины старых вольтеровских кресел окружают стол, над которым во всякое время болтается на медной цепи лампа, прикрытая зеленым колпаком и напоминающая своей фигурой древнегреческие светильники; жидкий желтоватый свет проникает с трудом сквозь запыленные окна и штофные гардины, привешенные в то время еще, когда знакомый читателю гайдук носил на руках своих Тирсиса Ивановича. Нигде не заметно малейшего следа какого-нибудь эфемерного украшения; в одном только месте, а именно на стене, против седалища Тирсиса Ивановича, висит в миниатюрной новомодной рамке клок волос Клавдии Ильиничны, тесно сжатый между шлифованным стеклом и голубой бумажкой; но и это украшение имеет характер чисто античный: во-первых, уже потому, что в волосах Клавдии Ильиничны сильно пробивает седина; во-вторых, клок волос поднесен Ястребилову в день празднования золотой свадьбы и уже этим самым невольно должен переносить к давно прошедшим временам.

Затхлый спертый воздух наполнял этот кабинет, который, без большого преувеличения, можно бы сравнить с отжившим телом допотопного чудовища, если б не оживляли его во всякое время дня и ночи непрерывный скрип пера, шелест бумаги и, наконец, писк и шорох мышей, глодавших фолианты.

Классический вид кабинета довершался как нельзя лучше крошечною фигуркою Тирсиса Ивановича, который суетливо расхаживал взад и вперед, попирая своими классическими бархатными сапожками классическое зеленое сукно, устилавшее классический пол. Он принадлежал к числу тех сухощавых сгорбленных старичков, которые не стареют от времени, но только засушиваются. Лицо его было схоже, как две капли воды, с лицом больного ребенка, и только белые, как снег, волосы, спускавшиеся неправильными косяками вдоль щек, напоминали, что вы имеете дело с семидесятилетним старичком; черты его дышали добродушием и добротою невыразимыми; черные беспокойные глазки и вострый красный носик оживляли физиономию, придавая ей вместе с тем выражение суетливой озабоченности. Тоненькие, тщедушные ноги его казались болтавшимися в узеньких черных панталонах, запрятанных в бархатные сапожки; жиденький галстук едва-едва прикрывал его шею, окруженную бесконечно длинными и страшно накрахмаленными воротничками рубашки из тончайшего голландского полотна; коротенький жилет исчезал в складках серого длиннополого сюртучка, украшенного по бокам исполинскими карманами. Расхаживая взад и вперед по кабинету, старичок останавливался поминутно перед знакомым уже нам гайдуком.

- Ну, так как же, Гаврилыч? как же ты говоришь, что... а? что, бишь, ты сказал, а? - произнес Тирсис Иванович, устремляя светлые черные глазки в мутные серовато-молочные глаза собеседника.

Вопрос очевидно вызван был продолжавшимся повествованием о приключениях нынешнего утра.

Крупные фиолетовые губы и седые брови Гаврилыча раздвинулись; он покрутил головою и сказал голосом, который казался выходившим из погреба или склепа:

- А то же, батюшка, что вечор было, то и сегодня: «Покупать, говорит, не покупают, а читать, говорит, берут охотно – берут», - говорит...

- Так читать-то, говорит, берут, а? берут читать, читать берут? - заговорил Тирсис Иванович, принимаясь снова семенить своими бархатными сапожками и потирая с неимоверною быстротою своими ладонями. - И все, говоришь ты, тот же самый господин, что приходил неделю тому назад, когда я посылал тебя за экземплярами; да полно, тот ли? Ты видел ли его?..

- Как же, батюшка, видел, три раза видел, – тот самый...

- Тот самый, гм! - перебил Тирсис Иванович, неожиданно останавливаясь, - да, ну а каков он из себя, этот господин? Ты говорил, кажется: высокий, худощавый - а? - примолвил он, устремляя на дядьку живые нетерпеливые глазки.

- Да ведь я уж докладывал вам, батюшка, - возразил Гаврилыч с отчаянным выражением лица, - я говорил вам: невзрачный, малорослый, крепкий такой, чернявый...

- Да, невзрачный, гм! невзрачный, невзрачный, - пробормотал Тирсис Иванович, поспешно ковыляя к письменному столу.

Он взял какой-то клочок бумаги, внимательно прочел начертанные на нем каракули, бережно положил бумажку на прежнее место и еще усерднее принялся расхаживать но кабинету, нашептывая себе под нос:

- Дрянков, Дрянков... я что-то не слыхал этой фамилии: Дрян-ков, Дрянк-ов, Дрянков... нет, решительно не слыхал.

Наступило молчание, прерываемое шарканьем бархатных сапожков по зеленому сукну.

Убедившись окончательно, что фамилия Дрянкова была ему неизвестна, Тирсис Иванович снова остановился перед дядькой и снова потер руками.

- Так как же, Гаврилыч, читают, говоришь ты? - и охотно читают - а?., а?..

- Читают, батюшка, читают, я вам ведь докладывал, - отвечал гайдук, тоскливо свешивая голову и опуская руки.

- Хорошо, Гаврилыч, спасибо! Ступай с Богом... А вечерком, смотри, не забудь опять сходить в книжную лавку; спроси, не продали ли хоть один экземпляр... В четыре или пять часов много воды утечет; может быть, вот мы стоим тут с тобой да толкуем, а там в эту самую минуту кто-нибудь и покупает... и покупает... а? Не сходить ли тебе теперь? Как ты думаешь?.. Нет, впрочем, все равно, зайдешь вечерком, так тогда расскажешь... Да спроси, не являлись ли еще охотники читать? Скажи Ивану Петровичу, чтоб всем, кто только пожелает, всем давал читать без малейшего затруднения, и, если найдет нужным, ставил бы отданные книги на мой счет – пускай их читают, очень рад; для того и книги пишутся... Ступай с Богом, Гаврилыч, - заключил Ястребилов, ласково обращаясь к дядьке, который во все время этого монолога глядел с какою-то безотрадною тоскою на пол.

Оставшись наедине, Тирсис Иванович потер руками и разразился таким добродушно-веселеньким смехом, что посторонний наблюдатель мог бы почувствовать истинное наслаждение, если б только удалось ему подметить в эту минуту радостное лицо кроткого старичка.

Веселенький смех добродушного старичка, вылетевший из груди его при мысли, что читают, и даже очень охотно читают «Полное Собрание сочинений», не успел еще замолкнуть, как снова на пороге кабинета показался Гаврилыч.

На этот раз крупное лицо дядьки ухмылялось; по всему видно было, что он намеревался сообщить теперь какую-нибудь приятную весть.

- Что ты, Гаврилыч, а?.. а? - спросил Тирсис Иваныч, поспешно направляясь к дядьке.

- Да вот, батюшка, тот самый, что вы спрашивать-то изволили, вот, что все читать-то берет...

- Да, ну что ж такое?

- Дожидается в зале...

- Как, тот самый... Дрянков?..

- Так точно-с.

- Ах, Боже мой! Просить, принять, сказать, что очень рад! - воскликнул Тирсис Иванович, суетливо выступая за гайдуком.

У дверей кабинета он остановился и принялся потирать ладонями, между тем как на лице его проступали все признаки живейшей радости, смешанной с нетерпением и любопытством.

Радушие Тирсиса Ивановича, нужно заметить, известно было всей Москве, точно так же, как его рауты и литературные вечера. Любовь к науке, поэзии и искусству занимала в его сердце такое обширное место, что не оставляла там малейшего закоулочка для спеси и гордости. Он охотно протягивал руку всякому, кто отличался чем-нибудь на художественном поприще; словом, Тирсис Иванович был настоящий меценат; но Дрянков сомневался в возможности существования такого человека...

Наружность Аполлона Егоровича подтверждала, что он до сих пор еще питал в душе свои сомнения. Соображаясь с другими лицами, игравшими перед ним роль покровителей искусства, и уверенный, что Тирсису Ивановичу будет такая же точно нужда до его костюма, он облачился в черный фрак Василькова и почел даже необходимым напялить на руки замшевые белые перчатки, которые представляли по изящному завиточку на конце каждого из его пальцев. Сердобольно-умильный вид, принятый Дрянковым при входе в кабинет, показывал окончательно, что он не знал Тирсиса Ивановича и неверно судил о нем. Аполлон Егорович остановился у порога, отвесил низкий поклон и потупил глаза в зеленое сукно.

- Здравствуйте, здравствуйте, милый мой! зд-ра-вст-вуйте! - заговорил Тирсис Иванович, шаркая своими бархатными сапожками и кивая головой, - здравствуйте! Очень рад вас видеть! - заключил он, протягивая ему руку и рассматривая его с восторженным напряжением.

Услышав мягкий, нежный голосок Ястребилова, Аполлон Егорович поднял глаза: добродушие, написанное в чертах Тирсиса Ивановича, ободрило его; со всем тем, он не решился еще покинуть свой сердобольный вид и, наклонив униженно голову, произнес робким голосом:

- Извините, милостивый государь, если я осмелился потревожить вас... Я знаю, сколько драгоценны минуты ваши, и если решился я причинить вам беспокойство, отнять у вас одну из этих драгоценных минут, так сделал это единственно потому, что знал безграничное снисхождение ваше к бедным собратьям-труженикам, которые посвятили свою жизнь на служение искусству...

Во время этого велеречивого монолога, очевидно обдуманного и сочиненного накануне, лицо Тирсиса Ивановича переполнилось невыразимою нежностью.

- Так вы поэт, собрат? - воскликнул он, протягивая ему обе руки.

- То есть, я не пробовал писать стихов... хотя уверен, что, руководимый каким-нибудь могучим талантом, мог бы в скором времени... - сказал Дрянков, пристально всматриваясь в собеседника. - Впрочем, поэзия везде и всюду-с, и, основываясь на этом, я точно так же... мой удел – проза, я прозаик! - примолвил он со скромною улыбкой.

- Очень рад, милый мой, очень рад с вами познакомиться! Садитесь, пожалуйста. Я сам писал много в прозе и даже очень люблю ее: проза – дитя разума и мышления; поэзия – дочь сердца и вдохновенья... я высказал эту прекрасную мысль в двадцать восьмом томе моего собрания...

- Я имел счастие прочесть этот том, и... и!..

- А! так вы разве читали мои сочинения? - перебил Тирсис Иванович, любознательно всматриваясь в лицо собеседника, переминая нетерпеливо бархатными сапожками и потирая ладонями.

- Читал-с, все читал, и скажу вам – не примите это, Бога ради, за презрительную лесть: я человек простой, откровенный, сужу по впечатлением сердца, - скажу вам, прибавил он, удачно изменяя интонацию своего голоса и так же удачно придавая своему лицу восхищенное выражение. - Скажу вам, я в восторге, в энтузиазме!.. До сих пор не могу опомниться! Вы написали такую книгу, которая может читаться целую жизнь... нет, целой жизни не достанет, чтобы изучить и прочесть ее.

Аполлон Егорович нехотя высказывал, однако ж, сущую правду. Действительно, жизни человеческой, если исключить время, употребляемое на отдых, еду, дела, развлечения – далеко не достало бы не только для изучения, но даже для прочтения «Полного Собрания». Дрянков мог бы прибавить к этому, что Тирсис Иванович воздвиг себе памятник, и опять-таки сказал бы сущую правду, потому что сорок восемь компактных томов, как хотите, представляли в массе целый мавзолей; но он ограничился следующим:

- Да-с, я не могу опомниться! И, может быть, это самое состояние души моей заставило меня забыть дерзость своего поступка и обратиться к вам с просьбой... просьбой, которую не осмеливаюсь и произнести... - заключил он, приподнимаясь с места, отвешивая поклон и робко опуская глаза на бархатные сапожки, которые казались пляшущими.

- Пожалуйста, прошу вас, говорите, милый мой, говорите, очень рад! - с участием подхватил старичок, заботливо усаживая гостя на прежнее место, - очень рад, если могу быть вам полезным; не стесняйтесь, готов служить вам всем сердцем...

- Милостивый государь, - сказал с горделивым достоинством Аполлон Егорович и выпрямил грудь,- милостивый государь, я человек бедный; дарование и надежды – все мое богатство! Не имея средств приобрести в свою собственность драгоценные сочинения

ваши, я решился... да, я решился прибегнуть к вам и просить вас снизойти к мольбам человека, жаждущего просвещения, и снабдить его, если это только возможно, одним экземпляром...

- Ах, милый мой, я очень рад! очень, очень рад! Вы доставляете мне этим большое удовольствие; я сейчас же напишу в книжную лавку, сию минуту... Садитесь, садитесь, милый мой... - проговорил добродушный старичок, подбегая к столу и принимаясь выводить каракули на клочке бумаги.

- И по этой записке мне отдадут «Полное Собрание»? - восторженно воскликнул Дрянков, думавший покурить еще немножко фимиамом, чтоб удобнее приступить потом к настоящей причине своего визита.

- Сию же минуту, без малейшего замедления. Читайте, милый мой, учитесь, вы еще молоды; слушайте советов людей опытных, следуйте их примеру; трудитесь, милый мой, трудитесь! - нежно говорил старичок, между тем как Дрянков пристально всматривался в бархатные сапожки и сохранял вид трогательного умиления. - Но, стало быть, - прибавил кроткий Тирсис Иванович, нежно взяв его за руку, - стало быть, вы еще не прочли всех томов? Садитесь, садитесь, милый мой. Расскажите-ка, что именно вы читали... - заключил он с живостью.

Аполлон Егорович пересчитывал наобум дюжину томов.

- А-а! так вы, значит, милый мой, не читали еще драматических произведений... - воскликнул старичок, улыбаясь таким образом, как будто сделал в эту минуту одно из самых удивительных открытий, какие когда-либо выпадали на долю человеческой премудрости.

- Нет-с, читал, - возразил Дрянков с уверенностью, которая сильно, однако ж, противоречила робким взглядам этого интересного сорокалетнего молодого человека, - читал. К несчастью, не зная содержания остальных томов, не могу сказать вам, читал ли я все драматические произведения; но я с восхищением прочел одну трагедию...

- Какую? какую? Не «Синеус и Трувор»?

- Нет-с, «Мазид и Зенеиб».

- А-га! Ну, что ж? Как вам нравится? - спросил Тирсис Иванович, потирая руками.

- Превосходно! Какое могущество! какая сила! поверите ли, я даже наизусть выучил многие места! - сказал Дрянков, между тем как бархатные сапожки выбивали дробь по зеленому сукну. - Впрочем, иначе и быть не может: этот звучный серебряный стих невольно врезывается в память. Ах, как поразительна эта сцена, когда свирепый Мазид, умертвив Агул-Абаса, встречает кроткого Зенеиба и признается ему в своем проступке... – «Здорово, Зенеиб!» - говорит Мазид. – «Здорово, брат Мазид!» - говорит Зенеиб. Потом они молчат; Зенеиб расспрашивает Мазида о подробностях убийства, и Мазид сознается во всем. – «Я вонзил кинжал в его сердце!» - говорит он: «почетши себя обиженным одним взглядом, который бросил он на милую Оглану, я лишил его жизни! Он умер! А я... я не поражен еще мечом правосудия! Не знаю, какое внутреннее побуждение заставило меня бежать казни, которую весьма заслужил я... Зенеиб! я прибегаю скрыться в недра дружества...

Тому не страшен смерти час,
Чью душу дружба согревает,
Чьи взоры дружба закрывает;
Он слышит в сердце сладкий глас:
„И там, вдали за облаками,
Ты будешь с милыми друзьями!”»

- Превосходно! - заключил Дрянков с величайшей энергией.

- Превосходно! - воскликнул старичок, невольно обуреваемый порывами восторга.

Худощавые щеки его и вострый носик горели, как в лихорадочном пароксизме. Во время чтения последних стихов он суетливо расхаживал вокруг стола и, наконец, остановился перед Дрянковым.

- Да, милый мой, да! вы прекрасно прочли эти стихи, благодарю вас! - сказал он с восхищением. - А помните ли вы то место трагедии, когда является Пансофий, афинский мудрец, и говорит Мазиду...

Тут кроткое лицо Тирсиса Ивановича приняло строгое выражение; он отступил три шага назад, простер вперед руку и, моргая своими черными, блестящими глазками, прочел дрожащим голосом:

«Замена счастия - отрада в скорбный час,
Надежда никогда нс покидает нас,
На язвы тяжкие целебный льет бальзам.
Спокойствие - ея последует стопам!».

- Восхитительно! - сказал Дрянков.

- Превосходно! превосходно! - восторженно воскликнул Тирсис Иванович, бегая вокруг стола. - Ну, а то место, например, - примолвил он, останавливаясь внезапно перед собеседником, - то место, когда Мазид...

- Хочет отравить себя? - перебил Дрянков, принимая на себя объяснение могучей сцены, чтоб скорее повести ее к концу и приступить к собственному своему объяснению, - и когда Пансофий, желая отвлечь его от такого поступка, рассказывает ему притчу... превосходную...

- Да; но вы знаете ли ее наизусть? Я вам прочту ее, - перебил старичок, утопавший в сладостных ощущениях, - я вам прочту ее: - «Нет ничего постоянного под небесами, друг Мазид, говорил ему Пансофий, - кедры ливанские уступают усилиям Борея, и горы, которых вершины угрожают самой тверди небесной, могут низвергнуться во глубину земли, если будет на то воля Аллаха. Некогда размышлял я о коловратностях земного, подлунного бытия. Благотворительная Пери поднесла мне чашу с усыпительным питием, и я увидел во сне персидского царя Гензабела, побежденного султаном Желт-Гедином...».

- Восхитительно! - произнес нетерпеливо Дрянков.

- Не правда ли? Очень рад, молодой мой друг! Очень рад, что вам это нравится! Ну, а что вы скажете о сатирах и афоризмах, которые помещены в том же томе.

- Как те, так и другие произвели на меня сильнейшее впечатление, - отвечал Дрянков, опасаясь, однако ж, стать в тупик и этим самым повредить успеху своего дела; а дело состояло в том, чтоб склонить Тирсиса Ивановича принять на свой счет издание «Непризнанной Индейки» – дело, как видите, очень важное!

- Да; но мне любопытно было бы знать, какие именно из сатир вам больше понравились?..

- Название не помню... вот эта:

«Железо не блестит, как ржа его съедает,
И меркнет ум тогда, как сердце упадает...»

- Впрочем, все превосходны!..

- Ну, а эта, милый мой, - перебил восхищенный старичок, - эта:

«Во всяком молодце
Довольно суеты;
Во всяком мудреце
Довольно простоты?..»

И он устремил на него вопросительный взгляд, исполненный живейшего нетерпения.

- Превосходна и эта, - заметил Дрянков.

- Ну, а что вы скажете об афоризмах?

На этот раз Аполлон Егорович испугался не на шутку: он, как назло, не только не читал афоризмов, но не мог даже ясно определить значение этого слова.

К счастию, добродушный старичок не дождался ответа; он подбежал к полке, вынул какой-то толстый том и заговорил, перелистывая его на столе:

- Да, вы найдете тут, милый мой, много глубоко задуманных мыслей. Вот эта, например: афоризм сто сорок девятый, литера М – *мир*: «Мир - гигантский муравейник, в котором каждый муравей гонится, сломя голову, за счастием и никогда не обретает его...» Или, да... афоризм девяносто третий, литера Ч - *человек*: «Человек то же, что большой ребенок! Человек останется всегда человеком, то есть большим ребенком!..». Как это вам нравится?

- О, бесподобно! какая глубина! - воскликнул Аполлон Егорович, начинавший уже терять надежду приступить к своему делу, - но я должен вам сказать, однако ж, что самое сильное и вместе с тем полезное впечатление произвела на меня арабская повесть ваша, под названием «Замар и Геллагё»; это, может быть, потому, впрочем, что она дала мне возможность исправить недостатки моей повести, повести, которую, к счастью, я не успел еще отдать в печать...

- Очень рад, очень рад, молодой мой друг! Какие же места наиболее понравились вам из «Замар и Геллагё»? - спросил старичок, нетерпеливо придвигаясь к Дрянкову.

- Те именно-с, из которых я мог научиться авторской замашке, необходимой для повествовательного рода... Повесть моя не очень длинна; я разделил ее на главы, для удобства читателя, - подхватил Дрянков скороговоркой, - и я почел бы себя весьма счастливым, если б вы удостоили ее просмотреть... ваши советы...

- Очень рад, мой милый, очень рад! Молодые люди вообще самонадеянны и редко слушают советов людей опытных. Очень рад найти в вас исключение, что делает вам большую честь. Ну, так какая же это повесть?

- Она у меня с собою-с; я оставил ее в передней, и если вы позволите... - произнес обнадеженный Дрянков, поспешно приподнимаясь со своего места.

- Пожалуйста, пожалуйста, принесите ее сюда, милый мой: мы прочтем ее, посмотрим, а там и напечатаем. Если у вас нет знакомых, или нужно будет ходатайство постороннего лица – очень рад буду взять на себя такой труд...

При таком неожиданном обороте дела сердце Дрянкова забилось так сильно, что он не мог даже сделать шага вперед, не мог проговорить благодарственного слова и ограничился тем только, что приложил руку к груди и поклонился.

В эту самую минуту кто-то постучал в дверь, и вслед за тем дрожащий голос, делавший явные усилие, чтоб казаться мелодическим, произнес следующие слова:

- Могу ли я войти к тебе, мой милый поэт?..

- Это жена моя – нервы и поэтический талант своего времени! - восторженно произнес Тирсис Иванович, подбегая к собеседнику. - К несчастию, она уж ничего теперь не печатает. Можешь войти, мой ангел, очень можешь войти! - заключил он, натирая докрасна ладони и впиваясь глазами по направлению к двери.

Дверь отворилась, и на пороге ее показалась Клавдия Ильинична.

Ястребилова представляла из своей особы бесконечно длинную, невообразимо худощавую желтоватую даму, и могла служить совершеннейшим контрастом мужу, человеку, как ведомо, крошечному, микроскопическому, могущему свободно уместиться в высоком чепце своей супруги. Лицо ее, украшенное тусклыми глазами, задумчиво глядевшими в небо, сероватыми усиками на верхней губе и орлиным носом, было так худощаво, что каждый раз, как она смотрела в зеркало, или каждый раз, как на нее смотрели посторонние глаза - всем равно представлялось вместо лица одно острое лезвие. Два седые, но тщательно закрученные тирбушона украшали ее щеки и свешивались на костлявые ее плечи, подобно двум веткам плакучей березы; общий вид ее был столько же горд, сух, величав и надменен, сколько кроток, добродушен и смирен казался вид супруга.

Тирсис Иванович поцеловал женину руку и провел ее заботливо к вольтеровскому креслу.

- Это, мой ангел, рекомендую тебе, - господин Дрянков, - читал мое «Полное Собрание»... собрат по литературе, сам пишет прекрасные повести... - нежно произнес супруг.

- Очень рада познакомиться, - сухо сказала Клавдие Ильинична, бросая на нового знакомого инквизиторский взгляд, который имел явное намерение пронизать его насквозь и дознаться этим способом, читал ли он «Маргаритки» и другие великие произведения бессмертной дамы с усиками и седыми тирбушонами, восседавшей теперь в вольтеровских креслах.

Аполлон Егорович отвесил низкий поклон, проклиная судьбу, пославшую сюда так некстати первый поэтический талант своего времени.

- За пять минут до твоего появления, друг мой, господин Дрянков читал отрывки из моего «Мазида», - начал Тирсис Иванович мягким голоском, доходившим прямо до глубины сердца. - Господин Дрянков прекрасно читает стихи и доставил мне большое удовольствие... Ах, пожалуйста, милый мой, прочитайте теперь какое-нибудь стихотворение жены моей; вы, верно, помните их наизусть: ей будет это весьма приятно, - промолвил неожиданно старичок, кивая одобрительно Дрянкову и бросая лучезарную улыбку на Клавдию Ильиничну.

Инквизиторский взор Клавдии Ильиничны устремился еще пристальнее на нового знакомого.

«Я пропал!» - подумал Аполлон Егорович, но в ту ж секунду оправился и, закручивая витушки замшевых перчаток на оконечностях своих пальцев, пробормотал голосом детской невинности:

- К несчастию, я так смущен в настоящую минуту, так смущен, что не могу припомнить ни одного из знаменитых стихотворений, которые...

- Тс... ах, какая досада! как это жаль... тсс... сс.. В таком случае, - с живостью подхватил Тирсис Иванович, - прочитайте нам бесподобное ее стихотворение «К Другу, поднесшему автору букет незабудок», стихотворение, которое все мы называем «последнею песней лебедя»; все знают и помнят его, даже крошечные дети...

- Но, может быть, оно незнакомо мсьё Дрянкову, точно так же, как и другие мои пьесы?., - сухо сказала Ястребилова, выражая на желтом лице презрительно-саркастическую улыбку.

Последовала продолжительная пауза, в продолжение которой несчастный Дрянков неистово теребил завитки своих замшевых перчаток.

«Погибла „Непризнанная Индейка”!» - подумал Аполлон Егорович, и мысль эта придала ему столько бодрости, что он решился наконец отвечать:

- К несчастию... я... я...

- Как, вы не знаете «Последней песни нашего лебедя»? - воскликнул с изумлением кроткий старичок.

- Я должен объявить вам, сударыня... - произнес Дрянков отчаянно-расстроенным тоном, - что всего только неделя... да-с, неделя, как я приехал из Архангельска... места моего рождения... Я сирота, - примолвил он, опуская глаза и чувствуя в эту минуту необходимость возбудить чем-нибудь сочувствие в сердце строгой дамы, - впрочем, сударыня, - заключил он, - я много уже слышал о том знаменитом стихотворении, но... не успел еще приобрести его...

- Что ж говорят обо мне в Архангельске? - надменно спросила Ястребилова.

- Я читал отзыв в тамошней газете: - все, все-с в энтузиазме! - отвечал, ободряясь, Дрянков.

- Да, милый мой, да... Ну, а не слыхали ли вы там чего-нибудь о моем «Полном Собрании»?., - спросил в свою очередь Тирсис Иванович, обнаруживая необычайное участие.

- К сожалению, я был уже в дороге из Архангельска, когда получено было известие о выходе в свет «Полного Собрания»... но приятель писал мне, что оно принято было с восторгом...

Тут в кабинете снова послышался веселенький смех добродушного старичка, смех, сопровождаемый потиранием ладоней и выбиванием дроби по зеленому сукну бархатными сапожками.

Последовала кратковременная пауза, после которой Клавдия Ильинична начала медленно приподыматься со своего кресла; подыманию этому, весьма похожему на то, когда в театре выступают из-под пола привидения, казалось, конца не было; наконец первый поэт нашего времени благополучно укрепился на ногах, повернулся спиною к гостю и сказал Тирсису Ивановичу:

- Ты не забыл, однако ж, что мы обедаем сегодня у Хивинских?.. скоро четыре часа...

Заключив эту сентенцию легким наклонением головы по направлению к Дрянкову, Клавдия Ильинична поплыла из классического кабинета, потряхивал чепцом и поправляя тирбушоны.

Ясно, что в настоящую минуту было б столько же неуместно, сколько и неделикатно толковать о «Непризнанной Индейке»; с другой стороны, согласитесь сами, весьма горько было б удалиться, не подкрепив себя хоть какой-нибудь надеждой; на этом основании Аполлон Егорович выпросил позволение явиться на следующее утро и, получив на то полное согласие, получив вдобавок портрет, которым при всяком удобном случае спешил снабжать своих знакомых автор «Полного Собрания», он расстался с кротким старичком, дав себе слово устроить завтра же судьбу «Непризнанной Индейки».

II.
Дальнейшие похождения «Непризнанной Индейки» с включением литературного вечера

К сожалению, мы знаем весьма немного подробностей насчет того, как вел впоследствии дела свои Аполлон Егорович, и какими способами устраивал он судьбу своей повести. Из жалких источников, дошедших до нас, явствует, однако ж, что он являлся несколько дней сряду в классический кабинет Ястребилова, декламировал с большим успехом оды Тирсиса Ивановича, говорил наизусть сатиры и афоризмы, и раз даже, в присутствии Клавдии Ильиничны, прочел с необыкновенным воодушевлением несколько пьес из «Маргариток» со включением известного всему миру стихотворения «К Другу, поднесшему автору букет незабудок». Нам положительно известен один лишь результат его совещания с кротким старичком, именно: «Непризнанная Индейка», исправленная и значительно пополненная Ястребиловым, отдана была сим последним в печать и в скором времени появилась в свет, украшенная зеленой оберткой и именем автора, вытисненным крупными буквами на заглавном листе.

Нет ни малейшего сомнения, что в богатой и даровитой натуре Аполлона Егоровича поэтический элемент преобладал сильнейшим образом над остальными элементами – это ясно, как день, и даже странно было бы питать на этот счет какие-нибудь сомнения. Но... Но человек, - как глубокомысленно замечает Тирсис Иванович (смотри «Полное Собрание» Ястребилова, том третий, отдел афоризмов, литеру Ч.), - человек всегда человек, и на этом основании в душе Дрянкова таилась точно так же немалая частица положительных стремлений. Он смотрел на свое произведение в одно и то же время с двух совершенно противоположных точек зрения: с одной стороны, «Непризнанная Индейка» представлялась ему колоссальным памятником, который ослепит своим блеском глупцов, не умевших оценить его, и гордецов, обращавшихся с ним, как с обыкновенным проживальщиком; с другой стороны, та же «Непризнанная Индейка» принимала вид драгоценного рудника, который хотя и не дал еще ни одной щепотки

золота, тем не менее, сулил целые горы этого металла. В первую точку зрения Дрянков старался поставить Аристарха Федоровича (и не знаю, насколько успел он в том), во вторую – Василькова (и в этом случае успел совершенно). Все это сделано было, разумеется, не без основания.

Аполлону Егоровичу требовалось занять денег у Порфирия Павловича, и вот именно по какому случаю: Тирсис Иванович и Клавдия Ильинична пригласили Дрянкова на литературный вечер, имеющий быть в понедельник, и Дрянкову следовало явиться в лайковых перчатках и лакированных сапогах. Так предписывал, по крайней мере, этикет литературных вечеров – этикет, за которым строго наблюдала Клавдия Ильинична.

Иначе, впрочем, и быть не могло. Литературные вечера Ястребиловых пользовались популярностью, и – прибавим от себя – заслуженною популярностью. Допускать без различия каждого встречного, как заикнулся об этом раз Тирсис Иванович, значило б уронить вечера в общем мнении: а общее мнение заключалось в том, что к Ястребиловым являлись одни лишь «избранные». С другой стороны, весьма легко могло статься, что какой-нибудь невзрачный господин занимает видное место на художественном поприще и удостаивается, по всей справедливости, великой чести присутствовать на вечерах. Задача была, следовательно, такого рода: требовалось сочетать в одну общую гармонию блеск славных имен с наружным блеском и придать всему некоторый аристократический оттенок, который, как известно, составляет необходимейшее условие литературных вечеров. Строгое соблюдение этикета, в отношении к наружному только виду, достигало в совершенстве такой цели. Чтоб дать легкое понятие о высоком значении ястребиловскнх литературных вечеров, считаю нелишним привести здесь отзыв одной газеты: «Дарования служат украшением сих мест (гласила газета), и кисть апеллесова, и лира орфеева, и звуки амфионовы, искусства минервины попеременно окружают там своими обольщениями; дары Помоны и Флоры обогащают сие жилище и составляют роскошь пиршеств знаменитого мецената и амфитриона. Вкус везде царствует, разум все услаждает, веселье все оживотворяет, радушие все оживляет, удовольствия стекаются сюда во множестве - и дружба знает путь к сему жилищу...».

Из этого явствует, что Аполлон Егорович должен был непременно явиться в белых перчатках и лакированных сапогах.

Все увенчалось вожделенным успехом: сердобольный Порфирий Павлович дал денег, и в назначенный понедельник, часов в десять вечера, Дрянков очутился на литературном вечере.

На дне его шляпы виднелась свернутая в трубку «Непризнанная Индейка», взятая с предусмотрительною целью сократить нетерпение многочисленного общества, которое, нет сомнения, собралось единственно для того, чтоб послушать чтение самого автора.

Литературные вечера происходили всегда на половине Клавдии Ильиничны, в большой комнате, игравшей роль парадной гостиной, но, в сущности, весьма схожей с кабинетом редкостей в античном вкусе. Стены, обитые полинялой штофной материей, унизаны были крошечными резными полочками из орехового дерева, которые уставлены были фарфоровыми куколками, китайскими уродцами, ящичками, раковинами, чучелами колибри, минералами, изделиями из точеного дерева, серебра и слоновой кости, чашками, старинною бронзой, хрусталем, что все вместе, благодаря лампам, покрытым цветными бумажными колпаками и воздвигнутым на маленьких круглых столиках, разбросанных но всей гостиной, производило самый фантастический эффект.

К несчастью, Аполлон Егорович, при всем своем старании, никак не мог дать себе ясного удовлетворительного отчета в общем эффекте, какой должна была производить гостиная; густая толпа замуравливала комнату вплоть до самой двери; и хотя из этой двери он мог любоваться потолком заветной гостиной, но потолок естественным образом не имел для него большого значения в настоящую минуту; попытка его пробраться вперед не имела никакого счастливого результата: он был мал ростом; в дверях стояли, как назло, колоссальные особы с непомерно широкими спинами, и спины эти представляли всякий

раз такое сильное сопротивление, что волею-неволею надо было оставаться у двери комнаты, предшествовавшей гостиной. Окинув недовольным взором эту комнату и увидев, что мебель ее покрыта была шляпами гостей, Аполлон Егорович рассудил весьма основательно, что и ему не мешало бы точно так же освободить свои руки от лишней амуниции; к тому же шляпа была новая, принадлежала ему собственно, и во всяком случае не следовало ее подвергать участи васильковского фрака, участи весьма плачевной, если принять в соображение непреклонное намерение Дрянкова пробиться с «Непризнанной Индейкой» сквозь толпу и стать на самое видное место гостиной. Шляпа поставлена на стол рядом с другими шляпами, и бессмертный проживальщик тронулся вперед. Не знаю, способствовала ли тому волшебная сила «Непризнанной Индейки», поместившейся во фрачном кармане, но как только Дрянков подошел к двери, толпа пришла в неописанное волнение, заходила во все стороны и доставила ему случай юркнуть в гостиную. Минуту спустя он уже и сам не рад был, что не остался в соседней комнате: каким-то непонятным случаем толстые спины снова очутились перед ним, дружным напором высадили его из толпы и вдруг притиснули к каким-то ступенькам. Оглянувшись назад, Дрянков увидел одно из тех возвышений, какие делаются подле окон, вероятно, для удобнейшего созерцания уличных видов; тут находились два кресла, поставленные одно против другого, и между ними миниатюрный рабочий столик.

Секунда – и Аполлон Егорович стоял уже на возвышении; другая секунда употреблена была на то, чтоб окинуть беглым взглядом гостиную.

Прежде всего, представилась ему довольно обширная перспектива из хохлов, коков, завитков и лысин, которая оканчивалась ярким пятном света; в этом пятне на голубом штофном диване с позолотою сидела Клавдия Ильинична со своими седыми тирбушонами, усами и орлиным носом, и Тирсис Иванович в темном фраке; оба они сидели рядышком, как женихи во время свадебного пира; такое сравнение подтверждалось длинным сухощавым стариком в черном фраке, белом дряблом жилете, белом галстуке и висячем жабо, сидевшим по правую руку Тирсиса Ивановича, и толстою дамой с красным лицом и голубыми цветами в чепце, сидевшею по правую руку Клавдии Ильиничны. Старичок и дама сохраняли почтенный вид посаженого отца и посаженой матери. Подле виднелось еще несколько дам и кавалеров, но толпа почти заслоняла их. Аполлон Егорович мог различать только прически, чепцы, наколки и цветы на чепцах и наколках; главное же внимание его обращено было на овальный стол, находившийся перед супругами Ястребиловыми; стол покрыт был ковром; на нем лежали две раскрытые книги, освещенные высокою лампой. Толпа продолжала между тем волноваться; во всех концах раздавались восклицание: «Превосходно! поразительно! Какая сила! Сколько чувств! Какое могущество!». Из следующих восклицаний Дрянков узнал, что Тирсис Иванович прочел первые два действия из своего «Мазида» и намерен приступить к чтению последних трех действий.

Внезапно Тирсис Иванович кашлянул, оглянул общество блестящими глазками и, положив руку на лежавшую перед ним книгу, добродушно улыбнулся. Посаженый отец нетерпеливо замахал руками, крикнул: «шт! шт!» - общество разразилось единодушным шипеньем, и вдруг в гостиной воцарилось молчание. Тирсис Иванович кашлянул вторично, и началось чтение «Мазида».

Не должно удивляться восторженному участию, какое принимало общество в чтении «Мазида»: никто еще из присутствовавших не знал этой трагедии, и всем было одинаково приятно и даже лестно некоторым образом услышать ее в первый раз из уст самого автора. Простительно было не разделять таких чувств одному Аполлону Егоровичу, да и то потому лишь, что он не только читал «Мазида», но знал его наизусть. Он нетерпеливо опустился на одно из кресел, положил локоть на миниатюрный столик и предался самым безотрадным размышлениям. Поводом к таким размышлениям было то, что чтение трех действий (особенно если принять в соображение беспрерывные залпы рукоплесканий и восторженные выходки посаженого отца) продлится далеко за полночь и ему останется, а,

может быть, и вовсе даже не останется времени на чтение «Непризнанной Индейки». Переходя постепенно от одной мысли к другой, Дрянков перенесся к той отдаленной эпохе, когда в школе еще запала ему первый раз идея его повести, потом как развилась эта идея, как начала осуществляться, осуществилась – и мало-помалу овладело им такое раздумье, что он не слыхал, как пробило одиннадцать часов и как затем пробила полночь.

Страшный треск, гул и крики вызвали его к действительности.

Толпа волновалась еще сильнее прежнего; пятьдесят рук били в ладоши; цветы на дамских прическах колыхались; посаженый отец неистово размахивал руками, закидывал одну ногу на другую, перевертывался в своих креслах, конвульсивно потряхивал головою и кричал разбитым голосом, покрывавшим всеобщий гул: «Нет, я не могу... я не в силах... это действует на мои нервы! Превосходно! Я не в состоянии, я потрясен! Верх совершенства!». Тирсис Иванович озирал всех с лучезарною улыбкой, и на устах его дрожал веселенький смех; перед ним лежала закрытая книга.

В эту самую минуту в дверях гостиной показался старый гайдук с серебряным подносом, уставленным чашками; за ним выступали такие же гайдуки с такими же подносами. Побуждаемый с одной стороны голодом, начинавшим завывать в желудке, с другой – явною необходимостью воспользоваться всеобщею суматохой, чтоб пробраться на видное место, Аполлон Егорович спустился с возвышения и поспешил захватить на лету чашку и какой-то эфирный бисквит... Аполлон Егорович, должно заметить, привык выпивать вечером в Ханских Прудах добрые два стакана чаю и закусывать дюжиною сухарей или полновесною булкой, и потому в голове его, беспрерывно мыслящей, невольно явилось сравнение между стаканом Ханских Прудов и чашкою литературного вечера, в которой заключался всего один глоток; эфирный бисквит хотя и издавал весьма ароматический, аппетитный запах, но также мог служить скорее закуской откормленной канарейке, чем голодному человеку, прослушавшему вдобавок три действия классической трагедии. Такие сравнения естественным образом пробудили в нем желание протянуть руку к другой чашке, потом к третьей и т. д., до бесконечности, и он думал уже привести в исполнение свою мысль, рассчитывая весьма основательно, что будет еще время пробраться вперед, потому что присутствующие, по всем вероятиям, должно быть, голодны и постараются продлить чинную церемонию; но, к великому его ужасу, общество снова заволновалось; две широкие спины очутились снова перед ним и дружно принялись высаживать его к возвышению. В то же время в ушах его прозвенел дружный хор восторженных восклицаний: «Тише! тише! шт! тише! Клавдия Ильинична будет читать свою пьесу “К Другу, поднесшему автору букет незабудок”. Это – последняя песнь нашего лебедя! Последняя песнь незабвенного поэта! шт! шт!». Оглушенный говором, стиснутый двумя спинами, Дрянков сделал отчаянный прыжок и очутился снова на возвышении. Немало удивился он, однако ж, когда увидел, что оба кресла были заняты: на первом красовался толстенький господин апатического и самого недовольного вида; на втором сидел востроносый худощавый господин с длинными черными волосами, наводившими лоск на воротник его черного фрака. Аполлон Егорович укрепился на верхней ступени, вынул из кармана «Непризнанную Индейку» и положил ее с неподражаемою небрежностью на миниатюрный столик, между двумя креслами; в ту же минуту он почувствовал в левой руке чью-то мокрую руку и обернулся: перед ним стоял вертлявый белокурый автор «Заоблачных Трелей».

- Ах, как я рад, как рад, что встретился с вами! - воскликнул вертлявый поэт. - Я давно заметил вас, но никак не мог пробраться - такое многочисленное, блестящее общество!.. Можете вы мне уступить подле себя крошечное место?..

Дрянков пожал мокрую руку и отодвинулся.

- Я совершенно счастлив, что встретил вас, - продолжал поэт, - вчера еще прочел я вашу прекрасную повесть: прекрасно! прекрасно! Последняя сцена в состоянии исторгнуть слезы из каменного сердца...

- Очень вам благодарен, - отвечал Дрянков, отодвигаясь немного в сторону, чтобы два господина, сидевшие в креслах, удобнее могли слышать похвалы его произведению. - Не знаете ли, - примолвил он, наклоняясь к уху нежного собеседника, - кто эти два господина, которые подле нас?..

- Толстенький, это - Шишкин, пишет повести; другой - поэт Пендрин, - замечательные таланты! - отвечал шепотом автор «Трелей», который не был знаком с Шишкиным и Пендриным, но очевидно горел желанием познакомиться с ними, потому что впивался в них заискивающими, подобострастными глазами. - Ах, кстати, о поэзии! - подхватил он. - Читали ли вы мои «Заоблачные Трели»? Скажите мне откровенно ваше мнение... скажите прямо, я дорожу вашими советами... Не правда ли, все это очень слабо, юно, можно даже сказать... бесцветно? Я сам знаю свои недостатки...

Вертлявый автор «Заоблачных Трелей» принадлежал к числу тех скромных поэтов, которые унижают достоинство своих произведений единственно с тою целью, чтоб дать только этим способом повод к толкам и рассуждениям о вышеупомянутых произведениях; они охотно выслушивают советы, умоляют не щадить их и быть с ними по возможности искреннее; все это, разумеется, нисколько не мешает им окрысиваться и питать в душе непримиримую вражду к тем наивным существам, которые произносят искренние суждения.

Не знаю, известны ли были все эти подробности Аполлону Егоровичу, но он поспешил изъявить свое удивление в необычайной даровитости автора «Заоблачных Трелей», и с этой минуты сердце вертлявого поэта переполнилось живейшей симпатией к «Непризнанной Индейке», которая, по словам его, должна была стоять наряду с лучшими произведениями нашего времени.

- Я отчасти согласен с вами, - скромно отвечал Дрянков, - и по тому самому мне хотелось бы прочесть ее нынче перед многочисленным собранием...

- Ах, как было бы это хорошо! С каким наслаждением прослушал бы я ее еще раз!... Но, к несчастью, мы, верно, лишимся этого удовольствия: сейчас начнет читать Клавдия Ильинична, а за нею – я это наверное знаю – Куликов прочтет свое послание «К замку на Воробьевых горах» – гениальная вещь! Да, впрочем, и головушка-то гениальная. Посмотрите, посмотрите, вот он! - сказал нежный поэт с какою-то дикою восторженностью, которая, во всяком случае, была оригинальнее его «Заоблачных Трелей».

Дрянков взглянул по направлению, куда указывали умильные глазки собеседника, и увидел неподалеку от голубого дивана Леокадия Куликова, который, запустив правую руку за жилет и наклонив голову, сидел в мрачном раздумье.

- Скажите, пожалуйста, кто эта дама, которая сидит подле Клавдии Ильиничны? - спросил Аполлон Егорович, кивая на посаженую мать.

- Не-уже-ли вы ее не знаете? Марья Ивановна Валдайская, гениальнейшая женщина, автор «Симфоний» и редактор известного «Детского Альманаха», где помещена «Последняя песнь лебедя»...

- А тот старичок, что сидит подле Тирсиса Иваныча?

- Ах, удивительный, необыкновенный старичок! - восторженно отвечал поэт. - Это отец Клавдии Ильиничны...

Но едва Дрянков получил это объяснение, как старик быстро вскочил со своего места и захлопал в ладоши.

- Шт! шт! господа! messieurs! «Песнь лебедя» в рукописи! Последняя песнь нашего лебедя! Прошу покорнейше слушать! - закричал он, бросаясь со всех ног в кресла, размахивая руками и впиваясь глазами в Клавдию Ильиничну, которая между тем медленно приподымалась с тетрадкою в руках.

- Шт! шт! - послышалось во всех концах гостиной.

- Шт! шт! - подхватили задние ряды.

- Шт! - повторил какой-то непомерно толстый господин, находившийся подле возвышения.

При этом он повернул круглое лицо свое, украшенное кудрями седоватых волос.

Так как лицо это принадлежало одному из тех колоссов, которые вытесняли всех своими спинами, то Дрянков обратился с расспросами к нежному собеседнику.

- Не-уже-ли вы его не знаете? - возразил тот шепотом, - Торкват Арменинов... один из самых замечательных современных поэтов – гениальная голова! автор «Опытов», «Опытов юной музы», «Опытов воркований юного голубка» – страшный талант!

- Но скажите, пожалуйста, отчего же он пишет одни «Опыты»? - спросил едва внятно Дрянков. - Он, кажется, уже человек немолодой...

- А в том-то и штука: он этим способом надул всех критиков, которые, как вам известно, преследуют с закоснелою злобою поэтов. Критики убеждены, что Торкват Арменинов – молодой человек, только что выступающий на литературное поприще, и потому отзываются о нем с величайшим снисхождением... «Опыты», поощряемые таким образом всеми журналами, расходятся в страшном количестве... я вам говорю: гениальная головушка! Да чего же лучше, посмотрите, как она сформирована: вы отсюда можете видеть его лоб... взгляните, взгляните, вот отсюда вам будет удобнее - каков лоб, а?..

- Да, действительно, лоб очень замечательный, - пробормотал Аполлон Егорович.

Начало чтения «Последней песни лебедя» прекратило беседу; нежный поэт обратился весь в слух и зрение; что же касается до Дрянкова, то он навел в угол глаза на Шишкина и Пендрина, которые продолжали сидеть на своих креслах, перекидываясь время от времени отрывчатыми фразами.

- Я ничего не читаю! - говорил поэт Пендрин, потирая переносицу.

- И прекрасно делаешь, - отвечал тем же тоном нувеллист Шишкин, потирая желудок.

Последовало молчание.

- В настоящее время решительно ничего невозможно читать, - продолжал Пендрин.

- Я совершенно разделяю такое мнение, - отвечал Шишкин.

Последовало молчание.

- Было время, - начал поэт Пендрин, - являлись у нас замечательные произведения людей с истинным талантом, писали те, другие, писал и ты, я все читал тогда; было, братец, что и читать... но ведь ты уж не пишешь?..

- Нет...

- Ну, я ничего не читаю: все дрянь и не стоит внимания...

Последовало продолжительное молчание.

- Я в точно таком же положении, - шепнул нувеллист Шишкин, - был у нас Пушкин, Лермонтов, ты писал, я с жадностью пожирал ваши стихи.. но ведь ты уж ничего не пишешь?..

- Нет, - отвечал Пендрин.

- Ну! я ничего и не читаю: все дрянь, не стоят внимания - бездарность! - отвечал Шишкин.

Громкий взрыв рукоплесканий обратил внимание Аполлона Егоровича на ту часть гостиной, где происходило чтение.

- Нет, я не могу, я не в силах! это действует на мои нервы! гениально! я не в состоянии! я не могу выдержать! верх совершенства! - кричал отрывчатым голосом отец Клавдии Ильиничны, кувыркаясь в своих креслах, конвульсивно потряхивая головой и дергая с каким-то энтузиазмом кончики своего жабо.

- Превосходно! превосходно! - раздалось в толпе.

- Неподражаемо! - воскликнул Тирсис Иванович, целуя с восторгом женину руку. (Другая рука великого поэта покоилась между ладонями Валдайской, знаменитого редактора «Детского Альманаха»).

- Неподражаемо! неподражаемо! я просто не в состоянии! верх совершенства! это действует на мои нервы! - кричал отец Ястребиловой, между тем как сама Клавдия Ильинична торжественно обводила общество лезвием своего орлиного носа.

Внезапно Марья Ивановна Валдайская выпустила руку великого поэта, приложила батистовый платок к глазам своим и исчезла в соседние двери.

- Кажется, этой даме... как бишь ее... редактору альманаха, сделалось дурно... - произнес Дрянков, наклоняясь к автору «Заоблачных Трелей», который посылал нежные улыбки издателю «Лермонтовской шпоры», стоявшему в отдалении.

- Кто? Она, Валдайская? Нет, ничего; она удалилась в соседнюю комнату, чтоб высказать в звучных, прекрасных стихах впечатления, произведенные на нее чтением Клавдии Ильиничны... Всякий раз, когда читают Ястребиловы, она дарит нас своими гениальными экспромтами... увидите... Через час какой-нибудь, как только кончится чтение «Лебедя», она вернется с бесподобными стихами. Страшный талант! - проговорил вертлявый поэт, пожимая руку Дрянкова.

Вертлявый поэт говорил сущую правду. Как только голос Клавдии Ильиничны замолк посреди грома рукоплесканий, в гостиной показалась Марья Ивановна Валдайская; в руках ее находился лист бумаги, исписанный со всех четырех сторон.

Мало-помалу Аполлон Егорович пришел к тому печальному заключению, что следовало отложить всякую надежду прочесть в этот вечер «Непризнанную Индейку», и потому принялся внимательно наблюдать физиономию Леокадия Куликова, который с той самой минуты, как началось чтение экспромта, не переставал хмурить брови, глядеть на часы и обнаруживать все признаки самого глубокого отчаяния.

Новый взрыв рукоплесканий.

Гениальный отец Клавдии Ильиничны вставал со своего места и объявлял, что чтение неподражаемого экспромта подействовало сильнейшим образом на его нервы; затем он раскланялся и начал прочищать себе дорогу в толпе, которая теснилась к дверям.

- А вот и очередь Куликова! - посмотрите, посмотрите, мсье Дрянков: вот он приподнялся со своего места. Эх, славная головушка! Взгляните на него, взгляните! Но куда же это все идут? Что же это такое? Надеюсь, мсье Дрянков, вы останетесь слушать «Послание к замку на Воробьевых горах»? - говорил вертлявый поэт, схватывая за руку собеседника и порываясь вниз.

Дрянков не сделал никакого возражения: его молчание служило несомненным знаком полнейшего согласия.

- Извините меня, - заговорил нувеллист Шишкин, вставая неожиданно с кресел и притрогиваясь к руке вертлявого поэта, - вы часто бываете у Ястребиловых?

- Я не пропускаю ни одного литературного вечера, - восторженно отвечал поэт.

- Скажите, пожалуйста, что здесь... ужинают? - подхватил Шишкин.

- Нет-с, никогда; помилуйте, до того ли!.. Ах, Боже мой, отчего же все уходят?., какая досада!.. Мсьё Дрянков, посмотрите, посмотрите, как вдруг побледнел Куликов, что с ним? Пойдемте поскорее к нему, - заключил скороговоркою автор «Заоблачных Трелей», бросаясь в толпу.

Но Аполлон Егорович остался на нижней ступени возвышения, и это дало ему возможность явственно расслышать, как нувеллист Шишкин сказал поэту Пендрину:

- Знаешь, братец, с этими литературными вечерами так отощаешь, что тебя скоро отец родной не узнает!..

- Я совершенно согласен с тобою, - отвечал Пендрин, потирая переносицу.

Аполлон Егорович разделял точно так же это мнение; и так как оба писателя направились к двери, то он последовал их примеру, не встретив на этот раз ни малейшего препятствия со стороны толстых спин.

Вступив в соседнюю комнату, Аполлон Егорович направился прямо к тому месту, где оставил свою шляпу. Но каков был его ужас, когда вместо новой шляпы увидел он

расплюснутый неуклюжий картуз, который мог только поместиться на исполинской голове Торквата Арменинова!

Этим кончился литературный вечер и вместе с ним столичные похождения «Непризнанной Индейки».

III.

Судьба сталкивает два нежные сердца, созданные одно для другого. Порфирий Павлович знакомится с одним гостеприимным семейством и наслаждается истинным счастием

А между тем много утекло воды в первом нумере аристократической гостиницы, которую продолжает украшать своим присутствием великий человек из Горшкова. Были происшествия всякого рода, но все эти происшествия, каково бы ни было их значение в этой правдивой истории, должны непременно бледнеть и меркнуть перед одним событием, главным актером которого был, однако ж, не Балахнов, а сердобольный друг его, Порфирий Павлович. Дело вот в чем: гастрономические увеселения, которым предавался Васильков со всею неумеренностью пылкого темперамента, расшатали его нежную натуру, развинтили его члены и свернули его набок. Вот уж третьи сутки, как Порфирий Павлович не встает со своего дивана, наполняя одну из комнат первого нумера болезненными стонами.

Обстоятельство это, конечно, не имеет само по себе большой важности; но, если принять в соображение гибельное действие, какое могли произвести на непривычный желудок частые возлияния лампопо, беспрерывные тосты в честь Аристарха Федоровича, порции жирного поросенка с тертым хреном (любимое блюдо Василькова), если принять в соображение непрерывный ряд белых ночей, проведенных Порфирием Павловичем посреди удовольствий, столько же разнообразных, сколько и одуряющих - невольно придешь в справедливое изумление перед тем, как мог еще Порфирий Павлович не сойти в преждевременную могилу, и как, вообще, что ни говорят, крепка и могуча человеческая природа.

Совсем противного мнения был на этот счет Аристарх Федорович.

С той минуты, как физические недуги пригвоздили Василькова к дивану, Балахнов не переставал подтрунивать над его слабостью, называл его бабой и многими другими эпитетами игриво-юмористического характера.

- Стыдись, братец, - сказал Аристарх Федорович, входя на третье утро в комнату больного и садясь в кресло подле его изголовья, - стыдись, любезный, как тебе не совестно сокрушаться духом от такой безделицы!.. Засорил желудок - вот и все тут; с кем этого не случается!.. Небось не умрешь!.. Вот другое дело, если б ты, например, сломал себе ногу, или карета проехала бы по твоему телу... ну, я, конечно, ничего бы не сказал тогда... а это вздор, пустяки!..

- Меня, Аристарх Федорович, не столько сокрушает болезнь, сколько мысль об этой несчастной встрече с Фанагорией Петровной, - отвечал Васильков печально-расстроенным тоном. - Ох! Я был тогда в таком виде... все, все это случилось в Петровском парке... теперь весь уезд узнает... станут говорить Бог знает что... надо смотреть с точки, Аристарх Федорыч... Это ужасно!..

- Ты опять за свои пустяки, любезнейший! Во-первых, говорить ничего не будут, потому что всякий знает, что ты со мной; довольно, надеюсь, моего присутствия, чтоб оградить и предохранить тебя от дурных предположений, могущих произойти в противном случае, - сказал с достоинством Балахнов, - а во-вторых, если б даже и стали болтать о тебе всякий вздор, что ж из этого? «На чужой роток не накинешь платок», говорит мудрая пословица славных наших прадедов. Взводят небылицы и не на таких, братец, тузов, как ты... Огорчаюсь ли я, например, сплетнями уезда? Пускай судят, рядят и толкуют – все это вздор! Человек должен только страшиться суда собственной своей

совести, - примолвил Аристарх Федорович, выпрямляя грудь и горделиво поднимая голову. - Твоя совесть чиста... чиста ли твоя совесть? - заключил он, строго взглянув на больного.

- Кажется, я ничего не сделал такого... - пробормотал Васильков, испуская глубокий вздох.

- А когда так, стало быть, и сокрушаться нечего. Мой совет: выбрось всю эту дурь из головы и пошли, как я еще вчера говорил, за доктором.

- За доктором? Нет, Аристарх Федорыч, ни за что на свете! - воскликнул Васильков, придавая своим испуганным глазам неслыханные размеры.

- Это что еще?..

- Ни за что на свете!.. - повторил Васильков, прикутываясь халатом.

- Ты, братец, попросту, кажется, рехнулся, - сказал Балахнов, рассеянию всматриваясь в кончики своих сапог.

- Нет, Аристарх Федорыч, клянусь! Надо смотреть с точки на тот предмет, - простонал Порфирий Павлович, - посудите сами: придет незнакомый, чужой человек, без всякого участия, пропишет рецепт... какое ему до меня дело? Ох! я охотно лечился в Горшкове у Карла Готлибовича... тот приятель... и я его знаю, и он меня знает... это совсем другое дело: доверенность, дружба... вы сами знаете, для больного это всего дороже...

- Ха, ха, ха! Нет, как я вижу, ты того... повихнулся, любезнейший! А впрочем, слушать тебя нечего... Эй, Сидор! - крикнул Балахнов, поворачиваясь к двери. - Сидор, продолжал он, когда явился камердинер, - ступай и отыщи сейчас же доктора. Болезнь Порфирия Павловича совсем не так опасна, чтоб нужны были столичные медики; спроси просто доктора; здесь, я полагаю, всякий знает... А ты, любезный, выбрось эту дурь из головы, - примолвил он, поворачиваясь к Василькову, лицо которого сохранило такое выражение, как будто готовились произвести над ним самую трудную операцию. - Стыдись быть столь слабодушным! Надеюсь увидеть тебя к вечеру бодрым душой и телом, толстым, румяным и совершенно здоровым... Теперь покуда прощай, любезный; у меня сегодня кой-какие дела, - заключил Аристарх Федорович, поспешно направляясь к двери.

Оставшись наедине, Порфирий Павлович испустил протяжный вздох и окинул комнату глазами, выражавшими безотрадную грусть.

Равнодушие, с каким говорил Аристарх Федорович, его насмешки, невнимание - все это ложилось тяжелым бременем на чувствительную душу нежного Порфирия Павловича. Того ли следовало ожидать от друга? Принимая в соображение собственные свои чувства и обсуждая здраво и ясно, как стал бы он действовать в случае, если б Балахнов очутился на его месте, Васильков имел полное право огорчиться при мысли, что Аристарх Федорович не просиживал ночей у его изголовья, не утешал его, не обнаруживал перед ним каждый час, каждую минуту знаков трогательного, дружеского участия, что в настоящую минуту было бы для Василькова действительнее всяких микстур, примочек и катаклизмов. «Дружба познается в несчастии». Изречение это, забытое Васильковым вскоре после того, как он перестал упражняться прописями, ярко отразилось теперь в мозгу его и частью разъяснило перед ним настоящую причину равнодушия Балахнова. Мысли, одна другой печальнее, зароились в голове его, тяжело опущенной на пеструю подушку. Все, впрочем, к тому способствовало: невозмутимая тишина царствовала в нумере (Сидор исчезал всякий раз, как уезжал Аристарх Федорович; Дрянков пропадал по целым суткам с тех пор, как вышла в свет его повесть), наружность самой комнаты, в которой все украшения заменялись коленкоровою шторой, изображавшей два дерева, разделенные лиловым ручьем, и выведенная на этой шторе надпись:

«Ручей два древа разделяет;

Но ветви их...» и т. д.

конечно, могли только раздражать в настоящем случае Василькова, точно так же, как надпись на зеленой обертке «Непризнанной Индейки», лежавшей перед ним на столике вместе с огарком, переломленными щипцами и пустым кошельком. «Другу и благоприятелю, П.П. Василькову, в изъявление глубокого сочувствия, наполняющего душу автора», гласил Аполлон Егорович, не показавший со всем тем Василькову кончика своего носа с той самой поры, как занял у него денег, и, очевидно, - теперь уж это ясно - смеявшийся в душе над чувствами дружбы.

Так размышлял Порфирий Павлович, как вдруг в дверях появился Сидор.

- Порфирий Павлович, сказал он, - дохтур дожидается в гостиной.

Меланхолическое лицо Василькова приняло внезапно такое страшное выражение, что Сидор выюркнул из двери и побежал за доктором, питая в душе уверенность, что если больному нужна помощь, так, разумеется, в настоящую минуту.

Когда доктор вошел в комнату, больной лежал пластом, закутанный герметически со всех сторон халатом.

- Подними, милый мой, штору, - сказал доктор, обращаясь к Сидору.

Слова эти произнесены были таким нежным, можно даже сказать, чувствительно-трогательным голосом, что Порфирий Павлович невольно раскрыл правый глаз и приложил его к одной из халатных щелей. Мало-помалу левый глаз его последовал примеру своего товарища, и вскоре вся голова Порфирия Павловича вынырнула из-под халата.

- Как вы себя чувствуете? - спросил доктор, приближаясь к пациенту и устремляя на него меланхолический взор.

- Очень хорошо, доктор, клянусь, как честный человек! - отвечал Васильков, успокоенный несколько наружностью врача.

Наружность врача была в самом деле такова, что сразу действовала самым успокоительным образом на больного и даже пробуждала в нем самые приятные чувства. Представьте себе молодого человека лет тридцати, среднего роста, с синими глазами томного свойства и белым полным лицом. Белокурые, плоские, тщательно приглаженные волосы спускались двумя неправильными полукругами вдоль пуховых его щек, украшенных рыжеватыми бакенбардами, которые, очевидно, должны были закутываться на каждую ночь носовым платком и умасливаться каждое утро душистым фиксатуаром, чтобы сохранить свой лоск и изящную форму. Одежда доктора показывала в нем человека, высоко ценившего дарованную ему природою красоту и умевшего извлекать из каждой туалетной принадлежности такие выгоды, которые выставляли эту красоту в самом рельефном виде.

- Хотя я лечу одних дам... это моя специальность, - пролепетал медик таким сладким голосом, как будто выпрашивал взаймы денег, - но мне было бы весьма приятно, если б все мужчины удостаивали меня точно так же своею доверенностью. Надеюсь, моя наружность не внушает вам никакого опасения, - примолвил он, медленно приподнимая томные глаза на пациента.

- Помилуйте, доктор, совершенно напротив! - произнес Васильков, между тем как медик вынимал из кармана черепаховый гребешок, на поверхности которого вделано было маленькое зеркальце.

- Мне весьма приятно слышать это, - проговорил женоподобный врач, бросая приветливую улыбку на зеркальце, - очень даже приятно это слышать. В нашем звании наружность имеет... имеет большое значение. Первое впечатление больного при взгляде на доктора рождает тотчас же симпатию или антипатию, и через то самое ускоряется или замедляется ход болезни... это уж невольно. Я сужу по опыту: все дамы, которых я имел счастие пользовать, при моем появлении падали в обморок, но потом, при первом взгляде - все это тотчас же проходило; они охотно протягивали мне свои руки...

Сказав это, доктор положил в карман зеркальце, пощупал Василькову пульс, поглядел на его язык и объявил, что нет никакой опасности, что надо стараться, по

возможности, более развлекать себя, ибо главная причина болезни происходит не столько от физического расстройства, сколько от сильного душевного потрясения, имевшего прямое действие на сердце.

- Может быть, другие прописали бы вам микстуры или посадили бы вас на строгую диету; но я считаю это совершенно лишним в настоящем случае, - прибавил мелодически доктор, - главное: старайтесь окружить себя людьми, которые вам особенно милы или дороги; общество искренних друзей...

Васильков испустил протяжный вздох.

- Если у вас нет здесь таких людей, - поспешно подхватил доктор, взяв руку больного и выразив на лице своем трогательное участие, - ищите развлечений. Я полагаю, что дамское общество... или, например, прогулка по Петровскому парку, или вечер, приятно проведенный в театре, принесли бы вам несомненную пользу.

- Ах, доктор! - воскликнул Порфирий Павлович, пожимая с горячностью его руку, - я чувствую, что от одних слов ваших мне уж делается легче! Да, вы изволили совершенно справедливо заметить: мне именно грустно, так, знаете, тоска какая-то, уныние... кругом ни одного человека, ни одного доброго приятеля... Извините, доктор, если я осмелюсь спросить ваше имя и отчество... я так рад, право...

- Аполлинарий Ильич Миловзоров, - отвечал доктор приятным голосом.

- Как, может ли быть, Миловзоров? Ах, Боже мой, какой счастливый случай!.. Ведь я, Аполлинарий Ильич, знаю ваших сестриц: мы познакомились в нашем уездном городе Горшкове... так точно, они говорили мне, что у них есть братец, доктор в Москве! - воскликнул Васильков, восторженно хлопая глазами.

- Так это вы изволили с ними встретиться? - пролепетал Миловзоров, бросая приветливую улыбку.

- Как! неужели они писали вам о нашей встрече? - вскричал Васильков, обуреваемый порывами душевного восторга.

- Писали и даже очень много-с. Вы были, кажется, столь обязательны, что купили им лошадок?..

- О, помилуйте, что ж это такое!.. Это, это... это, Аполлинарий Ильич, такая ничтожная услуга! Я почитаю себя счастливым уже тем, что удалось хоть чем-нибудь доказать свою... свою преданность, - перебил Васильков, подпрыгивая на диване.

- С ними, должен я вам сказать, случилась после того маленькая неприятность, - меланхолически произнес Миловзоров.

- Ах, Боже мой! что такое? - спросил Васильков, обнаруживая неподдельное участие в каждой черте своего лица.

- Представьте, они не могли доехать до дома: лошади эти околели на дороге, так что сестры принуждены были купить других...

- Что ж это такое? Я просто не понимаю, - краснея, произнес Порфирий Павлович, при чем физиономия его выразила несомненные признаки глубочайшей скорби и досады. - А, впрочем, - прибавил он, поправляя свои волосяные волюты, - я хорошо знаю эту статью и глядел тогда во все глаза... я, кажется, никак не мог ошибиться, потому что в то время, как полк наш стоял на травяном продовольствии, я исправлял должность ремонтера, и лошади были у меня всегда отличные... Верно, кучер ваших сестриц, или что-нибудь такое... во всяком случае, мне весьма больно слышать это. Надеюсь, ваши сестрицы не сердятся... я не виноват, клянусь вам, не виноват!

Миловзоров поспешил успокоить Василькова, сказав ему при этом, что сестры не только не сердятся, но даже с восхищением припоминают горшковскую встречу. Такое известие, как и следовало ожидать, подействовало на Порфирия Павловича самым благоприятным образом; он объявил, в свою очередь, что никогда, до гробовой доски, не забудет горшковской ярмарки, доставившей ему случай познакомиться с милыми и любезными сестрицами Аполлинария Ильича.

Такие объяснения должны были завязать между доктором и пациентом приятную беседу. Через полчаса Миловзорову известно уже было во всех подробностях несчастное сусловское происшествие, и он убедился раз навсегда, что верно угадал болезнь Василькова, приписав главное основание ее не столько причинам физическим, сколько душевным потрясениям, имевшим прямое действие на сердце. Впоследствии Миловзоров любил приводить этот факт, как несомненный признак своей проницательности.

Затем Аполлинарий Ильич сообщил своему пациенту весьма много любопытного о самом себе, сказал, что он точно так же женат, что жена его – настоящий ангел, а тесть и теща – честнейшие и добрейшие люди, какие когда-либо существовали на свете. Тесть и теща (которых Миловзоров называл «боперчик» и «бельмерочка») пользовались превосходным состоянием, доставшимся им от покойного отца, торговавшего бронзой, старым фарфором, картинами и драгоценною древнею мебелью. После этого Миловзоров почел нелишним объяснить пациенту, почему, при огромном состоянии тестя и тещи, занимается он практикой. Из слов его оказалось, что практика была ему столько же полезна, сколько необходима; с точки зрения пользы – она доставляла ему развлечение; необходима была она потому именно, что доставляла случай отучать жену от неуместной ревности. Миловзорова была страшно ревнива, не давала мужу ступить шага, преследовала его всюду и настоятельно требовала, чтоб муж ни под каким предлогом не лечил дам. Аполлинарий Ильич, конечно, не был виноват в том, что природа даровала ему красоту; не виноват был он также и в том, что страждущие дамы посылали преимущественно за ним...

Порфирий Павлович не находил в душе своей ничего такого, что могло бы противоречить мнению дам в отношении к милому доктору. Он был от него в восхищении; мало того: на другое утро, когда Аполлинарий Ильич явился в его комнату, он объявил, что готов пролежать целый год в постели, лишь бы пользоваться постоянно обществом такого медика. Общество самого Порфирия Павловича, следует предполагать, доставляло такое же точно наслаждение Миловзорову. Он являлся аккуратно каждое утро, просиживал целые часы сряду и, смотрясь в зеркальце, повествовал разные занимательные истории, пересыпанные бесчисленным множеством фактов, из которых каждый доказывал неоспоримым образом, что наружность его играла всегда самую важную роль в удачных его лечениях...

Должно отнести однако ж к чести Миловзорова, что главный предмет интересных историй составляли все-таки его жена, тесть и теща. Мало-помалу перед Васильковым раскрылась панорама такого семейного счастья, что сердце его замирало от сладостного трепета. Из дальнейших источников, дошедших до нас чрез Порфирия Павловича, узнаем мы, что Андрей Андреевич Бычков (тесть Миловзорова) и Марья Кузьминична Бычкова (теща) были в самом деле достойны того, чтобы зять превозносил их до небес. Доброта тестя и тещи явствует из следующих двух фактов: 1) до женитьбы своей Аполлинарий Ильич был не что иное, как бедный студент медицинского факультета, приходивший давать уроки русского языка купеческой дочке. Следуя неизбежному року, Бычкова почувствовала вдруг непреодолимое влечение к Миловзорову. Непреодолимое влечение, само собою разумеется, должно было обратиться в непреоборимую страсть. Дочка упала в ноги к отцу и матери, заливаясь слезами; отец и мать взглянули на дочь, потом на Миловзорова, который плакал в углу, потом сами зарыдали, потом слезы всех четверых смешались в один общий поток, и потом, невзирая на то, что все богатство молодого человека заключалось в одних бакенбардах, назвали его своим сыном.

Пораженные умом, способностями, ученостью и красотою зятя, тесть и теща ежечасно благодарили судьбу, даровавшую их дочке такого феникса. Дочка, со своей стороны, была также очень счастлива, за исключением разве тех случаев, когда Аполлинарий объявлял, что так как непредвиденные обстоятельства поглотили деньги, выданные тестем на месячные расходы, то ему необходимо будет прибегнуть к практике, специальность которой заключалась, как уже известно, в лечении страждущих дам; жена

спешила снабжать его требуемою суммой и этим способом всегда возвращала мужа к домашнему очагу. 2) Значительный проигрыш в карты, сделанный Миловзоровым в первый год его супружества, нисколько не унизил его во мнении тестя и тещи. Пораженные сначала этим известием, старики вошли в комнату зятя с твердым намерением прочесть ему наставление; но, увидев слезы на щеках его, тотчас же упали духом, прослезились сами, и тут же обещали забыть прошлое и ни в каком случае даже не упоминать о нем.

Слушая все это, Порфирий Павлович умилялся душою; после всего этого было бы дико с его стороны – именно дико и даже нелепо – не чувствовать сильной потребности сойтись, сдружиться и сблизиться с почтенным семейством Миловзорова.

Случай не замедлил представиться... Здесь не место входить в ученые исследования, защищать или оспаривать многочисленные медицинские теории или вдаваться в умозрительные рассуждения насчет того, производит ли действительно наружность медика более или менее благодетельное влияние на расстроенный организм пациента; к тому же нам нет до этого ровно никакого дела; обязанность наша состоит исключительно в том, чтоб выставлять одни факты и результаты; а результат был такого рода, что Миловзоров поставил Василькова на ноги в самом скором времени, и не далее как недели чрез три явился с ним в театре.

Тут только увидел Порфирий Павлович, как могущественна была в самом деле красивая наружность медика-друга. Следя внимательно за дамскими биноклями, он убедился, что они преимущественно маневрировали вокруг лоснящихся бакенбард Миловзорова. Порфирий Павлович пригладил собственные свои бакенбарды и испустил глубокий вздох. Причина такого вздоха заключалась в том, что в душе его, вследствие естественного сцепления идей, пробужденных внешними предметами, возникло глубокое сожаление насчет того, зачем он в свое время не избрал карьеры медицинской; такие безотрадные размышления, конечно, не мешали ему вращать глазами по направлению каждого хорошенького личика. Одно лицо, глядевшее из бенуара, особенно поразило его: оно составляло неотъемлемую принадлежность молоденькой женщины, в голубом кисейном токе с серебряными кисточками; дама, казалось, была в большом волнении: полная грудь ее вздымалась сильнейшим образом и глаза впивались, как стрелы, в бакенбарды Миловзорова, который обводил между тем томным взором другие ложи. Сердобольный Порфирий Павлович почел своею обязанностью обратить внимание Аполлинария Ильича на бенуар.

- Это жена моя... - нежно пролепетал Миловзоров.

- Ах, помилуйте, да это просто красавица! Аполлинарий Ильич, я считаю вас счастливейшим человеком в свете, - сказал Васильков, приковывая исполинские зрачки свои к голубому току.

Миловзоров наклонился к уху собеседника и проворковал голосом, который захлебывался в патоке:

- И... и влюблена в меня до безумия!..

- А тот почтенный старичок, что сидит за нею? - спросил Васильков, подавляя завистливый вздох.

- Мой тесть - добрейший человек в мире... Позвольте мне иметь удовольствие познакомить вас с ними? Обоим будет весьма приятно.

- Ах, Боже мой, а мне и подавно! - воскликнул Васильков, горячо пожимая руку нового друга и обтягивая отвороты своего сюртучка.

Они вышли в коридор и секунду спустя очутились подле бенуара, дверь которого была уже отворена супругою Миловзорова.

- Agrippine, рекомендую тебе друга моего, Порфирия Павловича Василькова, о котором я так много говорил тебе, - нежно сказал Аполлинарий Ильич.

- Весьма приятно... я так много уж слышала... что... что... право...

- Мм... мм... - пробормотал Порфирий Павлович, ободряя себя легким кашлем.

Такая же рекомендация воспоследовала с тестем, коротеньким пузанчиком самого веселого, приветливого вида, закупоренным в круглый фрак табачного цвета. Добродушное лицо Бычкова изобразило все признаки живейшего нетерпения, которые проглянули даже во всех его движениях; припрыгивая на кончиках носков, как танцмейстер или воробей, и потирая ладони, он схватил обе руки Порфирия Павловича и заботливо усадил его подле себя; затем поспешил засыпать его вопросами о том, каким образом сошелся он с Аполлинарием, как вообще нравился ему Аполлинарий, и, не дожидаясь ответа, объявил напрямик, что Аполлинарий – изумительное совершенство человеческой природы и представляет в одном целом счастливое сочетание красоты, ума и всех возможных достоинств.

Между тем Миловзоров и жена его стояли подле двери бенуара и продолжали шептаться. Сущность консультации между двумн супругами осталась для Василькова непроницаемою тайной; по движениям их он мог судить, однако ж, что объяснение не лишено было некоторой энергии. Миловзорова, убежденная по-видимому какими-то неотразимыми доказательствами своего супруга, отпустила его, наконец, в кресла, уселась на свое место и еще пристальнее впилась в него глазами.

Порфирий Павлович остался в бенуаре и, слово за слово, так разговорился с тестем своего друга, что тот потребовал от него обещания приехать завтра обедать.

В ответ на это сердобольный владетель Сусловки с чувством пожал сначала правую руку веселого старичка, потом левую, потом обе вместе, и на другой день во втором часу бережно звонил уже у двери двухэтажного каменного дома, выкрашенного розовой краской. Навстречу ему вышел молодой белокурый лакей в синем фраке с плоскими светлыми пуговицами, очевидно блиставшими когда-то на груди Аполлинария Ильича; фрак этот замыкался напереди холстинным фартуком, ниспадавшим до колен, обтянутых серыми брюками с темными лампасами; левая рука лакея вооружена была тряпкой, бумажкой с толченым кирпичом и медным шандалом.

- Дома господа? - спросил Васильков таким тоном, как будто хотел затем прибавить: - «Если я помешал, друг мой, ты мне прямо скажи: я сейчас же уйду - это ничего!».

- Дома-с, дома; пожалуйте, сударь, пожалуйте, - поспешно отвечал лакей, обнаруживая такую же точно неподдельную радость, как Робинзон при встрече с Пятницей, - все дома, сударь, все до одного, - продолжал он, принимаясь освобождать плечи гостя от пальто, - а мы уж, признаться, сударь, и не думали увидеть вас. Всякий день слышим, Аполлинарий Ильич изволят говорить: господин Васильков, господин Васильков!.. Что, думаем – то есть мы про себя, примерно, так думаем - что, думаем, хоть бы раз взглянуть на них - а вот вы и пожаловали! - заключил словоохотливый слуга, оглядывая с восхищением гостя.

- Благодарствуй, дружок, благодарствуй. Я сам очень рад, - произнес Порфирий Павлович, тронутый словами слуги, из которых он ясно видел, что Миловзоров, увлекаемый дружбой, произносил поминутно его имя.

- А уж как они-то, сударь, будут вам рады, как родному! - подхватил гостеприимный лакей. - Сегодня утром и то раз с двадцать об вас вспоминали...

- Я надеюсь, голубчик, все здоровы? - вымолвил Васильков, единственно с тою целью, чтоб скрыть волнение, произведенное в нем такими милыми для сердца словами.

- Нет, сударь, возразил слуга, - как на беду-с, Аполлинарий Ильич изволили заболеть сегодня.

- Боже мой! что с ним? - спросил Васильков.

- Да зубы-с: у них это часто бывает; поверите ли, сударь, щака-то вот эвдакая! - сказал слуга, показывая на полуаршин от своей собственной скулы, - теперь, однако, полегче стало... изволили заснуть.

- Ах, Боже мой! так как же?. я, может быть, помешал?.. Ты, голубчик, пожалуйста, скажи мне, я сейчас уйду, это ничего...

- Помилуйте, как можно, сударь! наши господа и невесть как за это рассердятся... Пожалуйте, пожалуйте; они приказали просить вас; с утра еще наказывали! - поспешил возразить слуга, вводя гостя в маленькую прихожую, наполненную сильным утюжным запахом.

Порфирий Павлович не успел обтянуть отвороты своего сюртука и навести ладонью лоск на шляпе, как уж дверь соседней комнаты протяжно скрипнула, медленно отворилась, и на пороге ее показался тесть.

Затаив дыхание, он чуть слышно выступал на цыпочках и, бережно подобрав коротенькие фалды табачного фрака, поджав губы и наклонив голову, появился в передней. Увидев гостя, он сначала быстро простер к нему толстенькие свои руки, сделал даже прыжок, и потом вдруг, как бы опомнившись, снова поднялся на цыпочки, проворно оглянулся назад и с таинственно лукавым видом приложил указательный палец к носу. После такого маневра, Андрей Андреевич (так звали тестя) подкрался к Василькову, облобызал его в обе щеки и шепнул ему мимоходом в оба уха:

- А наш Аполлинарий только что прилег отдохнуть!

Порфирий Павлович поспешил также приподняться на цыпочки и приложить указательный палец к носу.

Примеру его мгновенно последовал и лакей в синем фраке.

- Шт... шш... - произнес Андрей Андреевич, с испугом оглядываясь назад, - как жаль, Порфирий Павлыч, что вы не пожаловали к нам десятью минутами раньше! - таинственно шепнул он, - вы услышали бы, что сказал Аполлинарий... он сказал (тут лицо тестя приняло восхищенное выражение), он сказал, что к вечеру зубы его перестанут болеть! Матвей, - присовокупил едва внятно старик, обращаясь к слуге, - слышал ты, что сказал Аполлинарий Ильич?..

- Никак нет -с... - шепнул лакей.

- Шт... шш... - зашипел Андрей Андреевич, грозя пальцем, - он сказал, что сегодня к вечеру зубы его непременно перестанут болеть!

Прошептав это, старичок обхватил руку Василькова и, соблюдая всю возможную осторожность, чтоб не шаркнуть как-нибудь по полу сапогом, ввел его в маленькую уютную комнату.

Тут подле окна в мягких вольтеровских креслах сидела жена Бычкова, крошечная старушка с добродушною, но несколько серьезною физиономией, украшенной круглыми очками, и прямо против нее в других креслах покоилась жена Миловзорова, роскошная дама с белыми льняными волосами, маслистыми голубоватыми взорами и красноватым лицом. Издали, в театре, например, она могла казаться весьма эффектною дамой.

Обе встали со своих мест, подняли указательный палец и, привстав на цыпочки, радушно встретили гостя.

- Заснул? - шепнул Андрей Андреевич, подмигивая на соседнюю дверь.

- Кажется... - отвечали обе женщины.

- Шт-ш-ш... - подхватил старик. - Вы уж знакомы с дочерью, Порфирий Павлыч; а вот и старуха моя, позвольте вас познакомить: это тот самый господин Васильков, которого так полюбил наш Аполлинарий...

- Знаю, знаю, - едва слышно проговорила старушка, - очень, очень приятно с вами познакомиться... мы так много слышали о вас от нашего Аполлинария, что давно желали с вами познакомиться... Прошу покорнейше садиться...

Миловзорова повторила приглашение, и Порфирий Павлович сел на стул, не сделав ни малейшего шума, что очевидно доставило величайшее удовольствие трем членам гостеприимного семейства.

- Андрей Андреич, - начала старушка, наклоняясь к мужу, - сообщил ли ты нашему дорогому гостю о том, что сказал перед их приходом Аполлинарий?..

-- Как же, как же, сообщил! - отвечал старик с таким видом, как будто дело касалось какого-нибудь важного предмета, не терпящего отлагательства.

- Да-с, я уж имел удовольствие слышать, - шепнул в свою очередь Порфирий Павлович, прикладывая к груди поля своей шляпы, - я уже слышал... Боюсь, однако ж, чтоб не ошибся Аполлинарий Ильич: у меня точно так же болели раз зубы... это было в то время-с, как полк наш стоял на травяном продовольствии... и поверите ли, я мучился две недели!

В эту самую минуту за соседнею дверью послышался шорох, и вслед за тем сладкозвучный голос пролепетал:

- Боперчик, это вы?..

- Боже мой, мы его разбудили! - с отчаянием воскликнул старик.

- Нет, он, должно быть, сам проснулся, - сказала дочь.

- Нет, верно мы его разбудили! - подхватила старушка, суетливо подымаясь с кресел.

Но Миловзоров показался уже в комнате. Пуховые щеки его рдели самым ярким румянцем, которого не могли даже затмить красный халат из канауса, подбитый тафтою, и пунцовые бархатные туфли, вышитые блестками и шелком.

При виде постороннего лица Миловзоров отступил шаг назад и проворно захлопнул дверь, но, услышав голос Василькова, мгновенно появился в комнате.

- Порфирий Павлович! Боже мой, как я счастлив! - с нежностью воскликнул он, принимаясь обнимать гостя, между тем как остальные члены семейства с умилением смотрели на эту сцену. - Ах, Боже мой, что ж это такое? - подхватил он, обращаясь с тоскливым укором к тестю, - боперчик, Agrippine, зачем не разбудили вы меня, не сказали, что приехал Порфирий Павлыч?.. Гость наш не может минуты остаться без трубки, а вы заставили его дожидаться!.. Пойдемте ко мне, Порфирий Павлыч, пойдемте курить! А вы, боперчик, распорядитесь, пожалуйста, скорей насчет обеда... Agrippine и maman вам помогут. Гость наш, живя в провинции, верно, привык рано обедать, - заключил Миловзоров.

И не слушая возражений гостя, который уверял, что ему совершенно все равно, когда бы ни обедать, Миловзоров повлек его в соседнюю комнату.

Комната эта, которую тесть и теща прозвали кабинетом Аполлинария, не отличалась, однако ж, ничем особенным от будуара молодой купчихи. Она разделялась пополам зеленою шелковою занавесью, которая держалась на точеных кольцах из красного дерева, скользивших на лакированной палке из того же дерева; в первой половине, между двумя окнами, возносилось трюмо с вызолоченными арабесками, и по бокам его, против окон, стояли два стола, покрытые белой кисеей, подбитою розовой тафтою; поверхность столиков усеяна была бесчисленным множеством скляночек, баночек, флаконов, пилочек для ногтей, ножниц, ящичков с пудрой, рубашечных пуговок, дрогоценных булавок, разложенных симметрически или сверкавших в перламутровых раковинах, и множеством других безделушек, в числе которых бросались особенно в глаза фарфоровая чернильница, золотой ножичек с голубым фарфоровым черенком и стальные перья с такими же фарфоровыми ручками; тут вытягивались также стройными рядами принадлежности бритвенного несессера; мягкий ковер покрывал пол; эластический диван и такие же кресла окружали стены, украшенные литографиями самого нежного содержания. Словом, если б в этой комнате, издававшей сильнейший запах пачули, не находилось в числе принадлежностей несессера трех бритв, то никто не догадался бы, что тут жил член медицинского факультета.

Миловзоров подал Василькову стеклянный ящичек с тоненькими папиросами, обернутыми в розовую бумагу.

- Извините меня, Порфирий Павлыч, - пролепетал он, запахиваясь халатом, - если я в вашем присутствии приведу в порядок свой туалет...

- Аполлинарий Ильич, - энергически воскликнул Васильков, прислоняя к коробке папиросу и поспешно подходя к медику, - Аполлинарий Ильич, исполните ли вы мою сердечную, можно сказать, душевную просьбу?..

- Ах, все, что хотите, Порфирий Павлыч! для вас я все готов сделать все, все...

- Нет, дайте мне слово, честное слово!

- Даю!

- В таком случае, Аполлинарий Ильич, - с чувством сказал Васильков и горячо пожал при этом протянутую ему руку, - Аполлинарий Ильич, вы не должны снимать вашего халата... нет, ни под каким предлогом! Я прошу, умоляю вас об этом: я не хочу, чтоб вы стеснялись чем-нибудь в моем присутствии... я у вас не гость и не хочу быть гостем: я просто добрый знакомый, так, пришел повидаться с вами... вы окажете мне величайшую дружбу, если останетесь весь день в халате; я буду видеть из того, что вы меня хоть сколько-нибудь любите...

Аполлинарий Ильич отвечал, что если в том только состоит просьба, он готов, в угоду дорогому гостю, проходить всю свою жизнь в халате. И слова его, продиктованные симпатией, проникнуты были такою искренностью, что Порфирий Павлович объявил, в свою очередь, что он со своей стороны готов сделать то же самое.

К несчастью, беседа двух приятелей, подававшая надежду быть весьма интересною, прекратилась в самом начале появлением Андрея Андреевича, его жены и дочери, которые пришли объявить, что кушанье подано.

За столом служили известный уже лакей в синем фраке и вместе с ним какая-то молоденькая смазливая горничная, с которой почему-то во все продолжение обеда не спускала пытливых глаз мадам Миловзорова, сидевшая наискось от мужа. Подавая блюдо, лакей и горничная громогласно делали разные замечания самого веселого и непринужденного свойства; так, например, лакей сказал Василькову: «Кушайте, сударь, кушайте на здоровье... дай вам Бог век водить хлеб-соль с нашими хозяевами!..» Смазливая горничная почла своею обязанностью прибавить: «Наши хозяева вам оченно рады, особливо Аполлинарий Ильич!» - при сем глаза ее встретились с глазами Аполлинария Ильича, но тотчас же должны были разбежаться в разные стороны, благодаря проницательному взгляду г-жи Миловзоровой, которая побледнела. Васильков заметил, что внимание тестя и тещи обращено было исключительно на зятя; старики не спускали с него глаз, выбирали для него лучшие куски и подобострастно следили за каждым его движением. От внимание его не ускользнуло также, как Аполлинарий Ильич, соскучившийся, вероятно, тем, что жена не переставала следить пытливым взором за эволюциями смазливой горничной, начал приходить постепенно в раздражительное состояние, под конец страшно раскапризничался, объявил, что всё делается не по нем, что никто не хочет принять в соображение его расстроенного здоровья, и проч., и проч. – обстоятельство, мгновенно распространившее грусть на лицах тестя и тещи. Оба принялись сначала увещевать зятя и вдруг единодушно напали на дочь, которая, в свою очередь, начала оправдываться и кончила, наконец, тем, что залилась слезами. Нет сомнения, что сцена, начавшаяся под такими печальными обстоятельствами, не остановилась бы на этом, если б не прекратило ее окончание обеда.

- Порфирий Павлыч, - сказал Миловзоров с печально-расстроенным тоном, - пойдемте в мой кабинет... Я так огорчен, так огорчен... вы сами должны понять это...

- Друг мой, успокойся... ты разрываешь нам сердце! - произнес тесть, делая сверхъестественные усилия, чтоб казаться спокойным, и бросая в то же время укоризненный взгляд на дочь, которая обливалась слезами, сидя на соседнем стуле.

- Порфирий Павлыч, - шепнула теща, притрагиваясь к плечу гостя, - Порфирий Павлыч, - примолвила она, подавляя болезненный вздох, - успокойте нашего Аполлинария...

Порфирий Павлович объявил, что в этом состоит его обязанность. Бросив еще раз тоскливый взгляд на плачущую Миловзорову, он обхватил рукою Аполлинария Ильича и медленно повел его в кабинет.

Сознавая всю важность поручения, Порфирий Павлович принялся тотчас же утешать своего друга и вызвался даже быть парламентером между ним и его женою. Но каково же было изумление Василькова, когда увидел он, что выражение тоски и скорби,

отпечатанное на прекрасном лице Миловзорова, исчезло и заменилось улыбкою, лишь только он очутился в кабинете! Изумление Порфирия Павловича обнаружилось в обширнейших размерах, когда Миловзоров предложил ему часам к шести прогулку в Марьину рощу. Приписывая такую внезапную перемену могущественному влиянию дружбы, Васильков направился к двери, сгорая желанием успокоить радостною вестью добродушное семейство; но Аполлинарий Ильич остановил его, сказав, что это совершенно лишнее, ибо теща и жена, по соображениям его, должны были находиться теперь в своих спальнях.

- Может быть, и нам угодно отдохнуть, Порфирий Павлыч? - заключил Миловзоров.

Васильков отвечал, что он не прочь от такого предложения, тем более, что обед был необыкновенно сытен и чувствовалась даже некоторая тяжесть в желудке.

Пять минут спустя Миловзоров лежал за занавесью на роскошной двухспальной постели, а Порфирий Павлович покоился на эластическом диване против трюмо. Но сон бежал от исполинских глаз Василькова: все виденное и слышанное им естественным образом должно было вызвать в душе его целый ряд размышлений и сравнений. Мысли его, сменяясь одна другою, привели его постепенно к воспоминанию о Сусловке, и тут в голове его завязалась нить тягостных сравнений между судьбою Миловзорова и его собственною судьбою.

Да, жизнь Аполлинария Ильича была именно такая, о которой так сладко мечтал Порфирий Павлович в то время еще, когда, суетясь в маленьком домике на берегу живописной речки, перевязывал голубыми бантами занавески брачной постели! Что же вышло, Боже, что вышло?.. Нет, Порфирий Павлович никогда не наслаждался истинным счастием! Он был горемычным сиротою, с детства обреченным влачить дни свои в тоскливом одиночестве.

Нельзя определить наверное, сколько времени посвящено было сердобольным Васильковым на размышление; заподлинно известно только то, что часа полтора спустя после обеда дверь кабинета скрипнула, и на пороге ее показался сначала тесть, потом его жена, а за ними Миловзорова.

Все трое стояли на цыпочках и держали указательные пальцы на правой стороне носа.

Застигнутый врасплох, Порфирий Павлович быстро вскочил с дивана, застегнул сюртук и поправил волосы.

- Тсс... тсс... - произнес тесть, таинственно указывая на занавес и поджимая губы.

- Что? успокоился наш Аполлинарий? - шепнула теща.

- Успокоился-с... я сделал все, что было в моих силах... и теперь заснул, - отвечал едва внятно Васильков, наклоняясь преимущественно к жене своего друга.

- Шт...ш...ш... пойдемте посмотреть на него... - шепнул тесть, нетерпеливо мигая глазками и становясь на цыпочки.

- Что это ты, Андрей Андреич, никак с ума сошел? - возразила теща, - ты, верно, хочешь разбудить его...

- Жена, - шепнул тесть, обводя восторженным взглядом присутствовавших, - сделаем ему сюрприз. Агриппина спрячется за оконную занавесь, а мы скажем Аполлинарию, что она уехала в Сокольники, - заключил он, лукаво прищуривая левый глаз и прикладывая ладонь к губам, которые тряслись от внутреннего смеха.

Мысль эта была единодушно одобрена; Agrippine скрылась за гардиной: тесть, теща и Васильков, томимые ожиданием, присели на диван.

- Порфирий Павлыч, это вы? - мелодически произнес Миловзоров, поворачиваясь на своих пуховиках.

- Мы его разбудили! - с испугом шепнул старик.

- Нет, Аполлинарий Ильич, здесь ваши papa и maman... - отозвался Васильков, хитро подмигивая старикам.

Миловзоров показался из-за занавеси, и Порфирий Павлович увидел, к великому своему изумлению, что лицо его было на этот раз еще печальнее, чем во время обеда.

- Мы разбудили тебя! - воскликнули тесть и теща, устремляя на зятя умоляющие взгляды.

- Что ж делать! - возразил Миловзоров заунывным голосом.

- Прости нас, мой друг, мы сделали это невольно!., - простонали тесть и теща.

- Помилуйте, папенька, - заметил с явною раздражительностью зять, - что ж, вы имеете полное... да, скажу, полное право входить в мой кабинет, когда вам угодно!..

Последовала пауза.

- А знаешь ли ты, мой друг, - начал Андрей Андреевич, подмигивая жене и Василькову, - в то время, как ты отдыхал, с нами случилось маленькое несчастье...

- Как! что вы говорите? - воскликнул Миловзоров, отыскивая глазами мягкий стул.

- Да, друг мой, Agrippine твоя уехала в Сокольники! - подхватил тесть, багровея от удовольствия.

- Боже мой! - закричал Миловзоров, падая в кресла и бросая косвенный взгляд на гардину, где спрятана была жена, - Боже мой, что здесь со мною делают! Зачем она уехала? - подхватил он, бросая вторичный взгляд на гардину. - О, я несчастнейший из всех мужей на свете!.. Агриппина меня не любит!..

- Друг мой, люблю! люблю! люблю! обожаю! - вскрикнула жена, выскакивая из-за гардины и бросаясь к мужу.

Но Миловзоров закрыл лицо руками и опустил голову.

- Вот, вечные твои глупые затеи! - сказала теща, потрясая руками перед Андреем Андреевичем, который сидел как преступник. - Что ты наделал! Ты напугал его! Успокойся, Аполлинарий, успокойся, Бога ради!.. Агриппина, скорей стакан свежей воды!

Но Аполлинарий Ильич, к великому отчаянью тестя и тещи, никак не успокаивался и, вероятно, не успокоился бы до самого вечера без горячего содействия Порфирия Павловича, который с неподражаемым великодушием принял на себя выдумку сюрприза, причинившего такое сильное потрясение на слабонервный организм женоподобного медика.

Аполлинарий Ильич поцеловал жену, обнял тестя, тещу, сказал, что теперь все прошло, пожал руку Василькову и закурил папироску.

- Ангел мой, Аполлинарий, друг души моей! подобного тебе нет в целом свете! - воскликнула Миловзорова, всматриваясь в лицо мужа.

- Красавец! Красавец! Палата! Прхив! - восторженно воскликнул тесть.

- Красавец! Радость наша! - повторяла теща, всплеснув руками.

Аполлинарий Ильич окончательно повеселел и успокоился. Он объявил, что намерен поехать прогуляться с гостем куда-нибудь за город. Известие это возбудило тотчас же повод к горьким упрекам со стороны Миловзоровой и, без сомнения, между нею и мужем произошла бы маленькая сцена, если б не потушили ее заблаговременно тесть и теща, сказав, что ревность ее неуместна, что свежий воздух необходим ее мужу и что, во всяком случае, развлечения принесут огромную пользу расстроенным нервам Аполлинария. Этим способом водворено было согласие между супругами.

Agrippine поручила своего мужа попечению Василькова. Васильков дал обещание, что исполнит в точности все эти поручения, предписанные ему, сверх того, обязанностями дружбы и, напутствуемый благодарностью всех членов семейства, уехал с Миловзоровым в Марьину рощу.

IV.

Васильков и Миловзоров, предводительствуемые Аристархом Федоровичем, ищут развлечений сначала в одном инструментальном концерте, потом в одном клубе. Здесь же фактически доказывается известная истина, что великие люди могут попадать впросак ничем не хуже последнего смертного

Привязанность Порфирия Павловича к гостеприимному семейству Аполлинария Ильича не имела бы, конечно, той силы, если б Аристарх Федорович обнаруживал со своей стороны ревность или явную досаду, или, например, хоть раз сказал бы Василькову: «За что, любезнейший, предпочел ты мне Миловзорова?..». Умиленный Порфирий Павлович, нет сомнения, разделил бы тогда пополам свое сердце и отдал бы одну часть одному другу, другую – другому. Но дело в том, что Аристарху Федоровичу было, по-видимому, совершенно все равно; он не изменил ни на волос обращения своего с Васильковым, за исключением разве того, что перестал доставлять ему удовольствие; равнодушие его простиралось до такой степени, что он ни разу не обратился даже к нему с упреком – обстоятельство, которое естественным образом должно было огорчать чувствительную душу владетеля Сусловки.

Раз только в голосе и движениях Аристарха Федоровича промелькнуло что-то похожее на прежнее задушевное расположение.

Это было утром, часу в двенадцатом. Порфирий Павлович входил в комнату Балахнова, чтоб пожелать ему счастливого дня и всевозможных успехов.

- Здравствуй, любезнейший, здравствуй! - произнес Аристарх Федорович, полируя в то же время крошечной щеткой патентованные свои зубы. - Брррр... бууу... а скажи-ка ты мне, милый мой, что ты намерен делать сегодня? - примолвил он, взяв из рук Сидора полотенце и обтирая им дипломатический лоб свой.

- Я думал, Аристарх Федорович, навестить... Миловзоровых... - отвечал Васильков таким тоном, каким Аполлинарий Ильич Миловзоров возвещал жене, что пойдет врачевать дам, когда имел в виду возбудить ее ревность.

- Вас, кажется, попросту бес веревочкой связал! - весело произнес Балахнов, возвращая Сидору полотенце. - Скоро ли, скажи на милость, перестанешь ты нянчиться со своими Миловзоровыми?.. Право, на вас смотреть даже завидно... особенно мне; ведь ты, братец, совсем почти забыл меня... так или нет?

- Нет, Аристарх Федорыч... но я встречаю там каждый раз такой радушный, приветливый прием... - выразительно отвечал Порфирий Павлович.

- А что же, разве ты не встречаешь здесь такого же точно радушного приема?., - перебил Балахнов, обнаруживая в эту минуту столько благородного достоинства, что Васильков невольно припомнил все благодеяния, оказанные ему в Ханских Прудах, и устыдился в глубине души своей. - Кажется, в этом отношении тебе, братец, грешно на меня сетовать, - продолжал Аристарх Федорович с возраставшим величием, - я делаю все, что могу, чтоб столичная жизнь казалась тебе по возможности приятною и разнообразною... Да вот, чего же лучше, не далее как сегодня хотел я похитить тебя у твоих приятелей и везти с собою...

- Аристарх Федорович... вы знаете... я... всегда душевно рад... Это единственное мое желание, клянусь! - пролепетал Васильков, краснея до ушей и чувствуя сильнейшие угрызения совести, как человек, явно уличенный в черной неблагодарности.

- Ну, хорошо, хорошо! Я никогда, братец, не сомневался в искренности твоих чувств, - сказал Балахнов, потрепав его по плечу. - Итак, решено: ты даришь мне нынешний день? Дело, видишь ли, вот в чем: мы поедем сегодня в концерт к этому выскочке Бобохову... Кстати, посмотри-ка на афишку; кажется, объявлено в два часа... афишка на столе, подле чайного прибора... прочти-ка, прочти, что там такое?..

Афишка возвещала, что такого-то числа, в такой-то зале, в два часа пополудни дан будет инструментальный концерт музыкантами одного из известнейших дилетантов. Затем поименованы были артисты: г. Габриельский, г. Паганинов и г. Серенадин - прозвища, очевидно, изобретенные знаменитым дилетантом.

- Хвастун! Из Гаврилки сделал какого-то Габриельского, да и думает удивлять публику; нашел дураков! - презрительно заметил Балахнов, когда кончилось чтение афишки. - Туда же - дилетант! Ха-ха-ха! потеха! право, потеха!.. А потом из концерта,

если хочешь, поедем в клуб обедать, - продолжал Аристарх Федорович, презрительно отталкивая афишу и садясь за чайный прибор. - Один, братец, я сегодня не тронулся бы с места; сам не знаю: скучно как-то... С тобой я посмеюсь, рассеюсь и, надеюсь, излечусь к вечеру от хандры.

- Я, конечно, очень рад, Аристарх Федорович, но... - пролепетал с неловкостью Васильков.

- Что еще?

- Я обещал, дал слово приехать обедать сегодня к...

- К Миловзорову, - подхватил, смеясь, Балахнов,- ну, так я это знал! Неужто ты дня не можешь прожить без него?.. Смешно, братец, право, смешно; а впрочем, сделай вот что: пригласи его от меня с собою; я буду очень рад; он добрый малый - и оба вы развлечете меня...

Этим способом уничтожены были все препятствия, могущие встретиться со стороны Василькова. Он написал Миловзорову записочку, тот не замедлил явиться, и в половине второго, после легкого завтрака, предложенного гостеприимным Аристархом Федоровичем, все трое поехали в концерт.

Бобохов распорядился отлично. Воодушевленный тою блистательною ролью, которую предстояло ему играть в концерте, он нанял огромную залу в доме одного вельможи, находившегося за границей. Потолок залы и полукруги над дверьми расписаны были музыкальными атрибутами; правая сторона ее представляла нескончаемые ряды старинных закоптелых картин в золотых рамах; левая состояла из одних стекол, наподобие оранжереи, и установлена была чахлыми, но, тем не менее, дорогими растениями. Дно залы украшалось возвышением, обтянутым красным сукном; на нем располагался полукругом многочисленный оркестр, нанятый Бобоховым для аккомпанемента доморощенным виртуозам. Стройные ряды кресел и стульев тянулись с одного конца залы до другого.

- Что, милый мой, не начинался еще концерт?

С таким вопросом Балахнов обратился к швейцару, стоявшему у входа с булавой. Получив отрицательный ответ, Аристарх Федорович, сопровождаемый своими телохранителями, вступил торжественно в комнату, предшествовавшую концертной зале. Комната освещалась единственным круглым окном из потолка и, подобно соседке своей, украшалась растениями и картинами.

Первый предмет, поразивший Балахнова, был Афанасий Никитич Степанчиков, стоявший в отдаленном углу и толковавший о чем-то с двумя черными фраками, и еще третьим господином с унылым лицом и такими толстыми губами, как будто накануне искусали их комары или ужалили пчелы.

Вид Степанчикова невольно пробудил в Аристархе Федоровиче самые неприятные воспоминания; но, по своему обыкновению, он тотчас же овладел собою, не показал ни малейшего признака досады и ограничился тем только, что презрительно прищурил глаза и произнес вполголоса: «плут!..».

- Ах, ужаснейший, мсьё Балахнов! - неожиданно отозвался Миловзоров.

- А вы почем его знаете? - небрежно спросил Аристарх Федорович.

- О, и очень хорошо его знаю-с: это известнейший аферист Степанчиков. Он несколько раз обманывал моего тестя, честнейшего старика, когда тот занимался еще торговыми операциями, - пролепетал Аполлинарий Ильич.

- Ах, если б вы знали только, Аристарх Федорович, какой честнейший и добрейший старичок их тесть! - энергически подхватил Порфирий Павлович, моргая своими исполинскими глазами на величавого мужа и пожимая в то же время руку красивому эскулапу.

Но Аристарх Федорович не обратил никакого внимания на замечание Василькова: проницательный взгляд его снова устремился на Степанчикова и его собеседников. Любопытство Балахнова возросло до неимоверной степени, когда он узнал в последних

музыкантов Бобохова; так точно, он не ошибался: эти три физиономии мелькали в оркестре выскочки в то время, как он обедал в Голодаевке. Аристарх Федорович сделал несколько шагов вперед и внимательно принялся рассматривать какую-то картину. Никто не сомневается, что можно созерцать картину и в то же время не пропускать ни одного слова из того, что говорится подле. Такой факт красноречивейшим образом подтвердил наш герой, который не только расслышал, как Степанчиков ободрял трех музыкантов, обещая им золотые горы в том случае, если они отличатся, но увидел, увидел своими глазами, как аферист скрепил слова свои тремя ассигнациями, искусно вложенными в коренастые ладони трех виртуозов.

«Что бы это значило? - подумал Балахнов, провожая глазами трех музыкантов и Степанчикова, направлявшихся в концертную залу, - тут, верно, кроется какая-нибудь штука; в противном случае, с чего бы стал этот старый плут снабжать деньгами бобоховских музыкантов... А впрочем, я очень рад: пускай подцепит он на чем-нибудь выскочку и проучит его хорошенько!».

Заключив свою филантропическую сентенцию снисходительным наклонением головы по направлению к Василькову и Миловзорову, которые стояли перед картиною, изображавшею нимфу, Аристарх Федорович вступил в залу и, приняв спокойно величавую осанку, поместился в первом ряду.

В эту самую минуту в соседней комнате раздался громкий говор, сопровождавшийся не менее громким хохотом, и секунду спустя в дверях залы показались блистательный Тохтамышев, изящный Чиндаласов, почтенный Петр Степанович Крапов и много еще других джентльменов. В этой толпе особенно резко бросалась в глаза фигура Бобохова.

Нестройный шепот, посреди которого ясно можно было расслышать: «Бобохов... Бобохов... его музыканты... сам учил их!..». Балахнов окинул пытливым глазом залу и, увидев на тех самых местах, где слышался шепот, престарелого Корнея и еще других лиц, замаскированных приличной одеждой, вполне соответствующей случаю, заключил весьма основательно, что они посажены были самим выскочкою, с целью обращать на него внимание почтеннейшей публики.

Цель была достигнута: Бобохов обратил на себя всеобщее внимание, хотя, к сожалению, эффект был не совсем удовлетворителен. Почтенный Петр Степанович Крапов, как человек солидный, отстал вскоре от шумных своих собеседников и уселся в один из задних рядов; остальная часть толпы рассыпалась по первому ряду.

Аристарх Федорович очутился между Тохтамышевым и Бобоховым.

- Чрезвычайно приятно встретиться с вами здесь... - заговорил восхищенный Бобохов, обращаясь к Балахнову, - между нами, очень редко можно найти дилетанта, diletan, не правда ли?.. Очень рад, что вы любитель музыки...

- Да, люблю музыку... разумеется, в том только случае, когда она хороша... - возразил Аристарх Федорович, делая ударение на последние слова и косясь иронически на Тохтамышева.

Тохтамышев ответил выразительным движением бровей.

- Надеюсь, что сегодня, по крайней мере, вы будете довольны... - суетливо подхватил выскочка, - удивительные таланты! Габриельский и Паганинов прекрасные скрипки, можно сказать, замечательные! Но они ровно ничего не значат перед Серенадиным: это талант первоклассный. Вы увидите, я распорядился нарочно так, что он будет играть последним pour bon bouch...[21]

- И очень хорошо сделали...

- Вы одобряете... чрезвычайно приятно! - сказал Бобохов, иронически подмигивая Тохтамышеву на величавого соседа.

Тохтамышев ответил выскочке тем же выразительным движением бровей, каким обменялся прежде с Аристархом Федоровичем насчет самого Бобохова. В то же время в

[21] На десерт.

первом ряду кто-то нетерпеливо захлопал в ладоши; звук этот, дружно подхваченный в других рядах, наполнил вскоре все зало.

- Всеобщее нетерпение... не пора ли начинать? - произнес Бобохов, обнаруживая восторженное волнение.

- Я думаю, что так; давно бы, кажется, пора, - отвечал Тохтамышев, протягивая ноги с таким комфортом, как будто намеревался провести на своем месте несколько часов приятного сна.

Выскочка привстал с кресел, пошептался с капельмейстером, и минуту спустя оркестр заиграл увертюру.

- Из Лючии, Lutchi, превосходная вещь! - произнес Бобохов.

- Да, вещь хорошая, - отвечал Аристарх Федорович, пристально наблюдая обрюзглое лицо Степанчикова, который стоял за возвышением и, делая ободрительные жесты, шептался с тремя концертистами, скрывавшимися покуда за оркестром.

- А вот и очередь Паганинова! - произнес вполголоса выскочка, припрыгивая на своем месте.

- А!

- А!

- А!.. - разразилось в разных концах первого ряда.

Но восклицания эти, сопровождаемые в первом ряду удушливым смехом, тотчас же заглушились звонкими рукоплесканиями задних рядов.

- Славно принимают вашего виртуоза! - сказал Балахнов, поворачиваясь назад и стараясь навести глаза выскочки на то место, где сидел престарелый Корней.

Бобохов ничего не отвечал и показал вид, что в настоящую минуту внимание его поглощено исключительно появлением Паганинова, который, отвесив низкий поклон, залился тотчас же на своей скрипке без предварительных приготовлений. Могло статься, что игра Паганинова была весьма достопримечательна, что в ней «виртуозность подчинялась классицизму и наоборот, и сверх того проглядывали поминутно явные признаки романтизма, смешанного с непостижимым развитием механизма», как выразился один знаток на столбцах одной газеты; но профаны, и в том числе большая часть публики, остались того мнения, что физиономия скрипача была несомненно достопримечательнее его игры.

Паганинов был человек среднего роста, с лицом мрачного вида, черными щетинистыми волосами и крупным носом, где, казалось, основала свою резиденцию красная краска, умеренно распределяемая у других смертных по различным частям физиономии.

Каждый раз, как наступал трудный пассаж, глаза виртуоза впивались в оконечность пальцев, и волосы его от страшной натуги становились торчмя, как у ежа; но как только смычок выделывал adagio, глаза его мгновенно обращались к потолку и закатывались под лоб, а губы покидали середину лица, чтоб улыбнуться правому уху.

Полчаса спустя, место Паганинова заступил Габриельский, маленький, узенький человечек, белокурое лицо которого во все время игры сохранило самое странное выражение.

Удушливый хохот снова раздался в первом ряду, но снова заглушился громкими рукоплесканиями задних рядов, и Габриельский покинул возвышение с таким же точно триумфом, как его предшественник.

- Славно! молодец! - заметил Аристарх Федорович, посылая одобрительный кивок удалявшемуся скрипачу.

- Вам нравится? чрезвычайно приятно! - поспешно заговорил Бобохов, - но эти два еще ничего; советую вам послушать Серенадина. Конечно, не всякий может оценить достоинство его игры: для этого нужно особенное развитие, знаете, general baz[22]... Но я

[22] Здесь – склад характера.

смело скажу, что такого кларнета нет у нас... одно жаль: он, знаете, робок, чрезвычайно робок, но, надеюсь, вы поддержите его?., надо, знаете, не мешает... поощрять таланты...

Слова Бобохова прерваны были появлением Серенадина. Крошечные узенькие глазки придавали физиономии кларнетиста плачущее выражение, а страшная бледность лица показывала величайшее смущение.

Оркестр грянул интродукцию.

- Это интродукция, introductie, - поспешил подсказать Бобохов, суетливо озираясь направо и налево.

- Прекрасно! - вымолвил Аристарх Федорович, устремляя любопытный взор на Степанчикова, который делал из-за угла одобрительные жесты кларнету.

Интродукция умолкла, воцарилась тишина. Серенадин сделал шаг вперед, приложил кларнет к губам и принялся дуть изо всей силы без всякого результата.

Инструмент оставался нем, как рыба. Бобохов сделал нетерпеливое движение; Степанчиков почесал ухо; в первом ряду послышался смех, заглушенный тотчас же, впрочем, громкими рукоплесканиями со стороны престарелого Корнея.

Снова воцарилась тишина.

На этот раз кларнет издал какой-то странный звук, весьма похожий на то, когда разрывают кусок клееного гостинодворского коленкора.

Послышался сильный, единодушный взрыв хохота.

- Нет, тут что-нибудь такое... это инструмент... - зеленея, произнес Бобохов, обращаясь с пояснительным видом к соседям. - Интродукцию! играйте интродукцию, - шепнул он, махая в оркестр и бросая взгляды на Серенадина, который продувал инструмент, выбивая ускоренный такт угловатыми своими коленями.

Интродукция кончена. Виртуоз делает шаг вперед, прикладывает инструмент к губам и снова издает странный звук. Раздается взрыв хохота, от которого звенят стекла обширной залы. Серенадин кашляет совершенно безнадежным образом и осматривает с видом глубокого отчаяния клапаны своего кларнета.

- Интродукцию! интродукцию! - продолжал нашептывать Бобохов.

Интродукцию играют в третий раз, но многие особы первого ряда обнаруживают явное намерение не дослушать окончание концерта. Тохтамышев, Чиндаласов покидают свои места; концерт между тем продолжается. Серенадин, развинтивший несколько раз сряду свои клапаны, наполняет теперь залу звонкими, раскатистыми трелями, к совершенному удовольствию Бобохова... Затем наступает антракт.

- Я вам говорил, что виноват был инструмент; не правда ли, какой замечательный талант? Вам нравится? чрезвычайно приятно! Но куда же девались эти господа? Они, верно, ушли курить. Я распорядился нарочно, чтоб была особая комната; я люблю confor. Надеюсь, вы останетесь до конца? теперь все трое будут играть вместе trio: чрезвычайно приятно, если вы останетесь! - говорил Бобохов.

- Непременно, непременно, - отвечал Аристарх Федорович, посылая в то же время знаменательный сигнал Василькову и Миловзорову.

Полный удовлетворенного самолюбия, Бобохов разгуливает по зале и улыбается публике. Аристарх Федорович летит, между тем, в наемной карете вместе со своими телохранителями и благополучно достигает дверей одного клуба.

- Вы здесь член-с? - лепетал сладостным голосом красивейший из всех докторов, вынимая из бокового кармана гребешок, украшенный зеркальцем.

- Всегдашний и всенепременнейший! - самодовольно отвечал Аристарх Федорович, подымаясь с некоторою торжественностью по ступеням парадной лестницы клуба. - Я здесь дома и покорнейше прошу вас, господа, помнить, что вы мои гости и, следовательно, ничем не должны стеснять себя в этих стенах, где все должно дышать веселостью, - примолвил он с очаровательною любезностью. - Ну, что, Степан? что нового, любезный? - заключил Аристарх Федорович, обращаясь к ливрейному лакею, который встретил его на лестничном парапете.

- Меня зовут-с Матвеем, - отвечал лакей, представляя его вниманию записную книгу.

- Ах, да, я забыл... Ну, что, Матвей? что делается?.. - вымолвил с беспечною развязностью Аристарх Федорович.

- Сейчас только сели кушать... - отвечал Матвей, отворяя двери.

- А, уж обедают! Ну, пойдемте, пойдемте, господа, добро пожаловать; столовая раскрывает перед вами свои гостеприимные объятия...- весело сказал Балахнов, подымаясь вперед и самодовольно выпучивая грудь.

Трудно передать выражение того сановито-грандиозного спокойствия, с каким Аристарх Федорович вступил в обеденную залу. Скажем только, что Васильков и даже Миловзоров, несмотря на всю красу свою, казались подле него в эту торжественную минуту какими-то жалкими пигмеями, не заслуживающими решительно никакого внимания.

Заняв свое место, Балахнов окинул орлиным взглядом общество. Посетителей было много. Как правая сторона стола, так и левая представляли самую разнообразную панораму из лбов, завитков, коков, лысин, бакенбард и носов всех возможных цветов и размеров. Общество хранило невозмутимое молчание; каждый сидел, глубокомысленно насупив брови, и занят был, казалось, разрешением какого-то многосложного и крайне головоломного вопроса, очевидно вызванного созерцанием тысячерублевого супа и подовых пирожков, появившихся на каждом куверте. Задумчиво-торжественное выражение на всех лицах ясно передавало общую мысль, какою одушевлены были в настоящую минуту присутствовавшие; каждый, казалось, хотел сказать: «Милостивые государи! мы все собрались сюда в этот день для того, чтоб произнести наш приговор о достоинстве сей знаменитой стерляжьей ухи, и следует из того...». Но что следует из того, этого ни под каким видом не доказывали физиономии присутствовавших. Впрочем, Аристарху Федоровичу было совершенно все равно: иные мысли, иные соображения теснились в дипломатической голове его, обращавшейся попеременно то к одному концу стола, то к другому, смотря по тому, куда устремлялись глаза, жадно искавшие чего-то или кого-то.

Обед приближался уже к концу, когда Аристарх Федорович почувствовал на левом плече прикосновение чего-то жесткого; он обернулся - и немало удивился, увидев перед собою лакея, державшего поднос со стаканом шампанского.

- Это что? - спросил он.

- От господина Тохтамышева, - отвечал лакей, почтительно наклоняясь.

Балахнов взял стакан, быстрым взглядом окинул присутствовавших и, отыскав на конце стола блистательного Тохтамышева, сидевшего между изящным Чиндаласовым и почтенным Краповым, послал ему очаровательную улыбку, сопровождаемую не менее очаровательным наклонением головы.

Вслед за тем он велел подать бутылку шампанского, налил стакан и послал его Тохтамышеву.

Аристарх Федорович внимательно следил за лакеем до тех пор, пока тот не остановился подле Тохтамышева. Улучив минуту, когда Тохтамышев вооружался стаканом, Аристарх Федорович снова выдвинулся вперед и послал ему одну из самых любезных улыбок, какие когда-либо украшали человеческое лицо.

Страшный грохот трехсот стульев возвестил окончание обеда.

Аристарх Федорович так проникнут был чувством собственного достоинства, так высоко ценил самого себя, что не заботился о том, что могли сказать люди, встречавшие его в обществе какого-нибудь ничтожного Миловзорова и еще более ничтожного Василькова. Всякий благоразумный человек мог, конечно, понять, что Аристарх Федорович таскает с собою таких людей, как Васильков и Миловзоров, из одной лишь прихоти, так себе, может статься, для забавы, а может статься, по внушению безграничного снисхождения, свойственного скучающим богачам и эксцентрическим

людям. По этому самому, не стесняясь нимало присутствием Порфирия Павловича и Миловзорова, выступавших по бокам его, Аристарх Федорович пошел прямо к Тохтамышеву, который, со своей стороны, направлялся к нему, держа под одну руку Чиндаласова, под другую - Петра Степановича Крапова.

- Мсьё Балахнов! - сказал Тохтамышев, протягивая ему неоцененную свою руку, - позвольте познакомить вас с моим приятелем Чиндаласовым. Оба вы, если не ошибаюсь, принадлежите одной и той же губернии и, вероятно, прежде еще встречались...

- Да, я уже имел удовольствие встречать вас, мсьё Балахнов, в нашем уездном городе, но не имел до сих пор случая познакомиться с вами... - весело произнес Чиндаласов, выпучивая грудь и пожимая руку великому человеку из Горшкова.

- Благодарю вас, благодарю, мсье Чиндаласов! - возразил Аристарх Федорович, проявляя на величавой своей физиономии выражение любезности и радушия и отвечая горячим пожатием руки, - без содействия мсьё Тохтамышева весьма легко могло случиться, что мы остались бы чужды друг другу, несмотря на то, что встречаемся на выборах и связаны даже некоторым образом общими интересами... Вы, кажется, постоянный житель столицы: вы изменили, мсье Чиндаласов, нашим мирным селам, нашим беспредельным, необъятным полям и простору в пользу древней, почтенной старушки-Москвы... Впрочем, так поступаете не вы одни, - примолвил он, бросая на собеседника обворожительно-любезную улыбку, - так поступают почти все молодые люди нашего скромного уездного мира; все побросали своих пенатов, все дезертировали и так искусно скрыли следы своего побега, что их даже и не отыщешь. В провинции носятся слухи, будто все мало-мальски богатые люди нашего уезда эмигрировали в Москву; а между тем вот ровно месяц, как живу я в Москве, и в этот месяц встретил вас одних... Куда же, спрашивается, девались остальные?., - заключил Аристарх Федорович с беспечно-веселым тоном, приправленным пытливым взглядом, устремленным на собеседника.

- Что мы стоим, господа? - воскликнул Тохтамышев. обрезывая сигару. - Мсьё Балахнов, Чиндаласов, пойдемте варить наш обед, как говорится...

Аристарх Федорович изъявил величайшую готовность, и все трое направились к двери обеденной залы.

- А, мсьё Миловзоров! какими судьбами?., - произнес Чиндаласов, обращаясь к красивому врачу, который стоял у дверей вместе с Васильковым и курил тоненькую дамскую папироску, обернутую в розовую бумажку...

Аполлинарий Ильич покраснел до ушей, пробормотал какой-то несвязный ответ и, взяв под руку Порфирия Павловича, курившего трубку, последовал за остальною компанией.

Минуту спустя компания расположилась в небольшой комнате, украшенной полудюжиною зеленых столов и диванами; тут, в числе многих лиц, бросалась особенно резко в глаза почтенная спокойная наружность Петра Степановича Крапова.

Тохтамышев потребовал шампанского - и Аристарх Федорович потребовал шампанского; Тохтамышев потребовал тончайших сигар - и Аристарх Федорович потребовал тончайших сигар.

- Итак, - сказал Балахнов, улыбаясь Чиндаласову, - разъясните же мне, наконец, вы, который постоянно живете в Москве, куда могли деться наши губернские львы?.. По крайней мере, я не встретил ни одного из них во все время пребывания моего в столице...

- Мудреного ничего нет, - возразил Чиндаласов, пуская клуб дыма, - Сербин и Кранович, приехав из провинции, пробыли здесь всего две недели и уехали в Петербург; Serge Старобельский живет, как вам, я думаю, известно, безвыездно в своих «Золотых Привольях», поглощенный весь в созерцание своих гнедых рысаков и саврасых скакунов...

- Как же это? - перебил Балахнов, - мне сказали, будто Старобельский уехал нынешнее лето на московские скачки!.. Я даже собирался навестить его, но не сделал этого единственно потому, что нигде его не встречаю...

- Э, помилуйте! ничуть не бывало! живет преспокойно в своих «Золотых Привольях» Что ж касается до других, Окатов, например...

- О, я этого и не считаю! - живо перебил Аристарх Федорович, потирая переносицу.

- Ну, кто там у нас еще из особенно богатых?.. Да, Бирюков...

- Ну, а этот куда девался? - с участием спросил Балахнов, - мне сказывали, что он уехал в Москву для консультации со здешними докторами по случаю болезни его брата...

- Ха! ха! ха! - разразился Чиндаласов, - кто мог вам дать такое ложное известие? Бирюков, Бирюков поедет для консультации! Он не предпримет поездки, которая будет ему чего-нибудь стоить... Разве вы его не знаете?..

- Да, он-таки скупенек, нечего сказать, - заметил Аристарх Федорович.

- Еще бы! - подхватил Чиндаласов, - еще бы!

- Тохтамышев! - сказал Петр Степанович Крапов, подходя к разговаривавшим, - не хочешь ли составить партию?

- Охотно, - отвечал Тохтамышев, беспечно раскачивая ногой, - но кто ж будет моим партнером? Отыщи партнера, и я сяду...

- Вы играете, мсье Чиндаласов? - спросил Аристарх Федорович.

- Играю и даже люблю играть, несмотря на то, что во время последних выборов получил порядочный урок от Крановича и Сербина...

- И, несмотря на этот урок, будете все-таки играть на следующих выборах? - смеясь, произнес Балахнов, горевший желанием узнать, будет ли присутствовать собеседник на выборах.

- Всенепременно! - смеясь, возразил Чиндаласов, - я обещал даже реванш Крановичу и Сербину.

- В таком случае, - любезно перебил Балахнов, - в ожидании этого реванша не хотите ли состязаться со мною?..

- Очень рад. Партия, следовательно, готова. Тохтамышев! - крикнул Чиндаласов, обращаясь к свояку Бобохова, стоявшему подле стола, - ты играешь с Краповым против меня и мсье Балахнова.

- Пре-к-расно, о-о-чень рад! - отвечал Тохтамышев, между тем как кончики драгоценных его пальцев, державшие сигару, тотчас же принялись разыгрывать известное allegro.

«Дело в шляпе», подумал Аристарх Федорович, направляясь к игорному столу: «Чиндаласов любит играть; проигрываю ему пятьсот рублей и этим способом приобретаю его на свою сторону; сверх того, приобретаю его друзей, Крановича и Сербина, которым также своевременно проиграна будет маленькая сумма - наша возьмет!».

В то время, когда Аристарх Федорович усаживался за карты, составляя в дипломатической голове своей глубокие комбинации хитросплетенного свойства, Миловзоров увлекал своего сердобольного друга в соседнюю комнату.

- Много ли денег взял с собой Аристарх Федорович, ты не знаешь? - спросил Аполлинарий Ильич с некоторою поспешностью.

- Нет, не знаю; а что?

- Он погиб, наверное погиб!

- Как! что такое?., - возразил Васильков, вращая глазами, выражавшими испуг.

- И ничего не знаешь ты об этих господах?.. И ничего не знаешь даже об этой комнате, откуда мы сейчас вышли?., - продолжал Миловзоров, увлекая своего друга в диванную.

- Ничего, клянусь!

- Ужасно! ужасно! Один вид этой комнаты пробуждает во мне страх, - вымолвил Миловзоров с таким выражением, от которого все члены Порфирия Павловича проникнись невольным трепетом.

- Ее зовут особым именем! - шепнул Миловзоров.

- Каким? - вот все, что мог произнести Васильков.

- Адская комната! - проговорил Миловзоров, таинственно наклоняясь к уху своего собеседника.

- Может ли быть?., - шепнул Васильков, озираясь на стороны.

- Я тебя уверяю. Что ж касается до этих господ, это первые игроки в мире; играют страшно: это те самые, что выиграли у меня пятнадцать тысяч в полчаса! те самые - Чиндаласов и тот старый Крапов; случай необыкновенный! Так все это хитро было подведено, что всякий бы попался на моем месте...

- Как же это было? - спросил Васильков, тронутый минувшим горем одного друга и в то же время обуреваемый страхом при мысли, что другой друг его подвергался неминуемой опасности.

- Однажды вечером - это случилось, душка моя, четыре года тому назад, вскоре после моей свадьбы - присылает за мной какой-то больной... - начал Миловзоров, усаживая на диван взволнованного Василькова, - я являюсь. Вводят меня в спальню; вижу: лежит больной, вот этот самый Чиндаласов, что играет теперь с Аристархом Федоровичем. Перед постелью стол, а за этим столом сидят Тохтамышев, тот же самый, и Крапов... заметил ты его?..

- Ох! - простонал Порфирий Павлович, томимый страшным предчувствием.

- Оба они, то есть Тохтамышев и Крапов, играли в карты. Больной рассказывает мне, между тем, о своей болезни - а болезни, надо тебе сказать, душка моя, ровно никакой у него не было; попросту голова болела. Слово за слово, больной, то есть, Чиндаласов, и говорит мне: - «Доктор, говорит, смотрю я на ваше прекрасное лицо, смотрю и не могу наглядеться... (ты знаешь, душка моя, все говорят мне почему-то то же самое); ваша физиономия кажется мне самою счастливою. Послушайте, говорит, не согласитесь ли вы поиграть за меня?.. Приятели пришли развлечь меня, а мне, между тем, сделалось еще скучнее, потому что „глаз видит, да зуб неймет”»... это было его собственное выражение. Вижу, люди такие приятные, любезные. «Отчего ж, говорю, весьма буду рад». Вот, душенька, я и сел с ними...

- Ох! - простонал Порфирий Павлович. Вздох этот вызван был тяжелым воспоминанием проигрыша в сто целковых, сделанного им в то время еще, когда полк его стоял на травяном продовольствии.

- И представь, душенька, счастие действительно повезло мне, - продолжал Миловзоров, - так повезло, что в каких-нибудь полчаса я выиграл у Тохтамышева и Крапова двести пятьдесят целковых! Мне стало ужасно досадно, что я играл на чужие деньги: выигрыш принадлежал Чиндаласову. Не знаю, догадался ли он, только когда я стал отдавать ему деньги, он и говорит мне: «Мне, право, говорит, совестно брать деньги, которые вы одни выиграли; а впрочем, все это, говорит он, можно поправить: приходите завтра и будем играть пополам; необыкновенное счастие ваше ручается мне за успех». Денег мне не нужно было; ты знаешь, душка, боперчик и бельмерочка ни в чем мне не отказывают: но я был уверен, что выиграю, и сам поймешь, как билось мое сердце, когда я думал, что вдруг принесу им тысяч этак тридцать или сорок!.. Мне хотелось сделать им приятный сюрприз. Боперчик только что подарил мне тогда ломбардный билет в пятнадцать тысяч; я взял этот билет (нарочно никому не сказал ни слова) и на следующий вечер отправился к Чиндаласову. Смотрю: он лежит по-прежнему в постели, и показалось мне тогда, что он в самом деле болен (потом уже узнал я, душка, что все это была штука); по-прежнему сидят Тохтамышев и Крапов. Чиндаласов дал мне денег, я сел играть и... сказать ли тебе?.. да, скажу, душка, в полчаса они обыграли меня дочиста: пятнадцать тысяч как не бывало! Тут они и забастовали. Я бы до сих пор ничего не подозревал с их

стороны, если б не один приятель, также доктор, с которым они сыграли такую же штуку: зазвали его к себе, Чиндаласов прикинулся больным, пригласил его в долю, тот сел; в первый день повезло счастье, а на другой день его обыграли точно так же, как меня... Я тебе говорю: это ужасные люди!..

- Аполлинарий! - воскликнул Васильков, воодушевленный какою-то энергическою мыслью, - надо спасти Аристарха Федоровича!..

Миловзоров изъявил совершеннейшую готовность следовать за своим другом. Васильков обвил правою рукою левую руку красивого медика, и оба направились смелыми стопами в адскую комнату.

По мере приближения к цели решимость и отвага, отражавшиеся на энергических лицах двух приятелей, постепенно слабели, слабели и, наконец, заменились явным смущением; в соседней комнате Миловзоров обнаружил желание закурить папироску, и так долго продлил эту церемонию, что Порфирий Павлович почувствовал потребность затянуться, в свою очередь, табачным дымом и потребовал трубку; вступив в третью комнату, Миловзоров почел нелишним сообщить задушевному другу, что подвиг, предпринятый ими, требовал большой осторожности и особенно сильного присутствия духа и находчивости; на этом основании решено было, с общего согласия, отправиться в буфет и выпить для бодрости по стакану портвейна.

В четвертой комнате Васильков спросил у доктора, не знал ли он еще каких-нибудь подробностей насчет Чиндаласова и его приятелей? Доктор отвечал, что ему известна только ссора, происшедшая между Чиндаласовым и каким-то господином, который, желая заступиться за брата, обыгранного Чиндаласовым, намекнул последнему о его неправильной игре; больше ничего он не знал о Чиндаласове.

- Мнение мое, - сказал Миловзоров, останавливаясь в великом смущении подле двери заветной комнаты, - мнение мое такого рода, что нам не следует даже показывать ни в каком случае, что мы принимаем участие в Аристархе Федоровиче; мы сядем на диван против него и молча будем подавать ему знаки глазами: он поймет.

Порфирий Павлович отвечал энергическим пожатием руки; затем оба пробрались в игорную комнату, уселись в отдаленный угол и принялись наблюдать Аристарха Федоровича, окруженного толпою игроков и любопытных.

В эту минуту Аристарх Федорович достоин был наблюдения со стороны кого бы то ни было: из разговора оказывалось, что он проигрывал несколько тысяч, и со всем тем на величавом лице его не обнаруживалось ни малейшего обличительного признака внутренней тревоги. Пурпуровые кружки, горевшие ярким пламенем на благородных его ланитах и принимавшие издали вид накапанного красного сургуча, доказывали только, вместе с каплями пота, что Аристарх Федорович не был привычен к жаркой атмосфере адской комнаты.

- Прекрасно, мсьё Чиндаласов, пре-вос-ходно! ха! ха! ха! - говорил Аристарх Федорович, вынимая с особенным великолепием бумажник из бокового кармана, - чудесно! А впрочем, наше дело еще не кончено: надеюсь, вы не забыли, что дали мне слово навестить меня до выборов в губернском городе и привезти с собою Сербина и Крановича?.. Партия наша, следовательно, еще не кончена и отлагается впредь до другого случая...

- Разумеется, - отвечал изящный Чиндаласов, рассеянно запрятывая в карман балахновские деньги, - что ж касается до данного слова, я сдержу его и в назначенный день явлюсь к вам с Сербиным и Крановичем...

- Благодарю! - сказал Аристарх Федорович, величественно приподымаясь со своего места и протягивая руку собеседнику, - а уж насчет Ханских Прудов и думать нечего - с этой стороны не ждите вы никакой пощады... ха! ха! ха! Как только завидят вас - стой! Запрем коляску, запрем лошадей, а самих заполоним точно так же, как делывали в старину наши предки... Надеюсь, вы недолго останетесь в губернском городе после выборов? Что там делать? Скука смертная...

- Ну, нет, я с вами не совсем согласен; во-первых, там бездна хорошеньких...

Аристарх Федорович залился веселым смехом и погрозил с очаровательною грациею пальцем на своего собеседника.

- Серьезно, я вовсе не шучу, - повторил Чиндаласов, - хорошеньких бездна!..

- Не знаю, мсьё Балахнов, много ли у вас хорошеньких, - сказал Тохтамышев, - но, во всяком случае, мне так же, как и Крапову, хотелось бы узнать об одной особе вашего губернского города, красоту которой превозносит до небес наш приятель Чиндаласов.

- Кто ж такая? - спросил Аристарх Федорович, лукаво прищуривая глаза.

- Вы, верно, знаете, или видели по крайней мере... некто Кошкина. Чиндаласов уверяет, что такой хорошенькой женщины не встретишь даже в целой Москве, - продолжал Тохтамышев, не замечая конвульсивных движений, производимых бровями Аристарха Федоровича.

- И, конечно, такое мнение найдет живой отголосок в мсьё Балахнове, если он только видел мадам Кошкину, - сказал Чиндаласов.

- К сожалению, я не знаком с ними, - отвечал Аристарх Федорович с тем невозмутимо-благородным спокойствием, которое составляло самую резкую и замечательную черту в его высокой натуре.

- Жаль, мсьё Балахнов, очень жаль! - произнес Тохтамышев. - Основываясь на вашем приговоре, я хотел удостовериться, достойна ли она похвал нашего друга Чиндаласова, который... ха! ха! ха!., чтоб угодить ей, обещал держать сторону ее мужа во все время выборов...

В эту минуту Аристарху Федоровичу сделалось очень неловко; мрачное облако затмило его взоры. Но это продолжалось всего одну секунду; секунду спустя черты великого дипломата приняли свое обычное величавое спокойствие.

- А! так вы намерены держать сторону Кошкина?., - рассеянно вымолвил он, проникаясь мгновенно глубочайшим презрением и непримиримою ненавистью к Чиндаласову и его приятелям.

- Да, - весело отвечал Чиндаласов, - и сделаю это с величайшим удовольствием; сам я не принимаю никакого участия в выборах: пускай себе торжествует мсьё Кошкин!..

«Мы это еще увидим!» - чуть было не крикнул Аристарх Федорович.

- Пускай себе торжествует мсьё Кошкин, пусть будет по-вашему! - произнес он удушливым голосом, производившим какое-то странное дребезжанье, как будто в его горле засел куст крыжовника.

Сказав эти слова, Аристарх Федорович раскланялся с Чиндаласовым и, горделиво закинув голову, вышел из комнаты.

Васильков и Миловзоров быстро последовали за ним. Решив в своем сердце, что это была самая благоприятная минута для предостережения Аристарха Федоровича насчет страшной опасности, какой подвергался он в обществе Чиндаласова, они стремительно пробежали длинную анфиладу комнат. Усердие их оказалось, однако ж, бесполезным:

Аристарха Федоровича уже не было в клубе.

V.

Один интересный молодой человек едет к одной великосветской даме, которая дает блистательные вечера по пятницам, а оттуда в Петровский парк, где встречает веселую компанию

Утром на другой день после блистательного концерта, ознаменованного странными звуками Серенадина, в пятый нумер гостиницы, занимаемой Бобоховым, вошел известный аферист Афанасий Никитич Степанчиков. Престарелый Корней поспешил доложить барину, и так как ответ оказался вполне удовлетворительным, минуту спустя Степанчиков входил в гостиную.

После обычных приветствий беседа между миллионщиком и флегматическим толстяком началась следующим образом:

- Что вам угодно? - спросил Бобохов, усаживаясь на диване и приглашая гостя занять место на соседнем стуле.

- Я пришел к вам, сударь мой, поговорить насчет землицы, которую привелось приобрести у вас месяц назад, - прохрипел Степанчиков, устремляя глаза на собеседника и полируя в то же время ладонью правой руки ворс порыжевшей своей шляпы.

- Что ж вам угодно? - нетерпеливо повторил выскочка. - Дело, кажется, кончено.

- Я сам полагал, что оно кончено, а на поверку, сударь мой, выходит, что не совсем: в купчей, которую вы изволили тогда принять на себя, находится маленькое недоразумение...

- Объяснитесь! - сказал Бобохов, закидывая назад голову.

Толстяк поставил шляпу на соседний стул, вынул из бокового кармана табакерку, угостил нос щепотью табаку и снова устремил глаза на собеседника.

- Изволите видеть, - начал он, укрепляясь окончательно на стуле и делая пояснительные движения пальцами. - Изволите видеть: я, как вам, полагаю, известно, купил землю не для себя; купил я ее по поручению одного богатого господина и, следственно, должен отвечать за каждую безделицу... Изволите видеть: в купчей означено, сверх земли, тридцать одна душа; так или нет-с?.. В числе их оказывается маленький недочет-с; изволите видеть, как это произошло: скупив имение у прежнего владельца, вы изволили заниматься формированием оркестра... Похвальная мысль-с, сударь мой; вчера еще я мог убедиться, с каким успехом вы привели ее в исполнение... Итак-с, вы изволили заниматься формированием оркестра и для этой цели потребовали из отдельных вотчин, прилежащих к большому вашему имению... Голодаевка, кажется... так точно-с - потребовали способных людей. Из справок оказывается, что три дворовые души, о которых я упоминал, которые числятся в купчей и которых нет у меня налицо - находятся теперь в вашем оркестре...

- Я что-то не совсем этому верю, - сказал Бобохов, презрительно прищуривая глазки.

- Так точно-с! - возразил Степанчиков с необычайною флегмою. - Так точно-с; если вам угодно будет заглянуть вот сюда-с, - примолвил он, вынимая из кармана несколько сложенных листов, - вы сейчас же убедитесь во всем; изволите видеть: вот купчая, а вот и ревизская сказка; тут найдете вы даже имена трех вышеупомянутых музыкантов.

- Что мне смотреть!.. Помилуйте, это совершеннейшая нелепость. Как! Я упомянул в купчей, говорите вы, - трех музыкантов, которых я сам, лично, постарался усовершенствовать?.. Этого быть не может!..

- Так точно-с... - возразил с невозмутимым спокойствием Степанчиков, - и я требую, сударь мой...

- Вы требуете... странно! - перебил Бобохов.

- То есть требую собственно не я-с, а покупщик имения вашего. Вы извольте взглянуть, - сказал Степанчиков, раскрывая бумаги и подчеркивая ногтем три имени, курсивом прописанные в сказке.

- Как, Серенадин? - вскричал, зеленея, Бобохов. - Три музыканта, на образование которых пошли огромные суммы... три виртуоза, которыми вчера еще восхищалась вся публика... и... и...

- Что ж делать! - равнодушно сказал Степанчиков, покручивая сережку, украшавшую его правое ухо.

- Как что делать? Что делать!.. Ха-ха! - залился выскочка тем смехом, который называется обыкновенно «желтым». - Ха-ха!.. И вы серьезно думаете, что я уступлю этому господину Паганинова, Габриельского и Серенадина?

- Так точно-с, - отвечал с убийственною флегмою Степанчиков.

- Что значит ваше „так точно”? Так точно!.. Знайте, что я смеюсь над всем этим! - запальчиво сказал выскочка, быстро приподнимаясь со своего места и принимаясь размахивать руками...

- Смейтесь, сударь мой, смейтесь! Смейтесь, сколько угодно! - подхватил Степанчиков, отодвигаясь вместе со стулом.

Мы уже сказали, что лицо Афанасия Никитича увенчано было белыми как снег волосами, остриженными под гребенку и принимавшими издали вид белой ермолки; точность, какой следовали мы во все продолжение этой правдивой истории, заставляет нас сознаться, что в ту самую минуту, как Бобохов принялся размахивать руками, на лице Степанчикова обозначилась приятная улыбка и вместе с тем серые глаза его заискрились веселым блеском.

- Смейтесь, сударь мой! - повторил Степанчиков. - Со своей стороны, я буду иметь честь известить вас от имени покупщика вашей деревни, что если вы воспротивитесь удовлетворить его миролюбивым образом, он принужден будет обратиться куда следует, сударь мой: подаст прошение... И так как все права на нашей стороне в настоящем случае...

- Нет, на вашей стороне или на стороне этого господина, как вы его называете, решительно нет никаких прав! - воскликнул выскочка, останавливаясь перед собеседником, который продолжал покручивать сережкой. - Во-первых, с вас потребуют отчет, зачем не сказали вы мне ни слова прежде о том, что недостает в купчей трех человек, и объявили мне об этом спустя месяц!..

- Полноте, сударь вы мой! - сказал с расстановкою Степанчиков. - Мало ли у меня дела! за всем не присмотришь; до сего времени и покупщик не заглядывал в вашу купчую; а как заглянули, так я вот и пришел к вам... Вот и все тут!

- А я вам скажу, что вы знали очень хорошо все это дело! - вскричал Бобохов. - Вы знали, что, продавая имение, я проглядел нечаянно в купчей трех музыкантов, и нарочно ничего тогда не сказали!.. Да, вам известно было, что я намерен был истратить на них огромные суммы и сделать из них знаменитых виртуозов... вы все это знали и даже рассчитывали на это... И теперь, как три виртуоза получили громкую известность, вы хотите отнять их у меня!.. Так может поступить только тот... Да, тот, кто... - примолвил Бобохов, осаживая к двери. - Да вы просто поступили со мною...

- Извольте продолжать, сударь мой, извольте! - подхватил Афанасий Никитич, громко сморкаясь. - Вы, кажется, сударь мой, изволили выразиться...

- Да, я сказал, - поспешил перебить Бобохов, - я сказал, что вы поступили со мною... да... совсем... очень даже нехорошо!.. Я никого не боюсь, и наведите хоть тысячу, хоть три тысячи свидетелей, я все-таки повторю, что не уступлю вам трех музыкантов... Это явная нелепица, бессмыслица, чепуха!., и я... я советую вам, милостивый государь, быть со мною осторожнее!.. - присовокупил он, разгорячаясь. - Да, советую вам, милостивый государь, быть со мною осторожнее! - подхватил запальчивый юноша, значительно понижая голос. - Вы забываете, с кем имеете дело! Я никогда, слышите ли, никогда никому не позволю шутить с собою, да будет это вам известно!

- Какой же, батюшка вы мой, шутник! - возразил Степанчиков. - Я только хотел сказать вам, что, принимая в уважение ваше пристрастие к вышереченным трем музыкантам, готов, пожалуй, от имени господина, купившего у вас имение, предложить вам мировую, полюбовную сделку...

- Не хочу я никаких полюбовных сделок!.. Ха- ха-ха!.. Мировые сделки с вами! Это просто смешно!.. Вы поступили со мною как... как... Хи-хи-хи!.. Сделка, сделка... Хи-хи-хи! - подхватил выскочка, стараясь принять насмешливый вид. - Любопытно было б знать, однако ж, какая это сделка?..

- Угодно вам выслушать?..

- Да, пожалуй, хи-хи!.. да; но только нельзя ли, пожалуйста, кончить скорее?

- С моим большим удовольствием: угодно вам будет вознаградить покупщика наличными деньгами?

- Сколько же он хочет? - презрительно спросил Бобохов.

- Семь тысяч.

- Семь тысяч?.. - воскликнул, зеленея, Бобохов.

- Так точно-с, - возразил неумолимый Степанчиков, - а в случае, если нет у вас наличной суммы, мы напишем, пожалуй, вексель... за поручительством Аркадия Андреевича Тохтамышева...

- У меня всегда есть деньги! - гордо воскликнул Бобохов. - Я не знаю, откуда, кто мог сказать, с чего вы взяли, что я стану подписывать векселя!

- Так, стало быть, вы, сударь мой, не согласны? - спокойно произнес Степанчиков, посылая в нос щепоть табаку.

- Я удивляюсь, да, я не постигаю, как вы можете предлагать мне такие сделки! - запальчиво воскликнул выскочка, принимаясь снова размахивать руками. - Вы забываете, кажется, с кем имеете дело.

- Эге-ге-ге, батюшка! большой форс на себя берете, - медленно сказал Степанчиков, нагибаясь, чтоб приподнять шляпу, - оченно горячи, да-с, хотя и не больно какой знатный вельможа...

Бобохов сделал жест рукою, хотел что-то сказать, но взглянул на толстого афериста и ограничился тем только, что указал ему торжественно на дверь и вышел в соседнюю комнату.

- Мое почтение, - сказал ему вослед Степанчиков, выражая насмешливую улыбку, - мое почтение-с; буду иметь честь известить вас, сударь мой, что завтра же подано будет, куда следует, прошение... Желаю оставаться благополучно...

Всякому понятно, я думаю, каких усилий потребовалось со стороны Бобохова, чтоб выдержать равнодушно окончание этой сцены и вести себя истинно джентльменским образом. Такое уменье владеть собою сделало б даже честь самому Аристарху Федоровичу. Но всякий, я думаю, знает также, что страсти, подавляемые таким образом в глубине сердца, приобретают свойство пороха, который тем сильнее действует, чем теснее пространство, в котором его заключили. Такое свойство сосредоточенных страстей замечаем мы теперь в Бобохове, который явился в гостиную, как только шаги Степанчикова умолкли в коридоре. Ничего не может быть свирепее выскочек, приведенных в раздраженное состояние, и особенно в тех случаях, когда напоминают им их далеко не аристократическое происхождение. Выскочки в тех случаях - то же, что разбогатевшие петербургские сапожники из немцев, которые готовы, кажется, пронзить вас шилом, если вы осмелитесь назвать их „сапожниками". Гроза, нависнувшая над пятым нумером аристократической гостиницы, прошла, однако ж, без особенных последствий; все дело ограничилось несколькими „эй!", приправленными лаконическим приказанием подавать немедленно карету.

Пять минут после этого Бобохов летел к свояку своему, блистательному Тохтамышеву. Тохтамышев жил великолепно, и жил, нужно заметить, совершеннейшим холостяком. В то самое утро в кабинете его - отличнейшем кабинете, с пате и диванами, обтянутыми красным сафьяном - было очень весело. Тут находились Чиндаласов, почтенный Петр Степанович Крапов, много еще других джентльменов, принадлежащих той же компании. В ту самую минуту, как Бобохов входил в переднюю, стены квартиры потрясались единодушным хохотом.

- Аркадий Андреевич только что изволили уехать, - сказал с уверенностью лакей.

- Он уехал, может быть, для других... Но разве ты меня не знаешь? - произнес выскочка, причем физиономия его представила ровную глянцевитую поверхность желтого лица, украшенного по бокам рыжеватыми бакенбардами.

- Помилуйте, как не знать-с! очень хорошо знаю-с! - возразил лакей, заслоняя слегка дорогу, - но Аркадий Андреич, как я вам уже докладывал, изволили уехать...

Тут в отдалении послышался новый взрыв хохота, который раздался с перекликами в оскорбленном сердце выскочки; он показал, однако ж, что ничего не заметил и спросил рассеянно:

- Когда же он будет дома?..

- Не могу знать; они ничего не изволили говорить... - отвечал лакей, отворяя дверь на улицу.

- Скажи, по крайней мере, что я был! - вымолвил Бобохов глухим голосом.

Чрезвычайно неприятно! К счастию еще, что в ту самую минуту, когда выскочка садился в карету, на тротуаре толпилось много народа, и он мог вознаградить себя, крикнув кучеру громким голосом: „к Тохтамышевой!".

Тохтамышев и жена его не жили вместе. Не могу сказать вам наверное, в какой именно день и по какому именно случаю произошло несогласие между ними. Людская молва и толки потеряли кредит с незапамятных времен; и всякий мало-мальски опытный человек знает, как опасно доверять тому, что говорят люди. Не ручаясь за справедливость нижеприведенных строк, мы скажем, однако ж, что иные говорили, будто „ расстройство " между супругами произошло вскоре после того, как приданое купеческой дочки (ныне Тохтамышевой) обратилось в тщательно закругленный ноль; другие, более скромные исследователи чужих дел приписывали расстройство несогласию характеров: супруга настоятельно требовала, чтоб муж возил ее на бал в дворянское собрание и посещал с нею всевозможные гостиные; муж, с своей стороны, не любил всего этого; руководимый истиною, он не раз даже говорил жене, что сам не имеет никакого доступа в гостиные, никогда не посещал их, ибо с юного возраста ограничил визиты свои клубом, креслами театра и почтенным Петром Степанычем Краповым; но жена противилась внимать голосу истины и настаивала на своем. Третьи, напротив того, обвиняли во всем мужа: они положительно утверждали, будто Тохтамышев смотрел на жену не иначе, как на мешок с деньгами, и расстался с этим мешком именно в то самое утро, когда не оказалось в нем гроша. Что до меня касается, я решительно почитаю такие слухи пустыми сплетнями, возведенными людскою злобою до небывалых размеров. Дело, мне кажется, очень просто и объясняется само собою: Тохтамышев любит шум, блеск; жена его любит скромное уединение, и потому, не желая, верно, мешать друг другу, они согласились жить в разных квартирах.

Склонность к уединению заставила Тохтамышеву поселиться вовсе не на Сивцевом Вражке, как говорил Бобохов, но в отдаленнейшем захолустье Москвы, и нанять три комнаты вовсе не в доме графа Волынского, как повествовал опять-таки Бобохов, но в доме весьма невзрачной наружности, принадлежавшем какой-то старой купчихе.

Могло также статься, что „салон" троюродной сестры Бобохова, которую называл он, вероятно, для краткости, сестрою, не представлял также образчика современной роскоши, доведенной до тончайшей аристократической изысканности: аристократическая роскошь и тонкая изысканность салона сосредоточивались в чахлом диване в виде S, обитом когда-то красною байкой с черными разводами...

Прислуга Тохтамышевой была также не очень многочисленна: мажордом, грум, камеристки и проч. олицетворялись в одном образе старой, подслеповатой кухарки.

Вид этой кухарки сильнейшим образом оскорблял и даже возмущал джентльмена Бобохова. Когда она отворила ему дверь в то достопамятное утро, о котором идет речь, он не взглянул даже на нее и ограничился тем только, что произнес отрывисто:

- Дома?

- Дома-с, пожалуйте...

Выскочка бросил пальто и вступил в „салон" с каким-то решительным, в высшей степени развязным и даже наглым видом, с каким входят обыкновенно разбогатевшие выскочки к бедным родственникам.

- Здравствуйте, сестрица! - сказал он, снисходительно протягивая руку хозяйке дома, выходившей к нему навстречу из противоположной двери.

Общее впечатление, производимое наружностью Тохтамышевой, было как-то неудовлетворительно, как-то неполно, словно недоставало чего-то; а недоставало именно голубого шелкового платочка, плотно повязанного на голове, брильянтовых серег в ушах, румян на щеках, турецкой шали на плечах - словом, всего того, чем любуемся мы, встречая первого мая в Сокольниках богатых купчих, самодовольно восседающих в роскошных колясках, запряженных щегольскою четверкою серых и украшенных на запятках „малым" из гостиного двора.

- Ах, братец, как я рада! - сказала Тохтамышева, обнаруживая тем не менее явную неловкость и смущение. - А я, признаться, думала, что вас уж нет в Москве... На днях я писала вашей матушке и даже пеняла на вас...

Затем, смутившись окончательно, она попросила его войти в соседнюю комнату.

- Скажите, братец, давно ли виделись с вашей маменькой? Здорова ли она?.. Я так давно не получаю от нее писем... - спросила Тохтамышева.

- Не знаю; я также давно не получал от нее писем, - небрежно отвечал выскочка.

Несмотря, однако ж, на то, что „братец" выказал при этом признаки величайшего нетерпения, сестра засыпала его вопросами о родне и кончила свои расспросы не прежде, как когда Бобохов объявил наотрез, что он решительно ничего не знает о своих родственниках.

Тохтамышева переменила тотчас же разговор и спросила братца, не хочет ли он завтракать.

- Merci, я только что от Шевалье, - отвечал выскочка, запрятывая руку в отверстие белого жилета.

- В таком случае, вы не хотите ли завтракать, Аполлос Васильич? - вымолвила Тохтамышева, обращаясь к какому-то вошедшему в это время господину, который отвечал наклонением головы.

При имени „Аполлос Васильич" Бобохов вспомнил историю одного весьма богатого человека, проигравшого когда-то до последней нитки все свое состояние; кой-какие признаки в наружности господина служили Бобохову несомненным доказательством, что это был именно тот господин.

- Я приехал к вам, сестрица, однако ж, за делом, - сказал выскочка, когда завтрак был подан и после того, как Аполлос Васильевич выпил залпом рюмку водки, - дело, разумеется, ничтожное, чрезвычайно даже забавное, если хотите, но со всем тем оно ставит меня в неприятное положение... то есть не то, чтоб неприятно, а так, знаете, досадно...

- Что ж такое? - спросила Тохтамышева.

- Всего забавнее то, что кашу эту заварил мне, разумеется, нечаянно, Arcadie... Arcadie... Этакая ветреная голова! - продолжал Бобохов. - Видите ли, в чем дело: мне хотелось продать одно из моих поместий, которое мне страшно надоело; я обратился к Arcadie; тот, разумеется, сам не зная кого рекомендует, приводит ко мне в Hotel, где я всегда останавливаюсь, какого-то господина. В этом имении - и сам не знаю, как это случилось - управляющие мои не досмотрели, что ли - записаны были три музыканта... вы, может быть, слыхали о них? Ну, вот те самые, что давали на днях концерт, вся Москва там была! - присовокупил он, закуривая папироску. - Теперь представьте же, что случилось: покупщик имения требует от меня этих музыкантов... он подал даже просьбу на меня по этому случаю... хи-хи-хи!.. Разумеется, все это вздор, пустяки; но мне, знаете, хотелось бы проучить хорошенько этого господина; не мешает, знаете, учить таких людей. Нет ли у вас в виду какого-нибудь делового человека, знаете, пройдохи какого-нибудь, который бы за известную плату (я денег не пожалею) повернул бы дело таким образом, чтоб три музыканта остались в моих руках?.. Вы, я знаю, имели разные дела, и я был бы вам чрезвычайно благодарен. Ужасно хочется наказать этого господина!.. Нет, скажите мне, каков Arcadie? Arcadie-то каков?

- Да вы бы обратились к...

- К Arcadie? - подхватил Бобохов, - да, конечно; но я должен вам сказать, сестрица, что после этой истории, хотя, разумеется, невольной с его стороны, я имею полное право на него сердиться... мы даже, хи-хи! да, мы в маленьких контрах... хи-хи-хи!...

- К сожалению, я, право, никого не знаю, - возразила Тохтамышева, приподнимаясь на своих пятках, чтоб закурить папиросу, предложенную ей Бобоховым. - Аполлос Васильич, не знаете ли вы кого-нибудь? - присовокупила она, пристально устремляя глаза на другого собеседника.

- Ах, сделайте милость, сообщите, если вы знаете! чрезвычайно было бы приятно! - заговорил Бобохов, пуская длинную струю дыма.

Аполлос Васильевич медленно повернул голову, окинул Бобохова насмешливым взглядом и пустил несколько густых клубов дыма.

- Если вам нужен пройдоха, как вы говорите, - вымолвил он наконец как бы нехотя, - мне остается пожалеть, что вы „в контрах" (тут лицо старого игрока озарилось саркастической улыбкой)... что вы в контрах с Тохтамышевым: он верно не замедлил бы вам представить такого человека.

- О, разумеется! - с уверенностью перебил Бобохов, не понимавший насмешливого тона Аполлоса Васильевича, - но согласитесь, что после всего этого мне не хотелось бы обратиться к Arcadie... а дело между тем не терпит промедления: чего доброго, покупщик имения в самом деле возьмет свое, если не предупредить его...

- Весьма может быть, - пробормотал Аполлос Васильевич, взглядывая в окно.

- Как жаль, право, братец, если вас разлучат с вашими музыкантами!

- Помилуйте, сестрица, чрезвычайно даже неприятно, то есть, разумеется, не столько для меня, сколько для моего оркестра - первый оркестр в губернии!..

- Да вот, чего же лучше! - произнес Аполлос Васильевич, снова поворачиваясь к выскочке. - Не знаете ли вы или не слыхали ли по крайней мере об известном аферисте Степанчикове? Обратитесь к нему: он устроит вам, что хотите... за деньги, конечно.

- Как! Степанчиков! да помилуйте, это тот самый, что отнимает у меня музыкантов! - воскликнул Бобохов.

- С чем вас и поздравляю! - произнес Аполлос Васильевич.

Тут поставил он на окно трубку, которую курил до того времени, положил голову на спинку кресел и залился протяжным смехом.

- Что вы хотите этим сказать? - воскликнул Бобохов, обижаясь не на шутку непринужденным обращением гостя.

Он подпрыгнул на своем кресле и заморгал глазками по направлению к Аполлосу Васильевичу; но Аполлос Васильевич не обратил на него, по-видимому, ни малейшего внимания и продолжал смеяться.

При этом лицо щепетильно-раздражительного выскочки мгновенно перекрылось зловещею зеленью; и без сомнения, легко могла бы возникнуть маленькая сцена, если б не поспешила предупредить все это хозяйка дома.

- Вы не знаете, отчего смеется Аполлос Васильич, - произнесла она, подходя к Бобохову, стоявшему уже со шляпою в руке, - Аполлос Васильич смеется, братец, от того, что этот Степанчиков сделал ему когда-то точно такую же историю...

- Да-с, любезнейший мсьё Бобохов, историю, во всем сходную с вашей! - подхватил злосчастный игрок, поворачиваясь к выскочке, окидывая его с головы до ног насмешливым взглядом и не стараясь даже скрыть саркастической улыбки. - Я продал ему когда-то одну из своих усадеб, - усадьбу, которая мне также надоела... он, разумеется, обманул меня; виноваты, кажется, были мои управляющие: не досмотрели! А так как Степанчиков рекомендован мне был господином Arcadie, как вы его называете, то понимаете, что я точно так же имею маленькие контры с вашим свояком; ну, словом, история, во всем сходная с вашей...

Как ни прост был Бобохов, он понял, однако ж, что Тохтамышев, рекомендуя ему Степанчикова, поступил не совсем опрометчиво, как это могло казаться с первого взгляда:

Тохтамышев, как все игроки, мог нуждаться в таком пройдохе, каков был Степанчиков, мог занимать у него деньги, мог даже задолжать ему сильнейшим образом и мог также, за неимением процентов или в вознаграждение за одолжение, доставить Степанчикову выгодные дела. Все это весьма даже легко могло статься. Выскочка слышал даже кое-что об этом стороною и в свое время, но не обратил тогда должного внимания, приписав такие слухи изобретениям завистников блистательного Тохтамышева. Теперь не оставалось и малейшего сомнения в том, что Arcadie в деле Габриельского, Паганинова и Серенадина играл не совсем невинную роль; выходило на поверку, что он попросту надул любезного своего свояка... Чрезвычайно неприятно! Бобохов понял также, очень хорошо понял, что Аполлос Васильевич подтрунивал над ним сильнейшим образом, обнаруживал даже к нему какое-то оскорбительное презрение, и это обстоятельство, смешанное с досадою, возникшею вследствие предыдущего открытия, взорвало до такой степени выскочку, что он несколько минут стоял как ошеломленный громом и не мог произнести ни слова.

- Прощайте, честь имею кланяться, - проговорил он, когда, наконец, после многих судорожных потрясений получил опять способность говорить.

- Как, братец, вы уж едете?.. - сказала Тохтамышева, обнаруживая на лице своем выражение грустного сожаления, принимаемое обыкновенно в таких случаях за „я вас не задерживаю". - Вы, должно быть, теперь очень заняты по вашему делу... Прошу вас только, братец... вы, разумеется, заедете на обратном пути из Москвы в город Малинов, чтоб навестить вашу маменьку - прошу вас не забыть поклониться от меня.

- Помилуйте, сестрица, это дело... хи-хи-хи! я совсем не занят; это пустяки, не стоящие внимания. Что ж касается до вашего поручения, я, вероятно, не в состоянии буду исполнить его: я не поеду к маменьке... я должен спешить в свои поместья...

Проговорив все это скоро и сделав почему-то особенное ударение на слове *маменька*, выскочка отступил к двери и бросил презрительный взгляд на Аполлоса Васильевича.

Но Аполлос Васильевич не обращал уже на него ни малейшего внимания: закинув одну ногу на другую, утопив спину в кресло, он глядел в окно и курил с превеликим комфортом свою трубку.

Выскочка сделал принужденный поклон сестре, которая провожала его, и поспешно юркнул в прихожую.

Спускаясь с лестницы, Бобохов подавил, однако ж, в своем сердце все неприятные чувства и решился провести остаток дня как можно веселее, где-нибудь за городом. К этому побудило его, во-первых, то, что день был праздничный и, по всем соображениям, в загородных местах сосредоточится фешенебельный модный свет древней столицы; во-вторых, в загородных местах находятся отличные вокзалы, где можно пообедать за самую умеренную цену.

На этом основании он избрал Петровский парк и, развалившись в карете по образцу столичных денди, приказал везти себя немедленно к Триумфальным воротам.

Если б мы поставлены были в завидное положение некоторых фельетонистов, которые считают непременною обязанностью принимать к сердцу интересы трактирщиков и следить за успешным процветанием загородных гуляний, мы ни под каким видом не пропустили бы удобного случал упомянуть здесь о Яре, трактирщике Петровского парка. Мало того: мы не преминули бы сказать ему похвальное слово; мы сказали бы, например, что почтенный Иван Иванович Яр - чародей, ухитрившийся соединить в саду своего заведения природу Юга с природою Севера, что гуляющие по Петровскому парку, благодаря распоряжению почтенного Ивана Ивановича, могут посещать волшебный сад со своими семействами и пользоваться всеми удовольствиями за самую умеренную цену (тут, разумеется, выставили бы мы с подобающею ловкостью прейскурант разным напиткам и карту роскошных яств); кстати, не преминули бы мы посоветовать нашим читателям отведать тех жареных почек, которые так искусно приготовляет почтенный Иван Иванович, сообщив при этом, что ничего не может быть

приятнее и вместе с тем здоровее - кушать жареные почки под сенью широко-раскидистых древесных ветвей. Затем последовал бы непременно легкий биографический очерк почтенного старичка Яра; исчислив все свойства филантропической души этого старца и убедившись хорошенько, что читатели наши прольют обильные потоки слез над поразительно-трогательными фактами благотворительности, мы перешли бы к описанию самого Петровского парка... Но, не имея счастия принадлежать к вышеупомянутым фельетонистам и не видя, следовательно, никакой необходимости распространяться о Петровском парке с тою единственною целью, чтоб обратить всеобщее внимание на почтенного Яра, мы ограничимся одною истиною. Истина эта заключается в том, что как Яр, так равно и самый Петровский парк не представляют ничего особенно разительного. Дорожки, тумбы по бокам, кусты и березы направо и налево и пыль - составляют отличительные свойства этого гулянья. Тем не менее, однако ж, по праздникам здесь бывает очень людно. В шесть часов становится уже тесно; в семь - делается решительно непроходимо, благодаря экипажам, которые тянутся непрерывною нитью по главным дорожкам. В восемь - толпа начинает редеть. В девять - парк превращается в пустыню... Главный путь веселья - против вокзала, огромного серого здания, расположенного между театром и группою серых домиков, где с шести часов вплоть до восьми раздается бряцанье гитары... Пространство между театром и вокзалом, и именно та часть, которая предназначается для пешеходов, попирается преимущественно ногами модного света. В этот вечер, о котором пойдет теперь речь, погода была чудеснейшая и, благодаря этому обстоятельству, толпилось превеликое множество гуляльщиков; все они теснились на вышеозначенном пространстве, лорнировали направо и налево, раскланивались с особами, рисовавшимися в экипажах, или сидели в более или менее живописных и интересных положениях на зеленых скамейках, окаймлявших дорогу.

Подле одной из таких скамеек стоял господин, который невольно обращал на себя внимание постороннего наблюдателя; всего замечательнее то, что в костюме этого господина не было ничего особенно резкого и бросавшегося в глаза, за исключением разве высокого волосяного галстука, туго притянутого к шее помощью стальной пряжки, блестевшей над воротником черного сюртука; физиономия его была бы также весьма обыкновенною, если б не отличали ее высокое мыслящее чело и ослепительный ряд белых зубов лучшей вагенгеймовской работы; но, как хотите, в наружности этого господина, в высшей степени величавой, было что-то такое, что невольно заставляло предполагать присутствие той обаятельной могучей силы, которую распространяют вокруг себя великие люди и вообще избранные натуры. Сейчас можно было сказать, что этот человек проникнут глубоким сознанием высокого своего превосходства над толпою.

Аристарх Федорович Балахнов (конечно, это был он), привлеченный на видное место гулянья разными обстоятельствами, в числе которых главную роль играло желание скрыться от Василькова и Миловзорова, не переставал следить за проезжавшими, наблюдал пешеходов и в то же время внимательно прислушивался ко всему, что говорилось вокруг. С некоторых пор, однако ж, внимание его исключительно обращалось на господина, одетого с невыразимою щепетильностью, который за несколько минут пред тем выпрыгнул из наемной коляски и расположился на скамейке вместе с несколькими молодыми людьми.

- Нет; да знаете ли вы, что особенно хорошо в Париже, - говорил щепетильно одетый господин, находивший особенное удовольствие произносить слова нараспев, озираться на стороны и называть Париж местечком и городком. - Хороша в местечке прислуга... такой расторопности я нигде не видывал; бывало, утром встанешь, смотришь в окно, а уж мой грум, Benjamin, сидит в фаэтоне; крикнешь: Benjamin! - „Sieur l'comte!" - мигнуть не успеешь - проснулся, стоит на вытяжке и держит за удила лошадь...

- Ах, это, должно быть, превосходно! какая жизнь! какая жизнь! - воскликнули молодые люди, окружавшие рассказчика.

Вместе с этим восклицанием Аристарх Федорович услышал за спиною следующее:

- Какой он граф! все врет. Он просто недоросль из дворян!

Но Аристарх Федорович не обратил на это замечание особенного внимания и, вдумываясь в мирскую суету, продолжал в то же время слушать болтовню соседа.

- Да, господа, было попито в городке! - повествовал щепетильно одетый господин. - Сто тысяч! чтоб знали, по крайней мере, что sieur l'comte проезжает. Да. Мне нет дела до всех этих поклонений Дюпре, Лаблашу и прочим. Бывало, болен; позвал их всех к себе, сунул денег - поют до поздних петухов! За деньги рады все сделать! Sieur l'comte - да!.. - заключил, воодушевляясь, щепетильно одетый болтун.

Не знаю в достоверной степени, насколько Балахнов разделял мысли и мнение этого господина; не знаю даже, приходились ли ему по сердцу такие мысли и мнение; заподлинно известно только, что едва послышались последние эти слова, взор его устремлялся все пристальнее и пристальнее на говорившего; он кашлянул, выпрямил грудь, и нет сомнения завязал бы приятную беседу с соседями, если б не помешали этому Васильков и Миловзоров, которые вдруг откуда ни возьмись появились подле зеленой скамейки.

Аристарх Федорович отступил шаг назад, и брови его нахмурились.

- Ах, Боже мой, Аристарх Федорыч! а мы искали вас, искали! Весь парк кругом обежали; вот и Аполлинарий то же скажет!.. - воскликнул Порфирий Павлович, порываясь к великому мужу и вращая разом во все стороны большими своими глазами, очевидно потерявшими уже точку опоры. - Ах, как весело! как весело! Мы веселимся до упаду... Что это!., это просто какая-то волшебная Голландия! – продолжал он, восторженно обращаясь ко всем окружавшим. - Вот и Аполлинарий то же скажет. Но без вас, Аристарх Федорыч, мы никуда не пойдем! Без вас нам веселье не в веселье; вот и Аполлинарий то же скажет...

- Без вас нам веселье не в веселье, - пробормотал Миловзоров, сонливо раскачивая головою и переминая ногами.

- Верю, верю, что вам здесь очень весело; веселитесь, ха-ха-ха! веселитесь; очень рад, что мог доставить вам удовольствие, - сказал Аристарх Федорович, обращаясь преимущественно к щепетильно одетому господину, который разглядывал с любопытством Василькова и Миловзорова. - Веселитесь; но только нельзя ли вам, мои милые, веселиться без меня? Я вам не товарищ, - примолвил он презрительно-равнодушным тоном и снова снисходительно усмехнулся.

- Нет, Аристарх Федорыч, без вас мы шагу не сделаем! - воскликнул Васильков с чувством оскорбленной дружбы, - ни за что на свете!..

Вдруг Порфирий Павлович отпрянул назад, устремил испуганные глаза на какую-то точку, находившуюся, очевидно, за спиною Балахнова, затрясся всем телом и побледнел как полотно. Аристарх Федорович быстро обернулся и, к великому своему ужасу, увидел шагах в восьми Фанагорию Петровну, которая выступала, переваливаясь с ноги на ногу и посылая направо и налево очаровательные улыбки из-под голубой шляпки, украшенной райскою птицей; ей, по-видимому, было очень жарко; обстоятельство это подтверждалось тем, что пунцовая шаль ее свешивалась грациозно до самой земли. Позади Фанагории Петровны, в почтительном расстоянии, шествовал старый управитель, облаченный в темно-зеленую ливрею. Наблюдение Аристарха Федоровича простиралось ровно настолько, чтоб убедиться, была ли это точно любезная соседка; убедившись в этом, на что, разумеется, потребовалась с его стороны одна секунда, он тотчас же повернулся спиною к соседке и, выпрямив величественно грудь, замаршировал ускоренным шагом вперед по дороге.

Достигнув поворота, Аристарх Федорович остановился, желая навести наглядным образом справки касательно того, куда могли скрыться Васильков и Миловзоров, но в самую эту минуту позади его раздался шелест туго накрахмаленных юбок и вслед за тем женский задыхающийся голос произнес:

- Аррристарх Федорыч!.. Ах, Боже мой... Аррристарх Федорыч!..

Но Аристарх Федорович сделал вид, как будто ничего не слышит и не замечает, и, удвоив шаги, закинув голову, замаршировал вперед, пробираясь то по тротуару, то по самой дороге, смотря по тому, как изменялось направление его пути встречными толпами гуляющих.

Нетерпеливый и решительный в своих движениях, Балахнов не замедлил обогнуть значительную часть парка и, к великому своему удовольствию, очутился недалеко от прежнего своего места, а именно подле дверей вокзала. Рассуждая весьма основательно, что не следовало ни в каком случае подвергать себя новым встречам, могущим только компрометировать его особу, и проклиная в душе прогулку и вместе с нею свое добродушие и снисхождение, он поднялся на лестницу, заплатил за вход и вступил в обширную залу, прорезанную со всех четырех сторон окнами и дверьми, которые были запружены посетителями. В зале находилось также довольно много народа; тут курили, ходили, разговаривали, теснились вокруг маленьких столов, покрытых скатертями и украшенных пустыми бокалами шампанского, симметрически расставленными против каждой тарелки. Аристарх Федорович подошел к одному из таких столов, сел на порожнее место и подозвал слугу.

- Чего изволите-с?

- Стакан лимонаду! - сказал Балахнов, обтирая дипломатический лоб свой.

Но едва успел он произнести эти слова, как за спиною его кто-то крикнул хриплым голосом:

- Че-ла-ек! три стакана лимонаду!

Аристарх Федорович повернулся в ту сторону - и немало удивился, увидев, что три стакана лимонада потребованы были одним господином.

То был молодой человек, лет двадцати, в светло-зеленом фраке с медными охотничьими пуговицами; волосы его свешивались длинными жиденькими прядями по обеим сторонам исхудалого лица, покрытого веснушками и сохранившего выражение совершеннейшего идиотизма. Перед ним стояла бутылка шампанского и стакан, наполненный тою же влагой. Зеленый фрак потребовал вина, очевидно, для того только, чтоб упитывать скатерть, потому что, не прикасаясь губами к стакану, поминутно подливал из бутылки. В ту минуту, как Аристарх Федорович обернулся, незнакомец пролил значительную часть шампанского на стол, пристально взглянул на него и самодовольно улыбнулся.

- Какое есть мороженое? - спросил Аристарх Федорович, обращаясь к слуге после того, как тот поставил лимонад.

- Ананас, фисташка, земляника, лимон -с...

- Хорошо, любезный, дай мне порцию ананаса.

- Че-ла-ек! десять порций ананаса! - закричал зеленый фрак, бросая значительный взгляд на величавого соседа.

Балахнов вопросительно посмотрел на слугу.

- Молодой Пузакин-с, - шепнул слуга, принимая поднос.

- Постой, любезный; мороженое, верно, у вас не очень хорошо, - сказал Аристарх Федорович, останавливая слугу ради смеха и желая посмотреть, чем может кончиться сцена, - принеси-ка ты мне лучше стакан чаю... слышишь?..

- Че-ла-ек! - прокричал на этот раз с каким-то азартом г. Пузакин, - десять стаканов чаю!

- С лимоном, - произнес Балахнов.

- С лимоном! - подхватил Пузакин, бросая торжествующий взгляд на соседа.

Аристарх Федорович отвернулся к двери и засмеялся; но почти в ту же секунду лицо его приняло величавое и даже строгое выражение. Причина такой внезапной перемены заключалась в том, что в дверях показалась фигура Аполлона Егоровича Дрянкова. Обстоятельство это, как каждый легко себе представит, не произвело бы на Балахнова никакого действия, если б Дрянков был один; но дело в том, что Дрянкова сопровождало

несколько молодых людей, в числе которых особенно бросались в глаза: вертлявый белокурый юноша, молодой человек с встрепанными черными волосами и блуждающим взором и еще какой-то мрачный господин. Проникнутый заранее тою мыслью, что Дрянков, верно, не пропустил случая прихвастнуть новым товарищам дружбою с знаменитым владельцем Ханских Прудов, Аристарх Федорович принял строгий вид единственно с тою целью, чтоб сразу определить в мнении молодых людей настоящие свои отношения к Дрянкову и показать им то неизмеримое расстояние, какое может находиться между проживальщиком и его благодетелем. На этом основании, выждав минуту, когда Дрянков и его спутники выровнялись со столом, Аристарх Федорович кивнул Дрянкову головой и сказал снисходительно покровительствующим тоном:

- А, и ты здесь! зачем пожаловал, любезный?..

Маневр этот не удался, однако ж, Аристарху Федоровичу: товарищи Аполлона Егоровича, вместо того, чтоб остановиться с почтением, стремительно бросились к Пузакину, который, как только завидел их, вскочил с своего места и, потрясая в воздухе стаканом, прокричал троекратное „ура!“. Что ж касается до Дрянкова, он пробормотал Аристарху Федоровичу какой-то несвязный ответ, выпрямился и, придав лицу своему экспрессию, преисполненную чувства собственного достоинства, последовал тотчас же за своими товарищами.

Аристарх Федорович презрительно усмехнулся и покосился на соседний стол.

- Ваня! - закричал молодой человек с блуждающим взором, обращаясь к Пузакину. - Ваня, рекомендую тебе одного из знаменитых наших писателей: господин Дрянков! - заключил он, восторженно указывая на автора «Непризнанной Индейки».

- Шампанского! - воскликнул Пузакин, протягивая правую руку писателю, тогда как левая рука его размахивала в воздухе.

Аполлон Егорович взглянул на Балахнова и покраснел от удовольствия.

- Ваня, - промолвил мрачный господин, - завтра же посылай взять двадцать экземпляров...

- «Непризнанной Индейки»... гениальная вещь! - подсказал вертлявый юноша.

- Уррра! - прокричал Пузакин. - Милостивый государь, - присовокупил он, неожиданно обращаясь к Балахнову, - не прикажете ли бокальчик, так, знаете, для компании?..

- Благодарю вас, - отвечал Аристарх Федорович с явным пренебрежением. Затем он поспешил приподняться со своего места, подмигнул лакею, подошел к буфету, расплатился и вышел на крыльцо.

Но так уж, верно, написано было в книге судеб, что Аристарх Федорович должен был неминуемо встретить в этот вечер всех своих знакомых. Едва ступил он на первую ступень лестницы, как прямо нос к носу столкнулся с Бобоховым.

- Ах, мсье Балахнов! чрезвычайно приятно!.. - произнес выскочка самодовольно.

- Гуляете? - рассеянно спросил Балахнов.

- Какое гулянье, помилуйте! Я весь день отыскиваю Тохтамышева и не могу найти его! Не знаю, право, куда девалась эта рассеянная голова. Ах, кстати: не видали ли вы его в вокзале?..

- Нет, - сухо отвечал Аристарх Федорович, причем брови его нахмурились и на лице его проступила краска негодования.

- Представьте, что он со мной наделал... разумеется, все это вышло нечаянно: бедный Arcadie сам не подозревал этого; чрезвычайно неприятно, тем не менее... Извольте видеть... - Тут Бобохов принялся сообщать соседу известную историю о трех музыкантах.

- Согласитесь, чрезвычайно неприятно! А впрочем, хи-хи-хи!.. разумеется, все это вздор и пустяки! Не далее как сегодня утром я завернул к сестре Тохтамышевой; нынче, как нарочно, пятница - приемный день, народу съехалось множество, почти вся аристократия. Я рассказал кой-кому свою историю, и все, конечно, поспешили обнадежить меня; все единодушно сказали, чтоб я успокоился насчет этих музыкантов,

которые ни под каким видом не могут отойти от меня. Мне хотелось бы только сообщить все это Тохтамышеву: такой, знаете, добрый, простой малый; он ужасно огорчится, если не предупредить его, что дело это не будет иметь для меня никаких последствий... Как вы думаете, мсье Балахнов, ведь не правда ли, не может быть никаких последствий?..

- Я ничего этого не знаю, - холодно сказал Аристарх Федорович. Тут он остановился, и на тонких губах его показалась едва заметная улыбка, выразившая, однако ж, очень ясно удовольствие удовлетворенной мести. - Я знаю только, продолжал он, - знаю... (тут лицо его приняло внезапно такое спокойно-величественное выражение, что выскочка невольно опустил глаза) знаю, что если б вы имели тогда дело только со мною, вас, без сомнения, не постигли бы все эти неприятности... Зачем не продали вы мне тогда имение?

Выскочка, пораженный внезапным величием горшковского мужа, не смел возобновить разговора в продолжение нескольких секунд, и уже не прежде, как черты Балахнова разгладились до степени физиономии обыкновенного смертного, произнес:

- Чрезвычайно сожалею...

- И сожалейте, сожалейте! вы вправе сожалеть! - подхватил Балахнов, возвышая голос и выпрямляя грудь,- сожалейте, потому что, имея дело с благородными людьми, приобретаешь их доброе расположение; а добрым расположением честных и благородных людей пренебрегать не должно!.. Да, впрочем, что об этом толковать! что прошло, того не воротишь! Скажите-ка лучше, долго ли располагаете вы остаться еще в белокаменной?.. - заключил Аристарх Федорович, обводя спокойным взором толпы гулявших.

- Не знаю-с, неделю, дня четыре, день, может быть, как вздумается; я, знаете, ни в чем не люблю стеснять себя: я люблю комфорт, confor; а вы, мсье Балахнов, долго еще здесь останетесь?..

- Не думаю; время расстаться с белокаменной Москвою; пора домой, пора наконец...

- На выборы... - подсказал Бобохов, - да и мне также не мешает поспешить... Я, как вы знаете, обещал свой голос Кошкину...

- Поезжайте, поезжайте, - произнес, бледнея, Аристарх Федорович, между тем, как глаза его заискрились таким светом, которого не могли даже затмить лучи заходящего солнца, - поезжайте, отдайте ваш голос кому угодно... В этом каждому предоставляется полная свобода... Заметьте, однако ж, почтенный мой, - промолвил он, закидывая назад голову и возвышая постепенно голос, причем все черты его лица приняли снова величественное выражение гордости и решительного презрения, - заметьте себе, что прямизна и беспристрастие - чувства благороднейшие, должны в этих случаях управлять совестью каждого из нас... Будьте здоровы!..

Проговорив все это твердым, решительным голосом и бросив на выскочку выразительный, полный и могущественный взгляд, Аристарх Федорович медленно спустился с лестницы вокзала и вскоре исчез в толпе, которая заметно начинала редеть на дорожках Петровского парка.

VI.
Путевые впечатление Ивана Дормидоновича Бобохова и пребывание его в родительском доме

Невзирая, однако ж, на огромные связи и беспредельное покровительство аристократических особ, посещавших в приемные дни салон госпожи Тохтамышевой, несмотря даже на то, что все эти особы почли непременною своею обязанностью успокоить Бобохова и обнадежить его в благополучном результате истории, затеянной по поводу Габриельского, Паганинова и Серенадина, Степанчиков не замедлил наклеить Бобохову такой страшный нос, такой нос, который настращал выскочку и наделал ему много беспокойств. На третий день после вышеописанных происшествий Бобохов получил из своего квартала billet-doux, в котором ясно значилось, что полиция,

предупрежденная своевременно неким Афанасьем Никитиным, сыном Степанчиковым, обязывала подпискою некоего Ивана Дормидонова, сына Бобохова, не вывозить до времени из Москвы трех музыкантов в том случае, если сам он пожелает оставить эту столицу. Такое ограничение, согласитесь сами, должно было подействовать самым неприятным, можно даже сказать, чрезвычайно неприятным образом на человека, проникнутого сознанием собственного своего значения и любившего притом комфорт, confor! Главная неприятность состояла в том, что обстоятельство это ясно убеждало Бобохова в необходимости удовлетворить Степанчикова семью тысячами. Взвесив в пустой голове своей выгоды и невыгоды такого положения, Бобохов решился удовлетворить Степанчикова; для этого неизбежно надлежало ему ехать в город Малинов, надлежало даже ехать как можно скорее и повидаться с матушкой. Такой внезапный припадок сыновней любви возбуждаем был с одной стороны тем, что в кармане его не имелось необходимых денег; с другой стороны, Бобохов имел полное право рассчитывать на слабость материнского сердца, которое, нет сомнения, тронуто будет сильнейшим образом, если принять в соображение, что сын в продолжение целых двух лет ни разу не заглядывал к матери, несмотря на близкое расстояние между Горшковым и Малиновым. По этому поводу он принялся тотчас же приводить себе на память разные интересные историйки известного сорта и даже отрывчатые фразы, посредством которых всего успешнее можно было бы подействовать на старушку. Штука в том, что старушка была весьма умная старушка и далеко не принадлежала к числу тех матерей, которые умиляются при одном взгляде на родимое детище. Бобохов не мог судить о первом; что ж касается до второго, он судил о нем по опыту. Всякий раз, когда представлялся ему случай рисоваться перед товарищами и затем овладевала им мысль выставлять напоказ свои джентльменские свойства - свойства, заключавшиеся, по мнению Бобохова, в том, чтоб подтрунивать над самыми естественными душевными побуждениями, отвергать в себе присутствие всякого добропорядочного чувства и краснеть за родных потому только, что они не князья и не графы - он называл старушку простой, но хитрой купчихой, придавая ей в то же время и другие, более или менее резкие особенности.

Убеждаясь заранее в успехе своей поездки и вызывая на лице своем целый ряд лучезарных улыбок, которые ясно свидетельствовали, что он даже не сомневался в могущественном влиянии сентиментальных историй на сердце матери, Бобохов отдал приказание, чтобы к завтрашнему утру все было готово к отъезду. Остальная часть дня посвящена была им на укрощение неприятного чувства, возбуждавшегося в душе его тем, что приведется, может статься, прожить несколько дней в ненавистном Малинове.

При всем том, на другое утро после получения полицейского billet-doux выскочка покинул аристократическую гостиницу и выехал в одну из застав древней столицы.

Утро было чудеснейшее. Наступал один из тех серых, но теплых и сухих дней, которые составляют неотъемлемую принадлежность сентября месяца и делают из него чуть ли не самую поэтическую эпоху года в нашем отечестве. Знойный воздух лета, напитанный тяжелыми испарениями, застилавшими горизонт, очищенный теперь первыми холодными утренниками, получает прозрачность и легкость необыкновенную; отдаленнейшие предметы, и даже самый горизонт, рисуются теперь чисто и ясно. Запоздалые птицы чиликают как-то тоскливо, в разлад, и редко нарушают невозмутимую тишину, сменившую суетливый шумный говор лета, когда повсюду раздавался скрип навьюченных снопами телег, серебряное ржание жеребенка, жужжание кос, голоса поселян, и все это, сливаясь в один общий нестройный, но, тем не менее, привлекательный гул, с треском кузнечика, звонкими хорами птиц, песнями жниц наполняло оживленную движущуюся окрестность. Теперь все молчит и как бы предается мирному, сладкому отдыху после тяжкого дневного труда.

Хорошо ехать в такой день по русской дороге. Я утверждаю это положительно, хотя не берусь объяснить того впечатления, какое производят на душу тихие картины осени:

знаю только то, что по поводу их душа обретает ясность и спокойствие, которых ни в каком случае не даст никакой город в свете, как бы он ни был великолепен.

С Бобоховым, тем не менее, однако ж, происходило совсем другое. С каждым поворотом колеса душа его наполнялась тревожно беспокойным чувством. Читатель должен припомнить, что город Малинов, куда направлялся теперь выскочка, был его родиной; в Малинове протекло его детство. В этом городе народонаселение состояло преимущественно из купцов, и матушка Бобохова, равно как покойный отец его, занимали в нем с незапамятных времен самое видное и почетное место; сыну, следовательно, благодаря такой популярности, не предстояло ровно никакой возможности озадачивать там кого бы то ни было своим аристократизмом: здесь в памяти каждого живо еще рисовался Ваня Бобохов, шествующий по воскресным дням в собор в сопровождении тятеньки, который плавно выступал, разглаживая свою белую, окладистую бородку...

Желая, вероятно, заглушить бурный поток беспокойных мыслей быстрым движением экипажа, Бобохов принял решительное намерение пролететь как можно скорее пространство между ненавистным Малиновым и Москвою. Чтоб скорее достигнуть такой цели, он лично выскакивал на каждой станции из кареты, снабжал ямщиков приличными эпитетами, размахивал неистово руками, топал ногами и грозил смотрителям выразить свое неудовольствие в почтовой книге; при чем каждый мог вдоволь любоваться фуражкой с красным околышем, появившейся почему-то на голове выскочки вскоре после московской заставы. Во все продолжение дороги он не переставал высовывать свои щеки то из одного окна кареты, то из другого, не переставал кричать „пошел!" и укротил свое негодование, по-видимому, тогда только, когда, наконец, на другой день к вечеру начал показываться город Малинов.

Здесь он приказал остановиться, расспросил у ямщика, можно ли миновать главные улицы и обогнуть лугами значительную часть города. Получив утвердительный ответ, он отдал строжайшее приказание Корнею, чтоб тот ни под каким видом не смел кланяться с знакомыми лицами; затем Бобохов опустил шторы и поехал далее.

Малинов показывался весьма живописно, несмотря на то, что располагался на местности такой же гладкой и ровной, как ландкарта, на которой означен он едва видною точкой. Благодаря обширной хлебной торговле, производимой обывателями, город замыкался со всех сторон бесчисленным множеством ветряных мельниц, которые в настоящую минуту неистово размахивали своими решетчатыми крыльями. Солнце садилось в отдаленном плоском горизонте, прямо за городом, и зеленовато-прозрачное небо, исполосованное на закате длинными синими тучами, принимало издали вид безграничной реки, по которой идет лед; форштаты или слободки, примыкавшие к городу с двух противоположных концов, окутались уже черною матовою тенью; между тем сам Малинов, потопленный фруктовыми садами, весело выглядывал из фиолетового тумана макушками своих церквей и белых каменных домов, освещенных с левого бока огненными пятнами заката; верхние стекла окон и железные кровли сверкали ослепительным блеском, делавшимся ярче и ярче по мере того, как синие тучи опускались к горизонту. Свежий вечерний ветер пощипывал нос престарелому Корнею, восседавшему на козлах, и доносил до его старческого слуха отдаленные звуки колокола, возвещавшие окончание всенощной.

Корней, а за ним и ямщик, сняли шапки и перекрестились.

- „Пошел!" - глухо раздалось позади.

Карета, заключавшая в себе драгоценную особу Бобохова, достигнув ветряных мельниц, круто свернула влево и поехала лугами. С этой стороны местность была совершенно открыта; последние лучи солнца мягко скользили по траве, обращая пыль, поднятую возвращающимся стадом, в золотое кудрявое облако, из середины которого фантастически высовывались головы и ноги животных, наполнявших окрестность дружным блеяньем; картина оживлялась группами богомольцев, тащившихся по окраине дороги. Все они, выравниваясь с каретой, останавливались и отвешивали поклоны; ямщик

переносил вожжи в левую руку, приподымал правою рукою шапку и встряхивал головой; Корней кивал слегка направо и налево.

- „Пошел! пошел!” - глухо раздавалось за зелеными шторами экипажа.

Лошади, почуяв родимое стойло, дружно встрепенулись, замахали хвостом и понеслись крупною рысью. Вскоре копыта их застучали по мосту и зазвенели по мостовой. На улицах было людно и весело. Почти у каждых ворот толпились мещанки, прикутанные в цветные нанковые шубейки, подбитые зайчиком; дети бегали взапуски по всем направлениям, насовываясь иной раз весьма неудачно на толстого купца в синем длинном кафтане, медленно выступавшего с тростью в одной руке, с клетчатым платком в другой; лавки запирались; желтые долговязые приказчики кланялись мимо проходившим хозяевам; кумушки пронзительно перекликались и живо тараторили отдельными кучками посередине улицы; в верхних окнах мелькали белые бороды, багровые лица и медные самовары, пускавшие струи пара... Оживление было повсюду; несколько трактиров, из окон которых, украшенных цветными ставнями, вылетали плачевные звуки органа, свидетельствовали достаточно о промышленном состоянии города...

- „Пошел! пошел!”- раздавалось из кареты.

Согласно наставлению, данному Бобоховым еще на половине дороги, карета его не остановилась у подъезда матушкина дома, а въехала прямо на мощеный двор, отличавшийся необыкновенною чистотою; его обступали со всех сторон каменные сараи, службы и кладовые, наполненные всяким добром, и преимущественно бочками с огурцами, арбузами, осетриной, белугой, грибами, которых насаливала богатая старуха в начале каждого года для домашнего обихода. Над крышами амбаров и конюшен высоко поднимались полукруглые макушки яблонь и груш, усеянных плодами.

Бобохов выпрыгнул с необыкновенною поспешностью из кареты и, не обращая никакого внимания на двух-трех старух, выбежавших к нему навстречу, поднялся на маленькое крылечко, а оттуда юркнул в сени.

- Эй! - крикнул он недовольным голосом.

Запыленный с ног до головы Корней почтительно остановился в дверях.

- Спросить, пусты ли нижние комнаты!..

- Пустёхоньки, батюшка, пустёхоньки, Иван Дормидоныч!.. - воскликнула одна из старух, радостно протискиваясь между Корнеем и косяком двери, - пожалуйте. Сколько лет, батюшка... как помолодели!..

- Хорошо, хорошо, ступай! - нетерпеливо возразил Бобохов, поворачиваясь спиною и быстро направляясь к клеенчатой двери, которая вела в означенные комнаты, занимавшие нижний этаж дома.

- Иван Дормидоныч... - проговорил Корней, когда барин вступил в покои.

- Что такое? - крикнул Бобохов, не любивший вообще, чтоб люди позволяли себе подымать голос в его присутствии.

- Сказывают, сударь, маменьки... дома нету... изволили уехать на богомолье...

Известие это озадачило сильнейшим образом выскочку. Матушка его имела обыкновение отправляться на богомолье целым домом, шествовать пешком и по этому самому оставаться в отлучке долгое время.

- Когда она уехала? - спросил Бобохов, бросая на стол фуражку с красным околышем.

- Третьего дня-с...

- С кем?.. - спросил выскочка, обнаруживая сильное беспокойство.

- С сестрицами... Липой Дормидоновной, Раисой Дормидоновной и Варварой Дормидоновной. Через неделю изволят, говорят люди, назад пожаловать...

Обстоятельство это окончательно взорвало выскочку. Мысль, что эти три сестры, давным-давно замужние и обремененные детьми, увиваются подле матери, ухаживают за ней, имея в виду корыстолюбивые цели, возмутила сильнейшим образом душу Бобохова, судившего всегда о чувствах сестер своих по собственным своим чувствам. Такая мысль

давно его беспокоила. Главная причина его двухлетней разлуки с матерью заключалась именно в том, что он вознегодовал на бедных родственниц, которыми окружила себя старушка вопреки убеждением сына. По его соображениям, родственницы должны были неминуемо отнимать у него часть наследства, и предположение это основывалось на том, что старушке предоставлено было располагать наследством по своему произволу.

“Недоставало только сестер; они получили свою долю - чего ж им еще надо? Зачем они поминутно ездят к матери? Так, нет ни малейшего сомнения: пользуясь отсутствием брата, они согласились не покидать матери, окружить ее вниманием и этим способом заставить старушку окончательно охладеть к сыну, который не заботился даже извещать ее письмами!”

С такими похвальными и более или менее честными помыслами вступал жалкий выскочка в отеческий дом.

С другой стороны, Бобохова немало также бесило и то, что приведется прожить целую неделю в ненавистном Малинове, где каждый почти купчик приходился ему сродни; со всем тем, он решился дождаться возвращения матери. Не сомневаясь нимало, что все городские бедняки, облагодетельствованные старушкой, и родственники преимущественно поспешат наводнить дом, как скоро узнают о приезде Ивана Дормидоновича, Бобохов принял намерение подрезать сразу дерзкий замысел: он замкнется в отдаленных комнатах и попросту, без церемоний, велит сказать, что никого не хочет видеть. Оп обратился уже к Корнею, чтоб передать ему свою непреклонную волю, как вдруг на пороге комнаты показалась сгорбленная фигура старичка в длинном гороховом сюртуке.

Старик был лыс совершенно, и только несколько желтоватых волос, зачесанных с правого уха на левое, украшали глянцевитое его темя; красненькое, туповатое, отчасти даже глуповатое лицо его выкупалось как нельзя лучше выражением безграничного добродушия, разлитого во всех чертах и светившегося даже сквозь мутные стекла круглых медных очков, сидевших у него на носу.

Это был учитель Бобохова и многочисленных сестер его. Старуха Бобохова, привыкнувшая к учителю и движимая, сверх того, чувством благодарности, оставила его в своем доме после того, как рассеялись дети; она дала ему комнату и снабжала его всем нужным для жизни; с годами Семен Панкратьевич (так звали старика) сделался своим, родным человеком; семейство купчихи почитал он своим собственным семейством - и мудреного тут ничего нет: детей носил он почти на руках, а со старухою прожил в одном доме тридцать пять лет сряду.

Увидев прежнего своего питомца, Семен Панкратьевич простер вперед руки и заковылял поспешно к Бобохову, который между тем не трогался с места и нетерпеливо пощипывал усики.

- Ваня!.. Ваничка!.. дружок ты мой!.. Ах, Господи, Господи!.. Вот наконец-то надоумил тебя Создатель!.. Как же это ты два-то года-то... а? Слышь: целых два года, шутка! два года не навещал нас! - радостно говорил старик, обнимая своего питомца и горячо целуя его в обе щеки.

- Хорошо, хорошо... здравствуйте, Семен Панкратьич, хорошо!.. - бормотал сквозь зубы Бобохов, корчась в объятиях старика и слегка отклоняя его рукою. - Хорошо!.. Только знаете ли что, Семен Панкратьич... - примолвил он, освобождаясь из рук учителя и прищуривая свои глазки.

- Ваня... Хи-хи-хи!.. Ваничка... Хи-хи...

- Я, знаете, кажется, немножко выжил из Ваничек... знаете, странно как-то: Ваничка, хи-хи-хи...

Радостное чувство, наполнявшее в эту минуту душу старика, не дало ему возможности заметить взглядов и холодности питомца; он продолжал суетиться вокруг него и пожимать ему руки.

- Как не выжить-то! как не выжить! Ведь тебе, голубчик, скоро тридцать лет! - восклицал он. - Да будь тебе хоть сорок, хоть пятьдесят лет, для меня все одно: все же ты останешься для меня Ваничкой; я ведь на руках тебя носил!.. Ну, слава тебе, Господи, что ты вздумал навестить нас. Уж как я рад, как рад-то!..

- Я также очень рад... - проговорил рассеянно Бобохов.

Тут он подошел к столу, положил на фуражку часы свои, расстегнул жилет и пробормотал под нос:

- Ты! ты! Как это мило, наивно, naiff, naive!..

- Нет, Ваничка, - продолжал старик, потряхивая головою и восторженно всплескивая руками, - нет, как уж, я чай, маменька-то рада будет, как она будет рада! Как обрадуются тебе сестрицы!.. Поверишь ли, словно сердце их чуяло: всю неделю, все время перед богомольем все о тебе говорили...

Тут старик пустился в объяснения, не замечая, что питомец не думал даже о том, чтоб его слушать.

- А знаете ли что, почтеннейший Семен Панкратьич? - наконец сказал Бобохов, нетерпеливо поворачиваясь к старику. - Вот, видите ли... я, конечно, очень рад вас видеть, но вы сами знаете: я устал; дорога скверная... Чрезвычайно неприятно с вами расстаться; но, право, чувствую необходимость отдохнуть...

- А чайку-то, как же? Неужто ты не накушаешься прежде чайку?.. Как это можно! Что ты, что ты! Я сейчас же велю нашей кухарке, Акулине, поставить самовар...

- Нет, не беспокойтесь; у меня есть для этого свой камердинер; к тому же я вечером никогда не пью чаю... - возразил Бобохов, следуя за учителем с тою целью, чтоб удобнее было выпроводить его. - Итак, прощайте, почтенный Семен Панкратьич, доброй ночи, до завтра. Надеюсь, завтра вы навестите меня?..

- Завтра! Ах ты, чудак Дормидоныч, право, чудак Дормидоныч! Да как же! чем свет прибегу к тебе! Шутка, два года не видались!..

- Чрезвычайно благодарен... Я должен только предуведомить вас, что так как я чудак, я встаю не раньше двенадцати часов...

- А Бог с тобой, спи хоть до пяти, мне какое дело? Я все-таки приду, погляжу, все ли тебе приготовили, за всем ли присмотрели...

- Благодарю вас... у меня для этого есть свой камердинер.

- А мне какая нужда до твоего камердинера? Я сам за всем хочу приглядеть! Ведь не в чужой дом какой заехал... А что, Ваничка, а ну-ка, ну-ка, скажи-ка ты мне: я чай, рад, что Бог привел побывать дома, а? Свой уголок-то лучше, а?... - вымолвил старик, схватывая руку питомца, причем глаза его, выглянувшие поверх очков, принялись лукаво подмигивать.

- Как же, как же... я тронут до слез. Прощайте, почтенный Семен Панкратьич, - сказал Бобохов, отворяя ногою дверь прихожей.

- Прощай, Ваничка. Я и забыл, что тебе отдохнуть-то надо, заболтался... Спи хорошенько, Христос с тобой...

- Доброй ночи! - сухо отвечал Бобохов, захлопывая дверь.

Фамильярность старика не могла быть ни в каком случае оскорбительна Бобохову; но тем не менее она показалась ему совершенно лишнею и неуместною.

„Что за Ваничка! Ваничка!.. Скучно, однако ж, если он будет надоедать мне таким образом каждый день!.. Ваничка!..“ - думал Бобохов, направляясь в заднюю комнату, где приготовлена была для него постель и где дожидался его Корней.

Повторив камердинеру, чтоб ни под каким видом не смел подпускать к двери родственников, Бобохов потонул в перине и приказал взять свечку. Невзирая на усталость после дороги, он долго не мог заснуть: тревожно-беспокойные мысли, возбужденные загадочным поведением сестер, которые, быв замужем и имея свое собственное семейство, не переставали навещать старуху-мать, возникали вереницами в голове

выскочки и не давали ему покоя. Под влиянием таких мыслей первая ночь, проведенная в отеческом доме, была не из самых приятных ночей Бобохова.

Все это способствовало к тому, что на другой день он встал действительно очень поздно. Напившись чаю и отделавшись от Семена Панкратьевича под тем предлогом, будто ему необходимо было писать деловые письма, Бобохов принялся расхаживать по всем нижним комнатам, проклиная обстоятельства, заставившие его приехать в Малинов.

Жизнь Малинова не представляла в самом деле ничего особенно интересного человеку, не принимавшему деятельного участия в хлебной торговле; тем менее могла она доставить удовольствие Бобохову, который кроме того уже, что считал себя поставленным в фальшивое положение, не смел выглянуть из двери, боясь натолкнуться на какую-нибудь мучную бороду, которая, чего доброго, бросится обнимать его на улице и назовет во всеуслышание племянничком! Бобохов скучал страшно, к совершенному отчаянию Семена Панкратьевича, который тщетно изощрял всю свою умственную силу, чтоб приискать какое-нибудь развлечение своему питомцу. На третий день после своего приезда выскочка решился уже, в ожидании матушкина возвращения, отправиться в Голодаевку, как вдруг одно совершенно неожиданное обстоятельство изменило его намерение. В то самое утро, как мысль уехать в Голодаевку достигала уже до степени убеждения, в квартире выскочки появился содержатель кочующей труппы актеров.

Услышав о приезде г. Бобохова в город Малинов, содержатель театра почел за непременнейший долг засвидетельствовать ему свое почтение; наслышанный также весьма много о покровительстве, какое оказывал Иван Дормидонович в прежнее время другим труппам, появлявшимся в Малинове, содержатель театра питал в душе своей лестную надежду, что Иван Дормидонович, как меценат и сверх того известный покровитель и поощритель искусства, не оставит точно так же без внимания настоящую труппу, которая почтет за особенное счастие иметь своим покровителем известного знатока и дилетанта.

Вы не ошиблись, я точно dilettan... и всегда покровительствую артистам! - сказал Бобохов. - Что ж вы хотите, однако ж, чтоб я для вас сделал?..

- От вас, от вас одних, сударь мой, зависит успех наших представлений! - с горячностью воскликнул антрепренер, прикладывал скомканную шляпу свою к сердцу, наподобие того, как это делают театральные любовники, когда клянутся в вечной любви, - ваш оркестр пользуется давно заслуженною известностью; слава о нем гремит по всем окрестным уездам и губерниям! такого оркестра - не почитайте это за лесть, я человек искренний - не найдешь даже в Москве... Все это заставляет предполагать меня, что если б вы дозволили вашему оркестру принять участие в наших спектаклях...

- Все это прекрасно, - перебил Бобохов, разваливаясь в креслах, - но оркестр мой находится в одном из моих поместий... а, впрочем, это еще ничего. Когда думаете начать спектакли? - заключил он тоном снисходительного покровительства.

Спектакли должны были начаться не ранее недели. Впрочем, все зависело от Бобохова; антрепренер вторично возлагал на него все свои надежды.

Последовала пауза, в продолжение которой Бобохов раздумывал очень серьезно о том, посадить ли антрепренера, или заставить его простоять в почтительном уничижении перед своим креслом. Наконец, чувство жалкого снисхождения к бедному актеру взяло решительный перевес в сердце Бобохова над барственною гордостью: он пригласил антрепренера занять место на соседнем стуле. Тут начались расспросы о том, многочисленна ли труппа, какие именно лица входят в состав ее, находится ли достаточное количество костюмов, декораций, бутафорских вещей и приведено ли все это в надлежащий порядок. Расспросы эти сделаны были с тою единственною целью, чтоб поразить антрепренера глубокими сведениями дилетанта по части театрального управления. Ответы оказались вполне удовлетворительными. Бобохов объявил, что, принимая в уважение хороший порядок труппы и благо не было у него в настоящую

минуту никаких особенных занятий, примет, пожалуй, на себя труд надзирать за ходом спектаклей и снабдить труппу оркестром.

- Вы понимаете, я не хочу, да и не могу себя компрометировать, - примолвил он, пыжась и надуваясь как кузнечный мех, - если я решаюсь принять участие в вашем театре, я хочу, следовательно, чтоб все было хорошо. На этом основании принесите мне, почтеннейший, во-первых, список пьес: я сам сделаю выбор репертуара; потом присылайте мне сказать каждый раз, когда начинаются репетиции: я лично буду на них присутствовать... Что же касается до оркестра, я пошлю за ним немедленно.

Антрепренер, засевший в Малинове со своею труппою, как рак на мели, задолжавший кругом и не имевший решительно никакой надежды выпутаться из скверных обстоятельств, не видевший даже возможности дать спектакля за неимением в Малинове оркестра, покорился воле дилетанта и рассыпался даже перед ним в благодарственных монологах.

С уходом антрепренера дано было Корнею приказание ехать в Голодаевку и через три дня, никак не позже, явиться обратно в Малинов с оркестром. От Малинова до Горшкова считалось сорок верст, от Горшкова до Голодаевки - двадцать. Приготовления к отъезду должны были занять никак не более двух часов. Бобохов не терпел возражений. Корней отправился. Дело в том, что в голове Бобохова мелькнула следующая счастливая мысль: малиновские купцы народ тугой и подозрительный; они, пожалуй, готовы забрать себе в голову, что Иван Дормидонович прячется от них, чтоб скрыть какие-нибудь неблагоприятные обстоятельства. Заинтересованные его затворничеством, они, чего доброго, начнут наводить справки и пронюхают в самом деле настоящие, плохие обстоятельства Ивана Дормидоновича. Надлежало после всего этого показаться Малинову, но показаться во всем великолепии; надлежало развернуться перед этим ненавистным городом, привыкшим, по какому-то предрассудку, причислять Бобохова к своим членам; нет, пускай же увидят эти малиновцы, пускай убедятся они хорошенько, какая неизмеримая дистанция существует между ними и человеком образованным, просвещенным, развитым. Озаренный такою мыслью, Бобохов обратил прежде всего внимание свое на афишку. Три дня, проведенные им за пером и бумагой, произвели один из тех chefs-d'œuvre, который надолго останется капитальным образчиком в коллекции оригинальных объявлений. Во главе афиши значилось, между прочим, что малиновский театр обратил на себя с некоторых пор особенное внимание г. Б***, одного из известнейших знатоков искусства и дилетантов, „dilettan", и что теперь, следовательно, не остается уж ни малейшего сомнения в том, что публика примет такое же точно участие в процветании малиновского театра, который, благодаря высокому покровительству, не замедлит стать наряду с первоклассными театрами нашего отечества.

Афиша, прибитая к углу огромного мучного сарая, вмещавшего в себе театр, произвела, как каждый легко представит себе, сильное действие на малиновцев.

VII

предлагает на рассмотрение любопытный вопрос о том: следует ли утверждать положительно, что молодое поколение далеко опередило старое. - Фантастическое и вовсе неожиданное появление одного старинного знакомого

В Малинове все заговорили о Ване Бобохове и предстоящем спектакле. Оркестр, между тем, приехал; начались репетиции. Бобохов был, однако ж, не совсем доволен; главная причина его неудовольствия заключалась в том, что оркестр, без Паганинова, Габриельского и Серенадина неминуемо должен был утратить блистательную свою славу.

Бобохов был страшно не в духе. В одну из самых мрачных минут его в комнату вбежал Семен Панкрантьевич.

- Ваничка, новость! приятная, друг мой, новость! - воскликнул старик. - Ты жаловался, дружок мой, что нет тебе капельмейстера: не тужи; я нашел тебе капельмейстера!

- Вы? хи-хи-хи!.. хорош, должно быть! - сказал Бобохов, закидывая руки за фалды фрака и насмешливо прищуривая глазки.

- Ей-Богу, Ваничка, нашел капельмейстера! я не шучу; сам сказывал мне: „я, говорит, управлял петербургскими музыкантами". Такой, знаешь, расторопный, ловкий, говорливый такой... - с усердием описывал старик, бившийся изо всей мочи, чтоб рассеять своего питомца.

- Где ж вы его встретили?

- А видишь ли, дружок: пошел я на почту посмотреть, нет ли чего от маменьки; спрашиваю - нет, говорят, никаких, говорят, нет писем...

- Хорошо, хорошо, что ж дальше?

- Экой ты какой, Ваничка, нетерпеливый! Погоди, все расскажу: ну, вот, и выхожу я с почты: так, знаешь, скучно как-то стало; подходит ко мне какой-то молодой человек, такой опрятный, учтивый: „вы, говорит, куда, позвольте вас спросить?" - „Домой, говорю, пора обедать". - „Ну, говорит, и я с вами, позвольте проводить вас?" - „Очень, говорю, рад!" Такой, знаешь, учтивый, внимательный... Слово за словом, разговорились; тут и узнал я, что он музыкант. - „Управлял, говорит, оркестрами в Петербурге, а теперь еду получать наследство...".

- Отчего ж вы не привели его прямо ко мне?

- Да я не смел обеспокоить тебя, дружок мой; видишь ты ведь какой...

- Ну, хорошо, хорошо! - нетерпеливо перебил Бобохов, - дело в том, что надо сию же минуту послать отыскать его...

- Зачем? что тебе беспокоиться! Я спросил, где квартирует он и, если хочешь, сейчас же приведу его к тебе...

- Да, так сделайте же это как можно скорее, Семен Панкратьич; отправляйтесь сейчас же; пожалуйста, только не забудьте то, о чем говорил вам на днях, то есть не называйте меня: Ваничка, Ваня и другими милыми именами при посторонних: я этого терпеть не могу, - проговорил питомец, подталкивая старика за плеча, - да не забудьте, что через какие-нибудь два часа начнется спектакль; мешкать нечего...

Известие это, хотя еще не совсем верное, обнадежило несколько Бобохова; он решился переговорить с капельмейстером и в случае, если тот окажется способным, завербовать его, не медля ни минуты, в свой оркестр.

Бобохов крикнул „эй!" и приказал Корнею подавать одеваться; надлежало обратить на этот раз особенное внимание на туалет. Малиновцы, которые, нет сомнения, наполнят весь театр, должны убедиться с первого взгляда в необъятной дистанции, какая существует между ними и человеком образованным, „развитым" и просвещенным. По этому поводу на сцену явились черный фрак с красным фуляром в боковом кармане, синие панталоны и белый жилет неизмеримой длины. Смотрясь в зеркало и раздувая щеки, Бобохов расправлял уже кончики галстука, долженствовавшие свести с ума малиновских купчих, когда в соседних комнатах послышались неожиданно шаги и голоса.

- Пожалуйте, батюшка, просим покорно; Иван Дормидоныч будет очень рад, - говорил Семен Панкратьевич.

- Чувствительно благодарен... Роскошь!., богатство!., миллионы!., видно сразу!.. Весьма приятно... просвещение, тонкий вкус... весьма приятно!.. - подхватывал отрывчатый голос.

Бобохов окинул себя самодовольно с головы до ног и вышел навстречу.

Он увидел тогда высокого, статного, живого малого с белокурыми завитками на голове, серыми быстрыми глазами, белыми зубами и полными румяными щеками. На незнакомце был желтый поношенный нанковый сюртук с обсеченными рукавами, падавшими на кисти рук; черный ветхий галстук и широкие нанковые шальвары

довершали костюм его; в левой руке незнакомца виднелась замасленная фуражка; в правой держал он хлыстик, которым выводил в воздухе фантастические иероглифы и беспрестанно похлопывал по шальварам.

Незнакомец выступал медленно, подгибая колена; но как только Бобохов показался в дверях, он сделал три грациозные прыжка вперед и пристукнул каблуком.

- Вот, Ванич... Иван Дормидоныч, вот, друг мой, тот самый господин, о котором я говорил тебе... - сказал старый учитель, поспешно ковыляя к выскочке.

- Хорошо, знаю, - отвечал Бобохов, поворачиваясь к нему спиною и обращаясь к незнакомцу.

- Честь имею рекомендоваться, - заговорил незнакомец, расшаркиваясь, - Попельковский, Ардалион Александрыч... очень рад познакомиться... много слышал... могу судить... сам получил блестящее воспитание... обстоятельство, тетка... процесс... все пропало!..

Тут Попельковский стукнул еще раз каблуком и ударил хлыстиком по шальварам.

- Очень рад, - сказал Бобохов, пристально осматривая незнакомца рысьими глазками. - Вы, сказывали мне, управляли оркестром в Петербурге.

- Могу похвастать... восемь оркестров - много заботы!.. Впрочем, вы не думайте... мои товарищи знаменитые люди! А впрочем, что за дело!..

Тут Попельковский выставил левую ногу вперед, вытянул левую руку и быстро провел по ней несколько раз хлыстиком, как будто разыгрывал на скрипке.

- Какими же оркестрами вы управляли? - недоверчиво спросил Бобохов.

- Пруженкевича... Невзорова... много было... не остался... умоляли... не могу: еду получать наследство... В театре аккомпанировал Рубини... на виолончели... славный певец!.. ели вместе устрицы... лихой малый!.. позвольте сесть?.. - без запинки отвечал Попельковский.

- Садитесь! - сказал покровительствующим тоном Бобохов. - Вы, без сомнения, должны были слышать о моем оркестре?..

- Слышать! ха-ха-ха! все говорят!., слава... огромная известность... артисты... сами учили... делаете гигантскую честь...

- Да, я сам их учил и, могу сказать, образовал даже некоторых виртуозов, - возразил выскочка, причем профиль его заслонился щеками, - в Москве я давал на днях блистательный концерт; все знатоки объявили единодушно, что мои музыканты лучше театральных, primo, prim. Мой свояк, Тохтамышев, выпросил у меня главного солиста, который управлял всегда моим оркестром, и по тому самому я теперь без капельмейстера. Если у вас нет теперь места, я охотно переговорю с вами... Но я вперед предуведомлю вас, что я очень взыскателен: я требую от капельмейстера фундаментального знания, генерал-баса, general-baze... Сверх того, так, по крайней мере, я полагаю, капельмейстер должен знать все инструменты...

- Гляжу я на тебя, Ван... Иван Дормидоныч, и дивлюсь, право, - заметил Семен Панкратьевич, всплескивая руками, - где это ты всему этому научился?..

- Позвольте вам заметить, мой почтеннейший, замечание ваше вовсе неуместно, - перебил питомец, бросая строгий взгляд на старика, - пожалуйста, не перебивайте нас; видите, здесь заняты делом... вы сделали бы мне большое удовольствие, если б сходили в театр и спросили, скоро ли начнется представление...

- Экой ты какой... вот уж и рассердился!.. Ну, ну, полно! сейчас схожу... - отвечал старик, суетливо направляясь к двери.

- Ну-с; итак, что вы скажете насчет моих требований? - спросил Бобохов, брося значительный взгляд на Попельковского.

- Бесподобно!., я то же говорю... все инструменты... лучше быть нельзя!

- Да, все инструменты, но чтоб одним каким-нибудь капельмейстер владел в совершенстве - это необходимо, примолвил выскочка с видом знатока.

- Превосходно!., рекомендуюсь: виолончель... люблю... страсть... что ж делать?., слабость!., давал концерты... Неистовствует весь Петербург... Попельковский! все знакомы!.. Машут платки... дамы улыбаются... Графиня прослезилась... Ничего… шалишь, думаю, ударил смычком!., слышу: фальшивая нота… ад и ничтожество! бац! разбиваю вдребезги виолончель!., заплатил три тысячи... первого мастера: Бени... Пени... забыл! Графиня вскрикивает... обморок... ничего!.. Покидаю залу... смятение... уехал... Очень рад заняться вашим оркестром!., всех затмим...

- Скажите же, например, какие полагаете вы условия?..

- Условия, ха-ха-ха!., э! трынь-трава!.. добрый малый!.. очень рад познакомиться... Вы, я вижу, образованный человек... сойдемся... я человек: „пур ла комнани"!.. отлично!., - сказал Попельковский, привскакивая с места, ударяя хлыстиком по шальварам и протягивая руку. В самую эту минуту в дверях появился Корней.

- Иван Дормидоныч, - сказал он, вытягиваясь по швам, - тот ахтер, что заправляет киатром, приказал сказать, что вас дожидаются... пора начинать, говорит...

- Ахтер! киатр... болван! Когда выучитесь вы говорить по-людски? Хорошо, ступай! - проговорил Бобохов. - Кстати, - примолвил он, обращаясь к Попельковскому, - пойдемте со мной в театр; там услышите вы мой оркестр и, следовательно, сами увидите, до какой степени он подвинут и что остается еще сделать.

- Будьте уверены... чистосердечен, как артист!.. все пойдет как по маслу; увидим... ухо не обманет... глаз также... - говорил Попельковский, направляясь за Бобоховым, который шел в прихожую.

- Пальто! - крикнул выскочка.

Корней подал пальто и вручил барину шляпу и желтые перчатки.

- А я-то в чем пойду?.. - спросил неожиданно Ардалион Александрович, с удивлением оглядывая Бобохова.

- Как в чем?

- Превосходное пальто!., нет ли шинели?., забыл в гостинице... холодно... могу простудиться...

- Эй! - крикнул Бобохов, значительно подмигивая Корнею.

Корней поспешил вытащить из-за двери свою собственную шинель и подал ее гостю.

- Не годится... в лакейской... знаете, неловко... известность!.. укажут пальцем... Нет ли получше?., дайте вашу... чрезвычайно буду благодарен!..

Бобохов, несколько озадаченный бесцеремонным обращением артиста, приказал тем не менее подать ему свою дорожную шинель.

Пять минут спустя Бобохов и Попельковский входили в театр.

В ту самую минуту, как выскочка, проникаясь мыслью о том страшном эффекте, какой произведет на малиновцев его появление, ухватился за ручку двери театральной залы, позади его послышался суетливый топот нескольких ног и вслед затем несколько задыхавшихся голосов прокричало: „Иван Дормидоныч! Иван Дормидоныч!".

Бобохов быстро отступил шаг назад, обернулся - и остолбенел.

В сенях толпилось довольно много народу; посреди этой толпы, состоявшей большею частью из лавочников и малиновских лабазников, бросались в глаза Семен Панкратьевич, две старухи и еще какой-то долговязый малый с клинообразною бородкой, исправляющий должность рассыльного в доме купчихи Бобоховой; все четверо размахивали руками, протискивались сквозь толпу и надсаживали горло, призывая Ивана Дормидоновича; наконец, они выбрались вперед и, не обращая, разумеется, внимания на толпу, которая вперила любознательные взоры на Бобохова, прокричали в один голос:
„Иван Дормидоныч! Ваня... Ваничка, батюшка! маменька сейчас приехала! мамаша приехала!".

Бобохов вздрогнул; желчь и досада закипели ключом под его джентльменским жилетом и приступили к горлу. Первым движением его было броситься в залу и показать

вид, что он не заметил даже четырех вестников, но в ту ж секунду изменил свое намерение: мысль, что Семен Панкратьевич и его спутники вернутся за ним в залу и возвестят в присутствии публики новость, приковала его на месте; он быстро нагнулся к старому учителю, судорожно стиснул ему руку и прошипел в ухо: „Ступайте скорей домой, скажите матушке, что я сейчас буду!" - „Скорей, Ваничка! скорей же, смотри, друг мой! мамашенька дожидается!" - крикнул старик.

Но Бобохов не слыхал уж последних слов: он выступал между рядами скамеек и стульев, заменявших партер и ложи, причем пожелтевшие щеки его мгновенно выразили совершеннейшее довольство самим собою, как будто убедился он с первого взгляда, что никто здесь не может сравниться с его особой. Удушливый шепот пробежал по мучному сараю; в то же время из-за занавески кто-то махнул платком - и оркестр грянул увертюру.

- Все поклоняются... отдают честь... почет, слава... превосходно!., вы заслуживаете!.. - проговорил Попельковский, следовавший по стопам Бобохова.

Достигнув первого ряда, где с утра еще воздвигнуто было особенное кресло для Бобохова, выскочка прислонился к дощатым перилам и показал свое лицо публике; заметив в весьма недалеком расстоянии несколько родственных бород, Бобохов поспешил обратиться к оркестру и сел в кресла. Попельковский, не пропустивший между тем случая подмигнуть двум-трем купеческим дочкам, поместился на соседнем стуле.

- Послушайте, - сказал выскочка, наклоняясь к уху Ардалиона Александровича, - сейчас приехала моя матушка; я должен непременно видеться с нею по одному весьма важному делу... Прослушайте как можно внимательнее оркестр и приходите завтра для окончательных переговоров.

- Нет, зачем же?., - я приду лучше после театра - дела... время дорого!..

- Дело в том, что я, вероятно, поздно просижу у матушки...

- Все равно... я подожду... ночная беседа... светлей голова... велите только... ужин... рано обедаю... музыка пробуждает аппетит... сильное потрясение... слабые нервы...

Бобохов кивнул пальцем турецкому барабану.

- Господин этот вернется с вами домой. Сказать Корнею, чтоб подавал ужин.

- Да вот еще что, - подхватил Попельковский, - прикажите сбегать в лавку... купить сигар... смотрите только один сорт: Белобородова... других не курю... Мечтательность... наслаждение... лезут мысли... играет вдохновение...

Бобохов не дослушал, однако ж, последней просьбы своего соседа; он приподнялся с места, кивнул ему головой, юркнул в боковую дверь сарая и очутился на улице.

Серые осенние сумерки окутывали уже город, когда Бобохов подошел к родительскому дому. Там, во втором этаже, на половине, занимаемой старухой, бегали огоньки и мелькали тени. Но эти тени и огоньки не возбудили отрадного чувства в душе выскочки; напротив, они, казалось, омрачали лицо Бобохова; по крайней мере, взглянув на него в настоящую минуту, никто не предположил бы, что он готовится на свидание с матерью и родными сестрами, с которыми не видался несколько лет. Было ли то угрызение совести, невольно родившееся в черством сердце Бобохова, или смущение, овладевающее каждым человеком перед свиданием с людьми, в присутствии которых чувствуешь себя виновным, или, наконец, нетерпеливое, но тем не менее тягостное волнение, предшествующее свиданию с близкими сердцу после долгой разлуки?.. Нет! По поводу этих огней и теней в голове Бобохова возникали самые черные мысли, и ни одна искра теплого чувства не проникала в его сердце. Жалкий, но, к несчастию, часто встречающийся образчик тех молодых людей мещанского происхождения, которые, помощью денег, заползают в чужие сани, комически рискуют на новом своем месте и считают себя вправе презирать честное сословие своих предков, забывая, что сами они как тунеядцы, без воспитания, образования и нравственных правил во сто раз ниже всякого честного ремесленника!

Бобохов прошелся несколько раз по своим комнатам, стараясь придать своему лицу такое выражение, которое уничтожило бы всякое подозрение о том, что в самом деле

происходило в душе его; он достиг этого в совершенстве; ибо нет на свете такого глупца, который не вмещал бы в себе изрядной доли лукавства и хитрости. Затем он повторил Корнею приказания, отданные в театре турецкому барабану касательно Попельковского, вышел из своих комнат и поднялся во второй этаж.

Прислуга купчихи Бобоховой, состоявшая преимущественно из старух и бедных проживалок, обступила выскочку и рассыпалась перед ним в поздравительных подобострастных приветствиях, как только он вступил в прихожую, не успевшую еще освободиться от кулечков, узелков и мешочков, сопровождавших старуху во все время богомолья; но выскочка прошел мимо с неподражаемым равнодушием, смешанным даже с некоторым оттенком насмешливого презрения; он ограничился тем лишь, что спросил: „где матушка?" и, получив в ответ, что матушка изволят кушать чай в спальне, направился быстрыми шагами в эту комнату.

Старуха Бобохова редко выходила из своей спальни. Окруженная с раннего утра до позднего вечера бедными родственницами, проживалками, облагодетельствованными сиротами, которые предупреждали малейшие ее желания, она могла прожить очень хорошо, не вставая даже с места. Впрочем, спальня называлась этим именем только по привычке; в сущности, в ней сосредоточивались гостиная, приемная, образная, столовая - словом, все возможные отделения дома. Из этого не следует, однако ж, заключать, что спальня должна была отличаться роскошью или комфортом; совсем напротив: все было до невероятности скромно и просто, за исключением задней стены, уставленной плоскими шкапами из красного дерева. Противоположная стена занята была почти исключительно старомодным диваном, несколькими разнокалиберными креслами и комодом, выложенным медными полосками и бляхами. Против дивана стоял массивный овальный стол, покрытый синею ярославскою скатертью, изображавшею двух голубков, которые пили из одной чашки. Налево от дивана, по соседней стене, лепилась огромная дубовая постель, завешенная ситцевым пологом с широкими разводами; окна против постели выходили в сад и заслонялись до половины ветвями деревь.

В настоящую минуту, то есть в то время, как Бобохов приготовлялся к свиданию, матушка его спокойно сидела на диване, украшенном подушками всех возможных форм и размеров; тут были подушки, шитые шелком по глазету, бархату и атласу, подушки, шитые шерстью в гладь и под так называемый бархатный шов, с изображением борзых собак, албанцев, подпирающихся ружьем с голубым курком, турок, одалисок с четырехугольными ртами и носами, и т. д. Все эти произведения, поднесенные в разное время бедными сиротками и проживалками, жившими в доме богатой купчихи, служили слабым, но тем не менее несомненным знаком их глубокой признательности. Проживалки и сиротки, наводнившие спальню с той самой минуты, как Бобохова вернулась с богомолья, располагались теперь вокруг овального стола, на котором пыхтел и шипел дюжий медный самовар. На диване, по обеим сторонам старухи, сидели ее дочери, из которых особенно отличалась старшая, высокая, плечистая, сорокалетняя женщина, с лицом необыкновенно открытым, умным и веселым. Посреди этого многочисленного женского сборища бросался в глаза Семен Панкратьевич со своими круглыми очками, лысиною и длиннополым гороховым сюртуком. Он поминутно отрывался от своего стакана, подбегал к единственному окну, глядевшему на улицу, или к двери, прислушивался, присматривался и как будто ждал кого-то, причем подслеповатая физиономия его выражала все признаки живейшего нетерпения. Обманутый каждый раз в своих ожиданиях, он возвращался к своему стакану и, прихлебывая чай, бросал украдкою беспокойный взгляд на старуху Бобохову, которая казалась совершенно спокойною. Спокойствие это, смешанное с некоторою холодностью в общем выражении лица, так резко, так положительно обозначалось в чертах старухи, что, казалось, ни в каком случае не могло уже замениться другим выражением; в ее черных как смоль глазах, глядевших проницательно из-под густых бровей, светилось более ума, чем чувства; широкий лоб, угловатое, сухое очертание губ, подбородка и носа придавало желтому лицу старухи

характер энергии. Несмотря на свои шестьдесят лет, старуха держалась прямо, и члены ее отличались крепостью и полнотою. Она была вся в черном. Черный коленкоровый платок плотно обвязывал ее голову; такой же капот исчезал наполовину под черным бумажным платком, покрывавшим плечи старухи. Взглянув на нее, нельзя было предположить, чтоб она могла быть матерью джентльмена Бобохова. Впрочем, умная старуха сама изъявляла не раз на этот счет свое удивление. Дело в том, что она принадлежала к числу тех редких матерей, которые любят детей своих беспристрастно, умеют отличать умных от глупых, дурных от хороших, и охотно отдают последним ту часть своего сердца, которой, по их мнению, не заслуживают первые. Ваня Бобохов, благодаря своему джентльменству, научившему ему презирать свое происхождение, гнушаться родных и стыдиться своего семейства, пользовался самою ничтожною частичкою материнского сердца, и в этом нисколько, однако ж, не были виноваты сестры, старавшиеся, напротив того, склонить сердце старухи в пользу брата.

Когда Бобохов вошел в спальню, все приподнялись со своих мест и пошли к нему навстречу, за исключением старухи-матери, которая ограничилась тем только, что внимательно устремила на сына пронзительные глаза свои. Глаза эти, казалось, с первой же секунды смутили джентльмена; считая, однако ж, не лишним показать при этом случае как можно больше спокойствия и даже хладнокровия, он сделал вид, будто не замечает окружавших его родственниц и знакомых, прошел мимо сестер, как будто последние были невидимки, и, повернувшись спиною к Семену Панкратьевичу в ответ на его радостное восклицание, поспешно направился к дивану.

- Здравствуйте, матушка! - сказал он, прикладываясь к руке матери, - как вы себя чувствуете?., очень рад, что вас вижу... Надеюсь, что вы здоровы?., - прибавил он, очевидно, приискивая фразы.

- Здравствуй, батюшка, - произнесла невозмутимо-спокойно старушка, - живу, как видишь; здорова, слава Богу; благодаря добрым деткам, которые навещают меня, не забывают старуху-мать, живу счастливо и покойно.

- Чрезвычайно приятно, - перебил Бобохов, торопливо придвигая соседний стул и усаживаясь против матери, спиною к сестрам, которые стояли посреди спальни, озадаченные невниманием брата, - чрезвычайно приятно, - подхватил он, понижая голос, - все это время завален был ужаснейшими делами... секунды не было свободной... насилу вырвался... чрезвычайно сожалею, что не застал вас... Нарочно летел, думал повидаться с вами; так скакал, что две отличнейшие лошади пали дорогой...

- И-и-и, мой батюшка! зачем же было так спешить? - недоверчиво сказала старуха и покачала головой, - не Бог весть, как давно не видались, всего два года, только два года... - продолжала она с иронией, между тем как глаза ее с сожалением устремлялись на сына. - Коли столько времени не заглядывал к матери, так незачем, право, было и торопиться; днем раньше, днем позже, не все ли это равно?., напрасно только лошадей поморил... Да что ж ты, батюшка, али сестер-то не приметил? Встань, хоть поклонись им; они ведь, кажись, немножко сродни тебе...

- Ах, чрезвычайно приятно! - пробормотал Бобохов, приподымаясь со стула, церемонно расшаркиваясь, но не трогаясь с места.

Две младшие сестры поспешили сделать шаг вперед, но в ту ж секунду остановлены были старшей, которая нетерпеливо загородила им дорогу и, став между ними и братом, бросила на последнего взгляд, полный негодования и гордости.

Бобохов шаркнул во второй раз и что-то пробормотал сквозь зубы.

- Что ж ты, батюшка, стоишь? Удостой тронуться с места да подойти к сестрам… или, может статься, это у вас там не в моде...

- Помилуйте... напротив того... мне чрезвычайно приятно... - пробормотал выскочка, зеленея и принужденно подвигаясь вперед.

- Нет, зачем же тебе беспокоиться, братец? Пожалуйста, садись и продолжай не обращать на нас никакого внимания, - сказала старшая сестра, смягчая по возможности

свой голос, очевидно, с тою целью, чтоб сцена эта была как можно менее чувствительна старухе, - не лучше ли поступать прямо и высказать откровенно настоящие твои чувства к сестрам. Откровенность в этих случаях, как она ни горька, все же лучше лжи. Пожалуйста, садись и успокойся; мы очень хорошо знаем твою неприязнь, незаслуженную, впрочем, и со своей стороны два года назад сделали все, что можно, чтоб заслужить твою доверенность и дружбу; к несчастью, как видно, мы этого до сих пор еще не удостоились; будем стараться заслужить со временем милостивое твое снисхождение, а покуда нам больно только то, что все это происходит перед маменькой и может огорчить ее... - продолжала она, окинув насмешливо брата, который ежился, пыхтел, отдувался и во все это время не переставал улыбаться, надеясь скрыть этим способом свою неловкость. - Очень рада, - нетерпеливо подхватила она, покрываясь краской негодования, но со всем тем стараясь придать своему голосу веселую интонацию, - очень рада, что слова мои доставляют тебе удовольствие... Не желая, однако ж, разрушить такое счастливое расположение духа, что весьма легко было бы случиться, если б я продолжала эту приятную беседу, я лишу себя на время удовольствия сидеть с тобою в одной комнате. Анюта, Раиса, - заключила она, обращаясь к двум сестрам и вслед за тем к остальным женщинам, находившимся в спальне, - я думаю, всем нам не мешало бы сделать то же самое; любезный братец мой, я полагаю, не найдет особенного удовольствия в нашем обществе - пойдемте...

- Но отчего же, Варвара Дормидоновна? как же это?.. Ваничка очень рад...

- Э! полноте, почтенный и добрый мой Семен Панкратьич! - произнесла Варвара Дормидоновна, взяв руку старика, - вам неизвестны обычаи модных, так называемых истинно порядочных людей; присутствие друзей и родственников мещанского круга может только смущать их; это для них горче ревеню. Пойдемте...

И, взяв под руку старого учителя, кивнув головою сестрам и проживальщицам, которые стояли уже у двери, она покинула спальню.

Во время этих объяснений старуха сидела, скрестив на груди руки. Умное выразительное лицо ее, устремленное сначала на сына, выражало как будто горькое сострадание; но теперь оно глядело в другую сторону и обращено было к полу; угловатые черты старухи, освещенные сбоку свечкой, резко выступали из мрака и казались еще суровее и строже; черная одежда ее смешивалась почти с густою тенью, бросаемой спиною и плечами; лицо старухи было неподвижно, и только в черных с проседью бровях, тесно сдвинутых под широким морщинистым лбом, изредка пробегало судорожное движение. Она, по-видимому, не замечала сына, который между тем расхаживал быстрыми шагами из угла в угол, стараясь подавить злобу, кипевшую в его груди по поводу выходки старшей сестры.

Мало-помалу старуха снова обратила свои черные глаза на сына и минуты две следила за всеми его движениями. Холодное угрюмое выражение на лице ее показало, что последняя надежда вразумить сына, направить его на должный путь угасла уже в сердце матери. Не было ни малейшего сомнения в том, что Бобохов, подвизаясь на джентльменском поприще, постарался уже обогатить свою биографию такими фактами, которые ясно доказывали матери, что не было никакой надежды на его исправление. Расхаживанье взад и вперед не мешало ему, однако ж, наблюдать за матерью. Заметив, что взгляд ее обращен был с некоторых пор на его особу, он поспешил замаскировать свое бешенство, скорчил грустную физиономию и, сделав выразительный жест к двери, куда ушли сестры, сказал наивным голосом:

- Я, право, не понимаю, матушка, за что они на меня сердятся...

Старуха усмехнулась и покачала головою. Улыбка эта показала Бобохову, что попытка его стать в выгодное положение посредством пошлой выходки нисколько не удалась: старуха, очевидно, подсмеивалась над ним; сознание собственного своего бессилия и ничтожества возмутило самолюбивого выскочку до невероятной степени, и, не

будучи уже в состоянии скрывать на этот раз настоящего чувства, он проговорил отрывисто:

- А, впрочем... не мудрено догадаться, отчего они сердятся... Им досадно, что я сюда приехал... Они меня не ждали... да-с. Я, может быть, отнял у них место... подле вас. Они, кажется, совсем поселились в вашем доме.

- Э, батюшка мой! за что им на тебя сердиться? - возразила спокойно и как бы нехотя старуха, - ты им ни в чем не помеха.

- Помилуйте, я в этом нисколько не сомневаюсь! - воскликнул выскочка, нетерпеливо усаживаясь в кресло, - странно было бы в этом сомневаться... Они так часто здесь бывают, так часто доказывают вам любовь свою... вы так твердо уверены в их чувствах... что, конечно, ничто уже не может повредить им в вашем мнении... О, они боготворят вас! обожают! - подхватил он иронически. - Знаете, матушка, как приятно, когда льстят, неправда ли? Сейчас, знаете, так и чувствуешь, что все это правда... особенно если льстить хитро и ловко... чрезвычайно приятно!

- Ах ты, сынок ты мой любезный! И взаправду, экие они какие!.. - насмешливо вымолвила старуха, - вот ведь, что значит старость-то! Из ума, батюшка, выжила!

- Смейтесь, сколько угодно, а я все-таки скажу, что они льстят... и... и, конечно... Впрочем, вы сами очень хорошо знаете причины... - пробормотал, задыхаясь, Бобохов.

- Какие же это, батюшка, причины? Я что-то в толк не возьму...

- Вы сами очень хорошо знаете...

- О-о! как же ты, голубчик мой, как я посмотрю, глубоко плаваешь! Где это ты научился такому мастерству? Скажу я тебе за это вот что: уж полно, не меришь ли ты сестер своих своим аршином?.. Смотри, только не обмерься, не обманул бы тебя как-нибудь твой аршин! Не все люди равны. Вот ты, примерно, мой батюшка, совсем иное дело...

- Конечно, я не льщу! - произнес Бобохов, свирепо пощипывая свои усики.

- Кто про то говорит! Кто про то говорит, мой голубчик! Ты сын примерный и человек, притом, правдивый! А хочешь ли, я скажу тебе, зачем ты сюда пожаловал? - присовокупила старуха, пристально вглядываясь в смутившееся лицо сына и, не дожидаясь ответа, прибавила: - Приехал ты вот зачем: денег, знать, понадобилось...

- Кто же это вам сказал? - произнес Бобохов, быстро привскакивая на своем месте.

- Сам, батюшка, научил догадываться, - подсмеиваясь, возразила старуха, - сам научил! С той поры, как вышел ты в отставку, этому скоро шесть лет, был ты у меня три раза, и все за тем же. Пора, я чай, догадаться, мой батюшка, зачем ты навещаешь мать!.. Ну, а на это скажу я тебе вот что - скажу то же, что говорила прошлый раз: денег я тебе не дам; а не дам затем, что есть у меня, окроме тебя, много детей, которым деньги подлинно нужны; есть, окроме того, на свете много бедных и неимущих, много сирот без крова и старых людей без пристанища... А ты, мой батюшка, благодаря отцовскому наследию, обзавелся вотчинами, стал барином, живешь хорошо, роскошничаешь, в картишки играешь... Чего ж тебе еще надо?.. Нет, батюшка мой, нет; денег я тебе не дам! - заключила старуха таким саркастическим и вместе с тем решительным тоном, перед которым все надежды Бобохова исчезли так же быстро, как привидения, заслышавшие пение петуха.

Увидев себя, сверх того, осмеянным, разбитым и предупрежденным во всех своих планах и намерениях шестидесятилетней старухой, старухой простого происхождения, не понимавшей дендизма, чуждой притом эстетического развития и не читавшей даже русских журналов, выскочка джентльмен быстро вскочил со своего места и неистово заморгал своими рысьими глазками.

Он убедился, что продолжать беседу было бы совершенно напрасно и, основываясь на этом, ограничился тем только, что шаркнул сапогом и пробормотал:

- Чрезвычайно сожалею... оставайтесь в приятном заблуждении... покойной ночи!

- И тебе, батюшка, желаю того же, - спокойно возразила старуха, не поворачивая даже головы своей.

Но Бобохов был уже за дверью и нетерпеливыми стопами направлялся к лестнице, ведшей в нижний этаж.

- Чтоб завтра же чем свет были готовы лошади! я еду в Голодаевку!..

С таким решительным приказанием обратился к Корнею Бобохов, как только очутился в своей собственной прихожей.

Затем он хлопнул дверью, прошел все остальные комнаты и, вступив в спальню, крикнул:

- Эй!

Встревоженная физиономия Корнея показалась в дверях.

- Где ж капельмейстер? - спросил Бобохов.

- Изволит почивать-с...

- Дали ли ему ужинать?

- Как же-с... Только, Иван Дормидоныч, осмелюсь доложить... не могли сыскать ботвиньи с белугой...

- Это еще что значит?.. какой ботвиньи?..

- Они изволили приказывать ботвинью с белугой... изволили оченно сердиться... Мне, говорят, нужна ботвинья с белугой для цвета лица...

- Пошел вон! - крикнул Бобохов, но в ту же секунду остановился и прибавил: - разбудить его чуть свет и сказать, чтоб принес свои вещи сюда; сказать ему, что я беру его с собой.

Часа два или три Бобохов ходил взад и вперед по комнате, изредка проводя рукою по своим щекам, которые дрожали во все это время как желе; наконец, он угомонился и лег в постель. Ничего неизвестно о том, как провел он эту ночь и какие сны низлетали на его голову. Достоверно то лишь, что в шесть часов он был уже на ногах.

- Готовы ли лошади? - спросил Бобохов, как только Корней показался в дверях.

- Все готово-с.

- А капельмейстер?

- Изволили уехать еще в пятом часу...

- За вещами?

- Никак нет-с... Увидели в окне станового, сели с ним в тележку и уехали... приказали кланяться...

Пять минут после этого известия, сопровожденного рядом энергических возгласов, Бобохов усаживался в карету.

В ту самую секунду, как дверцы кареты захлопывались, из углового окна верхнего этажа, раскрытого быстрым движением руки, выставилась заспанная голова Семена Панкратьевича.

- Ваничка!.. Ваня!., куда ты?., постой! экой ты какой!., дай хоть проститься! погоди меня... Ваня! Ваня! Ваничка!.. - кричал старик, отчаянно размахивая руками.

- Пошел! - глухо раздалось в карете.

И экипаж, подхваченный свежей четверкой, мгновенно оставил за собою крыльцо бобоховского дома.

VIII
о том, как процветают Ханские Пруды, и что поделывает Карачаев

В Ханских Прудах все между тем обстояло благополучно. Солнце по-прежнему продолжало показываться каждое утро на горизонте, и каждое утро, если только часам к шести или семи небо не заслонялось тучами, золотые лучи, скользнув в окна, освещали Павла Петровича Карачаева, который около этого времени уже непременно расхаживал с озабоченным видом по зале, наблюдая за порядком древнего дома.

Павел Петрович страшно захлопотался. Он считает непременною своею обязанностью лично присутствовать каждое утро при перестановке мебели в гостиной, при выбивании пыли, снимании паутины и чистке полов; затем он обыкновенно осведомляется, проснулась ли Лизавета Семеновна и дети, и, каков бы ни был ответ, бежит стремглав к Фионе Ивановне и сообщает ей, что пора ставить самовар и приготовлять все нужное для чайной церемонии. Он считает также нелишним заглянуть каждое утро в кухню и сообщить повару, чтоб он держал ухо востро; пользуясь случаем, он передает то же самое остальным членам многочисленной дворни.

Спокойствие и благоденствие балахновского семейства составляют теперь главную и в то же время единственную цель настоящего бытия Карачаева.

Когда в хозяйстве Ханских Прудов происходит какой-нибудь случай, который, по соображениям предусмотрительного Павла Петровича, может причинить неудовольствие Лизавете Семеновне, Карачаев поспешно сзывает в известный флигель дворню, со включением десятского и старосты, подымает сжатые кулаки над своею головою и, яростно сверкая воспаленными глазами, объявляет громовым голосом, что первый, кто осмелится потревожить барыню этим неприятным известием, будет иметь дело с ним. – «Приедет Аристарх Федорович - ведайтесь с ним! Его дело разбирать все это...» - говорит Павел Петрович, постепенно смягчаясь, и вдруг, свирепея мгновенно, прибавляет: - «а если кто из вас осмелится потревожить этим вздором Лизавету Семеновну, если я узнаю это - берегись! вот она штука-то в чем!». Когда же Карачаев доволен которым-нибудь из людей, он дает ему полтинник из собственного кошелька... Люди были очень довольны таким распоряжением, и особенно Моисей Акишев, который приходил поминутно в умиленное состояние каждый раз, когда в людской произносили с похвалою имя Павла Петровича. Карачаев принял на себя роль покровителя и успокоителя Лизаветы Семеновны в буквальном смысле; он решительно отказывался слушать ее каждый раз, когда она просила его успокоиться, уверяя, что ей хорошо, что она довольна как нельзя более настоящим своим положением. Раз даже по поводу подобного замечания он оскорбился сильнейшим образом и пребывал мрачен до тех пор, пока Лизавета Семеновна, догадавшись, вероятно, о причине его меланхолии, не поспешила протянуть ему руку. Тогда Карачаев пришел в неописанную ярость против самого себя: - «Как! вы, вы извиняетесь еще передо мной после всего этого! Не смотрите на меня, Лизавета Семеновна, я этого не заслуживаю, я олух - и больше ничего! вы, вы говорите мне из участия, а я, я принял слова ваши в обиду, оскорбился, нелегкая меня возьми совсем; может быть, даже огорчил вас... Нет, выгоните меня вон после этого, и больше ничего!». При всем своем влиянии Лизавета Семеновна никак не могла, однако ж, принудить Карачаева накинуть на плечи просторный нанковый казакин вместо известного фрака, в котором очевидно было ему крайне тесно и неловко; в этом единственном случае слова ее были для Карачаева проповедью в пустыне; никакие убеждения не помогали, и черный фрак, как ничем несокрушимый утес, разбивающий вдребезги все то, что к нему подступает, горделиво появлялся каждый день на широкой спине Павла Петровича. Причины, побудившие Карачаева облачиться в черный фрак с той самой минуты, как припял он на себя труд охранять спокойствие балахновского семейства, решительно неизвестны; дело в том, что во время отсутствия Аристарха Федоровича он являлся не иначе как во фраке. Знаменитый фрак этот, с узенькими фалдами на манер ласточьих крыльев или рыбьего хвоста, прежде еще производил на локтях легонькую трескотню, приводившую в смущение своего владельца; но теперь факт был окончательно уже близок к разрушению, и потому каждый вечер задавал, можно сказать, труднейшую работу Павлу Петровичу: там отвалилась пуговица, здесь образовалась щель... словом, не было такого дня, который не наносил бы новой раны несчастному фраку; и так как Иван (так называемый карачаевский Иван) давным-давно покинул уже Ханские Пруды вместе с Глафирой, то Павел Петрович сам принужден был наблюдать за своим гардеробом и заниматься портняжным искусством - обстоятельство, сильно затруднявшее человека, не

бравшего прежде иголки в руки. Разлука с Иваном была тягостна Карачаеву не в одном только этом отношении; в первое время ему казалось даже, как будто он прежде был женат и теперь вдруг стал холостым. Им овладела страшная тоска, окончившаяся беспробудной трехсуточной спячкой, которая, в свою очередь, разрешилась безотрадной меланхолией. Нет ни малейшего сомнения в том, что меланхолия эта, при настоящих хлопотливых обязанностях Карачаева, была бы не так назойлива и продолжительна, если б не явилось одно совершенно постороннее обстоятельство, которое придало ей характер чисто хронический. Беспокойное сердце девицы Сараманаевой, тронутое, должно быть, нежными чувствами Карачаева, красноречиво высказанными при прощании с Иваном, ни под каким видом не могло сохранить равнодушие и нежданно заговорило в пользу не совсем еще старого холостяка. Дело объясняется почти само собою: если Карачаев мог привязаться в продолжение нескольких лет к простому лакею до такой степени, чтоб проливать горькие слезы при расставаньи с ним, каких же чувств можно было ожидать от Карачаева в отношении к особе – особе, равной ему во всем, которая, сверх того, как будто нарочно предназначена была судьбою для его счастия? Кажется, ясно. С той минуты, как мысль эта озарила пылкую голову девицы Сараманаевой, образ Павла Петровича стал преследовать ее и днем, и ночью. Я нахожу совершенно лишним распространяться о том, как тридцатипятилетняя весталка показывала Карачаеву белки свои, как прилаживала она с помощью кваса «акрошкеры» на висках своих, и как затем писала она ему по десяти раз в день «милые» записки из верхнего этажа, где помещалась ее комната рядом с комнатою Фионы Ивановны, иначе вдовы Чивадзи; все это слишком общеупотребительно и давно уже известно; к тому же во всей этой истории важен один лишь результат. Результат был такого рода, что Розалия Владимировна, оскорбленная в самом чувствительном месте своего девственного сердца упорным невниманием Карачаева, объявила наотрез, что она ни за что в свете не останется долее в Ханских Прудах, и на этом основании покорнейше просила Лизавету Семеновну возвратить ей капитал ее вместе с процентами, назначенными Аристархом Федоровичем. Обстоятельство это поставило бедную хозяйку дома в самое затруднительное положение: у нее гроша не было. Узнав обо всем этом, Карачаев тотчас же застегнул свой фрак, вбежал в комнату девицы Сараманаевой и объявил ей напрямик, что так как деньги заняты были Аристархом Федоровичем, то ей следовало бы ведаться с ним, а не беспокоить своими просьбами Лизавету Семеновну, которой нет, да и не может быть никакого дела до займов мужа. На это девица Сараманаева отвечала, что Карачаев – необразованный мужик; Карачаев, в пылу негодования, назвал, в свою очередь, девицу Сараманаеву приживалкой; кончилось тем, что спустя два дня Розалия Владимировна, несмотря на все увещания Лизаветы Семеновны, покинула дом, объявив наперед Фионе Ивановне, что распубликует Ханские Пруды по всей губернии. Когда Карачаеву пришло на ум, что он был некоторым образом единственною причиной беспокойства и огорчений, причиненных Лизавете Семеновне злосчастным этим событием, он ударил себя кулаком в голову и побагровел так страшно, что, казалось, не миновать бы ему удара; но когда потом из слов Балахновой он ясно убедился, что дело действительно должно было бы покончиться миролюбиво, если б не помешала ему горячность, он молча опустил голову, и душа его прониклась мгновенно таким горем, которому, казалось, не было предела. На этот раз не помогла даже и трехсуточная спячка. «Не утешайте меня, голубушка моя, Лизавета Семеновна, не утешайте; я человек бесчувственный, и больше ничего. Простите меня. Что вы хотите? Ничему никогда не учился; так, брошен с детства... Словом, говорю я вам, выгоните меня вон!» - говорил Карачаев, мрачно вращая своими воспаленными глазами и покрываясь чистейшим кармином. – «Что же касается до этой... которая осмелилась... - прибавил он, сжимая кулаки, - о, она будет меня знать!.. А, впрочем, нет, не беспокойтесь... это я так только... даю вам честное благородное мое слово, что буду даже избегать с ней встречи...» - заключил он меланхолическим тоном. Благодаря, однако ж, увещаниям доброй Балахновой, - увещаниям, продиктованным искреннею сердечною

привязанностью и вместе с тем сожалением, Карачаев мало-помалу примирился с самим собою, и в Ханских Прудах все пошло по-прежнему.

Лето промелькнуло почти незаметно, особенно для Балахновой, которая решила в своем сердце, что эта пора, эти четыре месяца были счастливейшими во всей ее жизни. Но счастье в этом случае, как и всегда, было не очень продолжительно. Мало-помалу серые тучи стали чаще и чаще застилать ясное голубое небо; непроницаемый туман окутал поля и дальний горизонт. Полились дожди. Наступила суровая холодная осень. Потянулись длинные вечера и сумерки с аккомпанементом заунывного ветра и шума дождя, ниспадавшого с кровель и барабанившего в окна.

- Павел Петрович, что с вами?.. Вы как будто не в духе все это время; верно, у вас есть на душе что-нибудь такое, что вы от меня скрываете... Это, право, нехорошо... с друзьями так не делают... - говорила с некоторых пор Лизавета Семеновна, пристально разглядывая вытянутое, комически-нахмуренное лицо Карачаева.

- Кто?., я?., ecoute: даю вам честное слово... - отвечал обыкновенно Карачаев, у которого благодаря такому нежному участию к его расположению духа начинали вдруг прыгать и смеяться все черты лица.

- Полноте, полноте! - весело подхватывала Балахнова. - Не хотите ли вы, в самом деле, уверить меня, что вам очень весело в Ханских Прудах?.. Нет, вы меня не обманете. К тому же я, право, не вижу никакой надобности, чтоб вы... именно вы стали меня обманывать; хотите, я вам расскажу, что с вами; вы попросту скучаете, мой добрый Павел Петрович...

Карачаев приподнимал голову, причем на лице его можно было прочесть выражение глубокого огорчения.

- Пожалуйста, дайте мне договорить, - продолжала Балахнова, прикасаясь рукою к руке Карачаева, чтобы удержать его на месте. - Да, вам скучно, и я нахожу это весьма естественным: не сами ли вы говорили мне это, что как только наступает осень, сентябрь, вы не можете сидеть на месте: вас так вот и манит в поле с охотниками?.. Отчего же, скажите, пожалуйста, нынче вы лишаете себя этого удовольствия? Я знаю, вы страстный охотник; вы сами это говорили, и, наконец, я слышала это от ваших приятелей и знакомых. Даю вам слово, я не нахожу в этом ничего предосудительного; поезжайте с Богом, прошу вас об этом. К тому же вы даже получили несколько приглашений; охота развлечет вас и рассеет; а там опять приедете, разумеется, к нам, расскажете ваши впечатления, ваши похождения...

- Позвольте, Лизавета Семеновна, ecoute, - перебил Карачаев уныло, вращая своими воспаленными белками, - я все это очень хорошо понимаю... я вам надоел, прискучил... Нет, сделайте милость, ей-Богу, так! Не говорите мне, я сам знаю. Ну, что я такое? никакого обращения; с детства был брошен, не получил ровно никакого воспитания... Я понимаю: ну, какая я для вас компания!..

- Э-э! Павел Петрович! Как вам не стыдно говорить такие пустяки! Я, признаюсь, никак этого от вас не ожидала, - сказала Балахнова, с живостью взяв руку Карачаева. - Даю вам честное слово, мне в голову не приходили такие мысли. Неужели вы в самом деле могли подумать, что я просила вас ехать на охоту для того, чтоб от вас избавиться?.. Как же вы дурно знаете меня после этого! Я держалась и держусь всегда обычая прямо высказывать свои чувства. Если б присутствие ваше было для меня тягостно, я дала бы вам это почувствовать и, конечно, нашла бы средство удалить вас... Ну, полноте же, мой добрый Павел Петрович! дайте мне вашу руку и дайте мне вместе с тем слово, что вы верите, что я вас искренно люблю и уважаю.

- Лизавета Семеновна, ваше слово... клянусь вам честью!., - воскликнул смущенным голосом Карачаев.

Тут он, неизвестно почему, расстегнул верхние пуговицы фрака, провел несколько раз по лысине, неловко повернулся в креслах и побагровел до ушей.

- Клянусь честью... я вам верю! - подхватил он, воодушевляясь, - но только, Бога ради, ecoute: я останусь с вами и не поеду, да и не хочу ехать на охоту... Что мне с ними? В душе, сказать по совести, я не люблю охоты! Ну, сами посудите, что тут: какой-нибудь зайчишка, гонят, кричат... Потом кутеж, пьянство... Бог с ними! Клянусь вам, как этак вот отвыкнешь на покое от всего этого, да охватишь свое существо, так словно даже совестно станет. Мне у вас здесь так хорошо, как в раю; а если скука, хандра, знаете, нападает, так, право, оттого, что вспоминаешь старое житье-бытье... Нет, Бог с ними, не поеду на охоту! - заключил Карачаев, решительно махнув рукою.

После этих разговоров, повторявшихся довольно часто, Карачаев впадал в ничем не сокрушимую веселость, проводил целые вечера, играя с детьми, и был так счастлив, как только может быть счастливым человек.

В сумерки Лизавета Семеновна садилась за фортепиано, и Павел Петрович, обвешанный детьми, которые лезли ему на шею и на голову, слушал ее в каком-то экстазе, причем правая нога его - по привычке, вероятно, - не забывала отбивать ускоренный такт. Игра на фортепиано была единственным его развлечением; утро и большую часть вечера Балахнова проводила в спальне с детьми. Карачаеву не с кем было перемолвить слова; он был совершенно один. (Прокисай Захарович вскоре после отъезда Аристарха Федоровича исчез из Ханских Прудов и предпочитал слоняться по уезду, проживать нынче в одном доме, завтра – в другом, чем остаться почти наедине с Фионой Ивановной). Несмотря, однако ж, на привычку находиться всегда в шумном обществе, Карачаев продолжал отказываться от приглашений окрестных соседей, которые поминутно звали его в отъезжее поле. Он объявил наотрез, что не тронется из Ханских Прудов до тех пор, пока не вернется Аристарх Федорович, и твердо убежден был, говоря это, что долг чести и признательности обязывает его не покидать Лизаветы Семеновны и детей ее. И нет сомнения, он не отступил бы на волос от такого убеждения, если б в одно ненастное холодное сентябрьское утро не подали ему письмо. Письмо было от Барабанчикова. Карачаев, если припомнит читатель, был в ссоре с Барабанчиковым по тому поводу, что Барабанчиков отказал ему дать взаймы денег для награждения Ивана; но так как Барабанчиков извещал старого своего друга, что на охоте сломал себе ногу и лежит при смерти, то Карачаев рассудил, что такое важное дело не терпит ни малейшего отлагательства, что присутствие его необходимо у Барабанчикова, и что, наконец, каких-нибудь восемь часов отлучки из Ханских Прудов ни в каком случае не могут нарушить спокойствие Лизаветы Семеновны. На этом основании он приказал тотчас же оседлать лошадь, известил обо всем Балахнову и, забыв неприязненные чувства к прежнему приятелю, пустился в путь, невзирая на то, что ветер ломал деревья, мокрый снег валил хлопьями, а впереди предстояло сорок верст с лишком.

Карачаев, как уже известно, был человек характера слабого и легко увлекающегося. Вместо предполагаемых восьми часов он пробыл в отлучке двое суток. На третье утро Карачаев вернулся в Ханские Пруды. Взглянув на него в ту минуту, как он въезжал на двор, можно было подумать, что друг детства, Барабанчиков, приказал долго жить или, наконец, самого Карачаева постигло какое-нибудь страшное горе. Он нетерпеливо соскочил с лошади, бросил поводья кучеру и, свирепо почесывая мокрый затылок, направился быстрыми шагами в прихожую.

- Где барыня? - спросил он отрывисто.

Получив в ответ, что барыня в детской, Карачаев заморгал глазами, сделал шаг вперед, но в ту же секунду изменил свое намерение и вступил в свою комнату, ту самую, где он и Васильков слушали некогда чтение «Непризнанной Индейки». Тут, закинув руки за спину, принялся он расхаживать взад и вперед, проявляя на озабоченном лице своем необычайное волнение и произнося время от времени энергические проклятия.

- Где Лизавета Семеновна? - спросил он, выходя снова в переднюю и забыв, что был уже извещен об этом.

На этот раз Карачаев не надел черного фрака, а как был в нанковом казакине, вымоченном дождем, прошел мимо изумленной Фионы Ивановны и вступил в детскую.

В детской было очень весело, несмотря даже на то, что окна, до половины залепленные снегом, с трудом пропускали дневной свет. Дело в том, что на этот раз солнечные лучи заменялись отличнейшим образом ярко топившеюся печкой, которая обливала стены, белые постельки и деревья, расписанные на стенах, розовым светом. Балахнова сидела на низеньком табурете, прямо против огня; Володя расположился на полу и, положив голову на колени матери, глядел на пылавшие уголья: остальные дети прыгали и резвились вокруг табурета, и веселые лица их, освещенные пурпуровым заревом печки, казались еще миловиднее.

Есть что-то отрадное, успокоительное в подобных картинах! При виде их душа обретает какое-то полное сознательное спокойствие и невольно отдыхает от всевозможных суетных треволнений жизни. На тех даже, кому решительно недоступна поэтическая сторона нашего существования, картины эти производят всегда сильное впечатление, хотя тем именно, что представляют резкий контраст с дико завывающею метелью, унылым воем ветра и стужею, прохватывающею вас насквозь. То же самое, или почти то же самое было с Карачаевым. Войдя в комнату, он невольно отступил шаг назад и остановился у двери. На лице его, озабоченном и нахмуренном, проступило, однако ж, выражение тоскливого смущения, похожего на то, когда боишься потревожить сладкий сон ребенка и чувствуешь вместе с тем, что это необходимо сделать. Увидев Павла Петровича, дети с радостным восклицанием бросились к нему навстречу.

- Мама, мама! Карачаев приехал! Карачаев! Здравствуй, Карачаев, здравствуй! - закричали они в один голос, прыгая вокруг него или цепляясь за фалды нанкового его казакина.

Карачаеву сделалось окончательно неловко; отвечая торопливыми ласками на ласки детей, он свирепо потирал в то же время широкую свою лысину, покрытую потом, моргал глазами, потряхивал головою, переминался на одном месте, причем в каждом из его движений обозначалось сильное волнение.

- Дети, - сказала Балахнова после того как поздоровалась с Карачаевым, - не беспокойте Павла Петровича: он, кажется, очень устал после дороги...

- Нет... помилуйте, Лизавета Семеновна, это ничего... я очень рад, - проговорил Карачаев, делая над собою явное усилие и принимаясь ласкать детей.

Последовала кратковременная пауза, в продолжение которой Балахнова окинула любопытным взглядом вошедшего. Взгляда этого достаточно уж было, чтоб убедиться, что с Карачаевым произошло что-нибудь необыкновенное. Отсутствие фрака, замененного на этот раз казакином, с которого Карачаев не позаботился даже отряхнуть воду, подтверждало красноречивейшим образом такое предположение. Зная в совершенстве экспансивную сообщительную натуру Карачаева и не сомневаясь нимало, что он поспешит передать ей свои горести, она придвинула к печке стул, пригласила его занять подле себя место и начала расспрашивать его о результатах поездки.

- Ну что, скажите пожалуйста, как нашли вы вашего приятеля? - сказала она.

- Ничего, Лизавета Семеновна, слава Богу; опасности нет никакой... все это вздор и пустяки! - мрачно отвечал Карачаев.

- Взглянув на вас, признаюсь, я думаю совсем другое... Скажите же мне, Бога ради, что с вами, Павел Петрович? - произнесла Балахнова с участием.

- Ничего, так... знаете... - проговорил Карачаев, делая очевидные усилия, чтоб казаться спокойнее, - а, впрочем, знаете, ecoute, Лизавета Семеновна, - прибавил он, багровея и знаменательно подмигивая на детей, - мне надо бы поговорить кое о чем с вами...

Тон, с каким произнесены были последние эти слова, и выражение на лице Карачаева заставили тотчас же предположить Балахнову, что тут скрывалось какое-нибудь несчастие, лично до нее касавшееся.

- Дети, оставьте нас на минуту, подите играть в залу, - сказала она изменившимся голосом.

- Не думайте, однако ж, голубушка Лизавета Семеновна, что я хочу сообщить вам что-нибудь особенно важное, - с поспешностью подхватил Карачаев, когда веселые голоса детей раздались в соседней комнате, - ей-Богу ничего, так; успокойтесь... все это я знал заранее... фу! - заключил он, принимаясь обтирать лоб.

Балахнова почувствовала в эту минуту, что сердце ее забилось еще сильнее.

- Вы слышали что-нибудь о моем муже!., - сказала она, бледнея.

- Ничего, клянусь вам честью! Он здоров и даже на днях будет здесь, успокойтесь... фу! Эх, я дурак, болван! зачем я начал все это! - воскликнул Карачаев, внезапно вскакивая со своего места и, замаршировав по комнате, принялся долбить себя кулаком в голову.

- Полноте, Павел Петрович, перестаньте! вы должны были передать мне все, что знаете, из участия ко мне. Умоляю вас всем, что есть священного, не скрывать от меня ничего! - произнесла Балахнова, живо схватывая руку собеседника. - Полноте, сядьте, говорите; видите, я совершенно спокойна... Вы знаете меня слишком давно... вы должны знать также, что я ко всему уж привыкла... - заключила она, садясь на стул и усаживая его подле себя.

- Нет, голубушка моя, Лизавета Семеновна, вы не можете к этому привыкнуть, вы не должны привыкать к этому! - воскликнул Карачаев с запальчивостью. - Это просто глупость, извините меня, именно глупость! Этак, как хотите, а делать нельзя, да и делать этого никто не станет, имея детей, семейство... это просто... это... это как Гирей, знаете, сидит себе, в устах шипит или пищит у него янтарь, и знать никого не хочет! как говорит этот Пушкин в своем «Бахчисарайском Фонтане»... Что это такое в самом деле? Не думает ли Аристарх Федорович, что соседи, с которыми он перессорился, обеспечат его детей и жену... или станут вносить в Опекунский Совет проценты всякий раз, как он будет перезакладывать таким образом свое имение... Эх, жаль, досадно, что я не умею писать этих комедий! - подхватил он с глубочайшим отчаянием, - я бы выставил этих людей, которые из-за прихоти какой-нибудь... из-за того, чтоб блистать да выставляться перед другими, готовы разорить и пустить по миру свое собственное семейство!..

- Что ж случилось? - проговорила Балахнова задыхающимся голосом.

Такой решительный вопрос поставил, казалось, Карачаева в совершеннейший тупик. Он заморгал воспаленными глазами, побагровел и, проклинал себя в душе за то, что зашел слишком далеко, принялся обдумывать средство, как бы по возможности поберечь Лизавету Семеновну или, по крайней мере, смягчить то, о чем следовало ей рассказать. На этом основании он расстегнул воротник своего казакина, потом снова застегнул его и наконец пробормотал несвязно:

- Нет, ecoute, это собственно ничего... успокойтесь... я погорячился...

- Павел Петрович... умоляю вас! говорите мне прямо... вы разрываете мне сердце... - произнесла Балахнова, едва переводя дух.

Лицо Карачаева представило в эту критическую минуту панораму самых редких физиономических феноменов. Он, очевидно, поступил неосторожно и зашел слишком далеко; скрывать долее истину значило усилить только беспокойство бедной женщины; но как открыть ей горестную весть? Счастливая мысль представить все в аллегории мелькнула в голове его; он быстро вскочил со своего стула, еще поспешнее вынул из кармана единственный свой клетчатый платок и, показывая его в каком-то замешательстве Балахновой, произнес скороговоркой:

- Вот, изволите видеть, платок, вот он... вы его видите... а вот (тут Карачаев скомкал платок и бросил его в печь), а вот его и нет, сгиб, сгорел - вот то же самое сделал и Аристарх Федорович: он перезаложил свое имение! - заключил Павел Петрович, выразительно разводя руками и поднимая брови.

Но тут Карачаев мгновенно остановился. Взглянув на Балахнову, которая при последних словах закрыла лицо руками и горько заплакала, он послал себе в голову такой

удар, который легко мог бы сбить с ног любого быка; затем он бросился к ней и, стараясь придать своему взбудораженному лицу спокойное выражение, проговорил скороговоркою:

- Лизавета Семеновна, я... я все это не так вам представил, успокойтесь, ради Бога!... Ecoute: я вам расскажу все, как было; может быть, мне все это наврали: вы знаете уездные сплетни... - Я погорячился, не сообразил этого... а вы... эх, эх! послушайте: не сами ли вы говорили мне, что не следует верить всему тому, что болтают в уезде? - подхватил он, принимаясь делать какие-то пояснительные знаки пальцами, наклоняя вперед багровое лицо и выкатывая зрачки, как будто намеревался проглотить за один раз свою собеседницу. - Опасность вовсе не так велика, как вы думаете; я погорячился потому только, что мне, понимаете, досадно. Аристарх Федорович перезаложил только свои двести душ! - продолжал он успокоительным тоном, - а, впрочем, и это, быть может, одни лишь сплетни; всякому слуху не верь... Вы сами знаете... К тому же, слухи эти распространяет этот... этот... желто-фиолетовый господин Кошкин, который говорит, будто писал ему об этом какой-то... как бишь его... да, Чиндаласов, из Москвы... Вздор, пустяки! Aristarque никогда не играл в карты по большой... успокойтесь! Я, впрочем, уж распорядился, Лизавета Семеновна: я велел передать Кошкину, что если он не будет держать язык на привязи, так найдется один вексель... вы понимаете... которым мы зажмем ему рот! - заключил Павел Петрович, очевидно мешаясь и сбиваясь в своих успокоительных доводах и объяснениях.

- Бедные, бедные мои дети! - сказала Балахнова, медленно отнимая руку от лица и задумчиво глядя на угасавший уголь, между тем как крупные слезы лились по бледным щекам ее.

- Нет, голубушка моя, Лизавета Семеновна, у них есть еще кусок хлеба. Я все это устрою. Вот тут залезла счастливая мысль! - воскликнул Карачаев, ударив себя по лбу. - Успокойтесь, ради Бога! И сказать, что у меня было когда-то сто тысяч, которые разлетелись по пустякам! - подхватил он, отчаянно размахивая руками. - Впрочем, вы не думайте, нет, я совсем не то хотел сказать, - поспешно заговорил он, взглянув на лицо Балахновой, мгновенно вспыхнувшее, - совсем не то, голубушка моя, Лизавета Семеновна... я хотел то есть сказать, что как то есть пропадают иногда деньги; так ни за что... на сущий вздор!., - заключил Павел Петрович, передвигая пальцами и наклоняя голову, как будто перед кем извинялся.

В эту самую минуту в соседней комнате послышались беготня и детские голоса.

Карачаев не успел повернуться к двери, как дети вбежали уж в спальню с криком:

- Мама, папа едет! папа едет!

Невозможно передать эффекта, произведенного этими словами на двух собеседников. Карачаев отступил, как будто перед ним упал гром.

- Че-е-во? Быть не может! - произнес он, опомнившись.

- Павел Петрович, - сказала Балахнова, приподымаясь со своего стула и поспешно схватывая его за руку, - прошу вас не говорить ему ни слова: до поры до времени он не должен знать, что нам все уж известно. Надеюсь, вы сделаете это для меня?..

Карачаев мрачно насупил брови и наклонил голову.

- Дети, - произнесла Балахнова, обращая к ним спокойное, хотя бледное лицо свое, - пойдемте встречать отца!..

И, сопровождаемая детьми и Карачаевым, который продолжал сохранять такой же точно мрачный вид, как будто хоронил свое собственное счастье, быстрыми шагами направилась в залу.

IX.
Аристарх Федорович, сопровождаемый Порфирием Павловичем и Аполлоном Егоровичем, возвращается к домашнему очагу

В то время, как Лизавета Семеновна, дети и Карачаев выходили в залу, Аристарх Федорович въезжал на двор. В окнах видно было, как дорожная коляска его, окруженная дворовыми людьми, приближалась к крыльцу. Коляска, несмотря на ненастную погоду, была открыта. Аристарх Федорович, сидевший на возвышении, сделанном из подушек, величественно, но приветливо раскланивался направо и налево, и по движению губ его можно было сказать безошибочно, что он произносил: «благодарю!». Порфирий Павлович, сидевший подле, направлял свои зрачки в одно и то же время на все предметы и посылал суетливые поклоны. Один Аполлон Егорович Дрянков, помещавшийся на козлах, с узелком под мышкой, - узелком, в котором заключалась оттиснутая «Непризнанная Индейка» вместе с экземплярами «Заоблачных Трелей», «Пелопонезо-Таврических мелодий» и «Шпоры Лермонтова», хранил невозмутимое спокойствие и, задрав кверху лицо свое, ни с кем не кланялся. В общем, все это напоминало торжественный въезд Александра Македонского в Вавилон.

Наконец, коляска остановилась у подъезда. Минуту спустя великий человек из Горшкова вступал уже в дом своих предков. В зале встретили его жена, дети, Карачаев, Фиона Ивановна и вся дворовая челядь, сбежавшаяся со всех возможных концов.

- Друзья мои, - проговорил растроганным голосом Аристарх Федорович, обнимая жену. - Друзья мои, Порфирий Павлыч, и ты, Карачаев! Друзья мои! молю Провидение, чтоб Оно ниспослало вам такую жену и таких детей; дай Бог, чтоб вам привелось когда-нибудь вкушать в сей юдоли плача и скорбей такие сладостные минуты: они возвышают душу и сердце. Благодарю еще раз и всем сердцем восклицаю: благодарю вас, друзья мои!..

Тут Аристарх Федорович, растроганный и прослезившийся, вторично обнял жену и, кивая через ее плечо всем остальным лицам, находившимся в зале, проговорил еще раз «благодарю».

- Ну, вот я и дома! Опять с вами, друзья мои! - заключил Балахнов, выпрямляя грудь и показывая всем свои вагенгеймовские зубы:

Когда ж пространствуешь, воротишься домой,

И дым отечества нам сладок и приятен! -

сказал великий Грибоедов, и сказал истинную правду! - примолвил он, принимаясь снова ласкать детей, между тем как Васильков и Дрянков здоровались с хозяйкою дома. Аристарх Федорович был необыкновенно весел, несмотря даже на то, что в дипломатической голове его постоянно работала мысль о том, что поездка его в Москву сопряжена была большею частью с неудачами и не принесла почти никакого результата. В то время, как перетаскивали подушки и чемоданы, он успел сказать каждому приветливое слово, успел спросить: „что слышно в уезде?", и, получив на этот счет кой-какие сведения, обратился шутливо к вдове Чивадзи:

- А где ж Прокисай? я что-то его не вижу.

- Почем же я знаю-с?.. Я не нянька его... - язвительно прошипела Фиона Ивановна, нетерпеливо поправляя косынку, перевязывавшую больную щеку и придерживая пальцем непокорную фигу.

- Что ж так? Верно, опять изменил, злодей! Опять, верно, у Кокуркиных? - сказал Аристарх Федорович, лукаво подмигивая вдове, которая спешила скрыться. - Ха-ха-ха!.. - залился Аристарх Федорович и, повернувшись неожиданно к жене, взял ее за обе руки. - Ну, Лизанька, - сказал он добродушно-шутливым тоном, - я должен сообщить тебе одно происшествие, которое, нет сомнения, растерзает твое супружеское счастие. Плачь, плачь над сердцем своего мужа: оно заполонено m-me Камышевской, родною сестрой m-me Балаклеевой, которую ты видела не раз в нашем губернском городе... Происшествие необычайное, случай необыкновенный. Я должен тебе сказать прежде всего, что я спас ей жизнь, даровал существование... но скромность смыкает мне уста; пусть Васильков - он был свидетелем всего - расскажет тебе это событие, где Промысл излил на меня новый

поток щедрот Своих! - заключил Балахнов, пожимая женину руку и самодовольно направляясь в кабинет.

Васильков, у которого давно уж зудел язык сообщить подробности этого драматического события, исполнил с наслаждением просьбу своего величавого друга. Из слов его оказалось, что Аристарх Федорович заехал по дороге к г-же Камышевской, и что г-жа Камышевская, преисполненная признательности к вниманию Аристарха Федоровича, повезла именитого своего гостя на маленьких дрожках по всем частям своего хозяйства. Следовало проехать через плотину, чтоб попасть на скотный двор. На плотине дрожки опрокидываются; г-жа Камышевская падает в воду, и Аристарх Федорович, движимый беспримерным чувством великодушия, вытаскивает ее на берег здравою и невредимою.

В каждом событии, как бы велико оно ни было, находятся всегда две стороны; показав одну сторону чудного спасения г-жи Камышевской и беспримерного великодушия Аристарха Федоровича, мы непременно должны показать и другую. Поездка к г-же Камышевской входила в состав дипломатического плана Балахнова, - плана, обдуманного еще в Ханских Прудах, до поездки великого человека в Москву. Дело в том, что госпожа эта приходилась родной сестрой госпоже Балаклеевой, муж которой играл одну из самых первых ролей в губернском городе, где должны были происходить выборы. Аристарх Федорович давно уже заигрывал с Балаклеевым, но, по какому-то странному, дикому предубеждению Балаклеев обнаруживал всегда к великому человеку холодное равнодушие. Можете представить себе после этого восторг великого дипломата, когда, можно сказать, сама судьба доставила ему случай возбудить в душе всех Балаклеевых вечную признательность за чудное спасение любимой сестры.

Спасение г-жи Камышевской не имело в себе, собственно говоря, ничего особенного: все произошло самым обыкновенным образом; тем не менее, однако ж, событие это, выходя из уст Аристарха Федоровича, приобрело такую яркость и выпуклость, что сделалось вскоре известным целой губернии и приняло даже под конец характер чисто лирический. Прибавьте к этому, что скромность самого героя не позволяла ему распространяться слишком много об этом предмете. Вот, между прочим, какую форму приняло это событие в знаменитой записной книжке великого горшковского мужа и вслед за тем в письме, адресованном им на имя Балаклеева: «...Добрая и возвышенная душа ваша, верно, воздохнет к Провидению с признательностью», писал Аристарх Федорович на второй странице своего письма. «Шестого сентября, в седьмом часу вечера, прекрасного, хотя холодного, завлеченные сею погодою, по докладу старосты о чрезвычайно сильной воде, угрожавшей плотинам и мельнице (я приехал в село Пруженцово навестить многоуважаемую сестрицу вашу), - мы отправились вместе осмотреть оные, в дрожках, на отличной и смирной лошади, преследуемые старостою; спустились благополучно с горы - и, не найдя уж на плотине ничего снегу (утром шел мокрый снег, именуемый в простонародье «дряпнёю»), сострадая тяжести лошади от чрезмерной грязи, я сошел с дрожек, а сестрица ваша взяла вожжи и шагом едет вперед, а мы со старостою, разумеется, от лошади поотстали, может быть, шагов на десяток. И вижу сзади, что на мосту, под коим спуск воды, от сильного стремления ревущей, вдруг делается лошади дурнота и в одно мгновение она с него бросается прямо в спуск воды, ниже моста на 3 аршина, а *вдоль девять с половиною аршин и где* глубина неизмерима!!! От силы удара и собственного механизма тяжести дрожек и лошади (добрый конь!) в ту же минуту утоп в этой страшной пропасти, а дрожки с бесстрашной сестрицей вашей, через него переброшенные, в воде накрыли ее!!!... Испуганный этою неизбежною гибелью, я бегу стремглав к мосту, успевая на побеге сбросить замшевые перчатки, дабы они, намокнув, не скользили и не мешали мне действовать руками, рассчитываю каждую терцию времени в страхе, чтоб она не захлебнулась под дрожками, где ее уж и не видно, с моста кидаюсь под них и, непостижимым милосердием Неба, схватываю прямо ее руку, и, вынырнув вверх, плыву к берегу, силясь ее успокоить словами. Староста во все это время взывал к народу, который, сбежавшись с берега, у водопада, принимает свою добрую

госпожу на руки, коим я, дабы не выдернули рук, подавал ее снизу, опершись на какую-то глыбу глины; как вдруг с нее скользаю и окунаюсь вновь в самую глубину, где, по счастью, тем же благим Промыслом спасенный, попадаю на сваю, разбиваюсь жестоко, но сею же удержанный, выкарабкиваюсь и - вытащен людьми!!! В этом положении нас уносят в дом, и там, покровительствуемые Небом, всеми способами отогреты. Но не менее того, хотя благополучно живы, а без различных потрясений не остались, особенно сестрица ваша, показавшая в этом случае беспримерную неустрашимость. Буди во всем слава и благодарение Небесам, даровавшим человеколюбие людям!..». Но дело вовсе не в красноречии Аристарха Федоровича; даже злейшие враги его сознавались чистосердечно, что не знали ему в этом отношении соперников: в целой половине уезда не было человека, который своевременно не прибегнул бы под защиту могущественного слова любимого своего оратора, и наоборот, в другой половине уезда трудно было сыскать существо, которое не испытало бы на себе гибельного и всесокрушительного действия, производимого, в случае надобности, ораторскими способностями великого мужа. Это факт. Сила, следовательно, не столько в красноречии, сколько в том благотворном нравственном влиянии, какое произведено было на Аристарха Федоровича случаем, происшедшим с г-жою Камышевской. Случай этот придал тройную силу потухавшей энергии знаменитого Аристарха Федоровича. «Балаклеевы теперь мои!.. Наша возьмет!..» - повторял поминутно Аристарх Федорович, ударяя Василькова по плечу в то время, как они возвращались в Ханские Пруды. Это обстоятельство достаточно объясняет, кажется, веселое расположение духа нашего героя. Благодаря этому счастливому расположению, невольно заглушавшему в нем сознание собственного своего величия, он был необыкновенно разговорчив и во все продолжение дня не переставал обнаруживать заботливое участие к жене, которая жаловалась на страшную головную боль. Карачаев мрачно глядел на все эти сцены и не произносил слова. Он не отвечал даже на шутливые замечания Балахнова, ходил взад и вперед, судорожно хмурил брови и, казалось, ждал чего-то. Васильков и Дрянков, несмотря на долгую с ними разлуку, как будто вовсе не существовали в этот день для Карачаева.

Тем не менее, однако ж, как только наступила ночь, и Аристарх Федорович, распрощавшись с членами своего семейства, ушел спать, Карачаев направился нетерпеливыми шагами в комнату проживальщиков. Он дал себе слово выведать от Василькова и Дрянкова, насколько справедливы были слухи, носившиеся в уезде о том, будто Балахнов перезаложил свое имение. Достигнуть этого было легче, чем думал Карачаев. Васильков и Дрянков, связанные с некоторых пор теснейшими узами дружбы, передали Карачаеву во всех подробностях столичное житье-бытье и высказали, сами того не замечая, все, о чем хотел знать Карачаев. К таким откровениям сильнейшим образом способствовало также и то, что в памяти обоих рассказчиков живо еще представлялись те случаи, которые навлекли иа них когда-то справедливый гнев и угрозы Карачаева - угрозы, которые при малейшем упрямстве с их стороны весьма легко могли быть приведены в исполнение.

- Хорошо, мне нет никакого дела до Миловзорова и до других чертей, с которыми ты свел там дружбу! - сурово сказал Карачаев, обращаясь к сердобольному Порфирию Павловичу, начинавшему чувствительное повествование о дружбе своей с доктором, - знакомься с кем хочешь. Дело в том, что на днях я заезжал к жене твоей - вот в чем дело...

Порфирий Павлович побледнел.

- Нечего, брат, глаза-то выпучивать, как словно пятерых проглотил, да шестым поперхнулся, - продолжал неумолимый Карачаев, - дело в том, что я заезжал к ней: она больна и больна очень опасно. Слышишь ли ты это, Порфирий?

- Антониночка!.. - плаксиво простонал Васильков.

- Все это, брат, финтифлюшки; нечего гримасничать; не в том сила, - сила в том, что ты завтра же должен к ней ехать - вот в чем она, штука-то!

- Странно, однако ж! - пробормотал Дрянков, сидевший на постели, - ты, братец, распоряжаешься...

- Че-е-во? - грозно произнес Карачаев, вращая воспаленными белками на бессмертного автора «Непризнанной Индейки».

Аполлон Егорович замолчал и повернулся спиною.

- Вот так-то лучше будет, - сказал Карачаев, - еду, еду, не свищу, а наеду - не взыщи! Ну, а мы завтра же с тобой поедем, Порфирий. Ты должен примириться с женою; я все это устрою...

- Ох, Павел Петрович... друг мой!.. К несчастию... - робко проговорил Васильков.

- Что еще?.. Какое несчастие? Никакого нет несчастия. Ты сам всему виною: кислил, мямлил, сам должен все поправить...

- Совсем не то, душка моя... я не про то... Примириться с Антониночкой я сейчас готов, но... к несчастью, мне никак этого нельзя сделать...

- Это что еще? - запальчиво крикнул Карачаев.

- Да ты не сердись, Павел, выслушай прежде, - сказал Васильков, уныло разводя раковыми глазами, - я готов примириться с Антониночкой, готов сойтись с ней... но, но где ж мы жить-то будем?..

- Как где? вот вопрос! а в Сусловке?

- Я продал Сусловку Аристарху Федорычу... Вчера, как проезжали через Горшков, совершили купчую...

- Ну, продал или не продал, это все равно; дело в том, что на полученные деньги ты купишь себе дом или поместье - вот в чем штука-то! Если хочешь, поручи мне; я все это тебе устрою... Деньги получил?

- Аристарх Федорыч сказал, что могу получить их, когда захочу...

- Ну, и ладно! Завтра, следовательно, мы едем к Антонине Васильевне! - решительно сказал Карачаев.

Затем он оставил комнату проживальщиков, прошел в залу и часа три ходил из угла в угол, свирепо почесывая затылок.

Первый предмет, поразивший взоры Аристарха Федоровича, когда, восстав от сна, расположился он в вольтеровских креслах, был Карачаев.

- А! защитник и покровитель дома сего! милости просим! - весело воскликнул великий горшковский муж. - Позволь, братец, еще раз поблагодарить тебя хоть за то, что ты не оставлял в одиночестве жены моей...

- Не за что, братец! - недовольным голосом отвечал Карачаев, - я почел своею обязанностью успокоить Лизавету Семеновну... Конечно, не всякий, брат, понимает то, что... ну, да не в этом дело; я пришел отдать тебе отчет...

- Какой отчет? в чем?

- Отчет - и больше ничего! - отрывисто сказал Карачаев, косясь в сторону.

Аристарх Федорович взглянул на лицо мрачного собеседника и залился звонким хохотом.

- Че-е-во? Смеяться тут нечего! - запальчиво крикнул Карачаев. - Тебе говорят дело, вот и все тут.

- Да полно, полно, взбалмошная голова ты этакая! скоро ли ты угомонишься?.. Ну, какие тут отчеты ты еще затеял? какие отчеты? - произнес Балахнов, дружески положив обе руки на плечи Карачаева и слегка раскачивая его. - Садись-ка лучше да расскажи, что и как. Ну, что, например, толкуют в уезде? Не слыхал ли чего-нибудь о предстоящих выборах? Ведь всего, братец, три какие-нибудь недели осталось... три недели! - заключил он торжественно.

- Я, брат, ничего этого не знаю, да, признаться, и знать не хочу; мое дело сторона, - нетерпеливо перебил Карачаев, - я, братец, хотел поговорить тебе об одном очень важном деле, которое случилось во время твоего отсутствия, - примолвил он таким тоном,

который ясно показывал решительное намерение быть до конца верным роли строгого делового докладчика.

- Важное дело... ба!.. Ну, какое же это, какое важное дело? Я слушаю, - произнес, подсмеиваясь, Аристарх Федорович.

Карачаев нахмурил брови и, косясь на окно, продолжал:

- Ты, вероятно, уже слышал, что Розалия Владимировна Сараманаева...

- А, так вот оно в чем важное-то дело! Ха-ха-ха!.. да, в самом деле... ха-ха! все это очень важно...

- Конечно, не всякий может понимать то, что... - запальчиво воскликнул Павел Петрович, - ну, да Бог с тобой! Не в том штука; штука в том, братец ты мой, что какова бы она ни была, она требует назад свои деньги, - прибавил Карачаев, смягчаясь и пытливо устремляя на Балахнова воспаленные белки свои.

- В самом деле? Ну, признаюсь, любезнейший, новость же ты мне сообщил, нечего сказать! А, впрочем, кстати, так как уж речь зашла об этой интересной особе, - прибавил Балахнов, принимая вдруг степенный вид, - я хотел вчера еще поговорить с тобою на этот счет. Скажи, пожалуйста, Павел Петрович, в каких ты с ней отношениях?

- Я, братец?.. Да так... ничего... - возразил Карачаев, потирая лысину.

- Ну, так вот, видишь ли в чем дело, - подхватил Аристарх Федорович, - сделай мне в таком случае одолжение... Дурища эта, пожалуй, чего доброго, заберет себе в голову черт знает что такое и начнет болтать всякий вздор на мой счет: окажи дружбу, съезди к ней и передай ей от меня, что она получит свои деньги в самом коротком времени... Живет она у попадьи в Горшкове, как мне сказывали вчера, когда я проезжал через этот город. Не сомневаюсь в твоем расположении; я уверен, что ты не откажешься исполнить это поручение как нельзя лучше, - заключил Балахнов, полагавший не без основания, что за три недели до выборов каждый неблагоприятный слух, даже со стороны девицы Сараманаевой, может повредить ему.

Возложить на Карачаева какое-нибудь трудное деликатное поручение и показать ему притом, что на него, как на человека делового и расторопного, полагаются совершенно, значило польстить ему в высшей степени. Выслушав Аристарха Федоровича, он мигом расправил брови и сказал миролюбиво:

- Помилуй, душа моя, Aristarque, я сам то же говорю: непременно разболтает черт знает что такое...

- Итак, ты едешь в Горшков?

- Позволь, душа моя... я не могу покуда дать тебе решительного ответа; я прежде подумаю... - сказал Карачаев, значительно насупливая брови.

Тут Карачаев приподнялся со своего места и, попросив Балахнова, чтоб он не мешал ему, минут пять ходил по кабинету с закинутыми за спину руками.

- Изволь, душа моя, чтоб тебе доказать... я еду! - воскликнул, наконец, Карачаев с такою горячею готовностью, как будто дело шло о спасении человеческой жизни.

- Я, братец, никогда не сомневался в твоем расположении, - произнес Балахнов, театрально протягивая ему руку, - только вот что, любезный, нельзя ли сделать это как можно скорее, нынче, например? а?..

- Ну да, душа моя, конечно, сейчас же; зачем откладывать? Что дело, то дело! - проговорил Павел Петрович, суетливо застегивая свой нанковый казакин. - Будь спокоен, я все это устрою!

Выходя из кабинета, он встретил Василькова и Дрянкова, которые шептались у двери.

- Ты, верно, за деньгами? - спросил Карачаев у Порфирия Павловича...

- Да...

- Ну, хорошо; так получи же их и дожидайся меня здесь. Я завтра вернусь назад, а послезавтра мы отправимся к Антонине Васильевне, - примолвил решительно Павел Петрович и, не дожидаясь никаких объяснений, поспешно направился в залу.

Четверть часа спустя Карачаев летел в Горшков.

Аполлон Егорович, отпустив Василькова в кабинет Аристарха Федоровича, стоял, между тем, в конце коридора, выжидая возвращения сердобольного своего друга.

С некоторых пор, а именно с того самого времени, как Васильков продал Сусловку и должен был получить от Балахнова восемь тысяч, в поэтической душе Аполлона Егоровича возникла сильная потребность сблизиться с мягкою, нежною душою Порфирия Павловича. С прискорбием сознался он, что в этом благородном побуждении, точно так же, как большею частью во всех человеческих побуждениях, был замешан... не то чтобы гнусный расчет, а так себе, скромное эгоистическое соображение. В прежнее время Аполлон Егорович не видел для себя ничего оскорбительного в звании «проживальщика»: он находил весьма естественным жить на чужой счет, ничего не делая, и позволял человеческому достоинству возмущаться тогда лишь, когда щелчки благотворительного Аристарха Федоровича принимали слишком явный и решительный характер.

Теперь обстоятельства переменились. Согласитесь сами: рука, начертавшая бессмертные страницы «Непризнанной Индейки», могла ли унизиться до того, чтоб принимать подаяние? Нет, ни в каком случае! Аполлон Егорович не мог оставаться в Ханских Прудах в качестве проживальщика; это ни с чем не совместно. Присоседиться, например, хоть к Василькову и жить на его счет в качестве друга – это совсем другое дело. В этом последнем положении авторское и вместе с ним человеческое достоинство Аполлона Егоровича не находило для себя вовсе ничего предосудительного.

Переходя постепенно от одной светлой мысли к другой, Аполлон Егорович заключил уже весьма основательно, что ему не будет стоить никакого труда уговорить Василькова избрать местом жительства губернский город, как вдруг Васильков показался в дверях кабинета, и Дрянков полетел к нему навстречу.

В исполинских глазах Порфирия Павловича проглядывало на этот раз такое решительное намерение выскочить из своих впадин, и лицо его выражало столько испуга, что Аполлон Егорович счел непременною своею обязанностью схватить друга за руку и спросить: что случилось?

Порфирий Павлович не отвечал; он ограничился выразительным пожатием руки и повлек Дрянкова через коридор на противоположный конец залы. Тут Порфирий Павлович остановился и, убедившись хорошенько, что слова его не могут быть услышаны Аристархом Федоровичем, обратился лицом к двери кабинета и произнес взволнованным голосом:

- Так-то вы покупаете имение?., а? Так вот как покупаете вы имение!., - заключил он, вращая со зловещим видом своими зрачками.

- Что случилось?.. Я заранее смущен, - проговорил Аполлон Егорович, - ты знаешь, какое участие принимаю я в этом деле... Говори скорее...

- Ужасно!.. ужасно! Ах, я никогда не ожидал этого от Аристарха Федоровича... я считал его своим благодетелем! - воскликнул с трогательным отчаянием Васильков.

- Напрасно! я всего ожидал от него; от него все станется... Говори скорее!

- Ох, пойдем в твою комнату, все расскажу! - простонал сердобольный Васильков, между тем как лицо Дрянкова выражало высшую степень тревожной раздражительности.

- Ну? - произнес Аполлон Егорович, когда оба они очутились под лестницею, в комнате проживальщиков.

- Я просил у него деньги за Сусловку.

- Ну?., - повторил нетерпеливо Дрянков.

- Он на это вынимает из ящика какие-то бумаги... Смотрю... ох, что ж бы ты думал?

- Ну?..

- Списки: на извозчика дано Василькову такого-то числа столько-то, на театр столько-то, на платье столько-то, в Троицком трактире за обед столько-то... Ох, мог ли я думать!

- Вот новость! - произнес Дрянков, сжимая кулаки и стискивая зубы, - да ведь не сам ли он таскал тебя в Троицкий трактир?..

- Кто бы мог это думать! - снова простонал Васильков, - я верил в его дружбу... Поверишь ли, все пересчитал, все, все до копейки... всего шесть тысяч... Остается мне получить за Сусловку две тысячи...

- Ну?..

- Сказал, что теперь денег нет, что на днях отдаст, а покуда, говорит, живи у меня в Ханских Прудах.

- Плут!

- Ох, не говори! Просто, просто, душа моя, меломан какой-то...

- Нет, - воскликнул Дрянков, яростно взъерошивая волосы на голове своей, - нет, Порфирий! ты не должен оставаться минуты в этом доме... Я также не останусь и поеду с тобою...

- Я тоже думаю, - произнес убитым голосом Порфирий Павлович, - Бог с ним! Поедем к барышням Кокуркиным: они меня всегда любили... Боже мой, Боже мой! что со мной будет? Как покажусь я теперь Антониночке и Фанагории Петровне! - заключил Васильков, дико блуждая глазами.

- Зачем же тебе им показываться? Решительно незачем. Ведь ты не хочешь примириться с женою, не хочешь? Ты сам говорил мне это... Полно, братец, полно в самом деле плясать под дудочку Карачаева... и что такое? какое, наконец, имеет он право?.. Итак, ты сейчас же едешь к Кокуркиным. Ты не ошибся в них: они в самом деле тебя любят; там найдем мы покуда приют и убежище. Ты знаешь, Карачаев к ним не ездит... А ты, - примолвил Дрянков, обращаясь неожиданно к двери с поднятыми кулаками, - о, погоди, ханжа и благотворитель рода человеческого! ты еще поплатишься!

Заключив эту сентенцию энергическим жестом, Аполлон Егорович представил своему другу всю необходимость покинуть Ханские Пруды до возвращения Карачаева. На этом основании, с обеих сторон решено было отправиться как можно поспешнее и, главное, отправиться тайком, чтоб не было малейших следов побега и Карачаев не мог бы никоим образом отыскать их временного убежища.

Часа за три до обеда в Ханских Прудах не было уже помину о двух приятелях.

Васильков, конечно, и сам не подозревал того неприятного и вполне затруднительного положения, в какое поставил он Аристарха Федоровича неуместною своею просьбою о выдаче денег за Сусловку. Всякому мало-мальски образованному человеку известно уже в совершенстве, что такие просьбы даже при самых благоприятных обстоятельствах должника не имеют сами по себе ничего особенно привлекательного, способного пробудить в человеке хорошее расположение духа. Все это справедливо в высшей степени и подтверждается как нельзя лучше бесчисленным множеством должников, которые из опасения, вероятно, утратить игривое расположение духа дали себе раз навсегда честное слово никогда не платить своих долгов. Не следует думать, однако ж, чтоб Аристарх Федорович Балахнов принадлежал к числу таких джентльменов. Во все продолжение этого длинного и вполне утомительного рассказа нами управляла одна лишь истина, и благородное чувство это заставляет нас сказать, что Аристарх Федорович не мог принадлежать к вышеупомянутым джентльменам, во-первых, уже потому, что, живя постоянно в деревне, во многом должен был отстать от просвещенного века. Шутки в сторону, Аристарх Федорович, в самом деле, не мог удовлетворить требованиям Порфирия Павловича. Предоставляю дело это на ваше собственное усмотрение.

Если до сих пор в сердце вашем не возникло никакого сомнения насчет того, что через три недели должны непременно начаться губернские выборы, вы, конечно, согласитесь, что из семи тысяч, находящихся теперь в кармане Аристарха Федоровича, шесть, по крайней мере, должны быть употреблены на то, чтоб поддержать себя достойным образом в губернском городе, где следовало происходить выборам. Хорошо.

Теперь второе: следовало ли Аристарху Федоровичу до выборов задать обед и блистательный праздник тем соседям, которые имели счастие стоять под его знаменами, или не следовало задавать? Конечно, следовало; это указует даже здравая логика, как лично выражался сам великий человек из Горшкова. Из этого явствует, что Балахнов, имея всего семь тысяч, никаким образом не мог и даже не должен был удовлетворять Порфирия Павловича. Ничтожные смертные должны всегда сторониться и давать дорогу великим людям!

Так думал, впрочем, сам Аристарх Федорович, и с этой стороны не может быть никаких возражений.

Вместив в дипломатической голове своей статью об обеде и блистательном празднестве, Аристарх Федорович заперся в своем кабинете и написал до пятидесяти пригласительных писем, которые отданы были на другой день Моисею Акишеву с поручением развезти их как можно скорее по назначению.

Мешкать было нечего; обед и празднество назначались через неделю, и до того времени Аристарху Федоровичу следовало еще навестить Старобельского, Кормонолия Семеновича Бирюкова и других тузов, с которыми читатель познакомится в следующих главах.

X
Непредвиденное обстоятельство сталкивает Аристарха Федоровича с такими лицами, о которых он вовсе даже и не думал

Аристарх Федорович написал весьма скоро пригласительные письма на обед и празднество, долженствовавшие окончательно привлечь на его сторону большую часть обывателей Горшковского уезда и этим самым доставить ему верный способ восторжествовать на предстоящих выборах над толпою. Развивая и соображая в душе своей все стороны этой истинно высокой цели, он решился начать как можно скорее свои визиты. Надлежало еще вернуться заблаговременно домой, успеть распорядиться с обедом, обдумать речи, в которых при существующих обстоятельствах каждое слово должно будет иметь свое значение, и вслед за тем, по окончании обеда и празднества, успеть явиться вовремя в губернский город.

Утром, на третий день после своего приезда в Ханские Пруды, неутомимый дипломат снова сидел в дорожной коляске.

Сидор, восседавший, по обыкновению, на козлах рядом с молодчиком-кучером, распевавшим «Не бе-лы-та снеги!», не отрывал глаз от колеи, боясь пропустить как-нибудь невзначай поворот с большой дороги на проселок, который должен был привезти его барина к Старобельскому, предмету настоящего путешествия. Невзирая на страшную грязь и слякоть, Аристарх Федорович ехал очень скоро. Убаюканный сначала национальной песнью кучера, потом собственными своими грёзами, он весь ушел мало-помалу в беспредельную глубину собственной души своей. Прикутавшись почти с головою в енотовую шубу, забившись в мягкий угол экипажа, он мысленно созерцал страшную уездную драму, в которой готовился играть главную роль – роль триумфатора, и при этом умственный взор его, подобно орлу, носящемуся на высотах недосягаемых, окидывал одним разом бесконечную панораму Горшковского уезда с его деревнями, лесами, реками, помещичьими домами, усадьбами и дорогами, как столбовыми, так равно и проселочными...

И кто бы мог подумать, взглянув издали на коляску Аристарха Федоровича, мелькавшую чуть видною точкою посреди темных необъятных полей, кто бы мог подумать, что эта ничтожная точка вмещала в себе человека, мысли которого были между тем так возвышенны, колоссальны и могучи?.. Никто не был в состоянии даже подозревать этого. В доказательство приведем несколько суждений прохожих, которые, к

сожалению, были единственными свидетелями проезда великого человека: то были по большей части каменщики, шерстобиты и плотники, возвращавшиеся с заработков восвояси. Все они при виде коляски, нырявшей поминутно в лужах и котловинах, останавливались, смотрели ей вослед с недоумевающим видом, указывали на нее пальцем и начинали следующую беседу: «Глядь-кась, ребята, никак ведь вон это барин едет...» – «Кому же и быть? вестимо, барин!» - «Эх вы, догадчики! догадливы больно - барин! Нужда его какая неволит разве тащиться по эвтакой дороге!.. Вишь: стыть, грязь, сиверка... барин! Должно быть, купец какой запоздал, сердечный, с товаром». – «Ан барин!» – «Ан нет!» - «Ан барин!» - «Ан нет!» - «Полно, дядя Федосей, ну чего ты глотку-то дерешь неразглядемши; ты погляди: вишь и кучер на козлах, и человек должно быть господский, да и экипаж-то барский!..» – «И то, ребята - обознался маленько!» - «Вот так уж подлинно, братцы, охота пуще неволи!» - замечал другой, - небось ведь вот и вотчина чай есть, и дом, и угодье всякое... Эх, был бы я барин, да меня, кажись, ничем бы сюда теперь не заманили; стыть, грязь! Подлинно охота пуще неволи! Сидел бы дома на лежанке; тут барыня ходит красовитая такая... прислуга тебе всякая... чего бы, кажись, еще надоть? А то вон, вон, погляди-тка, братцы, - вон, насилу лошади тащат; того и смотри, шину оставит, либо сядет по ступицу... Ну уж подлинно, ребята, как перед Богом: охота пуще неволи!..». Таким же почти образом толпа объясняет себе или обсуживает грандиозно-сложные замыслы великих людей! Жалкие смертные! Жалкие суждения!.. Впрочем, что толковать об этом! Общий удел великих людей – быть непонятыми... Коляска между тем давно уж свернула с большой дороги и ехала проселком. Тут нить размышлений Аристарха Федоровича, до сих пор строго последовательная, стала прерываться чаще и чаще по случаю страшных, окончательно нестерпимых толчков, претерпеваемых коляской, и вслед за тем, по естественному закону отражения, самой особой Балахнова. Были минуты, когда коляска ложилась набок, заставляя Аристарха Федоровича принимать почти горизонтальное положение; были минуты, когда коляска подпрыгивала, неожиданно опрокидывалась на другой бок и перебрасывала Аристарха Федоровича в противоположный угол с такою быстротою, что он не успевал ухватиться руками за фартук - обстоятельство, причинявшее каждый раз дипломатической голове его сильную контузию. Являлись опять-таки минуты, в которые коляска принимала такое сильное наклонение вперед, что знаменитый путешественник принужден был упираться со всею силою ногами, чтоб не покатиться на дно кузова. Раз даже он выглянул из-под кожаного фартука, чтоб лично убедиться в степени справедливости слов Сидора и кучера, уверявших, будто они точно едут по дороге. Аристарх Федорович убедился, что они точно ехали по дороге. Коляска только что миновала последние избы какой-то деревушки и приближалась к маленькому и невзрачному господскому дому, который с тоскливым видом гляделся в пруд. Дорога проходила подле самого дома. Окинув быстрым взором окружавшую местность, Аристарх Федорович мгновенно откинулся на дно коляски, опустил фартук, приказал остановиться и подозвал камердинера.

- Что это такое? Это, кажется, Тросновка?.. - торопливо спросил Аристарх Федорович.

- Тросновка, сударь; та самая, где изволят жить Фукол Иванович, - отвечал Сидор, приподымая шляпу, украшенную галуном.

- Фу! я и забыл совсем, что придется проезжать мимо... Дорога идет, кажется, подле самого дома?..

- Так точно-с, поедем мимо самых окон... Прикажете остановиться?

- Олух! я затем приказал остановиться, чтоб сказать тебе, чтоб проехать мимо дома как можно скорее. Вели гнать во весь дух; а если случится, что узнают коляску и побегут в догоню - сказать, что едете одни. Ступай!

Сидор надел шляпу и сел на козлы.

- Гей, гой! Ох, вы соколики! У-у! - залился лихач-кучер - и коляска понеслась во весь дух.

Аристарх Федорович между тем высунул голову из енотового воротника и, приложив глаз к щели кожаного фартука, глядел с презрительно-сострадательным видом на приближавшийся домик; выровнявшись с окнами, в которых мелькнуло тотчас же несколько любопытных голов, он снова откинулся в угол и, утонув в шубе, подумал:

«Жалкие создания! зачем вы существуете? Бремените только мать сыру-землю, да небо коптите!.. Где цель земного бытия вашего?.. Ничтожество!

Вам чувств высоких не дано
От колыбели до мог-л...».

Но Аристарх Федорович не докончил; внезапно раздался треск: колесо с обломанным концом оси отлетело в сторону, коляска грохнулась оземь и выбросила своего величавого владельца в грязную лужу, против самых окон невзрачного домика.

Одни великие сверхъестественные события, как, например, измена Кошкина или потеря долины в состоянии были потрясать могучий дух Аристарха Федоровича, или возмутить величаво-стройный поток мыслей в дипломатической голове его; но час бывает не ровен: на этот раз произошло какое-то особенное исключение, потому, может статься, что быстрота и неожиданность падения не дали ему возможности сообразиться с мыслями и овладеть собою.

Аристарх Федорович быстро прыгнул на ноги, еще быстрее окинул взором окна дома, выпрямил грудь, но, не встретив уж никого в окнах, повернулся к ним спиною и, бешено заскрежетав патентованными зубами, взглянул на окружавшие его предметы.

Коляска с отломленною заднею осью неуклюже лежала в грязи; мигач-кучер барахтался в постромках, стараясь удержать лошадей, которые исчезали в клубах седого пара и наполняли воздух нетерпеливым храпом и фырканьем. Сидор, оконтуженный со всех возможных сторон и ошеломленный, вдобавок, исполинским скачком, стоял без шляпы, дико хлопал глазами, полузалепленными грязью, и с недоумевающим видом разводил руками. Тросновские мужики, бабы, ребятишки и дворовые люди сбегались со всех концов и становились полукругом позади коляски, наподобие того, как это делает в театре свита Фортинбраса, или римские трибуны к то время, когда на авансцене совершается какое-нибудь кровавое дело.

Картина поразительная, достойная кисти великого мастера и, пожалуй, даже самого Калины!

Первым движением Сидора, когда он пришел в себя, было броситься к барину и освободить его, помощью ладони, от толстых слоев грязи, облипавших его гордую грудь и темно-зеленые панталоны. Все это было делом одной секунды; но и секунды этой достаточно было Аристарху Федоровичу, чтоб вполне овладеть собою.

- Сидор! - сказал он после того, как камердинер снова вооружился своей шляпой, а обступившие люди решились, наконец, поставить на ноги кучера, - сейчас же найми у здешних мужиков подводы, вели увязать на них коляску и немедленно отвези ее в Ханские Пруды. Как приедешь, распорядись, чтоб тотчас же сварили ось, а завтра утром быть здесь с коляской. Дома скажите, что я, слава Богу, здоров и невредим. Благодарите Творца: одно небесное милосердие могло избавить нас от гибели. Благодарю! - заключил Аристарх Федорович, обращаясь к обступившему его народу.

Тут он обратил снова величественное лицо свое к дому и, заметив в одном из окон какую-то фигуру, поспешил выпрямить грудь и послать рукою приветливый знак, выражавший, чтоб о нем не беспокоились, что он, слава Богу, здоров и невредим.

Затем, снисходительно улыбаясь направо и налево, побрел он ровным шагом к маленькому крылечку, которое устроено было в переднем углу здания.

Крылечко, сени, равно как и весь дом Фукола Ивановича казались заплесневелыми от старости и сырости; но Балахнов не обратил на это никакого внимания: он входил в дом бедного человека и, следовательно, думал только о том счастье, какое доставит его посещение скромным жителям убогого жилища.

При входе в переднюю глазам Балахнова предстала следующая картина: босая девчонка в затрапезном платьишке, с головою, встрепанною как старый веник, стояла подле конника и употребляла неимоверные усилия, чтоб разбудить коренастого парня. Парень сидел как турок, поджав под себя исполинские босые ноги; свесив на грудь голову, украшенную белокурыми волосами, он спал крепким сном; темновато-бурая рубашка и желтоватые нанковые панталоны составляли одежду заспанного детины; черные нитки, переброшенные через его шею, ножницы, игла в левой руке, лохмотья, разбросанные вокруг, турецкая поза и, наконец, наперсток, сверкавший на пальце правой руки, свидетельствовали красноречиво, что парень занимался весьма успешно портняжным искусством.

Как только Аристарх Федорович показался в передней, девчонка отскочила от конника и с оторопевшим видом пустилась в бегство.

Гость посмотрел направо, посмотрел налево, потом, потеряв, видно, терпение, толкнул парня и сказал:

- Любезнейший!

Парень тряхнул волосами, поднял голову и устремил на гостя мутный взор, исполненный глубочайшей меланхолии.

- Любезный, проснись! пора! - повторил Аристарх Федорович, послав вторичный толчок.

Парень тряхнул волосами, спустился с конника и принялся освобождать гостя от шубы.

- Дома Фукол Иваныч? - громко спросил Балахнов, обращаясь преимущественно к особам, которые, по всем соображениям, должны были находиться в дальних покоях.

- Никак нет -с, - пролепетал парень, не успевший еще прийти в полное сознание.

- Где же он?

- Не могу... о-о-о... не могу знать! - отвечал парень, прислоняя ладонь ко рту.- Барышня дома, да молодая барыня дома...

- Ольга Фуколовна? - спросил Балахнов.

- Да-с, они, - отвечал парень и отворил дверь в залу.

Комната, в которую вступил Аристарх Федорович, была немногим больше прихожей: два окна на известную уж дорогу, два окна на двор и сараи. Крошечные эти окна о четырех стеклах украшались, однако ж, гардинами: одна половина окна задрапировывалась красным камлотом, другая – миткалем; стрелки не доходили до верхней части окон и оставляли между гардинами и верхним косяком изрядное пространство, сквозь которое можно было любоваться плаксивым небом - обстоятельство, заставлявшее предполагать, что в общей сложности недостало нескольких аршин камлота; оно, в самом деле, так и было; многие особы советовали дочерям Фукола Ивановича раздрапировать окна миткалем, которого находилось у них вволю, но дочери Фукола Ивановича, проникнутые, с одной стороны, явною необходимостью следовать моде, воодушевляемые, с другой стороны, примером богатых соседей, поставили на своем и украсили окна дешевеньким пурпуром. Как бы там ни было, пурпур этот, хотя дешевенький, производил, в совокупности с другими предметами комнаты, такой же точно эффект, как желтые франтовские перчатки на ободранном нищем; красные занавески и рядом с ними прокиснувшие стены, черные картинки в черных рамках и закоптелый треснувший потолок, ощеливавший драньe, производили на вас впечатление тех франтов с Невского проспекта и Тверского бульвара, которые, невзирая на то, что судьба даровала им косую рябую физиономию и щетинистые рыжие волосы, кокетливо повязывают на шею щегольские ярких цветов галстуки. Из картинок сохранилась та только, на которой изображалась груша в учетверенном виде; внизу можно было явственно различить подпись: «груша бон-кретьен». Ко второму окну, налево, примыкало огромное старомодное кожаное кресло: подле столик; на нем кружка, покрытая конвертом, футляр очков, зеленый глазной зонтик домашнего изделия; на окне шерстяной

колпак, календарь, пузырек с чернилами и бумажка с горкою сушеной малины – это любимое место Фукола Ивановича. Весь угол позади кресел оклеен синей сахарной бумагой для предохранения старческой головы хозяина дома от сквозных ветров и ревматизма. На небольших столиках, расположенных против других окон, возвышаются горки пробного овса, гречихи, ржи и кукурузы; мебель состоит из кожаных стульев с высокими полуобломанными спинками; тут лепится также длинный диван, обитый кожей и утыканный когда-то гвоздями с медными головками, но гвозди теперь все почти уж выпали и на месте их представляются отверстия.

Кроме всех этих предметов, в комнате находился еще высокий молодой человек, лет двадцати. Его бледные длинные волосы, зачесанные к вискам и заложенные за уши, открывали крошечное болезненное лицо без всякого определенного содержания. Юноша был, казалось, в сильном волнении и курил из черешневого чубука, такого же длинного и сухощавого, как ноги его владельца, прикрытые клетчатыми панталонами со штрипками и в обтяжку.

Молодой человек был свидетелем несчастного падения; он видел также, как Аристарх Федорович направился к дому и, следовательно, ожидал с секунды на секунду появления в зале, но со всем тем при виде Балахнова смутился и обнаружил даже сильную робость.

- А, мсьё Иванов, здравствуйте! - сказал Аристрах Федорович ласково-покровительственным тоном, между тем как юноша неловко расшаркивался, - здравствуйте! Получил сейчас скорбное известие о том, что почтеннейшего и премногоуважаемого Фукола Иваныча нет дома; сожалею, весьма сожалею!..

Тут Аристарх Федорович поспешил улыбнуться и продолжал:

- Если не ошибаюсь, вы, кажется, не узнаете меня, мсьё Иванов? Стыдно, молодой человек, стыдно! А я так вас помню, помню очень хорошо; помню, как вы были еще вот этаким, - примолвил он, показывая на аршин от полу и прислушиваясь чутким ухом к возне и шелесту туго накрахмаленных юбок, раздававшемуся за соседнею стеною. - Ну, так как же вы думаете, молодой человек, кто я такой, а? - заключил Балахнов, становясь перед юношею и пристально всматриваясь в его лицо.

- Как же-с... я помню-с... вы... Аристарх Федорович Балахнов... - проговорил застенчивый юноша таким глухим голосом, как будто во рту у него была каша.

Вместо ответа Аристарх Федорович протянул ему с театральною пантомимою руку.

В эту самую минуту дверь из залы в другие комнаты отворилась и, выпустив молодую даму среднего роста, быстро захлопнулась, наподобие театральных дверей, которые, как известно, захлопываются так скоро единственно для того, чтоб скрыть от взоров публики хлам, наполняющий заднюю часть сцены.

Молодая дама, появившаяся так неожиданно, представляла из себя довольно миловидную особу и могла бы с большим успехом привлекать взоры каждого, если б страшное количество туго накрахмаленных юбок, воздымавшихся и качавшихся наподобие воздушного шара, готового пуститься за облака, не безобразило ее стройного стана; лицо ее, оживлённое парою голубых глаз, приподнятых несколько к небу, - как будто она в самом деле следила за воздушным полетом юбок в заоблачные пространства, - могло бы также быть очень мило, если б не мешала этому неуклюже-фантастическая прическа, состоявшая из маленьких буколь и локонов, подобранных к вискам.

Дама была не кто иная, как старшая дочь Фукола Ивановича, вышедшая три года тому назад замуж за помещика Чибезова.

- Мсьё Балахнов, ах, Боже мой! - воскликнула она с таким изумлением, как будто вовсе не ожидала, не думала и не гадала застать гостя в зале, - какой счастливый случай доставляет нам удовольствие видеть вас у себя? Боже мой, Боже мой! как быстро летит время! Давно ли я была еще ребенком... а теперь!.. Сколько лет, сколько зим мы с вами не видались! Как мило, как любезно с вашей стороны...

- Сударыня, - перебил Аристарх Федорович, раскланиваясь с той светской непринужденностью, которая была ему так свойственна, - не случай привел меня к вам, нет, не случай, сударыня, а сама судьба предугадала, так сказать, живейшее стремление моего сердца... Сегодня утром я сел в коляску и приказал кучеру дать волю лошадям: пусть, сказал я, везут они меня туда, куда влечет меня мое сердце... Мы прискакали прямо к вашему дому; против ваших окон коляска моя разбивается вдребезги - и я благословляю судьбу, даровавшую мне случай пожать вам ручку... - заключил он, приводя в действие слова свои. Желчь и бешенство Аристарха Федоровича имели похвальное свойство мгновенно утихать в присутствии хорошеньких образчиков прекрасного пола и нередко вели за собою потоки цветистых фраз, исполненных обворожительной любезности. Так грозные бури величественных южных морей, утихая при первых лучах ясного солнца, быстро уносят седые свои волны от берега, усыпая его драгоценными серебристыми раковинами...

- Ах, Боже мой, коляска ваша сломалась! Что я слышу! Вы упали, ушиблись, может быть? - воскликнула с испугом молодая дама; но, успокоенная Балахновым, который просил приюта на эту ночь, она подхватила скороговоркою: - Боже мой, что вы говорите: приюта! Как вам не стыдно, г. Балахнов! Весь наш дом к вашим услугам... А каково! папеньки-то нет, как назло! Представьте, уехал сегодня утром; он будет в отчаянии...

- Благодарю. Кстати, как его ноги? - с трогательным участием спросил Аристарх Федорович.

- Благодарю вас, г. Балахнов. Ноги его в том же почти безнадежном положении и, представьте, со всем тем, он не перестает хлопотать, ездить, беспокоиться! Вот сегодня, например, мы все упрашивали его остаться дома - нет, не послушал, поехал, и как бы вы думали, зачем? Верстах в двадцати от нас живут два несчастные соседа: Свищов Кондей Иваныч, и Полушкин Прокл Иваныч; впрочем, вы их знаете; Свищов и Полушкин опять поссорились - это случается с ними каждый день, как вам известно; ну и пусть бы их - так нет, папенька, узнав об этом, тотчас же поехал мирить их, а сам, поверите ли, все эти дни жаловался ногами и ревматизмами... Услышав о его положении, я и муж нарочно приехали из деревни навестить его; и что ж? при всем нашем старании не могли удержать его не ездить к Свищову; он как будто дал, право, какой-то обет примирять всех ссорящихся и готов, кажется, лишь бы достигнуть своей цели, не щадить собственного своего здоровья...

Молодая дама проговорила все это без одышки и не чувствуя, по-видимому, ни малейшей усталости. Все это происходило единственно из привычки, из старания поддержать репутацию любезной дамочки, репутацию, полученную в первый же месяц замужества; она болтала без умолку и, проболтав таким образом три года сряду, язык ее естественным образом дошел уж до того, что не чувствовал ни малейшего утомления.

- Ах, Боже мой! я, однако ж, заболталась, - сказала она с неподражаемою наивностью, - я забыла представить вам моего кузена, мсьё Балахнов; мой cousin, Ваничка Иванов.

- Мы уж знакомы, - отвечал Аристарх Федорович, вторично протягивая руку застенчивому юноше, - я знал его еще вот этаким, - примолвил он, улыбаясь и снова приподымая руку на аршин от полу.

- Ах, и в самом деле! вы должны были видеть его у тетушки Пульхерии Андреевны! Помните тетушку Пульхерию Андреевну, мсьё Балахнов? какая была милая, любезная, ласковая, приветливая старушка!.. А вот, мсьё Балахнов, сестра моя Любочка: вы также должны помнить ее еще ребенком... - произнесла Чибезова, обращаясь к двери.

- Помню ли я ее, господи твоя воля! чуть на руках не носил! - воскликнул Аристарх Федорович, стараясь придать лицу своему восторженное выражение и протягивая обе руки восемнадцатилетней брюнетке с зеленым лицом, одетой в черное коленкоровое траурное платье. - Боже, как переменилась, похорошела! - продолжал великий

горшковский муж, пожимая пухленькие руки девушки, которая приседала. - А помните ли, как у тетушки вы подбегали ко мне и говорили: «дяденька, дай конфетку? а? ха, ха!..».

Девушка зарделась, сказала: «помню-с» и отошла к окну.

Аристарх Федорович заметил взгляд, которым обменялись зеленоватая брюнетка и ее троюродный братец, заметил, как мгновенно оживился юноша, и заключил тотчас же, что оба они должны были быть неравнодушны друг к другу. Он никак только не мог понять причины, побудившей молоденькую девушку, надеть траурное платье.

Ольга Фуколовна сообщила между тем Аристарху Федоровичу, что остальные ее сестры: Соничка, Лидочка и Верочка, которых он должен был точно так же помнить детьми, уехали гостить к одной соседке, и пригласила гостя занять место в больших креслах; но гость отказался, сказав, что это место принадлежит ей по праву, как хозяйке, и поспешил взять стул.

Слушая с подобающим вниманием несмолкаемую болтовню хорошенькой Чибезовой, Аристарх Федорович не пропускал, однако ж, случая бросать украдкой взгляды на зеленую брюнетку и ее кузена. Он заметил, что оба они сначала как будто дулись друг на друга; молоденькая девушка часто отворачивалась к окну, причем на лице кузена проступали каждый раз признаки глубокого отчаяния; мало-помалу черные глаза девушки стали чаще и чаще обращаться к кузену, который начал постепенно обнаруживать признаки восторженного состояния; потом оба вдруг повеселели, придвинули друг к другу стулья и стали шептаться; потом Аристарх Федорович увидел, как девушка приподнялась неожиданно со своего места, вышла из залы, и как пять минут после того снова вернулась в залу, но уж в розовом коленкоровом платье.

Невинные эти маневры, приводившие на память Аристарху Федоровичу ту блаженную эпоху, когда он был еще юношею, страдал и влюблялся, занимали его в высшей степени, и, увлеченный такими воспоминаниеми, он, без сомнения, продолжал бы оставаться глухим слушателем любезной своей собеседницы, если б речь ее не зашла случайно о предмете, действительно достойном интереса.

- Представьте себе, мсьё Балахнов, - сказала неожиданно словоохотливая Ольга Фуколовна, - представьте, старший брат Кормонолея Семеныча Бирюкова, Изосим Семеныч, умер...

- Может ли быть? - воскликнул Аристарх Федорович, обнаруживая на этот раз в своем голосе и движениях неподдельное участие.

- Серьезно. Что ж тут удивительного? человеку было за восемьдесят. Мне сказывали об этом барышни Кокуркины... они все знают... Ах, кстати, вы знаете, у них послезавтра вечеринка, по случаю именин Веры Андреевны; вы получили приглашение, но, должно быть, разъехались с посланным; сегодня утром он поехал от нас прямо к вам...

- Когда умер Изосим Семеныч, вы знаете? - спросил Аристарх Федорович с необычайною живостью.

- Третьего дня... Я, впрочем, признаться, не очень его жалею; хоть это и грех, но что же делать!.. Он, говорят, был такой скряга, фи! Представьте, мне сказывали, что когда он умирал, это было ночью, и подали свечку - он сказал, чтоб затушили скорей свечку, что можно умереть и без огня... Фи, фи, какой гадкий!..

«Слава Богу, я не опоздал на похороны; они, по всем вероятиям, будут происходить завтра!» - думал между тем Аристарх Федорович, продолжая улыбаться собеседнице.

Развивая мысль о том, что в настоящем расстроенном положении Кормонолея Семеныча легче будет на него подействовать, склонить на свою сторону и уговорить ехать в губернский город на выборы, великий дипломат решился отложить визит к Старобельскому и ехать завтра же утром к Бирюкову.

«Сверх того, по случаю похорон к Бирюкову, верно, съедется много народа, и авось удастся затащить кого-нибудь на обед и празднество, а там человек мой – не отвертится!» - заключил мысленно Аристарх Федорович, озаренный потоком счастливых мыслей.

С этой минуты речь Аристарха Федоровича закипела живым ключом, и любезность его приняла характер самый игривый и обворожительный. Он не роптал уж на судьбу, забросившую его в домик жалких смертных.

Оставшись наедине с застенчивым кузеном (Ольга Фуколовна и ее сестра покинули залу под тем предлогом, будто следовало им сделать распоряжение касательно чайной церемонии), Аристарх Федорович приподнялся со своего места, подошел к юноше и, потрепав его дружески по плечу, сказал с веселым видом:

- Ну, так как же, молодой друг мой? не думаем ли мы поехать на предстоящие выборы - а?..

- Я бы очень хотел-с...

- Желание похвальное! Вашу руку, молодой человек! В нынешний век не во всех молодых людях найдешь такое благородное стремление... К тому же вы, если не ошибаюсь, имеете право на один голос... Ведь у вас, кажется, помнится мне, сто душ?

- Нет-с, тридцать...

- Ба! - воскликнул Аристарх Федорович, значительно осматривая юношу и потирая переносицу, - ну, да что до этого. Была бы охота ехать. Мы можем устроить следующее: я соберу двух-трех молодых людей, у которых одинаковое с вами состояние, составится в сложности душ сто, и тогда выберем из вас представителя этих ста душ, который будет иметь право на один голос... Я вам обещаю: вы будете этим представителем... Лестное назначение для молодого человека ваших лет!.. А вот что: приезжайте-ка ко мне в будущую пятницу обедать; мы переговорим об этом; ручаюсь, что вам будет очень весело; хорошеньких – гибель... Ведь мы любим хорошеньких – а? Ну, так по рукам - и пятницу? - заключил Аристарх Федорович, похлопывая по руке юноши с неописанным добродушием.

- Очень приятно-с, - отвечал юноша таким печально-расстроенным тоном, который невольно высказывал, что он снова поссорился со своей кузиной.

Такое предположение не замедлила подтвердить молоденькая кузина, появившаяся в эту минуту в дверях с грустно нахмуренным лицом; траурное платье, снова заменившее место розового, не оставляло в этом уж ни малейшего сомнения. В то же время на пороге показалась Чибезова, и зала, на минуту спокойная, снова наполнилась несмолкаемою болтовнею, перебиваемою время от времени веселым смехом именитого гостя.

Пять минут спустя встрепанная девчонка, будившая заспанного парня, поставила на стол свечи – обстоятельство, тотчас же сообщившее мрачной комнате вид веселый и уютный. Вид комнаты сделался еще веселее, когда показался сам заспанный детина с огромным самоваром в руках, который пищал и шипел, пуская ему в лицо струи седого пара. Самовар поставлен на стол; заспанный детина удалился; маленькое общество под председательством Ольги Фуколовны расположилось вокруг стола. Во время этих приготовлений зеленая брюнетка успела повеселеть, а за ней, конечно, повеселел и застенчивый кузен. Затем снова явилось на сцену розовое платье. Аристарх Федорович лукаво подмигнул старшей сестре на молодую чету и засмеялся; засмеялась и старшая сестра; засмеялась, наконец, и молодая чета. Разговор сделался на минуту общим.

- Одно мне только очень неприятно, мсьё Балахнов, - воскликнула неожиданно Чибезова, - ужасно, ужасно неприятно: зачем нет теперь с нами моего Поля! Ведь надо же, право, было ему уехать!.. Такая досада!.. Мне просто плакать хочется!., - примолвила она, придавая своему лицу выражение детской досады.

- Мне кажется, кузиночка, он сказал, что вернется назад сегодня вечером, - робко пробормотал юноша.

- О, как бы я была счастлива! - наивно воскликнула Чибезова, возводя голубые глаза свои к потолку. - Но нет, нет, это мечта, одна лишь воздушная мечта!.. Он, верно, заигрался где-нибудь в карты… Представьте, мсьё Балахнов: поехал на два дня, и вот теперь пятый день не возвращается! Такой, право, гадкий! О, я ужасно, ужасно на него зла!..

- Сударыня, - сказал Аристарх Федорович, любезно наклоняя голову, - все мужчины таковы; они никогда не ценят тех благ, которые дарует им Провидение и, сверх того, они никогда не держат своих обещаний, что, так сказать, истина, аксиома, подтвержденная веками...

- О, нет, нет, мсьё Балахнов! прошу вас не нападать на моего Поля; мой Поль - исключение; он вовсе не похож на всех вас, мужчин, безжалостных эгоистов! - воскликнула Чибезова с детскою игривостью, - нет-с: мой Поль совсем не такой; мой Поль ангел! - примолвила она страстно, прижимая носовой платок к груди своей. - О, мсьё Балахнов! - заключила она восторженно, - что может быть возвышеннее, что может быть священнее того чувства, когда жена обожает своего мужа?

- Скажите лучше, сударыня, - вдохновенно произнес Аристарх Федорович, - что, вообще, может быть возвышеннее чувства любви; я разумею любовь в обширном значении этого высокого слова, любовь, - подхватил он, - чувство благороднейшее, святейшее из всех, вложенное Творцом в сердце человеческое:

А кто любил, кто был любимым,
Тот в свете сем недаром жил,
Недаром землю бременил!

Юноша пожал украдкою под столом руку своей кузины; Чибезова схватила руку Аристарха Федоровича.

- О, мсьё Балахнов, mercі, стократ mercі! ваши слова освежили мне душу. О, как вы хорошо понимаете чувства!.. Пожалуйста, не откажите мне... нет, вы не откажете, напишите мне в альбом все, что вы сейчас сказали...

Аристарх Федорович самодовольно улыбнулся и сделал глубокий молчаливый поклон.

Через минуту на столе явился альбом, величиною с ладонь, весь почти исписанный мелким почерком, испещренный сердцами, бабочками и жертвенниками; кузен поспешил поставить перед гостем скляночку с чернилами; Чибезова отыскала чистую страничку; маленькое общество тесно прижалось к именитому гостю и вперило любопытные глаза на белый лист альбома.

Аристарх Федорович провел рукою по высокому лбу, задумался, потом улыбнулся и начертал следующее незабвенное изречение:

Чувство любви!..

Любовь – чувство благороднейшее, святейшее из всех, вложенных Творцом в сердце человеческое – чувство, которое, как по всему видно, становится реже и реже в свете, которое, увы! вскоре будет пылать в сердцах только немногих избранных, а прочим известно будет лишь по сказаниям минувших веков. Предания и развалины священной старины, заветы родительские, игры детских лет, мечтания юношеские – все это истребляется тлетворным дыханием эгоизма, все поглощается гнусным расчетом, как цветущие города и села покрываются истребительною лавой, оставляющею на них по охлаждении ровную поверхность! Близкие наши потомки станут читать в книгах повесть о былом, незнакомом им веке Астреи; они не будут верить, чтоб он когда-либо существовал; другие станут осыпать его насмешками и клеймить презрением!.. Едва ли немногие избранные будут питать в сердце огнь священный! Но, может быть, все клонится к лучшему, только не для нас, запоздалых в мире гостей из протекших времен!..

Аристарх Федорович положил перо, глубокомысленным взором обвел присутствующих и задумчиво улыбнулся.

Альбом быстро переходил из рук в руки.

- Mercі, мсьё Балахнов, стократ mercі! - восторженно произнесла Чибезова, овладев в свою очередь альбомом. - Ах, как это очаровательно! - воскликнула она, прижав альбом к груди своей и делая несколько прыжков, - но, послушайте, мсьё Балахнов, теперь вы должны мне написать какие-нибудь стихи: я до страсти люблю стихи; это будет служить мне памятью нынешнего вечера...

- Мсье Балахнов, - робко произнес кузен, - кузина Лиза просит вас также написать ей какие-нибудь стихи.

- Пожалуйста... - сказала, краснея, кузина Лиза.

- Mesdames, я был бы очень рад, но, к несчастию, я не владею стихом, - отвечал приветливо Аристарх Федорович.

- Я вам не верю! - вымолвила Чибезова, кокетливо наклоняя голову.

- Серьезно...

- Ах, как это жаль! Представьте, мсье Балахнов, мой Поль – совершенно напротив: он решительно может только писать одними стихами! Стихи, между прочим, вы сами знаете, писать очень трудно; для этого нужно иметь особый дар. Сколько у нас известных писателей, которые не могут писать стихов! Сам Пушкин, говорят, писал стихи с ужасным трудом. А мой Поль - совершенно напротив: все это у него так легко, так непринужденно... Впрочем, и он может только писать по вдохновению... Знаете, иногда даже он меня пугает: вдруг просыпается посреди ночи; в глазах какой-то особый блеск. - «Ольга!» - говорит и, знаете, говорит как-то странно: «Ольга, говорит, „бери чернильницу, перо, бумагу, садись и записывай!». Сам закуривает трубку, начинает ходить по комнате, а стихи между тем так и льются, так и льются, поверите, едва-едва успеваю записывать! Иногда несколько больших страниц в полчаса... удивительный дар!.. Да вот чего же лучше, в этом альбоме есть много его стихов... Постойте, я вам покажу... вот, вот, смотрите!

Аристарх Федорович прочел:

Ты просишь написать в альбом!
Скажи, зачем? И для чего?
Поверь мне, в почерке немом
Не сыщешь ровно ничего!
Ищи ты в сердце лишь одном
Письмен живого вдохновенья!..

- Очень, о-о-очень мило! - сказал Аристарх Федорович.

- А вот это, мсье Балахнов, посмотрите...

Аристарх Федорович прочел:

Хоть и маленький домочек
Некрасив, да как же быть!
С тобой, милый голубочек,
Без забот можно прожить...

- Много чувства... - сказал Аристарх Федорович, перелистывая одну за другой странички альбома.

Внезапно лицо великого человека, сохранявшее до сих пор величавое спокойствие, проявило необычайное волнение: в глазах его засверкал огонь негодования: на одной из страничек альбома он явственно прочел ненавистную фамилию Окатова.

- Скажите, пожалуйста, Ольга Фуколовна, - сказал он, стараясь подавить волнение, - что это за Elise Okatoff? Не дочь ли это того Окатова, я разумею нашего соседа, который заклеймил свое имя бесчисленным рядом гнусных поступков?..

- Ах, да, мсье Балахнов, это та самая! То есть она уж теперь не Окатова, а Мурзи-Менасова... Мы воспитывались вместе в одном пансионе... Бедная, несчастная Elise!..

- Несчастная, говорите вы? Но отчего же она несчастная? - спросил Аристарх Федорович с таким живым участием, как будто Elise Мурзи-Менасова была сто раз его дочь.

- Да, мсье Балахнов, несчастнее ее нет женщины в свете. Родные ее, увлеченные тем, что она будет женою богача, выдали ее замуж за человека, который погубил ее... ужасная история!..

- Сударыня, - воскликнул Аристарх Федорович, - я нисколько этому не удивляюсь; от почтенного ее батюшки можно ожидать всего, что угодно... - заключил он, торжественно подымая руки.

- Если вас так интересует судьба моей подруги, - произнесла Чибезова, - я, пожалуй, могу сообщить вам всю ее историю... Мы до сих пор в переписке; на днях еще я получила письмо, в котором описывает она свое несчастие... О, это целый роман, ужасный роман!

Трудно описать волнение, овладевшее при этих словах Аристархом Федоровичем; нужна была вся сила его могучей воли, чтоб скрыть дикую радость, бушевавшую в величавой груди его: письма, облитые слезами несчастной Elise Okatoff, обратятся в руках Аристарха Федоровича в обоюдоострый кинжал, посредством которого он пронзит отцовское сердце Николая Степаныча! Аристарх Федорович благословил на этот раз судьбу, забросившую его в жилище жалких смертных.

Он взял письма из рук романической Ольги Чибезовой, и так как было уж около полуночи, то не замедлил вскоре остаться наедине в зале, которая предназначалась ему для ночлега.

Пять минут, проведенные заспанным детиной в укладывании перин на кожаный диван, в навьючивании подушек и раскладывании двухспального тяжеловесного одеяла показались Балахнову продолжительнее целой недели. Освободясь от одежды и убедившись хорошенько в том, есть ли щипцы и достанет ли свечки, он выслал парня, который без этого приказания не преминул бы повалиться на пол и тут же заснуть богатырским сном.

Аристарх Федорович придвинул свечку, пересмотрел числа и месяцы, означенные на письмах, привел их в последовательный порядок и с жадностью принялся читать драгоценные странички.

XI

Душевные качества Аристарха Федоровича заглушают в нем на время чувства злобы и ненависти. Он является утешителем страждущих и проливает с ними горькие слезы.

На другое утро Аристарх Федорович не вдруг воспрянул от сна, как это делают многие особы его пола, которые, как только придут в сознание, то тотчас же раскрывают глаза, сбрасывают одеяло, вскакивают на ноги, зовут хриплым голосом человека и требуют сапоги или трубку. Пробуждение великого человека совершалось постепенно и во всем схоже было с усыплением накануне, когда после прочтения драгоценных писем отдался он наконец Морфею, убаюкивая себя сладостными грёзами верной мести. В физическом отношении пробуждение его было необыкновенно сладостно и весьма близко подходило к состоянию человека, которого оттаивают в теплой ароматической ванне. Глаза его оставались закрытыми, но улыбка бродила уже на тонких губах, выставляя напоказ сверкавшие оконечности зубов лучшей вагенгеймовской работы; высокое чело его было ясно, как майское утро; беспрерывное движение продольной морщины, помещенной немного выше бровей, показывало между тем, что восприимчивый ум великого дипломата успел уже приподнять все свои шлюзы и работал всеми своими шестернями.

Первой мыслью его было выпросить во что бы ни стало у Чибезовой письма несчастной Мурзи-Менасовой, второй мыслью: послать эти письма Николаю Степановичу. Какой-то великий знаток человеческого сердца, кажется, даже Ларошфуко, сказал следующее: «Человек находит какую-то тайную отраду в несчастии лучшего своего друга…». На этом основании следует заключить, что душа человеческая должна

чувствовать неизъяснимое наслаждение, коль скоро дело идет о несчастии злейшего врага. Это уж само собою разумеется.

Мысль о пересылке писем Окатову так живительно подействовала на Аристарха Федоровича, что он раскрыл глаза.

Первый предмет, поразивший его, был Сидор, который стоял в дверях, держа в одной руке круглую свою шляпу с галуном и кокардой, в другой – зеленый кожаный сак, вмещавший в себе кой-какие туалетные принадлежности, сопровождавшие всюду блистательного владельца Ханских Прудов.

- Что коляска? - спросил Аристарх Федорович.

- Готова-с.

- Надежна ли?

- Точно так-с.

- Да полно, так ли?

- Так точно-с.

- Что кучер?

- Слава Богу-с.

- А дома что? - спросил Аристарх Федорович, как бы спохватившись.

- Слава Богу-с.

- Успокоились?

- Так точно-с.

- Хорошо. Который час?

Сидор поспешил вынуть из бокового кармана серебряную луковицу, привешенную к бисерному шнурку бирюзового цвета, и сказал, что скоро девять.

- Давай одеваться! - вымолвил Аристарх Федорович, поспешно сбрасывая одеяло.

Напялив носки на ноги своего барина и набросив на его плечи халат, Сидор придвинул к нему стул с маленьким корытцем, игравшим в доме Фукола Ивановича роль таза, и принялся выкладывать на соседний стол разные предметы, заключавшиеся в саке. Затем он вооружился старым соусником, наполненным водою (несообразная тросновская дворня - так, по крайней мере, уверял Сидор - имела самое темное и сбивчивое понятие касательно умывальника), и оросил вельможные руки своего господина.

Во все это время заспанный детина стоял в дверях, следя с каким-то притупленным, полудиким любопытством за всеми этими приготовлениями. Но лишь только Аристарх Федорович взял со стола щеточку и приступил к чистке своих блестящих зубов, заспанный детина выступил вперед, раскрыл изумленные глаза и проявил в остальных чертах своего лица такое движение, как будто перед ним свершилось какое-то чудо.

- Что ты? - спросил Аристарх Федорович, показывая ему рот, наполненный углем.

- Оченно, сударь, занятно! чтой-то за диковинка, право! - отвечал парень, задумчиво качая головою.

- Что? разве ты не видал никогда зубных щеток? - смеясь, сказал Балахнов.

- Нет, сударь, не приводилось, - отвечал парень, подходя к столу, где разложены были щеточки, пилочки, и проч., и проч. - Что это за чудеса такие! Оченно, сударь, занятно! - примолвил он, прикасаясь пальцем к каждой вещи.

- Так, стало, ты в первый раз, любезный, видишь, как люди чистят себе рот? - смеясь, произнес великий муж.

- Впервые-с; не приводилось, - отвечал парень с любезностью, осклабляя зубы.

- Разве никто у вас здесь этим не занимается.

- Никто-с! - с уверенностью отвечал детина.

Весь этот разговор происходил вполголоса; но при последнем ответе заспанного парня Аристарх Федорович не мог уж выдержать и разразился тем густым хохотом, каким смеются обыкновенно люди солидные, когда бывают очень веселы.

Через четверть часа туалет великого мужа был кончен.

- Сидор, сказал он, - распорядись, чтоб через полчаса лошади были готовы; я выеду ровно в десять... Да расспросить хорошенько дорогу в Сычовку; я еду отсюда к Кормонолею Семенычу Бирюкову. Ступай!..

Сидор поспешил навьючить на плечи любознательного парня перину, подушки, халат и одеяло и, уложив в сак остальные предметы туалета, вышел исполнять приказание своего барина.

Как только зала с пурпуровыми гардинами представила свой обыденный вид, на пороге показался долговязый кузен Иванов.

- Как изволили почивать?., не беспокоили ли вас?., - промямлил юноша принужденным голосом.

- Благодарю! - сказал Аристарх Федорович, протягивая ему руку и заключая по отчаянно печальному лицу собеседника, что он, верно, успел уже поссориться с зеленолицей брюнеткой.

Черное коленкоровое платье брюнетки, неожиданно появившейся в эту минуту вместе с романтической Чибезовой, окончательно убедило его в этом предположении.

После обычных приветствий с той и другой стороны и после того, как Аристарх Федорович произнес краткий, но красноречивый монолог, в котором благодарил дочерей почтеннейшего и многоуважаемого Фукола Ивановича за радушие и гостеприимство, на столе снова появился самовар.

Маленькое общество расположилось пить чай. Госпожа Чибезова начала разговор прямо с писем подруги своей Мурзи-Менасовой; болтовня ее, вытекая на этот раз из обильного источника и приправленная, сверх того, воспоминаниями всякого рода, не дала ей возможности перевесть дух в продолжение целой четверти часа.

- Сударыня, - перебил, наконец, Аристарх Федорович, начинавший уже терять терпение, - я мужчина... и могу сказать, что достаточно владею своими чувствами; но письма эти... да, сознаюсь с обычною своею откровенностью, скажу с тою искренностью и прямизною, которые всегда отличали меня, письма эти исторгли из моих глаз горячие слезы... слезы участия и сострадания, и вместе с тем слезы ненависти... К чему лукавить? Да, скажу, слезы ненависти... и да падут они на голову презренного отца, погубившего из тщеславия свое собственное детище!.. Ольга Фуколовна, - промолвил он нежно-растроганным голосом и протянул при этом руку Чибезовой, - Ольга Фуколовна, у меня будет к вам большая просьба...

- О, говорите, говорите, мсье Балахнов!.. для вас я все готова сделать! - восторженно воскликнула романтическая дама, горячо пожимая руку великого мужа и устремляя голубые блестящие глаза на потолочные щели.

Аристарх Федорович ловко приступил к своей просьбе, развивая ту счастливую мысль, что, так как письма несчастной подруги представляют ряд поразительно трогательных картин, преисполненных глубоких назидательных мыслей, то ему хотелось бы прочесть их десять, двадцать раз для того, чтоб врезать, запечатлеть их навсегда в своем сердце. Как уже сказано, дипломатический мозг Аристарха Федоровича мог создавать и развивать в одно и то же время две совершенно противоположные мысли; развивая одну мысль явно, во всеуслышание, он мог без большого затруднения развивать умственно совершенно противоположную идею. В настоящем случае мысленное суждение Аристарха Федоровича было следующее: он возьмет у Чибезовой письма и сделает с них копию; подлинник отправит к Окатову, а копию препроводит Ольге Фуколовне при письме, в котором красноречиво и подробно изложит несчастный случай, уничтоживший подлинник посредством всесокрушающего пламени ярко топившегося камина... случай, прибавит он, происшедший единственно от невнимания слуги. «Впрочем, - заключит Аристарх Федорович, - я надеюсь, вы извините меня: в памятниках, подобных тому, какой вверили вы моей неосторожности, дорога не ничтожная бумага и выведенные на ней буквы, нет – дорога душа человека, выразившаяся помощью этих

ничтожных букв и, следовательно, в посланной вам копии (сделанной мной для вящего наслаждения) найдете вы все то, что нашли бы в самом оригинале».

Не прозревая в простоте романтической души своей затаенных умственных мыслей Аристарха Федоровича, госпожа Чибезова изъявила полное согласие вручить ему письма, и великий муж, распростившись с радушными хозяевами и напомнив еще раз долговязому кузену об обещании приехать в пятницу в Ханские Пруды, уместился комфортабельно в коляске. Бросив затем на воздух последнее «прости» Тросновке и прихлопнув ладонью по свертку писем, уместившемуся в боковом его кармане, Аристарх Федорович вскоре скрылся из виду.

Так как в последнюю ночь дождя не было, то грязь на дорогах успела уже значительно окрепнуть; пронзительный студеный ветер видимо сушил колеи и придавал легкость лошадям и колесам; благодаря сочетанию этих счастливых обстоятельств коляска поехала ровно и быстро.

Около полудня Аристарх Федорович въезжал уже в Сычовку, имение Бирюкова.

Балахнов не был у Бирюкова с того самого времени, когда находился еще в кумовстве и дружбе со всем уездом, когда все к нему ездили и сам он ко всем езжал, и когда, наконец, коварный свет и людская ядовитая шипящая злоба не успели еще ожесточить его в высшей степени благородной натуры, и потому нет ничего мудреного, если из памяти его несколько изгладился наружный вид бирюковского дома, расположения деревни и окружающей ее местности.

Движимый чувством того любопытства, какое ощущаем мы при виде давно покинутых предметов, он отбросил кожаный фартук и принялся глядеть на Сычовку.

Мглистые темные поля стлались на необозримое пространство и замыкали серый горизонт со всех четырех сторон; большое село в несколько улиц расползалось неуклюже, как рак, завязнувший в тине; коричневый цвет избушек, вымоченных предшествовавшими дождями, едва-едва отделял их от почвы, и только по мере приближения к деревне, когда кровли домов стали показываться над линией горизонта, можно было определить их очертания. В стороне, подле кладбища, плиты которого были единственными светлыми пятнами этой картины, возвышалась ветхая старинная церковь, окруженная массивными кирпичными столбами и оградой; издали еще слышался мерный однообразный глухой звук колокола, который то пропадал, то протяжно гудел, вторя унылому вою ветра, гулявшего на раздолье. В деревне было пусто; кой-где попадался мальчишка, тащившийся в отцовском полушубке, или старая, хилая бабенка, выбегавшая к завалинке, чтоб заткнуть ветошью волоковое окно, извергавшее клубы синеватого дыма. По мере приближения к дому стали показываться крытые дранью навесы, исполинские серые бревенчатые сараи с множеством крошечных дверей и перекосившимися лесенками; ограда двора, перехваченная кое-где плетнем, носила на себе все признаки окончательного запустения. Казалось, тут никто не жил в продолжение многих лет. Двор заставлен был, однако ж, наполовину тарантасами, крытыми дрожками, старомодными каретами, рыдванами; тут ходили по всем возможным направлениям кучера, бросавшие потом корки тощим борзым собакам, которые, поджав хвост, быстро улепетывали с полученным куском в какой- нибудь темный угол и жадно глотали добычу. Кормонолей Семенович и покойный брат его, Изосим Семенович, были страстные охотники. Дом, расположенный направо, представлял бесконечно длинное, плоское бревенчатое здание в один этаж. Подле крыльца толпились человек триста мужиков; все они стояли без шапок, равно как и другая толпа, состоявшая из дворовых. Последние стояли в некотором расстоянии и отделялись от первых длинными носилками, обтянутыми черным сукном; четыре лакея, в старомодных черных фраках, с крепом на плечах, держали в руках дымившиеся факелы. Несмотря на такое многочисленное сборище, на дворе было почти так же глухо, как посреди поля; как тут, так и там молчание прерывалось лишь разнообразным звуком колокола, который уныло гудел на далекое пространство.

Грустное чувство, невольно закравшееся в великую душу Аристарха Федоровича, ровно, однако ж, ничего не значило в сравнении с теми чувствами, какие овладели им при входе в темную прихожую. В передней теснились люди приезжих соседей, и первый предмет, поразивший Аристарха Федоровича, были Севка и Прошка, гайдуки и вместе с тем неразлучные спутники Николая Степановича Окатова. Огонь негодования засверкал в глазах великого мужа, и на ланитах его мгновенно показались те багровые кружки, похожие на лепешечки красного сургуча – верные, но, смело можно сказать, единственные обличители его внутреннего волнения. Нет сомнения, что волнение его могло бы усилиться и распространить багровые кружки по всему пространству ланит, если б не случилось одно обстоятельство, которое заставило его тотчас же овладеть собою.

В ту самую минуту, как глаза Аристарха Федоровича устремились вторично на Севку и Прошку, в дверях залы показалась старшая сестра покойника.

То была девствующая старушка лет пятидесяти, сморщенная, сгорбленная, необычайно добродушная, но вместе с тем такого жалкого и печального вида, что, казалось, траур был для нее совершенно излишним украшением. Она вышла, вероятно, для того, чтоб отдать кой-какие приказания, но вздохи и слезы заглушали ее голос.

Увидев ее, Аристарх Федорович быстро протискался вперед, подошел к ней, медленно поклонился и сказал медленно торжественным голосом:

- Анна Семеновна! слезы не помогут; долг каждого из нас покоряться воле Провидения. Осушите ваши слезы. Память покойного моего родителя, друга покойного Изосима Семеновича, принудила меня приехать к вам и утешить вас и вашего почтенного братца в эту скорбную минуту вашей жизни...

Горькие рыдания были сначала ответом; мало-помалу Анна Семеновна успокоилась и, взяв за руку гостя, проговорила:

- Благодарю вас, Аристарх Федорович... Да, покойный ваш батюшка был его другом... вы его также знали... Вот... - заключила она, вводя Балахнова в холодную залу.

Против окна на столе лежал покойник. В соседней комнате слышался говор многих голосов.

- Вот... - повторила, рыдая, старушка, протягивая руку к гробу.

- Анна Семеновна! - сказал, наконец, Аристарх Федорович, стоявший несколько секунд с понурою головою, - чувства, долженствующие наполнять в эту минуту сердце человека, не передаются словами...

Он вздохнул и промолвил вкрадчивым голосом:

- Но где же Кормонолей Семеныч?..

- О-ох! - простонала старушка, отрывая мокрый платок от глаз, - помогите нам, ради Бога, уговорить его проститься с покойником. Вы знаете, Аристарх Федорыч, слышали, по крайней мере, как братец боялся всегда покойников... Мы все, сколько нас здесь ни есть... я, сестра Варвара, гости даже, старались его уговорить... Нет, заперся в своем кабинете, дрожит всем телом, когда напоминают ему об этом... О-ох! А между тем, вы сами знаете, время уходит; народ ждет... Уговорите его отдать последний долг...

- Анна Семеновна! даю вам слово употребить все возможное, все зависящее от человека... - сказал Аристарх Федорович, прислушиваясь к говору, раздававшемуся в соседней комнате. - Пойдемте! - прибавил он, переведя дыхание и делая сверхъестественные усилия, чтоб подавить волнение.

Проникнуть в кабинет Бирюкова можно было не иначе, как пройдя те комнаты, в которых находились гости. Аристарх Федорович подал руку Анне Семеновне и, выпрямив грудь, медленным ровным шагом вошел в гостиную.

Тут было человек до двадцати соседей. В первые две секунды Аристарх Федорович не мог, однако ж, дать себе ясного отчета в том, сколько именно лиц находилось в гостиной; все лица и фигуры смешались вместе; ему показалось даже, как будто присутствовавшие при появлении его стали кружиться; сквозь этот туман, покрывший на

минуту его глаза, он не замедлил, однако ж, различить два пучка седых завитков, торчавших по обеим сторонам круглой головы; различил плотный раздвоенный подбородок и вслед за тем ненавистную фигуру Окатова. Николай Степанович сидел в самом дальнем углу; на широком лице его обозначались такие резкие положительные признаки смущения и страха, которые, очевидно, должны были укрепиться задолго еще до приезда Аристарха Федоровича в Сычовку. Впрочем, он и не смотрел на Балахнова; наклонив набок голову, он рассеянно слушал Семена Семеновича Кошкина, который, не имея, вероятно, большого желания встретить взгляд Аристарха Федоровича, также наклонял на бок свой лоснящийся черный паричок и что-то нашептывал на ухо Окатову. Если б посторонний наблюдатель мог видеть в настоящую минуту лицо Аристарха Федоровича, он никаким образом не мог бы понять, как достало у него столько мужества, чтоб ограничиться одною презрительной улыбкой. Правда, багровые кружки на щеках его горели как уголья и, могло статься, распространились бы далеко за предписанные пределы обыкновенного румянца, но это ничего не значило. Он отвел глаза в другую сторону и... и... встретился прямо с глазами Солонеева и его дяди, которые обмеривали его с саркастическим видом. Грудь Аристарха Федоровича, готовая в эту минуту треснуть и разлететься вдребезги, и тут-таки не утратила на волос своей величавой горделивой округлости. Он навел глаза прямо на дверь следующей комнаты и, гордо приподняв благородное чело, медленно повел вперед свою спутницу, которая тихо всхлипывала, нимало не подозревая той страшной драмы, какая свершалась под самым ее носом.

Они прошли в кабинет.

Комната эта представляла резкий контраст с остальными покоями, имевшими большое сходство с затхлыми пустыми сараями. Она напоминала те складочные амбары, куда сваливают без всякого порядка домашний скарб и хлам, негодный уж ни для какого употребления: сундуки, плошки, плетушки, старое платье, свертки холста, списки и счеты, нацарапанные на синей бумаге и насунутые на стенные гвозди, пыль, мерка с овсом, кой-какие принадлежности охоты: седла, ружья, патронташи, арапник, медный позеленевший рог; затем бутылки, склянки, заплатанные мешки, ветошь и проч., и проч. - все это лежало ворохами на грязном полу, лепилось вдоль стен и громоздилось на длинных полках, сделанных топором из сосновых досок. В комнате три окна: два из них наглухо заколочены досками, третье до половины замазано мелом. Бледно-зеленый жидковатый свет, струившийся из верхних стекол, падал косным лучом на старика лет семидесяти, который сидел, скрестив на груди руки и покачиваясь из стороны в сторону. То был Кормонолей Семенович Бирюков, младший брат и наследник покойника. Он сидел сгорбившись; но длинные костлявые ноги его показывали, что он должен быть высокого роста; седые желтоватые волосы спускались косяками по обеим сторонам угловатой головы, отличавшейся какой-то странной конструкцией; худое изрытое лицо земляного цвета оживлялось серыми быстрыми глазами. На нем был ветхий халат, подпоясанный бумажным платком; другой платок, тоже очень неказистого вида, обматывался вокруг шеи его, наподобие веревки; исполинские ступни Кормонолея Семеновича болтались в туфлях... Подле стояла младшая сестра его, Варвара Семеновна - живая копия со старшей сестры, Анны Семеновны; кроме нее, был еще какой-то незнакомый Балахнову господин - высокий человек лет тридцати пяти, с черными волосами, черными усами и черными бакенами, человек солидного и степенного вида.

Время, употребленное Аристархом Федоровичем для достижения кабинета, уж достаточно было ему для того, чтоб овладеть собою, если не совсем, то настолько, по крайней мере, чтоб войти в роль утешителя родственников покойника. Поклонившись незнакомому господину (при этом он почему-то закрыл глаза), отвесив затем низкий, сострадательный поклон плакавшей Варваре Семеновне и приблизившись к Бирюкову, который продолжал мотать головой, он сказал с расстановкою:

- Приезжаю... и что ж?.. Не удалось мне пожать в последний раз ту почтенную руку, которую так любил пожимать покойный отец мой...

Бирюков устремил на Балахнова беспокойные сухие глаза и воскликнул разбитым голосом:

. - Кого мы лишились?., друга, брата!.. Изосим! - примолвил он, закрывая лицо руками и снова качая головой. - Изосим, на что ты мне оставил столько богатства? Пожил бы лучше! Я бы тебе лучше все отдал... все бы оставил!..

- Что делать, дядюшка? воля Божия! - холодно проговорил незнакомый господин.

Комната наполнилась рыданием двух сестер, прерываемым стонами и охами Бирюкова.

- Полноте, Кормонолей Семеныч! - произнес Аристарх Федорович увещевательным тоном, - не возмущайте слезами души покойника: душа его носится еще меж нами, и отчаяние ваше может только омрачить последнее пребывание ее в сей стране плача и скорбей... Дадимте ей отлететь с миром и отрадой! скажем последнее прости земному праху и проводим его до последнего жилища...

Но едва произнес Аристарх Федорович эти слова, Бирюков поднял голову, затрясся всем телом, попятился с испугом назад и начал что-то мямлить.

- Вот... - мямлил он между прочим, очевидно, стараясь повернуть разговор. - Вот, Аристарх Федорыч, благодетель, вот племянник мой... познакомься... Мясоитянов... Андрей Иваныч... познакомься, благодетель... Приехал из Петербурга... побывать в имении...

Аристарх Федорович поклонился господину Мясоитянову и радушно протянул ему руку.

- Очень знаю-с, - сказал великий дипломат, - имение ваше, Белые Ключи, в тридцати верстах от меня. Весьма приятно познакомиться...

Балахнов знал, как уж известно, топографию и статистику своего уезда, как свои пять пальцев. Проговорив все это с некоторою торопливостью, вознаграждаемою, впрочем, довольно искусно горячим пожатием руки, дипломат обратился снова к Бирюкову и принялся увещевать его отдать последний долг покойнику. Напрасно Кормонолей Семенович заминал речь и мотал головой: Аристарх Федорович был неумолим. Поддерживаемый двумя сестрами и племянником, он умолял старика внять голосу убеждения, умолял его воздать последний долг бренным останкам, хотя из одной благодарности; но так как и это не помогло, то он обратился к угрозам: в поразительно красноречивых выражениях изобразил он перед стариком терзания совести, какие ожидают его в случае неисполнения последнего долга, и наконец, попав вдруг на счастливую мысль, сказал ему, что оскорбленная тень усопшего Изосима Семеновича будет являться по ночам упрекать неблагодарного брата. Последнее, казалось, всего успешнее подействовало на Бирюкова; несколько секунд сидел он молча; мутные серые глаза его обводили присутствовавших, а беззубые челюсти его производили глухую стукотню; наконец он застонал, заохал, приподнялся со своего места, как бы порываясь вперед, но остановился и закрыл лицо руками. Аристарх Федорович быстро переглянулся с племянником, и оба ухватили Бирюкова под руки; сестры бросились вперед и отворили кабинетные двери. Балахнов и племянник, невзирая на то, что старик упирался ногами, не замедлили привести его в гостиную. Соседи, движимые кто участием, а кто любопытством, последовали гурьбою за Бирюковым.

Очутившись в зале, Кормонолей Семенович быстро отвернул лицо от покойника и закрыл руками. Балахнов и племянник продолжали между тем вести его.

В трех шагах от гроба они оставили старика и отошли в сторону.

Кормонолей Семенович все еще держал ладони на лице своем; мало-помалу, однако ж, он расправил пальцы, между которыми показались слезы, робко взглянул на брата и вдруг отчаянно простер руки вперед.

- Изосим! брат! вставай... русак бежит! - вскричал он с воплем истинного отчаяния, всплеснул руками, закачался и грохнулся на землю.

Аристарх Федорович и солидный племянник подняли его; к ним присоединились еще два какие-то господина, и все четверо понесли старика в кабинет.

Когда они вернулись, гроб был уже заколочен наглухо; подле него в общей группе толпились мужички, дворовые и кое-кто из соседей. По данному знаку гроб подняли; послышалось затаенное рыдание двух сестер; толпа заволновалась и повалила за гробом.

- Пойдемте! - сказал Аристарх Федорович, прикладывая указательный палец к глазам и посылая грустную улыбку племяннику.

- Пойдемте, - сказал племянник, надевая теплые перчатки.

Они вышли на двор.

XII,
доказывающая, между прочим, самым очевидным образом, что человек умный, тонкий и практический может извлекать выгоды из самых ничтожных обстоятельств.

Мерный звук колокола звучал чаще и явственнее, говор толпы, тянувшейся длинною волнистою плетенницей за ворота, смешивался в один глухой шум, из которого вырывались по временам восклицания. В отдаленье, посреди черной улицы, вздрагивало кое-где пламя факелов. Свинцовое небо, исполосованное хребтами сизых туч, сеяло мелкий реденький дождик, который подобно серому крепу застилал окрестность. Звуки колокола становились слышнее и слышнее.

В группе соседей, провожавших гроб, не было, однако ж, видно печального лица; разговор их, вертевшийся большею частью на делах чисто житейских, не имевших ровно никакого отношения к настоящему случаю, не отличался также ничем особенно трогательным.

- «А что, Василий Степаныч, сеяли ли вы нынче гречиху?» - «Сеял; а вы сеяли?» - «Сеял...» - «Э-хе, хе!..» - «Что ж вы хотите, скряга!» - «Конечно, так; но с другой стороны...» - «Что с другой стороны?.. Э, помилуйте, просто скупой человек: держится зубами за гривенник, а из рук целковый пропадает!» - «Скряга был отъявленный!..» - «Помилуйте, да Кормонолей во сто крат хуже покойника!» - «Разумеется!» - «Двести душ на его долю...» – «А сёстры?..» - «Вздор!» - «Четырнадцатая часть!» - «Нет, покойник предоставил на волю Кормонолея...» - «Может ли быть?., гм! фю, фю, фю... поздравляю их в таком случае!».

Аристарх Федорович и солидный племянник шли в некотором расстоянии от толпы.

- Давно вы пожаловали в наши края? - спросил любезным, но, по-видимому, очень рассеянным тоном Балахнов.

- Пять дней всего...

- И долго останетесь?

- После выборов, я думаю...

Тут лицо Аристарха Федоровича выразило вдруг столько благородства, что, будь я живописец, я начертал бы его тут же, между этими строками; но нет, будь я первым живописцем в мире, все-таки не был бы я в состоянии передать с подобающею точностью величавые черты знаменитого мужа.

- Вы, следовательно, ни с кем здесь еще не знакомы? - спросил знаменитый муж.

- Нет, дядюшка представил меня Окатову.

- Окатову! - воскликнул Аристарх Федорович, приостанавливаясь, - а впрочем, продолжал он, ускоряя шаг, - что ж мудреного! лета Кормонолея Семеныча... его положение... все это извиняет его...

- Вы находите, следовательно, что дядюшка дурно сделал, познакомив меня с Окатовым?

- На это позвольте отвечать вам вопросом: знаете ли вы, кто такой этот О-ка-тов?

- Нет, не имею ни малейшего понятия.

- Первый негодяй во всем здешнем краю!

- Может ли быть?

- Первый плут!

- Что вы говорите...

- Обманщик!

- Не-уже-ли?

- С ним опасно даже говорить...

- Вы меня удивляете!..

- Губитель родной дочери... очаровательного создания, принесенного в жертву самолюбию алчного отца, заклеймившего свое имя бесчисленным рядом гнуснейших поступков...

- Да это просто ужас! - проговорил Мясоитянов, нахмуривая брови.

- Да, сударь мой, ужас, ужас и ужас! - воскликнул Аристарх Федорович, - доказательства у меня здесь, в боковом кармане этого сюртука.

- Какие доказательства?..

- Письма несчастной дочери... письма, способные разорвать на части самое каменное сердце... Послушайте, мсьё Мясоитянов, - прибавил Балахнов, сам заметив, что уж слишком далеко зашел и стараясь обуздать свои порывы, - не обвиняйте меня в пристрастии, нет, гнусная клевета и ядовитая шипящая злоба чужды меня; каждый благородный человек невольно должен содрогаться при одном имени Окатова.

- Скажите! а я думал, что он очень добрый человек, и даже сбирался к нему ехать...

- Нет, позвольте уж мне вам этого не дозволить! - сказал Аристарх Федорович с очаровательною любезностью, - позвольте мне-таки решительно вам этого не дозволить!..

Тут Аристарх Федорович засмеялся, пожал в несколько приемов руку солидного Мясоитянова и продолжал:

- Вы здесь человек новый, никого не знаете, и, следуя, таким образом, рекомендациям Кормонолея Семеныча, можете провести три недели пребывания своего в уезде в обществе людей... то есть, по крайней мере, очень скучно... Обязанность наша, то есть старожилов края, не допустить до этого... Надеюсь, мсьё Мясоитянов, вы сделаете мне честь пожаловать ко мне... Мы постараемся о том, чтоб, покидая наш край, вы увезли, по крайней мере, хорошее впечатление... Приезжайте ко мне в пятницу на будущей неделе запросто отведать нашего хлеба-соли...

Племянник Бирюкова молча поклонился.

Из числа помещиков, собравшихся у Бирюкова, двое только не пошли провожать покойника: Николай Степанович Окатов и Семен Семенович Кошкин, сделавшийся с некоторых пор любимым и в то же время единственным гостем Больших Солей. Впрочем, достаточно уж было, что Николай Степанович решился приехать в дом, где находился покойник. Геройский подвиг этот, конечно, не замедлит занять важное место в беседах его с госпожою Буске и господином Буске, - беседах, которые ограничивались до сих пор изображением страшной качки, постигшей Николая Степановича при переезде его из Петербурга в Кронштадт. Как только тело Изосима Семеновича было вынесено, дыхание Николая Степановича заметно стало ровнее и свободнее; он вышел из своего угла, провел себя несколько раз ладонью по груди, как будто хотел сказать: «Ни-ко-лай Сте-па-ныч Ока-а-тов!» и, кликнув Прошку, приказал подать воды со льдом. Воды было вволю в доме Бирюкова. Опорожнив без малого полграфина, Николай Степанович почувствовал себя облегченным от огромной тяжести и, взяв под руку Кошкина, вышел в залу, где начинали накрывать на стол.

- Нет, скажите, пожалуйста, Николай Степаныч, каков наш приятель-то?., а? Я все о нем; право, никак не могу... - сказал Кошкин, поправляя очки.

- Дурак! - лаконически возразил Николай Степанович, самодовольно запрятывая раздвоенный свой подбородок в густые складки белого галстука.

- Нет, послушайте, этого никак, однако ж, нельзя сказать, - примолвил Кошкин, сморщивал лицо свое. - Балахнов умен, но ум, знаете... такой... Представьте, что он со мной на днях сделал. Лет восемь назад узнал он, что мне нужны деньги; хоть я и не заикнулся ему об этом, однако ж он сам вызвался и дал мне взаймы... так, безделицу, тысячи две или три... О долге этом он не упоминал мне несколько лет, совсем было забыл его... как вдруг узнаю, что Балахнов передал мой вексель какому-то забияке Карачаеву, который живет у него и который, как мне сказывали, хлопочет теперь о том, чтоб подать к взысканию... А? как вам нравится эта выходка? Конечно, все это делается из благородного чувства мести...

- Низкий человек! - проговорил Окатов.

- Ну, вот это другое дело, против этого я слова не скажу. Хотел бы я знать, зачем он сюда пожаловал? Уж, верно, неспроста... Верно, он не стал бы подвергать себя понапрасну встрече с вами... А заметили ли вы, как он смутился, когда увидел вас? заметили ли вы этот взгляд?..

Николай Степанович самодовольно покрутил головой.

- А надо сознаться, - продолжал Кошкин, вводя собеседника в гостиную и усаживаясь подле него, - надо сознаться, этой долиной вы решительно-таки уходили его... хи, хи, хи... именно уходили! С той поры Ханские Пруды значительно опустели; хозяин приуныл... а всему виною вы, ей-Богу вы, Николай Степаныч! По этому случаю, скажу я вам, кто-то постарался даже состряпать маленький памфлетец... Впрочем я, кажется, уж говорил вам об этом.

- Нет.

- Может ли быть?.. О, в таком случае послушайте.

Семен Семенович кашлянул и проговорил пискливым голосом болонки, которой ущемили хвост:

Сеян виной большого зла:
Простона погубил без всякие причины.
Простон для всех держал богатый стол и вины;
Простона очень жаль, но больше жаль стола!

- Сеян – это вы, Николай Степаныч.

- Как, как... как? без причины, стол... Простона... как? ха, ха, ха!., - воскликнул Окатов, восторженно взъерошивая пучки седых завитков на висках своих.

Кошкин повторил памфлет, отысканный им в какой-то старинной книге.

- Ха, ха, ха, ха! - залился Николай Степанович.

- Хи, хи, хи!. - закатился Кошкин, прикладывая платок к лицу своему.

Шум, раздававшийся в эту минуту в зале, возвестил окончание похорон.

Окатов и Кошкин поспешили выйти навстречу гостям.

В дверях столкнулись они нос к носу с племянником Бирюкова.

- Что? кончено?., - произнес Кошкин, качая черным своим паричком и придавая желтенькому лицу своему плаксивое выражение.

- Кончено, - сухо сказал Мясоитянов.

- Вы, кажется, изволили провожать покойника вместе с Балахновым? - сказал Семен Семенович вкрадчивым голосом.

- Как! вместе с этим... с этим?., - проговорил Николай Степанович.

- Разве вы имеете сказать что-нибудь против него? - спросил удивленный Мясоитлнов.

- Эгоист! - твердо и решительно произнес Окатов.

- Кляузник и... и человек не совсем чистый! - подхватил Кошкин.

Мясоитянов остолбенел.

- Невежа! - сказал Окатов.

- Опасный человек! - заметил Кошкин.

Мясоитянов глядел с изумлением то на того, то на другого.

- Самая резкая черта в этом человеке- лицемерие, - продолжал Кошкин. - Он женат... и жена его сущий ангел, женщина в полном смысле достойная уважения... Что ж? нужно взглянуть на жизнь этой женщины, чтоб поверить на деле, что такое Балахнов.

- Настоящий лицемер! - примолвил Окатов.

- Опаснейший человек, и опасный тем именно, что умен и демонски хитер, и лукав вдобавок! К тому же и говорит красно: обворожит, заговорит, очарует... а на поверку выходит: запутал вас в какое-нибудь кляузное дело...

- Когда ж ко мне? - перебил неожиданно Окатов, закидывая назад голову и протягивая руку Мясоитянову.

- Постараюсь... на днях... - отвечал племянник Бирюкова, посылая мысленно к нечистому и Окатова, и Балахнова, и давая себе слово не заглядывать во всю жизнь ни к тому, ни к другому.

Полчаса спустя гости уселись за стол, во главе которого расположились сестры Бирюкова, приехавшие в Сычовку для того только, чтоб отдать последний долг покойному брату и получить затем с живого брата какую-нибудь частичку наследства, в которой обе они очень нуждались.

Гости ели вообще очень мало. Обед был такого рода, что мог разве прийтись по вкусу людям, питавшимся три месяца кряду одними кореньями. Блюда состояли исключительно из баранины и овощей, приправленных в собственном соку. Вина, наливок, водиц, шипучек и прочих сладостей не было; всех их заменял жиденький квас и вода из громового колодца. Все это содействовало к тому, что гости вскоре встали из-за стола и еще скорее начали разъезжаться.

Улучив свободную минуту, Аристарх Федорович (багровые пятна не сходили с его величественных ланит во все продолжение обеда) подошел к сестрам Бирюкова.

- Милостивая государыня Анна Семеновна, и милостивая государыня Варвара Семеновна, - сказал Аристарх Федорович приветливо родственным тоном, - по праву, данному мне дружбой покойного моего родителя с покойным братцем вашим Изосимом Семеновичем, я требую, чтоб вы сделали для меня исключение против остальных здесь присутствующих соседей ваших. Долг повелевает мне остаться в вашем доме, не покидать вас в эту воистине скорбную минуту и излить в сердце ваше (позвольте в этом надеяться) луч отрады и утешения... Почтенный братец ваш, Кормонолей Семеныч, требует особенного попечения.

- Ах, Боже мой, Аристарх Федорыч! - воскликнули обе сестры, - мы только что хотели просить вас об этом... не покидайте нас!.. Мы не посмели бы беспокоить вас, если б племянник наш Мясоитянов оставался при брате... Но племянник должен ехать сейчас же домой в Белые Ключи: завтра утром его вводят во владение имением.

В эту самую минуту степенный племянник подошел к теткам и стал с ними прощаться.

- Итак, в пятницу? - сказал Аристарх Федорович, радушно протягивая руку и показывая ему ряд лучших патентованных зубов.

- В пятницу, - отвечал загадочным тоном Мясоитянов.

Затем он раскланялся и вышел в переднюю.

Было уже около семи часов вечера. Гости разъехались все до единого, кроме Аристарха Федоровича, который расхаживал теперь медленными шагами по зале и гостиной. Сестры Бирюкова, утомленные дневными хлопотами и впечатлениями, давно отправились на покой; Кормонолей Семенович, по словам людей, также предавался отдыху. Дом был погружен в мертвое молчание; в комнатах было темно. (Ключи от свеч находились у Бирюкова - так, по крайней мере, объявил Сидор, который при всем старании своем не мог отыскать во всем доме ни одного огарка).

Аристарх Федорович продолжал ходить, потирая время от времени высокое чело свое, в котором вились блистательные планы и соображения. Изредка останавливался он,

чтоб взглянуть на месяц, который, прокравшись из-за черных туч, озарял трепетно-серебристым лучом бревенчатые стены залы.

Где-то в отдалении, и Бог весть в каком отдалении, пробило восемь часов.

Звук этот почему-то неприятно отозвался в душе Аристарха Федоровича.

Всякий испытал на себе то тяжелое состояние духа, когда посреди мрака и пустыни какой-нибудь внешний неодушевленный предмет вызовет вас к действительности и напомнит вам ваше одиночество. Когда смокли последние звуки и наступила тишина могилы, Аристарх, Федорович вдруг почувствовал это одиночество. Он прошел взад и вперед по комнате, стараясь овладеть нитью предшествовавших размышлений; но мысли его никак не укладывались в желанный порядок, а напротив, стремились с какою-то неотразимою силой к иным предметам. Тут почему-то явилась неожиданно бледная, печальная жена, тихо склонившаяся над маленькою детскою постелькой... Там промелькнула какая-то фигура с завитками Окатова, глазами Василькова, носом Сараманаевой, ухватками Карачаева... Там пришел почему-то в голову степенный племянник Бирюкова... И снова все исчезло, чтоб уступить место непрошенным и незваным воспоминанием, которые одно за другим укладывались тяжелыми плитами в смущенной душе Аристарха Федоровича. Им словно овладела какая-то неловкость; что-то похожее на упрек, на совесть, вкрадывалось постепенно в его мужественное сердце...

- Сидор! - крикнул Аристарх Федорович.

Звук его голоса пробежал, как эхо, по пустым покоям,

Он остановился и приложил руку к сердцу.

- Что за ребячество! - проговорил он наконец, обтирая ладонью высокий лоб, покрытый каплями пота.

Он вышел в переднюю, ощупью отыскал Сидора, растолкал его, отправился в комнату, назначенную ему для ночлега, и вскоре заснул богатырским сном. На другое утро Аристарх Федорович изволил пробудиться от своего сна несравненно раньше обыкновенного. Облачившись в халат и вычистив затем вагенгеймовские зубы, Аристарх Федорович подошел к маленькому обломанному сосновому столику и сел на соломенный стул с проткнутым дном.

Накушавшись чаю с медом (Кормонолей Семенович и покойный брат его, Изосим Семенович, сахару не употребляли), Аристарх Федорович оделся на скорую руку и прямо пошел в известный уже кабинет Кормонолея Семеновича.

Он застал хозяина сидящим против дощаного стола, заваленного всякою дрянью; тут были: и оберточная бумага, и пробки, и подковы, и тарелка с бараньей костью, и блюдечко с крупною солью, и объедки пирога, сложенные в кучку, и запыленная свинцовая чернильница с обглоданным пером, и ржавые гвозди, и графин с желтовато-мутной водой; тут же находилась и толстая тетрадь из синей бумаги, с надписью: «приход», и рядом с нею другая маленькая тетрадка с надписью: «расход». Между этими вещицами, столько же полезными, сколько необходимыми, виднелась старомодная шкатулка из карельской березы, которая в настоящую минуту составляла, казалось, главный предмет наблюдений Бирюкова. Шкатулка была раскрыта; на дне ее виднелись мешочки из замши и холста, вязаные кошельки и крошечные узелочки; все это представляло довольно привлекательную округленность.

Первое движение Кормонолея Семеновича, когда заслышал он шум в дверях, было закрыть шкатулку; но, увидев Аристарха Федоровича, он тотчас же отложил такое намерение и, покачав головою, пропустил пальцы правой руки между пальцами левой и промямлил сострадательным голосом:

- Вот, благодетель, посмотри, осталось после брата Изосима... О-ох, кого мы лишились! - подхватил он, неопределенно водя глазами по углам и стенам кабинета, - кого мы лишились! друга, брата, благодетеля! Изосим, на что оставил ты мне столько богатства? пожил бы лучше! я бы тебе все отдал, все оставил!..

«Толкуй! знаем мы, брат, тебя!» - подумал Аристарх Федорович, отвечая на слова Бирюкова глубоким вздохом.

- О-ох! - примолвил Бирюков, - вот, благодетель, - присовокупил он, вынимая дрожащими руками кошелек из шкатулки, - вот...

Тут Бирюков бережно высыпал деньги в шкатулку, приложил кошелек к губам, заплакал, застонал, положил его на стол подле шкатулки и, прикоснувшись к пустому кошельку пальцем, примолвил плаксиво:

- Это душеньке моей, сестрице Анне... на память...

Вздохнув два-три раза, он вынул другой кошелек, высыпал из него тем же порядком деньги в шкатулку, поцеловал его и, заливаясь слезами, вымолвил:

- А этот душеньке моей, сестрице Варваре... на память...

Положив кошелек на стол, Бирюков поспешно закрыл шкатулку, медленно повернул ключ и, прислушавшись к звону замка, заморгал на Аристарха Федоровича своими серыми глазами.

- Да, почтеннейший и премногоуважаемый Кормонолей Семеныч, - сказал, наконец, Аристарх Федорович, соскучившись хныканьем Бирюкова и сгорая желанием приступить как можно скорее к главной, настоящей цели своей поездки в Сычовку, – да, конечно, все это очень тяжело и грустно... Но если принять в соображение преклонные лета Изосима Семеныча, недуги и страшные хлопоты, заботы, беспокойства... Впрочем, с этой стороны придется вас теперь пожалеть, мой почтенный Кормонолей Семеныч! Оно, разумеется, братец оставил вам кое-что: но посудите сами: какие заботы обрушатся теперь на вас по поводу ввода вас во владение имением Изосима Семеныча! Вы жили до сих пор в разделе; именье покойника переходит в ваши руки; пойдут бумаги, списки, записки, переписки, и, наконец, эти несчастные две тяжбы, затеянные вашим братцем с соседями... Сколько переговоров, забот, и особенно денег!.. Прибыль с убытком в одном кошельке живут, как говорится...

Во время этого монолога Бирюков ломал свои костлявые пальцы и отчаянно мотал головой.

- Ох! - произнес он, - знаю, благодетель, все знаю... голова идет кругом...

- Дела Изосима Семеныча были запутаны, - продолжал с возраставшей энергией Аристарх Федорович, - он, как вам известно, любил заводить тяжбы; говоря откровенно, он оставил вам больше расхода, чем прибыли...

- О-о-ох, благодетель! знаю, все знаю!.. - простонал Бирюков и, наклонившись внезапно к уху Балахнова, примолвил шепотом: - Да вот, пришел Изосим ко мне прошлого года, просит деньжонок, я ему и дал... а после оказалось, что прошлый год денег -то было у него больше моего... Вот ведь он какой!..

- По-моему, - сказал Аристарх Федорович, - вам бы нужен был теперь человек опытный, знающий отлично дела, и, сверх того, человек такого рода, на которого можно было бы положиться вполне... Такой человек, который принял бы на себя обязанность распутать дела, переговорить с земским судом - и не из видов каких-нибудь, а единственно из участия к вам, мой почтенный Кормонолей Семеныч...

- Благодетель ты мой! - воскликнул Бирюков, - ну, что кабы ты-то... Ох, век стал бы за тебя молить Бога!.. Утешь старика!.. Твой покойный батюшка едал ведь нашу хлеб-соль...

- Вот об этом-то я и хотел переговорить с вами. Вы знаете, на меня положиться можно; Нил Степаныч Лукьянов... да и вообще все, от которых зависит некоторым образом ваше дело, все мне с руки; дело закипит, следовательно, у нас живо. Вы знаете, не в первый раз приходится мне протягивать руку помощи, и слышали, что всякий раз действовал я успешно...

- Благодетель, знаю... ох, знаю! делец ты, дока! Вот ведь и Софью-то Алексеевну ты выпутал... Благодетель, утешь старика!.. - говорил Бирюков, пожимая руки Балахнову.

- Извольте, готов... - весело сказал Аристарх Федорович. - Только вот что, почтеннейший Кормонолей Семеныч: за все это я, со своей стороны, потребую также маленькую услугу...

Бирюков выпустил руку собеседника и начал что-то мямлить.

- Услуга, впрочем, ничтожная, - поспешно подхватил Аристарх Федорович. - Видите ли: я возьму на себя всю вашу переписку касательно ввода во владение, приведу в порядок ваши бумаги, так что вам это ничего не будет стоить, а вы... вы дайте мне слово приехать через две недели на выборы...

- В губернский город?

- Да, в Черноряжск, и сверх того, обещайте мне ваш голос...

- Благодетель! - воскликнул Бирюков, думавший, что Аристарх Федорович станет просить у него Бог весть чего, - благодетель!.. - повторил он, пожимая ему руку.

- Итак, решено: вы едете на выборы, даете мне ваш голос, а я, взамен этого, возьму на себя переписку ваших бумаг и ходатайство по делу о вводе во владение...

- Ты говоришь: через две недели?

- Через две недели.

- Приеду, благодетель, вот как Бог свят, приеду!..

В эту минуту в кабинете появился старый сгорбленный лакей с перекосившимися ногами, калмыцким лицом и коротко остриженными белыми волосами.

- Что ты, Лёвушка? - спросил с беспокойством Кормонолей Семенович.

- Сестрицы просят позволения войти к вам, - сказал седой Лёвушка.

- Скажи, чтоб пришли... Да вот что, Лёвушка, вели-ка тем-то негодяям-кучерам вывести... да, вывести тех лошадок, что я говорил... не забудь и хомутики надеть... Ох! от братца на память им, душенькам... - заключил Бирюков, обращаясь к Балахнову.

Минуты две спустя вошли сестры. Полились слезы, послышались вздохи, и снова все умолкло, благодаря красноречию Аристарха Федоровича.

- Сестрицы, - сказал наконец Бирюков, - пойдемте; мне надо с вами переговорить кой о чем. Пойдем и ты, благодетель, Аристарх Федорович.

Бирюков, шаркая туфлями по полу и запахивая халат, вышел из кабинета, сопровождаемый сестрами и гостем.

Обогнув гостиную, залу и переднюю, он вывел их на крыльцо.

Против крыльца стояли две ободранные тридцатилетние клячи, украшенные столетними хомутами; два конюха из опасения, вероятно, чтоб клячи не повалились наземь, держали их очень усердно под уздцы.

- Вот, - сказал Бирюков, - указывая сестрам на кляч, - вот возьмите... - Тут он поспешно закрыл лицо левою рукою и, отчаянно махая правою, воскликнул:

- Не я дарю, нет! брат, брат Изосим, покойник дарит вам на память!..

Аристарх Федорович поспешил успокоить взволнованные чувства Кормонолея Семеновича и, взяв его под руки, повел в кабинет, куда не замедлили явиться сестры, плакавшие теперь навзрыд...

Повторив Бирюкову вышеприведенный договор и снабдив, вдобавок, сестер его кой-какими душеспасительными истинами, Аристарх Федорович пожелал им всем счастия и спокойствия, раскланялся и скоро покинул Сычовку.

XIII.

Жалкие комары и мошки стараются затмить лучезарный блеск величавого солнца. Веселая игра в фанты, повергающая одного господина в глубочайшее отчаяние.

В то время как Аристарх Федорович разъезжал в своей коляске, мысленно созерцая великую уездную драму, в которой готовился играть роль триумфатора, и в то время, как умственный взор его обнимал безграничную панораму уезда с его деревнями, селами,

большими и проселочными дорогами, в этом самом уезде ходили неблагоприятные слухи о том, что дела Аристарха Федоровича расстраиваются, что... Ханские Iруды перезакладываются и приходят в упадок, что Аристарх Федорович не платит своих долгов, что сосед его, Порфирий Павлович Васильков, на днях еще был жертвою несостоятельности Аристарха Федоровича, и что та же самая несостоятельность отразилась жесточайшим образом в поступке великого мужа с девицей Розалией Владимировной Сараманаевой, и проч., и проч., и проч.

Все эти сплетни – которым трудно приискать название на языке человеческом, но которые, тем не менее, подобно свирепому потоку грозили затопить в скором времени весь уезд – проистекали, однако ж, из очень чистого, светлого и мирного источника.

Источником этим был маленький, уютный и вполне живописный домик барышень Кокуркиных.

Домик этот составлял честь, славу и украшение небольшой деревушки Веселые Горки, принадлежавшей восьмерым владетелям, из которых два, а именно: Кондей Иванович Свищов и Прокл Иванович Полушкин, уже знакомы читателю. Благодаря своим одиннадцати душам, барышни Кокуркины занимали в Веселых Горках самое видное, почетное место и составляли некоторым образом центр, вокруг которого любили группироваться не только владетели Веселых Горок, но даже большая часть мелких соседей и соседок ближайших деревушек. Отличительное свойство трех сестер заключалось в том, что они никак не могли жить без гостей. Приятная веселая беседа была для них такою же точно естественною потребностью, как вода для рыбы, воздух для человека. Земное существование Кокуркиных, можно смело сказать, ограничивалось исключительно двумя целями: принимать у себя гостей или самим ездить в гости. Нельзя утверждать положительно, чтоб такая потребность проистекала у Кокуркиных единственно из любви или сочувствия к ближнему, или человечеству вообще. Если говорить правду, ближний сам по себе занимал даже ничтожное место в сердце трех барышень; на ближнего смотрели вообще как-то не совсем доброжелательно и при случае готовы были на него насплетничать или, как говорится в провинции, обернуть к нему слушателя лицом в лес, а затылком в поле; но стоило ближнему лишь явиться к барышням в качестве гостя - он делался тотчас же в их глазах чем-то неприкосновенным, ни дать ни взять как у арабов Большой Степи. Для гостя ничего не было дорогого в доме Кокуркиных. Его усаживали на лучшее место, истощали пред ним весь запас приветливых фраз и любезностей и уступали ему самые мягкие перины; все это подтверждается фактами; так, например, в доме находился всего-навсего один фаянсовый умывальник; со всем тем драгоценный этот предмет роскоши поступал всегда в полное, исключительное распоряжение гостя; несколько лет тому назад сестры выстегали соединенными силами превосходнейший ситцевый халат, предназначавшийся исключительно для тех особ мужского пола, которые случайно заночевывали под их кровлею, и т. д. Что ж касается собственно до угощенья – гостеприимство барышень не знало никаких пределов н доходило часто до полнейшего самоотвержения. Барышни слыли во всем уезде первыми мастерицами парить варенья, сберегать плоды на зиму, солить грузди и рыжики, делать водицы, перегонять разные сладкие, горькие и более или менее желудочные настойки; всего этого наготовляли они великое множество. Кто бы поверил, однако ж, что во все продолжение года хозяйки не прикасались ни к одному грибку, не съедали ни одной ложки варенья? Все сберегалось для гостей; сами Кокуркины пользовались мастерскими изделиями своих рук тогда лишь, когда изделия эти оказывались неудачными или обнаруживали впоследствии очевидную порчу. После всего сказанного трудно было бы не остолбенеть от удивления, если б в маленьком доме Кокуркиных оказался недостаток в обществе.

В один осенний сырой вечер общество барышень было как-то особенно многочисленно. К этому, впрочем, сильнейшим образом способствовала веселая Вера Андреевна, та самая, что похожа на откормленного дрозда, увеличенного в полторы

тысячи раз; не довольствуясь тем, что в доме ее находились уж гости, она отправилась тотчас после обеда вербовать еще кой-кого из ближайших соседей. Цель ее была, разумеется, достигнута: Вера Андреевна не замедлила вернуться домой в сопровождении двух дам: Капитолины Лукиничны Дядиньковой и Лукерьи Фоминичны Крепышовой. Нельзя сказать, чтобы последняя была драгоценным приобретением для общества Кокуркиных и особенно для Веры Андреевны, искавшей прежде всего в гостях своих ничем не сокрушимой веселости. Лукерья Фоминична Крепышова была дева лет тридцати двух, мрачного и крайне несообщительного свойства; носилась достоверная молва, что она дала даже обет молчания, и приписывали такую решимость с ее стороны несчастной любви, приключившейся будто бы десять лет тому назад. Лукерья Фоминична влюбилась, изволите видеть, в одного приезжего из столицы, который как назло в это самое время женился на одной богатой вдове. Вот с этой-то минуты, как по крайней мере говорили, она замкнула свои уста и сердце. Не следует, однако ж, никаким образом не следует удивляться после всего сказанного, что Лукерья Фоминична отказывалась с той поры от многих выгодных партий и упорствовала оставаться девственницей. И в самом деле, странно было бы с ее стороны и даже неуместно выйти за какого-нибудь жалкого соседа-своего брата, тогда как она питала уж раз в душе слабую надежду быть столичной барыней. Все это было совершенно справедливо; но было также справедливо и то, что другая дама, приглашенная Верой Андреевной, представляла самый резкий контраст с Лукерьей Фоминичной. Капитолина Лукинична Дядинькова была живая тараторливая вдова лет сорока, преисполненная юркости. Капитолина Лукинична принадлежала к разряду дам с весьма обширными познаниями; ей было известно в совершенстве все то, что за последние десять лет совершилось в Горшковском уезде; она проникала, казалось, в сокровеннейшие закоулки сердец самых отдаленных жителей губернии; мельчайшие события, случившиеся за пятьдесят верст и более, были ей так же хорошо известны, как будто произошли перед ее глазами; она все знала, и многие помещики уезда недаром называли ее «Горшковским Вестником». Наружность ее была, однако ж, обманчива – обманчива в том именно смысле, что не заставляла предполагать в Капитолине Лукиничне с первого взгляда ничего особенно гениального. Все почти ограничивалось рыженькими веснушками, бойко вздернутым носом и рыжими волосами, тщательно гофрированными на висках и подобранными на затылке в пучок величиною с грецкий орех. Но дело вовсе не в наружности.

Капитолине Лукиничне стоило только показаться в маленькой зале Кокуркиных, где расположилось общество, чтоб завладеть нитью разговора; не прошло и пяти минут после ее появления, как она успела уж затронуть за живое почти всех присутствовавших, сообщив им кучу новостей, из которых весьма многие имели самое близкое отношение к слушателям.

Надлежит теперь сказать два слова о том, где происходила беседа и кто такие были присутствовавшие.

Беседа происходила в небольшой низенькой комнате о двух окнах, обставленной кругом сосновыми стульями, выкрашенными темною краской; стены, выбеленные мелом, не представляли решительно никаких украшений, если не взять в расчет темных кружков, находившихся немного повыше спинок стульев и отпечатанных напомаженными затылками нескольких сотен гостей. Это была зала, куда преимущественно собиралось общество, ибо в гостиной с большим трудом умещались четыре человека.

У первого окна, недалеко от двери передней, сидела Варвара Андреевна – старшая Кокуркина; против нее находился овальный стол, заставленный тарелками с вареньем, мочеными яблоками и калеными орехами; вокруг стола располагались следующие замечательные особы: на самом почетном месте, подле Варвары Андреевны, сидела Капитолина Лукинична и рядом с нею молчаливая Лукерья Фоминична Крепышова; к ним примыкала веселая, цветущая Вера Андреевна, первая хороводница, первая затейница всех возможных увеселений и первая танцовщица своего уезда. Насупротив, по ту

сторону стола, располагался Павел Павлович Чибезов, муж хорошенькой дочери Фукола Ивановича, мастер сочинять замысловатые истории юмористического свойства и писать экспромтом стихи и басни. То был господин лет тридцати пяти, небольшого роста, с физиономией, преисполненной необычайного движения даже и тогда, когда он ничего не говорил; лицо его было, казалось, исключительно составлено из одних лишь черных прыгающих светящихся глаз и блестящих зубов; тщедушно хрупкие члены господина Чибезова и зеленоватая болезненная бледность лица его заставляли предполагать, что он опорожнил в молодости своей бесчисленное множество склянок с декоктом и разными другими целебными специями; хриплый шипящий голос его подтверждал красноречивейшим образом такое предположение; подле Чибезова сидел Аполлон Егорович Дрянков, творец «Непризнанной Индейки», известный уж теперь не только читателю, но даже всякому мало-мальски знающему грамоте. У второго окна сидела стыдливая, застенчивая Надежечка Кокуркина и подле нее, на расстоянии четверти аршина, красовался сердобольный Порфирий Павлович Васильков; огромные глаза, составлявшие исключительную принадлежность Василькова, страстно впивались в опущенные ресницы Надеженьки, тридцатипятилетняя грудь которой обозначала неописанное волнение. В маленькой зале находилось еще одно существо, никем незамеченное, никому, по-видимому, не нужное, но которое мы ни под каким видом не можем пропустить от внимание читателя; существо это – Прокисай Захарович Копков, бедный проживальщик Ханских Прудов, обративший, как говорил Аристарх Федорович, Фиону Ивановну в «страдательный глагол» и сам, в свою очередь, обращенный в тот же страдательный глагол невозмутимою холодностью младшей Кокуркиной. Прокисай Захарович был вовсе не из числа тех людей, которые рвутся напролом и бушуют, подобно огнедышащей горе, как скоро страсть закрадывается в их душу; совсем нет! Прокисай Захарович мог бы страдать молча и безропотно десять, двадцать лет, если б, например, сказали ему, что по прошествии этого срока сердце обожаемой им особы забьется исключительно для него одного; но присутствие такого страшного соперника, каков был Порфирий Павлович, очевидные успехи, какие делал этот соперник в сердце Надеженьки, отняв у Прокисая Захаровича всякую надежду, сразили его окончательно. Ему оставалось только сидеть в почтительном расстоянии у двери и делать безотрадные наблюдения над счастливою четою. По мере того, как пространство между Васильковым и Надеженькой сокращалось, лицо Прокисая Захаровича становилось длиннее и выражало все признаки глубочайшего отчаяния; нет сомнения, что оно обратило бы на себя внимание присутствовавших, если б взоры их не были обращены в настоящую минуту на лицо Аполлона Егоровича, которое было почти так же мрачно и длинно, как лицо Прокисая Захаровича.

- Полноте, Аполлон Егорыч, как вам не стыдно огорчаться такими пустяками; вы человек умный; к тому же никто, разумеется, не поверит этому, - говорила рассудительно-спокойным тоном старшая Кокуркина.- Капитолина Лукинична, Лукерья Фоминична, сделайте милость, крыжовничку! - неожиданно заключила она, поднося двум соседкам тарелку с вареньем.

- Нет, знаете, Варвара Андреевна, это... это просто возмутительно! - воскликнул Дрянков, нетерпеливо проводя рукою по вихрам своим.

- Ну, вот есть чем возмущаться! - живо подхватила средняя сестра, - говорят вам, никто этому не поверит: слава богу, неужто вам этого не довольно! Полно вам в самом-то деле хмуриться; всякий знает, что Бобохов лгун, хвастун... и больше ничего!

- Я готов подтвердить это тысячью историй, тысячью фактов! - энергически заметил Чибезов, поспешно вынимая изо рта чубук и окидывая быстрым взглядом присутствовавших.

- Нет, как хотите, это... это просто возмутительно! - повторил мрачный Аполлон Егорович.

- Послушайте, Аполлон Егорыч, - начала, в свою очередь, рыженькая Капитолина Лукинична, которая, нужно заметить, была единственной виновницей отчаянных выходок и злобного выражения, отпечатанного на лице знаменитого повествователя, - послушайте: я передала вам только то, что говорила мне вчера жена горшковского аптекаря и еще кое-кто из общих наших знакомых: за верность слухов я не ручаюсь; очень может быть, что Бобохов и не думал даже распространить слухи, будто помогал вам писать ваше сочинение... не правда ли, Лукерья Фоминична?

Лукерья Фоминична Крепышова была истинным другом Капитолины Лукиничны, что и явствует из того, что история ее любви известна была всему уезду; сверх того, Капитолина Лукинична жила на хлебах у Лукерьи Фоминичны, и это последнее обстоятельство, взятое вместе с упорною молчаливостью истинного друга, доказывает, почему Капитолина Лукинична обращалась преимущественно к г-же Крепышовой в тех случаях, когда надлежало возбудить к себе доверие постороннего лица.

Приведенная в крайнюю необходимость удовлетворить ответом свою нахлебницу, Лукерья Фоминична сказала:

- Да... конечно... - и снова погрузилась в молчание.

- Извольте видеть, и Лукерья Фоминична то же говорит! - живо подхватила Капитолина Лукинична, разводя руками перед Дрянковым.

- Помилуйте, Капитолина Лукинична, за кого же вы меня принимаете? за олуха, непонимающего даже тех людей, посреди которых привелось ему жить?.. - нетерпеливо воскликнул Дрянков. - Я слишком хорошо знаю Бобохова и верю, что он в состоянии сказать, будто помогал мне писать повесть! О, вы не знаете, от него всего можно ожидать.

- Я, со своей стороны, готов подтвердить это тысячью историй и сотнями фактов! - подтвердил еще энергичнее Чибезов.

- Тсс... что же это такое? господа... Павел Павлыч... оставьте все это; вот варенье, вишня, крыжовник; Аполлон Егорыч, возьмите моченое яблоко и забудьте все это... Капитолина Лукинична, Капитолина Лукинична, охота было вам заводить речь об этом! - заговорили в один голос старшие Кокуркины.

- Извольте, чтоб доставить вам удовольствие, я возьму яблоко, но уж извините меня, если я повторю, что Бобохов лгун, не стоящий внимания!.. в этом не сомневается и, конечно, не может сомневаться ни один порядочный человек!.. Да вот, чего же лучше, - подхватил Аполлон Егорович, поворачиваясь неожиданно ко второму окну, - Порфирий Павлыч служил с ним когда-то и может подтвердить вам слова мои...

Порфирий Павлович быстро оторвал глаза свои от ресниц Надеженьки, еще быстрее откинулся в сторону и закинул правую ногу на левую.

- Виноват, - сказал он с беспечною веселостью, - виноват, я не вслушался хорошенько...

- Дело идет о Бобохове, лгун он или нет? - нетерпеливо возразил Дрянков.

- Да... конечно... если хочешь... но, впрочем, надо судить с точки... я не видался с ним почти с того времени, как полк наш стоял на травяном продовольствии...

Сказав это, Порфирий Павлович окинул рассеянным взглядом присутствовавших и, убедившись, что Дрянков, а за ним и все остальные сели к нему кто боком, кто спиною, снова припал к туго напомаженной голове Надеженьки, при чем лицо его приняло мгновенно такое расслабленное, тающее выражение, как будто превратилось в воск, а голова собеседницы – в ярко пылающую печку.

- Да, барышни, вы правы, совершенно правы, - говорил между тем Аполлон Егорович, постепенно воодушевляясь, - действительно, было бы смешно, скажу более: было бы глупо и безрассудно с моей стороны возмущаться словами какого-нибудь Бобохова - словами, порожденными мелочною завистью, хвастовством и злобою... Бобохов! безграмотный Бобохов помогал мне! Хорош сотрудник, нечего сказать! С таким помощником я, верно, не получил бы пяти тысяч за мою «Непризнанную Индейку»!..

- Пять тысяч! - воскликнула с изумлением Варвара Андреевна.

- Пять тысяч! - подхватила Вера Андреевна, всплеснув руками.

- Пять тысяч! - повторила Капитолина Лукинична Дядинькова, откидываясь на спинку стула и вперяя удивленные глазки на Аполлона Егоровича, который смело встретил направленные на него взгляды и значительно раздул ноздри.

- Помилуйте, mesdames, что ж тут такого удивительного? - сказал с необычайною живостью г. Чибезов, - я могу привести вам, если хотите, тысячу фактов, из которых вы увидите, что сочинители получают даже больше пяти тысяч! Был у меня один приятель, который получил раз восемнадцать тысяч; другой получил десять тысяч, третий... все это, как честный человек, ничего не значит! - промолвил он с видом знатока. - Главное дело, сударыни, не в деньгах, - продолжал г. Чибезов, приводя в движение тощие мускулы своего лица, - совсем не в деньгах! Я знаю наверное и даже могу рассказать вам сотню историй, которые покажут, что нет на свете такого сочинителя, который не был бы душевно рад отдать даром свое произведение. Главная цель вдохновенного человека – слава, известность. Я сужу по себе. Если б я написал какое-нибудь дивное творение и мне сказали бы: возьми миллион с тем, что сожгут твое творение и разлучат тебя со славой, я отказался бы напрямик, как честный человек, отказался бы! Я уверен, что Аполлон Егорыч, как человек с вдохновением, разделяет мое мнение! - довершил Чибезов, задыхаясь от чересчур сильного напряжения ввалившейся груди и пересохнувшего горла.

Во время этого жаркого монолога, прерываемого такими быстрыми движениями глаз, рук и ног, как будто Чибезов защищался от целого легиона неприятелей, Аполлон Егорович расправлял вихры и неистово раздувал ноздри; с окончанием монолога, Дрянков кашлянул, гордо обвел глазами присутствовавших и, положив коренастую ладонь на руку собеседника, произнес с чувством:

- Благодарю вас, Павел Павлыч, вы меня поняли!

Тут Аполлон Егорович обратился к дамам и, выразив на лице своем скромную улыбку, принялся распространяться о колоссальном успехе «Непризнанной Индейки», успех которой, если верить словам даровитого автора, вознаградил его вполне за всю горечь, испытанную им во время долгого, тернистого литературного поприща. Аполлон Егорович привел в справедливое изумление своих слушателей рассказами о том, как общество писателей, не зная, чем выказать свою признательность творцу «Непризнанной Индейки», поднесло ему собрание сочинений всех членов общества и, в подтверждение сказанного, выбежал из зала, порылся минут пять в чемоданчике и возвратился с брошюрками «Пелопонизо-Таврических Мелодий», «Заоблачных Трелей» и проч., и проч. Затем Аполлон Егорович передал верно и подробно о том, как не было ему решительно никакого прохода в Петровском парке, как поминутно дребезжала в ушах его собственная фамилия, произносимая сотнями голосов, как многие знатные дамы, завидя его издали, останавливали свои кареты и восторженно направляли на него лорнеты; как редакторы всевозможных газет и журналов убеждали его подарить им несколько драгоценных строчек, предоставляя на его волю выбор сюжета и вместе с тем предоставляя ему назначить за свой труд какие угодно условия. Предшествовавшие слова Дрянкова могли возбуждать недоверие, но это последнее доказательство успеха его повести мигом рассеяло все сомнение, и с этой минуты на него стали смотреть как на что-то выходящее из разряда обыкновенных смертных.

- И после этого вы можете огорчаться тем, что говорит какой-нибудь Бобохов! - воскликнули в один голос присутствовавшие, за исключением несчастного Прокисая Захаровича, который сидел по-прежнему у двери и продолжал наблюдать с отчаянно зловещим видом Василькова и Надеженьку.

Внезапно Павел Павлович Чибезов, ходивший быстрыми шагами по зале, подбежал к столу с вареньем и, размахивая руками, проговорил с необычайным воодушевлением:

- Конечно, Аполлон Егорыч не должен огорчаться словами этого Бобохова; но, во всяком случае, как честный человек, следует проучить Бобохова!.. У меня блеснула счастливая мысль!.. Я сейчас сочинил несколько стихов на Бобохова! Мы перепишем эти

стихи, запечатаем их в пакет и пошлем в Голодаевку от неизвестного – превосходно! Итак, знаете, случайно, неожиданно блеснула такая мысль... право, даже странно как-то...

- Что вы! что вы, Павел Павлыч! как, вот в это время?., в одну минуту какую-нибудь вы успели сочинить?! - сказала, всплеснув руками, Вера Андреевна.

- Да-с, у меня, знаете, все это вдруг! - возразил Чибезов, заливаясь самодовольным смехом, причем глаза его засверкали пуще прежнего, - так, знаете, со мной всегда бывает: и не думаешь, вдруг засверкают мысли! Иногда ночью, знаете, спишь, вдруг мысль! бужу жену: «садись, говорю, пиши под диктовку»; закуриваю трубку, хожу во комнате... не успевает записывать...

- Ах, Боже мой! вот уж подлинно-то талант!..

- Ха-ха-ха-ха!.. а... а... - залился Чибезов, сверкая восторженно глазами.

- Так что же вы такое сочинили на Бобохова, Павел Павлыч? скажите нам, скажите... ах, как это весело и приятно! - нетерпеливо проговорила Вера Андреевна.

Павел Павлович не заставил себя дожидаться; он отпрянул шаг назад, кашлянул и, устремив на присутствовавших быстрые глаза, в которых сверкали молнии, произнес без одышки - и с такою поспешностью, что слышались только окончания слов - следующие стихи:

В Перми раз жил с румяною женою
Богатый, удалой купец,
Он торговал железною рудою
И прижил сына наконец!..

- Ах, как мило! Какой ум! И как это все скоро! Прекрасно! Прекрасно! - воскликнули дамы, когда импровизатор запнулся и остановился.

- Когда я расположен, клянусь вам, это у меня всегда так бывает! - сказал Чибезов, одолеваемый хриплым кашлем. - Итак, Аполлон Егорыч, мы спишем эти стихи и пошлем их к Бобохову.

- Завтра же. Благодарю вас...

- О, это будет ему горче ревеню! Ручаюсь, ночь не будет спать!

- Бедный Бобохов!

- Ах, несчастный!

- Впрочем, клянусь честью, он этого вполне заслужил.

- Сплетник и негодяй! - подхватил Дрянков. - Хуже всего то, что сплетни, распускаемые им на мой счет, могут дойти до Балахнова... Вот это-то, признаться, более всего меня и возмущает.

- Отчего ж так?

- Балахнов чувствовал ко мне всегда и постоянно непримиримую ненависть, - гордо сказал Дрянков, - я никогда не льстил ему, не поклонялся и всегда говорил правду в глаза. Он будет очень рад воспользоваться сплетнями этого Бобохова, чтоб повредить мне во мнении людей, которые из угождения ему никогда не отдавали мне должной справедливости...

- Пускай это случится, - я буду очень рад! - вскричал Чибезов. - У меня, клянусь честью, давно вертится в голове басня на Балахнова... Пускай он только попробует оклеветать Аполлона Егорыча, мы пошлем ему эту басню!

- О, какой вы злой, Павел Павлыч!.. С вами просто опасно быть знакомым... Вы, чего доброго, и на нас напишете что-нибудь... - произнесли старшие Кокуркины.

- На этот счет, барышни, вы можете быть спокойны! - возразил с горячностью Чибезов. - Особы, которых я люблю и уважаю, никогда не будут предметом моего пера!.. Господин Балахнов совсем другое... я давно ищу случая запустить шпильку господину Балахнову.

- За что же так?..

- У меня найдется на этот счет тысяча причин и историй!..

- И у меня также! - мрачно заметил Дрянков.

- Полноте, полноте, господа! Вы, право, кажется, слишком уж нападаете на Аристарха Федорыча! - весело воскликнула Вера Андреевна. - Аристарх Федорыч... конечно, горд... но... разумеется... если хотите... но, во всяком случае, он прелюбезный человек и в его доме очень приятно... он очень, очень милый человек...

- Гм! гм! - произнесла Капитолина Лукинична сомнительным тоном.

Взоры всех устремились мгновенно на Капитолину Лукиничну, но она сделала вид, как будто ничего не замечает и, глядя в окно, разглаживала весьма усердно гофрированные бандо рыженьких волос своих.

- Конечно, Аристарх Федорыч премилый человек, - продолжала неуверенным голосом толстая Вера Андреевна, - а, впрочем, я не знаю, может быть, с ним случилось еще что-нибудь, может быть, это из-ве-стно Капитолине Луки-нич-не?..

- Как, мне? Отчего же мне именно? - сказала Капитолина Лукинична голосом невинности. - Я ничего не знаю, право, ничего...

- Полноте, полноте, голубушка, Капитолина Лукинична, этого быть не может, вы все знаете!..

- Ей-Богу же ничего не знаю! - с уверенностью возразила Капитолина Лукинична. - Я полагаю, что вам, Варвара Андреевна, и вам, Вера Андреевна, известно более моего: вы так часто бываете в Ханских Прудах. Я знаю только то, что знают все, весь уезд, вся губерния.

- Что же такое? - спросили присутствовавшие, придвигаясь ближе.

- Не знаю, верить ли этому. Говорят, будто Аристарх Федорыч в бытность свою в Москве перезаложил Ханские Пруды, и теперь у него ничего не остается, кроме неоплатных долгов...

- Это так верно, сударыня, - воскликнул Дрянков,- так верно (вы знаете, дела Балахнова известны мне, как свои пять пальцев); недаром прожил я в его доме почти четыре года! Да-с, с минуты на минуту надо ожидать его гибели... Помяните меня, если через несколько месяцев не пустит он по миру жену и детей...

- Ох! - вздохнули все дамы, не исключая даже бессловесной Крепышовой.

- Человек без чувства и сердца! - неистово прокричал пылкий Чибезов.

- Главное дело еще не в том-с! - продолжал Дрянков с возраставшим жаром. - Главное дело в том, что он предательским образом вовлек в свои запутанные обстоятельства многих из бывших его друзей...

- Да вот чего же лучше, вот вам живая жертва балахновского пронырства, спросите его... - подхватил Дрянков, неожиданно поворачиваясь к Василькову, который быстро оторвал глаза от ресниц Надеженьки, обдернул жилет и привстал с места.

- Виноват, сказал Порфирий Павлович, - рассеянно взбивая свои волосяные пряди, - виноват, я не вслушался хорошенько...

- Я хотел напомнить этим дамам твою историю с Балахновым...

- Да, Аристарх Федорыч обошелся со мной вовсе не по-дружески, - проговорил Порфирий Павлович, мысли и чувства которого были заняты в это время одною Надеженькой.

- А что вы скажете, например, об истории с Сараманаевой? - продолжал Дрянков с торжествующим видом.

- Ах, да, ужасная история, - подхватили дамы.

- Черная история! - воскликнул Чибезов, вызывая на лице своем целый ряд неистово-резких выражений.

- Да, Аристарх Федорыч поступил с Розалией Владимировной не совсем благородно...

- Скажите: низко, отвратительно! - снова воскликнул нервозный Чибезов, размахивая руками с такою быстротою, как будто Аристарх Федорович стоял перед ним и он принял твердое намерение разбить его вдребезги.

- Скажите, пожалуйста, что же будет теперь делать Лизавета Семеновна?..

- Я вам говорю: пойдет по миру...

- Ох! - простонала Варвара Андреевна.

- Бедная, несчастная Лизавета Семеновна! - сказала Вера Андреевна с таким чувством, как будто Балахнова была сто раз ее сестрою.

- Говорят, однако ж, будто... - пробормотала несвязно Капитолина Лукинична.

- Что такое?..

- Нет... так... я хотела спросить про Карачаева...

- Вы разве слышали что-нибудь?..

- Нет, право, ничего... я хотела только спросить:. правда ли, что Карачаев жил в Ханских Прудах в то время, как Аристарх Федорыч был с вами в Москве?

- Правда, совершенная правда-с. Поверьте мне: Балахнову совершенно все равно!.. Он давно принес Лизавету Семеновну в жертву своему эгоизму. Да вот, Варвара Андреевна знает, какова ее жизнь...

- Ох! - простонала вместо ответа Варвара Андреевна, возводя глаза к потолку.

- Что до меня касается, - сказала средняя Кокуркина, - я сожалею более всего о детях. Скажите, пожалуйста, чем виноваты невинные малютки?..

- Бедные дети! - сказала со вздохом Варвара Андреевна.

- Жалкие малютки! - подхватила Капитолина Лукинична.

- Достойны всякого сострадание сироты! - произнес, в свою очередь, Дрянков.

- Нет, скажите лучше: несчастные дети! - воскликнул с отчаянием Чибезов.- Несчастные дети!..

- Именно так: несчастные и вполне несчастные дети! - подтвердили в один голос все присутствовавшие.

XIV,
служащая продолжением предшествующей.

Вместе с этим восклицанием, в котором весьма легко могли прозвучать две-три ноты истинного соболезнования о судьбе детей Балахнова, в зале показалась горничная, известная в Веселых Горках под названием «Агашеньки». Горничная эта – дочь мрачного Кузьмы, кучера Кокуркиных. Белокуро-рыжеватые волосы Агашеньки были тщательно расчесаны, намаслены и прилизаны; но голова ее, сверкавшая как полированное золото, далеко не соответствовала, однако ж, затасканному платью из скромной полосушки, которое, в свою очередь, окончательно уже не могло соответствовать обуви, состоявшей исключительно из одних толстых шерстяных чулок, прорванных на пятках. Агашенька могла, таким образом, напоминать в целом одну из аллегорических статуй древности, у которой голова была золотая, туловище железное, а ноги глиняные. Агашенька, не мешает заметить, ходила большею частью босиком; чулки надевались тогда лишь, когда предстояло являться в зале или гостиной, чтоб, во-первых, соблюсти приличия, во-вторых, сохранить пол в надлежащей чистоте – обстоятельство, за которым строго наблюдали сами хозяйки.

- Что ты, Агашенька? - спросили старшие барышни.

- Кондей Иванович и Софья Кузьминична прислали батрака...

- Фектиску?

- Фектиску-с. Приказали кланяться и приказали спросить: будете ли вы нынче дома: оченна желают вас видеть...

- Дома! дома! - вскрикнула Вера Андреевна, припрыгивая на стуле при мысли, что к вечеру маленькая зала окончательно запрудится гостями. - Скажи: оченно рады; приказали, дескать, кланяться и приказали просить к себе!..

Агашенька юркнула в переднюю.

- Кстати о Свищовых. Скажите на милость, что, как они теперь?.. Все еще ссорятся с Полушкиными?.. - спросил Чибезов.

- Как прежде было, так и теперь: ссорятся беспрестанно; только и слышишь об этом...

- Ха-ха-ха! - залился Чибезов, приводя в движение черты своего лица.

- Просто ужасти, да и только! - проговорила, в свою очередь, рыженькая Капитолина Лукинична. - Хоть бы, право, людей-то постыдились; хоть бы, наконец, постыдились ближайших соседей: дом Лукерии Фоминичны, как вам известно, находится между их домами - и что ж? поверите ли, день-деньской слышишь одни только перебранки... такое, право, неудовольствие!., вот хоть бы вчера, например...

- А что, разве вчера опять что-нибудь случилось? - спросили Кокуркины.

- Уж будто вы ничего не слыхали?..

- Нет, голубушка, ничего не знаем...

- Ужасти, ужасти, что было такое!.. - заговорила Капитолина Лукинична. - Началось, с чего начинаются у них обыкновенно все ссоры: Софья Кузьминична повздорила за что-то с Матреной Васильевной Полушкиной... кажется, что за кур Матрены Васильевны, которые влетели в огород Свищовых... Вдруг, что же мы слышим с Лукерьей Фоминичной: прибегает к нам полушкинская Анисья... знаете, та, что муж умер на Святой - прибегает и говорит: «Матушки-барышни, говорит, одолжите ушат воды. Кондей Иваныч поссорились, говорит, с Проклом Иванычем и не подпускают Прокла Иваныча и людей его брать воду в пруде; а пруд-то, матушка, - говорит Анисья, - сами знаете, принадлежит Свищовым. Как быть?» Это нас, признаться сказать, изумило! особливо Лукерью Фоминичну. – «Что ты врешь?! - говорим мы Анисье. - Право, матушки-барышни, говорит она, - извольте хоть сами поглядеть». Мы подошли к окну... и что ж бы вы думали? видим: стоит Кондей Иваныч у берега, машет руками и не подпускает к пруду полушкинских баб...

- Ха-ха-ха-а-а!.. - снова залился Чибезов, - превосходно! как честный человек, превосходно! Позвольте, у меня блеснула по этому случаю счастливая мысль, - неожиданно примолвил он, придавая задумчивое выражение своему лицу и принимаясь тереть лоб, - сейчас, сию минуту... отлично!

Тут Чибезов с жадностью припал губами к чубуку, затянулся дымом и, впиваясь сверкавшими глазами в присутствовавших, принялся отхватывать скороговоркою:

Вот два соседа жили,
Знакомство меж собой водили.
Один из них, маститый воропегий конь...
Другой…

Но в ту самую минуту, как Павел Павлович стал приходить в то раздраженное состояние, какое овладевает каждым импровизатором в минуты поэтического вдохновения, минуты, весьма близкие к помешательству, слово замерло на устах его, и он должен был остановиться.

Дело в том, что в это время в маленькой прихожей послышался ужаснейший шум, возвестивший прибытие семейства Свищовых.

Чибезов сделал полунетерпеливый, полуугрожающий жест, поставил трубку на окно и заходил из угла в угол; гостеприимные барышни поспешно приподнялись со своих мест; Капитолина Лукинична пригладила волосы; Порфирий Павлович откинул голову от плеча Надеженьки; Прокисай Захарович испустил протяжный безотрадный вздох и направил глаза на дверь передней. Могучий бас Кондея Ивановича раздавался между тем за дверью:

- Здравствуйте, барышни, - говорил он, снимая меховые сапоги, которые при падении своем на пол производили звук пудовой гири, - здравствуйте, вот и мы к вам!..

- Здравствуйте, барышни, вот и мы к вам! - послышался вслед за тем слабый голос госпожи Свищовой.

- Здравствуйте, барышни, вот и мы к вам! - проговорили еще слабее дочери Кондея Ивановича, находившиеся покуда еще в сенях.

- Милости просим! милости просим! - закричали Кокуркины с таким же радостным выражением, как матросы Колумба, когда увидели берега Америки.

- Вот и я налицо! Уф, уф! запыхался совсем, уф! - забасил с одышкою Кондей Иванович, появляясь в дверях и расшаркиваясь. - Ба, ба, ба! гостей-то у вас, гостей-то! - продолжал он, растопыривая руки. - ну, матушка, Вера Андреевна, уф, уф! честь имею, матушка, поздравить вас с наступающим днем вашего рождения!

- Честь имею поздравить вас с наступающим днем вашего рождения! – произнесла в отдалении Софья Кузьминична Свищова.

- Честь имеем поздравить вас с наступающим днем вашего рождения! - проговорили еще дальше дочери Кондея Ивановича, снимавшие салопы.

Кокуркины рассыпались в благодарностях и тут же изъявили желание видеть у себя завтра на празднике семейство почтенного соседа, на что, конечно, получили тотчас же согласие; затем они пошли навстречу Софьи Кузьминичны и ее дочек, между которыми особенно отличалась старшая, полная, как огурчик, и цветущая, как пион, - словом, та самая, что принимала грациозные позы перед Бобоховым в саду Аристарха Федоровича.

В мелком провинциальном обществе поцелуи находятся еще до сих пор в сильнейшем употреблении. Дамы, даже такие, которые за глаза уничтожают друг друга, решительно не могут встретиться без того, чтоб не обменяться тремя жаркими поцелуями. Как только Софья Кузьминична и девицы Свищовы переступили порог прихожей, в зале послышался батальный огонь звонких поцелуев, приправленный густым чмоканьем, производимым толстыми губами Кондея Иваныча на пухлых руках Кокуркиных и остальных дам.

- А-а-а-а! здорово, брат, Порфирий Павлыч! - голосил Кондей Иванович, между тем как дамы любезничали и продолжали целоваться. - Давненько, брат, уф, уф! давненько не видались! Павел Павлыч, здравствуй! Ну, братец, уф, уф, какого, скажу, кобелька я тебе припас, спасибо скажешь!.. Здорово, Дрянков... у-у-у-и... Прокисай здесь! Здравствуй, молодец! Ну, что, гитару-то, я чай, привез с собою?.. Привез! ой-ли?! ну ладно! Ай да молодцы, право-слово молодцы! - заключил Свищов, похлопывая в ладоши и не замечая холодности, с какою приняты были его бесцеремонные выходки Дрянковым и Чибезовым.

В первые пять минут общество находилось в самом смешанном, неопределенном состоянии и, как это водится обыкновенно, не знало, где и как расположиться. Чай, поданный Агашенькой и еще какою-то нечесаною девчонкой с исполинскими шерстяными чулками, заменявшими башмаки, усадил присутствовавших. Старшая Кокуркина, Свищова и Кондей Иванович отправились в гостиную. Молодежь, которой в совокупности было, по крайней мере, лет триста, расположилась в зале. Павел Павлович Чибезов выступил тогда на сцену и явился во всем своем блеске; поддерживаемый Дрянковым, он сыпал остроты, большую часть которых приводилось ему, неизвестно по каким причинам, нашептывать на ухо одним мужчинам, импровизировал стихи и басни, и так расходился под конец, что хриплым кашлем своим и перхотой покрыл говор, шушуканье и смех остальных собеседников и собеседниц.

Впиваясь глазами в пурпуровые губки Надеженьки, сложенные в виде тех сердец, которые рисуют над жертвенниками в альбомах; отданный весь, душою и телом, предмету своего созерцания, страстный Порфирий Павлович не замечал пытливых глаз Прокисая Захаровича, не пропускавших ни одного движения влюбленных; уши Порфирия Павловича, в которых звенели колокола каждый раз, как Надеженька обращала на него глаза свои, были глухи к отчаянным вздохам несчастного Копкова. С эгоизмом,

свойственным всем влюбленным, Порфирий Павлович не обратил бы внимания на Прокисая Захаровича даже и в том случае, если б знал, что Копков умрет завтра же от измены Надеженьки. Ни воспоминание о Сусловке и маленьком домике на берегу живописной речки, ни даже известие, что Антониночка лежит в настоящую минуту в злейшей чахотке, ничто уже не в силах было остановить пылкого Василькова. Любящие души, раз обманутые, не охладевают, но только переносят избыток своего огня к лицу более достойному. На этом основании, Порфирий Павлович и сам не знал, как случилось, что он без памяти влюбился в младшую Кокуркину. Нетерпеливый и взыскательный, он требовал, чтоб сердце Надеженьки делало такие же быстрые успехи, как его собственное. Сорок раз в день Васильков приходил в отчаяние и сорок раз в необузданный восторг. В истории новой любви своей, как и всегда, впрочем, Васильков имел больше причин огорчаться, чем радоваться. На этот раз источник всех его бедствий заключался в природной молчаливости Надеженьки. При существующих обстоятельствах, Порфирий Павлович приписывал эту молчаливость необъяснимой холодности. Проговорив своей возлюбленной за утренним чаем все то, что говорено было накануне, Порфирий Павлович начинал приставать, чтоб она, в свою очередь, сказала ему что-нибудь. «Что же мне вам сказать, ей-Богу, не знаю; я вам все уже сказала...» - произносила Надеженька, пришепетывая, опуская ресницы и делая из губ своих сердце. «Как, неужели ни одного слова, неужели ровно ничего не находите сказать мне?» - шептал Порфирий Павлович, уныло вращая своими глазами. «Ни одного слова!» - повторил он окончательно безотрадным голосом. – «Неужели вы не чувствуете той потребности... неужели вы мне так-таки ничего не скажете?». Надеженька опустила ресницы и молчала. Тогда Порфирий Павлович делал отчаянные жесты, быстро вскакивал с места и начинал расхаживать по комнате с таким видом, как будто через час предстояло ему расстаться с жизнью. В таких переговорах проходили у них часто вечера и даже дни.

В описываемые нами сумерки, после двух-трех слов любви, на которые Порфирий Павлович не получил ожидаемого ответа, влюбленным овладела внезапно одна из самых мрачных меланхолий. Он откинулся на спинку стула, спустил руки, свесил голову и, не замечая Веры Андреевны, которая входила в залу со свечами, пробормотал вполголоса:

- Зачем вверился я... о! зачем я вверился этим прекрасным, но обманчивым чертам!.. нет, не стоит жить, я не жилец здешней жизни! не стоит жить!., не стоит жить! - повторил Порфирий Павлович, обращаясь неожиданно к входившей Вере Андреевне.

Вера Андреевна остановилась, нагнулась к влюбленной группе и, окинув ласковым взглядом сестру и первого мазуриста, шепнула выразительно:

- Живите! живите! живите!

Порфирий Павлович взглянул на Надеженьку, Надеженька взглянула на Порфирия Павловича; оба улыбнулись, заговорили, помирились – и с этой минуты до окончания вечера ничто уже не могло сравниться с восторженным настроением Василькова.

Вера Андреевна между тем, подняв подсвечники в уровень с головою, торжественно направлялась к остальным гостям, которым Чибезов импровизировал какую-то сатиру на провинциальную жизнь вообще и на ее скуку в особенности.

- Господа кавалеры, барышни! что это вы расселись по уголкам, как старички, право, какие-нибудь! - воскликнула Вера Андреевна, ставя на стол подсвечники, причем толстые румяные щеки ее задрожали, как студень. - Нет, я этого решительно не могу допустить, во-первых, как хозяйка здешней хижины, а во-вторых... во-вторых... ну, да как себе там хотите... - продолжала она, обращая к присутствовавшим веселое беззаботное лицо свое. - Сестрица Варвара, Капитолина Лукинична, Софья Кузьминична и Кондей Иваныч засели в «преферанец», а мы давайте-ка танцевать!

- Вера Андреевна, как честный человек, целую ваши ножки! - воскликнул Чибезов, прикладывая ладонь к губам и припрыгивая на одной ноге.

- Весело! ах, весело! - воскликнули барышни Свищовы.

- Ну, и прекрасно, очень рада! Музыка у нас под рукою: Прокисай Захарыч привез с собою гитару, - сказала Вера Андреевна. - Прокисай Захарыч, голубчик, поиграйте нам! - примолвила она, подходя к несчастному проживальщику, который вскочил, как пружинная кукла.

- Ей-Богу, не могу-с, Вера Андреевна... право, нельзя-с... - застенчиво пробормотал Копков.

- Да отчего же?., что же такое?..

- Все струны порвались... расстроена-с совсем-с... - проговорил Копков, бросая исподтишка выразительный взгляд на Надеженьку, которая, к сожалению, не заметила его, потому что слушала внимательно страстное воркованье Василькова.

- Ах, Боже мой, какая досада! Но что же мы будем делать завтра? неужто мы останемся без музыки? - с испугом сказала Вера Андреевна. - Прокисай Захарыч, подумайте, голубчик, ведь завтра день моего рожденья.

- К завтрему как-нибудь наладим, - произнес Копков, подавленный горьким сознанием своего ничтожества.

- То-то, то-то, голубчик, подумайте об этом и не посадите нас на мель! - подхватила Вера Андреевна, успокоившись. - Ну, господа кавалеры и барышни, на нет и суда нет; танцевать нельзя. Давайте, по крайней мере, играть в какую-нибудь игру... нельзя же так сидеть целый вечер!..

- Вера Андреевна, снова целую ваши ножки! - воскликнул Чибезов, закашливаясь от черезчур сильного напряжения голоса.

- Но в какую же игру мы будем играть, в какую? в какую? жмурки? гулючки? прятки?.. - закричали Свищовы.

- Нет, барышни, я думаю, вот в какую: давайте играть в «да и нет»; это нынче в большой моде: все играют, и игра-то веселая такая...

Предложение было принято с восторгом; все встали со своих мест, расположили стулья амфитеатром и снова уселись. Порфирий Павлович и Надеженька не заставили себя дожидаться; довольные и счастливые после примирения, они расположились рядышком; Прокисай Захарович молчаливо уселся подле Дрянкова, который продолжал думать о гнусных сплетнях Бобохова, имевших целью подорвать его авторскую славу, и потому не переставал быть мрачным.

- Итак, я начинаю! - сказала Вера Андреевна, сиявшая от удовольствия. - Не забудьте, господа мужчины и барышни, что я жаловать ни за что не буду: за малейшую ошибку - фант; а там как себе хотите!..

Тут Вера Андреевна весело тряхнула головой, подошла к старшей Свищовой и сказала:

- Барыня прислала вам сто рублей: что хотите, то купите, белого и черного не покупайте, да и нет не говорите... что вы купите?..

- Я куплю... шелковое розовое платье... с фалборами... и бантами... - произнесла, кривляясь, Свищова.

- Точно, розовое ли хотите вы купить? - спросила серьезным тоном Вера Андреевна.

- Розовое... - гнуся и картавя, повторила Свищова.

- Вам, может быть, хочется иметь на эти деньги крепрашелевое с воланами? - допытывалась Вера Андреевна.

- Нет, не хочу крепрашелевого...

- Фант! фант! - восторженно закричала Вера Андреевна. - Вы сказали: нет; пожалуйте фант!..

Свищова дала фант, и игра продолжалась.

На стенных часах в передней (которые, скажем мимоходом, имели похвальное свойство импровизировать и хрипеть не хуже самого Чибезова) пробило девять, когда Вера Андреевна объявила, что следует прекратить игру и пора приступить к выниманию фантов.

На этом основании, по общему востребованию, из гостиной принесен был ридикюль Софьи Кузьминичны Свищовой, ридикюль, как уж известно, невероятной вместимости.

- Господа кавалеры и дамы! - с восхищенным выражением лица воскликнула Вера Андреевна, болтая рукою в ридикюле, где уместились фанты, - чей фант вынется, что тому делать?..

- Оракула!

- Стоять в статую!

- Простоять на одной ноге!

- Петь песню!

- Мерить ленты. Я предлагаю мерить ленты, - меланхолически сказал Порфирий Павлович, бросая страстный взгляд Надеженьке.

- А я предлагаю вот что! - воскликнул Чибезов, делая конвульсивные движения бровями и глазами, - я предлагаю, что тот, чей фант вынется, должен будет сочинять экпромтом – какие-нибудь стихи!..

- Экой добрый какой! - сказала Вера Андреевна. - Хорошо, если фант вынется вам или Аполлону Егорычу: вам это ровно ничего не будет стоить, вы сочинители, авторы... а если кому-нибудь другому, мне, например, что я буду делать?., какие я сочиню стихи?..

- Что ж делать, Вера Андреевна, таков приговор игры! - произнес Чибезов, пожимая плечами и корча гримасу.

- Я стою на том, чтоб мерить ленты! - повторил Васильков таявшим голосом.

- А я стою за стихи! - сказал настойчиво Чибезов.

- Ну, так хорошо же, пусть будет по-вашему, - произнесла Вера Андреевна, опуская руку в ридикюль. - Итак, господа, чей фант, тому читать стихи! - заключила она, торжественно вынимая зубочистку в бисерном чехле.

- Павел Павлыч! Павел Павлыч! - вскричали присутствовавшие, восторженно хлопая в ладоши.

Но Чибезов не слышал уж последних восклицаний; как существо, у которого вдохновение всегда наготове, он тут же почувствовал приближение какой-то волшебной силы, которая заставила его тотчас воздеть глаза к потолку; лицо его приняло строгое, задумчивое выражение: забросив левую руку за спину и приложив палец правой руки ко лбу, он принялся расхаживать быстрыми шагами по зале, делая изредка жесты рукою, чтоб ему не мешали... Внезапно он вбежал в кружок присутствовавших, выставил правую ногу вперед, простер руку и, сверкая глазами, произнес скороговоркою:

Я не цыган, да удалец-молодец!
Зато барин, ни крестьянин, ни купец.
Эх-ма! поди прочь, берегись, берегись,
Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку,
Да пониже поклонись!..

Импровизация Павла Павловича произвела всех в истинный неподдельный восторг. Не мешает здесь заметить, что в мелком и провинциальном обществе сочувствие к печатной литературе и особенно к стихам ровно ничего не значит сравнительно с сочувствием к доморощенной, скорописной, словом, своей поэзии. Стишки разных двоюродных братцев, вдохновленных франтов в венгерке, возбуждают несравненно более восторга, чем стихи первоклассных поэтов. В провинции каждый кружок пользуется преимуществом иметь своего любимого поэта; такой поэт пользуется огромною славой; и хотя в общем мнении он не так «цветист», например, как Пушкин, написавший «Кавказского Пленника», и не так «боек», как Лермонтов, сочинивший «Демона», но уж, во всяком случае, стихи его веселее, забавнее и способнее возбудить восторг, чем стихи вышеупомянутых поэтов, которые описывают все какие-то страсти да ужасти.

- Господа! чей фант вынется, что тому делать? - продолжала Вера Андреевна, между тем как Чибезов простывал от волнения и отирал пот на лбу.

- Мерить ленты! мерить ленты! - настаивал страстный Васильков.

- Ну, что это, право, какие вы, Порфирий Павлыч... ишь какой сластун, право... А, по-моему, вот что: чей фант, тому разыгрывать затворника и выспрашивать у каждого секреты! - прибавила Вера Андреевна, радостно подпрыгивая от своей выдумки.

Все согласились. Вера Андреевна пошарила в ридикюле и вынула платок Надеженьки.

Порфирий Павлович неистово захлопал в ладоши, и все последовали его примеру.

- Ну, Надечка, ангел мой, ступай в переднюю... спрячься, душечка, под шубы и салопы, а мы будем приходить к тебе поодиночке рассказывать свои секреты! - проговорила Вера Андреевна, нежно глядя на свою любимицу и поправляя ей косынку.

Надеженька сузила свои губы, зарделась, застыдилась и пошла в лакейскую, сопровождаемая новым взрывом восторженных рукоплесканий.

- Кто первый пойдет к затворнику? - вопрос этот, вырвавшийся неожиданно из уст Веры Андреевны, возвратил мгновенно тишину и спокойствие. Возник ужаснейший спор о том, кому идти первому, кому последнему; наконец решили бросить жребий. Жребий выпал на долю Чибезова, и он отправился; за Чибезовым пришла очередь Свищовым, потом Вере Андреевне, потом молчаливой девице Крепышовой, Дрянкову, Василькову и наконец Прокисаю Захаровичу. Как только Порфирий Павлович юркнул в прихожую, Прокисай Захарович, томимый каким-то мрачным предчувствием, подошел к двери и скрылся за ту половинку, которая была отворена в залу.

- Прокисай Захарыч... э-э! что это вы?.. Смотрите, вы, кажется, хотите подслушать чужие секреты! - воскликнула Вера Андреевна, грозя ему пальцем.

- Нет-с... жду своей очереди... - проговорил Копков, выставляя из-за двери взбудораженное лицо.

- Прокисай Захарыч, извольте пожаловать к нам... вы подсматриваете! - закричали Свищовы.

- Нет -с... - пробормотал Копков, прикладывая поспешно глаз к скважине.

Внезапно Прокисай Захарович позеленел: убийственный звук поцелуя прозвучал в ушах его, и все на минуту помутилось и зашаталось перед ним. Он схватил себя обеими руками за голову, потерял баланс, половинка двери откинулась – и Прокисай Захарович кубарем покатился на землю.

- Ах, Боже мой! воды! воды! Прокисаю Захарычу дурно! Агашенька, Феклушка, воды! - прокричали десять голосов.

На крик сбежались Кондей Иванович и остальные гости; из дверей девичьей высыпали горничные; все окружили и начали подымать Копкова.

- Ничего-с... это так, голова закружилась... - пробормотал с болезненным стоном Прокисай Захарович.

Кроткий и покорный даже в эту роковую минуту своей жизни, минуту, которая окончательно решила судьбу его, Копков выпил несколько стаканов воды и успокоился. Минут пять после того игра, в которой принял на этот раз участие сам Кондей Иванович, продолжалась к всеобщему удовольствию.

Но уж с этой минуты до окончания вечера Прокисай Захарович не принимал ни в чем участия. Перед глазами его «мерили ленты», «становились в статую», стояли на одной ноге, он не мог преодолеть болезненных ощущений своего сердца и оставался ко всему равнодушен. Занимательные анекдоты, тысячи смешных фактов и историй, которые струились во время ужина из красноречивых уст вдохновенного Чибезова, не в силах были даже вырвать улыбки у Прокисая Захаровича.

Как только семейство Свищовых отправилось восвояси, он тотчас же ушел спать в приготовленную для него у Кокуркиных комнатку. Но сон бежал с упорством от глаз Прокисая Захаровича. Он лежал как на угольях и чувствовал с замиранием сердца, что Надеженька погибла для него невозвратно. Вместе с этою мыслью деревушка Веселые Горки и домик Кокуркиных окутались перед ним зловещим туманом, посреди которого

возникала, как привидение, грозная фигура Фионы Ивановны. Прокисай Захарович затрепетал всем телом, опустил глаза и поспешно скрылся под одеялом.

Ворочаясь с боку на бок, терзаясь совестью, раскаянием и угрызениями всякого рода, Прокисай Захарович решился провести завтрашний день – день рождения Веры Андреевны – в доме Кокуркиных, решился поиграть в последний раз на гитаре и уехать в Ханские Пруды с тем, чтоб никогда уж не возвращаться в Веселые Горки.

- Бог с ними!..

Такова была последняя и, может статься, первая определенная мысль, созревшая когда бы то ни было, в голове несчастного проживальщика.

XV.

Путешествия по проселочным дорогам сопряжены часто с большими неудобствами; тем не менее, однако ж, благодаря этим самым неудобствам один знаменитый муж попадает в весьма веселое и приятное общество

Аристарх Федорович, если только припомнит читатель, выехал от Бирюкова около полудня. От Сычовки Кормонолея Семеновича до Золотых Прудов Старобельского, куда должен был теперь направиться наш герой, считалось верст тридцать. Никто, впрочем, не мог поручиться за верность таких показаний. Иные утверждали, что от Сычовки до Золотых Прудов тридцать пять верст, другие – тридцать, третьи – двадцать пять и т. д. Что ж касается до дурных или хороших свойств дороги и до того, много ли будет мостов, деревушек, поворотов и какие именно повороты следует принять, чтоб не сбиться с пути, понятия были еще неопределеннее. Дело известное: ехать по проселкам без проводника или маршрута – то же, что пуститься по морю без компаса и магнитной стрелки! Следствием всего этого было то, что Аристарх Федорович после двух-трех часов езды окончательно сбился с дороги. Пожурив, как водится в таких случаях, кучера и слугу, Аристарх Федорович решился лично наблюдать за проселком; на этом основании он отстегнул кожаный фартук коляски, высунул на воздух голову и приказал направиться к видневшейся неподалеку деревушке.

Деревушка была в полном смысле слова жалкая деревушка; она состояла из шести-семи лачужек, расположенных в ряд по глинистому грязному косогору. Серые бревна, мокрые ворохи соломы с сидевшими кое-где галками, тусклый цвет осеннего неба и самый грунт почвы, бурый, слизистый, изрытый копытами коров и клячей, придавали картине какой-то плаксивый и вовсе непривлекательный вид. Под косогором, шагах в десяти от ближайшей избушки, изгибался овраг с крутыми берегами, обросшими кустарником, между корнями которого журчал мутный поток.

Достигнув мостика, который, как казалось, служил единственным сообщением между этой деревушкой и остальным крещеным миром, Аристарх Федорович приказал остановиться. Сделав затем два-три замечания касательно двух-трех дыр, обращавших мост в решето, он направил глаза свои на окна избушек.

Наблюдения великого человека не замедлили увенчаться успехом.

Он вскоре различил в одном из волоковых окон голову бабы, которая как будто спала, но со всем тем пристально рассматривала проезжавших.

- Эй, баба! баба! - закричал Аристарх Федорович, размахивая рукою, вооруженною фуляром.

Та, к которой обращалось воззвание, тряхнула головой, минуты две молча глядела на проезжавших и, в заключение, повернула лицо в совершенно противоположную сторону; все это сделала она с таким видом, как будто дело касалось вовсе не до нее, а исключительно до ее соседки.

- Эй, баба! баба! баба! - повторил еще громче Аристарх Федорович.

Баба снова тряхнула головой, снова устремила глаза на проезжавших и вдруг, выразив на лице своем все признаки крайнего замешательства, быстро спрятала голову и еще быстрее захлопнула окно.

- Эка дурища! право, дурища! - сказал Аристарх Федорович, мгновенно опуская руку, которая поднялась было для того, чтоб производить пояснительные жесты, - ну, чего она испугалась, чего?., чего? дура, право, дура!.. Эй, баба! баба! баба! - заговорил вдруг с необычайною поспешностью Балахнов, обращаясь к другому окну, из которого медленно показывалась другая голова.

На этот раз глазам его предстало желтое, сморщенное старушечье лицо.

- Эй, тетка, послушай! - повторил Аристарх Федорович, высовываясь из коляски.

- Чего надыть? - отозвалась старуха.

- Далече ли отсюда до Золотых Прудов?

- Асинька?

- До Золотых Прудов далече ли?

- Далече, касатик.

- А сколько?

- Да кто ее знает!

- Фу, никакого толку не добьешься! - произнес Аристарх Федорович, с досадою потирая переносицу. - Эй, тетка, - подхватил он, обратившись снова к старухе, - нет ли у вас здесь какого-нибудь мужика? кликни-ка его сюда; авось он знает дорогу.

- Нет, родимый, окромя малых ребят никого нетути; с обозом поехали...

- Не знаешь ли ты, по крайней мере, как проехать в Золотые Пруды?

- В Золоты-те Пруды-то?

- Да, да, да... в Золотые-Пруды...

Тут старуха словно оживилась. Она высунулась по самую грудь из окошка и, размахивая правою рукою, принялась пояснять дорогу. По словам ее, Аристарху Федоровичу следовало ехать по тому самому проселку, по которому он ехал прежде; не следовало только, никак не следовало, пропускать старой березы на правой руке и поворота; вот этот-то поворот и долженствовал привести путешественника прямо-прямехонько в Золотые Пруды.

Воодушевляемая воспоминаниями, которые при этом удобном случае зашевелились в голове ее, старуха исчислила даже мельчайшие приметы проселка.

- Вот только верст-то сколько, не припомню, касатик, - продолжала словоохотливая тетка, - не то двадцать, не то более; мужики сказывают: двадцать, да кто их знает! Самой-то, родимый, не приводилось ездить! - заключила она спокойно-рассудительным тоном, который соответствовал как нельзя более почтенной седине ее и зрелым летам.

«Ну, да что тут, не в верстах дело, - подумал Балахнов, закутываясь в шубу, - лишь бы знать дорогу, а там рано ли, поздно ли, авось доберемся как-нибудь до Старобельского...».

- Пошел! - заключил он громко, - да смотреть, не зевать у меня и не пропускать березы и поворота!

Сказав это, Балахнов погрузился самым комфортабельным образом на дно коляски и минуту спустя покатил по проселку.

Мыслительные силы Аристарха Федоровича, как уж известно, находились всегда в напряженном состоянии: не было минуты во все продолжение сознательной жизни нашего героя, когда бы силы эти утрачивали свою упругость и оставались без возвышенных занятий. Мысли Аристарха Федоровича, направленные сначала на Старобельского, но сбитые потом на середине дороги вопросами о неудобствах путешествия по проселкам, нимало не испугались двойной работы. Аристарх Федорович думал о Старобельском и в то же время размышлял с большим успехом о проселках. Переходя постепенно от одного предмета к другому, Балахнов соединил наконец оба эти

предмета в одно целое и уж с этой минуты стал разрешать вопросы о проселочных дорогах не иначе, как став в положение Старобельского.

По его мнению, Старобельскому как богачу и притом человеку бездетному и бессемейному, ничего не стоило разровнять дороги от главных пунктов уезда (в том числе и Ханских Прудов, разумеется) до своей вотчины; ничего не стоило ему приказать поправить на свой счет мостишки, завалить фашинником дыры и приделать, для окончательной безопасности проезжающих, перила на этих мостах. «В этом случае, - думал Аристарх Федорович, - конечно, никто из нас не был бы на него в претензии; всякий, напротив того, принес бы ему свою искреннейшую признательность! Хоть бы я, например: да пожелай он только перестроить у меня в Ханских Прудах все мосты или выровнять дороги! Строй, строй, сколько хочешь строй, хочешь, из чугуна или мрамора, что ж такое, очень рад! Вот и все тут!». Далее, по соображениям горшковского дипломата, что стоило, например, богатому Старобельскому поставить на всех перекрестках уезда маленькие пирамиды или обелиски, или, пожалуй, если не то и другое, так хоть столбы с обозначением верст и направление, какое следует принять для достижения в Золотые Пруды? – «Эх! Золотые Пруды, Золотые Пруды – эх! эх! - думал Аристарх Федорович, саркастически улыбаясь и выразительно потряхивая головою, - хороши вы, Золотые Пруды, великолепны, что говорить! да ты-то, брат Старобельский... эх! хе-хе... возишься ты, брат, с одними лошадьми да с конюхами: ну, кому ты нужен? Какая польза в твоем богатстве? какая польза твоим соотечественникам? Эх, дали бы мне твои Золотые Пруды, дали бы мне твои средства, не то было бы, любезнейший: я показал бы всем вам, как надо жить! Все соседи теснились бы в моих живописью украшенных палатах! - продолжал он, - весь уезд сбегался бы на мои пиршества, которым подобных не нашли бы в записях давно протекших времен!..».

На этом самом месте мысли Аристарха Федоровича были прерваны толчком коляски, которая неожиданно остановилась.

- Что там еще? - спросил он тоном человека, которого пробуждают в минуту сладкого сновидения.

- Приехали, сударь, к березе, - отвечал смущенным голосом Сидор, почтительно приподымаясь одною рукою на козлах, тогда как другая рука его приподымала шляпу, обшитую галуном.

- Ну, так что ж такое, что приехали? Ведь тебе сказала старуха, что тут будет поворот. Сворачивай и пошел!

- Поворота-то тут, сударь, три и все три дороги идут вправо: по которой ехать, я и сам не знаю! - добавил Сидор, обращаясь с сокрушенным видом к старой березе.

- Как? - вскричал Аристарх Федорович, покрываясь краской негодования и ударяя с такою силою по кожаному фартуку, что принужден был тотчас же приложить кулак к собственным губам своим.

- Ну, что ж мы теперь будем делать? не стоять же на месте! - сказал Балахнов, овладевая собою, - надо же на что-нибудь решиться; надо куда-нибудь ехать, хоть до ближайшей деревушки. А что, не видать там какой-нибудь деревни?

- Никак нет-с, - отвечал Сидор, поворачиваясь во все стороны с быстротою флюгера, который не успел еще заржаветь.

Сидор говорил сущую правду: нигде не было заметно признака деревушки; совершеннейший пустырь распространялся как по правую сторону коляски, так равно и по левую; спереди и сзади тянулись такие же точно темные гладкие поля, которые, подобно морю, убегали в необозримую даль и терялись за горизонтом. Весь этот земляной океан оживлялся одною лишь старою березой, которая стояла пригорюнясь на перекрестке и сбрасывала последние листья свои, уносимые тотчас же ветром.

Наши путешественники, очевидно, находились в положении пальчика-мальчика и его братцев, затерянных посреди глухого непроходимого леса. Такие сокрушительные и отчаянные положения постигают, впрочем, слишком часто отважного смертного,

покушающегося пуститься по лабиринту проселочных дорог; каждому почти приводилось испытывать то же, что испытывал Аристарх Федорович, и потому-то считаю лишним долго распространяться об этом слишком обыкновенном предмете.

- Вот, сударь, - сказал наконец Сидор, когда коляска уже готова была тронуться с места и покатиться на произвол судьбы, - вот, сударь, кто-то идет; никак мужик; спросить бы у него...

- А, ну, слава Богу! - произнес Аристарх Федорович не без внутреннего удовольствия, - кричите ему, чтоб шел скорее! - заключил он, бросаясь нетерпеливо в глубину коляски.

Сидор и кучер принялись попеременно надсаживать горло; минут десять продолжалась эта перекличка, и столько рвения приложено было со стороны обоих слуг, что Аристарх Федорович, выведенный, наконец, из всякого терпения, приказал им замолчать.

Мужик приближался между тем ровным валким шагом и, по-видимому, не торопился.

То был малый лет тридцати, приземистого и крайне несообщительного вида, с крошечными серыми глазками, глядевшими исподлобья; на плече его покоилась палка, а на конце палки болтались лапти.

Вскоре он поравнялся с коляской.

- Скажи-ка, любезный, какой поворот взять, чтоб приехать в Золотые Пруды? - спросил Аристарх Федорович, выглядывая из-под кузова.

- Да сами-то вы отколе? - спросил парень, встряхивая лаптишками.

- Отколе бы ни были, это все равно; скажи только, куда нам проехать в Золотые Пруды?

- А далече отселева эвти «пруды-те»? - спросил парень.

- Так, стало, ты не знаешь? - произнес Аристарх Федорович.

- Не знаю! - равнодушно отвечал парень.

- Фу! - вскричал Балахнов, сжимая кулаки, но тотчас же овладел собою и подхватил спокойнее: - не знаешь ли, по крайней мере, куда проехать до ближайшей деревни?

- Как не знать! По которой дороге ни поезжай, везде будут деревни.

- А до которой будет ближе?

- Пожалуй, что и все не больно далече, - отвечал парень, поправляя шапку.

- Пошел направо! - крикнул Аристарх Федорович, снова бросаясь на дно коляски и укутываясь с головою в шубу, чтоб скрыть следы негодования, которые отпечатывались теперь самыми яркими красками на величественном лице его.

Час спустя после этой сцены глазам Сидора и кучера предстало большое село; еще полчаса - и коляска очутилась на широкой улице, расположенной, по всем признакам, на топком болоте, потому что как только коляска поравнялась с первой избушкой, колеса ушли по самую ступицу. К счастью еще, навстречу попалась толпа мужиков, возвращавшихся с молотьбы, что доказывалось длинными цепами, торчавшими, как ружья, на плече каждого мужика.

Не медля ни минуты, Аристарх Федорович приступил к расспросам. Забабуринские мужики (село называлось Забабурино) оказались столько же услужливыми, сколько встреченный парень был несообщителен и две первые бабы бестолковы. Они тотчас же окружили коляску и принялись объяснять дорогу с таким единодушием, что Аристарху Федоровичу представилось в первую минуту, будто он присутствует на мирской сходке. Забабуринские мужики говорили все вместе, кричали, размахивали руками, перебивали друг друга, так что не было решительно никакой возможности выпутать одного ясного и дельного показания.

- Эх, братец ты мой! - ласково говорил один, обращаясь к кучеру, - вам и незачем было сворачивать направо, ехали бы прямо...

- Э! прямо! прямо! - восклицал другой, - а куда бы они прямо-то приехали? ну, куда? куда?..

- В Семяникино...

- То-то в Семяникино! а на что их благородию ехать в Семяникино? я чай, на Глиновскую Слободку...

- Дядя Андрей, а дядя Андрей, дай я-те скажу: на Сосновку ближе, право, ну, ближе. Из Сосновки в Голопятово, из Голопятова в Дроздовку, а из Дроздовки пойдет прямая дорога в Золотые Пруды - рази не знать?..

- И то на Глиновскую Слободку ближе!..

- Эй, кучер, брат! послушай, что я тебе скажу: поезжай назад; как приедешь к той березе-то, направо не сворачивай, смотри не сворачивай, а пропусти еще поворот, да там прямо и ступай с Богом!

- Да кто вас посылал-то туда? Кто дорогу-то указывал?

- Баба! - в один голос и с одинаковым нетерпением отвечали кучер и Сидор.

В толпе раздался хохот.

- Эх, кого послушали!

- Баба! ну, вестимо, что мудреного!

- Двадцать верст сказывали! эхва! да и в сорок не вопрешь!

- Мерила, знать, баба клюкой, да махнула рукой!

Послышался новый взрыв хохота.

Нет сомненья, что Аристарх Федорович не стал бы так долго слушать болтовню мужиков и не замедлил бы положить конец всей этой болтовне, если б мысли его не перешли внезапно на другой предмет. Рассудив не без основания, что начинало уже смеркаться и что, следовательно, придется приехать к Старобельскому поздно ночью, он решился пожертвовать еще одним днем и отложить поездку до следующего утра.

Хотя часть губернии, по которой разъезжал теперь наш герой, была ему нехорошо известна, - Аристарх Федорович, если припомнит читатель, распространял уж круг своих честолюбивых действий за пределы Горшковского уезда, топография которого была ему так же хорошо знакома, как его пять пальцев, - он расчел, однако ж, что от Забабурина до Горшкова было не очень далеко. Забабурино лежало почти на самой границе Горшковского уезда. Балахнов принял намерение поехать немедленно в Горшков, переночевать на известном уже постоялом дворе, взять надежного проводника и завтра же утром, часам к двенадцати, прибыть в Золотые Пруды. На этом основании Аристарх Федорович приказал выехать на большую дорогу; минут десять спустя он благополучно миновал улицу, благодаря услужливым забабуринцам.

Успокоенный на этот раз прямизною дороги, Аристарх Федорович свернулся на подушках коляски, приподнял меховой воротник, опустил кожаный фартук, уложил ноги, крякнул несколько раз и погрузился в то полусонливое, полусладкое состояние, какое овладевает каждым путешественником, когда колеса вязнут в грязи, словно в пуховике, землю окутывают сумерки, а на небе висят сизые тучи, которые, того и смотри, обратятся в мелкий холодный дождик... Дождик действительно не замедлил пойти. Сначала он как будто жалел своих капель, но потом зарядил дружною дробью и полил как из ведра. К полнейшему отчаянию Сидора, ветер, сделавшийся к ночи еще сильнее, начал посылать время от времени целые снопы воды на его голову. Он принял наконец твердое намерение защитить хоть сколько-нибудь свою одежду от такой напасти; предстояло одно, впрочем, средство, да и то весьма слабое: надлежало повернуться спиною к дождю, ветру и кучеру, подобрать под себя ноги, скорчиться и съежиться до крайне возможной степени. Так и сделал Сидор. Кучер со своей стороны, находившийся с камердинером не совсем в миролюбивых отношениях, продолжал между тем помахивать кнутом и посвистывать. Изредка лишь поглядывал он на Сидора, насмешливо потряхивал головой, и, выбрав удобную минуту, пригибался всем корпусом к лошадям, чтоб дать дождю полную возможность погулять по спине своего недоброжелателя. Потом он снова принимал

перпендикулярное положение и снова принимался покрикивать и посвистывать. Такого рода проделки повторялись, впрочем, до той лишь поры, пока сумерки позволяли еще различать предметы; но когда ночь окутала небо и землю, когда не стало видно не только лошадей, но и спины Сидора, кучер махнул еще раз кнутом и, положившись вполне на рассудительность коренника и правой пристяжной, немедленно погрузился в сладкий сон.

С этой минуты дорожная коляска Аристарха Федоровича поехала медленнее и уж окончательно исчезла во мраке ночи.

Не могу определить с точностью, сколько раз рассудительный коренник и подруга его, рассудительная пристяжная, останавливались и сколько сделали они верст с той минуты, как заснул возница; знаю только, что по прошествии довольно длинного срока кучер и Сидор были внезапно пробуждены страшным криком, раздавшимся перед самой мордой коренника, который фыркал и упирался передними ногами.

- Стой! стой! - неистово кричал какой-то хриплый голос.

- Ишь куда лезете! - закричали еще громче Сидор и балахновский кучер, принимаясь дергать вожжами, суетиться, как будто весь этот случай произошел единственно от оплошности сидевшего против них кучера.

- Сворачивай с дороги, ну, ну, ну!.. - басил между тем незнакомый кучер.

- Долой с дороги! Прочь! - надрывался хриплый голос.

Минуты две обе коренные стояли, плотно упершись лбами. Никто не хотел уступить друг другу колеи; обстоятельство это показывало, впрочем, опытность обоих кучеров: выехать из колеи, значило засесть наверняка в такую грязь, из которой не вытащить экипажа десятком лошадей.

- Что там такое? - спросил Аристарх Федорович, протирая глаза и поспешно высовываясь из-под фартука.

- Кто едет? - крикнул еще неистовее хриплый голос.

- Помещик Балахнов, - отозвался Сидор.

- Ба-лах-нов! - повторил Аристарх Федорович густым, но сдержанным басом.

Но не успел он произнести этого слова, как в противоположном экипаже раздался такой истерически-восторженный хохот, от которого вздрогнули разом люди и лошади; вслед за тем кто-то прыгнул на землю и поспешно зашлепал по грязи. Секунду спустя незнакомец подбежал к коляске, смелою рукою отстегнул фартук и, просунув голову внутрь экипажа, залился новым восторженным хохотом.

- Карачаев? - сказал удивленный Аристарх Федорович.

- Я, душа моя, Aristarque! я! я!.. Ну, брат, сам Бог тебя послал! - воскликнул Карачаев. - Я в восхищении, что мы встретились. Спасибо, дружище! Спасибо, ребята, молодцы, удружили! - подхватил он, обращаясь неожиданно к Сидору и кучеру.

Тут Павел Петрович поспешно спрятал руки под мокрую шинель, пошарил в карманах и, вынув наобум две мелкие монеты, протянул их балахновским людям, прибавив: «спасибо, ребята, спасибо, удружили!».

- За что же, Павел Петрович, помилуйте, сударь, за что же?.. - бормотали люди.

- Бери, когда дают! бери! ну! - нетерпеливо крикнул Карачаев. - Ну, брат, душа Aristarque, как рад, как рад, что тебя встретил! - подхватил он, снова просовывая голову в коляску, причем поля его войлочной шапки пустили целую струю воды на колена Аристарха Федоровича. - Поверишь ли, ecoute: ведь вот второй день мечусь как угорелый по всему уезду и тебя отыскиваю!..

- Как! Что такое? Разве дома случилось что-нибудь? - перебил Балахнов.

- Нет, душа моя, нет, нет, успокойся, ничего не случилось! - с живостью сказал Карачаев. - Лизавета Семеновна, детки – все, слава Богу, здоровы, все обстоит благополучно; я ведь, брат, ты знаешь, маху не дам, за всем сам присматривал, все хорошо, слава Богу!..

- Что ж тебя понудило меня отыскивать с таким рвением? - спросил Балахнов.

- Нет, ты, душа моя, скажи мне прежде, куда ты теперь намерен ехать?

- В Горшков...

- Ну, нет, брат, атанде-с, дудки! этому не бывать! Мы сейчас же отсюда едем к Кокуркиным! Сегодня день рождения Веры Андреевны; я ведь, брат, затем тебя и отыскивал!

- Коли затем только, так я скажу тебе, что напрасно беспокоился.

- Че-е-во?

- Напрасно беспокоился, - повторил Балахнов.

- Как напрасно беспокоился? это отчего? - спросил недовольным голосом Карачаев.

- Оттого, что я к Кокуриным не поеду!

- Нет, поедешь! я тебе говорю, что поедешь! - воскликнул Карачаев, мгновенно разгорячаясь и принимаясь делать неистовые жесты, - поедешь, я тебе говорю, или иначе это будет с твоей стороны свинство! слышишь ли! Как! они прислали тебе приглашение, оказывают тебе всякие учтивости, а ты не поедешь! Четвертого дня, как только ты уехал, они прислали нарочного в Ханские Пруды с приглашением! - заключил Карачаев, переходя внезапно к убедительному тону.

- Как бы то ни было, любезный, - сказал небрежно-насмешливым тоном Аристарх Федорович, - а я не поеду; не поеду, во-первых, потому, что не вижу надобности, во-вторых, погода скверная да и поздно, в-третьих, чувствую себя вовсе нерасположенным...

- Че-е-во? А ты думаешь, я расположен? Ты думаешь, мне весело на душе, а? Ты думаешь, мне приятно было слоняться двои сутки, да мокнуть на дожде? а? а? Но я делал это, имея в виду отыскать тебя и повезти к Кокуркиным, которым ты не отдавал визита более года, - вот она штука-то в чем! Этого требует учтивость, деликатность, да! Ты думаешь, что ты и Бог знает что за птица! остальные все дрянь, меркатель какая-нибудь! К тебе все станут ездить, потешать твое самолюбие, а ты будешь лежать себе сложа руки, как этот... как бишь его?., богдыхан или султан у этого Пушкина, который лежит себе на софе, кругом все раболепствуют, теснятся... а у него в зубах янтарь шипит... Вот она штука-то в чем... Нет, брат, нет, этого, брат... да...

Весь этот монолог Аристарх Федорович выслушал очень рассеянно. В голове его внезапно сверкнула мысль, что у Кокуркиных, по случаю рождения толстой Веры Андреевны, могло съехаться изрядное количество мелких соседей; что авось-либо удастся ему приобрести в общей сложности еще один лишний голос и что, следовательно, не поехать ли ему лучше на вечер к «барышням», чем провести бесплодную ночь на постоялом дворе уездного города?

- Полно пустяки-то молоть, - произнес он, обратясь вдруг к Карачаеву, - скажи-ка лучше, насколько мы от Горшкова и сколько верст, следовательно, до Веселых Горок?

- Помилуй, братец, от Горшкова верст десять, а до Веселых Горок всего три версты, я думаю и того не будет! - воскликнул с живостью Карачаев, - повернем назад, полверсты всего, а там, по проселку, две с половиной... какое! двух верст не будет! - заключил он, снова орошая, помощью своей шляпы, ноги Балахнова.

- Ну, Бог с тобой, быть по-твоему: поедем к Кокуркиным! - сказал Аристарх Федорович, снисходительно улыбаясь.

- Ну да, душа моя, разумеется, так. Спасибо, я, брат, признаться, никогда не сомневался в твоем благородстве! - восторженно закричал Карачаев, простирая руки, чтоб обнять своего приятеля и поливая его в то же время как из лейки.

- Я надеюсь, однако ж, любезнейший, ты поедешь в своем экипаже? - произнес Аристарх Федорович, - в противном случае, чего доброго, здесь произойдет наводнение...

- Фу! извини, душа моя, я и забыл совсем, что с меня льет как из желоба! Конечно, я поеду в своей тележке!.. Ну, да что об этом; коли дело, так дело: едем, Аристарх Федорович, едем! Ты, брат, очень обрадуешь барышень!.. Завернись покрепче, смотри, дьявольски холодно!.. Я поеду впереди; мой Васютка укажет дорогу... Ну, ребята, сворачивай - и за мной! да смотреть в оба и не отставать!

Тут Карачаев закрыл кожаный фартук, взял под уздцы коренную Балахнова, поворотил коляску, причем раза два чуть не грохнулся в лужу, потом сел в свою тележку, закричал: «с Богом!» и поехал вперед.

С того места, где произошла встреча, было действительно не более трех или четырех верст до Веселых Горок. Наши путешественники не замедлили въехать в околицу и минут пять спустя увидели перед собою маленький домик Кокуркиных, в котором все окна светились самым радостным приветливым блеском.

Коляска бултыхнулась последний раз в лужу и остановилась у крыльца.

Когда Аристарх Федорович и Карачаев вошли в переднюю, глазам их предстала следующая картина: направо возвышалась до самого потолка гора из шуб, салопов, меховых сапог и стареньких, поистасканных шерстяных платков, которыми в мелком провинциальном кругу окутывают голову барышни и дамы, отправляющиеся на бал; прямо, на том самом месте, где располагалась дверь в комнаты, возвышалась другая гора, но только состоящая вся из спин, затылков, ног кучеров, лакеев и остальных членов дворни, головы которых просунуты были в залу, откуда излетало бряцанье гитары.

- Позволь поблагодарить тебя еще раз, душа моя, что ты приехал! - неожиданно сказал Карачаев, с чувством пожимая руку своего друга и торопливо принимаясь обчищать свое платье.

Аристарх Федорович улыбнулся, приподнял брови и отдал себя в полное распоряжение Сидора. Шепнув затем камердинеру, чтоб не распрягали лошадей, но только засыпали бы им корма, Балахнов принял ту величаво-вельможную осанку, которая так отличала его всегда в обществе мелких соседей, протискался, благодаря заботливому усердию Карачаева, сквозь гору спин и, выпучив грудь, улыбаясь и кивая направо и налево, вошел в залу.

Трудно представить себе эффект, произведенный его появлением. Мне кажется даже, если не ошибаюсь, один вид его мигом рассеял в сердцах всех присутствовавших даже самые подозрения относительно тех пунктов, в которых еще накануне обвиняли его с таким рвением. Единодушный неподдельный восторг изобразился на всех почти лицах. Звуки гитары тотчас же умолкли. Барышни прокричали в один голос: «ах!» и бросились к Балахнову навстречу; Порфирий Павлович Васильков, стоявший подле двери с Надеженькой, удостоился первый подойти к Аристарху Федоровичу и протянул ему руку с таким видом, как будто был одолжен им неоплатными суммами и ввек не мог с ним расквитаться; Кокуркины надрывались в произнесении именитому гостю благодарственного монолога; вдохновенный Чибезов, которому Балахнов пожал с особенною любезностью руку, восторженно сверкал глазами, между тем как Свищов и Полушкин, стоявшие по сторонам великого человека и покуда еще незамечаемые им, отвешивали поклоны. Один Аполлон Егорович (в этом следует отдать ему справедливость) не обнаружил увлеченья; он коротко и сухо шаркает сапогом и, мрачно насупив брови, отходит тотчас же в сторону. Но Аристарх Федорович не замечает Дрянкова; он наклоняет голову, говорит «благодарю!», снисходительно пожимает руки и добродушно улыбается. Хозяйки дома настаивают на том, чтоб именитый гость расположился в гостиной. – «Помилуйте, Аристарх Федорыч, - говорят они в один голос, - там вам будет покойнее... Как же это можно, чтоб вы сидели на этом стуле? этого мы никак не дозволим, во-первых, как хозяйки, а во-вторых... во-вторых, в гостиной мягкий диван и вам будет несравненно покойнее!..». Но Аристарх Федорович говорит, со свойственною ему скромностью, что он решительно не видит, почему он лучше других, находящихся здесь добрых и честных людей, и напрямик отказывается от гостиной. Тогда барышни обставляют гостя непроходимою стеною тарелок с вареньем и разными съестными изделиями своих рук. Новые лица обступают и окружают Аристарха Федоровича. Аристарх Федорович наклоняет голову, говорит «благодарю!», снисходительно пожимает руки и добродушно улыбается, не забывая в то же время делать свои наблюдения касательно тех лиц, которые в общей сложности могут составить на

выборах один лишний голос. Взор его случайно падает на Чибезова – и он вторично протягивает ему руку. Такое лестное отличие производит на нервозного Чибезова необыкновенно сильное впечатление. Прием великого человека пробуждает в Чибезове сознание собственного достоинства; в эту минуту пылкий Чибезов готов привести тысячу фактов и историй, из которых видно, как дважды-два-четыре, что Аристарх Федорович величайший и благороднейший муж своего уезда; ядовитая сатира, приготовленная накануне Чибезовым на этого самого мужа, забыта, забыта совершенно; в эту минуту Чибезов готов сочинить в пользу Аристарха Федоровича панегирик и заклеймить сатирой ближайших своих знакомых. Он располагается подле Балахнова и принимает вид человека с возвышенными понятиями.

Аристарх Федорович бросает на окружающих благосклонную улыбку, обличающую внутреннее сознание превосходства и силы: затем он обнаруживает надежду, что не будет служить помехою для всеобщего веселья, и просит продолжать танцы.

Прокисай Захарович берет два-три аккорда на гитаре – и пары устанавливаются.

Карачаев выступает впереди всех, почтительно ведя за руку старшую из барышень. Варвара Андреевна ни под каким видом не соглашалась танцевать; она уверяла Карачаева, что уж двадцать лет не танцует; но Павел Петрович, проникнутый непреклонною мыслью, что учтивость требует непременно пригласить прежде других старшую хозяйку дома, настоял на своем; он даже рассердился не на шутку, когда Варвара Андреевна заметила, что он приглашает ее, вероятно, для смеха. Движения Павла Петровича преисполнены необычайной важности, спокойствия и по всей справедливости удивляют присутствующих, не привыкших встречать его в таком степенном виде. Еще вначале, при первом появлении своем, он успел изумить всех, отказавшись наотрез налить рому в свой чай и ограничившись ложкою морса. В первую минуту рука его действительно протянулась было к графину, но пальцы его, как будто удерживаемые какою-то мыслью, от которой покраснели даже его лоб и щеки, долго не решались обхватить горлышко графина и наконец с какою-то отчаянною решимостью схватили бутылку с морсом. Поступки эти и солидный вид Карачаева изумили даже Аристарха Федоровича.

Прокисай Захарович исторгает из своей гитары плачевно-меланхолические звуки, возвещающие начало кадрили.

- Чаще! чаще! вы слишком тихо играете, Прокисай Захарыч. Скорее! что это вы! так танцевать нельзя; чаще, говорят вам! - восклицают танцующие, внезапно останавливаясь после первых двух прыжков и устремляя глаза на проживальщика.

Прокисай Захарович смущается, обливается потом и, в припадке замешательства, принимается осматривать свою гитару. Он хотя и решился, твердо решился отказаться от Надеженьки и завтра же утром покинуть Веселые Горки, но со всем тем никак не может равнодушно взирать на счастливого соперника; игра его находится в совершенной зависимости от степени любезности Надеженьки с Васильковым. Игра его замирает и слабеет каждый раз, как Надеженька улыбается, и наоборот, частит он немилосердно, когда лицо Порфирия Павловича проявляет тоску и взоры соперника уныло обращаются к потолку.

- Ну, что ж ты, братец, тебя ждут! - говорит Карачаев, выразительно подымая брови и становясь на первую позицию.

Во все продолжение кадрили Карачаев представляет из себя образчик самого предупредительного, учтивого и деликатного кавалера; ноги его забрызганы кое-где грязью, но со всем тем не изменяют первой позиции; он тщательно обходит дам, беспрестанно останавливается, раскланивается, поворачивает во все стороны свою лысину, извиняется, кричит: “pardone!“ Мало того: он считает своим долгом извиняться и кричать „pardone“ каждый раз, как кто-нибудь из кавалеров делает маленькую оплошность. Лицо Павла Петровича, важное и спокойное, обнаруживает неудовольствие тогда лишь, когда встречается с лицом Василькова; Карачаев начинает следить за каждым движением Порфирия Павловича.

Но Порфирий Павлович ничего не видит; упоенный счастьем, он впивается страстными глазами в ресницы Надеженьки, наклоняет голову к ее уху и шепчет ей сладостным голосом:

- О, как бы я хотел быть мухой, чтоб порхать вокруг этих роскошных плеч...

Губы Надеженьки принимают мгновенно вид сердца и щеки ее, и без того уже красные, наливаются чистейшим пурпуром; она подымает, наконец, голову, суживает глазки и, лукаво грозя пальцем, шепчет своему кавалеру:

«Кто чаще всех твердит: люблю!
Тот меньше всех любить умеет!»

Глаза Карачаева устремляются еще пристальнее на Василькова.

- Прокисай Захарыч, вы просто спите, голубчик! Чаще! чаще! чаще! говорят вам! восклицает веселая Вера Андреевна, подпрыгивая от нетерпения на одном месте.

Кадриль кончилась.

Глаза Карачаева все-таки продолжают следить за эволюциями Василькова. Улучив минуту, когда танцоры окружали Аристарха Федоровича, Карачаев подошел к Василькову, взял его за руку, отвел в гостиную и вдруг неожиданно прижал его в угол.

- Чем бы здесь бесноваться, ты бы лучше съездил к жене! - сказал он, грозно насупливая брови. - Она больна и лежит в постели... Ты думаешь, я не знаю твоих шашен... а?

- Да... что ж ты замечаешь?.. Я... я... - пробормотал Васильков.

- Колпак и больше ничего! - произнес Карачаев.

Тут он презрительно толкнул Василькова и вышел в залу.

С этой минуты восторженное настроение Порфирия Павловича сменилось глубочайшей меланхолией; на замечание, которыми осадили его по поводу такой перемены, он опускал только голову и говорил уныло-вопросительным тоном:

- Когда я умру, кто придет на мою могилу?!..

- Полноте, полноте, Порфирий Павлыч, что это за вздор за такой! - восклицала веселая Вера Андреевна, - Христос с вами! Во-первых, если б и случилось такое несчастие, мы не только посетили бы вашу могилу, но усыпали бы ее цветами и выплакали над нею все свои слезы... Но все это пустяки! Прошу вас быть веселым и не забывать, что сегодня день моего рождения!.. В ожидании вашей могилы, надеюсь, вы не откажете мне танцевать со мною мазурку... Видите, я сама вас приглашаю!

Радостные приветствия и особенно мазурка оживили Порфирия Павловича, но ненадолго; после первых двух скачков, которые привели в справедливое восхищение всех поклонников первого мазуриста Горшковского уезда, глаза Василькова случайно встретили грозный взгляд Карачаева, и уже с этого времени он впал в такую меланхолию, против которой не подействовали даже пленительные улыбки младшей Кокуркиной.

Наблюдая все эти сцены и подсмеиваясь над ними в глубине необъятной души своей, Аристарх Федорович не пропустил, однако ж, случая употребить с пользою соседство Чибезова; он успел осведомиться о числе душ Чибезова, успел заметить ему, что число его душ, в совокупности с душами Свищова и Полушкина, составляет довольно круглое число, имеющее полное право на один голос; успел обещать этот голос растроганному Чибезову и, конечно, не преминул пригласить его в пятницу на обед, сказав ему при этом, что если он не привезет с собою жены, то пусть лучше и не является. Затем великий дипломат дождался окончания мазурки, приподнялся со своего места и начал раскланиваться.

Обстоятельство это привело в истинное отчаяние радушных хозяек дома.

- Как, Аристарх Федорыч! Нет, нет, мы этого никак не допустим! День такой сегодня, что вы должны остаться! Сегодня Верочкин праздник! Нет, нет, этого никак нельзя! - говорили барышни, обступая именитого гостя, между тем как Карачаев, стоявший позади всех, моргал глазами и кивал ему головою, с видом укора.

- К сожалению, не могу принять радушного приглашения вашего, - говорил Аристарх Федорович. - Благодарю, благодарю от чистого сердца! Я должен ехать в Горшков; вы знаете, в пятницу, через три дня, у меня обед, на котором надеюсь вас видеть; между прочим, я должен еще сделать два визита – это необходимо!

- Успеете еще, успеете! - воскликнули в один голос барышни и за ними все присутствовавшие. - Ну, хорошо, мы вас отпустим, вы поедете, но только не иначе, как после последнего вечернего действия! Уж как хотите, а мы без ужина вас не отпустим!

- Благодарю, благодарю от чистого сердца, но...

- Нет, нет, вы останетесь; мы все просим вас об этом... Господа, барышни... Что же это такое? Аристарх Федорыч не хочет дождаться последнего вечернего действия!.. Кондей Иваныч! Прокл Иваныч! Софья Кузьминична! Павел Петрович... уговорите Аристарха Федорыча.

Но Павел Петрович стоял уже подле Балахнова и, дергая его за рукав, шептал ему в ухо:

- Ведь это, братец, позволь тебе сказать, просто невежество! Ну, чего ты ломаешься?.. Обидеть ты хочешь их, что ли? Ты думаешь, что если это меркантель, так ты можешь себе... Это, просто, братец, извини, невежество с твоей стороны!..

Тон, с которым прошептаны были эти слова, доказывал ясно, что еще одна секунда сопротивления - и Павел Петрович разразится громом на всю залу.

Аристарх Федорович улыбнулся, шутливо потрепал Карачаева по плечу и, одобрительно кивнув головой, объявил, что готов разделить трапезу, столь радушно предложенную.

Столы не замедлили явиться, и общество село ужинать.

Последнее вечернее действие не ознаменовалось ничем особенно замечательным. Пробки с шипучкой и водицами поминутно хлопали в потолок, провозглашались тосты в честь новорожденной, причем новорожденная делала каждый раз книксен, а старшая сестра ее проливала несколько слез; Кондей Иванович пробовал всех напитков и опустошал все соусники, что не мешало его супруге запрятывать в свой ридикюль разного рода съестные предметы; вдохновенный Чибезов неистово сверкал глазами и принялся уже читать какой-то экспромт, блеснувший в голове его при взгляде на новорожденную, но закашлялся, захрипел и вышел, наконец, из-за стола, чтоб откашляться в прихожей; Аристарх Федорович благосклонно кивал головою и смеялся густым, добродушным смехом; словом, было необычайно весело за ужином у Кокуркиных.

Два только человека: Порфирий Павлович и Карачаев представляли два темные пятна посреди этой улыбающейся картины. Васильков случайно посажен был против Карачаева, и этим объясняется отчасти его мрачное настроение; что ж касается до Павла Петровича, лицо его, важное и спокойное, напоминало выражение тех физиономий, которые являются посреди шумного сборища единственно с тою лишь целью, чтоб исполнить свою обязанность. Во все время ужина он не прикоснулся ни к одному напитку и пил одну только воду, причем в глазах его отражалось всякий раз присутствие какой-то назойливой мысли, а на губах бродила широкая улыбка самодовольствия. Но общество, увлекаемое всеобщею радостью, принимавшею самые широкие размеры по случаю исчезновения со стола изрядного количества шипучки, не обращало ни малейшего внимания на двух задумчивых рыцарей.

По окончании ужина Аристарх Федорович обнаружил желание выкурить сигару, но, в сущности, это была только хитрость, придуманная им с тем, чтобы удалить подозрение о его отъезде. Выбрав удобную минуту, когда хозяйки дома, главные лица общества, и особенно Карачаев развлеклись каким-то предметом, он поспешно выюркнул из залы и несколько минут спустя благополучно достиг коляски, которая тотчас же покатила по дороге к Горшкову.

XVI.

Посмеявшись от души над жалкими смертными, великий человек направляет стопы свои к одному господину, столько же богатому, сколько эксцентрическому

На другой день утром Сидор привел проводника, один вид которого, в высшей степени смелый и решительный, не оставлял ни малейшего сомнения, что он в совершенстве знает дорогу из Горшкова в Золотые Пруды. Благодаря такому счастливому обстоятельству и, сверх того, морозу, который, как известно, быстро и успешно исправляет дороги, Аристарх Федорович очутился к полудню на земле Старобельского.

Нимало не намереваясь совершить торжественный въезд в сопровождении проводника, сидевшего на какой-то клячонке, Балахнов заплатил ему условленную плату и отослал его назад; затем он велел кучеру и Сидору оправиться, привести в порядок одежду, обчистить коляску, тщательно осмотреть лошадей, обтянуть хомуты и проч., и проч. Когда все это было исполнено надлежащим образом, Аристарх Федорович поправил волосяной свой галстук и приказал ехать ровною рысью по направлению к высокой каменной церкви, белевшейся в отдалении.

Аристарх Федорович не был в Золотых Прудах лет восемь или девять, с того времени, когда отец настоящего владельца не думал еще умирать и находился в полном вожделенном здравии. Приезжая на поклон в Золотые Пруды (покойник занимал по своему положению и богатству первое место в губернии), Балахнову удалось встретить раза два молодого Старобельского, служившего тогда в кавалерийском полку и приезжавшего в отпуск. Но с того времени, как можете себе представить, много утекло воды; старик умер, сын вступил во владение имением, вышел в отставку, поселился в наследственной вотчине и, как сказывали, до того пристрастился к деревенской жизни, что никуда решительно не выезжал.

Воображение нашего героя, переносясь к былому, старалось припомнить черты молодого Старобельского с тем, чтоб помощью их нарисовать себе в наивозможно верных красках наружность человека, с которым предстоит теперь вести беседу. Но сколько ни напрягал он пружин мыслительного своего органа, воображение изменяло ему; черты Старобельского представляли совершеннейший хаос, в котором умственный взор горшковского дипломата отыскивал дюжины носов, глаз, губ и подбородков самого темного и неопределенного очертания. Не имея с этой стороны ни малейшего успеха, умственный взор Аристарха Федоровича старался проникнуть во внутренний мир Старобельского, старался припомнить, не было ли у него каких-нибудь особенных склонностей, привычек и проч.; но и с этой стороны точно так же воображение не оказало никакого успеха. Балахнов принадлежал именно к числу тех замечательных людей, которые, подобно некоторым драгоценным камням, принимают цвет предмета, с которым находятся в соприкосновении. Он был знаток человеческого сердца и в объяснениях своих вместо того, чтоб держать собеседника за пуговицу сюртука, как это делают многие люди, предпочитал держать собеседника за слабую его струнку. В чем же состояла слабая струнка Старобельского?.. Аристарх Федорович долго думал и все-таки не мог прийти к желанному результату. Случай, этот помощник всех великих открытий, вывел его из затруднения. Он встретил на поле табун маток из завода Золотых Прудов, и уж с этой минуты мысли его потекли стройным порядком; этот табун навел его на мысль, что Старобельский питал сильное пристрастие к лошадиной породе и сосредоточивал даже всю свою деятельность на конском заводе. Такие данные, без всякого сомнения, были бы недостаточны для обыкновенного смертного, но Аристарх Федорович остался ими очень доволен. Принимая в соображение страсть Старобельского, он создал тотчас же маленький план, как успешнее подействовать на ум и сердце богатого соседа. Положившись во всем остальном на свою проницательность и умение распознавать людей с первого взгляда, он углубился в угол коляски и приказал прибавить рыси.

Коляска успела между тем проколесить изрядное пространство. Уж церковь и большая часть села остались влеве; со всех сторон подымались каменные, бесконечно длинные и тщательно выбеленные здания с остроконечными кровлями и рядами крошечных полукруглых окон известной архитектуры, окон, которые служили несомненным доказательством, что конский завод обращал иа себя особенное внимание владельца; конюшенный запах, охвативший наших путешественников при самом въезде в околицу, красноречиво подтверждал такое доказательство, свидетельствуя вместе с тем об огромном количестве лошадей, которые должны были находиться в Золотых Прудах. На соломенных кровлях сараев, избушек и построек для дворни мелькали то и дело мертвые лошадиные головы, заменявшие, как видно, в этом краю скворечницы, резные деревянные петушки и прочие обыкновенные украшения деревянных кровель; такие же точно головы попадались весьма часто в зубах тощих борзых собак, которые, распустив хвост, носились взад и вперед со своею добычей; с каждым поворотом колеса попадались конюхи и коновалы с седлами, уздечками и попонами; лошадиное ржанье, топот копыт, глухо раздававшиеся за стенами, приводили Аристарху Федоровичу на память кавалерийские маневры. Миновав кузницу, в которой непрерывный гул мехов ясно показывал обилие работы, Аристарх Федорович въехал в каменные ворота и очутился, наконец, на так называемом красном дворе.

Красный или барский двор занимал огромное пространство; с трех сторон его обступили выбеленные мелом конюшни; с той стороны, к которой обращено было лицо Аристарха Федоровича, подымался высокий двухэтажный дубовый дом на каменном фундаменте, один из тех домов, которые строились в конце прошлого столетия богатыми помещиками; тут был и фасад с колоннами, и бельведер с оранжерейными рамами, и широкая терраса, спускавшаяся ступенями в сад, разбитый когда-то в английском вкусе, но в настоящую минуту представлявшийся пустыней, заросшей полынью и крапивой; за этим садом виднелся другой, состоявший исключительно из одних столетних синеватых елей, которые, казалось, мрачно и уныло смотрели на все окружающее.

Все эти предметы хотя и напоминали Балахнову прежнего знакомого, но со всем тем в настоящую минуту мало занимали нашего героя. Внимание его устремлялось на дальнюю часть двора, куда выходило боковое крылечко дома и посреди которой был водружен столб; подле этого столба находилась группа из пяти-шести конюхов; одни хлопали арапниками, другие держали конец веревки, которую натягивала лошадь, бегавшая и скакавшая вокруг столба; за кругом, описываемым на земле копытами лошади, виднелась другая, более значительная группа конюхов, также хлопавших арапниками; в стороне от всех стоял высокий мужчина, у которого, впрочем, не было арапника; выставив правую ногу вперед, погнувшись назад всем корпусом, он пристально наблюдал за эволюциями лошади и ограничивался тем только, что пощелкивал языком каждый раз, как животное проносилось мимо.

Аристарх Федорович узнал в нем тотчас же Александра Степановича Старобельского.

Он приказал остановиться, ловко выпрыгнул из коляски и пошел к Старобельскому тем твердым, но ускоренным шагом, который составляет принадлежность людей очень довольных собою. При виде гостя Старобельский не обнаружил ни радости, ни досады, ни даже удивления; он сохранил такое же точно сонливое равнодушие, как будто видел перед собой приятеля, который вышел за минуту перед тем, чтоб закурить трубку; он не изменил даже на волос своего положения. Дождавшись минуты, когда дрессируемая лошадь пронесется мимо, и пощелкав ей вслед языком, он медленно повернулся к Аристарху Федоровичу, еще медленнее приподнял меховую шапку и устремил на него выпуклые безжизненные глаза.

Аристарх Федорович остановился и также приподнял фуражку, причем лицо его казалось сиявшим от восторга и добродушия.

- Вы, конечно, не узнаете меня, Александр Степаныч? - сказал он, раскланиваясь с обворожительной любезностью.

- Мм... нет... - протянул флегматическим басом Старобельский.

- Балахнов... - произнес Аристарх Федорович тоном человека, который думает сделать приятнейший сюрприз.

Старобельский сонливо приподнял шапку, так же сонливо поклонился; во всей наружности его не проявилось ни малейшего движения, и только глаза отрывались каждую секунду, чтоб следить за бегом лошади.

- При жизни покойного вашего батюшки, Степана Петровича, я часто бывал в Золотых Прудах, - начал Аристарх Федорович. - Скажу без лести, но с грустью в сердце, с грустью, возбужденною сладким воспоминанием: покойный Степан Петрович питал ко мне истинно дружеское расположение... Смею надеяться, что достойный наследник почтенного и знаменитого Степана Петровича пойдет, в отношении ко мне, по стопам благородного своего родителя!.. - добавил дипломат, откидываясь назад и протягивая обе руки с уверенностью искреннего душевного чувства.

- Очень рад... - пробормотал Старобельский с таким видом, который ясно показывал, что ему было совершенно все равно. Разговаривая таким образом, Аристарх Федорович продолжал осматривать фигуру Старобельского с большим участием.

То был высокий худощавый заспанный мужчина с необычайно широкими, хотя белыми и нежными ладонями; лицо Старобельского, пропитанное выражением лени, дошедшей до крайних своих пределов, отличалось отсутствием какого бы то ни было оживления; губы его были бескровны; тонкие, правильные, изящно нарисованные черты лица его могли бы составлять в общем прекрасную благородную наружность, если б не вредила всему какая-то опухлость, какое-то размягчение и желтизна мясистых частей – обыкновенное следствие лежачей жизни и бездействия. Ему было, однако ж, никак не более тридцати пяти или, много-много, тридцати семи лет; он был, что называется, мужчина в полном соку и цвете лет. Фигура его имела постоянно наклоненное, в высшей степени вялое, меланхолическое положение; он, казалось, всегда думал о чем-то, хотя не было никакой возможности прочесть на его лице, лбу и в глазах отпечаток какой-нибудь положительной мысли.

В настоящую минуту, как и всегда впрочем, на нем был коричневый суконный казакин, подбитый серыми мерлушками, плотно перетянутый ременным поясом, выложенным серебряными бляхами с чернью. Черный галстук, завязанный по-военному, и синие широкие шаровары, запрятанные в сапожки с вострыми носками, загнутыми по-турецки, довершали его одежду. Левая рука его держала трубку с огромным вычурным янтарем на конце.

Как мы уже сказали, неподалеку от Старобельского находилась группа конюхов, вооруженная бичами и арапниками; но зоркий и проницательный взгляд Аристарха Федоровича умел отыскать в этой группе четырех человек, одежда и атрибуты которых ясно показывали, что они не принадлежали к кучерскому сословию: то был, во-первых, мальчик со старым шелковым кисетом и всеми принадлежностями для чистки и набивания трубки; потом еще мальчик, державший обеими руками серебряный поднос с колотым сахаром; потом какой-то коренастый малый с красными щеками, нечто в роде форейтора, с залихватскими, вертлявыми приемами и таким наглым взглядом, который тотчас же напомнил Аристарху Федоровичу Попельковского; было, наконец, еще одно существо, удостоившееся обратить на себя особенное внимание нашего героя: существо это имело два горба, спереди и сзади, и, сверх того, прихрамывало немилосерднейшим образом на левую ногу; лицо этого человека, заостренное, как у лисицы, и почти такое же желтое, не оставалось ни минуты в покое и производило одну за другой самые страшные гримасы; уродливое туловище, как бы повинуясь движениям физиономии, ёжилось, принимало комические позы, между тем как кривая нога выкидывала разные более или менее забавные коленца. Он был в замасленном жабо и во фраке. В руках его находилась

большая двенадцатиструнная гитара; каждый раз, как костлявые пальцы горбуна прикасались к струнам, лицо его, а за ним и все туловище, переполнялись корчами; он выставлял вперед хромую ногу, мурлыкал какую-то песню и вытягивал лицо по направлению к Старобельскому, обнаруживая явное намерение рассмешить его.

Для всех этих наблюдений Аристарху Федоровичу достаточно было, разумеется, одного беглого взгляда.

Он кашлянул и поспешил завязать разговор.

- Вы, Александр Степаныч, сколько я замечаю, большой охотник до лошадей? - начал Балахнов.

- Да, я охотник, - сказал рассеянно Старобельский.

- Впрочем... ну да, конечно... разумеется! - с живостью подхватил Аристарх Федорович, - обладая таким заводом, как ваш, весьма естественно сделаться охотником... Впрочем, и то сказать надо: ведь благороднейшее животное это – лошадь! Я всегда удивлялся, право, за что льва величают благороднейшим четвероногим? Это несправедливо, совершенно несправедливо! Лошадь заслуживает несравненно более такой эпитет... Посмотрите, ну, посмотрите, Бога ради... посмотрите! - добавил он восторженно, указывая Старобельскому на лошадь, бегавшую на корде.

- Добрый конь! - сказал Старобельский.

- Какая грация! сила! могущество! - воскликнул Аристарх Федорович.

- Неудивительно, - вымолвил Старобельский, - Полкан, отец этой лошади, тот самый Полкан, что выиграл прошлого года второй приз на московской скачке...

Аристарх Федорович обнаружил восторженное желание увидеть Полкана.

- Эй, Костыль! - забасил Старобельский, медленно поворачиваясь к конюхам.

Из ближайшей группы выскочил дюжий приземистый кучер с черными волосами, черными глазами и такими толстыми губами, которые занимали почти третью часть лица.

- Вывести Полкана! - произнес Старобельский.

Тут Старобельский обратился к другой группе, стоявшей у столба, сказал, чтоб перестали гонять лошадь, и приказал подвести ее к себе.

- Какое ей прозвище? - спросил Аристарх Федорович.

- Победа! - отвечал Старобельский, подзывая мальчика, державшого поднос с сахаром.

- Уж подлинно, что так! настоящая победа! - воскликнул Аристарх Федорович, когда два конюха подвели взмыленную лошадь. - О, Победа, Победа, милая Победа, Победушка! - подхватил он, осторожно поглаживая лошадь и пощелкивая языком, между тем как Старобельский давал лошади сахар.

- Александр Степаныч, Сан...др Ст...ч! - зашипел неожиданно горбун, подходя к Старобельскому и принимаясь производить самые страшные кривлянья.

- Пошел, дурак! - сказал Старобельский, не обращая на него ни малейшего внимания.

- Сндр... Ст...пч!.. - продолжал шипеть горбун, поддерживая одною рукою гитару, тогда как другая рука его протягивалась к барину, - а мне-то что ж сахарку?.. молодую-то лошадь холите, а что ж старой-то кляче... и старой кляче сахарку пожалуйте, сударь...

- Пошел, дурак! - повторил тем же однообразным тоном Старобельский.

Горбун сделал жалкую гримасу, закатил глаза под лоб, вытянул голову по направлению к барину и, прильнув к его поясу, запел тоненьким дрожащим голосом:

Берточка! милочка!..

Тра-та-та, тра-та...

- Пошел, дурак! - повторил Старобельский, не изменяя на волос прежней интонации, между тем как дворня и конюхи скалили зубы, фыркали от удовольствия и подмигивали друг другу.

- Поставить Победу в конюшню! - сказал Старобельский. - Не угодно ли вам, мсьё Балахнов, пройти в дом? - примолвил он флегматически, обращаясь к гостю.

- Очень рад; это будет тем приятнее для меня, что каждый шаг, каждый предмет перенесет меня, так сказать, к тем незабвенным временам, когда покойный Степан Петрович удостаивал меня своей дружбы... - отвечал Балахнов, выступая за соседом и соображая в то же время, что бы значило, что большая часть конюхов и дворни направляются в комнаты вслед за своим барином.

Вступив в переднюю, Аристарх Федорович увидел знакомый ему ряд комнат, обитых старым полинялым штофом или оштукатуренных под фальшивый мрамор.

- Я живу наверху, - сказал Старобельский, приглашая гостя подняться по дубовой лестнице с массивными точеными балясами.

Стены, окружавшие лестницу, оклеены были обоями, изображавшими похождения Телемака на острове Калипсо; потолок расписан был гирляндами из роз, посреди которых красовались белые голубки с голубыми ленточками на шее. Пыль и паутина покрывали углы и карнизы этого входа, от которого пахло целым столетием. Комната Старобельского располагалась непосредственно после небольшой прихожей и выходила тремя окнами на ту часть двора, где несколько минут назад гоняли на корде Победу. Внутренний вид этой комнаты не лишен был некоторой оригинальности. На одной стене красовался ковер, и на этом ковре висели в беспорядке калмыцкая нагайка, башкирская уздечка, тунгусский мохнатый колчан с обломанными стрелами, медный рог, два-три кинжала, казацкое седло и проч.; над печкой висел портрет Полкана, которого держал за узду известный уж губастый конюх; картина была, впрочем, написана известным Сверчковым. Промежутки между окнами заняты были полочками с блиставшими на них серебряными кубками, блюдами и другими призами, выигранными на скачках лошадьми Старобельского. За исключением этих предметов не было ничего достойного внимания, если не считать, однако ж, остова дяди Полкана, довольно искусно сохраненного и укрепленного в доску, выкрашенную под цвет зелени. Полдюжины английских литографий, изображавших более или менее знаменитых скакунов; диван, покрытый обношенным зеленоватым сафьяном, пара таких же кресел, стол из красного дерева, на нем раскрашенная статуэтка лошади, гербовая фамильная печать, два-три конверта с пятью печатями, «Руководство к верховой езде» и еще другая брошюрка в пять страниц «О различных способах вылечивания сапа и прочих конских болезней» - довершали общий вид этой комнаты.

Изумление Аристарха Федоровича возросло до неимоверной степени, когда увидел он, что толпа, сопровождавшая его по лестнице, вошла в кабинет и расположилась у двери. Впереди всех выступал горбун, не перестававший бренчать на своей гитаре.

- Зачем пускаете вы сюда этого дурака?., - сказал Старобельский, очевидно, с тем только, чтоб сказать что-нибудь. - Эй, Грызлов! - промолвил он, поворачиваясь к двери.

Из толпы выскочил седоволосый старец в синем фраке и белом миткалевом галстуке.

- Что, жаворонок пел? - заботливо спросил Старобельский.

- Никак нет -с...

- Странно... отчего ж он не поет?

- Не могу знать-с...

- Хорошо, ступай...

- Что это за жаворонок? - спросил Аристарх Федорович, сообщая своему голосу интонацию детского добродушия.

- Нет... так... третьего дня принесли жаворонка... - отвечал нехотя Старобельский.

- И он не поет? - с жалостным участием спросил Аристарх Федорович.

- Нет...

..Не поет... жаворонок...

Не поет... Берточка, милочка!.. -

зашипел неожиданно горбун, прихрамывая и закатывая глаза под лоб.

- Пошел, дурак! - произнес Старобельский.

- Странно... я, право, не постигаю, отчего ж, в самом деле, не поет этот жаворонок!.. - сказал Аристарх Федорович. - А, впрочем, знаете что, - прибавил он наивно, - я слышал, им не мешает иногда подсвистывать...

Но Старобельский неизвестно почему переменил разговор и обратил внимание гостя на призы. Вытягивая каждое слово на три аршина, он сообщил гостю подробную историю о том, какая лошадь выиграла какой приз, на сколько шагов опередила свою соперницу; рассказал затем весьма интересную биографию одной гнедой кобылы по имени Юнона, и заключил биографию трогательным повествованием о том, что эта самая Юнона приводилась внучатной сестрой дяди Полкана, остов которого Аристарх Федорович видел теперь перед собою.

Аристарх Федорович запылал страстным желанием увидеть как можно скорее Юнону.

- Эй, Костыль! - крикнул Старобельский.

Явился губастый конюх.

- Сказать, чтоб вывели Юнону, - сонливо продолжал Старобельский. - Постой, как будешь в конюшне, загляни-ка, кстати, что поделывает Победа... Ступай!

Минут пять спуст губастый Костыль объявил, что Юнону сейчас выведут.

- Ну, а Победа что? - спросил Старобельский.

- По-прежнему, сударь: хрипит и бьет копытами...

- А!., ну, так постой же... есть ли у ней овес?

- Как же, сударь, только что засыпали.

- Ну, так сходи же опять на конюшню... возьми у ней две пригоршни овса – смотри, так только, чтоб она не видала, - заботливо прибавил Старобельский, - и всыпь эти пригоршни в стойло козлу. Ступай! - заключил он, проявляя на губах задумчивую улыбку и приглашая гостя к окну, за которым раздавались уже фырканье и нетерпеливый топот копыт.

В то время, как Аристарх Федорович расточал похвалы неподражаемым свойствам Юноны, седовласый камердинер Старобельского и еще два какие-то лакея внесли в кабинет стол, покрытый скатертью и снабженный всем нужным для обеда.

Хозяйством Старобельского заведовала какая-то Анна Егоровна, да еще старая его нянька, которая сверх своей должности обязана была являться каждое утро с тем, чтоб сделать питомцу пробор на голове и рассказать ему сказку – и потому нет ничего удивительного, если обед Старобельского доставил голодному Аристарху Федоровичу новый случай к изумлению; главным поводом к изумлению послужил, впрочем, сам хозяин, который не переставал осведомляться о том, что поделывает та или другая лошадь, как ведет себя козел; приказывал овес, данный козлу, пересыпать украдкою Полкану, потом изменял неожиданно свою строгость в отношении к козлу и т. д. Раз, впрочем, один только раз, хозяин дома обратился к гостю с вопросом о том, пробовал ли он когда-нибудь лошадиное мясо, на что Аристарх Федорович объявил с сожалением, что никогда не удавалось.

После того, как мальчик, приставленный к табачному кисету, подал гостю и хозяину трубки, Старобельский пригласил Аристарха Федоровича прогуляться в конюшню; гость изъявил живейшую готовность.

И хорошо сделал, очень даже хорошо сделал Аристарх Федорович, потому что конюшни Старобельского представляли действительно нечто весьма замечательное в своем роде.

Перегородки, обозначавшие стойла, были сделаны из лакированного дуба; повсюду воздвигались точеные столбы из такого же дерева, увенчанные медными шарами, сиявшими как золото; на каждом столбе висела медная доска, коротко, но красноречиво извещавшая о том, перед какою лошадью имеете вы честь находиться, сколько ей лет, кто такие были ее предки и проч. Лошади (а их было около двухсот) блистали – словно их заодно покрыли лаком вместе со стойлами. Тщательно убитый и посыпанный песком пол,

красные рубашки кучеров, пурпуровые попоны, пестрые банты, вплетенные в гривы некоторых любимых лошадей Старобельского – все это зарябило страшнейшим образом в глазах Аристарха Федоровича. Показав гостю отделение скаковых лошадей, Старобельский провел его в отделение рысаков, иноходцев и так называемых троечных скакунов. Аристарх Федорович увидел, что при окончании каждого отделения, там, где был выход, устроено было особенное место, обшитое коврами, снабженное двумя отличными диванами, столом, лампою, – словом, всем, нужным для комфортабельного отдыха; будуары эти, как рассказывал впоследствии Балахнов, служили действительно любимым местопребыванием Старобельского. Из отделения троечных скакунов Аристарх Федорович перешел в отделение кобыл, кормивших сосунов; проникнул даже в лазарет. Затем пошли в отделение хомутов, уздечек и подседельников, отделение беговых дрожек и щегольских казанских тележек, отделение саней и вожжей и т. д. Но сколько бы ни было отделений, будь их хоть вдвое, втрое, вчетверо больше, Аристарх Федорович и тут не истощил бы своего запаса восторженных восклицаний и похвальных монологов в честь достойного потомка покойного Степана Петровича! Аристарх Федорович полагал... нет, он твердо уверен был, что до сих пор ничем нельзя было удивить его, что все предметы, как внутреннего, так и внешнего мира, были ему равно известны; но он горько ошибался; да, к чему лукавить! он горько ошибался! Он чистосердечно сознался Старобельскому, что не только не встречал, но даже во сне не видывал ничего такого, что могло бы хоть сколько-нибудь уподобиться величию его конюшен!

Речь Аристарха Федоровича звучала такою искренностью, в ней было столько истинного, неподдельного добродушия и восторга, что, слушая ее, Старобельский проявил оживление и на бесцветных губах его сохранилась улыбка до того самого времени, как оба они переступили порог дома.

Их давно уж ожидал чай.

- Эй, Грызлов! - сказал Старобельский, входя в кабинет.

Явился седоволосый камердинер.

- Что, жаворонок пел? - спросил Старобельский, делая на лбу своем две-три морщины.

- Пел, сударь, только потихоньку...

- Неужто?..

- Точно так-с: пел, но только потихоньку, - повторил Грызлов.

Морщины, появившиеся на лбу Старобельского, мигом исчезли и на губах его снова появилась улыбка.

Ничего неизвестно о том, что подумал в эту минуту Аристарх Федорович; неизвестно также, какое благоприятное предзнаменование заключалось для Аристарха Федоровича в улыбке Старобельского; достоверно одно, что вместе с этой улыбкой лицо великого человека мгновенно просияло, как будто мысль, зародившаяся мгновенно в голове его, была зажженною свечкой, а самое лицо приняло свойство лучшего бемского стекла. Он свирепо потер ладонями, как будто готовился исторгнуть из них пламя, устремил проницательный взгляд на собеседника, кашлянул и сказал голосом, исполненным невообразимой приятности:

- А знаете ли что, мой почтеннейший Александр Степаныч, если сказать правду – таково, впрочем, всегдашнее мое обыкновение – ведь я приехал к вам за делом...

- Очень рад... - протянул флегматически Старобельский.

- Изволите видеть: я приехал к вам за добрым советом... и надеюсь, скажу более, уверен, что вы, Александр Степаныч, не откажете в этом совете тому, который некогда - зачем не могу сказать: теперь? - пользовался дружбой достойного родителя вашего... Так ли, Александр Степаныч?.. - добавил великий человек, протягивая собеседнику руку.

Старобельский ответил ленивым пожатием и сонливо наклонил голову в знак одобрения.

- Я в этом не сомневался! - торжественно произнес Балахнов, - итак, я должен сказать вам прежде всего, что давно имею намерение завести конский завод!

Аристарх Федорович устремил пристальный взгляд на собеседника и продолжал, воодушевляясь:

- Да, я имею это намерение! Для этой цели я объездил все заводы нашей губернии... Должен ли сказать вам... да, я скажу, скажу с тою искреннею прямизною, которая всегда меня отличала, скажу, что ничего не нашел в этих заводах удовлетворительного. Приехал я тогда в Золотые Пруды pour la bonne bouche[23], как говорится... Но вы сами знаете, какое впечатление произвело на меня везде царствующее здесь великолепие пород и образцовый порядок! Основываясь на этом, я решился, во-первых, произвести закупку маток в вашем заводе; во-вторых, испросить у вас советов для первоначального устройства обширного предприятия, цель которого не столько спекулятивная, разумеется, сколько та именно, чтоб удовлетворить собственному задушевному стремлению... Я сам страстный коннозаводчик, Александр Степаныч! - заключил Балахнов тоном торжественной откровенности.

- Что ж, очень рад! - вымолвил Старобельский, лениво протягивая руку к стакану.

- Я в этом не сомневался! - воскликнул дипломат, горячо пожимая ему руку. - Предмет, как видите, достоин того, чтоб посвятить ему некоторое время... - примолвил Балахнов, снова устремляя проницательный взгляд на соседа.

- Конечно... - протянул Старобельский.

- Без сомнения! - подтвердил Аристарх Федорович.

Тут великий человек кашлянул и придвинулся к собеседнику.

- Изволите ли видеть, в чем дело: предприятие, касательно завода, хочется мне начать как можно скорее, до зимы, а так как времени остается мало, и притом нам, как вам известно, предстоит еще прожить на выборах без малого три недели, то просьба моя будет заключаться в следующем: Александр Степаныч, не откажите уделить мне несколько часов в губернском городе... Там, на свободе, мы переговорим обо всем и заключим все условия... - досказал Аристарх Федорович, проникая испытующим взглядом в мельчайшие изгибы души своего собеседника.

- Приезжайте ко мне лучше после выборов... - сказал Старобельский.

- Но отчего же не можем сговориться мы в губернском городе?.. ведь время-то, время не терпит, Александр Степаныч! - произнес Балахнов, и при этом голос его заметно вздрогнул.

- Я не поеду на выборы, - отвечал Старобельский, проникнутый теперь, как и прежде, беспредельной сонливостью.

- Как?.. - воскликнул Аристарх Федорович тоном человека, под которым неожиданно проламывается мост.

- Я никогда не езжу на выборы, - сказал Старобельский, медленно поднимая глаза на портрет Полкана.

- Как... ка-а-а-к? (тут Аристарх Федорович поставил на стол стакан из опасения пролить на стол остаток чая), - так вы решительно не поедете на выборы? - примолвил он, делая особенное ударение на слово «решительно», чтоб в вопросе его не оказалось ни малейшего недоумения.

- Решительно не поеду! - подтвердил Старобельский.

Но Аристарх Федорович все еще не верил словам своего соседа и продолжал отшучиваться до тех пор, пока тот окончательно не отнял у него последней надежды.

- Ай да Александр Степаныч! Ну, уж нечего сказать, не подозревал я, признаться, в вас такого равнодушия! Ха! ха! - добродушно заливался Аристарх Федорович, между тем, как багровые кружки заметно начинали проступать на щеках его, а нижняя губа, выступая вперед, выражала презрение и жалость. - Ну, скажите же, по крайней мере, как вы

[23] На закуску, на десерт (фр.).

распорядились на этот счет?.. Кому отдали вы свой голос? Послушайте, ха, ха! отдайте его мне... право... хи, хи, хи!., - залился он снова, чтоб скрыть волнение, которое подобно огню разбегалось невольно по всем его членам.

- К сожалению... - произнес Старобельский.

Аристарх Федорович обмер.

- К сожалению, не могу, - подхватил Александр Степанович, - на днях писал ко мне Окатов... и я отдал ему свой голос.

Не успел Старобельский произнести роковые эти слова, как уже багровые кружки разлились и мигом охватили благородную физиономию нашего героя. Ои зашатался, проворно опустил правую руку, чтоб предостеречь себя от падения, но при всем том имел все еще столько твердости духа, что остался в перпендикулярном положении и даже протянул левую руку к стакану, как бы ни в чем не бывало!

Во все это время Старобельский сидел на диване и, сонливо опустив голову, глядел с видом печального раздумья на остов Полканова деда. Мысли его, попав раз на этот замогильный предмет, блуждали в нем до тех пор, пока Аристарх Федорович не вызвал их в действительный мир следующими словами:

- Прощайте, мой почтеннейший!

К несчастию, последние слова, сказанные Аристархом Федоровичем Старобельскому, не сохранились для назидания потомства.

Конюхи, и в том числе хромой горбун, провожавший гостя до крыльца, уверяли, однако ж, что последние слова великого человека, когда он сел в коляску (разумеется, они не поняли глубокого значение этих слов), состояли из следующих отрывков: «Пропал день!... драгоценное время!., обед в пятницу!., идиот!., через неделю выборы... авось!., уповаю!., наша возьмет!» и т. д.; но как бы то ни было, справедливы ли показания кучеров и конюхов или несправедливы, слова эти останутся, без сомнения, драгоценными памятниками в истории горшковского красноречия.

XVII
представляет достоверный отчет о первых действиях и первых впечатлениях Аристарха Федоровича в губернском городе Черноряжске

18... неизвестного и притом вовсе не интересного года – такого года, который, по какому-то странному стечению обстоятельств, не ознаменовался ни землетрясениями, ни затмениями, ни историческими событиями, ни даже сильными морозами и метелями – в последних числах октября в губернском городе Черноряжске происходило необычайное оживление. Из этого ясно, кажется, следует, что вышеозначенный год мог утратить свое значение для одного лишь ученого мира. Что же касается до обыкновенных смертных, он, без сомнения, возбудит в каждом заслуженное удивление и сверх того глубокое сочувствие. О черноряжских жителях и говорить нечего: достойный год этот изгладил из их памяти все остальные воспоминания и, само собою разумеется, никогда не перестанет служить любимым предметом разговора. По крайней мере, тамошние старожилы о сю пору еще указывают на него с гордостью; экспромты, сочиненные черноряжскими бардами в честь этого славного года, не переставали еще пользоваться всеми преимуществами самой свежей новости; черноряжские кумушки, мамушки и вдовушки, живущие на форштадтах в перекосившихся домиках, повествуют о нем на всех перекрестках, как о вчерашнем событии. Так по-настоящему оно и следует.

Дело в том, что в этот достопамятный год в Черноряжске происходили губернские выборы. Всякому, я полагаю, известно, что выборы имеют такое же точно значение в жизни губернских городов, как именины, день рождения, крестины или свадьба в существовании смертных. Благотворительное влияние выборов можно сравнить только с действием июльского ливня на пересохнувшую ниву: как тут, так и там каждый цветок,

каждая травка получает первобытную свою свежесть и приподымает голову. Все оживает тогда в губернском городе; даже такие господа, которым прежде в тягость было набить трубку с помощью собственных рук, проявляют во всех членах своего организма необычайную суету и прыткость.

Недели еще за три до назначенного срока Черноряжск, как бы повинуясь тайному действию волшебного жезла, мгновенно изменил свою повседневную наружность. По всем улицам: по Никольской, Московской, Дворянской и т. д. потащились тарантасы, рыдваны, щегольские коляски и другие более или менее затейливые экипажи; на них резко проступали следы долгого, трудного странствия по проселкам; подножки и кузовы забрызганы были грязью, колеса переплетены веревками; искалеченные, хотя новые оси, лопнувшие шины и сломанные втулки ясно свидетельствовали о неоднократных поправках, произведенных ненадежными подорожными кузнецами. Из-под кожаных фартуков, отверстий, щелей и окон экипажей выглядывали физиономии, принадлежавшие особам всех полов и возрастов; кое-где высовывались углы и крышки коробок, картонок для дамских шляп, узелков, шкатулок, баулов; торчали также кое-где подушки, одеяла, полосатые тюфяки. Усталость, изнеможение проступали на всех лицах без исключения; но все это постепенно сглаживается выражением того радостного нетерпения, какое испытывает каждый смертный, когда, утратив уже надежду, достигает наконец обетованной цели. Взоры многих с беспокойством устремляются в отдаленные части улиц, стараясь встретить как можно скорее слугу, посланного за неделю прежде с тем, чтоб приискать удобную квартиру. Движение тарантасов увеличивается и поражает своим бряцаньем непривычный слух черноряжских мещанок, которые принимают, по-видимому, твердое намерение не покидать ворот своих домиков. Иначе, впрочем, и нельзя сделать: многие за месяц еще отдали свои покойчики, клетушки и даже самовар и корову в наем приезжим помещикам. Народонаселение Черноряжска увеличивается с каждым днем, с каждым часом. Вместе с этим увеличивается, без сомнения, и цена на самые потребительные припасы: сено, овес, куры, яйца, овощи получили вдруг сверхъестественное значение. Торговля принимает самые широкие размеры; столовое вино вздорожало неимоверно; сахар отпускается в учетверенном и даже ушестеренном количестве; то же самое происходит с чаем и другими колониальными продуктами. Купцы не успевают отмеривать ленты на чепцы и кисею на платья. Аптека приняла также свои меры в отношении наивозможно более поспешной дистиллировки одеколона, розовой и мятной воды и других специй, общеупотребительных в дамском туалете. Заезжая прислуга показывается чаще и чаще в распивочных, штофных и трактирах, где за парою чая или другим более крепительным напитком прислушивается к рассказам полового, повествующего о текущих новостях, предстоящих увеселениях, только что отстроенном театре и проч. Через дворы поминутно перебегают вертлявые горничные с утюгами, шемизетками, юбками и крахмалом, взятым в лавчонке; исполинские кисти на фуражках писцов и протоколистов замелькали в воздухе и в трактирах. Народонаселение продолжает между тем усиливаться, и вместе с ним усиливается, разумеется, пестрота и движение. Уж многие экипажи наполнили дворы и за неимением места высунулись кое-где из ворот на улицу. Слышно уж, что в гостиницах и на постоялых дворах не остается порожнего уголка. Черноряжск пополняется как улей. Чаще и чаще начинают появляться на улицах коляски и кареты, в которых сидят разодетые дамы, отправляющиеся делать визиты. Мужчины также отправляются делать визиты; но лица их при этом далеко не выражают того легкомыслия, той беспечности, какая видна на лицах жен и дочерей: лица мужчин отличаются глубокомыслием и носят все признаки сильной головоломной работы; шепот, многозначительное подмигиванье, таинственное движение бровей тотчас же дают знать о важности предстоящего события. В ожидании этого события визиты заступают, по-видимому, место всех дел и помышлений. Вместе с визитами каждый дом в Черноряжске, каждая почти квартира обращаются в маленький департамент иностранных дел. И тогда как в черноряжских гостиных раздаются веселые голоса жен и дочерей, в

кабинетах слышится густой деловой гул мужей, отцов, братьев и дедов, которые с беспристрастием, свойственным вообще человеческому роду, толкуют о том или другом соседе, созидают проекты, планы, решают самые многосложные вопросы, опрокидывают навзничь дивные соображения, обдуманные на досуге или в тяжелое время бессонной ночи, оспаривают запутанные предложения и, нимало не задумываясь, излагают в красноречивейших формах такие дипломатические тонкости, которым позавидовал бы сам Талейран.

Но все эти планы, проекты, мысли, все это брожение умов, происходившее в Черноряжске, показалось бы слабым, младенческим, ничтожным и не стоящим внимания сравнительно с тем, что совершалось в это время в голове одного Аристарха Федоровича. Оно действительно так и было.

Вот уже третий день, как Аристарх Федорович поселился в Черноряжске. Поселился он на главной улице и занял бельэтаж огромного каменного дома. Богатый купец, владелец дома, еще месяц тому назад извещен был письмом, в котором Балахнов просил уступить ему на время выборов бельэтаж, с тем, чтоб по истечении срока найма вознаградить владельца весьма значительною суммой. Купец, побежденный задатком, искусно вложенным между страничками письма, изъявил полнейшее согласие, и бельэтаж, украшенный балконом, с которого можно было обозревать весь Черноряжск, остался таким образом за Балахновым.

Мы застаем Аристарха Федоровича за письменным столом. Отпечаток глубоких дум сияет, как звезда, на благородном челе горшковского дипломата. Перед ним лист бумаги, испещренный именами, увы! тех немногих особ, которые обещали ему свой голос; по левую руку возвышается пачка деловых писем, календарь и ярких цветов фуляр; по правую руку находится его знаменитая записная книжка. Один из ящиков стола раскрыт с тою предусмотрительною целью, чтоб в случае неожиданного визита успеть скрыть в нем список голосов. Нечего и говорить, что пачка деловых бумаг и писем, так эффектно воздвигнутая по левую руку, избегнет этой участи.

Нам неоднократно представлялись случаи изумляться тому необычайному мужеству, с каким Аристарх Федорович переносил борьбу со злейшими обстоятельствами жизни, такими обстоятельствами, перед которыми человек, не одаренный особенной организацией, непременно склонил бы гордую голову и рассыпался вдребезги. Было ли то действительно мужество или уменье владеть собою, основывалось ли то на упругости душевных и сердечных свойств или, наконец, не было в самом деле таких крутых обстоятельств, которые были бы в состоянии сокрушить нашего героя – все это такие вопросы, которые решить очень трудно. Обязанность наша ограничивается покуда изложением фактов; основываясь на этом, мы скажем, что никогда еще, быть может, не встречали нашего героя в такой тревоге. Мысли его были устремлены, по-видимому, в одно и то же время на все возможные пункты губернского города, театра настоящих его действий. Продольная морщина, помещенная на высоком лбу его, проявляет нетерпеливое движение всякий раз, как у подъезда или даже в отдалении раздается звук какого-нибудь экипажа.

- Сидор! - кричит Аристарх Федорович.

В дверях временного кабинета показывается Сидор, в синем фраке, обшитом позументом, и красном жилете со светлыми пуговицами; платье это, заказанное в Москве и хранимое до времени в Ханских Прудах, обращает на себя всякий раз внимание Аристарха Федоровича.

- Там, братец, кажется, кто-то проехал?.. Смотри, не к нам ли?.. - говорит он, кивая головой к окну.

- Никак нет, сударь, мимо... - отвечает Сидор.

Продольная морщина, приведенная в движение бровями, которые сильно нахмуриваются, принимает вид опрокинутого ужа над глазами Аристарха Федоровича; он нетерпеливо отсылает Сидора и еще сильнее задумывается.

И в самом деле, в эти три дня никто еще не посетил Аристарха Федоровича. Был один лишь старичок Пшеницын с сыном, долговязым Федей; но его, разумеется, считать нечего, точно так же как Попельковского, Ардалиона Александровича, которого Аристарх Федорович не удостоил даже принять. Что же касается до Балаклеева и других, более или менее значительных городских лиц, которым Балахнов сделал визит на второй же день приезда своего в Черноряжск, все они ограничились тем только, что остановились у подъезда Аристарха Федоровича, вручили Сидору карточку с загнутым углом и, не сказав слова, уехали дальше. Прием госпожи Балаклеевой, несмотря на то, что Аристарх Федорович изобразил ей в красноречивых выражениях трогательное повествование о спасении сестры ее, был необычайно холоден; впрочем, Балахнов встретил у нее Софью Алексеевну Окатову, и холодность приема объяснилась сама собою. Кормонолей Семенович Бирюков, на которого сильно рассчитывал теперь наш герой, не приезжал еще; приятели Чиндаласова, Кранович и Сербин, которым Аристарх Федорович, согласно задуманному плану, долженствовал проиграть в карты, также не приезжали. Мясоитянов, солидный племянник Бирюкова, не был даже в Ханских Прудах в пятницу, на знаменитом обеде (сказать мимоходом, обед этот далеко не достиг своей цели). Все это было в высшей степени скверно и неблагоприятно, но Аристарх Федорович все еще обнадеживал себя мыслью, что ожидаемые лица приедут не сегодня, так завтра – и все пойдет, как по маслу.

Хуже всего, по мнению Балахнова, было то, что Окатовы готовятся дать бал тотчас же после бала Балаклеевых. Вот этого-то бала он никак не мог переварить. Он твердо был уверен, что окатовский бал будет чем-то вроде конгресса, на котором, весьма легко может статься, решится его собственная судьба, точно так же, как судьба всех его приверженцев. Прибытие Бирюкова, Мясоитянова, Сербина, Крановича и других не будет ли в этом случае бесполезно? При всем том, дух Аристарха Федоровича был еще бодр; великий человек все еще не терял надежды выйти победителем из многотрудных обстоятельств. Впрочем, Аристарх Федорович сделал уже все необходимые распоряжения, чтобы хоть сколько-нибудь предотвратить зло окатовского бала. Надлежало во что бы то ни стало задать бал или празднество, которое заставило бы говорить весь город и затмило бы все виденное доныне в Черноряжске. С первыми слухами о празднике Окатова Аристарх Федорович послал в Ханские Пруды письмо с нарочным. В письме ясно значилось, что Лизавета Семеновна должна немедленно прибыть в Черноряжск; вместо объяснений Аристарх Федорович написал только: «Взять все бальные платья и также для визитов; перчатки и цветы найдешь – в Черноряжске...». Внизу вместо постскриптум Аристарх Федорович просил захватить все бумаги, касающиеся жениного и детского имения; «бумаги эти, - писал он, - необходимы для справок, касательно общего положения дел имения в Опекунском Совете».

Вот и все. Аристарха Федоровича бесило, следовательно, то только, что Окатов опередит его. «А впрочем, посмотрим! - думал он. - Постараемся пригнать таким образом, чтоб задать бал накануне самых выборов... Свежее впечатление всегда сильнее действует... Посмотрим, гм! Да, посмотрим!..». В одну из тех минут, когда Аристарх Федорович, проникнутый насквозь такою утешительною мыслью, потирал себе руки, Сидор доложил, что пришел Иван, служивший когда-то у Карачаева, пришел вместе с Калиною, и оба просят позволения повидаться с Аристархом Федоровичем.

- Хорошо, скажи, чтоб вошли, - произнес Балахнов, улыбаясь при мысли, что Иван и Калина, извещенные, по всем вероятностям, людьми Окатова о предстоящем бале, сообщат ему кое-какие подробности. - Скажи, чтоб вошли, - повторил он.

Минуту спустя в дверях показалась веселая добродушная физиономия карачаевского Ивана.

Он был во фраке; из-под его пестрого жилета, украшенного бронзовой цепочкой с застежкою, изображавшею сердце, гордо выпучивалась туго накрахмаленная манишка; в левой руке его находилась шляпа, в правой держал он сверток печатных листов. Наружность Ивана отражала вообще довольство, достигшее высших пределов.

- Здравствуйте, сударь! - сказал Иван, свободно раскланиваясь и почтительно закладывая за спину руку, вооруженную шляпой. - Осмелился, сударь, обеспокоить вас своим поклоном... все ли вы, сударь, в добром здоровье?..

- Спасибо, любезный, спасибо, - вымолвил Аристарх Федорович, покачиваясь в креслах. - Ну, а где ж Калина?.. мне сказывали, что и он пришел...

- Здесь, сударь... - произнес хриплый голос в соседней комнате, причем из-за половинки двери показались фалды затрапезного казакина и исполинские, загнутые вверх носки сапог.

- Добро пожаловать, Калина Васильич! - шутливым тоном крикнул Балахнов. - Дайте на себя взглянуть...

Калина медленно, словно нехотя, вошел в кабинет, отвесил сухой поклон, стал у двери и мрачно нахмурил брови. В наружности горшковского живописца произошли значительные перемены: брови его и волоса поседели совершенно; клюковный нос его иссиза-бирюзового цвета перешел в ярко-малиновый и принял издали такой вид, как будто на него налепили листок красного маку.

- Здравствуй, старина! - сказал Аристарх Федорович и вдруг разразился смехом.

При этом глаза Калины исчезли окончательно под бровями.

- Здравия желаю, ваше благородие! - проговорил он самым недовольным топом.

- Ну, что, как поживаешь?..

- Ничего, ваше благородие, - подхватил художник тем же обиженным тоном, - живем, слава Богу... чужого хлеба не едим!..

- Где же ты живешь? - спросил Балахнов.

- Я везде найду место, потому что, ваше благородие, я все могу сполнить, все могу, - подтвердил Калина голосом язвительного укора.

- Калина Васильич живет, сударь, покуда у меня, - сказал Иван. - Я, как полагаю, известно вам из газет, открыл здесь театр... так вот Калина Васильич насчет, то есть, кулис и декораций... Все эти дела у него на руках... Хлопот, сударь, как вы изволите знать, много; без Калины Васильича мы не знали бы, что и делать; здесь, сударь, не столица...

Калина расправил брови, развел руками и произнес словоохотливо:

- Известно, что не столица... какая столица!., поди-ка поищи... У нас, сударь, живет также при труппе... тот, бишь... знаете, ваше благородие...

- Кто такой? - рассеянно спросил Аристарх Федорович.

- Нет, сударь, Калина Васильич хотел вам сказать насчет своей дочери... Изволите помнить, что Палашкой-то звали? - заговорил с поспешностью Иван, толкая сзади Калину и давая ему знать глазами, что он чуть было не проболтался, - так и она, сударь, также находится при труппе, - продолжал Иван с уверенностью, - покуда еще, конечно, ничего не делает, учится только; но, авось, Бог даст, выучится, произойдет нашу науку, выпустим на сцену и станет доставать хлеб старику своему... Сами изволите видеть, человек уж в летах, не молодой, пора ему на покой! - заключил Иван, указывая на Калину.

Калина стоял потупя голову и потирал ладонью глаза, в которых навертывались слезы.

- А девчонка резвая, славная такая, - подхватил Иван. - Уж на что, кажется, сударь, наше ремесло очень трудное, терпения много надо, да и доброй воли также; а она старается; нечего сказать, девочка славная!

Калина провел рукою по глазам и сделал нетерпеливое движение.

- Ничего нет хорошего! - проговорил он, махнув рукою. - Как есть, ваше благородие, хорошего ничего в ней нет... проку не вижу никакого!..

- Полно, Калина Васильич, - возразил Иван, - говоришь ты, братец, против своей совести!.. Вот ведь и Адольф Карлыч говорил тебе то же самое...

- Какой это Адольф Карлыч? - спросил Аристарх Федорович, начинавший уже, по-видимому, терять терпение.

- А это, сударь, прежний мой товарищ, из компании Вейперта; может быть, слышали по газетам? Его все знают в Москве и в Петербурге; любимец, можно сказать, всей публики!.. Первым силачом считается после Карла Карлыча Рано; на масленицу он уедет в Москву, а до того времени, помня старую дружбу, нанялся у меня представлять Геркулеса; в досужее время обучает он кой-кого из ребят... вот также и дочь Калины Васильича... Да вот, сударь, не угодно ли вам взглянуть на афишу; я, признаться, затем и пришел... Надеюсь, сударь, вы удостоите посетить наши представления?.. Все здешнее дворянство у меня бывает!.. - заключил Иван, поспешно развертывая афишу и подавая ее Аристарху Федоровичу.

- Спасибо, любезный, спасибо! непременно приду. Когда же у вас представление?., я разумею, в какие дни и часы?..

- Извольте прочесть... на афише все сказано, - произнес Иван, самодовольно выпрямляясь и разводя рукою.

Аристарх Федорович кашлянул и прочел сквозь зубы:

«И. О. ИВАНОВ,

с обществом, состоящим из восьми человек, в течение октября месяца будет иметь честь дать:

Большие чрезвычайные представления

в двух отделениях:

1 Отделение

(доселе здесь невиданное).

Африканско-индийско-сирийские игры

(с новыми декорациями).

1) Соперничество людей с лягушками. 2) Испанский стол. 3) Железные руки представит знаменитый Адольф Мейер. 4; Помпейская колонна, представленная г. Ивановым. 5) Пирамида индейцев. 6) Прогулка с пятью человеками на двух плечах. 7) Мельница, представленная г. Ивановым.

2 Отделение

(доселе здесь невиданное).

1)Академия живых. Гнев Геркулеса (антик) Г. А. Мейер и Иванов.

2) Грация (антик) Г-жа Глафира Пшеславская.

3) Божества Олимпа (антик): Юпитер (Г. Иванов), Аполлон (Г. Ардалион И***),

Венера (Г-жа Глафира Пшеславская...».

- Ба! да уж не жена ли твоя? - спросил Аристарх Федорович, отрывая глаза от афиши и устремляя их на Ивана.

- Так точно-с, - отвечал Иван, который не мог заметить насмешливой улыбки на лице Аристарха Федоровича, потому что во все время чтения афиши держал голову кверху и самодовольно прищуривал глаза.

- Любопытно, очень любопытно. Ну, а что ж я не вижу имени Калины?.. Неужто он не участвует в картинах и не представляет какого-нибудь антика? - продолжал шутить Балахнов.

- Чего-с? - произнес Калина, покачивая головой с выражением укоризны. - Нет, ваше благородие, стар я стал для эвтакого дела... Э-эх! вот, - примолвил он, постукивая себя по седой голове, - семьдесят лет не помеха, то-то же, ваше благородие...

Калина хотел еще что-то примолвить, но махнул рукой и отвернулся к двери с таким видом, который ясно высказывал следующую мысль: «Что говорить с пустым человеком!».

- Непременно приду! непременно! - вымолвил Балахнов, кладя афишу на стол.

- Сделайте такое ваше одолжение, сударь! - подхватил Иван, раскланиваясь и разводя шляпой. - О нас, сударь, писали во всех газетах, и все господа, которые были на наших представлениях, остались весьма довольны... Да вот, сударь, если вам будет угодно

взглянуть сюда... - присовокупил он, став на одну ногу и развертывая на согнутом колене другой печатный лист, - это напечатано в здешних ведомостях... извольте взглянуть...

- Хорошо, хорошо, я посмотрю после... - проговорил Аристарх Федорович.

- Вот уж, сударь, сделайте милость, прочтите теперь... сделайте такое ваше одолжение!.. - примолвил Иван убедительным топом.

Аристарх Федорович умел, как уж известно, извлекать выгоды из ничтожнейших обстоятельств. Желая употребить с пользою визит Ивана и Калины, он решился подавить в себе чувство нетерпения и расположить к себе гостей своих. Основываясь на этих данных, он благосклонно взял поданный ему лист и со снисходительностью, свойственною в таких случаях, прочел вслух следующую статейку:

«Нигде не скучно видеть необыкновенные феномены природы или искусства; но на конной площади, в только что отстроенном театре, и особенно при великолепии декорации, они принимают характер более величественный, более привлекательный и, следовательно, сильнее действуют на воображение и мысли зрителя даже самого обыкновенного; словом: подвиги наших Геркулесов, Иванова и Мейера в Черноряжске увеселяют зрителей гораздо более, нежели где-либо в другом месте; а тем из них, которые при всяком удобном случае пользуются еще запасом памяти, обогащенной классическим воспитанием, сии подвиги напоминают в Черноряжске о немейском подвиге Геркулеса-Иракла, одевшем мощные рамена свои бессмертным трофеем знаменитой победы, одержанной над лютейшим из владык лесных.

В самом деле кажется, что силы наших двух Ираклов еще более развились на свежем воздухе Черноряжска и что, подобно древнему Самсону, Иванов и Мейер могли бы, кажется, взнесть на нашу приречную гору врата Газы.

Привыкши удивляться собственно силе новых наших Ираклов, уж смотришь равнодушнее на действие их мускулов; но все-таки невозможно надивиться тому, каким образом члены этих силачей – с виду довольно тщедушных и малорослых – не разлетятся вдребезги от тяжестей, которые падают на них, как на вражеские батареи... Вот вопрос, и физиология этого вопроса была бы в изъяснении своих законов чрезвычайно любопытна для науки. По крайней мере, любопытство нашей публики до сих пор еще не слабеет. Таковы преимущества людей и вещей, ознаменованных печатью редкости!».

- Славно! прекрасно! о-очень... очень хорошо! - воскликнул Аристарх Федорович. - Непременно приеду: это действительно достойно внимания... да... непременно приеду... Ну, кстати об увеселениях, - примолвил он, опрокидываясь в кресло и закидывая одну ногу на другую, - нет ли у вас в Черноряжске еще чего-нибудь?., не готовятся ли, например, какие-нибудь праздники, обеды?.. Вы, я чай, и особенно ты, Иван, должны были что-нибудь слышать?.. Ты ведь ходишь по всем домам с афишками, должен, следовательно, быть сведущ насчет того, что делается в городе... Рассказывай, любезный, рассказывай!..

- Много, сударь, всего готовится, - добродушно отвечал Иван, - будут, как слышно, и балы, и обеды... Много готовится всякого веселья! Говорят, ни в одном году не было таких приготовлений в Черноряжске... Вот вы, я чай, слышали: господа Балаклеевы задают бал – никак в четверг, на будущей неделе...

- Знаю, знаю... - торопливо проговорил Аристарх Федорович. - Ну, а еще что?.. Мне сказывали... Окатов?..

- Да-с, и они также: говорят, бал будет диковинный!.. Всю квартиру переделывали, даром что наемная; да вот, Калина Васильич вам лучше скажет, он там был...

- Ба! зачем же понадобился Калина?

- Призывали кое-где подкрасить, кое-где вновь расписать потолок залы, - отвечал Иван, подталкивая декоратора черноряжского театра.

- Ну, рассказывай, рассказывай, Калина Васильич! - ласково произнес Балахнов.

- Да что рассказывать, - вымолвил Калина, - призывали да и все тут!., я свое дело всегда могу сполнить, вот что! потому что я, ваше благородие, все могу! арабеск ли, другое что... все могу!., - подхватил он с уверенностью.

Но Аристарх Федорович, зная по опыту, что Калина, попав раз на эту тему, пойдет развивать ее до бесконечности, снова обратился к Ивану и осадил его вопросами.

- Одним словом сказать, бал, сударь, будет на удивленье, - так все говорят, - повествовал Иван. - Вот теперь, сказывают, в одном только у них остановка...

- В чем же, в чем? - спросил Аристарх Федорович, поворачиваясь в своем кресле.

- В цветах, сударь.

- В каких цветах?

- Известно, сударь, в обыкновенных; здесь, изволите ли видеть, верстах в пяти находятся оранжереи, которые принадлежат графине... имя не запомню... живет она за границей; господин Окатов отнесся к управителю: не может ли, то есть, дать цветов внаймы для бала; а управитель дорого очень просит, так у них идут теперь переговоры...

При этом восторженная улыбка озарила лицо Аристарха Федоровича и он поспешил отвернуться к окну, чтоб скрыть ее от своих собеседников. Дав себе слово послать немедленно или самому поехать к управителю и порешить с ним, во что бы ни стало, статью о цветах - он осадил Ивана новыми вопросами в отношении к окатовскому балу.

- Ну, хорошо, любезный; спасибо тебе; спасибо и тебе, Калина, что навестил меня, - сказал Аристарх Федорович, когда любопытство его насытилось в полной мере. - В театр я непременно приеду... Ну, а теперь... теперь мне покуда некогда, прощайте! - заключил он, делая выразительный жест рукою.

- Виноват, сударь, если я обеспокою вас своею просьбою... - проговорил Иван, снова приподымая колено и свертывая на нем статью черноряжских ведомостей.

- Что такое? - спросил Аристарх Федорович, обнаруживая на этот раз явное нетерпение.

- Я хотел, сударь, спросить у вас о Павле Петровиче... Вам, я полагаю, известно, где они теперь находятся: здоровы ли они и в каком живут положении?..

- Живет он у меня покуда, в Ханских Прудах, здоров, как бык... ну, что еще?

- Да ничего, сударь, покорно вас благодарю; с меня и этого достаточно; знаю, по крайней мере, что они здоровы и покойны... Признаться сказать, очень бы хотелось взглянуть на них; да вот и жена моя, если вы изволите припомнить, Глафира, также о нем вспоминает... И то, сударь, сказать надо: трудно и забыть-то его...

- Ну, хорошо, хорошо! - перебил Аристарх Федорович, - обо всем этом ты придешь поговорить завтра или в другое утро; теперь мне некогда, прощайте!., - примолвил он, вставая и выразительно указывая гостям на дверь временного кабинета.

Как только шаги Ивана и Калины замолкли, Аристарх Федорович позвал Сидора и приказал ему немедленно съездить за управителем, о котором упомянул Иван.

- Если ему нельзя приехать сей же час, - сказал Балахнов, - так передай ему от моего имени, чтоб он оставил за мною цветы; что я согласен дать назначенные им деньги и что завтра же утром пусть приедет за задатком... да смотри, не болтать; чтоб никто не знал об этом! - заключил он строгим тоном.

Остаток дня посвящен был различным планам и соображениям. В числе новостей, сообщенных Иваном, заключалось известие о том, что Солонеев и его богатый дядя, приехавшие уж в Черноряжск, дают перед выборами блистательный обед; это тоже немало занимало Аристарха Федоровича по той именно причине, что и ему, следовательно, представлялась теперь крайняя необходимость противопоставить обеду Солонеева свой собственный обед. Иначе и быть не могло. На следующее утро статья о цветах была окончательно решена между управителем графини и Аристархом Федоровичем, к совершенному удовольствию обеих сторон. Оставалось теперь заняться другими, не менее важными статьями – касательно предстоящего бала и обеда; надлежало переговорить заблаговременно с мебельщиками, нанять повара, официантов, устроить так,

если это возможно, чтобы скупить такое количество стеариновых свеч, которое могло бы поставить в затруднительное положение Окатова, и проч., и проч. Аристарх Федорович принялся деятельно за работу. С этого дня кабинет его представлял по утрам сборище купцов, лакеев и подрядчиков; все, можно сказать, выходили от него очень довольными; каждый получал или задаток, или на водку, с тем, однако ж, чтоб не болтать лишнего. В продолжение этого деятельного и вполне заслуженного периода своей жизни Аристарх Федорович получил пригласительный билет на бал к Балаклеевым; но, занятый своими планами и соображениями, он не обратил тогда на него особенного внимания. Тревожное беспокойство, овладевшее Аристархом Федоровичем в первые дни приезда его в Черноряжск, было, по-видимому, совершенно вытеснено из сердца. Изредка лишь, когда возвращался он домой и спрашивал: «Приезжал ли кто-нибудь без меня?» - и когда Сидор отвечал: «Никто не бывал-с!» - брови его хмурились, и на лице проступало неудовольствие; но вообще это продолжалось недолго. Он питал твердую уверенность, что как только приедут его приверженцы, все пойдет как по маслу. Главный расчет его основывался на Лизавете Семеновне: вместе с ее появлением и особенно после того, как она объездит с визитом черноряжских барынь, общественное положение его примет естественным образом самый благоприятный колорит. В ожидании этого счастливого переворота он послал в Ханские Пруды еще два письма, содержание которых было равносильно содержанию первых двух писем.

XVIII.
Аристарх Федорович присутствует на одном бале и выносит оттуда самое невыгодное мнение в отношении к человечеству и касательно хозяев дома в особенности

Время между тем бежало, по своему обыкновению, под гору, увлекая за собою дни, часы, минуты и секунды с такою быстротою, что Аристарх Федорович пришел даже в некоторое изумление, когда настал, наконец, знаменитый четверг, долженствовавший сделаться еще знаменитее благодаря балу Балаклеева. Это обстоятельство набросило несколько капель холодной воды на разгоряченную голову великого мужа. Он заперся в кабинете, никого не приказал пускать и мысленно погрузился в созерцание предстоящего бала. Появление Аристарха Федоровича, бесспорно, должно будет произвести громадный эффект – это не подлежит сомнению.

Главный вопрос состоял, следовательно, в том только: какого рода будет этот эффект – благоприятный или неблагоприятный? Настоящие обстоятельства требовали, разумеется, самого благоприятного эффекта. Это было бы ясно грудному младенцу. Мало того, появление Аристарха Федоровича долженствовало заронить искру стыда и раскаяния в сердца врагов его, заставить их содрогнуться при мысли, как опрометчиво поступали они, идя постоянно наперекор возвышенным стремлениям благородного Балахнова.

Сознавая всю важность такого предмета, Аристарх Федорович принялся обдумывать каждое движение, каждый шаг, каждое слово, которому суждено излиться из красноречивых уст его. Затем он обратил исключительное внимание на дам; зная, каким авторитетом пользуются некоторые из них в домашнем быту, он поспешил обогатить свой ум запасом риторических фигур и оборотов самого обворожительного свойства. Фигуры эти заняли в мозгу его совершенно особенное отделение, двери которого предназначалось раскрывать одним только особам прекрасного пола.

Часов в десять вечера Аристарх Федорович вышел из своего кабинета, вооруженный с головы до ног, как Минерва. Наружная броня его, состоявшая из черного фрака, черных панталон, высокого белого, непомерно туго накрахмаленного галстука и такого же жилета, казалась столько же надежною, сколько нравственное его вооружение.

Музыка гремела уж полным оркестром, к великому удовольствию танцоров и вящему наслаждению уличной черни, которая месила грязь под окнами балаклеевского дома, когда Аристарх Федорович вступил в большую залу.

То была пространная белая комната, освещенная бесчисленным множеством свеч (к какому бы разряду ни принадлежали провинциальные балы, блестящее освещение играет всегда главную роль); в дверях, расположенных направо и налево, открывались перспективы других комнат, заставленных ломберными столами и запруженных посетителями. Но в первую минуту Аристарх Федорович ничего не мог различить. Ослепительный блеск огней, грохот оркестра и его собственное волнение сильно к тому способствовали. Ему показалось, что он упал с неизмеримой высоты в бушующее море кисейных юбок, наколок, цветов, локонов, фраков, завитков, батистовых платков, лакированных сапог и дамских атласных башмаков. Он поспешил, однако ж, овладеть собою, и грудь его мгновенно приняла свою всегдашнюю величавую выпуклость. Первый предмет, поразивший глаза Аристарха Федоровича, был Солонеев, не дядя Солонеев, но племянник, заклятый враг его, танцевавший с хозяйкою дома. Госпожа Балаклеева принадлежала к разряду таких дам, у которых преждевременное развитие стана и других частей корпуса совершилось с очевидным ущербом для ног; лицо ее, пухлое и румяное, отличалось необыкновенною свежестью и веселостью; последнее обстоятельство приписывала она всегда своей беззаботной жизни и особенно тому, что не имела детей; при этом мысль была та, разумеется, что очень хорошо не иметь детей в тех случаях, когда необходимо скрывать настоящее число лет. Пораженный довольно неприятно первым впечатлением, Аристарх Федорович обратил глаза в другую сторону; но второе впечатление было чуть ли еще не неприятнее первого. Он увидел, что хорошенькая Анна Васильевна Кошкина танцевала с хозяином дома. Анна Васильевна (так, по крайней мере, показалось Балахнову) кокетничала нестерпимым образом с Балаклеевым; она поминутно наклоняла на бок голову с тою очевидною целью, чтоб кавалер ее мог любоваться ее шейкой; небрежно бросалась на стул, причем маленькая ножка ее, обутая в атласный башмачок, выглядывала как бы невзначай из-под платья; Анна Васильевна вызывала на лице своем целый ряд очаровательных улыбок, и черными блестящими глазками окутывала своего танцора. Балаклеев вертелся, пыхтел, улыбался и не оставался минуты в покое; всему этому, как ясно заметил Аристарх Федорович, конечно, способствовала Анна Васильевна Кошкина. – «…Со стороны Балаклеева плохая надежда... с этой стороны почти все пропало» - подумал Балахнов, подавляя болезненное ощущение в своем сердце. Мысль эта укрепилась еще сильнее, когда Аристарх Федорович увидел неподалеку Семена Семеновича Кошкина, который корчил свое лицо и делал, помощью своих золотых очков, телеграфические знаки жене, знаки (Аристарх Федорович не сомневался в этом), имевшие целью поощрить кокетство Анны Васильевны. Кошкин стоял, облокотившись на спинку стула и, в минуты свободные от таинственной пантомимы, униженно нашептывал что-то на ухо Софье Алексеевне Окатовой, сидевшей на соседнем стуле. Гордый, величавый вид Окатовой пробудил в сердце Аристарха Федоровича сознание ничтожества собственной жены. – «Этой женщине следовало бы быть не Окатовой, а Балахновой, - подумал Аристарх Федорович, - а Балахнову следовало бы иметь женою не Лизавету Семеновну, а Софью Алексеевну!». Роскошные плечи Окатовой, урожденной княжны Жирофле-Никитской, не удостаивали даже повертываться к Кошкину и сохраняли неподвижность мрамора; движения ее ограничивались помахиванием пушистого веера из страусовых перьев с зеркальцем посередине; презрительная надменная улыбка была на губах ее, когда она слушала Кошкина, и та же презрительная улыбка обращалась ко всему, что окружало ее. Внимание Аристарха Федоровича удвоилось, когда Балаклеева, выбрав свободную минуту, подошла к Окатовой. Балаклеева наклоняется и шепчет ей что-то на ухо. Семен Семенович также наклонился и сказал, по-видимому, что-то очень забавное, потому что обе дамы засмеялись, причем Балаклеева обвела глазами залу и сделала какой-то

предостерегательный знак. Аристарх Федорович заметил тогда, что глаза Кошкина и обеих дам стали медленно и как бы машинально обращаться в его сторону. Он поспешил принять равнодушный вид, не забыв выпучить грудь и представить из всей своей фигуры образец благородства и привлекательной сановитости.

- Здравствуйте, мсьё Балахнов, bonjour, или, лучше сказать: bon „souar“... - чрезвычайно приятно! - послышалось неожиданно за его плечами. Но Аристарх Федорович, узнав голос Бобохова и зная, с другой стороны, что его наблюдают, не тронулся с места, не пошевелил волоском, чтоб не испортить впечатление, которое должна была пробуждать в эту минуту его благородная наружность.

Он поневоле принужден был, однако ж, поклониться выскочке, когда бесконечно-длинный белый жилет и львиные бакенбарды Бобохова очутились перед его глазами.

- Чрезвычайно приятно... когда вы приехали? - заговорил Бобохов, прищуривая свои рысьи глазки.

- Недели полторы... - отвечал Аристарх Федорович, наводя угол глаза на ту часть залы, где сидела Окатова, и продолжая олицетворять неподвижный тип благородства.

- А я приехал всего только нынче утром, прямо из Москвы, - подхватил Бобохов. - Ах, знаете, мсьё Балахнов, я привез чрезвычайно неприятную новость: наш общий знакомый, мой друг Чиндаласов, очень болен...

- Весьма сожалею, - рассеянно сказал Аристарх Федорович, - ну, а не знаете ли вы что-нибудь о приятелях Чиндаласова: Сербине и Крановиче? Скоро они приедут сюда?.. Ведь они, как сказывал мне Чиндаласов, собирались сюда на время выборов? - примолвил он, обращая в первый раз глаза свои на выскочку.

- Помилуйте, как же мне не знать этого! Сербин и Кранович задушевные мои приятели... Я могу сказать вам положительно, что они отложили намерение приехать в Черноряжск, оба остались в Москве и не отходят от Чиндаласова...

При этом известии Аристарх Федорович сделал нетерпеливое движение, и лицо его утратило на минуту величаво-благородное выражение. – «Сербин и Кранович ускользнули из рук... еще двумя меньше!..» - подумал он.

- Я слышал... - начал опять Бобохов, - я слышал, мсьё Балахнов, что вы на днях даете бал?

Аристарх Федорович вздрогнул, как будто его окатили ведром холодной воды.

- Бал! я даю бал! - произнес он, стискивая вагенгеймовские зубы, чтоб приудержать восклицание изумления, готовое вырваться из груди его, - да, действительно, я даю бал; но кто ж вам сказал об этом? - присовокупил он спокойнее.

- Помилуйте, все говорят об этом... весь город; я объездил нынче утром все здешние салоны – и везде слышал о вашем бале.

Аристарх Федорович ясно увидел, что купцы, подрядчики и официанты, которым строго предписано было держать язык за зубами, не сдержали своего обещания и протрубили о его бале по всему Черноряжску. При этой мысли негодование забушевало самым неистовым образом в груди его. Но делать было нечего; сказанное слово – не воробей, не поймаешь. Аристарх Федорович решился вознаградить себя слухами о том, что говорилось, по крайней мере, о будущем его бале; основываясь на этом, он обратился к Бобохову и произнес следующую предварительную речь:

- Надеюсь видеть на этом бале соседа своего, Ивана Дормидоныча Бобохова?..

- Ах, помилуйте... чрезвычайно приятно...

Аристарх Федорович протянул собеседнику руку и примолвил:

- Ну, что ж, скажите, говорят о моем бале?..

Но, к сожалению, Аристарх Федорович остался при своем вопросе. В самую эту минуту кадриль кончилась, и Бобохов побежал стремглав приглашать даму.

Аристарх Федорович поспешил отойти к резной жардиньерке, уставленной цветами, отчасти для того, чтоб дать место дамам, но преимущественно с тою целью, чтоб занять выгодное место и рельефнее выставить свою фигуру. Заметив, что хозяйка дома

направлялась в его сторону, он закинул правую руку за спину, грациозно перегнул корпус и, уткнув свой нос в куст левкоя, принялся вдыхать в себя его запах с видом страстного любителя цветов.

Когда госпожа Балаклеева была уже в трех шагах, Аристарх Федорович сделал очаровательный жест приятного изумления и поклонился; при этом ясно, однако ж, значилось, что поклон этот не имел ровно никакого отношения к Солонееву, который поддерживал руку Балаклеевой. Но Солонеев не заметил этого маневра, потому что сам глядел совершенно в противоположную сторону.

- Вы, кажется, очень любите цветы, мсьё Балахнов?.. - сказала госпожа Балаклеева таким бесцеремонно-выразительным тоном, который ясно показал Аристарху Федоровичу, что Балаклеева намекала ему на цветы, так ловко перехваченные им у Окатовых.

Буря негодования закипела в груди горшковского дипломата, но со всем тем лицо его осталось так же прекрасно и спокойно, как гладкая поверхность моря, облитая лучами заходящего солнца.

- Можно ли не любить цветов? сударыня, - сказал он с выражением любезности, какою мог только располагать, - цветы - это, так сказать, эмблема женщины! - добавил он с грациозным наклонением головы.

Разговор, поддержанный так удачно Аристархом Федоровичем, принял бы, конечно, более широкие размеры, если б не помешала этому Софья Алексеевна Окатова; в ту минуту, как Балахнов делал напряжение, чтоб приподнять шлюзы того мозгового закоулка, где хранились риторические фигуры, Софья Алексеевна очутилась между ним и Балаклеевой; поравнявшись с Балахновым, она повернулась к нему спиною и, величественно размахивая своим страусовым веером, прошла мимо, как будто вовсе не заметила его присутствия, как будто Аристарха Федоровича вовсе и не было на свете. Сделав два-три шага, она повернула назад голову и подала дружелюбный знак Солонееву, который тотчас же последовал за нею, увлекая хозяйку дома. Аристарх Федорович ясно различил тогда в толпе черный лоснящийся паричок Кошкина; Семен Семенович не замедлил очутиться между веером Окатовой и цветущим лицом Балаклеевой.

Аристарх Федорович почувствовал досаду, какой, верно, не испытывал еще ни один смертный от сотворения мира.

- Bon soir, cher мсьё Балахнов! - неожиданно воскликнул хозяин дома, останавливаясь перед гостем, - comment vous… ah! Pardon! Pardon! - заговорил он, снова проносясь молниею мимо Аристарха Федоровича и покатил, как кубарь, по направлению Анны Васильевны Кошкиной, которая показалась в дверях залы.

Патентованные зубы Аристарха Федоровича невольно притиснули нижнюю губу, и каблук правого сапога его оставил неизгладимый знак на дубовом паркете залы: сухой хряск, раздавшийся в то же время за спиною знаменитого мужа, возвестил красноречиво, что новая шляпа его послужила главным проводником электрическому сотрясению. Эффект, на который так рассчитывал Аристарх Федорович, был потерян. Никто не обращал на него малейшего внимания. Против истины горестного факта не могло быть возражения. Аристарх Федорович ошалел совершенно, если смеем привести такое грубое слово для выражения того душевного состояния, в которое повергло великого человека поведение Балаклеева, Окатовой и прочих.

Оркестр между тем заиграл новую кадриль; танцевавшие заняли свои места; все вокруг задвигалось, засуетилось, и кисейные платья снова заволновались, как пестрое море.

Но Аристарх Федорович, успевший уже овладеть собою, мало обращал теперь внимания на поверхностные предметы внешнего мира. Он уже вдумывался в мирскую суету, вдумывался в сложные вопросы касательно мелочности человеческого общества, вдумывался еще сильнее в ограниченность и страшное ничтожество некоторых лиц, вертевшихся теперь перед ним, как куклы. Все в нем как нельзя яснее подтверждало, что в

настоящую минуту он действительно питал глубокое презрение ко всем этим людям. Философские истины, развиваемые по этому поводу в дипломатической голове Балахнова, не замедлили оправдаться новыми фактами и – странное дело! Надо же, чтобы это случилось в ту самую минуту, может статься, когда Аристарх Федорович, снова переполненный сознанием своего превосходства, задумал уж протянуть руку ничтожному человечеству и примириться с жалкою, но, увы! существующею действительностью!

Вот как это было.

Наступил промежуток между танцами; Аристарх Федорович сделал шаг вперед, чтоб завязать разговор с хозяйкою дома, как вдруг в дверях залы показались два молодые человека, которые мгновенно приковали внимание Балаклеевой, а за нею и внимание всех присутствовавших. Один из них был какой-то граф, как оказалось тотчас же из соседнего шепота; другой был князь. Оба только что приехали из Петербурга и, узнав о бале, поспешили представиться Балаклеевым, с которыми были еще прежде знакомы.

Аристарх Федорович, затушеванный таким неуместным появлением, подавил, однако ж, досаду и, пробравшись сквозь толпу, занял выгодное место.

Хозяйка дома, поспешившая навстречу приезжим, была в восторге; хозяин дома забыл, по-видимому, на этот раз Анну Васильевну Кошкину и радостно пожимал руки новым гостям.

При этом каблук Аристарха Федоровича сделал новый знак на паркете, и шляпа его получила новое значительное углубление на самой макушке.

- Вы не танцуете? - спросила по-французски госпожа Балаклеева, обращаясь к графу.

- Mille pardons, m’ame... я даже пригласил даму; к сожалению, все дамы ангажированы до девятой кадрили, - отвечал граф.

- А вы, князь? - спросила госпожа Балаклеева, обращаясь к другому гостю.

- Mille pardons, m’ame... к сожалению, меня постигла участь графа; я точно так же не могу танцевать раньше девятой кадрили...

- Ах, Боже мой, да это предосадно! - воскликнула Балаклеева, - впрочем, все это можно исправить... attendez...

Тут госпожа Балаклеева выступила на середину залы, оглянулась направо и налево и, обращаясь к группам танцоров, сказала с любезною непринужденностью:

- Messeieurs et mesdames, мы только что танцевали третью кадриль... будемте танцевать теперь девятую, а потом опять четвертую, пятую и т. д. n’est ce pas?.. Eh bien c’est accorde! - заключила она, подходя к двум молодым людям и протягивая им руки.

Балаклеев поспешил дать знак музыкантам; оркестр заиграл девятую кадриль вместо четвертой; танцоры заняли свои места, и вскоре граф и князь заколыхались между остальными танцорами.

Аристарх Федорович был сражен вниманием и предпочтением, какие оказывались двум молодым людям; его окончательно скомканная шляпа доказывала теперь ясно, что презрение к человеческому роду укрепилось в нем навсегда.

Скрестив на груди руки, выставив немного правую ногу вперед, он глядел на вертевшуюся, прыгавшую толпу и невольно напоминал своею фигурой ту странную литографию, где между двумя плакучими березами изображена тень Наполеона, задумчиво созерцающая собственную свою гробницу.

Но такова была энергия и твердость этого истинно достойного мужа, что он и тут-таки находил случай занимать самые выгодные места залы. Каждый раз, как оркестр умолкал и наступали промежутки, он становился всегда между графом и князем; неимоверно выпучив грудь и горделиво закинув голову, он думал завладеть хоть приступом всеобщим вниманием. Но старания Аристарха Федоровича не имели ни малейшего успеха.

Всеобщее внимание все-таки исключительно устремлялось на двух молодых людей, и взоры присутствовавших перебегали от одного к другому, как будто между ними находилось совершенно пустое пространство.

Потеряв, наконец, всякое терпение, Аристарх Федорович направился в смежные комнаты, но с этой стороны... нет, я не могу продолжать... рука изменяет мне... Кто опишет его ужас, когда увидел он в дверях двух лютейших врогов своих, Окатова и дядю Солонеева, которые дружелюбно разговаривали, держа друг друга под руку.

Как! Аристарх Федорович глазам не верил: как! Окатов и Солонеев помирились! Помирились эти два бывшие когда-то врага, и помирились в такое время... Все кончено! - подумал дипломат, враги торжествуют! тут уж не поможет Бирюков.

К такому горестному заключению привели его возмутительные события нынешнего вечера.

Как некогда ярко горевший светильник, который уже потухает, но перед тем трещит и лучезарно вспыхивает, Аристарх Федорович выпучил грудь и гордо поднял голову... Напрасно, однако ж, бодрился великий муж из Горшкова; дух его видимо уж сокрушился. Чувствуя приближение рокового кризиса, Аристарх Федорович поспешил оставить дом Балаклеевых. Свежий воздух морозной осенней ночи произвел благодетельное действие на разгоряченный организм владетеля Ханских Прудов. Буря, клокотавшая в груди его, уступила мало-помалу место кроткой меланхолии. Так всегда бывало с Аристархом Федоровичем. Вернувшись домой, он заперся в своем кабинете, опустился в кресло, подперся локтем правой руки, и с этой минуты грустное сосредоточенное раздумье окончательно овладело его мозгом.

- За что все это? за что?.. Что я им сделал? - воскликнул наконец Аристарх Федорович, подняв неожиданно голову и воздев руки к потолку, с выражением истинной глубокой скорби.

Такой порыв был, однако ж, непродолжителен.

Дух смирения снова овладел нашим героем. Он опустил голову на локоть, медленно придвинул к себе знаменитую записную книжку и, обмакнув перо, начертал нетвердою рукой следующие слова:

«Если люди отказывают в справедливом возмездии за добродетели ваши, то не ропщите, но утешайте себя целительною мыслью, что вы заслужили оное!».

После этого Аристарх Федорович значительно успокоился. Со всем тем он долго еще не мог сомкнуть глаз. Сон овладел им тогда лишь, когда последние звуки карет, развозивших гостей Балаклеева, окончательно замолкли в опустелых улицах Черноряжска.

XIX.
Подвиги черноряжского Геркулеса-Иракла приводят в неописанный восторг одного из героев этой истории, тогда как другой герой обнаруживает к ним совершеннейшее равнодушие. Самоотвержение старинного друга

Сон Аристарха Федоровича был очень тревожен. Звук экипажей, давно уже смолкнувший, не переставал раздаваться в ушах его во все продолжение этой длинной мучительной ночи. Безалаберные фантастические грёзы осаждали поминутно его дипломатический мозг. То казалось ему, что он снова присутствует на балаклеевском бале: Аристарх Федорович с изумлением видит, как Нил Степанович Лукьянов завладел теперь возвышением, предназначенным для оркестра. «Что это значит? - спрашивает Аристарх Федорович. - Значит то, мой почтеннейший и премногоуважаемый Аристарх Федорович, что людская клевета и ядовитая шипящая злоба мешали отдавать вам должную справедливость!» - торжественно говорит Лукьянов. «Ах, Боже мой! нет, мы никак не допустим, чтоб вы, Аристарх Федорыч, стали дожидаться после этого девятой кадрили!» - восклицает госпожа Балаклеева. Господин Балаклеев, который неизвестно почему стал вдруг худощав и тощ, как флейта, дает знак Нилу Степановичу. Нил Степанович стучит по животу, расписанному наподобие турецкого барабана, бренчит пальцами по губам, и Аристарх Федорович танцует девятую кадриль с Кошкиной.

«Поверьте, мсьё Балахнов,, я никогда не прощу себе свое заблуждение, - говорит очаровательным голосом Анна Васильевна, - с этой минуты я и муж мой...». Но тут голос Кошкиной начинает слабеть, наколка из цветов на голове ее принимает вид белой косынки, а сама она превращается в Фиону Ивановну. «Зачем ты здесь?» - спрашивает Аристарх Федорович, нахмуривая брови и бросая грозный взгляд па экономку. Фиона Ивановна делает очевидные усилия, чтоб принести свое оправдание, но вареная в молоке фига, которую носит она постоянно за щекою для смягчение флюса, мешает ей пошевелить языком. Аристарх Федорович быстро удаляется, но глаза его повсюду встречают плюшевые жилеты изумрудного цвета, наподобие того, какой видел он в Москве у Чиндаласова. То чудилось ему, что он находится в ночное время посреди необъятного глухого пустыря. Страшные раскаты грома не умолкают ни на минуту; дождь льет ливнем, ветер только что снес его шляпу и яростно играет полами его сюртука. Мало-помалу в отдалении начинает показываться какое-то белое пятно... ближе, ближе, и вдруг посреди пустыря возникает дом Окатовых. На балконе появляется Софья Алексеевна со своим страусовым веером, украшенным круглым зеркальцем. Аристарх Федорович видит себя целиком в том маленьком зеркале и начинает с беспокойством ощупывать свою грудь и голову, желая убедиться, занимает ли он в действительности такое маленькое место на земле. Но уж на балконе показались Кошкин, Окатов, Солонеев-дядя и Солонеев-племянник; все они указывают пальцем на Аристарха Федоровича и разражаются единодушным хохотом; хохот этот тотчас же объясняет Балахнову причину грома, слышанного им за минуту. Аристарх Федорович свирепо скрежещет патентованными зубами – и все исчезает, за исключением зеркальца, в котором долго еще видит он свое изображение в самом уменьшенном виде. Потом Аристарх Федорович ясно слышит, как скрипнула дверь временного его кабинета. «Кто там?» - спрашивает он. Нет ответа, но дверь продолжает между тем скрипеть; слух его различает шарканье и стук нескольких сапог. Он делает неимоверное напряжение, чтоб привстать с постели, но напрасно: члены не повинуются ему, и только после многих усилий удается ему раскрыть глаза. Кровь застывает в жилах Аристарха Федоровича. Он видит, как в двери кабинета вошли один за другим Кошкин, Окатов и оба Солонеева. «Тссс... господа, - говорит Кошкин, прикладывая указательный палец к губам и таинственно прищуривая левым глазом, - „мы застаем его теперь в самую благоприятную минуту... не будите его!..». - «Ну, вот, очень нужно с ним церемониться!” - восклицает дядя Солонеева, - уничтожить его, так уничтожить!» - «Конечно, уничтожать, так уничтожать!» - мужественно подтвердил Окатов. «Но куда ж мы его денем?». – «Ничего нет проще, господа, - подал голос Солонеев-племянник, - мы спрячем его в ту долину, где, помните, построил он скотный двор: там некогда стоял дом моих предков!». – «Нет, господа, не согласен! - запищал Кошкин, потрясая черным лоснящимся париком, - я был его другом и, помнится даже, говорил речь в день его рождения... из этого ясно следует, что, прежде чем уничтожу его, я должен выкурить трубку...». – «Прекрасно! прекрасно... и знаете ли что? мы закурим трубку его волосяным галстуком!!..». – «Нет, господа, опять не согласен, - подхватил Кошкин, - от галстука произойдет чад, а вот мы закурим трубку его записной книжкой, вот она штука-то в чем!». – «Вот она штука-то в чем!» - повторили в один голос все присутствовавшие. – «Да, вот она штука-то в чем! - закричал громче всех Карачаев, - мне какое дело, что он спит! Пора вставать! Скоро одиннадцать часов!».

Аристарх Федорович сделал сверхъестественное усилие, приподнялся на кровати, протер глаза – и проснулся.

Карачаев действительно расхаживал взад и вперед по кабинету, пуская направо и налево длинные струи дыма из своего коротенького чубука. Нанковый казакин его, перетянутый ременным поясом, ветхие мокрые сапоги, всклоченные волосы, измятое багровое лицо – ясно свидетельствовали, что он только что совершил далекое путешествие на открытом холодном воздухе. Сидор стоял в дверях и шепотом упрашивал Павла Петровича не беспокоить барина.

- Карачаев!.. Какими судьбами?!., ну, что жена?., где она, где?!.. Когда приедет?..

Такими вопросами разразился Аристарх Федорович, как только получил ясное сознание, что все виденное и слышанное им происходило не наяву.

- Здравствуй, душа моя! - сказал Карачаев, мгновенно опуская чубуку и подходя к постели.

- Где Лизавета Семеновна? Скоро ли она сюда приедет? – повторил Балахнов, выказывая признаки сильнейшего нетерпения.

Вопрос этот, очевидно, поставил Карачаева в сильное затруднение. Он заморгал глазами, побагровел и суетливо пригладил свои реденькие волосы.

- Не знаю, душа моя... не могу тебе сказать, когда она приедет... - отвечал он, стараясь придать своему голосу как можно больше уверенности.

- Как! так ты, стало быть, не из Ханских Прудов? - воскликнул Аристарх Федорович, выражая досаду в каждой черте своего лица.

- Нет, душа моя... вот уж недели полторы, как я слоняюсь по уезду... были, брат, кой-какие дела... - довершил Карачаев с самым неловким видом.

- Так ты, стало быть, ничего не знаешь о том, получила ли жена мои письма?

- Нет, при мне не получала она никаких писем... впрочем, я говорю тебе, душа моя, что вот уже полторы недели, как я не был в Ханских Прудах, - поспешно присовокупил Карачаев, принимаясь тереть лицо ладонью, чтоб скрыть свое замешательство.

Тут он отвернулся, подбежал к окну и стал с поспешностью набивать трубку.

- Хорош, любезнейший, нечего сказать! - вымолвил Балахнов недовольным тоном, - сказал, что не оставишь ни на минуту моего дома, что будешь неотлучно находиться при жене, а между тем не успел я уехать, как уж пошел рыскать по уезду – хорош друг, нечего сказать! Можно после этого в чем-нибудь на тебя положиться!..

- Помилуй, душа моя, Aristarque! ecoute: клянусь честью, нельзя было сделать иначе - воскликнул Карачаев, подбегая к постели. - Ты знаешь, что никто так не любит и не уважает Лизавету Семеновну, как я! Уж на этот счет, брат... как там себе хочешь!.. Впрочем, все, слава Богу, здоровы; успокойся, душа моя, все здоровы, и детки, и сама Лизавета Семеновна... я за всем, брат, сам наблюдал... можешь быть уверен! - подхватил он, обтирая одною рукой пот, струившийся по лицу, тогда как другая рука горячо пожимала руку собеседника.

- Хорошо, хорошо, любезнейший! Ты, видно, так же, как и другие, хорош только на словах... - произнес Аристарх Федорович, махнув рукой.

- Фу! да тебе ведь говорят... - запальчиво воскликнул Карачаев.

- Ладно, брат, ладно! - перебил Балахнов, напяливая халат. - Ну, да что об этом говорить! Скажи-ка лучше, не слыхал ли чего-нибудь о Бирюкове?

- Нет, братец, ничего не слыхал; я был совершенно в другом конце уезда! С этой стороны, брат, я могу сообщить тебе печальную новость!

- Что ж такое? - произнес Балахнов, обнаруживая беспокойство.

- Да то, братец, что эта бедная Василькова приказала долго жить! - сказал Карачаев, закрывая глаза и опуская голову.

- Да, ну, это, конечно... - пробормотал Аристарх Федорович, мгновенно расправляя брови.

- Конечно, брат, тебе это все равно... ты, ведь, братец... известно... ну, да что об этом!.. - выразительно сказал Карачаев. - Я сообщил это известие единственно для того, чтоб объяснить тебе причину моего отсутствия из Ханских Прудов; надо же было кому-нибудь устроить похороны и наблюдать за тем, чтоб все это произошло как следует... Фанагория Петровна в Москве; этот зюзя Васильков раскис совсем... Ну, я и поехал... больше ведь некому!..

- Такая заботливость, конечно, делает тебе величайшую честь! - рассеянно сказал Аристарх Федорович.

- Ну, вот, братец, честь! уж и честь! Что ж такое?.. просто: так себе! Надо же было кому-нибудь распорядиться... Я знал Антонину Васильевну, жалел о ней... ну, понимаешь, я и поехал... - пробормотал Карачаев, моргая глазами и разводя толстыми своими пальцами.

- Как ты себе там хочешь, а это все-таки делает тебе честь, - продолжал Балахнов, подходя к письменному столу и опускаясь в кресло. - Во всем этом одно только обстоятельство кажется мне довольно странным...

- Что ж такое? - спросил Карачаев, тревожно двигая бровями.

Смущение Карачаева начинало даже забавлять Аристарха Федоровича. Карачаев, очевидно, совестился, что, вопреки обещанию не покидать Лизавету Семеновну во все время отсутствия Аристарха Федоровича, не переставал рыскать по уезду! Аристарх Федорович не сомневался в верности своей догадки. «Жалкий, но добрый и честный парень, - снисходительно подумал Балахнов, - смущение и совестливость делают в этом случае величайшую честь его сердцу». Такое размышление не мешало ему, однако ж, засыпать Карачаева вопросами, ставить его в затруднительное положение. Аристарх Федорович находился в это утро в желчном настроении духа.

- Вот видишь ли, братец, похороны, сколько мне известно, могут занять два дня, ну, положим, три, но уж никак не более, - продолжал Балахнов, - желательно было бы знать, бесценнейший мой Павел Петрович, где вы провели остальное время?..

- Че-е-во? - произнес Карачаев, багровея как клюква и сильно потирая лысину.

- Ты забыл, вероятно, что остается еще целых восемь или девять дней...

- Да ты скажи мне одно только, - запальчиво крикнул Карачаев, - что ты за допросчик такой? Я разве обязан отдавать тебе отчет в своем поведении? а?.. Впрочем, если ты непременно хочешь знать... и особенно, если это доставляет тебе удовольствие, изволь, я скажу тебе... - подхватил он, мгновенно смягчая голос, между тем как Аристарх Федорович корчил презрительную улыбку. - Изволь, я скажу тебе: я был все это время у Барабанчикова... Нелегкая опять угораздила его свалиться с лошади и сломать себе ногу... Он при смерти... Не бросить же его так, на произвол... я поскакал в Горшков за доктором... Потом... известно... известно... то да се... ну, время, конечно, и прошло!.. Эх! да что толковать с тобой о таких вещах! Ты, ведь, братец, извини, а известно уж... Тебе все равно!., для тебя все прах, меркантель! мелюзга!.. Оно, может статься, и так по-вашему, да по-нашему не так, – вот она штука-то в чем! Ну, и баста, значит! и говорить, значит, нечего! Покурим-ка, братец, трубочку... да ecoute: вели-ка подать чаю, это будет лучше; с дороги-то, знаешь, оно не мешает, страх продрог! Ведь нынче, сам знаешь, не июль месяц! - заключил Карачаев, очевидно, стараясь замять речь касательно предшествовавших обстоятельств.

Для полнейшего достижения такой цели он подсел еще ближе к Аристарху Федоровичу и завязал разговор о предметах совершенно посторонних. Он принялся расспрашивать о текущих новостях, осведомился мимоходом о дне, назначенном для выборов, передал впечатления свои при въезде в Черноряжск и не умолкал ни на минуту во все продолжение завтрака. Аристарх Федорович между тем давно уж не слушал своего собеседника; он, по-видимому, совсем даже забыл о нем; тяжелые воспоминания вчерашнего дня, возникая мало-помалу в голове его, вытеснили минутную раздражительную веселость. Повернувшись боком к Карачаеву, упершись локтем, он не отрывал задумчивого взора от окна. Но чем мрачнее становилось лицо Аристарха Федоровича, тем сильнее болтал Карачаев. Изредка останавливался он, обнаруживая желание вычистить или продуть трубку; но в сущности останавливался он с тою единственною целью, чтоб устремить на Аристарха Федоровича пристальный, испытующий взгляд; в эти минуты каждый легко мог прочесть в глазах Карачаева чувство негодования, которое мгновенно, впрочем, уступало место чувству истинного, задушевного, но тревожного участия. Ясно было в эти минуты, что в душе Карачаева хранилась какая-то тайна, которая имела прямое, но далеко не благоприятное отношение к

Аристарху Федоровичу. Вот это-то последнее обстоятельство и заставило, может статься, Карачаева так усердно заботиться о том, чтоб рассеять Аристарха Федоровича. Перебрав тощий запас веселых анекдотов, Карачаев перешел к прежнему своему Ивану, к жене его Глафире, мысленно перенесся в черноряжский театр, изобразил две-три комические сцены из быта провинциальных актеров, причем залился звонким дребезжащим смехом – все было напрасно: Аристарх Федорович продолжал глядеть в окно и с каждой минутой становился мрачнее и мрачнее.

Карачаев замолк и принялся потирать свою лысину, причем глаза его ни на минуту не покидали Аристарха Федоровича.

Минут пять длилось молчание.

- Знаешь ли, что я скажу тебе, душа моя, - начал наконец Карачаев, придвигаясь вместе со стулом к собеседнику. - Скажу тебе, что с тех пор, как мы расстались последний раз, я замечаю в тебе, братец, большую перемену! Худеешь ты, что ли... или, может статься, чувствовал себя не совсем здоровым во все это время, а только, брат, как хочешь, я замечаю в тебе страшную перемену... Именно что-то такое, знаешь... как бы это сказать?.. Ну, словом, и тот ты, да не тот! - заключил Карачаев, поясняя пальцами то, чего не мог сказать языком.

Вместо ответа Аристарх Федорович повернул лицо в другую сторону, приподнялся с кресел и, подавив вздох, начал расхаживать по кабинету.

Минуты две Карачаев следил глазами за Балахновым, потом встал, забросил руки за спину и также начал ходить по кабинету.

- Эх, э-эх, душа моя! - неожиданно заговорил Карачаев, выравниваясь с Аристархом Федоровичем и стараясь попасть с ним в ногу. - Эх, душа моя, охота тебе, право!.. Ну, что из этого? Ну, сам ты посуди... Ecoute: я, конечно, не могу давать тебе советов... я прошу только, послушай, душа моя, вникни, рассуди сам хорошенько... ну что во всем этом!., ведь это, братец ты мой, не что иное, как прах! дым! и больше ничего! - примолвил он, выпустив облако табачного дыма и выразительно разрезав его ладонью.

Аристарх Федорович сделал нетерпеливое движение локтем и продолжал ходить по кабинету.

- Воля твоя, душа моя! - заговорил опять Карачаев, останавливаясь и приподымая брови, - воля твоя, делай как знаешь! Советовать тебе не могу. Мне хотелось только, чтоб ты вникнул, да, именно так: вникнул! Да вот чего же лучше, если ты мне не веришь, сам посмотрись в зеркало! Я говорю это тебе по дружбе; подойди, взгляни на себя!.. Я готов отдать голову на отсечение, готов держать какое угодно пари, что все это неспроста; вот она штука-то в чем! Скрывайся, брат, сколько хочешь, а я готов прозакладывать хоть сейчас последний казакин, что всему этому причиной какие-нибудь неприятности!

- Какие неприятности?., какие? где они, эти неприятности? - вскричал Аристарх Федорович, неожиданно останавливаясь и приподымая голову.

Тут Аристарх Федорович окончательно повернулся к Карачаеву и, приподняв сжатые кулаки, продолжал с возраставшим бешенством:

- А вот я задам бал! задам обед! приедет жена, приедет Бирюков, соберутся остальные - так я им покажу, какие у меня неприятности! - довершил Аристарх Федорович, опуская кулаки и принимаясь снова маршировать по кабинету.

Карачаев не отвечал на это ни слова; но, выбрав минуту, когда Аристарх Федорович повернулся к нему спиной, опустил голову, раздул губы и сделал безнадежный жест рукою.

- Ты совсем не так меня понял, - сказал он, когда Балахнов обернулся к нему лицом, - совсем не так, братец... Я хотел сказать, что ты принимаешь все это слишком к сердцу, и оттого так себя расстраиваешь... вот что! Не веришь - взгляни в зеркало. Вот этим-то самым ты, брат, и вредишь себе. Я уверен, что все заметили в тебе такую перемену и, что всего хуже, заметили те именно, перед которыми тебе следует быть молодцом! Право, так! Сам знаешь, сейчас скажут: «Э-э-э!» - поверь мне... На твоем бы месте я старался

казаться веселее, молодцеватее, чем когда-нибудь, - убедительно продолжал Карачаев, между тем как Аристарх Федорович покручивал головой, выпрямлялся, выпучивал грудь и приглаживал волосы, - конечно, так, душа моя, Aristarque, конечно, так: нате, мол, назло же вам, радуйтесь! Я показывался бы всюду: на гуляньях, на вечерах, в собрании... старался бы всячески себя рассеять... а ты что? сидишь себе в кабинете, ломаешь себе голову и, право, ecoute: только вредишь себе! Ну, вот хоть бы теперь! Ну, отчего бы, например, не съездить тебе в театр?.. Ведь вон афишка-то, я ее видел; представление чудесное! Да не в том вовсе сила; дело не в представлении! А так, пошел бы рассеяться; и я пошел бы с тобою для компании; повидался бы кстати с Ванюшей; пошли бы, взяли билеты, сели бы, посмеялись и на людей посмотрели – право, ну, душа моя, Aristarque!

С окончанием этого монолога Аристарх Федорович успел уж овладеть собою; грудь его получила величавую выпуклость; голова гордо закидывалась назад.

- Все это прекрасно, любезнейший, - сказал он с вельможественным видом, - надеюсь, однако ж, что прежде чем идти в театр, ты переменишь несколько свой костюм!..

- Ха-ха-ха! - восторженно залился Карачаев, - неужто ты думал, что я в этом... нет, брат, я взял с собой фрак... чай, он у меня там в чемоданчике... Эй, Сидор!., если нет, я сам схожу... одевайся же, душа моя, скоро ведь час, и если идти, так идти, - заключил он, суетливо направляясь к двери.

Как ни был ничтожен Карачаев в глазах Аристарха Федоровича, однако ж он решился последовать его совету и дал себе слово показываться всюду с сияющим, торжествующим лицом перед глазами врагов своих.

Основываясь на этом, он приказал Сидору подавать одеваться.

- Ну, вот я и готов, душа моя! - сказал Карачаев, появляясь в кабинете и принимаясь делать развязные жесты, причем послышался тот легонький треск, который сопровождал всегда Карачаева, когда он находился в черном своем фраке.

- Мы пойдем пешком, - сказал Аристарх Федорович.

- Ну, и ладно; что дело, то дело; погода стоит прекрасная. Идем же, душа моя, идем!.. - подтвердил Карачаев, усердно напяливая огромные коричневые перчатки с завитками на концах пальцев.

Четверть часа спустя оба заворачивали за угол Никольской и выходили на площадь. Левый полукруг той площади был занят так называемым летним садом, который во всякое время года сохранял вид отрезанного черствого ломтя, но в настоящую эпоху представлял мерзлую пустыню, украшенную зелеными кольями. В правом полукруге, между двумя рядами маленьких дощатых навесов с баранками, жемками, изюмом и стручками, располагался театр. То было дощатое серое здание, не отличавшееся ничем от балаганов, которые воздвигаются на площадях о Масленой и Святой.

- Ай да Ваня! ай да Иван Емельяныч! - воскликнул Карачаев. - Я, братец, никогда, впрочем, не сомневался в нем; погляди, погляди, какую, брат, выстроил штуку; молодец! ей-Богу, молодец!.. Но что это? кажется, уж начали... я слышу музыку... - примолвил он, ускоряя шаг.

Глухие звуки тромбона и кларнета действительно раздавались уж за стенами балагана.

Аристарх Федорович и Карачаев вошли в сени. Тут с одной стороны находилась маленькая дверь в спектакльную залу, охраняемую долговязым оборванным малым с подбитым глазом; с противоположной стороны проделано было четырехугольное окно с надписью на косяке: «касса»; в этом окне суетился совершенно лысый старичок с птичьим носом и медными очками, вздернутыми на лоб.

Перед кассой стояли старичок Пшеницыу и долговязый Федя.

- Как вам угодно, а мы никак, никак не можем этого сделать! Сами взгляните... помилуйте, возможное ли это дело! - говорил, размахивая руками, плешивый кассир.

- Да как это так?., как же это?., полно, благодетель, нельзя ли? - умоляющим голосом произнес старик Пшеницын.

- Никак нельзя-с!

- Да что ж это такое?.. Я сам читал на афише... да это... это просто мошенничество! - с отчаянием воскликнул Пшеницын.

- Мошенничества тут нет никакого, а просто нельзя, да и все тут! - возразил плешивый кассир.

- Что у тебя тут такое? - спросил Аристарх Федорович, подходя к Пшеницыну.

- Ах, благодетель, батюшка, Аристарх Федорович, сколько лет, сколько зим не видались!.. - воскликнул Пшеницын, прикладывая руки к коленям и кланяясь...

- О чем у вас дело? - перебил Балахнов.

- Ох, родной, благодетель вы мой! да вот, просто мошенничество, чистое мошенничество... Кланяйся, дурашка, - подхватил неожиданно Пшеницын, толкая долговязого Федю, который шаркнул сапогом и поглядел исподлобья на Балахнова.

- В чем же дело? - повторил Аристарх Федорович.

- Да вот, благодетель, - заговорил Пшеницын, указывая на кассира, - я отдал ему полтинничек за себя да четвертинок за Федю, а он не пускает его... «Нет, говорит, и за него надо полтинничек...». просто мошенничество! Сам ведь читал, благодетель, в ихней афише, сами ведь отпечатали, что с малолетних берут половину, а теперь не пускают...

- Да какой же он малолетний, сами извольте взглянуть! - с отчаянием воскликнул кассир.

- Ну, полно, братец, хлопотать об этом; я возьму Феде билет, - сказал Аристарх Федорович. - Дай четыре билета, - примолвил он, бросая депозитку кассиру.

- Благодетель ты мой!.. Кланяйся же, дурашка, благодари... что стоишь! - разразился Пшеницын, принимая билеты и подталкивая Федю. - Хотелось, отец мой, потешить парня-то, - подхватил он, радостно хлопая глазами, - ведь определен, благодетель, определен писцом в здешнюю палату.

- Ба! - сказал Аристарх Федорович.

- Ей-Богу, право!.. и все ведь благодетели постарались: Николай Степанович Окатов и Солонеев - ей-Богу так!..

Аристарх Федорович тотчас же повернулся к нему спиною. Нимало не намереваясь войти в спектакльную залу вместе с Пшеницыным и долговязым Федею, он решился выждать, пока оба они усядутся на свои места.

- А что, давно началось представление? - спросил Балахнов для препровождения времени.

- Только что начали, сударь, - почтительно отвечал кассир, проводя рукою по лбу, причем очки его тотчас же упали на нос и приняли свое обыкновенное место.

- Скажите, пожалуйста, батюшка, нельзя ли мне повидаться теперь как-нибудь с Иваном Емельяновичем? - спросил Карачаев, который во все продолжение предыдущей сцены возился со своими коричневыми перчатками.

- Я полагаю, сударь, он теперь одевается... а впрочем, можно сейчас узнать... Да вот, кстати, кто-то идет со сцены, - отвечал кассир. - Эй! кто там? Вы, Иван Емельяныч? - заключил он, уходя внутрь углубления.

Вместо ответа кто-то засвистал.

- А, это вы, Ардалион Александрыч! - сказал кассир. - Что, Иван Емельяныч еще не одевались?

- Геркулес-Иракл…сейчас на сцену…гремит музыка… сверкают блестки… раздаются рукоплескания! – протрещал Попельковский, неожиданно появляясь в кассе и размахивая, как крыльями, полами затасканной шинели – обстоятельство, которое позволяло различать его фигуру, до половины обтянутую в трико телесного цвета, тогда как другая половина казалась горевшею от позумента и пурпуровых лохмотьев.

- А, так вот ты куда попал, каналья! Наконец-то я нашел тебя, разбойник! Э-ге! Нет, брат, теперь ты от меня не уйдешь! – закричал Карачаев, мгновенно свирепея и бросаясь вперед.

Но Попельковский успел уже исчезнуть, как привидение, заслышавшее пение петуха, и место его заступил плешивый кассир.

- Помилуйте, сударь, - сказал кассир, слегка отклоняя Карачаева, который силился пролезть в отверстие кассы, - что вы? Что вы? Здесь не позволено… вы делаете шум…

- Ты с ума сошел, любезнейший! – говорил Аристарх Федорович, толкая Карачаева, - С тобой просто никуда нельзя показаться, срам, братец, срам!..

- Ну, да все равно! – произнес Карачаев, высовывая багровое лицо из кассы и запальчиво моргая глазами, - он от меня теперь не уйдет! Нет, не уйдет! И разве Ваня не знает, кто он такой?.. И как вы держите у себя этакого негодяя! Да он… да я его… черт возьми, не отвертится теперь! Как только кончится представление, я тотчас же его сцапаю!.. О! я буду его преследовать! Буду, во что бы то ни стало! Ну, душа моя, Aristarque? Пойдем в залу! – заключил Карачаев, проводя ладонью по лбу, покрытому каплями пота.

Первый предмет, поразивший Карачаева, когда он вошел в залу, был Иван, который держался вверх ногами и ходил в этом положении по сцене.

Карачаев бросился стремглав на свое место, наступил на несколько носков, сказал “pardon, pardone” и мгновенно превратился весь в восторг.

Не дожидаясь ни времени, ни срока, он захлопал в ладоши и так неистово крикнул: “Браво, Иванов!”, что Аристарх Федорович принужден был толкнуть его под бока.

Но Карачаева в минуты отчаянных и восторженных порывов удержать было трудно. Он не обращал ни малейшего внимания на толчки Аристарха Федоровича и во все продолжение «первого отделения» не переставал кричать и хлопать в ладоши. Наконец, «первое отделение» кончилось и занавес опустился. Но это обстоятельство далеко не укротило Павла Петровича; восторженность его тут только, по-видимому. Приняла всю свою силу.

Он быстро вскочил со стула, оглянул партер и. подмигивая без различия на все стороны, произнес: «Ну-ка, господа, Иванова-то подхватывайте!»

Затем он повернулся лицом к сцене, втянул в себя как можно более воздуха и потряс залу криками:

- Иванова! Иванова! – кричал Карачаев, подмигивая то тому, то другому зрителю. – И-ва-но-ва!

Занавес поднялся, и Иванов показался на сцене.

- Браво! Брависсимо… брр…ааво! Молодец, Иванов! Браво, Ваня! Молодец! – захрипел Карачаев, напирая на оркестр, выкатывая глаза, размахивая руками и хлопая в ладоши с такой силой, что коричневые перчатки его разлезлись в клочки.

- Посмотрите на этого господина, он, кажется, намеревается нас всех прибить, - сказал по-французски какой-то молодой человек, стоявший неподалеку.

- Не бойтесь, этого не случится, - отвечал Карачаев, обращаясь неожиданно в ту сторону и посылая последний восторженный знак удалявшемуся Ивану. – Только в другой раз советую вам быть поосторожнее! – заключил он, поворачиваясь к нему спиной.

- А, здравствуй, брат, Иван Дормидоныч! Что так поздно? – весело сказал Карачаев, протягивая руку Бобохову, который только что вошел в кресла.

- Здравствуйте… чрезвычайно приятно! – пробормотал Бобохов, небрежно протягивая Карачаеву указательный палец и руководствуясь в этом случае, как и всегда, джентльменским примером Тохтамышева.

Но Карачаев отскочил на три шага и заморгал глазами.

- Че-е-во? – сказал он. – Че-е-во? Ах ты выскочка! – заговорил он, понижая голос, но так, однако ж, что слышно было каждое слово. – С чего это ты взял, а? Тебе делают честь, подают руку, а ты вздумал мизинцы протягивать…а? Ах ты, буржуа-жантильйом этакой!.. Да с чего это ты взял, а? - продолжал Карачаев, грозно насупливая брови, между тем, как Бобохов раздувал позеленевшие щеки и боязливо оглядывался на все стороны. - А впрочем, постой, брат, я очень рад, что с тобой встретился... Я слышал, что ты хвастал

тем, будто помогал сочинять Дрянкову повесть... а? так или нет? Отвечай мне, я тебе говорю: так или нет? Мне сам Дрянков рассказывал это у Кокуркиных... Ты лгать вздумал... ах ты, сочинитель! Ну, тебе ли быть сочинителем? Стоит только взглянуть на тебя, чтоб этому не поверить! Погоди, брат, я еще допеку тебя, буржуа-жан... выскочка ты этакой! - проговорил Карачаев, провожая глазами Бобохова, который поспешно пробирался между рядами стульев, стараясь достичь как можно скорее противоположной двери.

В эту минуту поднялась занавесь. Отличное расположение духа тотчас же возвратилось к Карачаеву; он занял свое место, снова задел несколько носков и снова обратился весь в восторг, который, казалось, ждал только удобного случая высказаться.

Случай этот не замедлил представиться.

Во время первой живой картины: Гнев Геркулеса, в которой главную роль занимали Адольф Мейер и Иванов, Карачаев, хотя и с усилием, но все еще владел собою; но когда вслед за тем появилась картина: Грация, и глазам его предстала Глафира, - Карачаев разразился новыми рукоплесканиями, которые были чуть ли не яростнее прежних.

- Какова, братец, а? Какова наша Глафира Львовна? Нет, ты мне скажи только: какова, а? - сказал он, обратившись к Аристарху Федоровичу.

- Хороша, хороша!.. Не мешало бы им, однако ж, поторопиться... - ответил Балахнов, делая вид, будто Карачаев был для него совершенно посторонний человек.

- Ну, вот, погоди, сейчас начнут! - произнес Павел Петрович, быстро поворачиваясь к сцене.

Третья картина все еще не показывалась.

Прошла еще минута, потом еще и еще, третьей картины как не бывало.

За сценой слышалась между тем беготня и суматоха; можно даже было различать отрывочные восклицание: «Где?.. как? куда? беда! все пропало!..».

Публика начинала терять терпение; посреди хлопанья в ладоши раздавался нетерпеливый шепот; кто-то застучал даже каблуками.

Карачаев грозно посмотрел в ту сторону и хотел уж что-то сказать в оправдание случившегося промедления, но, услышав за спиною знакомый голос, поспешил обратить лицо свое к сцене.

Глаза его прямехонько встретили Ивана, который почтительно раскланивался. Лицо Ивана было бледно и волосы его, тщательно завитые, свешивались теперь в беспорядке. Карачаев начал было с того, что захлопал и закричал: «Браво, Иванов!»; но в ответ на это публика зашикала немилосердным голосом.

- Почтеннейшая публика... - сказал Иван расстроенным голосом, - честь имею известить, что по причине внезапной болезни одного из главных действующих лиц мы не можем... никак не можем продолжать живых картин... но вместо них... - прибавил Иван с глубоким поклоном на все три стороны залы, - мы будем иметь честь показать вам новые гимнастические упражнения.

Карачаев снова захлопал и закричал: „Браво, Иванов!“, но снова заглушен был шиканьем.

Шиканье сопровождало Ивана до самых кулис и не умолкало даже тогда, когда опустили занавес.

- Я знаю, что все это значит! - сказал Карачаев, наклоняясь к Аристарху Федоровичу и подмигивая ему с видом взаимного соучастия, - я догадываюсь... всему этому причиной эта каналья Попель... Клипель... Кококской... фу, как бишь его! Все это он наделал... Я сейчас бегу на сцену... сверну ему шею... мерзавец!.. Смотри, не уходи без меня! - довершил он, поспешно направляясь к выходу, причем задел еще несколько носков.

Аристарх Федорович, без сомнения, не обратил бы внимания на просьбу Карачаева и не стал бы дожидаться гимнастических упражнений, если б не побуждали его к тому весьма важные причины. Дело в том, что за стулом его находился какой-то толстенький, суетливый и совершенно незнакомый господин, который повествовал своему соседу

городские новости и, между прочим, излагал весьма красноречиво подробности окатовского бала. Бал должен был происходить в вечер того же дня, и слухи о нем имели, следовательно, для Балахнова живой интерес. Любопытство Аристарха Федоровича приняло, однако ж, характер самого глубокого внимания, когда посреди шепота толстенького господина услышал он неоднократно повторенную фамилию Бирюкова. К сожалению, он ничего более не услышал. Любопытство его возбуждено было тем сильнее, что он ждал Бирюкова с минуты на минуту. Потеряв, наконец, всякое терпение, он перегнулся через спинку стула и, обратясь к толстенькому господину, сказал со свойственною ему одному любезностью:

- Вы, кажется, изволили сейчас упомянуть фамилию Бирюкова, милостивый государь: скажите, что он, приехал?

- Приехал-с, - отвечал толстяк, заботливо наклоняясь вперед, - но, к сожалению... позвольте спросить: он не родственник ли ваш?

- Нет.

- В таком случае, я могу вам сообщить истинно прискорбное известие...

- Что ж такое? - спросил Балахнов, перевертываясь на стуле.

- Кормонолей Семеныч приехал вчера в ночь... а сегодня... да-с, сегодня на заре умер...

- Умер! - произнес Аристарх Федорович, почувствовав, что кровь застыла в его жилах, - умер... да... но как же это случилось? - повторил он, мгновенно овладевая собою.

- Изволите ли видеть: Кормонолей Семеныч был, как вам, вероятно, известно, скупенек... ну-с, вот и отправился он на выборы; его, знаете, дорога-то и запугала... Мне рассказывала все это его сестрица, которая теперь при нем; испугался он больше всего дороговизны на дорогах и постоялых дворах... не выезжал, знаете, двадцать лет; «как, думает, ограбят, совсем ограбят…». Запуганный, знаете ли, этой мыслью, взял да и приказал повару сделать яичницу во сто яиц... да всю дорогу ею одною и питался... Время, знаете, сырое, человек преклонный... у него, знаете, это, и вышло расстройство... И никто даже не подозревал этого... всю дорогу ни разу не пожаловался... напротив, хвалил эту яичницу... И только подъезжая к Черноряжску, открылось, знаете, у него это воспаление... В ночь был очень дурен, к утру хуже... а сегодня приказал долго жить!.. вот как-с!

После такого известия гимнастические упражнения не могли уж, конечно, представить большого интереса Аристарху Федоровичу. Полный тревожного, мрачного опасения за свои планы и смутно сомневаясь за удачный результат, он поспешил выбраться из залы.

У выхода он наткнулся на Карачаева.

- Так и есть, душа моя, так и есть! я ведь тебе говорил: всему виноват этот Попли... или... кокский... да, Попельковский! - произнес Карачасв с необычайным воодушевлением. - Представь, братец: убежал! Скрылся... и... и костюм унес с собою! и костюм! слышишь ли, костюм, я тебе говорю! Вор! Негодяй! О, я буду его преследовать! Пойду хоть в тартарары! Не убежит он от меня, не увернется!.. Но куда же ты, братец? погоди! Сейчас начнут второе отделение... Иван сказал мне, что оно будет во сто крат великолепнее прежнего.

- Я иду домой, - нетерпеливо отвечал Аристарх Федорович, выходя на площадь.

- Ну вот, вздор какой! погоди, душа моя! К тому же Иван приглашал меня к себе после представления... Ах, брат, ты не поверишь, как он и жена его обрадовались! Такие, право, добрые, радушные люди... Я хотел попросить тебя дождаться окончания, и тогда пошли бы мы к ним вместе... Они, бог знает, как бы тебе обрадовались.

- Ах, оставь меня, братец, в покое! - с досадою воскликнул Аристарх Федорович.

Карачаев остановился как вкопанный, и лицо его приняло мгновенно самое недовольное выражение.

- Что ж ты, гнушаешься моим предложением, что ли? - вскричал он, двигая бровями, - а! когда так...

Но тут Карачаев взглянул на Аристарха Федоровича и, заметив на лице его следы глубокой грусти, тотчас же подбежал к нему, взял его за руку и сказал, мгновенно изменяя интонацию:

- Я, душа моя, приду скоро... ты только не беспокойся... Э! все это перемелется - мука будет... все это вздор! и, поверь мне, хорошо кончится!

Сказав это, Карачаев оставил Аристарха Федоровича; минуты две он следил за ним глазами; наконец, покрутя головой, махнул рукой и вернулся в театр.

Аристарх Федорович пришел домой в самом мрачном расположении духа. Сидор подтвердил ему горестное известие о смерти Бирюкова. Злостные обстоятельства, очевидно, умножались, росли и грозили заслонить дорогу Аристарху Федоровичу. Бирюков, Бирюков – эта необходимая спица в том могучем колесе, которое должно было переломать ноги врагам Аристарха Федоровича – умер! Аристарх Федорович ясно видел, что смерть Кормонолея Семеновича увлекала за собою звезду его славы, которая и без того уж начинала бледнеть и опускаться к горизонту. Да, Бирюков умер! действительно умер! От искры Москва загорелась. Яичница была причиною, что Аристарх Федорович лишался лучшей своей опоры! Конечно, перемелется – все мука будет; все обратится в прах и тлен! Но в ожидании такого результата что остается? ряд бесцветных годов, подточенных сознанием своего бессилия и торжеством врагов, перспектива новых огорчений и затем могила на скромном деревенском погосте!.. Голова Аристарха Федоровича горела; лихорадочный жар пробежал по его жилам. Он, без сомнения, мог утешить себя тем, что не сегодня, так завтра приедет Лизавета Семеновна; что денег с жениного имения, которое давно уже решился он перезаложить или даже продать в крайнем случае, будет совершенно достаточно для того, чтоб задать ряд ослепительных праздников; что дело, следовательно, еще не проиграно. С другой стороны, он содрогался при мысли, что весь город, все, от мала до велика, знают уж об его намерениях; все говорят об его бале и приготовлениях... И что ж, если вдруг, боже упаси, явятся какие-нибудь непредвиденные обстоятельства, которые помешают исполнению всех этих планов?.. Что скажет тогда город? Что скажут подрядчики, официанты?.. Нет, нет! все это вздор, пустяки, бессвязный бред встревоженного воображения. Дело еще не кончено и надо подождать результата. Тут Аристарх Федорович снова овладел собой и снова начал себя обнадеживать.

Карачаев, верный, как и всегда, своему нраву, опоздал явиться к назначенному сроку. Он пробыл у Ивана почти весь день и пришел домой уже тогда, когда подавали свечи. Карачаев застал Аристарха Федоровича в совершенно спокойном расположении духа; по крайней мере, так показалось ему. Обстоятельство это, как и следовало ожидать, значительно развеселило Павла Петровича и мигом развязало ему язык.

- Ну, братец, как мне жаль, что ты не пошел со мной к Ивану... ну, словом, брат, очень жаль! Ей-Богу, право! - заговорил он, усаживаясь против Балахнова и закуривая трубку. - Ты представить себе не можешь, что это за добрые и честные люди!., и этот Мейер, который у них живет... и другой еще у них есть, Петр Захарыч, ну, вот кассир-то, которого мы видели... все это, брат, отличнейшие и добрейшие ребята... Ecoute: ты не поверишь, братец, как я весело и приятно провел с ними время! И живут, знаешь, так мило, ей-Богу, право! Твоей Глафиры узнать нельзя, просто невозможно... Везде так чистенько, уютно: и ширмочки, и утюжок, и канареечка в клетке висит... все это, брат, так, знаешь, миленько и чистенько... Да вот как: не будь я в теперешнем моем положении – то есть, какое мое положение? ты понимаешь, я совсем не на то намекаю; не будь у меня, попросту, моих знакомых, приятелей, не будь у меня дружеского угла - я, ей-Богу, с радостью стал бы жить с ними... Ей-Богу так! Ну, сам посуди: что это такое? ведь это, признаться, брат, все вздор, дребедень, пустяки, - продолжал он.

Аристарх Федорович ничего не отвечал; задумчивые глаза его и продольная морщина на лбу ясно доказывали, что мысли его находились за тридевять земель от предмета карачаевского разговора.

- Ну, а насчет, братец, этого Пли... Пло... кок... Попельковского, - снова заговорил Карачаев, причем голос его возвысился на целую октаву, а лицо изобразило все признаки сильнейшего негодования, - скажу тебе, что я принял решительное намерение стереть его с лица земли! Все припомню ему... припомню и бирюзового голубка, которого утащил он тогда у этой несчастной Васильковой - все припомню! все! все!

- Послушай, Карачаев, я хотел поговорить с тобой об одном деле... - неожиданно перебил Аристарх Федорович, как бы пробуждаясь от своей задумчивости.

Тут Аристарх Федорович провел ладонью по лбу, встал с места, прошелся несколько шагов и снова остановился перед Карачаевым.

- Дело, братец, большой важности и требует от тебя всего твоего внимания... скажу более: требует от тебя жертвы! - примолвил Аристарх Федорович, положив руку на плечо собеседника и пристально всматриваясь в его лицо.

- Изволь, братец, я готов... ты знаешь, душа моя, Aristarque, что я...

- Стой! слов мне не надо... мне нужно дело, любезный, дело, слышишь ли? - сказал Балахнов решительным голосом.

- Ну, да, разумеется, душа моя... я иначе и не понимаю твоих слов... Дело, так дело; я готов, - отвечал Карачаев, поспешно вставая с места и запрятывая свою трубку в самый темный угол, как будто она могла быть весьма опасным свидетелем в предстоящем объяснении.

- Садись и слушай! - произнес Аристарх Федорович, указывая ему торжественным жестом на стул.

Карачаев суетливо уселся на указанное место, и каждая черточка на лице его мгновенно приняла строгое, внимательное и в высшей степени деловое выражение.

- Прежде всего, я должен тебе сделать следующий вопрос, - начал Аристарх Федорович. - Скажи мне откровенно, прямо, без обиняков, чувствуешь ли ты ко мне истинное душевное расположение? - добавил он, протягивая руку Карачаеву, который схватил ее поспешно и пожал с такою силой, что захрустели все суставчики собеседника.

- Хорошо! - произнес Аристарх Федорович, поглаживая покрасневшую ладонь. - Теперь слушай, вот в чем дело...

Карачаев нагнул набок голову и нахмурил глубокомысленно брови.

- Ты знаешь, братец, что вот уж полторы недели, как я жду сюда Лизавету Семеновну, - продолжал Аристарх Федорович. - Почему я выписываю ее сюда... что заставило меня беспокоить ее, - подхватил он, стараясь смягчить свое выражение, потому что Карачаев был страх раздражителен в отношении ко всему, что касалось Лизаветы Семеновны, - все это выходит из настоящего предмета нашего разговора. - Дело в том, что я жду ее, что присутствие ее здесь необходимо, что у нее находятся, вдобавок, бумаги, которые почти так же необходимы, как сама она... Но ты сам видишь, что время проходит, а жены между тем нет как нет... Писем я от нее точно так же не получаю... словом, я теряюсь в догадках... Уж не больна ли она? или не случилось ли с нею или детьми какого-нибудь несчастия?.. словом, беспокойство мое на этот счет доходит до крайних пределов...

Во время этого предварительного монолога деловое лицо Карачаева сбрасывало постепенно выражение притупленного внимания и с каждой секундой все более и более хмурилось; в глазах его, сначала глубокомысленно опущенных к полу, но устремленных теперь в тот угол, где находилась трубка, ясно можно было прочесть, что тайна, которую хранил он в глубине души своей, готова была вырваться из груди его. Он сделал, однако ж, усилие и ограничился только сухим кашлем.

- Ну, хорошо, что ж дальше? - сказал он, не подымая глаз на Аристарха Федоровича.

- Дальше будет то именно, о чем я хотел просить тебя, - начал Балахнов таинственным голосом, - из всех близких, знакомых и преданных мне людей ты один, на которого я могу возложить это поручение... Твоя искренняя привязанность к жене...

- Да, я люблю, почитаю, уважаю, глубоко уважаю Лизавету Семеновну!.. Ну, что ж дальше? - нетерпеливо сказал Карачаев.

- Беспокойство касательно этого непонятного, упорного молчания с ее стороны должно, следовательно, занимать точно так же маленькое место в твоем добром сердце...

- Ну, ну, ну! - вымолвил еще нетерпеливее Карачаев.

- Послушай, любезный друг, поезжай в Ханские Пруды, узнай все обстоятельно и привези жену как можно скорее сюда...

Волнение и неловкость обозначились в эту минуту с такою силой во всей фигуре Карачаева, что Аристарх Федорович усомнился на минуту в привязанности Карачаева к своей особе.

- Тебе, может быть, в тягость такое поручение? - спросил Балахнов тоном человека, который, очевидно, желает услышать благоприятный ответ.

- Помилуй, братец, я не думал даже об этом... Изволь, я готов!.. чтоб доказать тебе мое расположение... я готов ехать в Ханские Пруды... Полтораста верст для меня ровно ничего не значит; сел, завернулся в шинель: «пошел!» да и баста! и вся недолга! Изволь, братец, я еду хоть сейчас!

- Благодарю, милый мой, благодарю! Я никогда, впрочем, не сомневался в твоей дружбе! - воскликнул Аристарх Федорович, заключал Карачаева в объятия.

Затем он тотчас же принялся делать ему инструкцию, главный смысл которой заключался в том, чтоб привезти как можно скорее Лизавету Семеновну и, в особенности, не забыть сказать ей, чтоб она захватила те бумаги, о которых было уже говорено в письмах.

Карачаев слушал все эти наставления с явным невниманием и пренебрежением; но когда Аристарх Федорович вышел из кабинета, чтоб сделать кое-какие распоряжения для скорейшего отправления Карачаева, Павел Петрович пришел внезапно в неописанную ярость.

- Так! я поеду!.. Полтораста верст для меня ничего не значат!.. Поеду, но все равно, не сегодня, так завтра узнаешь... не миновать тебе, добрый отец... все узнаешь... вот она штука-то в чем!.. Так, так, голубушка моя, Лизавета Семеновна, так! не выдавайте себя, не жалейте! чего жалеть?.. Его не проймешь, голубушка моя, ни калиной, ни хворостиной!.. - заключил он, моргая глазами и свирепо почесывая лысину.

Минут десять спустя серый нанковый казакин красовался уж на плечах Карачаева, а черный фрак его занимал свое обычное место в маленьком чемоданчике. Немного погодя стук удалявшейся тележки возвестил об отправлении Карачаева.

Аристарх Федорович позвал Сидора, который выходил на крыльцо провожать Павла Петровича...

- Что, какова погода? - спросил Аристарх Федорович.

- Такая-то дрянная, сударь... что Боже упаси…

- Какая дрянная?

- Да чичерь, сударь...

- Какой чичерь? дурак!

- Чичерь, сударь... снег, дождь... крупа... ветер такой… зги не видно!..

- Хорошо, ступай!

Аристарх Федорович завернулся в халат, погрузился в мягкое кресло, вытянул ноги и улыбнулся при мысли, что сомнения его в отношении к привязанности Карачаева были далеко не основательны.

XX

Подмостки, на которых столько лет красовался Аристарх Федорович, начинают трещать, подламываться, наконец падают и увлекают за собою великого мужа

Прошла неделя после событий, описанных в предыдущей главе. Немного, кажется, но времени этого было уже достаточно, чтоб произвести опустошительное действие в величественной физиономии знаменитого горшковского дипломата. Уже на пятый день после отъезда Карачаева багровые кружки появились на благородных ланитах Аристарха Федоровича; в короткий промежуток последующих двух дней багровые кружки успели распространиться по всему лицу его, которое, отражая таким образом зарево внутреннего пожара, значительно осунулось и похудело.

Продолжительность этой зловещей красноты определяла всегда, как уж известно, степень внутреннего расстройства великого человека. Ясно было, следовательно, что расстройство великого человека достигло уже высшего своего предела.

Могло ли быть иначе?

По всем расчетам и соображениям Аристарха Федоровича, ему следовало бы быть теперь накануне своего бала; он твердо уверен был, что к этому времени, благодаря визитам жены, общественное положение его окончательно упрочится; такую же точно уверенность питал он в отношении к бумагам, которых ожидал вместе с женою; бумаги эти давно должны были снабдить его роскошными принадлежностями для предположенного бала и обеда. Так думал Аристарх Федорович, но не так вышло на самом деле.

Лизавета Семеновна не ехала; бумаг как не бывало; бал находился на степени простого проекта; общественное положение было сомнительнее, чем когда-нибудь. В этом крайнем случае Аристарх Федорович имел полное право рассчитывать хоть на ответ от Лизаветы Семеновны или Карачаева. Но ответа не было. Ханские Пруды хранили упорное молчание; а между тем роковое утро, к которому столько лет стремились все помыслы Аристарха Федоровича, приближалось с непостижимою быстротою.

До начала выборов оставалось всего на все пятеро суток! Прошло еще два дня, два адски-мучительные дня.

Ханские Пруды не подавали признака жизни.

Пурпур заметно начал сбегать с величественного лица Аристарха Федоровича, оставляя на нем по мере исчезновения следы той лимонной желтизны, которая не предвещает ничего доброго.

Прошел еще день, потом еще день, потом третий и, наконец, до выборов остались всего одни сутки.

Ханские Пруды молчали по-прежнему.

Смотритель оранжерей, которого переманил Балахнов у Окатова, подрядчики, обнадеженные задатками, официанты и повар осадили его со всех сторон докучливыми расспросами о сроке бала и обеда. Аристарх Федорович, пожелтевший уже окончательно, ничего не отвечал; он приказал не принимать их, под предлогом легкой простуды. Ясно было, что бал и обед не могли уж никаким образом осуществиться. Счастье еще, что Аристарх Федорович не слышал сарказмов, расточаемых по этому поводу на его счет Балаклеевыми и другими более или менее значительными обывателями Черноряжска. Одна мысль о возможности неблагоприятных толков приводила его в неописанное бешенство. Впрочем, как в этом случае, так равно и во всех случаях его жизни, отдадим Аристарху Федоровичу должную справедливость.

Он все еще крепился, не падал духом и даже употреблял гигантские усилия, стараясь подавить в груди своей яростные порывы желчи. Но как хотите, в минуты, подобные тем, какие переживал теперь наш герой, трудно, почти невозможно сохранить невозмутимое равнодушие. Были мгновения, когда чувствовал он, что жёлчь приступала к горлу и давила его; были мгновения, когда кровь бушевала в жилах Аристарха Федоровича; наступали также минуты, когда он ровно ничего не мог сделать, чтоб потушить пламень негодования, который вопреки всем усилиям исторгался из его глаз, как из люков театра, когда там представляют пожар.

Все это, разумеется, нимало не помешало наступить роковому утру, назначенному для начала выборов.

Так как Аристарх Федорович не смыкал глаз в продолжение трех последних ночей, было бы совершенно лишним распространяться о том, как поднялся он с постели в это достопамятное утро.

Достаточно сказать, что около восьми часов он вылил себе на голову три умывальника холодной воды, а часам к девяти приказал подавать одеваться.

Не мешает также заметить, что, несмотря на вышеизложенные критические обстоятельства, великий человек хранил в душе непреклонное намерение ехать на выборы; он не сомневался, что присутствие его все еще должно будет произвести сильный переворот в мыслях черноряжских обывателей.

Аристарх Федорович стоял перед зеркалом и приступал уже к подвязыванию галстука, как вдруг на улице послышался звонкий хляск копыт и почти в ту же минуту под самыми его окнами остановилась тройка.

При этом пальцы Балахнова, и без того уже не совсем покорные, выпустили галстук; оп быстро подошел к окну и взглянул на улицу.

При виде Карачаева, вылезавшего из тележки с чемоданом под мышкою, губы Аристарха Федоровича вздрогнули, и лицо побледнело, как известь.

Он не успел еще прийти в себя, как Карачаев очутился уж в кабинете.

- Здравствуй, братец, - сказал Карачаев с самым спокойным, обыкновенным видом, - да что с тобою? что ты, братец?! - подхватил он мгновенно, изменяя интонацию, - успокойся, душа моя, ничего не случилось, клянусь тебе честью! все, слава Богу, здоровы: и Лизавета Семеновна, и детки также! - заключил он, подбегая к собеседнику и протягивая к нему обе руки.

Но Аристарх Федорович поспешил спрятать руки за спину, отступил три шага и бросил на Карачаева сокрушающий взгляд.

- Я не об этом тебя спрашиваю! - сказал он глухим, задыхающимся голосом. - Я спрашиваю тебя... где жена?..

- Лизавета Семеновна в Ханских Прудах, братец, - отвечал Карачаев таким тоном, как будто дело касалось самого обыкновенного предмета.

- Что же все это значит? - вскричал Аристарх Федорович, задыхаясь от бешенства.

- Полно, братец, ну, что ты из себя выходишь?.. успокойся! вот тебе кресло, садись; садись, говорю тебе, все узнаешь... - заботливо отвечал Карачаев.

- Ну... - произнес Аристарх Федорович, бросаясь на указанное ему место.

Карачаев поспешил занять соседний стул, причем лицо его тотчас же приняло строгое и в высшей степени деловое выражение.

Сжав свои узенькие губы патентованными зубами, скрестив судорожно руки на груди, Аристарх Федорович подавил, казалось, в себе на минуту порывы бешенства и приготовился слушать с подобающим терпением.

- Ну, что ж все это значит? - повторил он.

- Значит то, братец, что Лизавета Семеновна сюда не будет... - выразительно сказал Павел Петрович.

- Ка-а-ак! - вскричал Балахнов, ударяя кулаком по столу и быстро вскакивая с места.

- Полно, братец... ну, что ты, в самом деле... - начал было Карачаев, но Аристарх Федорович прервал его.

- А письма мои? - произнес он.

- Письма твои получены все до единого... но Лизавета Семеновна все-таки не могла приехать... На это, я тебе скажу, есть, братец, причины... - примолвил Карачаев, расстегивая с озабоченным видом крючки своего нанкового казакина и вынимая письмо. - На, читай! - заключил он, нахмурив брови.

Аристарх Федорович вырвал письмо из рук его, сломал печать и принялся читать.

Карачаев поспешил отодвинуть стул, встал и со свойственною ему скромностью отошел в сторону. Глаза его пристально устремились, однако ж, на Аристарха Федоровича; он, по-видимому, напрягал все свое внимание, чтоб проследить за впечатлениями, которые должны были обозначиться в чертах Балахнова при чтении письма. Выражение постепенно возраставшего неудовольствия на лице Карачаева доказывало, что он был чрезвычайно недоволен впечатлениями Аристарха Федоровича. Но когда Аристарх Федорович разорвал письмо в мелкие клочки, затопал ногами и разразился бранью, и особенно когда посреди этих неумеренных излияний злобы неоднократно произнесено было имя Лизаветы Семеновны, неудовольствие Карачаева переступило все границы и мигом превратилось в самое сильное негодование. С именем Лизаветы Семеновны, произнесенным без должного уважения, Карачаев забушевал, как прорванная плотина, и слова его подобно осколкам, сброшенным в поток, запрыгали с неудержимою быстротою.

- Так, стало быть, ты находишь, что Лизавета Семеновна поступила не так, как следует? - воскликнул он, багровея как свекла, и, не спуская грозных моргавших глаз с Аристарха Федоровича, который расхаживал по кабинету, судорожно подергивая бровями. - Что ж должна была она сделать, по-твоему? а? а? - подхватил Карачаев, все более и более разгорячаясь, - она должна была приехать сюда, отдать тебе бумаги и ради прихоти твоей лишить детей... а?.. Я ведь все знаю, брат, все знаю!.. Я, конечно, в твои дела мешаться не смею, а правду тебе скажу, всегда скажу, потому что люблю, уважаю, почитаю Лизавету Семеновну, и деток люблю... привык, привязался и желаю всем им добра; вот она штука-то в чем! да! всю правду выскажу тебе... Правда эта, признаться, давно сидит у меня вот здесь, да случая только не было! - примолвил он, ударяя себя кулаком в грудь. - Ты привык, чтоб тебе все кланялись и льстили, да я, брат, не Кокуркины и не Свищов; вот она штука-то в чем! Мне, брат, все равно!.. Знаешь ли, от кого ты получил это письмо? Знаешь ли, кого ты бранил сейчас, а? Ты бранил самую благородную женщину, какая только есть на свете! Стыдись, братец, стыдись! Это говорю тебе я, Карачаев, стыдись!..

Аристарх Федорович остановился и непреклонным жестом указал Карачаеву на дверь.

- Это ты мне указываешь на дверь? я и сам знаю, где она! - вскричал Карачаев с возрастающим жаром, - не беспокойся, уйду; уйду, когда надо будет; а до того выскажу тебе всю подноготную; сказал, что выскажу – и выскажу, хоть ты тут тресни! Всегда скажу, что ты слишком, брат, возмечтал о себе, вот что! Ну, что ты, взаправду, о себе думаешь? что ты такое? а? Ученый что ли? Будь ты заслуженный какой, сделай ты полезное дело, будь ты хоть знатного рода, или будь у тебя какое-нибудь особое воспитание или образование... вот тогда мог бы ты считаться лучше других... Да и то не должен бы показывать этого! А то что в тебе: знаешь только ты, брат, выпучивать грудь, озадачивать какого-нибудь кисляка Василькова да строчить ябеды... да и то, слышал я, безграмотные, так что всякой писец из земского суда лучше напишет; вот что!

- Ты забываешься! я велю вывести тебя вон! - вскричал Аристарх Федорович, делая угрожающий жест.

- Меня! меня вывести! нет, брат, молода еще, в Саксонии не была! - запальчиво крикнул Карачаев, - а, впрочем, позови Сидора - я при нем выскажу тебе все, что надо: мне, ведь ты знаешь, все равно! Да, брат, да, да, возмечтал ты о себе слишком много! вот что! Так возмечтал, что все кажутся тебе какою-то меркантелью... и даже Лизавета Семеновна, которой между тем ты башмака не стоишь! Вот она штука-то в чем! Приедет куда-нибудь или дома у себя: развалится на диване, задерет ноги, да и думает черт знает что он такое! Ну, что ты хочешь этим сказать? что? Ну, что ты хотел сказать, когда, две недели тому назад, после твоего обеда, разлегся при всех на диване: «о-о, я спать хочу!» - кого ты этим озадачил? Все сказали, что ты невежда; вот что! Нечего глаза-то выпучивать, меня этим не испугаешь; я всегда скажу, что ты мизинца, подошвы, да еще старой,

истасканной подошвы Лизаветы Семеновны не стоишь! Мы все, да, все, сколько нас ни есть, уважаем и почитаем ее, как добрую и благородную женщину... а ты... ну, брат, ты еще покуда погоди! Почему никто до сих пор еще не сказал о тебе доброго слова? а? Потому что ты мешаешься во всякое дело, лезешь всюду, где без тебя обойдутся и где тебя вовсе не спрашивают!.. И добро бы имел на это право какое, а ведь у самого пушок на рыльце, да еще, может статься, больше чем у тех, кого ты чернишь; вот что! Ты один прав, все виноваты; это, брат, что-то мудрено!.. Вот она штука-то в чем! Я ведь правду говорю! Помнишь, ты читал мне одно письмо, не помню только, к кому оно было... кажется, к Солонееву... ты очернил его, да и говоришь потом: «теперь обращу строгий взгляд на себя!». Я помню, как ты там себя выставлял, любо-дорого слушать!.. Нет, ты, в самом деле, не шутя, обрати-ка этот строгий взгляд на себя, посмотри-ка, каков ты есть на самом деле, так и увидишь, может статься...

- Сидор! - бешено вскричал Аристарх Федорович, бросаясь с пеною у рта к двери.

Но Сидор стоял уж в дверях, и не успел Аристарх Федорович произнести слова, как он выступил вперед и сказал:

- Вы изволили, сударь, посылать кучера к подъезду Собрания, он пришел; все съезжаются, сударь...

- Одеваться! одеваться! - воскликнул Аристарх Федорович, кидаясь к зеркалу и в замешательстве забывая присутствие Карачаева и все, что сейчас происходило.

- Как! - прохрипел Карачаев, делая шаг вперед, - и после всего этого ты все-таки хочешь ехать!.. Ступай! ступай! стремись, поезжай... - заключил ои, схватывая шапку и направляясь вон из кабинета, причем плюнул в угол и яростно хлопнул дверью.

Нет никакой возможности передать словами того, что совершилось в эту последнюю четверть часа в величавой груди Аристарха Федоровича. В этом случае было бы даже совершенно излишним прибегать к аллегории; никакое до сих пор известное аллегорическое сравнение не нашло бы здесь места. Предоставим, следовательно, на время Аристарха Федоровича самому себе и обратимся к Карачаеву, который марширует быстрыми шагами по деревянным тротуарам города Черноряжска.

Было бы также нелегко определить состояние, в каком находились взволнованные чувства Павла Петровича; наружность и движения его показывали, впрочем, что в простом и бесхитростном сердце Павла Петровича происходила страшная суматоха. Глазами моргал он точно так же, как во время объяснения с Аристархом Федоровичем, и лицо его было красно по-прежнему. Руками он так размахивал, как будто пробивался сквозь густую толпу или разрушал стены ненавистной тюрьмы, из которой давно уж хотел высвободиться. Но какой одушевленный или неодушевленный предмет стремились уничтожить грозные жесты Карачаева – неизвестно. Были ли они обращены на несчастные обстоятельства, которые со всех сторон обступили Балахнова, или на самого Балахнова – определить также весьма трудно. Не обращая, по-видимому, ни малейшего внимания на то, что происходило вокруг, Карачаев дошел таким образом до конца Никольской и переходил уж в Дворянскую улицу, как за спиною его раздались неожиданные крики: «пади! пади! берегись!». Обернувшись, Карачаев увидел коляску Аристарха Федоровича и в коляске самого Аристарха Федоровича. Нимало не беспокоясь, он медленно, шаг за шагом, отошел в сторону; выждав минуту, когда окно экипажа поравнялось с его лицом, он ограничился лишь тем, что поспешно повернулся спиною к Аристарху Федоровичу.

Встреча эта произвела, однако ж, тот хороший результат, что прояснила хаос, в который до того времени повергнуты были мысли Павла Петровича. С этой минуты он исключительно уже занялся исследованием характера и поступков Аристарха Федоровича.

Павел Петрович был возмущен до глубины души. Иначе, впрочем, и быть не могло. Во все продолжение пути из Ханских Прудов до Черноряжска Карачаев обдумывал наставительную речь, которую хотел произнести перед Балахновым, и которая так

неожиданно превратилась в ряд грубых упреков. Но, как бы то ни было, сущность наставительной речи все-таки ярко выступала наружу; Павел Петрович высказал все, что лежало у него на душе. Он нимало не сомневался, что помощью речи своей расшевелит до глубины души Аристарха Федоровича, пробудит в нем стыд и совесть, разоблачит его бессилие, укажет ему все ничтожество честолюбивых уездных замыслов и возвратит его наконец к обязанностям. Что ж вышло на поверку? Вышло, что после произнесения этой речи Аристарх Федорович не только не почувствовал раскаяния и угрызения совести, но как бы сильнее еще укрепился в своих честолюбивых замыслах, которые, очевидно, должны были погубить его.

Полный самых тревожных мыслей, Карачаев вернулся в квартиру Балахнова.

Весьма любопытно было бы знать, сколько шагов и даже сколько верст сделал Карачаев, разгуливая взад и вперед по кабинету Аристарха Федоровича; вышла бы также не менее любопытная цифра, если б сосчитать число трубок, выкуренных им в это достопамятное утро. К сожалению, то и другое осталось неизвестным. Мы положительно знаем только, что моцион и трубки не произвели благодетельного влияния на взволнованные его чувства. Он видимо начинал уже тяготиться своим положением и, желая, вероятно, рассеяться во что бы то ни стало, взял шапку и снова вышел на улицу.

Было уже около двух часов пополудни. Улицы Черноряжска представляли картину самого полного оживления; все показывало, что в эту минуту в городе происходило или произошло что-то необычайное. Карачаев тотчас все смекнул в чем дело; он ускорил шаги и направился к дому Собрания.

Он находился уж недалеко от своей цели, как, подняв неожиданно голову, увидел дрожки и пару рыженьких вяток, которые только что оставили, по-видимому, крыльцо Собрания. В дрожках сидел, покачиваясь из стороны в сторону, толстый Нил Степанович Лукьянов.

- Стой! стой! стой! - закричал Карачаев, поспешно вынимая из кармана известный клетчатый платок с прорехою посредине и размахивая им по воздуху.

Нил Степанович положил жирную руку свою на шею кучера – и дрожки остановились.

- Батюшки-светы, кого я вижу! Павел Петрович! вот говорят: в один день две радости не живут! Какими судьбами? - воскликнул Лукьянов, протягивая руки и перегибаясь всем корпусом на правую сторону дрожек, которые издали при этом жалобный писк.

- Здравствуйте, здравствуйте, Нил Степаныч! - сказал Карачаев, пожимая ему руки, - вы теперь из Собрания?

- Да...

- Стало-быть, Собрание кончилось?..

- Кончилось, любезный Павел Петрович, кончилось! Добрый конец – всему венец, как говорится... хе... хе... хе... Видите, все уж разъезжаются!

- Вижу, вижу... ну, а скажите-ка, пожалуйста, Нил Степаныч... я хотел спросить вас, что Аристарх Федорыч? - проговорил Карачаев, переводя одышку на каждом слове.

Нил Степанович выразительно подмигнул Карачаеву на кучера, приложил указательный палец к уху и снова перегнулся через дрожки.

- Ухайдакали! - шепнул он.

- Как так?

- Да так – ухайдакали! - повторил Лукьянов, выразительно приподняв брови, - забаллотировали вчистую; накидали ему видимо-невидимо черняков... просто осрамился! Ни то, ни се, кипело, да и то прогорело, говорится... сам накликал... То же самое, я вам скажу, случилось, десять лет назад с покойным моим шурином, то есть сыном отца моей жены...

- Ведь я ж говорил ему не ездить! я говорил ему! - воскликнул Карачаев.

- И я говорил ему то же самое! - подхватил Лукьянов, - я говорил ему еще перед началом баллотировки: «премногоуважаемый Аристарх Федорович», говорил я ему...

- Кого же избрали?

- Солонеева! - шепнул Лукьянов.

- А еще?

- Балаклеева...

- А кто перебил дорогу Аристарху Федорычу?

Тут Нил Степанович оглянулся на все стороны площади, приложил толстые свои губы к уху Карачаева и прошептал:

- Кошкин...

Карачаев свирепо почесал затылок.

- А что, Нил Степаныч, - произнес Карачаев, указывая рукою на Собрание и с трудом подавляя беспокойство, - вы не знаете, Аристарх Федорович все еще там?

- Нет, мой почтеннейший, сейчас только что уехал... мы выехали почти в одно время; теперь он должен быть дома.

- В таком случае, прощайте, Нил Степаныч! - проговорил Карачаев.

- Куда ж вы?.. Погодите, Павел Петрович... я хотел предложить вам партийку к вечеру...

- Нет... нельзя... ей-богу... дела... в другой раз, - отвечал Карачаев, нетерпеливо моргая глазами.

И, не дожидаясь возражений Нила Степановича, он пустился без оглядки по направлению к купеческому дому, занимаемому Балахновым.

Минут пять спустя он был уж на лестнице. Вступив в переднюю, которая в настоящую минуту была пуста, он бросил шапку, торопливо пригладил лысину и поспешил войти в кабинет.

- Я ведь тебе говорил, душа моя, Aristarque, я ведь говорил тебе! - воскликнул он, простирая вперед руки, но в ту же секунду остановился, пораженный неожиданным зрелищем.

Аристарх Федорович в полном облачении лежал без признака жизни на диване. Сидор и кучер стояли по бокам его недвижно, как столбы, глубоко вколоченные в землю.

- Что же вы? - закричал Карачаев, бросаясь к дивану, - разве вы не видите, что ему надо развязать галстук!..

- Беги за доктором... жи-ва-а! беги скорей... ты, Сидор, или нет... ты, Василий... спросить лучшего доктора... сказать, что большая опасность... жи-ва-а-а! - продолжал кричать Карачаев, освобождая Аристарха Федоровича от остальной одежды.

Карачаев забыл уж происшествие утра; он ухаживал теперь за Балахновым, как будто тот был сто раз его любимым братом.

Как только кучер вышел, Павел Петрович услал Сидора за холодной водой и, оставшись наедине, ударил себя кулаком в голову и заходил как угорелый по кабинету. Внезапно он остановился перед Балахновым, простер над ним руки и прокричал голосом, полным глубокого отчаяния:

- Я же говорил тебе, душа моя, Aristarque!.. я говорил тебе!..

В эту самую минуту Сидор вошел с водой, и Карачаев поспешил отвернуться к окну.

- Вот что! - воскликнул он, когда капли воды, брошенные им на лицо Аристарха Федоровича, не произвели никакого действия, - вот что... - промолвил он, обнаруживая сильнейшие признаки беспокойства, - Васька ни за что, ни за что не найдет доктора... Пробегает по-пустому... Верно так! фу! На, держи кувшин, я сам пойду! - заключил он, стремглав выбегая из кабинета.

Через полчаса Карачаев, покрытый потом и едва переводя дух от усталости, явился в сопровождении доктора.

- Ну что, доктор? - спросил он, когда тот осмотрел Аристарха Федоровича.

- Надо как можно скорее пустить ему кровь, - флегматически отвечал медик.

- Сидор... беги скорее за цирюльником! жива-а! тащи его за шиворот, или нет! стой! ты не найдешь... я сам лучше сбегаю! - прибавил он, пускаясь вдогонку за камердинером.

В передней Карачаев остановился, снова стукнул себя в голову и бросился развязывать маленький чемоданчик, стоявший подле печки; вышвырнув на пол все, что находилось в чемоданчике, он отыскал старенький бумажник, вынул ободранную трехрублевую депозитку, тщательно уложенную между двумя бумажками, и суетливо возвратился в кабинет.

- Вот, доктор, - пробормотал он, багровея, как клюква, и неловко подавая ему деньги, - вот... Послушайте, доктор, - примолвил он, отводя его к окну и указывая ему на больного, - надеюсь, вы ничего не скажете... ecoute: как честный человек, вы ничего не должны рассказывать о том, что с ним случилось!..

- Помилуйте, это до меня не касается... Меня призвали - я пришел; а до остального мне нет дела...

- Как честный человек?

Доктор утвердительно кивнул головой.

- Вот еще что, - сказал Карачаев, когда он и доктор очутились в прихожей, - можно ли отвезти его в таком положении домой?

- Можно; но только надо поторопиться; завтра, может статься, будет уж поздно... По всем вероятиям, у него откроется горячка...

- Не может быть!

Доктор утвердительно кивнул головой.

Карачаев, всплеснув руками, отчаянно замотал головой и побежал за цирюльником.

Кровопускание принесло Аристарху Федоровичу очевидную пользу. Он раскрыл глаза, сделал усилие, чтоб приподняться на диване, и попробовал даже выпучить грудь.

- Что я им сделал? - воскликнул Аристарх Федорович разбитым, дребезжащим голосом. - За что все это?.. Кошкин!.. Солонеев!.. злодеи!..

Но едва произнес он эти слова, лицо его покрылось смертельною бледностью, вагенгеймовские зубы притиснули нижнюю губу, и он снова повалился на диван.

Приняв такие выходки за первые пароксизмы начинавшейся горячки, Карачаев послал тотчас же кучера за подорожной, а сам с помощью Сидора поспешил приступить к укладке чемоданов.

В ту же ночь голубая коляска Аристарха Федоровича выехала из Черноряжска в сопровождении тележки с сидевшим на ней Карачаевым, который курил трубку и хмурил брови с крайне озабоченным видом.

XXI

Аристарх Федорович, свергнутый силою обстоятельств с высоты своего величия, перестает, кажется, выпучивать грудь и становится обыкновенным смертным

Итак, Аристарх Федорович пал! Это несомненно. Следует ли заключать, однако ж, что он после этого не заслуживает нашего уважения? Ничуть не бывало. Что говорить: Аристарх Федорович пал, обнаруживая слабости, свойственные самым обыкновенным смертным; в падении его не было даже ничего геройского, ничего такого, что вызывало бы на размышление или возбуждало удивление, подобное тому, например, какое возбуждают в нас гладиаторы древнего Рима, которые при последнем издыхании все еще гордо держали голову и умирали, стараясь сохранить по возможности величественно-грациозную позу. Все это совершенно справедливо. Справедливо, может статься, и то также, что многие достойные особы, многие слабонервные, чувствительные дамы, готовые проливать обильные потоки слез при виде раздавленного комара, пройдут теперь мимо Аристарха Федоровича, не удостоив его сострадательным взглядом. Но смею уверить, все эти особы поступят в таком случае весьма необдуманно. Величественный

дуб, сломанный грозою, занимает на земле такое же точно пространство, какое занимал он прежде в вышине! Разве обломки колосса Родосского (если б таковые находились) не должны были пробуждать в нас изумление? Нам стоило бы только исчислить здесь заслуги Аристарха Федоровича как дипломата и оратора, представить всеобщему вниманию глубину его мыслей и проектов, выставить в верных, но беспристрастных красках неисчислимые его добродетели, чтоб мгновенно возвратить ему высокое мнение всех благомыслящих людей. Но... но мы не сделаем этого; не сделаем потому именно, чтоб не нанести удара той необычайной скромности, которая так отличала всегда нашего героя на поприще жизни.

Ограничимся лучше продолжением рассказа:

Аристарх Федорович, благодаря неусыпной заботливости Карачаева, совершил незаметно свой переезд из Черноряжска в Ханские Пруды. Они приехали ночью. Карачаев нарочно рассчитывал на позднее время, чтоб не потревожить мирных обитателей древнего дома. Такая предосторожность оказалась, впрочем, лишнею: Сидор передал свои опасения жене, та поспешила сообщить роковое известие какой-то дворовой женщине, дворовая женщина побежала к Фионе Ивановне, Фиона Ивановна побежала к старой няне, старая няня разбудила Лизавету Семеновну, которая спустя минуту очутилась в кабинете, к великому недоумению предусмотрительного Павла Петровича.

Недоумение его мгновенно уступило, однако ж, место глубочайшему отчаянию, когда Лизавета Семеновна, остановившись перед постелью мужа, закрыла лицо руками и горько заплакала. Он тотчас же принялся ее уговаривать, уверять, что все это ничего не значит, что черноряжский доктор справедливо пользуется заслуженной известностью, что он объявил положение Аристарха Федоровича далеко не опасным, и кончил тем, наконец, что стал умолять Лизавету Семеновну вытолкать его вон из Ханских Прудов в том случае, если он говорил неправду. Все это мало, по-видимому, подействовало на Лизавету Семеновну, и ночь, проведенная ею у изголовья мужа, была не из самых спокойных в ее жизни.

С рассветом послали за Карлом Готлибовичем Газеннотом, горшковским эскулапом.

Газеннот подтвердил слова своего собрата и вместе с тем подтвердил слова Карачаева.

С того же дня в древнем доме наступила тишина. Было так тихо, как в то время, когда Аристарх Федорович занимался сочинением знаменитых своих писем, или когда его не было дома; впрочем, сам Карачаев наблюдал за этим; всякий знал, следовательно, очень хорошо, что горе тому смертному, у которого дерзнули бы заскрипеть сапоги. Он предписал себе прежде всего полное, бесконтрольное наблюдение над Аристархом Федоровичем; в первые две недели он решительно не отходил от постели больного. После этого срока Аристарх Федорович начал обнаруживать признаки к выздоровлению. Тогда только Карачаев решился сделать некоторые отступления в отношении к роли сиделки, которую так настоятельно на себя принял. Отступление эти заключались в следующем: как только замечал он, что Аристарх Федорович приходит в сознание и готовится раскрыть глаза, он поспешно приподымался с места, бежал из кабинета, стучал в дверь к Лизавете Семеновне и, производя пальцами какие-то таинственные знаки, посылал ее к мужу. Затем, бережно затворив дверь кабинета за Лизаветой Семеновной, он уходил на цыпочках в залу или поднимался наверх, к Фионе Ивановне, с которой находился теперь в самых дружеских отношениях.

Эти дружеские отношения основывались единственно на том, что с некоторых пор дурное и постоянно сварливое расположение духа экономки получило значительное улучшение. Благоприятная перемена заметна была не только в нраве Фионы Ивановны, но распространялась даже на ее физиономию. Когда Карачаев делал ей на этот счет замечание, она отвечала всегда, что сама видит в себе перемену и приписывает ее постепенному облегчению от несносного флюса, с которым провозилась столько лет. Слушая ее, Карачаев улыбался и недоверчиво потряхивал головою. Он давно уж

догадался, в чем состояло дело; на второй же день после приезда своего из Черноряжска он застал Прокисая Захаровича в комнате экономки. Фиона Ивановна, извещенная, вероятно, вовремя о проделках Надеженьки Кокуркиной и Василькова, поспешила воспользоваться случаем и снова завладела Копковым. Румянец и даже некоторая полнота, появившиеся на щеках Прокисая Захаровича, мягкая перина, заменившая его тюфячок, и сдобные лепешечки с фестончиками, не ускользнувшие от внимания Карачаева, подтвердили как нельзя лучше его догадки. Он не передавал, однако ж, своих замечаний и ограничивался тем только, что в душе подтрунивал над счастливою четою. Поговорив минут десять с Копковым или вдовою Чивадзи, Карачаев снова возвращался к своим обязанностям сиделки. Нередко в то время, как подходил он к кабинету, за дверью слышался нетерпеливый разбитый голос Аристарха Федоровича, прерываемый нежным голосом Лизаветы Семеновны, который весьма часто заглушали рыдания. Тогда Карачаев убегал в гостиную, багровел, принимался размахивать руками и разражался яростными монологами, которые обращались по большей части к тициановской нимфе, доставшейся Балахнову от его предков.

Порывы эти мгновенно утихали, как только в дверях гостиной показывалось заплаканное печальное лицо Лизаветы Семеновны.

- Не унывайте, голубушка моя, Лизавета Семеновна, не унывайте!., главное дело, не поддавайтесь ему ни за что, не поддавайтесь - и все будет хорошо! - говорил Карачаев, суетливо подбегая к ней. – Делайте, как я вам говорю; послушайтесь меня, голубушка вы моя: куйте железо – пока горячо, то есть говорите ему всю правду, всю подноготную, ничего не скрывайте... Пускай все узнает! Вы еще не говорили ему, что Ханские Пруды велено описывать? Нет? Ну и не надо; сделайте это, когда он совершенно выздоровеет... а я покуда его подготовлю... Главное дело, не унывайте, голубушка моя, не робейте... Вот я вчера собрался с духом и сообщил ему о кое-каких дурных обстоятельствах по хозяйству... он хоть бы пикнул; ведь это добрый знак, голубушка моя, Лизавета Семеновна... Чего робеть? Э! помилуйте! Авось, бог даст, мы все это устроим! Он, я замечаю, начинает уже поддаваться... Нет, перемена в нем большая; все это, я вам скажу, сильно его подкузьмило... то есть... фу!.. Ну, да все равно, перевернуло, что ли! Главное дело, я вам говорю, не унывайте... исподволь, знаете: сегодня слово, завтра слово... Авось, бог даст, все устроим!..

Проговорив все это без одышки, Карачаев провожал Лизавету Семеновну до дверей детской, возвращался в кабинет и снова садился у изголовья больного.

Выздоровление Аристарха Федоровича совершалось медленно.

Снег давно уже покрывал поля; мороз давно уж оковал пруды с плававшими на них искусственными лебедями; метели и вьюги занесли сугробами пирамиды, обелиски и вычурные заставы, украшавшие Ханские Пруды. Аристарх Федорович все еще не мог приподняться с постели, хотя владел уж полным сознанием.

Мало-помалу силы его начали возвращаться, и Газеннот, являвшийся по два раза в неделю аккуратно, объявил, что недели через четыре Аристарх Федорович будет совершенно здоров.

И действительно, месяц спустя Аристарх Федорович мог уж прогуливаться по кабинету без помощи Карачаева.

Было превосходное зимнее утро. Вокруг балахновского дома трещал мороз, а в самом доме трещали еще немилосерднее печки, затопленные Моисеем Акишевым, тем самым белокурым лакеем, который преклонился когда-то перед гением Калины и талантами карачаевского Ивана. Но яркое пламя печки делалось незаметным перед лучами солнца, которые врывались в окна балахновского кабинета, освобожденные уже от зеленых занавесок. Аристарх Федорович сидел в широких вольтеровских креслах насупротив письменного стола; Карачаев сидел по другую сторону стола и не сводил моргающих глаз с собеседника. Наблюдения Павла Петровича ограничивались с некоторых пор одними и теми же выводами: он убеждался с каждым днем все более и

более, что выборы действительно подкузьмили Аристарха Федоровича и произвели в нем разительную перемену.

- Ну, что, душа моя, как ты сегодня себя чувствуешь? - спросил Карачаев.

- Совершенно хорошо, - отвечал Аристарх Федорович.

- А не чувствуешь ли ты этак... знаешь, аппетита? а?

- Да-таки порядочно...

- Превосходно! поздравляю, брат; значит, ты совсем здоров! Карл Готлибович разрешил тебе курицу... Ну, брат, скажу тебе, какую уж зато мы курицу тебе дадим сегодня, так просто!., я сам сейчас был на кухне... ты знаешь, я ведь везде сам, за всем, братец, присматриваю...

- Благодарю! благодарю! - произнес Аристарх Федорович, протягивая Карачаеву руку.

- Вот славно! Ха-ха-ха! благодарю! - воскликнул Павел Петрович. - Да за что ты меня благодаришь-то? Ха-ха-ха! благодарит, как будто я в самом деле что-нибудь сделал... Нет, брат, если надо кого благодарить тебе, так не меня – я что? – надо благодарить Лизавету Семеновну! Вот это другое дело! - примолвил он, придавая лицу своему серьезное выражение. - Да, брат, ее должен ты благодарить, ее, которая ухаживала за тобою, как за малым ребенком; от постели твоей не отходила, ночи не спала, – вот она штука-то в чем! Я вот что скажу тебе: не будь Лизаветы Семеновны, ты бы теперь не разговаривал со мною, а знаешь ли... да, лежал бы там, куда все мы рано или поздно отправимся, – вот дело-то в чем! - заключил он, сделав выразительный жест.

При этом румянец показался на бледном лице Аристарха Федоровича; он медленно отвернулся от собеседника, подперся ладонью, задумался и покраснел еще сильнее прежнего.

Карачаев кашлянул и, сделав вид, как будто ничего не замечает, подошел к окну и принялся глядеть на двор; созерцание снежных бугров нимало, по-видимому, не мешало Карачаеву отодвигаться постепенно от окна и приближаться к дальнему углу кабинета; достигнув угла, он украдкою пробрался вдоль стены и поспешно вынырнул в дверь. На все это потребовалось без малого минут десять; но зато одной секунды было достаточно Карачаеву, чтоб добежать до спальни Лизаветы Семеновны.

- Голубушка моя, - заговорил он, когда на стук его вышла Балахнова, - ступайте к нему скорее, ступайте с Богом! Я уловил, кажется, самую удобную минуту! Другой, может статься, не будет: я его подготовил... все хорошо... Ступайте... смотрите только, не унывайте, голубушка моя... Скажите ему напрямик; теперь бояться нечего: он совершенно здоров! Так-таки возьмите, укрепитесь, да и скажите ему всю подноготную: объявите ему сначала о векселях, которые поданы ко взысканию, а потом бухните... то есть объявите о том, что Ханские-то Пруды описывать велено... ну, и то, помните, о чем мы толковали с вами... все это передайте ему и постарайтесь уговорить, усовестить его... авось, может статься... Бог даст... а я в это время, помните, как я говорил, деток подготовлю... как только он этак поддастся, я с детками-то и брякну...

- Нет, этого не надо, - сказала Балахнова, которая, несмотря на взволнованное состояние души своей, все-таки не могла удержаться от улыбки, слушая предположение Карачаева, - дети будут в этом случае совершенно лишние... мы, может быть, и без них обойдемся...

- Эх, какие вы, право, голубушка моя! - перебил Павел Петрович. - Уж вы сделайте божескую милость, предоставьте мне распорядиться... вы поспешите только в кабинет, а уж остальное я сам берусь устроить!..

Сказав это, он суетливо пригладил лысину и побежал в детскую.

Немного погодя он возвратился в залу. Строгое, деловое выражение отпечатывалось более чем когда-нибудь на лице Павла Петровича. Закинув руки за спину, он принялся расхаживать взад и вперед, прислушиваясь время от времени к отрывчатому затаенному говору, который выходил из растворенных дверей кабинета. Как только в зале или в конце

коридора показывался кто-нибудь из людей, Карачаев делал выразительные жесты, отсылал назад и поручал сказать, чтоб никто не осмеливался подходить к крыльцу дома впредь до его приказания. В этих занятиях и в расхаживании взад и вперед по зале прошло у него часа два времени. Разговор в кабинете заметно между тем оживлялся, и вместе с ним оживлялся и сам Карачаев; шаг его ускорился, и с каждым новым поворотом приближался он на вершок к кабинетной двери. Маневры Карачаева оправдывались тем, что в последние десять минут он явственно услышал свою собственную фамилию, неоднократно произнесенную Аристархом Федоровичем. Он почувствовал, наконец, что уж не может владеть собою: он подошел к кабинетной двери, остановился и затаил дыхание.

- Да, нам суждено ошибаться... и, что всего хуже, ошибаться в лучших друзьях наших, - говорил Аристарх Федорович спокойным, но меланхолическим голосом. - Ну, полно же, перестань, не плачь (тут Павел Петрович не узнал даже голоса Аристарха Федоровича – до того показался он ему мягок)... время исправит все... и, может быть, откроет даже некоторым людям, всегда на меня злобствовавшим, чистоту моих... ну, да что об этом!.. Теперь предстоит заняться другими делами... Ты совершенно справедливо заметила, что я никогда не умел ценить достойным образом Карачаева... действительно, под грубою его оболочкой скрывается честнейшая душа и благороднейшее сердце; поэтому-то, хотя обстоятельства мои очень дурны, я позабочусь прежде всего заплатить ему свой долг... пятнадцать тысяч для Карач...

Но едва произнес он эти слова, как уж Карачаев очутился в кабинете.

- Как!.. мне?., долг... Че-е-во? - закричал Павел Петрович, обнаруживая замешательство в каждой черте побагровевшего лица. - Мне возвратить долг! мне! Карачаеву! Что ж, за кого ты меня считаешь? За негодяя, за бесчувственного скота?! Нет, черт побери... извините, голубушка моя, Лизавета Семеновна! Да, черт возьми! не будет сказано, что Карачаев... Постой, я ж тебе докажу это!.. - заключил он, и вдруг сломя голову выбежал из кабинета.

Он миновал залу, опрокинул в передней два стула и бросился в маленькую комнатку с кривым зеркальцем, где некогда спал с Васильковым. Тут Карачаев раскрыл чемоданчик, вытряс на пол все свое имущество, отыскал известный уже читателю бумажник, вынул из него какую-то бумагу и с тою же поспешностью вернулся в кабинет.

Балахнов и жена его быстро приподнялись со своих мест.

- Стой! стойте и вы, голубушка моя, Лизавета Семеновна! - закричал Карачаев, торжественно протягивая вперед руку. - Так ты хочешь уплатить мне мой вексель? а? Ты думаешь, может быть, что Карачаев дни и ночи сокрушается об этом векселе... Сокрушается о том только, как бы запрятать эти деньги в карман? а? а? Нет, не будет этого сказано; нет!.. На же тебе! на тебе! на вот тебе! - заключил Карачаев, разрывая вексель на бесчисленное множество кусков.

- Что ты сделал? - вскричал Аристарх Федорович.

- А вот что сделал, - подхватил Карачаев, посылая носком сапога лохмотья векселя в угол, - вот что сделал! Не нужно мне твоих денег, не хочу я их, ничего не хочу, ничего мне не надо! Ну, сам ты рассуди... нет, позвольте, голубушка моя, Лизавета Семеновна, дайте мне ему все высказать: ну, сам рассуди, что я, семейный человек, что ли? Кому мне оставлять после себя? Зачем мне деньги? зачем добро? рассуди, душа моя, Aristarque, куда мне все это? Зачем?! Мне, скажу тебе, одно только нужно: дай ты мне какой-нибудь чуланчик или угол, ну, вот хоть тот, под лестницею, где жил Дрянков, - больше мне ничего не надо! Я привык к вам... привык к тебе... люблю и почитаю Лизавету Семеновну пуще родной матери... привык к деткам твоим... - продолжал Карачаев, моргая главами и прикладывая попеременно то правый указательный палец к левому глазу, то левый указательный к правому глазу, - останусь я с вами, поселюсь в этом углу и пробуду там до тех пор, пока не стукнет меня кондрашка, или не вынесут ногами вперед...

И долго еще говорил Карачаев; ничто уже, по-видимому, не могло остановить его; монолог его, приправляемый морганьем, прикладываньем пальцев к глазам и другими более или менее выразительными движениями, вырастал, как поток во время ливня.

Внезапно он остановился, взглянул на Лизавету Семеновну, которая во все это время дружески улыбалась ему, потом взглянул на Аристарха Федоровича, сидевшего в креслах и задумчиво склонившего голову, потом снова обратил глаза свои на Лизавету Семеновну и, подмигнув ей с видом взаимного сочувствия, быстро скрылся из кабинета.

Минуту спустя он снова появился в дверях, обвешанный детьми, ни дать ни взять как известная античная статуя, изображающая реку Нил.

- Аристарх Федорыч, взгляни-ка сюда, душа моя, полюбуйся! - закричал Карачаев.

И, не дожидаясь ответа, подбежал к Аристарху Федоровичу и облепил его детьми.

Минута была торжественная, по крайней мере, не менее торжественная, как та, когда Аристарх Федорович выслушивал поздравительные речи детей в день своего рождения. На этот раз, однако ж, рассудок не сказал ему, что сердечные порывы несовместны со строгой торжественностью иных случаев. На этот раз Аристарх Федорович не выпучил величественно грудь и не сказал даже: «благодарю!». Он попросту посадил детей па колени и принялся целовать их по очереди.

- Ура! Голубушка моя, Лизавета Семеновна! ура-а! - воскликнул Карачаев посреди тишины, воцарившейся в кабинете, - ура! повторил он и, бросившись со всех ног к Аристарху Федоровичу, принялся обнимать его.

XXII
Заключение

Прошло полтора года после происшествий, описанных в этой, бесспорно, слишком уж длинной истории. Полтора года, конечно, не безделица, но смею уверить читателя, что Горшковский уезд все тот же. Он ни на волос не изменился против прежнего. Все те же поля, сливающиеся в необозримой дали с такими же точно полями; те же березки, бугорки, кочки и кустарники, оживляющие кое-где горизонт; та же большая горшковская дорога, которая, по-прежнему никак не может отдохнуть от докучливых проезжающих; те же проезжающие, которые с криком и бранью врезывают свои колеса по самую ступицу в ее рыхлую старческую грудь; те же реки, ручейки и овражки; те же дырявые мостишки; те же избушки; те же проселки, – словом, все то же!

Изменились только люди или, вернее сказать, изменились обстоятельства людей: кое-кто овдовел, кое-кто женился, кое-кто прикупил пашни, кое-кто осиротел, а у кое-кого оказалось приращение в семействе. Даже тут, как видите, очень мало перемены. Основываясь на этом, я готов поручиться чем угодно, что если б какому-нибудь наблюдателю вздумалось заглянуть по прошествии этого года в Горшковский уезд, и затем явилось бы желание передать свои впечатления, ему неизбежно пришлось бы повторить историю проселочных дорог, чего я от души не желаю ни ему, ни читателю. По крайней мере, что до меня касается, я решительно не вижу большой перемены в Горшковском уезде по прошествии этого срока. Сколько ни оглядываюсь, сколько ни напрягаю зрение, всюду встречаю одни и те же лица, и наблюдения мои ограничиваются тем только, что некоторые из них похудели, тогда как другие потолстели.

В числе последних особенное внимание обращает на себя Прокисай Захарович Копков.

Боже, как потолстел Прокисай Захарович! Если б не продолговатое лицо, которое осталось все тем же продолговатым, его решительно можно было бы принять за другого человека. Я, право, не знаю, что делала Фиона Ивановна с тех пор, как вышла за него замуж?

Должно полагать, она кормила его одними только сдобными лепешками; сюртучок травяно-зеленого цвета окончательно уж не сходился на том месте, где находилась

некогда талия Прокисая Захаровича. Носится, однако ж, достоверная молва, будто Фиона Ивановна не только не балует своего мужа, но даже держит его в ежовых рукавицах. Она, конечно, позволяет ему сидеть у окна, бренчать на гитаре, вырезывать бумажных козлов, петушков, лошадок и ничего даже не говорит, когда он налепливает их на окна; но что касается до того, например, чтобы пойти погулять, Прокисай Захарович и думать об этом не смеет.

Видите ли вы этот маленький деревянный домик, расположенный на углу Горшковской площади и выходящий главным фасадом на каланчу и съезжий двор? Домик этот принадлежал прежде горшковскому аптекарю, но теперь принадлежит Фионе Ивановне. Она купила его на тот трудовой капитал, который скопила в продолжение многих лет, управляя хозяйством Балахновых. Видите ли вы теперь в одном из отворенных окон этого домика голову Прокисая Захаровича, мелькающую между двумя горшками с чахлыми бальзаминами? Вы не можете не заметить также, что водянистые глаза Копкова с какою-то жадностью устремляются на противоположный конец площади и, по-видимому, никак не могут оторваться от паперти собора, запруженной народом. Прокисай Захарович словно ожидает чего-то, и нетерпение его возрастает с каждой минутой. Внезапно голова его исчезает за бальзаминами.

- Фиона Ивановна, душенька! Фиона Ивановна, пожалуйте сюда! Скорее, скорее, душенька! - кричит Прокисай Захарович, снова просовывая голову между бальзаминами.

Почти в то же время в окне показывается Фиона Ивановна; в наружности ее не произошло почти никакой перемены, за исключением разве правой щеки, которая освободилась наконец от несносного флюса и пришла в уровень с левою щекою.

- А что, разве едут? - спрашивает Фиона Ивановна.

- Едут, душенька, едут!.. - отвечал Прокисай Захарович, сторонясь, чтоб дать место жене.

Оба высовываются по пояс из окна. Прежде всего перед глазами обоих супругов предстала исполинская старомодная карета с красными колесами и желтыми дверцами. В карете сидела младшая дочь Фукола Ивановича. Она всегда слыла брюнеткой, но теперь, благодаря белому подвенечному платью, белому кисейному вуалю и венку из белых искусственных роз казалась еще смуглее. Рядом с нею помещалась жена Нила Степановича Лукьянова, дама бодрая, могучая, почти такая же толстая, как сам Нил Степанович. Насупротив их сидел долговязый Федя, исправлявший должность шафера; новый вицмундирчик ясно свидетельствовал, что Федя занимал уж штатное место в Черноряжской Палате. После кареты показалась коляска, запряженная тройкой, обвешенной бубенчиками и медными бляхами, ярко блестевшими на солнце; первое место занимал молодой троюродный кузен дочерей Фукола Ивановича; волнение проглядывало во всех чертах его физиономии; плоские волосы его были запрятаны за уши. Должность жениховых дружек занимали: горшковский почтмейстер и секретарь из Горшковского земского суда. Следом за ними в качестве почетных гостей ехали Фанагория Петровна и Нил Степанович. Фанагория Петровна только что освободилась от траура, наложенного на нее смертью Антониночки. Она была всегда того мнения, что траур вовсе не шел к ее лицу, и потому воспользовалась первым удобным случаем, чтоб снять с себя креповый чепец и заменить его розовою шляпкой с райской птицей на верхушке; она была в восхищении от Нила Степановича; в короткий промежуток переезда через площадь он успел уже сделать значительные успехи в слабом сердце презрелой вдовы. Фанагория Петровна картавила, принимала меланхолические позы и возводила глаза к небу, как в те минуты, когда прислушивались к пению соловья. За Лукьяновым и Фанагорией Петровной следовали дрожки; на дрожках помещались Павел Павлович Чибезов и еще шафер невесты, землемер Севастьянов; лицо Павла Павловича проявляло необычайное движение; глаза и зубы его сверкали; видно по всему, что он с трудом удерживает исток рифм, которые сами собою зарождаются в поэтической душе его; но это собственно ничего; нет сомнения, что как только окончится свадебный бал, Павел Павлович заставит

жену писать под диктовку и новыми блестящими импровизациями вознаградит себя за минутное молчание. После Чибезова и Севастьянова показался старичок Пшеницын: повеселевшее, почти беззаботное лицо его служило несомненным доказательством, что мысль о том, будто Федя должен непременно умереть до получения первого чина, уже не тревожила чадолюбивого сердца преклонного родителя. За Пшеницыным ехало множество других лиц. В свадебном поезде недоставало только самого Фукола Ивановича и дочери его, романтической Чибезовой. Мудреного тут ничего нет: вот уж шесть месяцев, как Фукол Иванович окончательно лишился употребления своих ног. Он не покидает кресел даже в тех случаях, когда узнает о ссоре своих соседей; впрочем, миротворная деятельность почтенного старца находит с некоторых пор обильную пищу в кругу собственного своего семейства. Вдохновенное состояние Павла Павловича Чибезова, возрастая с каждым днем, требует все более и более простора и решительно мешает ему жить в ладах с романтическою женою. Должно полагать, что круг миротворной деятельности почтенного старца распространится еще значительнее после брака младшей дочери; быв еще девицей, она по двадцати раз в день переодевалась из розового платья в черное, в ознаменование ссоры с долговязым кузеном; чего же следует ожидать, когда пройдет медовый месяц и наступят супружеские отношения?.. Но это покуда еще впереди. В то время, как свадебный поезд тянулся по улицам Горшкова, Фукол Иванович сидел в креслах и занимался устройством своего домика; почтенный старец естественным образом не мог приглядеть за всем, оставаясь на одном месте; ему следовало передвигаться – из одного конца дома в другой; для этой цели позван был заспанный детина, который, сверх своих должностей портного, слуги и конюха, получил еще должность передвигателя кресел с той минуты, как Фукол Иванович лишился ног. И в то время, как заспанный детина передвигал почтенного старца из одной комнаты в другую, романтическая Чибезова занималась приготовлением собственного своего туалета; хлопотала подле красных камлотовых занавесок, украшавших маленькие окна; симметрически расставляла горшки с геранью; суетливо перебегала в комнату, назначенную для молодых и делала, по-видимому, все возможное, чтоб придать самый приличный вид свадебному балу, который подавал надежду быть весьма эффектным.

Я твердо уверен, однако ж, что, несмотря на весь свой эффект, бал Фукола Ивановича далеко отстанет от бала Кокуркиных; я говорю о том знаменитом бале, который дан был в Веселых Горках в ознаменование того, что минуло десять месяцев после брака Василькова и Надеженьки. Я был вообще всегда того мнения, что ничего не может быть лучше вечеринок, даваемых гостеприимными барышнями. Вы, без сомнения, нигде не встретите большего радушия со стороны хозяев; нигде не найдете такого непринуждения и уж, конечно, нигде не увидите такого веселья, несмотря на то, что все почти ограничивается двумя комнатами, блюдечками с вареньем и брянчаньем на шестиструнной гитаре. Удивительнее всего то, что вечеринки эти следуют непосредственно одна за другой и почти не прерываются в продолжение года. Мы никак не можем разрешить причины такого необузданного стремления к увеселению самих себя и своих ближних. Происходит ли это стремление от того, что три барышни живут в Веселых Горках?.. Но, с другой стороны, Веселые Горки могли получить свое название потому именно, что в них поселились три барышни; решительно непонятно! Страсть к вечеринкам проистекала, всего вероятнее, из врожденного гостеприимства трех барышень. Принимая в соображение такое похвальное свойство, мы вправе заключить, следовательно, что слухи о том, будто Кокуркины сплетницы - не имеют никакого основания: такие обвинения, конечно, могли только вырваться из оскорбленной груди Фионы Ивановны, да и то в минуту сильнейшего негодования против барышень, которые, скажем мимоходом, ни в чем не были виноваты. Если б барышни занимались сплетничаньем, к ним, без сомнения, не съезжалось бы такое множество соседей и вечеринки их далеко не пользовались бы такою славой. В доказательство можно привести бал, данный в честь Порфирия Павловича и Надеженьки. Кого только не было на этом

бале! Тут были: Кондей Иванович Свищов и Прокл Иванович Полушкин, Софья Кузьминична Свищова со своими дочерьми и ридикюлем, Матрена Васильевна Полушкина с чадами и также с ридикюлем. Говорят, будто два почтенные семейства живут с некоторых пор в совершеннейшем ладу. Утверждать положительно не смею. Достоверно только то, что Кондей Иванович дозволяет теперь полушкинским бабам подходить беспрепятственно к своему колодцу, а Прокл Иванович ничего не говорит, когда индейки и куры Кондея Ивановича перелетают в его огород. В числе гостей находился также Аполлон Егорович Дрянков. Он, сказывают, собирается писать новую повесть; в ожидании этого почтенный труженик переселился к одному богатому помещику и проживает у него с превеликим комфортом. Второе произведение даровитого Дрянкова будет называться «Тунеядцы-Лежебокие-Проживальщики, физиологический очерк». Основываясь на том, что предмет этот в совершенстве знаком автору, можно надеяться, что новое произведение его далеко оставит за собою первое. На бале находились также: рыженькая Капитолина Лукинична Дядинькова, подруга ее, бессловесная Лукерья Фоминична Крепышева и Розалия Владимировна Сараманаева, которая, после получения своих пяти тысяч от Аристарха Федоровича, купила клочок земли в Веселых Горках и поселилась в соседстве трех барышень. Словом, тут присутствовали почти все старые знакомые, не выключая Агашеньки. Место гитариста занимал на этот раз Прокл Иванович Полушкин, и, говорят, с большим успехом. Нечего и говорить, разумеется, что посреди всего этого сборища первое место принадлежало Порфирию Павловичу Василькову. Голубая венгерка его, с шелковым иероглифом на спине, мелькает во всех концах залы, повинуясь движению ног, которыми Порфирий Павлович семенит под такт музыки. К сожалению, он не может танцевать с молодою женою; интересное положение Надеженьки заставляет ее сидеть на одном месте – обстоятельство, которое нимало не мешает ей суживать губки наподобие сердец, изображаемых в альбомах. Спустя каждые пять минут можно видеть Порфирия Павловича, целующего руку жены; остальное время посвящено им веселой, радушной Вере Андреевне, которая восторженно припрыгивает при одной мысли, что завладела на весь вечер первым мазуристом Горшковского уезда. Изредка, и только в антрактах, Порфирий Павлович урывается из залы и бежит полюбоваться на голубые банты, украшающие занавески брачной постели, ни дать ни взять, как делывал он это в маленьком домике на берегу живописной речки.

Затем возвращается он к жене, наклоняется к ее уху, шепчет ей: - «Мимоцька, Пипоцька, Фифоцька... вам глюсно, Шишечка!» - и снова семенит ногами под такт музыки. Порфирий Павлович находится в полном восторге; к этому, следует заметить, немало способствует письмо Аполлинария Ильича Миловзорова, полученное накануне. Миловзоров поздравляет Василькова с браком; Васильков носится всюду с этим письмом, провозглашает Аполлинария Ильича лучшим, неизменным своим другом и дает клятвенное обещание повезти жену при первом удобном случае к сестрам красивого медика, с которыми познакомился случайно на постоялом дворе в Горшкове. В письме Миловзорова описывается, между прочим, весьма трогательно о том, как хоронили на днях одного почтенного старца, Тирсиса Ивановича Ястребилова, сочинившего будто бы сорок четыре тома трагедий и афоризмов. Весть относилась, впрочем, более к Дрянкову, и Дрянков тут же объявил, что смерть почтенного старца нанесла, по всем вероятиям, сильнейший удар Леокадию Куликову, автору «Пелопонизо-Таврических Мелодий» и знаменитому сотруднику «Парнасской Звезды». Пользуясь удобным случаем, мы скажем, что жена Миловзорова, его боперчик и бельмерочка пользуются вожделенным здравием и с каждым днем все сильнее и сильнее влюбляются в своего зятя. Благодаря тому же письму, присутствовавшие на бале Кокуркиных узнали, что некто по имени Бобохов купил огромный каменный дом, находящийся подле дома Миловзорова; Аполлинарий Ильич прибавил, что этот Бобохов живет настоящим барином. В последнем пункте мы сильно сомневаемся. Мы твердо уверены, что Бобохов, буржуа-жантильйом, как говорит

Карачаев, и останется мещанином во дворянстве опять до окончания жалкого своего века. Почти такую же точно уверенность питаем мы в отношении к тому, что рано или поздно новый дом Бобохова и другие его имения перейдут во владение его свояка, великолепного Тохтамышева, изящного Чиндаласова и почтенного, солидного Петра Степановича Крапова. Это тем вероятнее, что дела трех друзей идут в последнее время что-то плохо.

Для пополнения всех этих сведений, частью почерпнутых на бале Кокуркиных, частью полученных из собственных наблюдений, нам необходимо сообщить здесь кое-что по поводу Ханских Прудов и личности главного героя повести.

Известно нам из достоверных источников, что солнце по-прежнему восходит каждое ясное утро на плоском горизонте Ханских Прудов; по-прежнему окрашивает золотым пурпуром бельведер, верхушки берез, кровли флигелей и стены древнего дома; по-прежнему, подымаясь выше и выше, шагает оно каждый день через забор, озаряет клумбы сада, лужайки, сучья деревьев и желтые дорожки, молчаливо спускавшиеся в густую темно-зеленую листву акаций... Но нам известно также, что с некоторых пор зототые лучи не скользят уж по дощатым обелискам, пирамидам, столбам, минаретам. Все эти предметы, как бы связанные тайною, но тем не менее живою непосредственною нитью с Аристархом Федоровичем, не пережили славы своего владельца. Падение Аристарха Федоровича увлекло за собою пирамиды и обелиски. Вензеля и обелиски, выведенные искусною рукою Калины, частью смытые дождем, частью совсем уничтоженные, не останавливают уж путника; доски, служившие обшивкою фантастическим сводам, запуганные, вероятно, морозами, поспешили разбежаться по крестьянским дворам; иные поступили на дрова, иные по сию пору еще лежат пластом на земле и корчатся в предсмертных судорогах. Знаменитый столб, возвещавший расстояние от Ханских Прудов до Италии и Парижа, уж не существует; не существует также намалеванный кучер в красной рубахе с балалайкой в руках, украшавший помещение для дворовых. Дощатая баба, черпавшая воду у колодца, канула в вечность; на поверхности вод уж не видать лебедей. Вообще говоря, наружный вид Ханских Прудов не напоминает уже прежнего своего величия. С которой бы стороны ни ехал путешественник: по большой ли горшковской дороге, со стороны ли окатовской долины, или по проселку, Ханские Пруды представляются ему самой обыкновенной деревней. Значительная перемена произошла точно так же в наружности самого Аристарха Федоровича. Я вовсе не хочу сказать этим, что Аристарх Федорович кажется теперь самым обыкновенным смертным. В мыслях моих не было даже ничего подобного. Я хотел только сказать, что лицо Аристарха Федоровича похудело и осунулось, что худоба эта, в совокупности с поредевшими волосами, изменили его; немало также изменило его отсутствие патентованных вагенгеймовских зубов, которые, один за другим, перешли теперь в маленький ящик из карельской березы, хранимый в письменном столе Аристарха Федоровича. Но что из этого?.. дипломатический лоб, благодаря поредевшим волосам, кажется еще выше; продольная морщина над бровями врезалась глубже и еще красноречивее свидетельствует об энергии знаменитого мужа; узенькие губы, величественная осанка, улыбка, выражавшая сознание превосходства и вместе с тем неподражаемое добродушие – все это сохранилось по-прежнему. На всех этих признаках, как на подписи древнего мрамора, ясно можно прочесть историю славного, но, увы!., исчезнувшего существования. Мы ничего не можем сказать о том, например, какие перевороты произвело время в душе нашего героя; «чужая душа – темный лес», говорится; к тому же душа Аристарха Федоровича так необъятна! Принимая в соображение равнодушие, с каким взирает Аристарх Федорович на дела своих ближних и вообще на весь Горшковский уезд, должно полагать, что и в этом отношении он точно так же изменился. С невозмутимою холодностью выслушивает он рассказы о том, что Солонеев получил наследство после дяди и задает пиры, куда сбегаются все жители уезда; что Окатов находится на самой дружеской ноге с Солонеевым и не шутя предлагает ему продать долину, лежащую близ Ханских Прудов; что Софья Алексеевна Окатова окончательно уж переселилась в Петербург с возлюбленным сыном и госпожею Буске в

придачу; что Семен Семенович Кошкин, благодаря, вероятно, кокетству хорошенькой жены, занял порядочный куш у Балаклеева, купил у Старобельского дюжины две маток и намеревается завести конский завод, и проч., и проч., и проч. – все это, по-видимому, не производит на Аристарха Федоровича ни малейшего впечатления. Не мешает также заметить, что способ выражения Аристарха Федоровича, столь же красноречивый, сколько цветистый и напыщенный, также несколько изменился; правда, до сих пор еще говорит он: «благодарю!» или: «во время кратковременного пребывания моего замечено мною...» и т. д. вместо того, чтоб сказать «я заметил»; но такой способ изъяснения делается с каждым днем реже и реже. Аристарх Федорович решительно никуда не выезжает и ведет вообще жизнь самую однообразную. Дни свои проводит он в кабинете; хозяйством своим занимается почти так же мало, как прежде; впрочем, с тех пор, как эта часть перешла в полное распоряжение Карачаева, все идет как по маслу, и Балахнов может быть спокоен: у него не пропадет не только доска, но даже зерно хлеба. Павел Петрович, сопровождаемый Медором, поспевает всюду; в припадке усердия он нередко даже сам принимается колотить в караульную доску.

Каждый раз, когда наступает теплый хороший вечер, Аристарх Федорович выходит из кабинета и располагается на террасе. В этих случаях всегда почти можно встретить подле него лицо Лизаветы Семеновны, лицо бледное, но оживленное теперь счастием и все еще прекрасное, прекрасное, как тихая, светлая заря осеннего вечера. Лизавета Семеновна беспрепятственно проходит теперь из своей комнаты на террасу. Дело в том, что комната ее находится рядом с гостиной, на том самом месте, где некогда был будуар. Прежняя ее спальня, расположенная подле детской, поступила уж во владение гувернантки, отличной немки, которую все любят в доме от мала до велика.

Аристарх Федорович очень любит проводить свои вечера на террасе, любит устремлять задумчивые глаза свои на дальние берега прудов, свидетелей минувшей роскоши и величия. Но редко обнаруживает он свои впечатления и еще реже распространяется о днях своей славы. Изредка лишь, да и то в виде шутки, обращается он к Карачаеву, добродушное лицо которого не замедляет показаться на террасе.

- Посмотри, - говорит Аристарх Федорович, отгоняя рукою докучливых мух и мошек, – вот что значит старость: мух не могу отогнать, тогда как прежде от людей, бывало, отбивался...

- Э! вот вздор какой, душа моя! - восклицает Карачаев, - людей много на свете, ото всех не отобьешься! Ну, что, сам посуди, ecoute: что вышло из того, что ты отбивался? фук – и больше ничего! Поверь мне, все это дребедень... То ли дело теперь, сам посмотри, - заключил Карачаев, простирая руку к прудам, отражавшим золотые облака, подрумяненные закатом, - смотри: тишь да гладь, да божья благодать! Вот она штука-то в чем!..

Но как бы в опровержение словам Карачаева, из густой аллеи внезапно подымались звонкий хохот и веселые крики; на дорожках показывалась шумная толпа детей, и веселые голоса их, повторяемые эхом соседних холмов, оглашали смолкнувшую на минуту окрестность...

Но вот мало-помалу все снова погружается в молчание. Солнце скрылось, и последние лучи его потухли за горизонтом. Воздух свежеет. Синие тени сбегают по холмам и затопляют росистые долины... Темные массы дерев сливаются мало-помалу с местностью... Еще минута, и Ханские Пруды исчезнут и совершенно изгладятся в непроницаемом мраке ночи...

Увы! так все изглаживается и исчезает на сем свете!

КОНЕЦ

КОММЕНТАРИЙ

Первый том

ГЛАВА 1

…в одно прекрасное майское утро – авторское комментирование написанной ранее фразы является частотным приемом в повествовательной английской литературе. Получив распространение в романистике XVIII века (Г. Филдинг, Л. Стерн), такое комментирование вновь стало популярным в раннем викторианском романе (У. Теккерей, Ч. Диккенс).

…ехал тарантас, запряженный тремя клячами – упоминание тарантаса, запряженного тремя лошадьми, отсылает читателя к двум прецедентным текстам 1840-х годов: «Мертвым душам» Н.В. Гоголя и «Тарантасу» В.А. Соллогуба (далее – «МД» и «Т»). В дальнейшем повествовании многочисленные и разнообразные транспортные средства ближе к тарантасу Василия Ивановича, нежели к Руси-тройке Гоголя.

...проселок терялся с обоих концов Бог весть куда – традиция описания неопределенного уезда восходит к комедиографии екатерининского времени. Часто такое описание использовалось в водевиле.

...садись, душечка, ангел наш – здесь и далее речевое поведение Кокуркиных полностью воспроизводит манеру общения дамы приятной во всех отношениях и просто приятной дамы (МД, IX).

…между двумя пирамидами, которые украшены были арабесками пестрого, но неопределенного содержания, и обозначали въезд в поместье – все достопримечательности Ханских прудов, создающие обман величия, как это следует из текста, созданы руками мастера Калины. Во второй части романа Калина уйдет от Балахнова, устроившись работать в театр. Так, усиливается значение искусственности, поддельности, декоративности всей деятельности Балахнова: «*дощатые пирамиды и обелиски отзывались легким обманом, так, стало быть, сам владелец находил удовольствие обманывать самого себя*».

...от Ханских Прудов до Кавказа 1,800 верст, до Италии 2,100, до Петербурга 1,200, до Парижа 2,843 – «Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь» (Р).

...неудачи и внутренняя борьба на выборах… – выборы, на которых избирались губернские и уездные предводители дворянства, депутаты дворянского собрания, секретари дворянского собрания и проч. Голосование на дворянских выборах было тайным и производилось шарами, отчего называлась «баллотировкой», а голоса избирателей – «баллами».

...с длинными откидными воротничками…шее лорда Байрона – в портрете Балахнова парадоксально сочетаются черты Чичикова и романтического героя. Упоминание о внешности Байрона, о белизне шеи связано с идеей аристократического происхождения этого поэта-романтика, что «проявлялось не только в его манерах, но и внешности» (М. Шелли, П.Б. Шелли).

...ослепительный ряд белых зубов… сам Вагенгейм ручался за их доброкачественность... – Берндт Вагенгейм, бывший зубным врачом при Главном Штабе его Императорского Величества, специализировался на зубном протезировании. Наличие такой детали как вставные зубы, удивляющие своей прямизной и белизной, как и «достопримечательности» Ханских прудов, усиливает ощущение искусственности Балахнова.

...картина, изображающая роскошную нимфу – МД, I.

…Николай Степанович Окатов – в 1849-м году Григорович публиковал на страницах «Современника» авантюрный роман «Похождения Накатова».

...благополучными моими собратами по литературе – в литературе 1840-х годов прослеживается общий интерес к физиологии частной жизни, что находит отражение в очерках, фельетонах и дагерротипах. Ориентируясь на прозу О. Бальзака и Шанфлери, в сходном стиле начинают писать и многие русские беллетристы, составившие т.н. «натуральную школу» русской литературы (И.И. Панаев, Н.А. Некрасов, В.А. Соллогуб и др.).

...простая, скромная, добродушная – такой тип женственности становится очень востребованным в английской литературе. Имеет место он и в русской литературе, восходя к знаменитой формуле Татьяны Лариной: «Ничем мы не блестим».

...она нимало не обнаруживала в себе аристократических качеств, какими снабжают обыкновенно героинь известных повестей и романов – контрастная пара супругов Балахновых, вероятно, отсылает читателя к роману Стендаля «Красное и черное». На фоне одержимого прибылью господина де Реналя его супруга Луиза в начале произведения предстает воплощением добродетельной матери и защитницы интересов семьи. И Луизу де Реналь, и Лизавету Семеновну сближает их материальное положение: обе они обладают собственным капиталом, распоряжаться которым супруг может лишь отчасти.

В отличие от сюжета французского романа, Григорович, по справедливому замечанию А. Кони, создает произведение «с оригинальным отсутствием любовной интриги». Поэтому в разработке семейной линии романа основным ориентиром остается викторианская проза. Сам Григорович в письмах А.А. Краевскому называл Балахнову «громовоцензурным отводом».

...потешаются Дрянков и Копков – эти персонажи выполняют функцию комических двойников Добчинского и Бобчинского (Р).

...Ивана Дормидоныча Бобохова – сюжет русского «мещанина во дворянстве» получает развитие в комедиографии екатерининского времени («Купецкая компания» О. Чернявского, «Дворянющийся купец» В. П. Колычёва, «Смешное сборище, или Мещанская комедия» Благодарова, анонимная комедия «Перемена в нравах»). Сходные ситуации прослеживаются в водевилях 1840-1850-х годов: «Купцы третьей гильдии», «Купцы между собою», «Купеческий сынок».

С «мещанином во дворянстве», не помнящим родства купцом, связана еще одна сюжетная линия, во многом дублирующая коллизию, связанную с «борьбой» за место под солнцем Балахнова. Основная задача Бобохова – разыгрывать роль джентльмена, всеми силами дистанцируясь от купеческого сословия, к которому он в действительности принадлежит.

ГЛАВА 2

...редкости, достойные внимания – далее представлены артефакты сомнительного качества и достоинства, как и вагенгеймовы зубы, эти предметы должны формировать представление о Балахнове как о великом мира сего. Комбинация предметов, украшающих кабинет, заставляет вспомнить кунсткамеру. Одновременно их сочетание ориентировано на абсурдные реестры, одним из лучших образцов которых является «Опись» Дж. Свифта:

Из дуба грубый старый стул,
Подсвечник (кто его согнул?),
Кровать давно минувших лет,
Еловый ящик (крышки нет),
Щипцы, скрепленные кой-как,
Без острия тупой тесак,
Тарелка, что видала виды,

Том Библии и с ней Овидий.

...величественно возносился сапог Карла XII – согласно легенде, шведский король Карл XII потерял сапог, который был найден в Елгаве после Северной войны. В дальнейшем копии такого сапога украшали многие дома лифляндских дворян в Вирге и Елгаве. Здесь же, вероятно, цитируется «Детская книжка» – памфлетный текст А.С. Пушкина, направленный против хвастовства Павла Петровича Свиньина: «Павлуша уверял, что эта лошадка принадлежала Карлу XII и была та самая, на которой он ускакал из Полтавского сражения».

...братьев Корниловых – известная качеством своих изделий мануфактура, позволяющая, в том числе изготавливать вазы античного или восточного стиля.

...драпированный в архалук...сверток пергамента – один из вариантов светского непарадного портрета, вошедшего в моду во второй половине XVIII века. В частности, в халате и домашней одежде изображен Гавриил Державин. Со временем такой стиль стал шаблонным. Иронизируя над этим свойством, Гоголь писал в повести «Портрет»: «гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «всегда стоял за правду». И поза Балахнова, и его девиз совпадают.

...О, люди, люди! Страшно мне за них – перефразированные слова из монолога Гамлета в переводе Н.А. Полевого: «Страшно, За человека страшно мне» (2 действие, явление 3). В.Г. Белинский в статье, посвященной разбору этого перевода, отметив, что окончание монолога принадлежит Полевому, писал: «Но его и сам Шекспир принял бы, забывшись, за свое, так оно идет тут, так оно в духе его…». Здесь используется иронически: Кошкин и Балахнов не герои шекспировского толка, и, удивляясь падению других, они тем самым не замечают собственных заблуждений.

...пачку сигар с надписью „nec plus utra“– лат. «не дальше пределов», по легенде написанное на Геркулесовых столбах как предостережение мореплавателям, знак достижения ими границы мира. Несмотря на развитие табачной отрасли в «Российской империи» такой марки сигар в действительности не существовало. Очевидно поэтому используемое здесь и далее *nec plus utra* становится маркером амбиций Балахнова.

...в третьем действии Гамлета – не исключено, что Григорович ориентируется на статью В.Г. Белинского «Мочалов в роли Гамлета»: «Вдруг Мочалов одним львиным прыжком, подобно молнии, со скамеечки перелетает на середину сцены и, затопавши ногами и замахавши руками, оглашает театр взрывом адского хохота... Нет! если бы, по данному мановению, вылетел дружный хохот из тысячи грудей, слившихся в одну грудь, – и тот показался бы смехом слабого дитяти в сравнении с этим неистовым, громовым, оцепеняющим хохотом, потому что для такого хохота нужна не крепкая грудь с железными нервами, а громадная душа, потрясенная бесконечною страстию...».

...кого себе избрали? Когда подумаю: кого вы предпочли? – эта цитата из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» приобретает здесь перевернутое значение: вместо Александра Чацкого, обманутого в любви к Софье Фамусовой, Балахнов адресует свою инвективу помещику Солонееву, якобы предавшего их дружбу, а также жителям Горшковского уезда.

…поклонник классической нашей литературы – знакомство Балахнова с произведениями русской литературы проявляется в речевом поведении этого героя. Знаменательно, что он цитирует Грибоедова, притом, что его комедия долгое время находилась под негласным цензурным запретом.

...был Аполлон Егорович Дрянков – фонетика имени персонажа отсылает в первую очередь к сотрудникам журналов «Москвитянин» и «Отечественные записки»: Аполлону Григорьеву, Егору Дриянскому, Якову Буткову. Хорошо известны анекдоты и сплетни, связанные с литературной деятельностью Буткова, больше напоминающей исполнение барщины или оброка – ходили слухи о неоплатном долге, который А.А. Краевский

заплатил за своего будущего сотрудника. В этом контексте журналист, обреченный на поденную работу, соответствует роли приживальщика, находящегося в доме у своего обеспеченного патрона. Бутков при этом не смог составить сколько-нибудь крупного литературного имени, пополнив реестр тех писателей-беллетристов, которых принято называть «мелкотравчатыми». Это слово из охотничьего дискурса ввел в литературу Е.Э. Дриянский. С течением времени его «Записки мелкотравчатого» были преданы забвению, однако относительное прилагательное *мелкотравчатый* закрепилось в критике, где стало качественным, маркирующим оценку и масштаб литературного дарования. Таков усредненный портрет провинциального неофита, будущего столичного беллетриста.

«Непризнанная индейка», повесть в десяти главах – как и в случае с именем Дрянкова, «Непризнанная индейка» речь может идти о самых разных произведениях: от «Нечастного Никанора», автор которого не был известен Григоровичу, до «Бедных людей» Ф.М. Достоевского. Не исключено, что «непризнанность» отсылает читателя к произведениям т.н. «сентиментального натурализма», ориентиром которого долгое время оставались произведения В.А. Соллогуба и Достоевского.

Слово «индейка» при этом тяготеет к принципиально иному полю, отсылая к поговорке «Судьба – индейка, жизнь копейка», утвердившейся в русской литературе от «Ревизора» и «Героя нашего времени» до «Войны и мира» (в черновых редакциях). Наибольший эмблематизм индейка получает в историософской главе «Тарантаса» В.А. Соллогуба, полемически заостренной против финала первого тома «МД». Взору спящего героя представляется *орел не орел, индейка не индейка*. Таким образом, название романа Дрянкова окказионально.

Отталкиваясь от составляющих этого окказионализма, можно предложить три основных линии интерпретации.

Если индейка – это феминитив, образованный от исходного варианта «индеец», то наиболее очевидной становится связь с названием приключенческого романа Фенимора Купера «Последний из могикан» (The Last of the Mohicans). Сын Чингачгука Ункас – своего рода белая ворона, один из последних древних делаваров, обреченных на неминуемую гибель. Дрянков близок к этой эмблематике: он становится изгоем в своем близком окружении, как большинство писателей и представителей интеллектуальной богемы начала 1850-х гг. Разумеется, к моменту написания «Проселочных дорог» романы Купера и его эпигонов, писавших о борьбе краснокожих и европейцев и проповедующие теорию исключительной личности (к которой относится и Натаниэль Бампо, и Чингачгук, и его сын) потеряли былую актуальность, на первый план вышли социальные вопросы, ведущие к открытию объективного метода повествования. Одним из таких произведений стала «Индиана» Ж. Санд. Как известно, В.Г. Белинский, сравнив писательскую манеру Санд и Бальзака, первоначально отдал пальму первенства последнему. Однако по мере изучения женского вопроса и социальной философии в целом, русский критик менял свои взгляды. Меняло и его окружение, к которому в том числе относился Григорович. Если эта траектория прочтения верна, роман получает геральдическую завершенность: находящийся в доме Балахнова на положении приживальщика Дрянков становится свидетелем истории, которая параллельно рассказывается читателю: опасное сближение замужней Балахновой с Карачаевым / замужней Васильковой с Попельковским гротескно отражает охлаждение креолки Индианы к ее мужу Дельмару и сближение с Ральфом, осуждаемое обществом.

Также в названии романа Дрянкова можно увидеть своеобразный парафраз, связанный со сказкой датского писателя Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок» (Den grimme Ælling (Ugly Ducky, 1847). Это произведение, в центре которого инициация и качественное преображение героя отражает общую логику воспитания и взросления, которое может проецироваться, в том числе, на биографические сюжеты. Русскоязычного перевода «Гадкого утенка» не существовало, но к услугам Григоровича были французские

и английские переложения. В описании угловатой головы и отталкивающей внешности Дрянкова прочитываются сходные с гадким утенком черты. Совпадают и фабулы: Дрянков находится в положении изгоя, пока не предает тиснению свою повесть (утенок оказался лебедем).

Слог его напоминает Памву-Берынду – украинский лексикограф, поэт, переводчик религиозной литературы и гравер. Один из первых восточнославянских типографов, отказавшийся от плетения словес и известный тяжеловесностью своего стиля.

...какая-то шкатулочка, которую можно только отворить в Петербурге... – МД, III.

...даже молодые дамы, несмотря на тонкое превосходство их натуры – Григорович транслирует стереотип, сформировавшийся в позднем романтизме и утвердившийся в викторианскую эпоху.

ГЛАВА 3

...благодаря лукулловским обедам – говоря об эпикурействе Балахнова, Григорович, очевидно, отталкивается от образов «Сна Обломова», напечатанного в 1849-м году.

...другие картины, другие образы выпали мне на долю – VII, МД.

...напоминавшую мелодические аккорды эоловой арфы – арфа бога ветров Эола. От дуновения ветра струны арфы, висящей на воздухе, издавали особый звук. Образ эоловой арфы популярен в английском и немецком романтизме, в русской литературе он закрепился благодаря одноименной балладе В.А. Жуковского. Сравнение жужжания мух и храпа спящих с эоловой арфой носит иронический характер и, как и описание лукулловских обедов, может быть обусловлено «Сном Обломова».

...экономка и доверенная женщина – в истории отношений Фионы Ивановны Чивадзе и Копкова отразилась характерная водевильная коллизия, ранее реализованная И.А. Гончаровым в его «Обыкновенной истории».

...меч Дамоклеса – то есть нависшая, неотвратимая угроза. Выражение возникло из древнегреческого предания, рассказанного Цицероном в «Тускуланских беседах». Сиракузский тиран Дионисий во время пира посадил на свое место своего приближенного Дамокла, чтобы проучить его: завидующий тирану Дамокл увидел, что над его головой висит на конском волосе острый меч. Дионисий объяснил, что это – эмблема тех опасностей, которым он, как властитель, постоянно подвергается, несмотря на кажущуюся счастливой жизнь.

...искусно вырезывал из бумаги козлов и мужиков – такое времяпровождение совпадает отчасти с теми детскими увлечениями, о которых пишет сам Григорович в «Литературных воспоминаниях».

…пару прорванных карпеток – носки, получулки.

…сахарные головы, ящики с чаем – в описании быта Фионы Ивановны прочитываются отсылки к быту Алены Ивановны Коробочки.

…опойковые башмаки – обувь из тонкой кожи (обычно из шкуры теленка).

...Она любила! Всякому человеку даны при рождении чувства, и рано или поздно чувства эти должны высказаться – перефразированные строфы «Евгения Онегина» А.С. Пушкина:

И в сердце дума заронилась;
Пора пришла, она влюбилась.

ГЛАВА 4

...Порфирий Павлович принадлежал к числу тех злополучных людей – в образе Василькова отразились черты человека сентиментально-романтической эпохи. Фамилия героя заставляет вспомнить водевиль А.А. Шаховского «Новый Стерн», герой которого –

Фиалкин представлял собой пародию на Жуковского, а его стиль – на эпигонов карамзинизма. Корреляции Жуковский – Васильков усиливаются к концу произведения, когда потеряв свою возлюбленную, Васильков находит успокоение в доме Кокуркиных.

…*Иван Иваныч, или Вакх Сидорыч* – вероятная отсылка к повести В.И. Даля «Вакх Сидорович Чайкин».

...*ребарбативность* – обычно: противный, отталкивающий, непривлекательный. Здесь: мужественность, брутальность.

...*Есть тихие брега* – цитата из «Истории человека» (1810) П.А. Вяземского, лирический герой которого, вслед за Гамлетом, ставит под сомнение основы бытия:

Родиться, жить и умереть
Есть тихие брега – покинуть для волненья,
Бороться с бурями, повсюду гибель зреть,
И бросить якорь свой у пристани забвенья…

Эти строки, произносимые Порфирием Васильковым, приобретают дополнительный иронический оттенок: персонаж не является романтическим героем, но, как и Балахнов, хочет быть похожим на него.

...*как герой шиллеровской баллады, броситься в пасть к освирипелым львам и тиграм* – герой баллады «Перчатка» (переведена на русский язык В.А. Жуковским, М.Ю. Лермонтовым), рыцарь Делорж приносит даме своего сердца перчатку, оброненную с высокого балкона в зверинец. Вернув перчатку, Делорж со словами: «Не требую награды», бросил ее в лицо красавицы. Вероятно, Василькову близко рыцарство Делоржа, при этом герой не готов казнить и карать свою «Кунигунду».

...*если ты возьмешь шафером не меня* – обязанность шафера (дружки) состояла в распоряжении свадьбой. Кроме того, шафер держал венец над головами новобрачных при церковном обряде венчания.

...*будет у него посаженым отцом…посаженой матерью* – в народном свадебном обряде: мужчина и мать, заменяющие родных новобрачного. Они благословляют нареченного сына или дочь перед отправлением в церковь, занимают почетное место за свадебным столом. В дальнейшем они могут руководить семейными делами новобрачных – этим объясняется вмешательство Балахнова в финансовые дела Васильковых.

...*стуча кием по желтому… подставил маску… на квит* – термины бильярдной игры.

…«*T'en souviens-tu disait un kapitan*» – бонапартистская песня «Ты помнишь ли?» Поля Эмиля Дебро. В России ошибочно приписывалась П.-Ж. Беранже, вызвав, в частности, инвективу А.С. Пушкина.

...*спой нам лучше что-нибудь родное, национальное* – в этих и подобных просьбах и поступках Балахнова проявляется его славянофильство. Песня «Вниз по матушке, по Волге», исполняемая далее Карачаевым является народной (зафиксирована в Тверской губернии).

...*один известный журнал предлагает мне купить мою повесть...* – здесь не исключена фигура умолчания, поскольку Григорович, как и И.С. Тургенев, печатался одновременно в «Современнике», «Москвитянине» и «Отечественных записках».

...*повесть называется… «Непризнанная индейка»* – см. примеч. к главе 2.

...*светило дня медленно склонялось к горизонту* – повесть Дрянкова представлена в романе Григоровича сравнительно небольшим фрагментом. Как и в «Повести о капитане Копейкине» очевидно стилевое несовершенство, а также архаический стиль автора, сочетающего классицистические и сентименталистские штампы. Однако демонстрируя слабые стороны прозы Дрянкова, Григорович одновременно обращается к автопародии, перефразируя собственный рассказ «Смедовская долина», написанный параллельно с работой над «Проселочными дорогами». Рассказ, опубликованный в «Современнике»,

открывается развернутой экспозицией, в которой на величественно-идиллическом фоне вечерней природы происходит встреча рассказчика с пастухом. Совпадает ряд деталей: описание заката и полевых цветов (в том числе – незабудок), внешний и психологический портрет собеседника (бодрый и крепкий старик). Наконец, сам рассказчик «прикутывается в шинель» перед тем, как начать разговор. Так, на основе собственной повести, написанной им, по всей видимости, в большой спешке, Григорович создает пастиш, делегируя некогда принадлежащее автору слово карикатурному и смешному герою.

...стой! Зачеркни это: не годится! – Карачаев, выступая критиком Дрянкова, отмечает те же слабые стороны его прозы, что и Аполлон Григорьев, разбирая рассказы Григоровича «Прохожий» и «Смедовская долина».

ГЛАВА 5

...древний философ, кажется даже… Нума Помпилий – большая часть литературного наследия второго императора Рима Помпилия была уничтожена. Сентенция «быть первым в деревне, чем вторым в городе» принадлежит Цезарю (приводится в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха).

...я был всегда того мнения, что сокровенные комнаты – следующий далее фрагмент ориентирован на жанр французской физиологии и, в частности повествовательную манеру О. де Бальзака. При этом слова «*г. Z. страстный поклонник отечественной словесности – прекрасно*» созвучны финалу повести Н.В. Гоголя «Невский проспект».

...старая няня, носившая ее на руках – няня, сопровождающая Лизавету Семеновну Балахнову, также усиливает корреляцию героини с пушкинской Татьяной.

...«В бодоаре», - отвечал ребенок, которому было тогда четыре года – эта сцена полностью совпадает с рассказом Григоровиче о домашнем быте Е.П. Гребенки, бравшем пример с В.А. Соллогуба:

«ко мне навстречу выслали его дочь, прелестную девочку лет четырех; прежде чем я успел сказать ей что-нибудь, она уставила на меня хорошенькие черные глазки и проговорила: ”Мамаша в бодоаре!” В будуаре! Мало того: потребовалось расписать этот будуар в помпеянском вкусе, как у Соллогуба, и это в квартире из нескольких небольших комнат! Заведены были приемные дни; комнаты накуривались духами до одурения. Литераторов собиралось немного; один Кукольник являлся чаще других по старой памяти.

...Им чувств высоких не дано – эта многократно цитируемая Балахновым фраза отсылает к монологу Мазепы из романтической поэмы К.Ф. Рылеева «Войнаровский».

Я зрю в тебе Украины сына;
Давно прямого гражданина
Я в Войнаровском угадал.
Я не люблю сердец холодных:
Они враги родной стране,
Враги священной старине, —
Ничто им бремя бед народных.
Им чувств высоких не дано,
В них нет огня душевной силы,
От колыбели до могилы
Им пресмыкаться суждено.

Тем самым, Балахнов, соотносимый с Мазепой, одновременно «глядит в Наполеоны», воображая себя выше своих собеседников, а свои замыслы неординарными и полными глубокого смысла.

...три тысячи вам хотелось употребить на гувернера – в этом и подобных желаниях Лизавета Балахнова приближается к Луизе де Реналь – героине романа Стендаля «Красное и черное».

ГЛАВА 6

…прозываемые в провинции разлюли – традиционно о хорошей жизни (часто в сочетании «разлюли малина»). Однако Григорович и ранее использовал это слово для обозначения средства передвижения: «…Но не в том дело; уже во всех концах города гремели коляски, рыдваны, дрожки, тарантасы, разлюли; многочисленные экипажи направлялись однакож, сколько известно, преимущественно к двум только пунктам: те, в которых сидели мужчины, стремглав летели к подъезду Алкивиада Степаныча; другие, занятые дамами, направились к голубому домику» (Капельмейстер Сусликов).

...колонны тосканского ордера – архитектурный ордер, возникший в Древнем Риме на рубеже I века до н. э. и I века н. э. Является упрощенным вариантом дорического ордера, от которого отличается гладким фризом и колонной без каннелюр.

...молода – в Саксонии не была – солдатская пословица, смысл которой состоит в утверждении превосходства говорящего: собеседник чего-либо не понимает, не умеет или же должен подождать своей очереди. Тем самым Свищов «ставит на место» своего оппонента Полушкина. Конфликт двух этих помещиков отсылает к ссоре Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича из одноименной повести Н.В. Гоголя.

ГЛАВА 7

...репутацию злого, насмешливого, опасного, но очень умного человека – Бобохов ориентируется в своем поведении на позу разочарованного жизнью денди, подобного Октаву из «Исповеди сына века» А. Мюссе и Печорину из «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова. Однако, в отличие от Печорина, Бобохов в своих попытках казаться тем, кем он не является, смешон и пародиен, и в этой пародийности он приближается к Грушницкому или Тамарину – герою романа М.В. Авдеева, разоблачающего «печоринский тип».

...тут были и сен-жюльен тре калите, и дримадера, и испанский мускат – названия вин.

...в это памятное для нас число прекрасного мая месяца – поздравительная речь Кошкина ориентирована на жанр торжественной оды. Это выражается и в возвеличивании адресата, и в переплетении разнообразных тем, и строгой риторической логике. Неуместность торжественной оды становистя очевидной на уездно-поместном фоне проселочных дорог.

...рукоплескания заглушают голос растроганного Балахнова; в воздухе мелькает несколько платков – описание торжеств в доме Балахнова отсылает к монологу Чацкого «И в воздух чепчики бросали…».

...я шел прямой дорогой – в речи Балахнова отражаются нравоучения, характерные для «Выбранных мест из переписки с друзьями» Н.В. Гоголя.

...один грузинский князь подарил мне целого орла – вероятная отсылка к «Т».

...продать хлеб на корню, чем потерять такой удобный случай – хлеб, проданный «на корню», то есть в несжатом и нескошенном виде, имел гораздо меньшую стоимость, что свидетельствует об азарте Балахнова. В дальнейшем, испытывая потребность в деньгах, также поступит Бобохов.

...множество плошек и шкаликов – перефразированная цитата из стихотворения В.Г. Бенедиктова «При иллюминации».

Праздник большой! Изукрашены здания,

Ночь лучезарнее дня.
Плошки и шкалики — бездна сияния!
Целое море огня!
Но для чего мне все эти фонарики?
Я уступил бы другим
Эти блестящие звездочки, шарики, —
Всё предоставил бы им.

В отличие от лирического героя Бенедиктова, Балахнов борется за материальные ценности и не готов пожертвовать всем ради «синих очей» возлюбленной.

...приглашать на экоссез – изначально шотландский танец в России, при Петре I назывался «английским танцем». Со временем стал весёлым парно-групповым танцем быстрого темпа, в двухдольном размере. *Шен* – фигурный вальс.

ГЛАВА 8

...интриги не будет до самого конца – называя свое произведение «романом без интриги», Григорович ориентировался на стиль У. Теккерея, автора «романа без героя» «Ярмарка тщеславия». Совпадает и проблематика: большинство героев произведения находится во власти собственных тщеславных планов. Риторически (*автор раскланивается на все стороны*) данный фрагмент также тяготеет к «Ярмарке тщеславия».

... когда герой повести в порыве безумной страсти – намек на сенсационный или неистовый роман, особенно популярный во Франции.

...вам два прекрасные юные существа – Григорович воспроизводит шаблон сентиментальной повести.

...повестями пусто-прозрачно-психологического содержания – речь о светской повести, во многом ориентированной на стиль и сюжетику «Человеческой комедии» О. Бальзака и романы Ж. Санд.

…он лев с головы до пяток – слово «лев» ввел в русскую литературу 1840-х годов И.И. Панаев. Его роман «Львы в провинции», как и «Проселочные дороги» содержит в себе ряд выпадов в сторону современного литературно-журнального процесса и зачастую предполагает переход на личности.

…теперь следует оправдаться перед читателем – этот фрагмент Григорович, согласно его воспоминаниям, поместил, исходя из требований цензуры, увидевшей в «Проселочных дорогах» пасквиль на современное дворянство.

...обращавшими гостиную в благополучную Аркадию – идиллический топос, часть древней Греции, жители которой отличались простотою нравов и обычаев. В переносном значении: место, в котором господствуют простота и неиспорченность нравов.

...не было, может быть, в целом свете художника, ...как Калина – Григорович неоднократно обращался к образам художников-самоучек, вслед за В.Ф. Одоевским, Н.А. Полевым и Н.В. Гоголем. Как и карачаевский Иван, Калина – *слава и честь художников Горшковского уезда* – предстает одним из наиболее самостоятельных персонажей, действия которого не расходятся с обещаниями.

...а сурик на что? – красно-оранжевая свинцовая краска

...а бакан на что? – багряная масляная краска.

...как мазну тебя вохрой – т.е. охрой, минеральной краской желтого или красного цвета.

...история Карачаевского Ивана – эта вставная новелла, введенная в повествование по принципу «Повести о капитане Копейкине», отличается по тематике и содержанию. В отличие от Копейкина, Иван – не фантом или городская легенда. Рассказывая о жизни

крепостного, своим умом и ловкостью добившегося независимости, Григорович оказывается «в своей стихии»: оттого этот фрагмент так отличается от предыдущих.

...взять человек десять…заняться каким-нибудь делом – такие проекты неоднократно осуществлялись российскими помещиками. Одним из ранних отражений сходного замысла в литературе являются «Сказки дедушки Иринея». В повести «Столяр» В.Ф. Одоевский рассказывал о детстве и взрослении Андре Рубо, в повести «Сиротинка» (написанной, вероятно, в противовес «Деревне» Григоровича) представлена история крестьянской девочки, получившей образование в Петербурге, и вернувшейся в родное село для воспитания детей.

...завелись у меня шашни – здесь: о любовных интригах, ухаживании.

...кровь-то, знаете, играет – дословная цитата из «Повести о капитане Копейкине» (МД, IX).

...Адольф Кристианович Вейнерт – сходный сюжет реализован Григоровичем в его позднем очерке «Кто виноват?», где мастер еврейского происхождения и чиновник-немец подавали пример трудолюбия и прилежания. Очерк Григоровича опубликован не был.

...говорят, эти комедианты кости себе выламывают – представление о насильственном труде акробатов и комедиантов закрепилось в неистовом французском романе. Отражение этого стереотипа представлено, в частности в романе В. Гюго «Человек, который смеется». Григорович был одним из первых русских писателей, обратившихся к теме цирка.

...замело нас кругом, зги не видно: ночь глухая, и видим мы, что сбились с дороги – перефразированная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Бесы».

Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Мотив метели очень распространен в русской литературе («Светлана», «Капитанская дочка»), однако вариант, предложенный Григоровичем, построен на особых отношениях слуги и господина. Не исключено, что история Ивана оставила след в сознании Толстого-читателя, взявшего этот сюжет за основу своей поздней повести «Хозяин и работник».

ГЛАВА 9

...«Не белы-то снеги!» – русская народная песня (зафиксирована в Моршанском уезде Тамбовской губернии).

...одного из лучших наших журналов – здесь не исключена фигура умолчания, поскольку Григорович, в отличие от большинства беллетристов, был своего рода журнальным космополитом: он печатался одновременно в «Современнике» и «Отечественных записках», а также в «Москвитянине» (после его закрытия – в «Библиотеке для чтения»).

...бесконечным рядом серых заборов – в описании Горшкова отразился стереотипный пейзаж губернского города (от А.С. Пушкина до А.П. Чехова). Один из ярких примеров такого описания, составляющий, вероятно, ориентир для Григоровича, представляет собой поэма М.Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша»:

Там есть три улицы прямые,
И фонари и мостовые,
Там два трактира есть, один
Московский, а другой Берлин.

Там есть еще четыре будки,
При них два будочника есть;
По форме отдают вам честь,
И смена им два раза в сутки;
…….
Короче, славный городок.

...заглянуть к аптекарю, к почтмейстеру и еще к другим лицам – эти мелкие чиновные лица, играющие роль в губернском городе, упоминаются в комедиях Н.В. Гоголя «Ревизор» и Г.Ф. Квитки-Основьяненко «Приезжий из столицы».

...судьба приводила ему переезжать на пароме – многие провинциальные города в средней полосе Российской империи были лишены постоянного мостового сообщения, и большую часть года до соседнего города можно было добраться на пароме. С этим были связаны многочисленные проволочки и трудности. Так, например, работая над «Проселочными дорогами» в селе Дулебино, Григорович около двух месяцев ждал парома, чтобы отправить почту. Этой же проблеме посвящен очерк писателя «В ожидании парома», написанный для журнала «Современник» в 1857-м году.

...нос – длинный и отвислый, покрытый свинцовым матом – то есть темно-синий. Здесь Григорович перефразирует «Старосветских помещиков» Н.В. Гоголя, к этому же выражению он обратится и в поздней повести «Не по хорошу мил, – по милу хорош» (1889).

...был и весельчак, и умница, точь-в-точь как покойный Йорик – имеется в виду герой романов Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» и «Сентиментальное путешествие». В «Сентиментальном путешествии» Йорик получает паспорт, представившись потомком шута Йорика, упоминаемого в Гамлете. О смерти предприимчивого монаха читатель узнает в «Жизни и мнениях…».

...их иссушила грусть и ветер их разнес – цитата из трагедии В.А. Озерова «Эдип в Афинах», намекающая на «безвласость» Нила Лукьянова. Вяземский в своей «Приписке…к статье о «Жизни и сочинениях В.А. Озерова» писал о былых спорах с Пушкиным, не признающим таланта Озерова. В качестве аргумента Вяземский приводит следующий отрывок с собственным комментарием:

«Зри ноги ты мои, скитавшись, изъязвленны;
Зри руки, милостынь прошеньем утомленны;
Ты зри главу мою, лишенную волос, –
Их иссушила грусть и ветер их разнес.

Нельзя поэтичнее выразить, что Эдип оплешивел, и есть некоторая смелость в упоминании о том, что он плешив».

…да на робертик – карточная игра (обычно: роббер).

...зеркало, показывающее три лица, вместо одного, и девять глаз, вместо двух – эти оптические метафоры также близки к поэтическому стилю «Мертвых душ» Гоголя.

...черною непроницаемою материею – эта сцена отсылает читателя к финальному эпизоду неоконченного Л. Стерном «Сентиментального путешествия».

ГЛАВА 10

...Миловзоровы – в отличие от «Мертвых душ» фамилия героинь полностью противоречит их траурному виду, унылому и печальному настроению (соответствующему устойчивому образу меланхолической барышни), а также названию *Склепино, Гробово* тож.

...утверждали единодушно барышники, цыгане и коновалы – подобная сцена ранее была представлена на страницах повести Д.В. Григоровича «Антон-горемыка».

...а между тем проселок бежал вперед и вперед, как ручей по склону широкой долины – данный фрагмент ориентирован на структуру заключительнтй главы первого тома «Мертвых душ» (XI). Развернутое рассуждение Григоровича о проселочных дорогах представлено и в его идиллии «Пахарь»: «Надо вам сказать: я с детства чувствую особенное влечение к нашим русским проселкам. Если судьба приведет вам когда-нибудь случай ехать по России, если при этом вам спешить некуда, вы не слишком взыскательны в отношении к материальным условиям жизни, а главное, если вам страшно наскучит город, советую чаще сворачивать с больших дорог: большие дороги ведь почти те же города! Это бесконечно длинные, пыльные и пустынные улицы, которыми города соединяются между собою; местами та же суета, но уже всегда и везде убийственная скука и однообразие. От Петербурга до Харькова, от Москвы до Перми – те же станционные дома, те же вытянутые в ряд села и деревни, предлагающие овес, деготь, кузнеца и самовар; вам мечутся в глаза те же полосатые версты, те же чахлые, покрытые едкой пылью ветелки, те же ямщики».

...а что, Сидор, что? Ворот еще не видать? Нет? А? Кажется, не видать?.. – данный вопрос в дальнейшем станет инициальным предложением романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».

...закатись ты, солнце красное – обрядовая песня, вошедшая в собрание П.В. Киреевского (номер 11).

...рядом с историей Павла и Виргинии – сентиментальная повесть Бернардена де Сен-Пьера, вошедшая в его «Этюды о природе». Сен-Пьер переосмыслил античный сюжет о Дафнисе и Хлое, соединив его с евангельскими максимами: герои повести любят друг друга, как дети, а внезапная гибель Виргинии не дает им воссоединиться. Безутешный Поль умирает вслед за возлюбленной. Культурное влияние этой повести было таково, что изображения героев долго украшали гостиные дворян и буржуа, сначала – в столице, после – в провинции. По наблюдениям А.С. Беловой, «…для провинциальных дворянок-сестер первой половины XIX века, живших в сельской усадьбе, вместе воспитывавших своих детей и приучавших их с детства к тесному родственному общению, могли казаться привлекательными некоторые идеи французского сентиментализма, в том числе и нашедшие отражение в романе Бернардена де Сен-Пьера, а именно: тихая деревенская идиллия, жизнь на лоне природы вдали от „цивилизации“ и светского общества, особое влияние матери на становление личности ребенка, человеколюбие и приверженность добродетели». История реальных отношений Василькова и Антонины травестирует исходный сюжет.

...Фанагории Петровне было лет пятьдесят – дальнейшая сцена ориентирована на пьесу Н.В. Гоголя «Женитьба».

...спензер, открытый наверху – короткая (не длинее талии) кофта с длинными рукавами, застёгивающейся спереди.

...акрош-керами на висках – фр. accroche-coeur, кольцеобразный завиток на висках.

ГЛАВА 11

…Mire dans tes yeux, mes yeux – французский романс.

…княгиня Жирофле-Никитская – имя героини взято из припева старинной французской детской песенки «Giroflé-Girofla». Эти слова ничего не означают, подобно русскому «ой ладушки-ладо», лишены смысла. Тем самым подчёркивается ложный аристократизм супруги Окатова. По этому же принципу образована фамилия Мурзи-Менасова (с очевидной отсылкой к мурзе Г.Р. Державина).

…прочесть во всеуслышание басню Измайлова или страничку из «Энеиды» Котляревского – литературные вкусы Окатова, как и других обитателей Горшкова, ориентированы на XVIII век, при этом доминанту составляют либо низкие жанры, либо ироико-комические поэмы.

...перелистывать французский роман, лежавший на столе подле чайного прибора – эта деталь завершает портрет Окатовой, разочарованной в своем муже и скучающей в браке (набросок в духе «Физиологии брака» О. де Бальзака).

...где ж эти девочки? – тема нелюбимых детей, отторгнутых в семье на второй план, неоднократно поднимается Григоровичем. Такое обращение созвучно тенденциям викторианского романа: «Джейн Эйр» Ш. Бронте, «Домби и сын» и «Дэвид Копперфильд» Ч. Диккенса.

ГЛАВА 12

...даже арабеск могу подвести – причудливый, часто ориентальный рисунок.

...разлило вокруг себя довольство и радость – в этой главе, так подробно останавливаясь на мечтах и фантазиях обитателей Ханских прудов, Григорович идет вслед за И.А. Гончаровым, повторяя композицию «Сна Обломова».

...какие академические залы могли сравниться с широким простором большой дороги – вероятно, история художника-самоучки, достигнувшего на своем поприще успеха, отсылает читателя ко второй части повести «Портрет» Н.В. Гоголя. Образ большой дороги также связан с произведениями Гоголя («МД»).

...Ардалион Александрович Попельковский – этот герой-трикстер по своему поведению и спонтанной несвязанной речи приближается к мистеру Джинглю из «Посмертных записок Пиквиккского клуба» Ч. Диккенса.

...послеобеденный кейф – приятный отдых.

ГЛАВА 13

...бледное кроткое лицо ее…склонялось над книжкой – в этой мизансцене заключены выразительные подробности, дополняющие характеристику горшковской «Татьяны».

…жил-был в том же уезде седенький, толстенький старичок, по имени Фукол Иванович – вероятная отсылка к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

...Горшковский земский суд признал его прошение неосновательным – признание прошения неосновательным останавливало тяжбу и влекло за собой компенсацию судебных издержек со стороны ответчика.

ГЛАВА 14

...нарядить всю барщину и разобрать – то есть собрать всех крестьян, безвозмездно исполняющих трудовую повинность.

...если б ему продали в Туле перочинный ножик и уверили его, что это настоящий английский, он и тут бы нимало не усомнился – изделия тульских мастеров отличались высоким качеством и пользовались спросом в пределах Российской империи. Аналогичный анекдот лег в основу сказа Н.С. Лескова «Левша».

...он поминутно вскакивал с места, подбегал к жене, чтоб поправить какой-нибудь бантик – здесь и далее Григорович перефразирует «Физиологию брака» О. де Бальзака: «Влюбленный муж клянется в сердце своем: «Эти глаза будут смотреть на одного меня, эти робкие уста будут говорить о любви одному мне, эта нежная рука будет одарять заветными сокровищами сладострастия лишь меня одного, эта грудь будет вздыматься лишь при звуках моего голоса, эта спящая душа очнется лишь по моему велению; лишь мне дозволено будет запускать пальцы в эти шелковистые пряди, лишь я смогу в беспамятстве гладить эту трепетную головку». Знаменательно, что, описывая медовый месяц супругов Бовари и указывая на «непроницаемость» новобрачной в сравнении с живым восторгом супруга, Г. Флобер использует тот же источник, что и Григорович.

ГЛАВА 15

...маленький домик на берегу живописной речки – фантазии Василькова соответствуют сентиментальной топике, в свою очередь связанной с античной идиллией («Дафнис и Хлоя»).

...вошел в лавку колониальных товаров – места сбыта товаров, первоначально ввозившихся из колоний (чай, кофе, пряности), а также товаров, производимых в Российской империи, и выдаваемых в провинциях за колониальные. В культуре XIX века за колониальными товарами закрепилась репутация низкокачественных, удовлетворяющих требованиям невзыскательного потребителя.

...в москательные ряды – устар. название предметов бытовой химии. Здесь – парфюмерная лавка.

...косо налепленными ярлыками, украшенными золотою надписью: „a Pari“...были наполнены заграничными изделиями Мусатова – Мусатов – владелец табачного магазина в Петербурге, продававший под видом французской парфюмерии изделия собственного производства (или, по выражению А.И. Герцена, *троивший духами a Paris*). Мусатовскую помаду как низкопробную упоминают в своих произведениях А.Ф. Писемский и М.Е. Салтыков-Щедрин.

...была заказана «Ивану Остолопову из Петербурга» – имя портного вымышлено. Говорящая фамилия дополняет реестр бессмысленных покупок, осуществленных Васильковым из средств, данных тещей на устройство свадьбы.

...лицо Антониночки было так же беззаботно и рассеянно – здесь, как и в предыдущей главе, цитируется «Физиология брака» О. Бальзака.

...давать друг другу фантастические и, по возможности, более нежные наименования – см. описание быта четы Маниловых (МД, II).

...мы уедем на Кавказ, удалимся куда-нибудь в горы и будем жить одни, далеко от света – в этих словах сентиментальную топику сменяет условно-романтическая, связанная с традициями повестей А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова и их эпигонов. Не исключено, что глагол «удалимся» одновременно отсылает к словам Хлестакова: «Мы удалимся под сень струй» (Р).

...при случае не прочь был даже строить куры – от французского «faire la cour», т.е. ухаживать, заигрывать, флиртовать.

ГЛАВА 16

...подъезжал к Голодаевке, имению Бобохова – говорящее название имения Бобохова соответствует устоявшейся в русской литературе комедийно-водевильной традиции, что нашло отражение в номинации поместий у Гоголя (МД, I-VI). В сравнении дома с его обладателем (выскочкой) также прочитывается характерный для прозы Гоголя прием.

...дилетантизм был также одною из слабостей – занятие какой-либо деятельностью (например, наукой, искусством, ремеслом) без должных знаний и профессиональной подготовки. Является одной из ярких черт не только «мещанина во дворянстве» Бобохова, но и практически всех действующих лиц: Балахнова, Дрянкова, Чибезова.

...муза Бобохова избирала обыкновенно своим предметом бедную даму, которая сидела у окна и смотрела на луну... – образ мечтательной девы в балладе В.А. Жуковского «Светлана» органично дополнился в романе в стихах «Евгений Онегин». Однако дальнейшее обращение к нему в поэзии было лишено оригинальности и новизны, воспринималось как эпигонское (в частности, поэзия В.Г. Бенедиктова, Е. Бернета и др.).

...читал он свои произведения следующим образом – попытки Бобохова и Балахнова представить себя в наиболее выгодном свете полностью совпадают.

...он все-таки продолжал читать сплошь и рядом русские журналы – еще одна черта «мещанина во дворянстве». Наиболее образованные читатели в Российской империи, как правило, не ограничивали круг чтения национальной литературой, обращаясь к европейской беллетристике и научным произведениям. Постепенное формирование новых читательских групп, часто не владеющих иностранными языками, определило интерес к толстому русскоязычному журналу, становящемуся для них своего рода энциклопедией.

...бесплодное чтение образовало в голове Бобохова совершенную кашу – в этом отношении герой близок к Дон Кихоту Сервантеса.

...одно из страданий мильонщика заключалось также в том, что он не знал французского языка – это свойство также роднит Бобохова и Чичикова: «отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе» (МД, VIII).

...вишь, повадились играть итальянские арии – мода на итальянскую оперу сформировалась в первой трети XIX века («*Но уж темнеет вечер синий, Пора нам в оперу скорей: Там упоительный Россини, Европы баловень, Орфей*»). Комизм ситуации состоит в том, что Бобохов пытается искусственным образом обучить своих крепостных незнакомой музыке и оркестровке: дальнейшее развитие событий показывает механический характер такого обучения.

...я потому и назвал ее Минотавром... – критское чудовище, с телом человека и головой быка, жившее в Лабиринте и убитое Тесеем. Вопреки утверждениям Бобохова, в античной мифологии Минотавр, зачатый в результате неестественного совокупления, не был ни божеством, ни полубогом.

...Ну, однако, полно турусы-то разводить! – то есть говорить чепуху, заниматься вздором.

...«Не белы-то снеги!» – русская народная песня (зафиксирована в Моршанском уезде Тамбовской губернии).

...Барин приказывали играть из „Лучии“ – «Лючия ди Ламмермур», трагическая трёхактная опера (итал. dramma tragico) итальянского композитора Гаэтано Доницетти. Либретто оперы написано по мотивам «Ламмермурской невесты» Вальтера Скотта.

...афиша возвещала, что шел водевиль под названием: «Маленькие неприятности в жизни» – в этом характерном для водевиля названии, очевидно, заключена скрытая отсылка к физиологии О. де Бальзака «Маленькие неприятности супружеской жизни».

...- Да это, кажется, если я не ошибаюсь, «Пчелка златая» – неоднократно переложенная на музыку «Пчелка» Г.Р. Державина. Поэт написал этот анакреонтический текст в 1796-м году, когда он был президентом Коммерц-коллегии. Произведение еще при жизни автора попало в песенники, а к середине XIX века стало восприниматься как еще одна русская народная песня (в частности, вошло в репертуар донского казачества). Григорович иронизирует и над дилетантизмом Бобохова, и над показной образованностью Балахнова.

...пьесе, из нравов французских маркизов времен Людовика XIV – так подчеркивается эклектичность репертуара домашнего театра Бобохова.

...своего амфитриона – здесь имеется в виду хозяин дома.

...виртуозов – virtuoz virtuoso primo – это тавтологическое сочетание слов в действительности никогда не использовалось. В речи Бобохова оно свидетельствует о потребности первенствовать, превосходить своими талантами и своим имуществом всех остальных.

ГЛАВА 17

...по лексикону – многие этикетные письма на французском языке создавались по специальным шаблонам. Так, в частности поступает Жюльен Сорель в романе Стендаля

«Красное и черное». В своем «эпистолярном» романе с госпожой Фервак герой пользуется готовыми письмами, меняя только имена собственные и некоторые обстоятельства, которые можно проверить. Не знающий этикетного французского Бобохов также вынужден обращаться к таким «готовым» письмам.

...«Кто ты, грозное привидение?..» – отсылка к первому действию трагедии У. Шекспира «Гамлет».

...вексель...ко взысканию – ценная бумага, оформленная по строго установленной форме, дающая право на получение от должника оговорённой в векселе суммы.

ГЛАВА 18

...охота же была тебе связываться с этой чахоткой!.. – в медицине и популярном знании первой половины XIX века чахоткой назывались не только легочные болезни (туберкулез), но и иные, часто довольно разные по симптоматике и последствиям заболевания, ассоциируемые с меланхолией и депрессией. В таком переносном значении об Антонине Васильковой говорит и Балахнов (вспомним сравнение осени с чахоточной девой у А.С. Пушкина и Е.А. Баратынского), хотя трагический финал отношений Василькова и его супруги докажет верность и буквальность этих слов.

...страждущее сердце чрезвычайно схоже с кораблем, набитым тяжелым грузом и несомым страшною бурей – романтический троп, неоднократно использованный поэтами Озерной школы. В произведениях эпигонов Лермонтова («В душе моей, как в океане, Надежд разбитых груз лежит») стал восприниматься как штамп.

...сердце читательницы, умиленное на первой же странице, разжалобилось и потонуло в слезах раскаяния на последней – о таком воздействии литературы на адресата (читательницу) писал Н.М. Карамзин, сходной теории придерживались и его последователи.

...Мы любили, мы мечтали, мы блаженствовали!.. – в письме Василькова, сочиненном в соавторстве с Дрянковым, отражаются сентиментально-идиллические штампы, что объясняется и архаичностью художественных приемов, использованных начинающим писателем, и чрезмерной жеманностью обманутого молодожена. Основой письма, определяющей специфику стиля, становится неоднократно цитируемый в романе Григоровича фрагмент из романа Н.И. Греча «Черная женщина»:

Мы мечтали, мы любили, мы блаженствовали! Вы еще видите закат того светила, которое лучами живило мир пиитический, волшебный. Близкие наши потомки станут читать в книгах повесть о бывшем, незнакомом им веке Астреи: одни не будут верить, чтоб он когда-либо существовал; другие станут осыпать его насмешками и презрением. Едва ли немногие избранные будут питать в сердцах огнь священный. Но, может быть, все клонится к лучшему, только не для нас, запоздалых в мире гостей из прошлого века!

...тут, брат, не пиитический мир нужен: нужно, брат, дело... – в отличие от авторов письма, Балахнов избегает сентиментальной риторики, полагая, что «реалистический» подход к ситуации позволит выиграть всем сторонам конфликта.

...финтиклюшки, плезир, мон шер, и больше ничего – иронически перечисленные риторические штампы французских этикетных писем.

ГЛАВА 19

...как новый Пинетти, он скакал, казалось, разом в одно и то же время по всем возможным проселкам, преследуя своего врага – согласно сохранившемуся анекдоту, гастролировавший по России итальянский фокусник и иллюзионист Пинетти дал Павлу I обещание уехать из Петербурга, выехав одновременно через все заставы этого города. На

следующий день Павел I получил пятнадцать донесений, в каждом из которых значилось, что Пинетти проехал именно через эту заставу. Вероятно, в основе анекдота недоверчивое отношение к бюрократическому аппарату времени правления Павла I.

...ты, брат, совсем озлобился против света: мизантроп, да и полно! – в этом и подобных эпизодах Карачаева можно соотнести с Альцестом, героем комедии Ж.-Б. Мольера «Мизантроп».

...он сам, впрочем, вызвался быть твоим рыцарем, защитником и покровителем – форма отношений, о которой говорит Балахнов, близка к средневековому рыцарскому кодексу по отношению к даме его сердца. В отличие от романов Стендаля, Жорж-Санд или Бальзака Григорович избегает адюльтерной развязки, ограничивая любовь Карачаева платоническими чувствами.

...так делывали наши предки. Обычай, освященный вековою, почтенною старостью – архаичная традиция «присесть на дорожку» восходит к язычеству.

...свет лампадки перед иконой освещает маленькие постельки и склоненное над ними лицо молодой женщины, погруженной в безотрадное, грустное раздумье... – описание Балахновой и ее быта по-прежнему соответствует модели «Светланы» и Татьяны Лариной.

ГЛАВА 20

...Иван Дормидоныч, подобно новому Ксерксу, разразился энергическими эпитетами против капризной стихии – согласно легенде, излагаемой Геродотом, персидский царь Ксеркс приказал высечь море, разрушившее понтонный мост, после чего находящиеся при войске палачи высекли морскую воду. Положение Ксеркса и Бобохова, действительно, совпадают: достаточно вспомнить, что последний «выместил свое негодование на тридцати рыбаках».

...Ну, было зачем бежать, а я думал и взаправду невесть какой заслуженный человек... – этими словами подчеркивается мнимый статус Бобохова, и его восприятие городским головой как равного.

...древняя наша столица предстала неожиданно из-за холма с своими белыми стенами – панорамное описание Москвы в прозе восходит к повести Н.М. Карамзина «Бедная Лиза».

...природный москвич, сын наполеоновского солдата – мнимый аристократизм Бобохова и Балахнова отражается в *Hotel de Princes*, где останавливаются эти провинциалы. Показательно, что французское название заведения связано с его владельцем, появившимся на свет в результате захвата Москвы наполеоновскими войсками в 1812-м году.

...господин Чиндаласов и Петр Степаныч Крапов – описание действий этих карточных шулеров отсылает к пьесе Н.В. Гоголя «Игроки».

...мой добрый приятель – здесь и далее в описании Тохтамышева прослеживаются детали, сближающие этого скучающего московского жуира с Евгением Онегиным.

...я печатаю здесь последний свой роман – Называя «Непризнанную индейку» романом, Дрянков одновременно подчеркивает значение написанного им произведения и, как провинциал, придерживается архаической дефиниции. В 1830-1840-е повесть стала «формой времени» русской литературы, в том числе в силу своего объема: повести размещались на страницах альманахов и в беллетристических отделах толстого журнала, романы, как правило, печатались отдельным изданием.

...в журналы, как здешние, так и петербургские, положил зарок ничего не давать; не разделяю их взгляда; к тому же дашь в один журнал, другой будет в претензии – с такой ситуацией неоднократно встречался и сам Григорович, постоянно лавируя между беллетристическими отделами «Отечественных записок», «Современника» и «Москвитянина».

...приятели моих приятелей, по всей справедливости, должны быть и моими приятелями – искаженная латинская сентенция «amicus meus, inimicus inimici mei» (друг моего друга – враг моего врага).

…отличается один почтенный седенький старичок, которого зовут не иначе, как Колен, Collin – вероятная отсылка к герою «Человеческой комедии» гениальному преступнику, мастеру перевоплощений Жаку Коллену, получившему прозвище «Обмани смерть». Его появление знаменует исход игры, ведущейся профессиональными обманщиками – карточными шулерами.

ГЛАВА 21

...все великие люди смотрят на золотого тельца – то есть одержимы жаждой наживы.

...и не прозревает близорукое умственное око света в душевный тайник этого обыкновенного смертного – данный фрагмент близок по теме, пафосу и ритму к аналогичному лирическому отступлению в «Мертвых душах» (VII, «Счастлив путник…»).

...ангела, который… послан был на землю единственно для того, чтоб подарить его блаженством – в словах Василькова снова воспроизводятся романтические штампы («Они не созданы для мира, И мир был создан не для них»).

...одно нераздельное существо, подобное сиамским близнецам – наиболее знаменитой парой однояйцевых близнецов, не полностью разделившихся при эмбриональном периоде, были Чанг и Энг Банкеры, родившиеся в Сиаме. Молодые люди сделали успешную цирковую карьеру: они гастролировали с цирком Ф. Т. Барнума под прозвищем «Сиамские близнецы», таким образом закрепив это название за всеми подобными случаями. Васильков, не имеющий самостоятельного голоса, воображает себя продолжением личности Балахнова, однако так и не становится его «двойником».

...слышал уже о Троицком трактире – расположенный в Китай-городе в Охотном ряду трактир на Ильинке, считавшийся эталоном ресторанного хлебосольства в Российской империи. Благодаря декоративной «рустикальности», пользовался большим спросом со стороны купцов и дворян-славянофилов; для крестьян заведение было закрыто, предполагались заведения попроще. Обед в «Троицком» стоил не менее трех рублей, часто между ужинающими здесь заключались серьезные сделки. Троицкий трактир, описывая свои московские похождения, упоминает близкий к Григоровичу А.В. Дружинин.

...показал ему бесконечную анфиладу комнат – в трактире было несколько дворянских залов, а также «немецкий», «армянский» и прочие секции.

...не знаком с лампопо, этим нектаром нашей доброй старушки-Москвы! – напиток, популярный в кругу московских знакомых Григоровича (пиво, настоенное с черными сухарями, лимоном и сахаром).

... «Вам чувств высоких не дано» – см. примечание к главе V.

ГЛАВА 22

...филантропия, philantrope, заставляет и меня обнаруживать к нему участие – дурной французский обнаруживается здесь в некорректном произношении и отсутствии артикля (la philanthropie). При этом филантропия Балахнова и Бобохова носит абсолютно показательный характер.

...все это, знаете, так вяло, бесцветно, ужаснейшие длинноты – такие упреки неоднократно встречали со стороны критики Д.В. Григорович и его современники, приверженцы «натуральной школы» (*говорю вам, повесть его – совершенная гиль...).*

...Леонид при Фермопилах…не обнаружил большого хладнокровия – Григорович по-прежнему опирается на легенду о противостоянии Леонида и Ксеркса, изложенную Геродотом. Эта легенда проецируется на внутренний конфликт Балахнова и Бобохова.

...место не живописно; мне хочется купить тысячи две душ где-нибудь в южных губерниях – очевидная отсылка к «Мертвым душам», где упоминаются планы Чичикова поселиться в поместье в Херсонской губернии (МД, VIII).

...Афанасий Никитич Степанчиков – эта фамилия не является частотной в русской литературе. Не лишено интереса, что, вернувшись к литературной деятельности, Достоевский создает роман «Село Степанчиково и его обитатели», в основе которого борьба приживальщика-манипулятора с хозяином дома.

...вы жалкий человек! – конец этой главы отсылает к одному из эпизодов повести Ф.М. Достоевского «Двойник».

ГЛАВА 23

...к книгопродавцам-издателям – в этой главе писатель обращается к многочисленным отсылкам к русской и мировой литературе. Так, описывая книжную лавку на Ильинке и самого книгопродавца Ивана Петровича, Григорович, вероятно, опирается «Разговор книгопродавца с поэтом» А.С. Пушкина и «Библиофильские новеллы» Ш. Нодье.

...древность лавки, действительно, не подлежала сомнению – параллельно «Новеллам» в описании книжных рядов угадываются детали из «Лавки древностей» Ч. Диккенса.

...толстые неуклюжие фолианты преследовали их даже в постели – см. развитие этого мотива в «Битве книг» Дж. Свифта.

...наружность не мешала Ивану Петровичу быть ученее многих очень ученых особ – имя и отчество этого персонажа полностью совпадают с именем и отчеством литературной маски А.С. Пушкина, реализованной в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина».

…странствование юного Анахарсиса по Греции – книга Ж.Ж. Бартелеми «Voyage du jeune Anacharsis», в занимательной форме рассказывающая о быте и гражданской истории Древней Греции. 9-томный перевод книги был подготовлен профессором П.И. Страховым; издание книги осуществлялось с 1803-го по 1819-й годы.

Уединенном Садовнике – неоднократно переиздаваемая книга Дж. Лондона и Г. Уайза «The retir'd Gardener», представляющая собой переложение книги Ф. Жантиля и Л. Лигера.

...не прекращает болтовню с тремя молодыми толстенькими приказчиками – трое помощников, выполняющих волю своего хозяина, упоминаются в романе С. Уоррена «Ten Thousand a-Year».

...вроде «Турус на колесах» – вероятный намек на повесть В.А. Соллогуба «Тарантас».

...три приказчика, бегающие, как матросы, сверху вниз по ручным лестницам и приводящие на память оборванный такелаж, снасти и канаты – не исключена отсылка к метаописанию в пушкинской «Осени»:

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

...Пелопонезо-Таврические мелодии – не исключен намек на «Греческие стихотворения» Н.Ф. Щербины. Работая над «Проселочными дорогами», Григорович

параллельно договаривался с Краевским о возможности «пристроить» сочинения Щербины в «Отечественные записки».

...когда жаждет она излиться в душу девы Юга и когда именно в душу девы Севера – штампы, используемые в поэзии эпигонов романтизма. Здесь они теряют свой высокий пафос и превращаются в вульгарно-эротические эвфемизмы.

...«Дитю Географ», верхняя полка, нумер тысяча-восемь-сот-сорок-третий; с краю, серый корешок – книга Ж.Ф. Вегелина «Дитя географ, или Краткое введение в математическую и историческую географию и геометрию» издавалась в России конца XVIII века с паралельным русским и французским переводами.

...Любят учиться! Науки юношей питают... прекрасно, сударыня! – цитата из «Оды на день восшествия…» М.В. Ломосова. В дальнейшей речи книгопродавца эта ода получит ироническое звучание: «*Печатайте, работайте, трудитесь, господа! Музы-кокеточки, любят, чтоб за ними ухаживали!*».

Возьмите «Библиотеку детских анекдотов» – здесь, вероятно, имеется в виду книга И. Кампе «Kleine Kinderbibliothek», переведенная на русский язык А.С. Шишковым. Отдельные переложения «библиотеки» Кампе появлялись на страницах журнала Н.И. Новикова «Детское чтение для сердца и разума». Приведенная далее стилизация *«Осмилетний Николашенька, услышав, что его маменька проиграла тяжебное дело, бросился обнимать ее и сказал: ах! как я счастлив, что вы проиграли сие скучное дело! как давно и как много вы тревожились оным!»* полностью ориентирована на стиль новиковских нравоучительных историй.

...как идет «Шпора Лермонтова»? – такой книги не существовало. Вероятно, речь идет об эпигонах Лермонтова, в частности «конкуренте» Григоровича В.А. Вонлярлярском, авторе романов и повестей, ориентированных на повествовательную манеру «Героя нашего времени».

...А мои «Заоблачные трели»? – собирательное название романтической поэзии (в духе стихотворений Александра Адуева, через которые демонстрируются слабые стороны романтизма).

...покойный Хемницер написал покойной моей бабушке – И.И. Хемницер был одним из наиболее значительных русских поэтов-баснописцев XVIII века, долгое время преподавал в Санкт-Петербургском Горном училище. После смерти Хемницера его басни к 1850-м годам переиздавались свыше тридцати раз.

...послание «К замку на Воробьевых горах» – намек на элегию К.Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции».

...и все это вместе составит очень занимательный литературный сборник – литературный сборник стал преемником альманаха и представлял альтернативу «журнальному» способу организации литературы. Большая часть литературных сборников в 1850-е годы печаталась в Москве, как правило, в убыток. Это отразилось в следующих словах Ивана Петровича: «*Литературный сборник нейдет, нейдет, как хотите; три кладовые одних литературных сборников!*».

...продается ли «Парнасская Звезда»? – отсылка к «Полярной звезде», альманаху, издаваемому К.Ф. Рылеевым и А.А. Бестужевым. После казни Рылеева и ссылки Бестужева предприимчивый московский поэт и писатель И.Н. Глухарев, пользуясь именем и репутацией альманахов, выпустил в свет альманахи «Северное сияние» и «Полярная звезда». Оба альманаха были составлены из подражательных слабых произведений малоизвестных литераторов.

...не мешает заметить, что сотрудники «Звезды» преисполнены были сильнейшей ненависти к петербургским журналам, и особенно к одному, который печатал на обертке, что «стихотворения, признанные неудобными к напечатанию, возвращаемы не будут» – намек на журнал «Современник» и статью Н.А. Некрасова «Русские второстепенные поэты»: «Стихов нет. Немногие об этом жалеют, многие этому радуются, большая часть ничего об этом не думает».

...трудно выразить вполне те чувства, которые взволновали грудь Дрянкова – в последней главе первого тома Дрянков поступает в соответствии с теми принципами, которые сформировались в доме Балахнова.

Второй том

ГЛАВА 1

…Филемон и Бавкида, Дафнис и Хлоя и вообще все знаменитые любовники – описание домашнего быта и уклада Ястребиловых выполнено в идиллическом ключе. Григорович упоминает персонажей пасторального романа Лонга «Дафнис и Хлоя», а также одну из глав «Метаморфоз» Овидия. Имена героев этих произведений, олицетворяющих любовь и преданность, стали нарицательными. Сходных «антиков», стиль которых связан с XVIII веком, позже опишет в своем романе «Новь» И.С. Тургенев.

Для большинства современников протототипы Ястребиловых (как и Дрянкова) не составлял тайны, в них угадывались семейные коллизии К. Павловой (Яниш) и ее мужа Н. Павлова. Павлов, как и Ястребилов, на время отказался от какой-либо литературной деятельности в угоду своей супруге – вздорной и деспотичной поэтессе, однако впоследствии снова начал печатать свои публицистические и художественные произведения. В начале 1850-х годов обсуждался возможный разрыв супругов (действительно, случившийся в 1852-м году), что усиливает ироническую интонацию этого фрагмента.

…в равной степени демоном стихотворства – этот романтический образ, вероятно восходящий к философии Сократа, рассуждающего о даймонах, подчиняющих себе волю отдельного человека, превратился к началу 1840-х годов в обессмысленный штамп. Об этом, в частности, свидетельствует одноименная комедия В. Невского, опубликованная в 1843-м году, герой которой Зорский предстает в роли поэта-дилетанта. В своей рецензии В.Г. Белинский так характеризовал эту комедию: «Что касается до нас, скажем, что в русской литературе очень часто появляются произведения, которые далеко хуже еще и “Демона стихотворства”; стало быть, эта комедия не может быть образцом возможной бездарности и нелепости. Ее характер – посредственность, – и тем хуже для нее».

Следовало только объявить в выноске, что Клавдия Ястребилова не кто иная, как автор «Маргариток» и проч., и проч. – название стихотворения типично для изучаемой эпохи. В романе О. Бальзака «Утраченные иллюзии» так называется сборник стихов Люсьена Шардона – провинциального дебютанта, приехавшего в Париж. Как и Дрянков, Шардон сталкивается с равнодушием издателей и читателей.

...меценат, страстный любитель отечественной словесности и ревностный поощритель всего пишущего, печатающего и издающего – такой репутацией в Москве обладали В.А. Соллогуб, П.А. Вяземский и В.Ф. Одоевский.

...об этих раутах и вечерах говорилось очень часто в газетах – салоны К. Паловой и Н. Павлова, действительно, часто упоминались в периодической печати. И.И. Панаев описывал атмосферу этих салонов в нескольких своих фельетонах.

...рифма бежала с языка сама собою, и со всем тем, все вместе – мысль, ощущение сердца и рифма – никак не могли сочетаться – вероятный парафраз пушкинской «Осени».

...Бумажные фабрики ожили; типографские станки, покрывшиеся было паутиной, работали денно и нощно; полки книжных лавок затрещали и погнулись под спудом «Полных Собраний» – сходный курьез представляло появление в печати собрания сочинений графа Д.И. Хвостова, при жизни сформировавшего репутацию бездарности. Собрание сочинений, насчитывающее семь томов, трижды переиздавалось, при этом большую часть тиража Хвостов скупал сам, рассылая их в дальнейшем вельможам, священнослужителям и литераторам. Часть сочинений Хвостов подарил Академии наук (согласно анекдоту, он направил туда 900 экземпляров своей трагедии «Андромаха»).

Стиль Хвостова как эпигона А.П. Сумарокова далее пародируется в сочинениях Ястребилова.

Представьте себе огромную четырехугольную комнату, обставленную кругом частыми полками, которые завалены классиками; там и сям мелькают бюсты древнейших классиков – в описании интерьера кабинета угадывается соединение разнообразных вещных рядов в духе прозы О. Бальзака (Гобсек) и Н. Гоголя (Плюшкин).

...время дня и ночи непрерывный скрип пера, шелест бумаги и, наконец, писк и шорох мышей, глодавших фолианты – вероятна аллюзия к «Стихам, сочиненным во время бессонницы» А.С. Пушкина:

Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня...

...остановился у порога, отвесил низкий поклон и потупил глаза в зеленое сукно – дальнейшая мизансцена демонстрирует перенос отношений «начальник – подчиненный» в плоскость «меценат – дебютант».

...Тирсис Иванович воздвиг себе памятник – здесь профанируется идея «нерукотворного памятника» («Тирсис Иванович воздвиг себе памятник»), восходящая к античности и известная по оде Горация.

…Ах, как поразительна эта сцена, когда свирепый Мазид, умертвив Агул-Абаса, встречает кроткого Зенеиба – в беглом перечислении названий произведений Ястребилова: «Синеус и Трувор», «Мазид и Зенеиб» и «Замар и Геллагё» прочитываются архаические тенденции, заставляющие вообразить на месте этого самозваного старика-Державина других писателей XVIII века: от А.С. Сумарокова до В.К. Тредиаковского (герой которого Тирсис становится одним из главных действующих лиц в романе «Езда в остров любви») и графа Хвостова.

...арабская повесть ваша, под названием «Замар и Геллагё» – аналогичная пародия на стиль «архаистов» представлена в дебютном романе Ф.М. Достоевского «Бедные люди».

...бессмертной дамы с усиками и седыми тирбушонами, восседавшей теперь в вольтеровских креслах – внезапное появление Ястребиловой и смущение экзаменуемого Дрянкова, вероятно, отсылает к аналогичной сюжетной ситуации в петербургской повести А.С. Пушкина «Пиковая дама».

Дрянков приходит к Ястребиловым хорошо подготовленным: он прочитывает большинство томов од, трагедий, опер и афоризмов, написанных его патроном, и только пройдя этот своеобразный экзамен (больше соответствующей проверке на лояльность), он получает возможность придать тиснению свою «Непризнанную индейку».

неделя, как я приехал из Архангельска... места моего рождения... – в этих словах история Дрянкова становится созвучной истории М.В. Ломоносова. В хрестоматийном стихотворении Н.А. Некрасова «Школьник» отражена сходная коллизиця:

Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и божьей воле
Стал разумен и велик.

Не без добрых душ на свете —
Кто-нибудь свезет в Москву,
Будешь в университете —
Сон свершится наяву!

Таким сном наяву для Дрянкова становится появление его книги в печати.

ГЛАВА 2

«Непризнанная Индейка», исправленная и значительно пополненная Ястребиловым – меценат Ястребилов одновременно выступает «соавтором» Дрянкова, что характерно для литературы конца XVIII – первой трети XIX века. Сам Григорович, думая издать свое собрание сочинений, обратился за помощью к М.П. Погодину. Но, увидев излишнее рвение своего «старшего наставника», отказался от этого замысла.

...и кисть апеллесова, и лира орфеева, и звуки амфионовы, искусства минервины попеременно окружают там своими обольщениями – здесь и далее пародируется одический стиль.

...непреклонное намерение Дрянкова пробиться с «Непризнанной Индейкой» сквозь толпу и стать на самое видное место гостиной – карикатурное положение Дрянкова в салоне Ястребиловых эквивалентно его позиции в мире литературы, где он, наряду с другими неофитами, остается неузнанным. Аналогичный прием в своем фельетоне «Литературная тля» ранее использовал И.И. Панаев.

В салоне Ястребиловых только Клавдия Ильинична имеет право голоса; ее декаламации и заполняют вечер. Напечатав повесть, Дрянков лишается возможности прочитать ее кому-либо – так реализуется сюжет утраченных иллюзий на русской почве.

...переходя постепенно от одной мысли к другой, Дрянков перенесся к той отдаленной эпохе, когда в школе еще запала ему первый раз идея его повести – здесь пародируется тип личности, близкой к Н.В. Гоголю или Ф.М. Достоевскому. Вероятно, с этим связана задача «стать новым Гоголем».

...«К замку на Воробьевых горах» – намек на элегию К.Н. Батюшкова «На развалинах замка в Швеции».

…Марья Ивановна Валдайская, гениальнейшая женщина, автор «Симфоний» и редактор известного «Детского Альманаха», где помещена «Последняя песнь лебедя»... – этот типаж соответствует Александре Осиповне Ишимовой, издававшей журналы «Лучи» и «Звездочка». В демократической печати эти издания оценивались невысоко.

- Ах, удивительный, необыкновенный старичок! - восторженно отвечал поэт. - Это отец Клавдии Ильиничны...- основной источник благосостояния Каролины Павловой составляли накопления ее отца Карла Ивановича Яниша, перешедшие к ней по наследству после его смерти в 1833-м году.

- Неужели вы его не знаете? - возразил тот шепотом, - Торкват Арменинов... один из самых замечательных современных поэтов – гениальная голова! – имя, напоминающее псевдоним, отсылает к поэту позднего итальянского Возрождения Торквато Тассо и автору одноименной трагедии Нестору Васильевичу Кукольнику. Рассказывая о кратковременной славе этого драматурга и поэта, воспринятого как молодой преемник Пушкина, И.И. Панаев писал впоследствии: «Сенковский произвел его за “Торквато Тассо” в Гете».

был у нас Пушкин, Лермонтов, ты писал, я с жадностью пожирал ваши стихи – в этом и других фрагментах, вероятно, перефразируются «Литературные мечтания» В.Г. Белинского, описывающие «бесплодие» русской литературы.

ГЛАВА 3

…непрерывный ряд белых ночей – под этим словосочетанием подразумеваются бессонные ночи. Содержание пережитых Васильковым удовольствий составляет фигуру умолчания.

...и выведенная на этой шторе надпись – далее цитируется стихотворение Н.М. Карамзина «Надежда»:

Ручей два древа разделяет,
Но ветви их сплетясь растут;
Судьба два сердца разлучает,
Но вместе чувства их живут.
Препятствий страшных миллионы,
Тиранство рока и законы
Не могут страсти прохладить:
Она всего, всего сильнее;
Всего, мой милый друг, святее —
Сам бог велит нам так любить!

Эта цитата, вероятно, усиливает сентиментальные коннотации «влеченья, рода недуга», соединившего Василькова и Миловзорова.

…душистым фиксатуаром - скрепляющая волосы помада.

...как Робинзон при встрече с Пятницей – роман Д. Дефо «Приключения Робинзона» неоднократно переводился в XVIII и XIX веке. Здесь отсылка к робинзонаде носит иронический характер: в лице Василькова лакей встречает «новое лицо», призванное оживить атмосферу этого московского дома.

...обе встали со своих мест, подняли указательный палец и, привстав на цыпочки, радушно встретили гостя – очевидная аллюзия к третьему действию комедии Н.В. Гоголя «Ревизор».

…красный халат из канауса, подбитый тафтою – шелковая материя из некрученого шелка-сырца.

...однако ж, ничем особенным от будуара молодой купчих – наряду с женоподобием героя, типологически связанного с Маниловым, описание интерьера, вероятно связано с сатирической бытоописательной живописью П.А. Федотова.

...в Марьину рощу – место московских гуляний, ставшее особенно известным после появления сентиментально-романтической повести В.А. Жуковского (как и Симонов монастырь после «Бедной Лизы» Н.М. Карамзина).

ГЛАВА 4

...за что, любезнейший, предпочел ты мне Миловзорова?.. – построение этой фразы заставляет вспомнить ранее цитируемый монолог Чацкого (*кого себе избрали? Когда подумаю: кого вы предпочли*), которым Балахнов подчеркивал свою мнимую исключительность.

...г. Габриельский, г. Паганинов и г. Серенадин – прозвища, очевидно, изобретенные знаменитым дилетантом – манера некоторых дворян «звать Полиною Прасковью» обыгрывается во второй главе романа в стихах «Евгений Онегин».

…Из Гаврилки сделал какого-то Габриельского, да и думает удивлять публику; нашел дураков! – сюжет этой главы, вероятно, восходит к «лечебнику на иноземцев», яркий пример которых представляет собой «Сатирический вестник» Н.И. Страхова и комедия Д.И. Фонвизина «Бригадир».

...к Василькову и Миловзорову, которые стояли перед картиною, изображавшею нимфу – МД, I.

- *Из Лючии, Lutchi, превосходная вещь!* – «Лючия ди Ламмермур», трагическая трёхактная опера (итал. dramma tragico) итальянского композитора Гаэтано Доницетти. Либретто оперы написано по мотивам «Ламмермурской невесты» Вальтера Скотта.

…Как правая сторона стола, так и левая представляли самую разнообразную панораму из лбов – такой тип описания, ориентированного на физиологический очерк, восходит к «Невскому проспекту» и повести «Портрет» Н.В. Гоголя.

…вы изменили, мсье Чиндаласов, нашим мирным селам, нашим беспредельным, необъятным полям – вероятный парафраз идиллии Г.Р. Державина «Евгению. Жизнь Званская» и стихотворения А.С. Пушкина «Деревня».

...и простору в пользу древней, почтенной старушки-Москвы... – оценка Москвы, как вдовицы и старушки, закрепляется в периодике конца XVIII века через Н.М. Карамзина и журналистов – сотрудников карамзинских изданий. Новое значение этот образ приобретает после войны 1812-го года.

...куда могли деться наши губернские львы?.. – слово «лев» ввел в активный оборот И.И. Панаев. Его фельетонный роман «Львы в провинции» печатался одновременно с «Проселочными дорогами».

ГЛАВА 5

...равнодушно сказал Степанчиков, покручивая сережку, украшавшую его правое ухо – заметим, что во внешнем виде плута Степанчикова заметны экзотические черты, изобличающие в нем человека, далекого и от дворянского, и от чиновничьего общества. Не исключено, что Григорович опирается на устойчивые для второй половины XIX века представления о цыганах и евреях как предприимчивых дельцах и – часто – мошенниках.

...я проглядел нечаянно в купчей трех музыкантов, и нарочно ничего тогда не сказали!.. – эта сцена восходит к монологу Чацкого из второго действия комедии «Горе от ума»:

> Сам погружен умом в Зефирах и в Амурах,
> Заставил всю Москву дивиться их красе!
> Но должников не согласил к отсрочке:
> Амуры и Зефиры все
> Распроданы поодиночке!!!

...залился выскочка тем смехом, который называется обыкновенно «желтым» – во французском языке «жёлтый смех» (rire jaune) – искусственный смех.

...разбогатевшие петербургские сапожники из немцев, которые готовы, кажется, пронзить вас шилом, если вы осмелитесь назвать их „сапожниками” – вероятная отсылка к «Невскому проспекту» Н.В. Гоголя, в котором два сапожника Шиллер и Гофман устраивают «секуцию» поручику Пирогову.

...Тохтамышев и жена его не жили вместе. Не могу сказать вам наверное, в какой именно день и по какому именно случаю произошло несогласие между ними – супруги, живущие раздельно, – явление, не характерное для Москвы, известной своими патриархальными нравами. Вероятнее всего, такой сюжет о катастрофическом мезальансе заимствован из французской литературы, например, из «Дома кошки, играющей в мяч» или «Отца Горио» О. Бальзака.

...Прислуга Тохтамышевой была также не очень многочисленна: мажордом, грум, камеристки и проч. олицетворялись в одном образе старой, подслеповатой кухарки – здесь, вероятно, также пародируется «блеск» и «нищета» героев О. Бальзака.

...принимать к сердцу интересы трактирщиков и следить за успешным процветанием загородных гуляний – данный выпад, вероятно, направлен против московских фельетонистов. Не исключено, что здесь, в первую очередь, высмеиваются «Записки замоскворецкого жителя» А.Н. Островского.

...В шесть часов становится уже тесно – в этом описании московских гуляний очевиден ориентир на «Невский проспект» Н.В. Гоголя.

...Мне нет дела до всех этих поклонений Дюпре, Лаблашу и прочим – имена известных оперных певцов.

ГЛАВА 6

...Афанасьем Никитиным, сыном Степанчиковым, обязывала подпискою некоего Ивана Дормидонова – запись в тяжебном документе делает созвучным имя Степанчикова и известного тверского купца Афанасия Никитина, чье «грешное хождение» иногда интерпретируется сквозь призму авантюрного или плутовского романа.

...несколько дней в ненавистном Малинове – город Манилов как собирательный образ поволжского города был введен в литературу В.И. Далем в повести «Бедовик», но получил известность благодаря печатаемым в «Отечественных записках» «Запискам одного молодого человека» А.И. Герцена. Эпитет «ненавистный», вероятно, связан с эпиграммой А.С. Пушкина «Проклятый город Кишинев».

...Хорошо ехать в такой день по русской дороге – это отступление в духе «Мертвых душ» в то же время демонстрирует различие между поэмой Гоголя и романом Григоровича. В последнем случае такое отступление, функционально заполняя возникшую паузу, не образует полноценного сюжета.

...он лично выскакивал на каждой станции из кареты – комичное поведение Бобохова заставляет вспомнить аналогичный пассаж в поэме П.А. Вяземского «Станция», эпиграф из которой А.С. Пушкин берет для своей повести «Станционный смотритель».

...не переставал кричать „пошел!” – вероятная отсылка к стихотворению А.С. Пушкина «Телега жизни»:

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел!

местности такой же гладкой и ровной, как ландкарта, на которой означен он едва видною точкой – очевидная аллюзия к поэме М.Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша» (ранее использованная при описании Горшкова).

...фантастически высовывались головы и ноги животных, наполнявших окрестность дружным блеяньем; картина оживлялась группами богомольцев, тащившихся по окраине дороги – в описании ветряных мельниц и приближающегося стада не исключено влияние «Приключений Дон Кихота» Сервантеса.

...Матушка его имела обыкновение отправляться на богомолье целым домом, шествовать пешком и поэтому самому оставаться в отлучке долгое время – эти и другие подробности домашних дел Бобохова призваны подчеркнуть ощутимые различия, возникающие между «веком нынешним» и «веком минувшим».

...я, конечно, очень рад вас видеть, но вы сами знаете: я устал; дорога скверная... – в отношениях Бобохова и его учителя прочитывается то же недопонимание, что и в отношениях между Печориным и Максимом Максимычем.

- *Чрезвычайно благодарен... Я должен только предуведомить вас, что так как я чудак, я встаю не раньше двенадцати часов...* – вероятная отсылка к роману в стихах «Евгений Онегин», а также его проекции на мещанско-купеческий быт, представленной в сцене А.Н. Островского «Утро делового человека»: «*Извините, я вас заставил дожидаться Я вчера поздно приехал. А впрочем, я всегда так встаю – в половине первого. (Вынимает часы.) Вот, ровно половина первого. Я читаю долго по вечерам.*

ГЛАВА 7

- *Ей-Богу, Ванечка, нашел капельмейстера!* – мир театра был хорошо знаком Григоровичу, который уже в 1840-е годы описал его в повести «Капельмейстер Сусликов».

...дистанции, какая существует между ними и человеком образованным, „развитым“ и просвещенным – вероятная отслыка ко второму действию «Горя от ума» А.С. Грибоедова и словам Скалозуба: «Дистанции огромного размера».

...В театре аккомпанировал Рубини – Джованни Батиста Рубини (Giovanni Battista Rubini) – итальянский оперный певец-тенор, неоднократно выступавший со своей труппой в Петербурге.

...заползают в чужие сани – в конце 1852-го года под этим названием появится комедия А.Н. Островского, по-видимому, связанная с романом Григоровича.

...Нарочно летел, думал повидаться с вами; так скакал, что две отличнейшие лошади пали дорогой... – вероятный парафраз заключительного монолога Чацкого.

шестидесятилетней старухой, старухой простого происхождения, не понимавшей дендизма – встреча Бобохова с его матерью отсылает к аналогичному «поединку» Чичикова и Коробочки.

ГЛАВА 8

…были для Карачаева проповедью в пустыне – чаще используется «глас вопиющего в пустыне». Выражение является цитатой из Ветхого и Нового Заветов (Ис. 40:3; Ин. 1:23). Имеет значение напрасного призыва, слов, остающихся без внимания. Вероятно, Карачаев продолжает носить фрак, руководствуясь правимлами этикета: этот вид костюма не позволяет ему стать «домашним человеком», сохранить дистанцию с хозяевами дома.

…знаменитый фрак этот, с узенькими фалдами на манер ласточьих крыльев или рыбьего хвоста – фрак неоднократно становился предметом иронической рефлексии в художественной литературе. Наиболее известна инвектива Чацкого, направленная против европейского платья:

По шутовскому образцу:
Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям,
Движенья связаны, и не краса лицу.

Парадокс этого монолога заключается в том, что произносящий его Чацкий, не будучи славянофилом, сам облачен во фрак.

...предназначена была судьбою для его счастия – вероятный парафраз письма Татьяны («ЕО»):

То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...

...она с помощью кваса «акрошкеры» на висках своих – фр. accroche-coeur, кольцеобразный завиток на висках. Не исключен каламбур, основанной на фонетическом сходстве названий национального блюда «окрошка» и такого вида прически.

...ничему никогда не учился; так, брошен с детства... – в таком самоумалении Карачаев приближается к Чичикову.

…покрываясь чистейшим кармином – становясь красным, здесь о краске стыда.

…это как Гирей, знаете, сидит себе, в устах шипит или пищит у него янтарь – здесь и далее Карачаев будет искаженно цитировать первые две строки поэмы А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»:

Гирей сидел потупя взор;
Янтарь в устах его дымился;
Безмолвно раболепный двор
Вкруг хана грозного теснился.

Сравнение Балахнова и Гирея мотивировано не только властолюбием этих героев, но и «ложной романтизацией» Балахнова, в чертах которого прослеживается отражение черт Байрона, Наполеона, Гирея и, наконец, Онегина. С последним также связан янтарный чубук: «Янтарь на трубках Цареграда / Фарфор и бронза на столе».

ГЛАВА 9

...все это напоминало торжественный въезд Александра Македонского в Вавилон – квинтэссенцией походов Александра Македонского стало вступление в Вавилон после разгрома Персидской империи и бегства Дария. Согласно «Сравнительным жизнеописаниям» Плутарха и другим источникам, жители Вавилона встретили Александра как освободителя и провозгласили своим монархом – «царём четырёх сторон света». Как и во всем тексте, сравнение «великого горшковского мужа» и Александра Македонского носит иронический характер.

…*сказал великий Грибоедов, и сказал истинную правду*! – цитируемые Балахновым слова: «…Когда ж пространствуешь, воротишься домой, И дым отечества нам сладок и приятен!» принадлежат, разумеется не Грибоедову, а его герою – Чацкому. Знаменательно, что вернувшийся из Москвы Балахнов ассоциирует Ханские пруды с отечеством.

…*на плотине дрожки опрокидываются; г-жа Камышевская падает в воду* – сходная сюжетная ситуация становится определяющей в развитии романа В.А. Вонлярлярского «Большая барыня».

…*просто, душа моя, меломан какой-то* – здесь не о любителе музыке, а о человеке, одержимом страстью, мечтой. Не исключено, что герой Григоровича путает два понятия: меломанию и мономанию.

ГЛАВА 10

…*при этом умственный взор его, подобно орлу, носящемуся на высотах недосягаемых, окидывал одним разом бесконечную панораму Горшковского* уезда – в нарочитой эпизапции этого фрагмента вероятна отсылка к зачину «Слова о Полку Игореве».

…*Но Аристарх Федорович не докончил; внезапно раздался треск* – с этого фрагмента романа корреляция между «Мертвыми душами» и «Проселочными дорогами» усиливается. В эпизоде падения Балахнова из коляски прочитывается аналогичное событие, постигшее Чичикова при путешествии по поместьям города NN (МД, III).

…*как это делает в театре свита Фортинбраса* – свита Фортинбраса, наследующего датский престол после смерти короля Клавдия и его племянника Гамлета, появляется в конце трагедии Шекспира.

...одна половина окна задрапировывалась красным камлотом, другая – миткалем – название распространенных в Российской империи и достаточно дешевых видов тканей (камлот – толстая шерстяная и хлопчатобумажная ткань, миткаль – тонкая хлопчатобумажная ткань). С качеством ткани контрастирует пурпурный цвет, который, по замечанию автора, «*производил, в совокупности с другими предметами комнаты, такой же точно эффект, как желтые франтовские перчатки на ободранном нищем*».

В обрисовке интерьера Григорович, идя вслед за Диккенсом, приближается к созданию пространства кукольного дома.

…Свищов и Полушкин опять поссорились – об отсылке к «Повести о том, как поссорились» см. выше.

...И кто любил, кто был любимым – Балахнов цитирует известное «Послание к Дмитриеву в ответ на его стихи» Н.М. Карамзина.

И кто любил, кто был любимым
Был другом нежным, другом чтимым,
Тот в мире сем недаром жил,
Недаром землю бременил.

…Через минуту на столе явился альбом, величиною с ладонь – альбом, воспринимаемый в Петербурге как арахический атрибут салона, в уезде и губернии продолжал играть важную роль в коммуникации провинциалов. Говоря о его неотъемлемых атрибутах: «весь почти исписанный мелким почерком, испещренный сердцами, бабочками и жертвенниками», Григорович следует за Гоголем («МД», VIII).

Любовь – чувство благороднейшее, святейшее из всех, вложенных Творцом в сердце человеческое – чувство, которое, как по всему видно, становится реже и реже в свете – как и в случае с «Посланием…» Н.М. Карамзина, Балахнов пользуется готовой формулой, заимствуя ее из романа Н.И. Греча «Черная женщина»:

Я умолчал тогда об истинной причине моего отказа: причина эта была любовь. Любовь – чувство благороднейшее, святейшее из вложенных творцом в сердце человеческое, чувство, которое, как по всему видно, становится реже и реже в свете, которое вскоре будет пылать в сердце только немногих избранных, а прочим известно будет лишь по сказаниям минувшего века. Предания и развалины священной старины, заветы родительские, игры детских лет, мечтания юношеские все это истребляется тлетворным дыханием эгоисма, властолюбия и алчности к золоту, все поглощается так называемою политикою, равенством, свободою, как цветущие города и поля покрываются истребительною лавою, составляющею на них, по охладении, ровную поверхность.

…Ты просишь написать в альбом! – авторство этих строк не установлено. Однако очевидно, что, наряду с мадригалами А.С. Пушкина, Н.М. Языкова, П.А. Вяземского, они становятся всеобщими, постоянно цитируясь сначала в столичных, затем в провинциальных альбомах.

…письма, облитые слезами несчастной Elise Okatoff – здесь используется характерный для сентиментализма штамп, описывающий тексты сквозь призму эмоций и переживаний человека. Знаменательно, что Балахнов видит в таких письмах объект для манипуляций.

ГЛАВА 11

...даже Ларошфуко, сказал следующее: «Человек находит какую-то тайную отраду в несчастии лучшего своего друга…» – афоризмы и максимы Ларошфуко исчерпывающим образом характеризуют самого Балахнова, например: «Страсть доводит самого умного человека до безумия, а самых глупых людей делает умными», «О достоинстве человека нужно судить не по его великим дарованиям, но по тому употреблению, которое он делает из них».

...Сидор поспешил вынуть из бокового кармана серебряную луковицу – вид часов, имеющих сходство с луковицей. Простую луковицу выбирали мещане и деловые люди.

…тут было человек до двадцати соседей – описание «припадка» Балахнова сближает картину уездных похорон с немой сценой, завершающей «Ревизора». В то же

время «туман», созерцаемый Балахновым, предвосхищает удар, который в будущем постигнет этого «великого мужа».

…она напоминала те складочные амбары, куда сваливают без всякого порядка домашний скарб и хлам, негодный уж ни для какого употребления – такое описание типологически близко к описанию кладовой Гобсека в одноименной повести О. де Бальзака и кладовой Плюшкина (МД, VI).

…оскорбленная тень усопшего Изосима Семеновича будет являться по ночам упрекать неблагодарного брата – при своей универсальности «оскорбленная тень брата» отсылает читателя к «Гамлету» У. Шекспира. Наряду с другими викторианцами, к этому сюжету обращался и Ч. Диккенс, взяв его за основу для своей «Рождественской песни в прозе».

- *Изосим! брат! вставай... русак бежит!* – не исключено, что здесь травестируется библейский сюжет о воскресении Лазаря.

ГЛАВА 12

…Губитель родной дочери... – сочиняя клевету на Окатова, Балахнов использует характерные для сентиментальной повести штампы.

…Сеян виной большого зла: Простона погубил без всякие причины – источник этой басни или памфлета остается неизвестным.

ГЛАВА 13

…сестры выстегали соединенными силами превосходнейший ситцевый халат, предназначавшийся исключительно для тех особ мужского пола, которые случайно заночевывали под их кровлею – эта деталь усиливает корреляцию между сестрами Кокуркиными и мойрами или парками Горшковского уезда (неслучайно с их появления начинается роман). Не исключена и параллель с «игривой травестией» сюжета «Двенадцати спящих дев» в поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».

...барышни слыли во всем уезде первыми мастерицами парить варенья, сберегать плоды на зиму, солить грузди и рыжики – здесь перечислены основные умения «уездных дев», созвучные описанию, данному во второй главе романа в стихах «Евгений Онегин»:

Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросясь.

Следует однако отметить, что в романе Григоровича все заготовки совершаются самостоятельно, о крестьянах, наемных или крепостных, здесь не упоминается.

…она все знала, и многие помещики уезда недаром называли ее «Горшковским Вестником» – олицетворяя сплетню, Григорович идет вслед за Гоголем («МД», VIII). Различие состоит в том, что Капитолину Лукиничну прямо сравнивают с губернской периодиокой (большинство изданий провинциальной периодической печати не отличались оригинальностью, были посредственны).

…Был у меня один приятель, который получил раз восемнадцать тысяч; другой получил десять тысяч, третий – в этой и подобных фразах проявляется характерное «хлестаковство» героя, чья фамилия одновременно отсылает к имени главного героя «Мертвых душ» и уездного чичисбея – героя-любовника, постоянно пребывающего в обществе состоятельных дам.

...В Перми раз жил с румяною женою / Богатый, удалой купец – источник этой памфлетной импровизации остается неизвестным. Не исключено, что метрика и лексика восходит к пушкинским сказкам «О попе и работнике его Балде», а также «Царь Никита и сорок дочерей».

...Бедная, несчастная Лизавета Семеновна! – соединение эпитета «бедный» с именем усиливает карамзинские интонации в обрисовке этого образа.

ГЛАВА 14

...затасканному платью из скромной полосушки, которое, в свою очередь, окончательно уже не могло соответствовать обуви, состоявшей исключительно из одних толстых шерстяных чулок, прорванных на пятках – описание Агашеньки ориентировано на изображение абсолютной нищеты, что ранее было сделано Григоровичем в его повести «Деревня».

…Агашенька могла, таким образом, напоминать в целом одну из аллегорических статуй древности, у которой голова была золотая, туловище железное, а ноги глиняные – образ восходит ко сну Навуходоносора, описанному в книге пророка Даниила: «Тебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой истукан; огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные» (Дан. 2:31—35).

...Один из них, маститый воропегий конь... – в этой графоманской поэзии предвосхищаются сходные опыты героев Достоевского: от «Воплей Видоплясова» («Село Степанчиково и его обитатели) до лирики капитана Лебядкина («Бесы»).

…как матросы Колумба, когда увидели берега Америки – источником этого сравнения стали как письма и судовые журнала Колумба, так и многочисленные беллетристические адаптации, в том числе роман Ф. Купера «Мерседес из Кастилии, или Путешествие в Катай», признанный современниками неудавшимся.

…в мелком провинциальном обществе поцелуи находятся еще до сих пор в сильнейшем употреблении – «МД», IX.

…Чибезов импровизировал какую-то сатиру на провинциальную жизнь вообще и на ее скуку в особенности – слова импровизации не приводятся, что, вероятно, связано с однообразием сатир, написанных на провинциальную жизнь и их заведомую вторичность относительно поэмы «Мертвые души». Об этом же сказано далее: «В мелком и провинциальном обществе сочувствие к печатной литературе и особенно к стихам ровно ничего не значит сравнительно с сочувствием к доморощенной, скорописной, словом, своей поэзии».

...в какую? жмурки? гулючки? прятки? – во всех этих подвижных играх один из игравших ловит других участников игры.

...давайте играть в «да и нет»; это нынче в большой моде: все играют, и игра-то веселая такая... – мода на эту игру в столичных салонах быстро прошла, однако заркепилась в провинции.

…крепрашелевое с воланами – платье из одноцветной шелковой ткани.

...чей фант вынется, что тому делать?.. – далее перечислены разнообразные живые картины и позы (оракул, статуя и пр.), которые должен был принять проигравший. Васильков в это же время предлагает «мерить ленты», что давало возможность сократить дистанцию между «мерящим» и его объектом воздыхания.

…Я не цыган, да удалец -молодец! / Зато барин, ни крестьянин, ни купец – этот фрагмент, цитируемый Чибезовым как авторский, восходит к русскому лубку начала XIX века.

...не так «цветист», например, как Пушкин, написавший «Кавказского Пленника», и не так «боек», как Лермонтов, сочинивший «Демона» – предпочтения читателей Горшковского уезда отражают литературную ситуацию 1830-х годов, при этом обретает характерные «провинциальные» коннотации.

ГЛАВА 15

...Дело известное: ехать по проселкам без проводника или маршрута – то же, что пуститься по морю без компаса и магнитной стрелки! – в литературной критике вслед за К.С. Аксаковым утвердилась концепция соотношения «Мертвых душ» с эпосом Гомера. Неоднократно отмечалось сходство Одиссеи с похождениями Чичикова в «море житейском». Эти интерпретации, вероятно, были известны Григоровичу.

…ничего не стоило ему приказать поправить на свой счет мостишки, завалить фашинником дыры и приделать, для окончательной безопасности проезжающих, перила на этих мостах – думы Балахнова близки к грезам Манилова («МД», II).

…Наши путешественники, очевидно, находились в положении пальчика-мальчика и его братцев, затерянных посреди глухого непроходимого леса – согласно адаптации этого фольклорного сюжета Ш. Перро, мальчик-с-пальчик и его братья были оставлены своими родителями в лесу из-за голода. Предприимчивость мальчика позволяет ему найти дорогу домой и спасти остальных детей.

- *Стой! стой! - неистово кричал какой-то хриплый голос* – несмотря на очевидную сюжетную рифму («МД», V, XI), дальнейшее развитие событий отличается.

...богдыхан или султан у этого Пушкина, который лежит себе на софе, кругом все раболепствуют, теснятся... а у него в зубах янтарь шипит... – Карачаев вновь искаженно цитирует «Бахчисарайский фонтан» А.С. Пушкина (см. выше).

Кто чаще всех твердит: люблю! / Тот меньше всех любить умеет! – цитата из стихотворения С.Д. Нечаева, датированного 1815-м годом:

Кто чаще всех твердит люблю,
Тот редко и любить умеет;
Иной не вымолвит люблю, —
А чувством сильным пламенеет.
Так я — не говорю люблю,
Храня молчанье осторожно;
Но верно так тебя люблю,
Как только лишь любить возможно!

Оригинальность этого стихотворения заключается в обилии тавтологической рифмы.

- *Когда я умру, кто придет на мою могилу?!..* – Васильков осмысляет свою возможную смерть в духе сентиментальной кладбищенской поэзии. Один из наиболее узнаваемых образцов этого жанра представляет «Сельское кладбище» Т. Грея, известное благодаря переложениям В.А. Жуковского. Ответ Веры Андреевны продолжает эту своеобразную игру в сентиментализм и ориентирован на те же риторические клише: «если б и случилось такое несчастие, мы не только посетили бы вашу могилу, но усыпали бы ее цветами и выплакали над нею все свои слезы...».

ГЛАВА 17

...Случай, этот помощник всех великих открытий, вывел его из затруднения – расхожая во французском языке идиома (ср. у Бальзака: «Случай – величайший романист мира»), неоднократно использованная Григоровичем, в том числе на страницах его литературных воспоминаний:

«Как всегда почти бывает в человеческой жизни, случай – этот хозяин, над которым нет власти, – выручил меня. К матушке привезли больную молодую бабу. За обедом матушка рассказала ее историю. Ее против воли выдали замуж за грубого молодого парня, которого также приневолили взять ее в жены; он возненавидел ее, чему немало способствовали его сестры, начал ее бить в трезвом и пьяном виде и заколотил почти до смерти; баба была в злейшей чахотке и вряд ли могла пережить весну. Она говорила, что ей легче умереть, чем жить; ее сокрушала только судьба дочки, двухлетней девочки; он и ее заколотит насмерть, говорила она. Рассказ этот произвел на меня сильное впечатление. Сюжет повести был найден. Я тотчас же принялся его обдумывать и приводить в повествовательную форму».

...Старобельский питал сильное пристрастие к лошадиной породе и сосредоточивал даже всю свою деятельность на конском заводе – гротескный зооморфизм этой главы позволяет провести в ней параллель с четвертой книгой «Путешествий Гулливера» Дж. Свифта. Знаменательно, что не только все службы, но и дом подчинены в имении Старобельского истории лошадей, а аристократическое происхождение подменяется династиями скакунов и кобыл. В этом рискованном приеме Григорович приближается к Свифту, изобразившему мир гуингмов как воплощение аристократии. Совпадает и коммуникативная модель: Балахнов, как и Гулливер не может найти интересующих собеседника тем, пока не затронет историю лошадей: «Я всегда удивлялся, право, за что льва величают благороднейшим четвероногим? Это несправедливо, совершенно несправедливо! Лошадь заслуживает несравненно более такой эпитет...».

...на так называемом красном дворе – парадный почетный въезд, расположенный рядом с барским домом. Выражение используется в романе Д.В. Григоровича «Переселенцы».

…выражением лени, дошедшей до крайних своих пределов, отличалось отсутствием какого бы то ни было оживления – сходный портрет использует В.И. Даль в своей повести «Павел Алексеевич Игривый» и сам Гоголь в создании образа Андрея Ивановича Тентетникова во втором томе «Мертвых душ».

…Левая рука его держала трубку с огромным вычурным янтарем на конце – эта деталь заставляет вспомнить неоднократно цитируемый Карачаевым «Бахчисарайский фонтан». Вероятно, «Золотые горки» заключают в себе осуществление всех честолюбивых замыслов Балахнова, поэтому Старобельский становится успешным двойником своего заносчивого, но не слишком удачливого собеседника.

…существо это имело два горба, спереди и сзади – горбун-спутник помещика является одним из действующих лиц в романе «Переселенцы».

...изображавшими похождения Телемака на острове Калипсо – распространенная серия картин, связанных с нравоучительным романом Ф. Фенелона «Похождение Телемака». Неоднократно упоминается в «Человеческой комедии» О. Бальзака.

...конюшни Старобельского представляли действительно нечто весьма замечательное в своем роде – сходное описание барских служб использовано в романе А.С. Пушкина «Дубровский» и в «Записках охотника» И.С. Тургенева.

...самое лицо приняло свойство лучшего бемского стекла – то есть побелело, приобретя цвет богемского стекла, используемого для окон.

ГЛАВА 18

…дело в том, что в этот достопамятный год в Черноряжске происходили губернские выборы – выборы, на которых избирались губернские и уездные предводители дворянства, депутаты дворянского собрания, секретари дворянского собрания и проч. нередко упоминаются в русской литературе («Гамлет Щигровского уезда» И. С.

Тургенева, «Вакх Сидорович Чайкин» В. И. Даля, «Искуситель» М. Н. Загоскина). Достаточно большая часть романа А.И. Герцена «Кто виноват?» также посвящена приготовлениям к выборам и самому дню голосования:

«Несмотря на то, что среди видимой праздности Бельтов много жил и мыслию и страстями, он сохранил от юности отсутствие всякого практического смысла в отношении своей жизни. Вот причина, по которой Бельтов, гонимый тоскою по деятельности, <…> принял прекрасное и достохвальное намерение служить по выборам».

В этом контексте Балахнов становится пародийным отражением «лишнего человека» Бельтова.

…наивозможно более поспешной дистиллировки одеколона, розовой и мятной воды и других специй, общеупотребительных в дамском туалете – приготовление к выборам во втором томе романа эквивалентно приготовлениям к свадьбе Василькова, описанным в первом томе.

…а до того времени, помня старую дружбу, нанялся у меня представлять Геркулеса; в досужее время обучает он кой-кого из ребят... вот также и дочь Калины Васильича... – рассказывая об устройстве быта Ивана и Калины, Григорович сближает крестьян с богемным кругом, а театр – с цирком.

…Аристарх Федорович вышел из своего кабинета, вооруженный с головы до ног, как Минерва – такое сравнение отсылает к фразеологизму: «выйти на божий свет в полном вооружении, как Минерва из головы Юпитера», то есть во всеоружии. В то же время упоминание кабинета позволяет усмотреть здесь травестированный образ из первой главы «Евгения Онегина»:

Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.

…Ему показалось, что он упал с неизмеримой высоты в бушующее море кисейных юбок, наколок, цветов, локонов, фраков, завитков, батистовых платков, лакированных сапог и дамских атласных башмаков – вероятная отсылка к сцене губернского бала («МД», I), в свою очередь травестирующего описание театра в первой главе романа в стихах «Евгений Онегин».

…литографию, где между двумя плакучими березами изображена тень Наполеона, задумчиво созерцающая собственную свою гробницу – такие литографии, действительно, получили широкое хождение после смерти Наполеона, закрепив образ высокой и героической кончины. Оригинальность литографий заключалась в «двойном образе», когда два древесных ствола своей формой повторяли фигуру французского императора.

ГЛАВА 19

…единодушным хохотом; хохот этот тотчас же объясняет Балахнову причину грома, слышанного им за минуту – кошмар Балахнова восходит к наиболее распространенному варианту сновидения, связанного с балладами В.А. Жуковского. По-видимому, Григорович учитывает вариации исходного сюжета, представленные в комедии «Горе от ума» и романе в стихах «Евгений Онегин».

…Аристарх Федорович сделал сверхъестественное усилие, приподнялся на кровати, протер глаза – и проснулся – финал сна синтаксически повторяет завершение сновидения Чарткова в повести Н.В. Гоголя «Портрет».

...Сам знаешь, сейчас скажут: «Э-э-э!» – поверь мне... – о том, кто первый произнес этот звук спорят в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» Бобчинский и Добчинский.

…То было дощатое серое здание, не отличавшееся ничем от балаганов, которые воздвигаются на площадях о Масленой и Святой – так называемые «театры», организуемые крестьянами, получившими вольную, часто не имели жесткого репертуара и не предполагали постановки сложных драматургических произведений. Нередко отмечалось смешение цирковых номеров, живых картин, отдельных сцен и даже шарад. Многие представления разыгрывались до начала Великого поста (в Масленую неделю) и после Пасхи (в Святую неделю).

...Запуганный, знаете ли, этой мыслью, взял да и приказал повару сделать яичницу во сто яиц... да всю дорогу ею одною и питался... Время, знаете, сырое, человек преклонный... – анекдотическая смерть Бирюкова отсылает к такой же бессмысленной смерти прокурора, завершающей похождения Чичикова в губернском городе NN (X). Одновременно причина смерти заставляет вспомнить qui pro quo комедии Н.В. Гоголя «Женитьба»:

Иван Павлович. В должности экзекутора, Иван Павлович Яичница.

Жевакин (не дослышав). Да, я тоже перекусил. Дороги-то, знаю, впереди будет довольно, а время холодновато: селедочку съел с хлебцом.

Иван Павлович. Нет, кажется, вы не так поняли: это фамилия моя – Яичница.

...ряд бесцветных годов, подточенных сознанием своего бессилия и торжеством врагов, перспектива новых огорчений и затем могила на скромном деревенском погосте!.. – упоминание могилы ведет читателя к двум кладбищенским эпизодам «Евгения Онегина» (II, VI).

В то же время с самого начал произведения, близкий по своим замыслам к Наполеону Балахнов, начинает соответствовать не высокому героическому образу, а его элегической вариации – последних лет жизни узника о. св. Елены.

ГЛАВА 20

...забаллотировали вчистую; накидали ему видимо-невидимо черняков... просто осрамился! Ни то, ни се, кипело, да и то прогорело, говорится... сам накликал... – голосвание на уездных и губернских выборах предполагало баллотировку – в пользу каждого кандидата желающий мог отдать как белый шар («за»), так и черный («против»).

...Аристарх Федорович в полном облачении лежал без признака жизни на диване – Подводя Балахнова к разорению и показывая его поражение на выборах, Григорович сравнивает это событие с физической гибелью, заставляющей вспомнить римские жизнеописания: «*…возбуждают в нас гладиаторы древнего Рима, которые при последнем издыхании все еще гордо держали голову и умирали, стараясь сохранить по возможности величественно-грациозную позу»*.

- Беги за доктором... жи-ва-а! беги скорей... ты, Сидор, или нет... ты, Василий... спросить лучшего доктора... сказать, что большая опасность... жи-ва-а-а! – переполох, вызванный ударом Балахнова, тематически близок к сумятице в доме Фамусова.

ГЛАВА 21

…Итак, Аристарх Федорович пал! Это несомненно – Выборы в романе представляют не только «гибель» Наполеона-Балахнова, но и своеобразную инициацию, связанную с изменением внешнего и внутреннего мира героя. После своего поражения Балахнов осознает ответственность перед семьей и уподобляется иным обитателям Горшковского уезда.

…Было превосходное зимнее утро. Вокруг балахновского дома трещал мороз, а в самом доме трещали еще немилосерднее печки – не исключена отсылка к стихотворению А.С. Пушкина «Зимнее утро», об этом говорит множество совпадающих деталей и

...Минуту спустя он снова появился в дверях, обвешанный детьми, ни дать ни взять как известная античная статуя, изображающая реку Нил – колоссальная статуя, персонифицирующая реку Нил была найдена в 1513 г. у церкви Св. Марии. Разливы реки аллегорически представлены фигурами играющих младенцев. Копия скульптуры была изготовлена Гамбургером по античной модели, присланной из Рима Папой Пием IX в подарок Николаю I. В начале1850-х годов копия была установлена в Петергофе.

В романе одна из заключительных сцен демонстрирует любопытную инверсию. Карачаев, изначально связанный с образом Ноздрева, переживает колоссальную метаморфозу. Став режиссером «семейного счастья», этот приживальщик как бы избавляется от свойственных ему пороков. В то же время меняется Балахнов, отбрасывая свой гонор и наполеонизм.

ГЛАВА 22

...ему неизбежно пришлось бы повторить историю проселочных дорог, чего я от души не желаю ни ему, ни читателю – после появления «Мертвых душ» и текстов, подражающих Гоголю или продолжающих его сюжет, тем провинции постепенно исчерпала себя. Это осознает и автор, указывая на неизбежные повторения, чреватые превращением романа в докучную сказку.

…она купила его на тот трудовой капитал, который скопила в продолжение многих лет, управляя хозяйством Балахновых – сходный сюжет использован в «Истории Пенденниса», где дядя главного героя оказывается в долгу у собственного слуги.

…как хоронили на днях одного почтенного старца, Тирсиса Ивановича Ястребилова – похороны графомана Ястребилова закономерным образом завершают линию «века минувшего» в литературе. Отметим, что 1852-й год стал временем утрат: только в первую половину наступившего года читатели узнавали о смерти Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского и М.Н. Загоскина.

...Второе произведение даровитого Дрянкова будет называться «Тунеядцы-Лежебокие-Проживальщики, физиологический очерк» – о популярности физиологического очерка в журналах 1840-1850-е годы позволяет судить то, что редакции, далекие от эстетики натуральной школы, тем не менее, охотно публиковали подобные произведения. Завершая работу над романом, Григорович писал Краевскому о том, что он подготавливает серию таких очерков (в архивах писателя также сохранилась программа развернутой панорамы городских типов), однако Краевский остался к ним равнодушным. Тяготение Дрянкова к жанрам «реальной прозы» также усиливает корреляцию с самим Григоровичем.

Сходный пародийный прицнип будет использован И.А. Гончаровым в романе «Обломов». Как и Дрянков, публицист Пенкин предстает сторонником «физиологического очерка». Отзываясь о своей поэме «Любовь взяточника к падшей женщине», в которой «слышится то Дант, то Шекспир...», Пенкин описывает ее сюжет:

Обнаружен весь механизм нашего общественного движения, и все в поэтических красках. Все пружины тронуты; все ступени общественной лестницы перебраны. Сюда, как на суд, созваны автором и слабый, но порочный вельможа и целый рой обманывающих его взяточников; и все разряды падших женщин разобраны... француженки, немки, чухонки, и всё, всё... с поразительной, животрепещущей верностью...

Сходные принципы, используемые Панаевым, Гончаровым и Григоровичем в обрисовке литератора-беллетриста, говорит и об общности круга, и о сходной попытке выйти за пределы навязываемой эстетики натуральной школы.

Увы! так все изглаживается и исчезает на сем свете! – финальные строки романа отсылают читателя к завершению «Ярмарки тщеславия»:

Ах, vanitas vanitatum! Кто из нас счастлив в этом мире? Кто из нас получает то, чего жаждет его сердце, а получив, не жаждет большего?.. Давайте, дети, сложим кукол и закроем ящик, ибо наше представление окончено.

А.Е. Козлов

И з д а н и е

ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПРОСЕЛОЧНЫЕ ДОРОГИ: РОМАН БЕЗ ИНТРИГИ

Вступительная статья и комментарий – А. Е. Козлов

ИФЛ СО РАН
Новосибирск, ул. Николаева, 8